

Генрих Манн

Голова



Девяносто лет назад

Рассвет едва брезжил, когда левый фланг французской армии развернулся по опушке леса. Из лесу высыпали стрелки и захватили предмостное укрепление. В крепости началось страшное замешательство, ее защитники откатились до самых стен. Стоя на одном из низких холмов, господствовавших над равниной, и держа перед глазами подзорную трубу, император сказал:

— Неприятель думает, что его дивизиям удастся улизнуть по дорогам, которые скрещиваются за мостом, но он обманется: мы возьмем мост, потому что солнце будет слепить ему глаза. Чудесный день! — Он стал напевать из оперетты:

Конечно, наш дурак

Уж попадет впросак. —

И вдруг резким движением отвел трубу от глаз: он заметил, что левый фланг дрогнул. Немедленно послал он вниз одного из своих адъютантов узнать причину.

Причина заключалась в том, что войска уже два дня не получали хлеба. На опушке леса, у дуба, под топот коней, крики и пушечный гул генерал отчитывал интенданта:

— Ваши люди воруют!

Завидев адъютанта, он расшвирился еще больше.

— Вы сами воруете! — крикнул он интенданту.

Мимо вели двух человек в штатском, их схватили как шпионов. Услыша, как они что-то кричат о зерне, интендант обрадовался случаю и велел их подвести поближе.

— Ах, у вас есть зерно? — накинулся он на них. — Так это вы захватили крестьянские телеги, которых мы напрасно ждем. Я прикажу вас вздернуть!

Генерал и адъютант ускакали, чтобы лично удостовериться, как идет бой. Интендант обратился к штатским:

— Давайте зерно!

— А вы за него заплатите? — спросил один.

— Не заплатите, так ищите его сами! — сказал второй.

Интендант посмотрел на них. У них были решительные лица, — у одного круглое, кирпично-красное, в ушах серьги, у другого длинное, постное и суровое. На них были плащи с тройными воротниками, меховые картузы и высокие сапоги.

— Негодяи! — крикнул интендант и тихо, чтобы не услышали окружающие, добавил: — Я могу вас спасти.

Они вопросительно переглянулись и сделали вид, будто не слышат. Интендант приосанился, увидев, что генерал с адъютантом возвращаются.

Адъютант оповестил полки о недовольстве императора. Одновременно он объявил, что прибыл хлеб. Никто не сомневался в том, что одно из этих двух средств окажется действенным, хотя шум сражения все приближался. Несколько гранат разорвалось у ног господ офицеров, раненые стали падать слишком близко, господа офицеры отошли в сторону. Двое купцов, на которых никто уже не обращал внимания, пошли вместе со всеми, как приглашенные зрители, У генерала пулей выбило из рук фляжку. Он

оглянулся, один из штатских подал ему свою.

— Вы еще здесь? — спросил генерал. — А как же зерно?

Тот, что с длинным лицом, спросил:

— А нам заплатят?

Генерал ответил:

— У нас цена твердая.

— По твердой цене мы не поставляем. — Это они произнесли в один голос.

— И даже в том случае, если я велю вас расстрелять?

— Лучше расстрел, нежели разорение, — сказали они.

— Все равно как мы говорим: лучше смерть, нежели бесчестие, — заметил адъютант.

Генерал лукаво усмехнулся.

— Вы друзья? — спросил он, и они кивнули. — Одному я согласен заплатить выше твердой цены. А другой — как знает.

— Но нам нужен весь хлеб! — закричал интендант. — У десятой дивизии тоже ничего не осталось.

— Мне безразлично, что едят остальные, — возразил генерал. — Ну, так кто из вас доставит хлеб? — спросил он у тех двоих.

Они не глядели друг на друга и молчали.

Генерал выждал, затем взял за плечо того, что повыше, как бы собираясь вступить с ним в переговоры. Кровь бросилась в лицо второму, поменьше.

— Все, что получите от него, — сказал он злобно, — могу дать и я.

— Но ваш приятель сговорчивее.

— Откуда вы знаете? — У меньшего глаза налились кровью. — Я не требую больше твердой цены.

Лицо высокого по-прежнему было постным и суровым, но голос стал хриплым.

— Этого только не хватало! — прошипел он в сторону меньшего.

Генерал торжествующе огляделся. Между тем и войска его добились успеха. Они теснили неприятеля, сражение удалялось. Генерал сел на лошадь и поскакал за войском; адъютант помчался галопом к холму, чтобы император от него, а не от кого-либо другого, узнал о результатах своего вмешательства. Интенданта тоже отвлекли события. И оба штатских одиноко стояли друг против друга на опушке леса, в нескольких сотнях метров от сражения, которого они не видели и не слышали, так они были поглощены своим делом.

Высокий глухо проворчал:

— Что тебе здесь нужно?

— Я здесь с таким же правом, как и ты, — немедленно огрызнулся второй, коренастый.

— Ты пришел сюда только потому, что пришел я. От самого дома ты всю дорогу тащился за мной по пятам.

— А кто не спускал с меня глаз?

— Да потому, что, куда бы я ни заходил, ты уже успел там побывать.

Высокий подошел поближе к меньшему. Тот встал на цыпочки и поднес к его носу кулаки.

— Ты подкупал крестьян! — заорал он.

— Ты нанимал разбойников, чтобы они меня ограбили, — прорычал второй.

Тогда коренастый толкнул высокого, тот обхватил его, и они стали бороться. Они швыряли друг друга о деревья, падали, катались по земле; а в минуты передышки, когда один лежал на другом, хрипели друг другу:

— Десять лет назад ты надул меня на продаже дома!

У меньшего глаза вылезли из орбит, он задыхался. Смирение на длинном лице высокого превратилось в муку. От душевной боли у него туманилось сознание. Чтобы положить этому конец, он схватил меньшего за горло. А тот все-таки прохрипел:

— Хоть бы тебе на свет не родиться!

Высокий не мог говорить, он все сильнее сжимал горло лежащего под ним, пока тот не замолчал.

Убийца вскочил, над его головой пролетела пуля. Тогда он уразумел, где находится и что сделал. Он бросился в лес. Но, пробежав немалое расстояние, вернулся обратно. Здесь лежали и другие убитые, ему пришлось отыскивать своего. Он стал перед трупом на колени, повернувшись лицом к сражению, и ждал. Но пули больше не летали. Его голова мало-помалу склонилась до самой земли.

— Эй вы, ваше зерно гроша ломаного теперь не стоит! — закричал кто-то. Это оказался интендант; он тряс его за плечи, пришлось встать. — Мы победили, — выкрикивал, жестикулируя, интендант. — Мост взят, неприятель окружен, кто уцелел — захвачен в плен. Неприятельские запасы в наших руках.

Он умолк и вгляделся.

— Что с вами? Вы будто участвовали в бою. А товарищ ваш, кажется... Куда же он ранен?

И так как интендант вытащил из руки убитого клочок плаща, убийца сознался:

— Мы повздорили.

Офицер принял важный вид.

— Вы совершили убийство, — изрек он и позвал солдат; они схватили убийцу.

Мимо ехал генерал, он придержал лошадь.

— А зерно? — спросил он. — В крепости ничего не нашли.

— Этот человек убил своего товарища, — строго сказал интендант.

Генерал нахмурился.

— Помню, они ссорились. Не могли поделить прибыль. — Он неодобрительно и с

презрением пожал плечами. — Повесить!

Убийца заметно вздрогнул. Это недоразумение, они не понимают. Он объяснит.

— Мы были друзьями, — сказал он срывающимся голосом.

— Тем хуже, — ответил генерал и поскакал дальше, завидев приближающегося императора.

«Нет, не то, я сейчас растолкую им все как было», — думал убийца, но кто-то уже набрасывал ему на шею веревку, а другой конец ее уже висел на суку. Он увидел, что это тот самый дуб, к которому их привели как шпионов, его и друга, совсем еще недавно.

Ему казалось, что он невесть как далеко отсюда. У ног его лежал мертвый друг. Внезапно он увидел, что его собственные ноги болтаются над мертвецом; его тянут кверху. «Что они делают! — подумал он. — Я ведь купец, прибывший из дальних краев».

Он подумал о своем доме там, далеко, о сыновьях и дочерях, увидел суда, прибывающие в порт. В порту к нему навстречу идет друг... Но вот он уже не видит его, солнце слепит глаза.

Солнце стояло высоко над полем битвы. Взойдя, оно ослепило неприятеля, как того желал император. Теперь оно озаряло его победу. Он ехал на коне, и лицо у него было невозмутимо, точно изваянное из мрамора; на некотором расстоянии следовала сверкающая мундирами свита. Конь его искусно лавировал между трупами.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I Женщина с той стороны

Двадцатилетний юноша мчится по улице. Улица крутая, ветер свищет навстречу, у юноши дух захватывает. Но как он ни мчится, ему кажется, что тело его застыло на месте, настолько опережает его душа.

В тот миг, как он обогнул покосившиеся соседние дома, зазвякал колокольчик на дверях родительского дома, и на пороге он увидел своего друга.

— Я шел к тебе, — сказал друг и побледнел, потому что это была ложь: на самом деле он уходил.

Терра ничего не понял. Он крикнул наперерез ветру:

— Я буду счастлив!

Мангольф усмехнулся печально и скептически:

— Сейчас, пятого октября тысяча восемьсот девяносто первого года, в двенадцать часов десять минут, ты счастлив. Вот все, что ты можешь сказать.

— Прощай! — сказал Терра. — Я спешу к ювелиру.

— За свадебным подарком? Она согласна?

Терра стоял, крепко упершись ногами в землю; уголки его рта вздрагивали.

— Я до конца дней презирал бы себя, если бы добровольно отказался от главной цели моей жизни.

— Деньгами тебя снабжает ростовщик-портной? — спросил друг.

— Через год я получу наследство и у меня будут собственные деньги. Я пойду куда хочу с женщиной, в которой для меня вся жизнь.

— Что ж, прощай, — заключил друг.

Терра опустил глаза; он сказал, делая над собой усилие, как стыдливая девушка:

— Ты забыл, что мы уговорились на сегодняшней вечер?

— Если тебе это еще интересно Женщина важнее десяти друзей, — подчеркнул Мангольф.

— Но не одного-единственного, — сказал Терра, поднял глаза и мучительно покраснел.

Мангольф чувствовал: «Во имя всего святого — нельзя, чтобы он один говорил так».

— Нам это понятно, — сказал он с мужественной теплотой. Он поглядел вслед другу.

Терра пошел дальше гораздо медленнее, размышляя, должно быть, о своем счастье, вместо того чтобы брать его штурмом.

Мангольф торопливо скользнул в дверь. В обширной прихожей не отзвенел еще колокольчик, как он уже подымался по желтой лестнице. Внизу решили: он идет к сыну. Он же шмыгнул мимо комнаты сына в соседнюю дверь.

Сестра сидела над книгой, зажав руками уши. Бросив быстрый взгляд из-под опущенных ресниц в зеркало напротив, она остановилась на конце страницы и больше уже не читала. У смуглого юноши позади нее бурно билось сердце, когда он глазами впитывал ее всю: узкие бедра, выступавшие над сиденьем, длинную белую шею поверх спинки кресла и нежный далекий профиль (все равно далекий, хотя бы я и поцеловал его), пышное белокурое великолепие волос, на которых пламенело пятно света из круглого отверстия в закрытой ставне.

Вот он уже подле нее, обхватил резким движением, прильнул лицом к ее склоненной шее. Лишь когда его губы встретились с ее приоткрытыми губами, она сомкнула глаза. Чем настойчивее становились его неловкие жадные руки, тем теснее приникала она к нему.

А потом она расправляла платье, и ее склоненное лицо как будто улыбалось — явно насмешливо и, пожалуй, задумчиво. Она сказала:

— Что это значит? Понять бы, что это значит.

Его это обидело, и он вновь попытался схватить ее, ловил по всей комнате, пока она не поймала его и сама же ответила на свой вопрос:

— Это значит, что мы прощаемся.

Он скрестил руки и хотел отвернуться, она насильно притянула его.

— Нечего по-мефистофельски хмурить брови! Вольф, ты не женишься на мне. И я не выйду за тебя, Вольф.

Он ответил как подобало:

— Скажи слово — и ничто не помешает мне исполнить приятный долг.

— Милый мой, оба мы слишком серьезно относимся к жизни, чтобы пожениться лишь ради взаимного удовольствия, — возразила она, неприступная в своем белокуром ореоле.

Он разнял руки.

— Ну, так если желаешь знать, я слишком многого хочу добиться в жизни, чтобы с этих пор попасть в зависимость от твоей семьи.

— А когда закончишь образование, постарайся найти девушку, у которой приданое будет на несколько миллионов больше моего.

— Я хочу достичь всего собственными силами, — запротестовал он.

— И я тоже. — Теперь руки скрестила она. — Цепляться за тебя... боже избави! Хоть ты и в моем вкусе, но таких еще найдется немало. Особенно в театре, куда я поступлю.

— Не думай, что это легко.

— Ревнуешь! Оттого, что тебя не считают незаменимым.

— К чему это подчеркивать? Ты ненавидишь меня. Это ненависть полов, — сказал юноша.

Хотя она и сама употребляла смелые выражения, его слова смутили ее, она подошла к окну. Он последовал за ней и заговорил, склонившись сзади к ее шее:

— Будь мы свободны, Леа, любимая...

— Зови меня Норой, как все, кроме брата, — прервала она.

— Я ни о чем бы лучше не мечтал, Леонора, как уехать с тобой и для тебя работать, голодать, бороться. Преуспеть, чтобы ты улыбалась! Разбогатеть, чтобы ты была еще прекрасней. Долго жить, потому что живешь ты!

Она притихла, внутренне замирая, — так мягко и страстно звучал его голос. Вдруг в щели ставни перед ней мелькнул брат.

Брат решительным шагом входил в дом напротив. Там жила чужая женщина, которую он любил. Она, по-видимому, одевалась у себя наверху, за занавесками.

Вот у нее открылись двери. Брат появился в соседней комнате. А к ней вошла горничная и стала помогать ей. Живее! Чужая женщина топает от нетерпенья, не может дождаться, чтобы он принес ей свои дары и себя самого. Готово, сейчас она распахнет дверь, за которой шагает он. Нет, надела шляпу и пальто — бежит прочь, по лестнице вниз, через парадную дверь, вдоль стены, чтобы он не увидел ее из окна, и за угол. Прочь.

А брат наверху ни о чем не подозревал и все шагал взад и вперед. Вдруг он остановился, чтобы собраться с мыслями и понять, что происходит.

Сестра за ставней чувствовала на шее дыхание возлюбленного, она прошептала:

— Ты только говоришь, а Клаудиус делает. Он-то делает, милый мой.

— Он собирается начать жизнь с авантюристкой, а она к тому же смеется над ним. Мы ведь на это смотрим одинаково, прелестная Леа.

Тут сестра прикусила губу.

Брат, там напротив, сперва сел, потом вскочил и приник ухом к двери в спальню той женщины. Сестра видела, как вздымается его грудь, она почувствовала: «Будь та женщина еще у себя, сейчас она непременно открыла бы ему». Но никто не открыл ему; он упал на стул, как будто обессиленный волнением, провел рукой по лбу, по глазам, верно стараясь сдержаться, но плечи у него вздрагивали.

У сестры они вздрагивали тоже, и в ее глазах сверкали слезы. Друг позади нее прошептал:

— По-твоему, ему можно позавидовать?

Она обернулась.

— Остерегайся его! — сказала она страстно.

Он скривил рот.

— Обоим нам следует остерегаться его. Хотя, собственно, я-то его знаю. Он комедиант.

Она с трагическим видом вышла на середину комнаты.

— Этого не смей касаться!

Он поклонился:

— А ты — его сестра.

— Как мы в сущности чужды друг другу, мой милый! — сказала она презрительно.

Он побледнел и выкрикнул:

— Я об этом редко забываю!

Она сказала приподнятым тоном:

— Его я понимаю. Почему он мне только брат!

— Попробуй повторить это при нем! — предложил он насмешливо.

— И зачем тут ты? — вопрошала она, сама увлекаясь собственным юным безмерным страданием.

Он протянул к ней руку.

— Ты упоительна, Леа!

— Не называй меня Леа!

Теперь возмутился он:

— Во мне течет иная кровь, чем в вас. Да, да, моя свежее. Меня чувства не лишают равновесия. Передо мной многим придется сгибаться.

С этим он удалился. Леонора только пожала плечами ему вслед. Комната напротив, где плакал ее брат, была теперь пуста. Когда он, набегавшись, вернется домой? Она не сомневалась, что он бегаёт по городу, ничего не видя и не слыша, мысленно принимая самые отчаянные решения. Ее позвали обедать, но она медлила. «Я встречу его на лестнице, когда он вернется. На этот раз, будь что будет, я обниму его. Ведь я однажды уже на это отважилась. Мне тогда было двенадцать лет, ему —

четырнадцать».

Вот он уже и возвращается. Она ждала его на лестнице; в его судорожно перекошенных губах дымилась папироса. Когда брат увидел сестру, губы перестали дергаться, возбуждение и досада улеглись. Он даже улыбнулся с растерянным видом и, как она, чуть приподнял руки; из этого жеста могло возникнуть объятие. Но нет, соприкоснулись только их руки. Потом по-братски застенчиво он открыл перед ней дверь в зал, и она прошла впереди него.

Тут появились и родители, все молча расселись по своим местам за круглым столом, накрытым посреди комнаты под хрустальной люстрой с восковыми свечами. Вокруг сидевшей за обедом семьи, как с давних пор вокруг ее предков, тускло мерцали в изящных резных панелях старинные зеркала. Нарисованные ветки и пестрые птицы покрывали стекло по краям. На окнах были сборчатые белые шелковые шторы и золотистые с подхватом драпировки. Перед окнами высились позолоченные канделябры.

Отец, во фраке, — он вернулся с какого-то торжества, — разрезал птицу, мать озабоченно высказывала соображения по поводу ближайшего званого обеда, дети сидели чинно. Вскоре предстояло освящение нового судна; отец желал, чтобы сын тоже присутствовал при церемонии. Приближались выборы в рейхстаг: приятель отца, Эрмелин, был кандидатом, — поэтому нам вдвойне неприятно, что собственный наш служащий, бухгалтер портового склада, выставляется кандидатом от запрещенной социал-демократической партии¹.

— Ты об этом знал, Клаудиус? — Это был упрек, так как сын имел бестактность в присутствии других служащих удостоить бухгалтера беседой.

Сын явно не видел в этом промаха; тогда отец сослался на его друга Мангольфа.

— Вы, студенты, появляетесь здесь на один каникулярный месяц, не считаете себя членами нашего общества и потому ничего не признаете. Дело ваше. Однако твой друг Мангольф уже сейчас понимает свои будущие обязанности и находит общий язык с окружающим миром. Я узнал от сведущих лиц, что и пастор из собора Санкт-Симона и директор городского театра считают его одним из наиболее ценных участников предстоящего религиозного представления.

Лишь последняя фраза заставила сына вслушаться; он подумал, что именно из-за этого он в конечном итоге и не приемлет своего друга. «Нас разъединяет одно слово, которое он чтит превыше всего, это слово: преуспеть». И он снова погрузился в мысленное созерцание того, что было для него выше всякого честолюбия, всяких побед.

Тут вмешалась мать:

— Что ты так уставился на сестру? Ей даже не по себе.

Сестра видела, как он нахмурился, — уж не оттого ли, что было произнесено имя ее возлюбленного? Но брат, глядя ей в глаза, все время видел перед собой лицо другой, отсутствующей. Он знал это лицо, как ни одно на свете, и вместе с тем

¹ ...запрещенной социал-демократической партии. — В 1878 году правительством Бисмарка был проведен через рейхстаг исключительный закон против социалистов. Закон запрещал всякую деятельность германской социал-демократической партии, массовые рабочие организации и рабочую печать.

терзался сомнениями: что же он в сущности знает? И так, можно любить ту женщину, как самую жизнь, и от избытка страсти не уметь прочесть на ее лице, злое ли оно, счастливое ли, похоже ли оно вообще на лицо чувствующего человека. «Вот моя сестра, — говорил он себе, — я знал ее ребенком. И она прекрасна, и она белокура, и у нее светлые краски и задорный нос. Если разбирать по частям, все черты ее лица несовершенно, и глаза и рот, но все в целом составляет существо, выросшее со мной вместе и такое, каким оно быть должно. А жестокая женщина с той стороны непознаваема и все же неотвратима. Надо скорее пойти к ней», — решил встревоженный юноша и отодвинул было стул.

Отец остановил его. Куда он так спешит? Верно, каникулы уже наскучили ему? Сын отвечал уклончиво:

— В конце концов я сдаю все экзамены, какие полагается, что ж вам еще от меня нужно? — Но он понимал, к чему это идет.

— Может быть, на следующий семестр тебе хочется больше тратить? Пожалуйста. Развлекайся вволю.

Отец говорил это, насупившись, нахмурив лоб, казавшийся властным и в то же время беспомощным. Сын смягчился. «Сколько должен перестрадать такой суровый человек, чтобы поощрять даже мое легкомыслие». Глаза матери как о заслуженной дани просили о том, чтобы он принес ей в жертву ту женщину. А взгляд сестры выражал как будто лишь желание проникнуться тем, что происходило в нем.

Родители переглянулись, давая понять друг другу, что почва подготовлена. Мать сделала попытку:

— Имей в виду, об этом уже говорят. Мы не можем оставаться равнодушными.

— Хотя мы и полагаемся на твое благоразумие, — добавил отец.

Сын понял серьезность положения.

— Я живу не для людей, — заявил он с нарочитой твердостью.

— Жить наперекор им не так-то легко, — тем мягче заметил отец. — В особенности если им уже известно все то, что нам бы, собственно, следовало узнать первым. — Видя, что сын смущен, он заговорил тоном ласкового поучения: — Сын мой, вот тут у меня кое-какие документы, счета и прочее; надеюсь, они откроют тебе глаза на некую даму, которая, к сожалению, кажется, близка тебе?

Сын намеренно пропустил мимо ушей этот заботливый вопрос. Сестра сделала движение.

— Останься, Нора, — приказал отец. — Каждый из вас должен знать, когда другому грозит опасность.

— Я ничего не хочу знать, — пролепетала сестра в величайшем страхе за себя. Так как она растерянно уставилась на брата, тот решил, что она малодушно от него отрекается.

— Анонимные письма! — злобно выкрикнул он.

— Нет, счета, — возразил отец, — на фирменных бланках. Твоя, так сказать, нареченная сочла себя вправе делать долги от твоего имени. Суммы довольно значительные, но все же с бюджетом нашим она сообразуется. Она умеет

приспособляться, — видно, особа опытная.

Этот намек переполнил чашу. Но сын чувствовал, что, пожалуй, перенес бы и его, если бы на лице сестры не было написано предательство. Под его ненавидящим взглядом она потеряла голову и залепетала:

— Ради бога, Клаус, она просто какая-то авантюристка!

— Это говорит твоя сестра, — подчеркнул отец.

Тогда сын вскочил со стула, остановился в решительной позе, лицо дергалось от бешенства, он готовился принять бой. Отец отмахнулся.

— Знаю, знаю. На будущий год ты получишь небольшое наследство, оплатишь им долги этой дамы и — в худшем случае — уедешь с ней. Но неужто ты рассчитываешь, что она станет ждать до тех пор?

Сын вздрогнул. Как они смеют! Мать и сестра встали из-за стола.

— И на этот счет у меня имеются сведения, притом с указанием имен, — невозмутимо продолжал отец: — Я даже сомневаюсь, находится ли она еще здесь, в городе? Она была сегодня дома? Ты, надо полагать, справлялся?

Сыну стало дурно, он вцепился руками в стул. Мать, видя его смятение, сказала спокойно и манерно:

— Прямо невообразимо. Искательница приключений, и к тому же ни молодости, ни красоты.

Сестра чувствовала: «Надо все уладить, помочь ему любым способом».

— У всякого свой вкус, — смущенно сказала она, от смущения хихикая.

— Ну вот, мы по крайней мере узнали твой, — заметил отец, считая, что натиск имел успех и можно позволить себе насмешку.

Сын не удостоил сестру даже взглядом.

— При чем тут твои агентурные сведения, отец, когда для меня это вопрос жизни?

После чего у отца лицо приняло жалкое и пришибленное выражение. Мать, уверенная в своей правоте, протестующе покачала головой.

— Князь, ее муж, дурно обращался с ней! — воскликнул сын.

— Он не был ее мужем. И она, говорят, предпочла ему его кучера, — возразила мать и, видя, что сын еле сдерживается, добавила: — Обсуди это с отцом! — А затем спокойно удалилась.

Сестра чувствовала себя отстраненной и потому тоже ушла, глаза ее были полны слез.

Отец сидел в выжидательной позе. Он склонил голову набок и разглядывал сына благожелательно, почти без всякого оттенка покровительства.

— Теперь мы одни, — сказал он наконец. — Почему не признать, что на этот раз мы сплеховали?

— Отец, клянусь тебе, что она с князем...

— А банкир, с которым она жила до того? А в промежутке между ними, Когда она

выставляла себя напоказ в театрах-варьете? Но не это важно: одним больше — одним меньше. Вопрос в том, желаешь ли ты войти в жизнь со спутницей, которая, по всем данным, ближе к закату, чем к восходу?

— Неверно.

— Ты, видимо, считаешь ее невинным созданием?

— Она целомудренна по самой своей сути. Я это испытываю на себе.

Отец опустил голову, и улыбка потонула в усах. Он счел своевременным повысигить тон.

— Ты хочешь, чтобы я пригрозил лишить тебя наследства? Неужто я должен прямо заявить, что не желаю быть обесчещенным и разоренным? — Эти резкие слова главным образом произвели впечатление на него самого; он встал и сказал, покраснев: — Мы, видимо, никогда не сговоримся.

— По твоей вине, отец.

Ожесточившееся лицо и нерешительно-протестующий тон разжалобили отца.

— Мы ведь друг другу нужны, — сказал он с ласковой строгостью.

— На что? Чтобы ты оскорблял меня в самом дорогом? — еще жестче ответил сын и при этом чувствовал: так и надо себя вести.

— Мы люди воспитанные, мы еще пойдем друг друга.

— Может статься, никогда, — оборвал сын, только чтобы отделаться.

Отец жестом предостерег уходящего сына.

— За последствия отвечаешь ты один. Я стою на своем.

Но на самом деле ему пришлось сесть, у него подогнулись колени; с мукой на лице смотрел он, как сын, допятившись до двери, круто повернулся и исчез.

Он пошел через дорогу. «Княгиня у своего поверенного», — сказали ему. Но и оттуда она уже ушла. Куда? Дальше был порт, длинные кривые переулки, грохот ломовых телег. Что ей могло понадобиться среди грузчиков, торговых служащих, шатающихся вереницами пьяных матросов? И все-таки она шла в этой толпе, как будто так ей и полагалось. Он сперва не узнал ее, настолько непринужденно, покачивающейся, но уверенной походкой несла она свое большое тело, настолько явно на месте были здесь ее смелые жесты и краски. Недаром она не вызывала ни удивления, ни недоверия. Мужчины оглядывались на красивую самку, при этом лица их от вожделения становились либо раболепными, либо наглыми; женщины иногда бросали ей вслед ругательства. Все это, однако, не означало: как ты здесь очутилась? — а только: ты здесь лучше всех. Навстречу шли двое.

— Она из «Голубого ангела», — сказали они и обернулись, потому что кто-то поздоровался с ней.

Терра был пунцового цвета и заикался, здороваясь с ней; он рассыпался в пространных комплиментах, говорил он резким тоном, стараясь выиграть время, чтобы подавить боль. «Она принадлежит всем на свете, разве это не ясно? Она обещает себя всякому, бросает вызов всякому. Нет никого, кто не видел бы ее нагой. Я вечно буду страдать из-за нее».

Он плел что-то о ее походке в толпе и при этом сознавал: «Ее лицо на все способно. Сейчас оно выражает только недовольство тем, что я увидел ее здесь. Но нет такого дерзания, на счастье или на погибель, какого бы я не мог ожидать от ее рта, от ее лба. Голос у нее божественный, в нем нет таких противоречий».

— Вы были у меня? — спросила она только.

— Почему вы так решили?

— Ведь мы условились. Я вспомнила об этом, увидев вас. — На его возмущенный взгляд она ответила: — Что с вами?.. Ах да, колье! Спасибо, я нашла его на столе, оно мне понравилось.

— Так дальше невозможно, — хрипло выдавил он. — Я жизнь свою ставлю на карту ради вас, я решил бежать с вами. А вы каждый раз делаете вид, будто ничего не случилось.

«Какая тоска, — думала она, — и еще тут, на виду. Шпионы князя шныряют повсюду, он может прекратить выдачу денег».

— Дитя! — сказала она звонко. — Когда вы станете взрослым мужчиной и настоящим джентльменом, вы сами будете заботиться о репутации женщин.

— Да ведь вы завтра же можете быть моей, — простонал он умоляюще.

— И на этом прикажете мне успокоиться? Обижайтесь, если хотите, но далеко ли вы меня увезете?

Подразумевалось: при ваших средствах. Он не понял и стал страстно уверять, что любви его хватит, чтобы увезти ее на край света.

— А как мне отвечать за это перед вашими родителями? — спросила она. — К тому же у вас есть сестра. — Она рассмеялась обычным своим звонким и равнодушным смехом. — Вы знаете, ваша сестра похожа на меня!

Он не нашел ответа от радости и испуга.

— Легка на помине... — сказала она, глядя на противоположный тротуар.

Что такое? Леа? И с Мангольфом? Они как раз скрылись за вереницей подвод.

— Красивый мальчик, — заметила она.

— Это мой друг, — сказал Терра. Она рассмеялась в ответ. Почему? Он нахмурил брови. — Они гуляют.

— Как мы, — отозвалась она, все еще смеясь.

— Дождь идет. Надо где-нибудь укрыться, — предложил он и шагнул к дверям первого попавшегося кабака. Но она осталась снаружи и смотрела вслед тем двум, когда они вынырнули из-за подвод.

— Ваша сестра собирается на сцену? Правильно делает, ее место там. Хорошо сложена и не сухощава.

— Пойдем дальше!

— Нет. Дождь идет.

Ему пришлось последовать за ней в залу кабака. Здесь было пусто, свежее-вымыто и пахло бедным людом. Он думал, хмурия брови: «Как мы попали сюда? И что это за тон

о моей сестре?»

Она сидела за столом и невозмутимо наблюдала, как он пересаживается с места на место. Потом сказала:

— Клаудиус, чем вы недовольны? Сестра тоже женщина.

Прекрасный голос не мог утешить, он не был гибок. Но прозрачные пальцы, с которых она сняла перчатку, протянулись к нему через стол. Он схватил их, схватил всю руку.

— Такая же женщина, как ты! Говори о ней по-дружески, это для нее честь. Будь ей другом, раз ты моя жена. Пойдем со мной!

— Смешно, я стара для тебя.

— Завтра жизнь только начнется для нас обоих.

— Ты представляешь себе жизнь совсем простой.

— Я ее представляю себе с твоим лицом и твоим телом.

— А я с твоим не могу себе ее представить.

— Ты должна. Я так хочу.

— Тут мне никто еще не смел приказывать.

— Ты слишком далеко зашла со мной. Я не любовник твой, но я нечто большее. Изгнанница, которая запуталась в судебных тяжбах и не имеет права встречаться с мужчинами, потому что за ней следят, женщина, которая может потерпеть крах как в материальном, так и в моральном и общественном смысле, прежде чем дела ее поправятся, — эта женщина бросилась мне на шею, тронутая моим горячим участием. Так надо же, наконец, сделать из этого выводы!

Она задумчиво оглядела его коренастую фигуру, неуклюжие пальцы, которые то разжимались, то вновь сплетались, кривившееся от злобы лицо. Взгляд ее потеплел.

Неожиданно она спросила:

— Скажите, милый друг, разве колье было необходимо?

Он взглянул на нее, желая убедиться, правда ли, что она заботится о нем. Потом стремительно припал губами к ее руке и простонал:

— Мадлон!

Она рассеянно погладила его по голове, засмеялась и принялась рассказывать о другом колье; то было очень дорогое, на него часть денег дал ее прежний муж, банкир, а остальное выплатил князь, каждый без ведома другого. Каждый был в восторге от своего дешевого и ценного подарка; к несчастью, они рассказали о нем друг другу и потом оба пожалели. Это, кстати, и положило начало ее теперешним затруднениям. Князь навсегда потерял к ней доверие.

— Надеюсь, милый друг, ваше колье оплачено только вами, у меня не будет неприятностей?

О! Это одно ее интересуется. Он резко постучал по столу, расплатился, взял пальто.

— Идем уже? — спросила она и покорно последовала за ним. Иначе он ушел бы без нее.

На улице тем временем стемнело. Ода сама взяла его под руку.

— Такой вы мне больше по душе, — звонко сказала она.

Он молчал. Они дошли до самого порта; она не спрашивала, почему они идут именно сюда. Звуки работы стихли, и вместо суетливой толпы грузчиков и портовых рабочих мимо них, словно летучие мыши, скользили одинокие фигуры с засунутыми в карманы руками. Из переулка, шириной с водосточную канаву, где мерцала красная точка, послышался крик. Тут она остановилась, настойчиво удерживая его за руку.

— Поверенный ни за что не ручается. Бывает так, что все труды идут прахом. Полоса неудач, как говорил Непфер, банкир. Как быть? Право же, я не создана для забот.

Он не двигался, чувствуя, что она все сильнее опирается на него. Вот она уже совсем лежит у него на плече; он трепетно ощущал каждое всхлипывание. Она сказала, всхлипывая, но все тем же бездушным голосом:

— Напрасно ты думаешь, что я о себе одной забочусь. Тогда бы я давным-давно сбежала с тобой. Я не хочу, чтобы ты по моей милости пошел ко дну.

В душе он ликовал: «По твоей милости я буду на седьмом небе!» — но не двигался, чувствуя, что она совсем повисла на нем, ему пришлось даже крепче упереться ногами в землю.

— Я мечтаю хотя бы о передышке. — Она всхлипнула еще раз. — Несколько дней прожить без забот. На такой срок мне удастся исчезнуть незаметно. Лишь бы и твои родные ничего не узнали!

Ее увядающее лицо было у самых его губ, он впился в это нежное лицо, и она покорилась, глубоко дыша, закрыв глаза. Из переулка, замирая, донесся тот же крик.

Они повернули назад; он все не мог собраться с мыслями. Она шла нехотя, касаясь его бедром. Мало-помалу сознание его заговорило. «Вот она — жизнь. На груди у меня покоится женщина с той стороны. Это уж не прежние невинные радости под крылышком семьи, вроде моих былых увлечений или вроде Леи с Мангольфом. Это — настоящее».

— Мадлон! — повторил он, только чтобы утвердить свое право на ее имя, на все ее существо.

— Этого имени я не хочу слышать от тебя, — возразила она и добавила задушевым шепотом: — Говори мне Лили! Так ты один зовешь меня.

Он удивился, но зачем разочаровываться?

— И для меня одного сестра моя зовется Леа.

— Видишь, точно как я.

Он весь съезжился, но тут увидел, что они подходят к ее дому. Собрать всю энергию!

— Дитя мое, ты немедленно сложишь чемоданы! — сказал он четко и решительно. Он назвал деревню, гостиницу, где они переночуют сегодня в ожидании утреннего поезда. В ответе он не нуждался, он просто пожал ей руку. Она дала его руке выскользнуть и задержала самые кончики пальцев. При этом лицо ее, в полутемном

подъезде, загадочно улыбалось, а голову она повернула в сторону лестницы.

Но вот и пальцы разжались, она кивнула и исчезла. Он перешел через улицу менее твердыми шагами, чем ожидал.

Перед дверью родительского дома он рассудил, что лучше ничего не брать, ехать без вещей, никого больше не видеть. Последний час принадлежит другу, — скорее к нему! Сразу ему стало дышаться вольнее. Этот путь он всегда и неизменно, будь то хоть дважды на день, проделывал с глубокой и живительной радостью. Тревожно припомнил он, что, переходя через дорогу к той женщине, никогда не испытывал такой полноты счастья, как идя к другу.

Дом позади старинной церкви св. Вита в затихшей по-вечернему улице мелких мастерских и контор был олицетворением повседневности: цветные стекла сеней в пыли, на узкой лестнице следы многочисленных посетителей. Из бельэтажа, где висела дощечка: «Мангольф, комиссионер», все еще доносились голоса. В следующем этаже прямо из кухни на площадку вышла мать друга. Она вытерла разбухшие руки и смиренно отворила важному гостю заветную дверцу. За той дверцей неожиданно и многозначительно шла вверх крутая лестница в комнату друга.

Друг сидел за письменным столом, левой рукой опираясь на крышку рояля. Гость прошел между походной кроватью и зеленым диваном, стул поставить было бы негде. Друг, просияв, подал ему руку, они убрали с дивана книги. Терра тут же успел сказать:

— Вот для чего я главным образом пришел: ты свинья. Посмей отрицать свои заигрывания с пастором и директором театра. Порядочным людям ясно, что это гадость. Зато буржуа прославляют твою благонамеренность. Я с удовольствием вижу, что ты уничтожен.

Мангольф кусал губы. Он сидел, сгорбив узкие плечи, выставив вперед высокий желтоватый лоб: вид у него был плачевный. Терра на диване весь дрожал от воинственного задора. Черные глаза горели из-под густых волос, клином вдававшихся в лоб и далеко отступавших от висков.

Однако Мангольф рискнул усмехнуться печально и тонко.

— Ты думаешь, я буду участвовать в их благочестивой комедии? Я их за нос вожу. — Правда, это не было ответом, а лишь попыткой увильнуть. Вслед за тем сам Мангольф перешел в наступление: — Слыхал ты, что твой отец добивался ареста вашего бухгалтера Шлютера?

— Бухгалтера из портового склада?

— За социал-демократическую пропаганду. Тому едва удалось отвертеться, его попросту убрали из города.

Мангольф глянул выжидающе; но Терра выразил одно наивное изумление. Как искажаются события в устах толпы! Какой неверный взгляд на его отца! На его отца, самого рассудительного человека в мире!

— А Кватте подделал векселя, — продолжал Мангольф насмешливо. — Таким образом доброе имя еще одного из старейших кланов нашего почтенного города ставится под вопрос по милости Христиана-Леберехта Кватте.

— Они ходят в церковь, они даже крестят свои суда, — язвительно подхватил

Терра. — Они закоснели в том мировоззрении, которое левее национал-либерализма² видит одно непотребство... — Он говорил еще долго, с возмущением, от которого ему внутренне становилось только веселее, пока Мангольф не возразил, что как-никак здесь, в городе, немало богатых, по-настоящему светских людей и многие из здешних далеко пошли. Это оправдание не имело веса в глазах патриция Терра, он ненавидел этот город безоговорочно — без того стремления возвыситься, которое томило сына комиссионера Мангольфа. Сын почитаемого гражданина, Терра сказал:

— Здесь даже с большими деньгами ничего не достигнешь.

— Ну, нет. — Мангольф встрепенулся. — Представь себе, я бы явился в контору хлебной фирмы Терра в качестве лидера сильной партии и сообщил ее хозяину очень веские сведения о будущих судьбах старых бисмарковских покровительственных пошлин³.

— Ну, а дальше?

— В наше время пошатнувшиеся фирмы спасаются как умеют. — Мангольф искоса взглянул на друга, который явно ничего не понимал. — И прибегают к весьма интересным способам. Судно консула Эрмелина, недавно затонувшее, было незадолго до того застраховано в большую сумму.

— Если бы тут пахло преступлением, Эрмелин не мог бы быть другом моего отца.

Мангольф даже рот раскрыл от такой наивности.

— Ну, — добродушно заметил он, — мало ли с кем и сам кайзер поддерживает дружбу. Нельзя же бросаться словом «преступление».

Терра, выпрямившись, разразился целой тирадой.

— На этот счет я другого мнения. Такого рода дружба клеймит людей. Сейчас, в тысяча восемьсот девяносто первом году, только в одной стране всю общественную жизнь в целом можно сводить к частному обстоятельству, а именно к единоборству Вильгельма Второго с социал-демократией.

— Он заявляет, что социал-демократия противоречит божественным законам, то есть его собственным интересам, — насмешливо подхватил Мангольф.

— Его изречение «Социал-демократию я беру на себя» — прямо-таки верх бессмыслицы.

— Все понимать буквально — значит уподобиться плохому актеру, который с одинаковым пафосом произносит все фразы подряд: священная особа моего деда, небесный зов. — Мангольф сам заговорил по-актерски.

Терра подхватил:

² *Национал-либералы* — политическая партия, представлявшая интересы крупной промышленной буржуазии; существовала с 1866 по 1918 год. Национал-либералы активно поддерживали политику Бисмарка, голосовали в 1878 году за исключительный закон против социалистов, упорно сопротивлялись введению всеобщего избирательного права в Пруссии.

³ *...старых бисмарковских покровительственных пошлин.* — Бисмарк ввел в 1879 году высокие покровительственные тарифы на железо, бумажную пряжу и хлеб. В высоких хлебных пошлинах было заинтересовано прусское юнкерство.

— Божья благодать!

— Да, романтический вздор, отнюдь не санкционированный церковью.

— Слово «гуманность» он произносит не иначе как с эпитетом «ложная».

— Только маньяк, воспринимающий весь мир с личной точки зрения, способен требовать от детей, чтобы они убивали своих родителей.

— Он думает, что опирается на армию, в действительности же он опирается на парадоксы. Долго ли они продержат его? — спросил Терра.

Юный Мангольф покачал головой.

— Очень долго, — сказал он твердо.

Юный Терра с жаром произнес:

— Не может быть, чтобы сейчас, в тысяча восемьсот девяносто первом году, разум долго оставался неотомщенным. Кто, собственно, верит этому маньяку? Все только делают вид, будто верят — из страха, из хитрости, из снобизма.

— Верят тому, в чьих руках власть! — сказал Мангольф убежденно.

— Тогда не должно быть власти!

— Но она есть. И всякому хочется урвать от нее свою долю.

Согласный ход мыслей оборвался; в двадцатилетнем задоре, юноши испытующе смотрели друг на друга — один властно, другой упрямо.

— Ты замышляешь измену, — утверждал Терра. — И ты будешь разыгрывать религиозную комедию — по примеру твоего кайзера.

— Допустим. А ты молишься разуму. Но неразумное начало гораздо глубже засело в нас, и в мире его влияние гораздо сильнее, — взволнованно доказывал Мангольф.

— Лицемерные уловки! — твердо и холодно отрезал Терра.

— Тупица! Можно подделывать векселя и все же искренне веровать. Ссылаюсь в том на кайзера, господина Кватте и себя самого.

— Чистенько же должно быть на душе у такого субъекта!

— Я презираю твою чистоплотность. Знание добывается в безднах, а там не очень чисто. Что ты знаешь о страдании? — Мангольф говорил все так же истерически взволнованно.

Терра поймал его блудливый взгляд, взгляд постыдно-тщеславных признаний.

Он не хотел слушать дальше; он встал и за недостатком места повернулся вокруг собственной оси.

— Твои страдания! Надо же когда-нибудь договориться до конца! Значит, жизнь не стоит того, чтобы подходить к ней честно?

— Кто ее постиг, тому остается презирать ее, — сказал двадцатилетний Мангольф.

— И слушать коварный зов небытия. Я его не слышу, — сказал Терра. — Презирай меня сколько хочешь! Твое страдание так понятно! Оно происходит оттого, что ты наперекор собственному разуму отчаянный карьерист.

— Обольщать мир как простую шлюху — в этом глубочайшее сладострастие презрения к себе.

— Как? И к себе тоже? Ты слишком много презираешь, это к добру не приведет. Я предпочитаю ненавидеть. — Терра крепко уперся ногами в пол. — Мне ненавистны успехи, ради которых тебе приходится обманывать свою совесть. Ложь ослабляет. Ты потеряешь власть над своим изнасилованным разумом, запутаешься и плохо кончишь.

— А ты со своим незапятнанным разумом сразу же берись за револьвер, тебе рано или поздно его не миновать.

Теперь встал и Мангольф. Они меряли друг друга пламенным взглядом, каждый из них провидел правду своей жизни и готов был любой ценой отстоять эту правду.

Потом один отступил насколько мог, а другой провел рукой по лбу. Они уже не смотрели друг на друга, каждый чувствовал: «Я желал ему смерти». Терра встряхнулся первый, он мрачно захохотал:

— Будь мы более примитивными натурами, бог весть чем бы это сейчас кончилось.

Мангольф сказал с затаенной улыбкой:

— Тогда спор был бы не об идеях, а о деньгах.

— Как у наших прадедов.

— Значит, и ты слыхал об этом, — сказал Мангольф сдержанно. Он сел за рояль. Терра все еще стоял неподвижно, потрясенный.

Когда он вернулся на прежнее место, перед ним неожиданно всплыл образ женщины с той стороны — женщины, с которой он этой же ночью собирался начать жизнь. Сердце у него забилося сильнее, он услышал как бы страстный ритм самой жизни и понял, что друг играет «Тристана»⁴.

— Мне пора, — сказал Терра уже на пороге.

Мангольф, против ожидания, прервал игру и обернулся. Юношеское лицо его было затуманено гнетущей скорбью.

— Клаус! Ты идешь к своей возлюбленной?

— Последуй моему примеру, Вольф, — и будь счастлив!

Взгляд Мангольфа дрогнул; ему было не по себе от чувства внутреннего торжества.

— Значит, ты собираешься бежать, Клаус? Ты, чего доброго, собираешься жениться на ней?

— Удивляйся сколько хочешь!

— Итак, вот тот случай, когда и ты приносишь в жертву разум, Клаус.

— С восторгом!

— Ради женщины? Ради лживого существа, расслабляющего нас? — спросил Мангольф со сладострастным торжеством. Никогда еще не любил он так сестру друга, как в этот миг. Очевидно, между их взаимной ненавистью и его любовью к сестре

⁴ «Тристан». — Имеется в виду опера Рихарда Вагнера (1813—1883) «Тристан и Изольда».

друга была роковая зависимость. Нехорошее чувство — сколько болезненного удовлетворения давало оно Мангольфу!

Терра стиснул пальцы и сказал вполголоса, твердо, на одной ноте:

— Я хочу для нее жить и умереть, трудиться и, если нужно, воровать. Для нее я мог бы стать карьеристом и шулером, но тогда она разлюбила бы меня. А ее любовь всегда будет для меня единственным знаком, что я не потерпел крушения, что я победил.

Мангольф слушал этот бред, эти прорицания. Сам он сегодня говорил те же слова для успокоения женщины. Другу же они нужны были для самоуспокоения. Мангольф сказал серьезно:

— Я мог бы презирать тебя. Но я предпочитаю преклоняться перед тобой.

— Ибо ты мне друг, — ответил Терра и, прежде чем уйти, крепко пожал руку Мангольфа.

Он пошел домой; все, по-видимому, уже спали; забрав самое необходимое, спустился в сад. Он не оглянулся: родительский дом должен быть вычеркнут из памяти. Через калитку он выскользнул на поляну, оттуда на берег реки, сел в лодку и начал грести. Он рассчитывал проплыть часа два в беззвездной темноте, с непокрытой головой, обвеваемой ветром с моря. Вместо этого он едва не въехал около устья реки в целый караван барж. Голос, окликнувший его, был как будто знаком. Потом засветился фонарь.

— Шлютер?

— Молодой хозяин! Может быть, мне повернуть назад?

— Куда это вы едете?

— А вы? — недоверчиво спросил Шлютер.

— Я сейчас взберусь к вам. — Очутившись наверху: — Отец отсылает вас? Из-за консула Эрмелина? Выкладывайте все! — Он оглядел баржи: — Зерно?

— Из-за зерна я и еду, — подтвердил Шлютер. — А также из-за господина консула, чтобы он был избран в рейхстаг. Кстати, мы хотим поскорее сбыть с рук зерно, цена на него слишком дешевая.

— Вы хотите сказать — дорогая?

— Вы, сударь, еще мало сведущи в делах. Это зерно ввезено до новых, повышенных пошлин, оно много дешевле местного и сбивает цену. Его надо убрать из страны, вот я и вывожу его.

Юноша долго молчал в темноте. Наконец, разобравшись во всем:

— И вы, вы, будучи социал-демократом, помогаете взвинчивать цену на хлеб?

— Именно поэтому. Такое дело ваш отец может поручить только человеку, за которым числятся какие-нибудь грехи. Ведь назад-то вернуться захочет каждый. А я болтать не стану. Будьте покойны.

— Я спокоен. Но поезжайте один. Я спущусь в лодку и пристану к берегу.

Снизу Терра спросил:

— Что вы будете делать, если таможенная охрана задержит вас?

Доверенный отца крикнул в ответ:

— Тогда я поверну назад и потоплю все.

После этого сын стал еще быстрее грести прочь. Он причалил к морскому берегу и, рассекая колышущуюся траву, пошел знакомой дорогой в село, к гостинице, дававшей ему приют в различные периоды жизни: шаловливым ребенком он бывал здесь с ласковыми родителями; задорным школьником — с товарищами, такими же чистыми сердцем, как и он; юношей — в компании сверстников. Все это были сплошные заблуждения. На самом деле жизнь не была такой. То было неведение, солнечная поверхность. Наступает день, когда узнаешь истину, такую неожиданную и страшную, что навсегда теряешь охоту шалить и смеяться. Потом к первому разочарованию примыкают другие, цепь становится все тяжелее. И несешь ее как каторжник, даже через самую свободную жизнь.

В плохонькой комнате с низким потолком сын припоминал лицо отца, каким оно бывало в торжественные минуты, его выражение наедине с самим собой и как отражались на нем ничтожные события, которые неизвестно почему навеки врезаются в память. Потолок был весь черный от ламповой копоти. В окно застучал дождь. Море, там за окном, рокотало. Дом, открытый ветру и непогоде, содрогался, как корабль. Сын с перекошенным лицом, задыхаясь, старался уловить черты дурного человека на лице своего отца. И не мог. Зато в душе у него раздавался приветливый, умудренный опытом голос, звучавший даже робко сегодня днем. И это друг преступника Эрмелина? Значит, мы не ответственны и за наши собственные деяния, и это хуже всего.

За что может отвечать мать, такая горделивая и по-детски уверенная в себе? Ну, а как же молодой лейтенант, которого сын, еще подростком, искал однажды по всем комнатам, пока не извлек из-за портьеры в музыкальном салоне матери? «Ах! я думал, это твой отец», — сказал лейтенант и засмеялся, облегченно вздохнув.

Дом задрожал, сыну стало жутко. Сам он беспечно обкрадывал родителей, чтобы пойти к девкам или устроить пирушку, о которой бы потом говорили. Он отрекался от друзей. Малодушные поступки и нечистые помыслы — вот с чем он приходит к совершеннолетию.

Он сидел, скорчившись на соломенном стуле, а видения возникали перед ним. Нет конца пытке. Вот появилась сестра в подозрительном переулке об руку с его собственным другом, они куда-то спешат потихоньку под проливным дождем. Смех женщины с той стороны! Он больше не заблуждался относительно ее смеха. Ни один из простодушно чтимых образов не выдерживал испытания — и ни один из прежних догматов! Именно с этим своим другом, что предавал его сейчас, они в дни гордого расцвета и в горячечные ночи ставили под сомнение все существующие законы. Освобожденный дух, поднявшийся над моралью, верованиями, страхом человеческим, вознесшийся выше мира и самого божества, — чтобы стремглав упасть к ногам женщины!

Он вскочил, лицо у него пылало. Скоро она придет, та женщина, которую он любил, ради которой бежал, все порывая, через все преступая! Близок условленный час! «Только бы не попасться ей на глаза теперь. Теперь, когда я во власти сомнений. Величие непреклонного духа, возмущение еще не поколебленной нравственности — неужто это была всего лишь ловушка страстей?.. Бегство! Бунт — но когда, в какую

минуту? После того, как отец запретил мне компрометирующие встречи... Значит, мой бунт — заносчивость и ложь. В сущности я такой же, как все. Я бы со всем примирился, на все был бы согласен, лишь бы мне дали ту, кого я желаю. Лучше бы она не пришла, мне стыдно...»

Что это? Уже светает? Он распахнул окно. Угрюмая тишина; проблеск рассвета, без надежды на солнце. Массивы туч над тусклым морем. «Дышать, пока дышится. Пусть я обманывал себя, — теперь я знаю истину, ту, самую последнюю, что я дурной человек. Я убегаю с дурной женщиной, так оно есть, так оно будет, и я не хочу, чтобы это было иначе. Хорошо, что она не пришла до сих пор. Теперь пусть приходит!»

Он пошел на железнодорожную станцию. Она, наверно, будет в первом поезде, он сядет к ней в вагон и помчится прочь из ночи познания и прощаний — прямо в жизнь как она есть. «Только не надо закрывать глаза, не надо лживой благопристойности. Связавшись с авантюристкой, можно стать великим человеком, проходимцем или ничтожеством — лишь бы отвечать за себя. Простое человеческое достоинство требует, чтобы на совести у меня не было гнета. Пусть другие плюют мне в лицо, лишь бы самому мне сохранить к себе уважение».

«А вот и поезд! Я здесь». Рванул одну дверь, другую, ее не было нигде. Он отступил растерянный, ошеломленный. Это жестоко, ей надо было приехать. Она изменяла ему как раз в тот миг, когда все ему изменило. Теперь он должен один со своей прозревшей совестью пускаться в жизнь, которая только что благодаря ей была полна прелести и очарования и вдруг сразу поблекла и опустела, как чуть посветлевшая утренняя морская гладь позади поезда. Оттолкни свой челнок от берега, плыви в открытое море и никогда не поворачивай назад! В жизни ты познаешь одну смерть, но, быть может, прав Мангольф — благая часть именно она... С другой стороны тоже подходил поезд. Терра сел в него, не размышляя: все равно беглец, хоть и возвращающийся восвояси.

На вокзале он увидел, что всего семь часов. Он пошел домой. Окно в комнате сестры было уже раскрыто; ему захотелось к ней; он взбежал вверх, распахнул дверь и отпрянул.

Бешенство до такой степени исказило его лицо, что сестра, сделавшая движение протеста, в испуге остановилась. А друг, попеременно краснея и бледнея, колебался между стыдом, гордыней и желанием причинить боль. В тот миг, когда появился брат, эти двое уже не стремились друг к другу — они расставались.

Терра — со злобным сарказмом:

— Ситуация такова, что дает мне право спросить, намерен ли ты жениться на Лее?

А Мангольф:

— В полном согласии с Леей, отвечаю отрицательно.

И сестра в подтверждение упрямо кивнула головой.

Лишь теперь Терра закрыл дверь. Он шагнул вперед, как будто для разбега: переводя взор с нее на него, он, видимо, размышлял, на которого из двух броситься.

Так как он не мог решить, Мангольф сказал тихо, чуть не робко:

— Пожалуй, мне лучше уйти? С глазу на глаз вы скорее столкнетесь.

Терра прорычал, все еще пригнувшись, как для прыжка:

— Ты получишь от меня разрешение удалиться, только если дашь торжественную клятву, что это наша последняя встреча в жизни.

— На это трудно рассчитывать. Да и желать нам этого не следует.

— Я только об этом и молю судьбу. — Терра ударил себя в грудь.

— Я слышу, как судьба отвечает: нет. Итак, будьте оба благополучны! — сказал Мангольф печально и насмешливо.

Сестра затворила окно и стояла, не шевелясь. Но, услышав, как брат хрипит, словно в предсмертной агонии, она испугалась и взглянула в его сторону. Он стоял, прильнув лбом к шкафу и стиснув руками виски. Услышав ее возглас: «Клаус!», он шарахнулся как ужаленный и стал выкрикивать:

— Подумай хотя бы о моем унижении! — И с нарастающим бешенством: — Беги за ним! Не обуздывай своего неукротимого влечения! Догони его, бросься скорей к ногам этого труса, пока он не улизнул.

Он пропустил мимо ушей ее возражения.

— Я видал вас на Портовой улице. Помилуй тебя бог, ведь он нехотя плелся за тобой. По лицу видно было, что он замышлял измену.

Он надрывно захохотал, — образ женщины с той стороны стоял перед ним.

— Старая песня! Нечего беречь свое достоинство, чтобы оно плесневело здесь. Беги за ним!

В изнеможении упал он на стул, тогда заговорила она:

— Мое достоинство тут ни при чем. Я не считаю себя покинутой. Я собираюсь на сцену.

— Значит, это была подготовка? — пролепетал брат в изнеможении.

— Не смейся, ты и сам не знаешь, насколько ты прав. За последнее время я так много извела, что самым признанным актерам есть чему у меня поучиться.

Она стояла, картинно выпрямившись; бледное лицо и алые губы сверху бросали страдальческий вызов.

Брат глядел на нее снизу, открыв рот. Потом заговорил спокойнее:

— Для этого надо быть исключением, — но мы бываем им в минуты подъема. А в промежутках — жизнь, куда входит и театр, как обыкновенное ремесло.

— Во мне достанет силы, чтобы преодолеть часы застоя, — с высокомерным смехом сказала она.

— Тебе? С нашей-то совестью? — Как ни горделиво она поднимала голову, он продолжал: — И тебе придется смириться. Лишь час назад я считал себя вооруженным против будничной жизни. А сейчас она снова крепко держит меня в своих лапах.

Сестра увидела, как у него дрогнул рот, и мягко сказала:

— Кто-то причинил тебе страдание. Не сваливай вины ни на себя, ни на меня. Лучше заключим союз. — Она протянула ему свою прекрасную, еще детскую руку.

— Только без необдуманных излияний! — резко сказал он.

— Мы и так достаточно думали! Ты ведь злишься оттого, что снова чувствуешь себя маленьким мальчуганом.

Грудь его вздымалась, рыдание готово было вырваться наружу, он чувствовал: «Меня влекло к тебе, потому я не ушел сразу. К тебе одной в целом мире». И в то же время думал: «Сдержаться — во что бы то ни стало!» Он взял протянутую руку и ласково погладил ее.

Она перегнулась через его плечо, чтобы ему не было стыдно, обхватила его шею рукой и прошептала вкрадчиво:

— Неужели ты хотел уехать с ней?.. Мне рассказали об этом.

У брата не было сомнений, кто именно рассказал. Но ее рука, ее вкрадчивый голос! Она вела себя, как женщина, как — та. Он не шевелился, он молчал.

— Я знала и то, что ты напрасно ждал там.

— Почему?

— Потому что она была у себя, напротив, долгое время после отхода поезда и уж совсем поздно вышла из дому.

Он стремительно повернулся.

— По-видимому, нам обоим немало суждено пережить... Я иду туда.

— Да ведь она съехала! — крикнула сестра ему вслед.

Он вернулся.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Она переехала в гостиницу, не знаю — в какую... Что с тобой? Я тебя боюсь!

Он уже мчится по улице. Улица крутая, ветер свищет навстречу так, что дух захватывает. Но ему кажется, что тело застыло на месте, настолько опережает его душа. За углом, на площади — карета, она еще не тронулась, надо настичь ее. Вещи уже там, — и едва успела выйти и сестра она сама, как добежал и он. Он бросился на ходу в экипаж, схватил ее руки, выгнул их.

— Ты хотела уехать, сознайся!

— В чем уж тут сознаваться? — Она пыталась высунуться из окна, ей было страшно.

— Я тебе руки сломаю!

Она вскрикнула, но тут же сказала обычным своим звонким голосом:

— Князь написал мне. Он согласен мириться. Чего ты можешь требовать после этого?

— Тебя, — сказал он, отвел ее руки и впился в ее губы, как прошлой ночью в порту.

— В порт! — крикнул он кучеру. «Вчерашний кабак! А над ним, тут же в доме, комната для походов портовых девок, с которыми она смешалась вчера, которым она уподобилась. Чувствуешь, кем ты стала? Вот что нужно было, чтобы ты сделалась

как воск в моих руках».

Она позволила отнести себя в комнату, она позволила бросить себя на кровать. В комнате пахло, как в пустой атласной шкатулке, ее бывшим содержимым.

У кровати были занавески, наверху их скрепляло зеркало.

Юноша мстительно произнес у самого ее рта:

— А теперь? Пойдешь теперь со мной?

Блаженно вздохнув, женщина с той стороны сказала:

— Глупый, это ты и раньше мог получить.

— Я хочу, чтобы ты ушла со мной.

— Но ведь князь же написал мне. — Она зевнула.

— И ты способна вернуться?

— Разумеется.

Он занес кулаки. Она сказала, себе в оправдание:

— Так надо.

— Терзать меня? Продавать меня? Отнимать у нас все счастье жизни?

— Быть благоразумными, — закончила она и притянула его к себе.

Сколько он бесновался, ревел от боли, плакал от грусти! Теперь довольно, не думай, наслаждайся. Тело у нее белое, как амфора, гибкое, как борющийся зверь. Оно выплескивается из убожества этой подозрительной каморки, оно вырастает для тебя во вселенную, ты полон им. Молчи, впивай струящиеся предчувствия, припав к ее увядающему лицу. «Она чужая женщина, а у нее волосы сестры. Девка, а у нее тот же, только более зрелый рот. Я целую ее рот и лишь сейчас познаю свою сестру. Эта женщина — сестра и ей и мне. Все мы — одно».

Она спросила:

— Отчего лицо у тебя стало таким прекрасным? — ибо оно расцвело в мечтательном блаженстве.

— Ребенка от тебя! — сказал он страстно, и как ни высмеивала она его, как ни возмущалась, показывая свое безупречное тело: — Ребенка от тебя! — пока она не вцепилась в него, молящая и покорная.

— Значит, я уйду без тебя? — спросил он напоследок.

Она ответила, что звучит это печально, но такова жизнь. Мало-помалу привыкаешь быть одиноким и тем не менее зависимым от всех. То и другое неизбежно. Меня это не трогает.

— Неужели мы живем для того, чтобы нас ничто не трогало? Какой же в этом смысл?

— Вот какой! — ответила она в поцелуе.

Глава II Единоборство

После нескольких семестров в университетах, где нарочито поддерживаемый дух романтики только укрепил современные воззрения Вольфа Мангольфа, молодой человек в 1894 году отправился в Мюнхен, чтобы завершить там свое образование. Новоиспеченный доктор прав скоро стал бывать у многих профессоров, а при их содействии завел знакомства и выше. На карнавалах и пикниках он блистал не меньше, чем на более серьезных вечерах молодежи, увлекающейся искусством и наукой.

Но в своих двух изящно обставленных комнатах на первом этаже, скрытый от посторонних взоров, завоеватель жизни довольствовался самой скромной пищей, торопился снять ловко сшитый сюртук и в тесной одежде школьных времен, наморщив лоб, занимался подсчетами и сведением баланса.

Пылающие щеки тех девушек, которые позволяли себя целовать, оценивались лишь в зависимости от влиятельности их отцов. Холодное рукопожатие какого-нибудь молодого аристократа имело куда больший вес. Аплодисменты после сыгранного на рояле «Тристана» учитывались со стороны пользы, какую можно из них извлечь. Сколько знакомств принесло лето, к чему могло бы повести данное приглашение на дачу, какие виды для служебной карьеры открывала своевременно преподнесенная лесть?

Граф Ланна — «мой коллега граф Ланна» — сказал дословно следующее: «Каждый молодой человек, который придерживается правильных взглядов, может надеяться, что у определенных влиятельных лиц он на примете». Медленно и отчеканивая слова, сказал он это во вторник в семь часов в уборной. Неужели это было брошено так, без особого значения? «В среду он принял мое приглашение на завтрак, в четверг пришел. Он как будто и не удивился, что была икра. Моего поручительства на векселе он потребовал как равный у равного. Я твердо убежден, что он меня не подведет. Ведь он граф Ланна, сын посла! Рано или поздно отец об этом узнает. Я там на примете».

Однако за поручительство можно дорого поплатиться! «Я простодушен, как дитя. Какое дело этим людям до плебея, который оказал им услугу?» Горячей волной нахлынула ненависть к сильным мира, но острая, пронизывающая боль заглушила даже ненависть: ты ничтожен, ты зависишь от тех, кому по законам природы полагалось бы подчиняться тебе. Ты должен приспособиться к их нравам, твоя мудрость должна равняться по их взглядам, ты повседневно отрекаешься от себя самого. Как ты живешь!

Надо сдерживать моральную тошноту, лечь и закрыть глаза. И тут сквозь закрытые веки возник образ друга, утерянного, давно вычеркнутого из памяти, столь презираемого на расстоянии, — но войди он сейчас, и ты бросишься к его ногам. Ты увидишь его лицо, как всегда, без маски, лицо, изборожденное непритворными чувствами, и в ответ от тебя потребуется такая же честность. «От меня! Что знает он обо мне? Человек его склада проходит через жизнь как глупец, — он ничего не желает, его ничто не гнетет, ничто не тянет вниз. Разлада, в котором таятся отчаяние и смерть, он и вовсе не видит. Ему легко, он не честолюбец!»

И честолюбец склонился над своим отражением в зеркале, увидел хорошо знакомые черты. В этот миг самоистязания они обострились и ввалились под высоким желтым лбом, дряблым лбом старца. Глаза с беспокойной злобой встретили

собственный взгляд. Так сидел он, и его мысль, то восторженно, то содрогаясь, взвешивала успех, власть и смерть, пока, наконец, его не настигло лучшее из всего земного — сон, горячо призываемый страждущим «я», которое жаждет забыться.

Наутро он вспомнил: «Я еще не был у Леи. Ехать недалеко, и она ждет». Он отмахнулся. Разве можно любить неудачливую актрису?

Итак, скорей на люди, надо быть веселым и полезным, надо нравиться. Вот так, живо пройтись на руках по всей комнате. У такого ловкого молодого человека никто никогда не увидит того лица, какое было у него вчера вечером. Гримасы перед зеркалом! Это придает беспечность. Важно также, чтобы одежда была безупречна как с точки зрения щеголя, так и обывателя.

Вот он уже в пути, уже на ходу — этот невозмутимый молодой человек по имени Вольф Мангольф, но его окрыленный путь прерывает мысль о неудачно выбранном галстуке, и — ничего не поделаешь — приходится вернуться домой.

В один из таких прекрасных сентябрьских дней он встретил некоего Куршмида, случайного знакомого. Мангольф сначала даже не мог вспомнить, где он видел этого кудрявого блондина. Несомненно, где-то за кулисами. Совершенно верно, у Леи. Коллега, который читал ей свои стихи. Безнадежный способ занять ее воображение.

Этот Куршмид передал от нее привет смущенным и вместе с тем язвительным тоном, который означал: «Она зовет тебя, почему ты не приходишь? Мне, любящему ее честнее, чем ты, она поручила привести тебя. Вот я пред тобой со своей трагической скорбью, — что ты ответишь мне?»

Мангольф попросту взял его с собой на ярмарку, развлечься в блеске и шуме балаганов, каруселей и пивных. В компании были два веселых художника, некий молодой богач и еще граф Ланна. Богач, который был на две головы выше остальных, вставив в глаз монокль, с огорчением констатировал, что женщин не видно нигде.

И вдруг рванулся в толпу. Музыка, гремящая со всех сторон, заглушила его боевой клич, но сомнений не было — он заметил женщину. Остальные последовали за ним. Куршмид не покидал Мангольфа, обхаживая счастливого соперника, словно тот был его начальством.

Наконец обнаружилось, что влекло к себе богача. Минуя несущуюся с диким ревом карусель, минуя ряд балаганов, он устремился к ничего не подозревающему созданию. Оно стояло в коротенькой мишурной юбочке, кутаясь в убогий платочек, и, видимо, поджидало кого-то среди досок и парусиновых полотнищ, за кулисами праздничного блеска.

Друзья богача предоставили ему свободу действий, но с противоположного конца быстро и решительно приблизился коренастый человек, освободил мишурную юбочку и увлек ее за собой. При свете фонаря можно было разглядеть, что у нее копна рыжих волос, у него — смело очерченный профиль. Все успокоилось на этом, кроме Мангольфа. Он умышленно отстал от всей компании. Но Куршмид от него отстать не пожелал, и Мангольфу пришлось частично довериться ему. Тот человек... ему показалось, что это старый знакомый. Не то чтобы он хотел при подобных обстоятельствах возобновить знакомство, словом, Куршмид понимает...

Куршмид понимал даже больше. Его бережный тон показывал, что он чувствует какую-то тайну. Итак, в темных закоулках вокруг большой, с диким ревом несущейся

карусели они вместе принялись искать Клаудиуса Терра.

И тут, в ярко освещенном проходе между балаганами, друг действительно встретился ему. Пока Куршмид искал в толпе, Мангольф увидел друга, шагающего в сторонке по безлюдной площади. Шарф, светлый пиджачок, рука в кармане черных брюк, вид опустившийся, но голова гордо поднята. Мангольф знал, что отчужденный взгляд друга уже скользнул по нему, что тот больше не обернется и потому можно беспрепятственно созерцать его. Но во время созерцания лицо у него самого сделалось униженным, а когда он спохватился, было поздно: Куршмид стоял рядом и кивал головой, словно ему все понятно.

Тогда Мангольф решительно отстранил его и пошел своим путем. Кто смеет становиться между ним и Терра? До конца дня, куда бы он ни попадал, он повсюду лихорадочно искал бывшего друга, словно для поединка. Он не хотел наводить справки. От него самого, из собственных его уст хотел он узнать, по какой наклонной плоскости катится друг, к чему ведет жизнь без цели и честолюбия. Терра видел его; он не отступник, чтобы длительно избегать встречи.

Вечером в кабачке дверь распахнулась — Терра стоял на пороге. Мангольф как раз сострил. Окрыленный успехом, он приветствовал друга, как желанного гостя, хотя и свысока. «Слава богу, — подумал он, — хоть оделся прилично». Терра держал себя с достоинством и некоторой даже строгостью, пока Мангольф представлял ему общество — графа Ланна, богача Пильца, обоих художников и Куршмида. Церемонно, с выразительной мимикой осведомился он у графа Ланна о самочувствии его отца. Знаком ли он с ним? «По его деяниям, — сказал он звучно и в нос, затем повернулся к богачу Пильцу, о миллионах которого тоже слышал. — Мыло вашего папаши дорожает. Что бы это значило?» — заметил он и тотчас обратил внимание обоих художников на то, что за соседним столом явно интересуются их прославленными физиономиями.

— Все в порядке, — сказал он, поднимая брови. На актера Куршмида, который упорно разглядывал его, он не обратил внимания. — Теперь поговорим о нас с тобой, — объявил он и чокнулся с Мангольфом. Пил он обстоятельно, с причмокиванием и в особо мужественной позе. Где он научился так лебезить? Неужели он не понимает, что это смешно? Мангольф с тревогой заметил, что оба художника уже рисуют на него карикатуры: рыжеватая раздвоенная борода, которую он отрастил, сверкающие черные глаза, волевая складка в углах губ, — а в целом все же только лицо полукарлика, который силится казаться выше.

Совершив возлияние, Терра еще раз поднял стакан, приветствуя друга, потом бережно отставил его и спросил, неожиданно проявляя радость свидания:

— Как же ты развлекался все эти годы, милый Вольф?

— Если считать это выражение подходящим, то, по-видимому, у тебя найдется больше, о чем порассказать, — ответил Мангольф.

— Я не развлекался, — сказал Терра и на весь зал добавил: — Я компрометировал себя.

— Ты возвел это в профессию?

— Что же еще на этом свете делать молодому лоботрясу, если только он родился не слабоумным, как не компрометировать себя? — И обращаясь к Куршмиду: — Мы

видимся не впервые, милостивый государь.

— Весьма возможно. — Куршмид обменялся с Мангольфом озабоченным взглядом.

Терра перехватил этот взгляд, после чего, радуясь предстоящему развлечению, обратился к богачу Пильцу:

— И с вами мы знакомы. Молодая девица, которую вы в закоулке, позади ярмарочных балаганов, заверяли в своем преклонении, вполне заслуживает его, клянусь честью. Кожа у нее такая ослепительная, что змея, которой эта девица себя обвивает по долгу службы, не может соперничать с ней в блеске. Надеюсь, грязные ногти у женщины вам не мешают?

Богач деловито подтвердил, что не мешают. Граф Ланна спросил небрежно:

— Вы подвизаетесь в варьете, господин..?

— Терра. — И запинаясь: — Вы льстите мне, господин граф. Правда, я испробовал немало профессий...

Даже художники перестали подсмеиваться, заметив, как безоружен этот человек, когда кто-нибудь осадит его. Но Терра уже оправился. Ланна избегал встречаться с ним взглядом, — впрочем, трудно было сказать, куда устремлены глаза молодого аристократа, тусклые глаза с отливом полудрагоценных камней. Поэтому Терра переводил взгляд с Ланна на Мангольфа; он начал торжественно:

— Высокочтимый господин граф! Ваш высокочтимый отец...

— Зачем вы непрерывно поминаете моего отца? — Аристократ поежился от такой неделикатности, как в ознобе.

— ...несомненно позаботится о вашей карьере в качестве государственного деятеля. — И приглушенно, но четко: — Ведь граф скоро будет министром.

Молодой Ланна вздрогнул, услышав, как оглашают строго оберегаемую семейную тайну. Он поспешил выяснить, слышал ли Мангольф. У Мангольфа был расстроенный вид. Терра, говоривший наугад, постарался воспользоваться приобретенным преимуществом.

— Именно поэтому моя безвестная персона осмеливается преподать вам совет не слишком торопиться. В вашем облике, во всем вашем существе даже непосвященному видна та особая и, осмелюсь утверждать, роковая страстность, которая у нас может найти себе настоящее применение лишь в области театра.

При этом он оглядывал чинную фигуру молодого аристократа, как бы благоговей и изумляясь одновременно. У остальных, включая и Мангольфа, на лицах появилось выражение любопытства.

Терра не замечал этого. Желая подчеркнуть, что достаточно злоупотреблял графским вниманием, он деликатно отодвинулся от стола.

И тут же им вновь овладела радость свидания и он вновь выпил за здоровье друга. Пока тот старался угадать, какой готовится новый удар, Терра уже задал вопрос: «Давно ты был у моей сестры?» И, прежде чем Мангольф нашел подобающий ответ, объявил во всеуслышание:

— Сестра моя в публичном доме.

Мангольф поспешил вмешаться:

— Шутка недурна. Городской театр можно до известной степени считать публичным зданием. — После чего все физиономии разгладились. Граф Ланна даже проявил участие.

— Ваша сестрица обнаруживает дарование? Как вы думаете, сударь, стоит Пильцу построить театр, о котором он все толкует? Выгодное это дело — театр? А вы согласились бы взять на себя руководство и пригласить вашу сестрицу, если она обнаруживает дарование? — При этом молодой граф поежился.

Терра отвечал на его беспомощные вопросы по-отечески. Он познакомил всех присутствующих с новейшими принципами организации театра, указал первоклассное, никем еще не обнаруженное место для постройки и выразил готовность всецело отдать себя в их распоряжение.

— Что касается моей сестры — великолепная женщина, я не премину при первом же случае продемонстрировать ее вам, господа.

— А! — произнес богач Пильц и оживился.

Оба художника пожелали немедленно набросать проект будущего театра по указаниям Терра.

— Мне сдается, господин Мангольф собирался попотчевать вас еще одной остротой, — ехидно заметил Терра.

Но Мангольф и Куршмид, не участвовавшие в общем оживлении, сели подальше. Зал уже пустел. Мангольф был бледен и молчалив. Он мрачно смотрел в одну точку; лицо его, внезапно состарившееся, слегка подергивалось.

— Я вас понимаю, — начал Куршмид и, встретив неприязненно-недоуменный взгляд: — Какое разочарование испытали вы от встречи с другом юности! — И в ответ на протестующий жест Мангольфа: — Вам не хочется, чтобы это было заметно, но я замечаю все. Ваш приятель устраивает свои дела за ваш счет.

— Кто знает, — сказал Мангольф, — не происходит ли сейчас нечто большее, чем разовый сеанс мистификации. — Он нахмурился, пожалев, что подумал вслух, и прервал беседу.

Когда Мангольф собрался уходить, поднялся и Терра.

— Господа, как мне ни лестно давать пищу вашему многообещающему воодушевлению с помощью моих скромных способностей, но тут мой друг. Мы не виделись долгие годы, не разлучайте нас в этот первый вечер!

И он взял Мангольфа под руку, собираясь уйти вместе с ним.

Друг заметил:

— Ты стал общительнее... чтобы не сказать циничнее.

— Надо сознаться, я почти все уже изведаль.

— При участии женщины с той стороны? Вы с ней осмотрелись в жизни?

— У нее нашлись дела поинтересней. Вместо нее дюжины две других дам,

предтечей которых она была, осмотрелись в моем мозгу и кармане. Дела у меня было по горло. А ты как, милый Вольф?

И Мангольф неожиданно с былой откровенностью признался, в чем заключается его честолюбие. Это вовсе не стремление обеспечить себя, добраться до верхов. Это страсть, неведомая черни, она исходит из потайных глубин и таинственно связана с темными силами.

— Я уже на примете.

Терра молча посапывал. Он видел, что у друга покраснели скулы.

— Не распить ли нам по этому случаю бутылку доброго вина? — сказал он церемонно, словно при первом знакомстве.

Мангольфу не улыбалось затягивать ночное бдение, однако он проводил Терра часть пути до его необычайно отдаленного жилища.

— Знаком тебе по своей деятельности некий авантюрист Виборг? — спросил Терра.

— Только как юристу.

— Он был моим учителем. Учителем дорого стоящим, но жалеть об этом не приходится. Благодаря его практическим урокам я уже не так отчаянно беспомощен перед многообразными требованиями жизни. Я не теряюсь ни во дворцах, ни в трущобах. Кстати, я вспомнил, что ты сегодня видел меня в маскарадном наряде.

Пока Терра давал самое фантастическое объяснение, почему он сегодня днем был так одет, Мангольф заметил, что они снова находятся неподалеку от ярмарочной площади.

— Устал до смерти, а нигде ни одного экипажа, веди меня к себе ночевать.

Терра воспротивился, ссылаясь на причины, которые были отнюдь не убедительны. Мангольф сделал вид, что отправляется через весь город домой. На самом деле он переждал в воротах дома напротив, пока у Терра не погас свет, потом перешел через дорогу, позвонил в дверь и переночевал в тех же меблированных комнатах, а наутро призвал Куршмида.

— Милый мой Куршмид, тут что-то неладно, меня водят за нос. Я бы не стал говорить, но ваше участие вчера вечером, по-видимому, было искренним. Фотографический аппарат при вас?

Когда Терра выходил из дому, он был одет по-вчерашнему. Они последовали за ним. Так и есть — он направился к ярмарочной площади. Мангольф, во власти самых невероятных догадок, не произнес ни слова. Позади большой сверкающей и грохочущей карусели, словно померкшая от ее великолепия, вертелась вторая карусель, поменьше. Они ее раньше не замечали, даже музыка ее тонула в реве большой. Туда-то на ходу вспрыгнул Терра, снова спрыгнул внутри, поговорил с оборванным мальчуганом, державшим тарелку для монет, и стал на его место.

Карусель остановилась, мальчик отправился зазывать глазеющих детей, Терра приглашал девушек. Когда все участники заплатили, он завел убогий музыкальный ящик, и дощатая, пестро размалеванная химера снова начала свой бег. Ребятишки в тряской почтовой карете совершали увлекательное путешествие, малыш на белом коне

мнил себя генералом, а девушки, которых несли золоченые санки, жили в такой же призрачной действительности, хоть руки любовников стискивали их талии вполне реально. За всем этим наблюдал Терра, стоя посередине и, так сказать, оделяя мимолетным счастьем бедных людей, которые, впрочем, были не особенно покладисты; но здесь он, дьявольски усмехаясь, вертел ими по своему произволу.

Он улыбался с иронией, близкой к безумию. Мангольф и Куршмид невольно подвинулись друг к другу. Но вслед за тем Терра принял отеческий вид, добродушно провожая глазами грезу, уносившую его детей, и, наконец, когда карусель замедлила ход, оказался обыкновенным сторожем, исполняющим свои обязанности, мешковатым, жалким и деловитым.

Карусель остановилась, музыка смолкла, и Мангольф услышал подле себя щелканье фотографического аппарата.

— Поймали его на пластинку?

— И его и все его предприятие.

— Тогда пойдем.

Но тут сквозь толпу пробилась девушка в мишурной юбочке. Клетчатый плащ покрывал сегодня юбочку; к старому плащу совсем не подходили пышные рыжие волосы и напудренное лицо. Она решительно прыгнула на карусель; внутри Терра по-рыцарски помог ей сойти. Он оставил мальчика собирать плату, а сам ввел девушку в разукрашенную пестрыми флажками будку из досок и парусины посреди карусели. Так как он прикрыл дверь, Куршмид сказал:

— Давайте заглянем в окно. Влезем на слона!

Они уселись и уже начали вертеться, как вдруг — резкий толчок позади, крики — и что-то ударилось о карусель: это были двое силачей, которые выбежали из своего балагана как были, в трико. Один не пускал другого навверх. Тем временем карусель набрала полную скорость, их отшвырнуло, и они ушли, осыпая друг друга ругательствами.

В будке отсчитывались деньги. Руки двигались по столу. Пролетая мимо, можно было лишь частично уловить их движения. Какая рука давала, какая брала? Однако для Куршмида сомнений не было.

— Он получает деньги от девушки, — возмущенно сказал он. — Этого я как-никак от него не ожидал.

Мангольф ничего не ответил.

— А теперь ступайте! — приказал он актеру, едва они остановились; и Куршмид разочарованно, но покорно убрался прочь.

Из будки вышла девушка, одна рука ее задержалась у него, внутри балагана, быть может, у его губ, быть может, вокруг его шеи. Но сама она уже глядела в другую сторону, лицо ее выражало и сладострастие недавних объятий и страх разлуки. Она прижала зацелованную руку к себе, к своей груди, и пошла прочь, в пустоту. Но за ближайшим углом ее ждал один из силачей, желтолицый человек, который в состоянии покоя, в обвисшем трико, казался уже не сильным, а больным. Он заботливо встретил ее и повел дальше, робко оправдываясь.

— Ты разоблачен, — вторгаясь, объявил Мангольф.

— Кто это сказал? — почти одновременно крикнул ему навстречу Терра. Он очень покраснел, схватил папиросу и судорожно затянулся. Так же внезапно он снова пришел в равновесие. — Присаживайся, милый Вольф! — указал он на ящик, а затем: — Твоя испытанная пронизательность не позволяет тебе ни минуты сомневаться в смысле и сути моего общественного положения. Водить людей, как им привычно, по замкнутому кругу; тормозить их, опьянять, одурманивать, отбирать у них деньги и посылать их к черту. Сделай для них в качестве государственного деятеля больше, если сумеешь! Или, по-твоему, я фантазер?

— Сделаю, и даже с меньшими усилиями, — сказал Мангольф, опустив уголки рта. — К чему ты клонишь свою мрачную комедию?

— С первых же моих шагов жизнь наказала меня за то, что я принимал ее всерьез. Да сохранил меня бог, по благодати своей, от того, чтобы я еще когда-нибудь попался на ее приманку.

Вокруг них дребезжала карусель. Веселые возгласы кружили в аккомпанемент музыки.

— От жизни не уйти. Вернись в мир! Прятаться от страдания — малодушно, — сказал друг снизу, с ящика.

— Бог не дал мне несравненного дара страдать от сознания собственной порочности, словно в ней все зло мира, — ледяным тоном произнес Терра.

— Девушка, которая только что была здесь, по-видимому, думает иначе. Ей не до шуток, — возразил друг.

— Она в тысячу раз выше меня, — горячо сказал Терра. — Только со смиренными и можно поладить. Я поддерживаю связь с жизнью через дочерей народа, преимущественно рыжих. — Внезапно глаза его стали злыми. — Где тебе понять всю ненависть, на какую способны люди? Зачем она лежит на мне таким тяжелым гнетом? Я ношу этот маскарадный наряд, — он прикоснулся к своей одежде, — потому что временно стеснен в средствах. Они же видят, что я создан не для такой обстановки. И для них это достаточный повод, чтобы с дьявольской злостью потешаться на мой счет, где бы я им ни попался.

Мангольф удивился:

— А ты не ошибаешься?

Терра пронизательно взглянул на него.

— Как будто у вас в кабаке было иначе. Вся история с театром сочинена твоей компанией, чтобы раззадорить меня и позабавиться на мой счет.

— Однако мне кажется... — Но Мангольф осекся. Глаза у Терра налились кровью и сверкали. Лицо утратило всякую сдержанность. Видно было, что он потерял самообладание. Тогда Мангольф сказал шепотом, волнуясь не меньше его: — В кабаке ты, правда, был одет лучше. Но ненавидят они нас не за бедность одежды, а за богатство духа.

— Угнетая нас, они заставляют нас домогаться власти, — тоже шепотом добавил Терра.

— Нас влечет к власти, — подсказал друг. — Добивайся же успеха!

— Я еще сопротивляюсь, — признался Терра еле слышно. — Я все еще оберегаю свою чистоту. Недавно я узнал о банкротстве отца: и хотя сам же я страстно желал этого, меня, к вечному моему стыду, охватил ужас оттого, что отныне я деклассирован по-настоящему.

Друг утвердительно кивнул. Куда девались жесткость тона и рассудочность, куда — взаимное недоверие. Туча затемнила окно, в тесной каморке нельзя было разглядеть друг друга. Каждый про себя мучительно упивался сходством с другим.

Веселые возгласы и музыка прекратились. Снаружи вспыхнула ссора. Терра пришлось вмешаться. Когда он вернулся, у него была одна мысль — отомстить за миг саморазоблачения. Но Мангольф опередил его:

— Кажется, та девушка, что была здесь, дала тебе денег?

Терра зашатался, как от удара. Он долго запинался, кривился, но потом произнес совершенно связно:

— Раз уж ты накрыл меня, приходится сознаваться. Да, друг твоей юности пал так низко, что поддерживает свое плачевное существование только постыдным заработком шлюхи.

Все это — с утрированным драматизмом. Друг не мог понять, что это значит. Терра, однако, успокоил его:

— Ты такой знаток человеческих душ, что, уж верно, не усомнишься в неподдельности моего отчаяния.

Мангольф между тем собрался уходить. Но тут Терра преподнес свой сюрприз:

— Если можно найти смягчающее обстоятельство для моей гнусности, то ищи его в неизменной нелепости жизни, избравшей именно такого человека, как я, в политические агенты. — И в ответ на молчаливый взгляд Мангольфа: — Этого бы ты никак не подумал, слыша вокруг меня звон и гомон. Но именно такая обстановка, — выразительно заметил он, — желательна господам, руководящим мною. Она отвлекает, усыпляет недоверие. Люди приходят в дружеской компании, катаются по кругу и не подозревают, что в укромном месте готовится донос. Скрытая сущность нашего германского государства, тесно связанного с мировой глупостью, наглядно воплощена здесь. Каждый в отдельности, каким бы свободным в своих действиях он себя ни мнил, существует для следящего за ним невидимого ока лишь в той мере, в какой из него можно извлечь пользу.

Сдвинув брови и опустив уголки рта, Мангольф повернулся, чтобы уйти, но Терра снова остановил его:

— Проверь меня! Я слишком много выбалтываю, только чтобы снискать твое уважение. Ступай в отель «Карлсбад», просмотри у портье список важных гостей. Ты никого не найдешь, тебе скажут, что никого и не ожидают. Но завтра в пять... — Терра делал ударение на каждом слове, — ровно в пять ты увидишь, как по холлу проследует самый могущественный из твоих тайных покровителей. — Терра гипнотизировал его взглядом. Мангольф содрогнулся. — Только не заговаривай с ним, — шептал Терра. — Иначе все погубло.

Мангольф подождал дальнейшего, пожал плечами, собрался что-то сказать и

молча, словно зачарованный, пошел прочь в торжественной тишине.

Терра, окончательно повеселевший, сел, потирая руки, у своей будки. Мальчик принес ему обед и убежал. Площадь на час опустела, даже большая карусель перестала сверкать и грохотать.

Но в душном воздухе еще пахло людьми.

Едва Терра отставил миску, как услышал сопение и позади него затряслись деревянные половицы. Он оглянулся. Черт побери — атлет! Более сильный из двух, его враг! Терра принял невозмутимый вид и ждал. Силач подходил враскачку, — что ни шаг, то тяжелое сотрясение. Он сопел не только от жары, но и от недобрых умыслов, явно написанных у него на лице.

— Этому надо положить конец! — выпалил он. — Оставишь ты в покое...

— Угодно папироску? — холодно прервал Терра. — Кстати, о ком вы говорите? Я ничего не понимаю.

Силач внезапно снял шляпу. Увидев, что он оробел, Терра приветливо указал ему на стул. Силач послушно сел.

— Господин Хенле, — начал Терра. — Видите, я вас знаю. Я о вас слышал от вашего друга Шунка.

— Шунк мне не друг, — проворчал Хенле со сдержанной яростью. — Просто мне от него никак не отделаться.

— Это и есть дружба, господин Хенле.

— Политично я не умею выражаться, — все еще сдерживаясь, заявил Хенле. — Я говорю напрямик. Не давайте больше денег Шунку, сударь.

— Я ничего ему не даю.

— Все равно кому вы даете. А попадают они к нему.

— Он человек больной, у него дела плохи.

— Кто болен, пусть проваливает, — решил Хенле, — и не отнимает у меня хлеба.

— Вы, я вижу, дарвинист.

— Я не люблю шуток, — все еще сдерживаясь, но побагровев, прорычал Хенле. — Мы с Шунком вместе держали заведение. Я его оставил у себя, когда он заболел, и не заставлял бороться всерьез, а так, для вида. Но что это за друг, если он бросает меня для какой-то девчонки.

— Вокруг девчонки все и вертится, — заметил Терра.

Хенле, по-видимому, счел эти слова обидными.

— Сами вы вертитесь! — заревел он, как с цепи сорвавшись, и наступил Терра на обе ноги. Терра действительно завертелся и даже упал на колени.

— Собака! — ревел Хенле. — Перестанешь ты давать девчонке деньги?

Терра заслонил лицо локтем; из-под прикрытия он твердо сказал:

— Я буду поступать как мне заблагорассудится.

— Посмей-ка повторить это! — И Хенле ухватил его за плечи. Он изловчился

стиснуть их так, что они почти сошлись.

У Терра помутилось в голове, как вдруг женский голос крикнул: «Берегитесь!» Хенле выпустил жертву и отскочил в сторону. Терра оглянулся на голос. Молоденькая девушка стояла на карусели между львом и верблюдом, в протянутой руке у нее поблескивал маленький черный револьвер.

Хенле смиренно повернул назад. Добравшись до края карусели, он сделал прыжок и, очутившись внизу, бросился бежать. Терра вдруг спохватился, что сам он сидит на земле, опираясь на руки, и что рот у него раскрыт. Он закрыл рот, поднялся и почистился, стараясь ступешаться каждым своим движением. «Черт побери, молодая девица была свидетельницей моей трусости перед врагом!» Он не торопился; может быть, она тем временем ушла? Увы, нет, с ней была еще другая, и обе смеялись. Ничего не поделаешь. Стоя посреди своей арены, он отвесил глубокий поклон, потом, подойдя ближе, сказал с достоинством и в то же время шуточно:

— Сударыня, вы положительно спасли мне жизнь.

От его слов девица растерялась, покраснела и пробормотала нечто вроде извинения, не переставая, однако, разглядывать его. Он в свою очередь вынес неблагоприятное впечатление: нос длинен, а улыбка до чего высокомерная!

— Вам не в чем извиняться, — сугубо официально произнес он. — Не откажите принять то, что может предложить моя лавочка.

— Что же она может предложить? — Ее тон был оскорбительно насмешлив.

Тогда он без всякого перехода дерзко выпалил:

— Бесплатное катание.

Лицо у нее стало смущенным, как у ребенка. Только теперь он увидел, как она молода. Ей явно хотелось, но было боязно.

— Поедешь со мной? — спросила она приятельницу, лицо которой выражало сомнение.

Терра невзлюбил другую за то, что она мешала, вообще же она не заслуживала никакого внимания.

— Ну, едем! — отважно крикнула его дама. — У моей подруги голова закружится. Лиза, ты вернись за мной.

Она уже уселась в лебединые санки. Терра запустил карусель и остался посредине, всеми силами стараясь не уронить свое достоинство.

— Ну? — крикнула она, пролетая мимо.

Тогда он прыгнул к ней как бешеный. Она все же отшатнулась в другой угол, а он взглядом впился в нее.

Ибо у нее были темные глаза при светлых волосах и юная свежесть красок, но глаза необычайно умные. Весь облик ее производил впечатление незрелости. Насмешливый нос окупали глаза. Удивительные глаза, — что в них?

— Как вы попали сюда? — спросила барышня.

Он тревожно отмечал: у них лучи вокруг зрачка, у них веки окаймлены черным. Вот они полузакрылись и превратились в блески ума. Кажется, барышня о чем-то

спрашивала?

— Окольными путями, — ответил он.

— Я тоже, — сказала она, а еще больше сказали ее глаза. Но что именно? Он предположил:

— Верно, прямым путем из родительского дома? Из деревенского пастората, скажем, на Эльбе?

Она ответила одними глазами, но так, что он покраснел. Тут он заметил, что волосы у нее крашенные. Он сказал язвительно:

— Бюргерские отпрыски, которые хотят казаться чем-то иным, порою превосходят свой идеал.

Она закусила губу. Потом попыталась тоже съязвить.

— Ваш собственный идеал, — она описала рукой круг, — стоил вам большой борьбы?.. Без этого нельзя, — ответила она сама себе. — Для того чтобы мне позволили покрасить волосы, я пригрозила, что заведу себе любовника.

— И удовольствуетесь угрозой?

— Даже не подумаю, — ответила она по-мальчишески задорно.

Вдруг они ощутили легкий толчок; кто-то вскочил на карусель, — девушка, рыжая, в клетчатом плаще. Она села прямо напротив, на запятки почтовой кареты и молча обратила к ним белое как мел лицо.

Барышня, по-видимому, поняла; она устремила на него свои умные глаза. Он колебался, не встать ли немедленно. Но вместо этого подвинулся к ней ближе и кое-как объяснил ситуацию; она внезапно повернула голову, и его приблизившиеся губы коснулись ее шеи возле щеки. От испуга ли, или чтобы оттолкнуть его, прижалась она к его губам?

Когда они вновь открыли глаза, девушка исчезла. Они в смятении молчали. Потом барышня торопливо огляделась.

— Моей подруги что-то долго нет.

— Она вам не подруга, — сказал Терра. После того как напротив посидела бедная девушка, он заметил, что эта одета, как богачка. Он пожалел обо всем.

— Вам тоже трудно стать таким обыкновенным, как хочется? — сказала она, а глаза ее сказали: таким пошлым, и отреклись от всего, что произошло.

— Я миллионер, — заявил он решительно. — Я держал пари. Именно такая дама, как вы, сударыня, должна была попасться мне на удочку.

Вместо ответа она небрежно достала из кармана маленький черный револьвер, поиграла им и — развернула. Он оказался веером. Терра пытался, пока не выскользнул из саней.

Карусель остановилась, барышня жестами подозвала свою спутницу, а также ребятишек, вновь столпившихся вокруг. Пусть все покатаются, она заплатит. Троекратное катание; потом она вспомнила об американских горках.

— Пойдем туда. Там в две секунды съезжаешь сверху вниз, — это опасней вашей

карусели и много интересней.

Она исчезла. У него не было времени поглядеть ей вслед, карусель снова наполнилась. Усаживая детей в лебединые санки, он нашел там книгу: Ариосто по-итальянски⁵ — без имени владельца.

Самый большой наплыв миновал: он поручил карусель мальчику и ушел. Переодевшись и лежа на диване у себя в комнате, в сгущающихся сумерках он думал о ее признании: трудно стать пошлым. Голову она держала при этом, как Леа. Да, для них трудно, — для него, для нее и для Леи. Он чувствовал: «Мне надо с ней увидеться», — и сам не знал, с незнакомкой или с сестрой.

Кажется, постучали. На пороге стояла она. Не успел он подумать, что это незнакомка, как она произнесла из темноты: «Клаус». Это была сестра. Он мигом вскочил: «Я задремал», — зажег свет, радушно усадил ее на свое место, предложил ей чаю; при этом запинаясь на каждом слове и не знал, что сказать дальше.

Слегка улыбаясь его смущению, она отвечала на вопросы. Да, все хорошо, очень хорошо. Он ведь знает, в первый же год она стала любимицей публики. Потом пошли неудачи, интриги.

— Значит, не очень хорошо?

— Да, нехорошо. — Сейчас она вернулась после гастролей в одном придворном театре. Успех большой, но ангажемента не предложили, потому что голос у нее сел. Она протянула «и» в нос, чтобы проверить себя.

Брат стоял перед ней, он чувствовал: наконец-то минута передышки, можно исповедаться друг другу, пожалуй, поплакать вместе. Сестра спросила:

— Почему ты ни разу не приехал посмотреть меня?

— Дитя мое, даже тебе я не могу навязывать ответственность за мои дела, а тем паче за мой образ жизни, — ответил он добродушно.

Она улыбнулась печальной улыбкой.

— Ты делаешь вид, будто уже на всем поставил крест. Нам еще далеко до этого.

— Иначе у нас были бы локти покрепче — и был бы успех.

— Правда ведь? — И она на секунду закрыла глаза. — Сколько ни решай, что пойдешь на все, ну положительно на все, ради успеха, — она сделала немного театральный жест, — ничего не помогает.

— Можешь хоть людей убивать, — раскатисто сказал брат. — Тебе это мало что даст.

— А кому-то даст, — пробормотала она про себя.

— Давно ты его не видала? — осторожно спросил брат. Он был уверен, что она пришла к нему прямо от Мангольфа. Но она сказала:

— С тех пор как не имею успеха.

⁵ ...Ариосто по-итальянски — Ариосто Лодовико (1474—1533) крупнейший итальянский поэт позднего Возрождения.

Он замолчал, вода языком по губам. Ее лицо было затенено абажуром. Неужто у нее на самом деле глаза полны слез? «Не о нас, а о нем?.. Ну да, она стала актриской и оплакивает свою юношескую любовь... но чем бы она ни становилась, она остается Леей». — И он быстро подсел к сестре.

— Горевать о нем? Такой красавице, как ты? — ласково сказал он.

Он оглядел ее, расхвалил все ее данные в отдельности, потом сказал:

— Я не ханжа, а потому выкладывай все без стеснения. — И посмотрев на нее искоса: — Куршмид, например?

— О! — всполошилась она. — Он мне друг, настоящий друг!

— А есть и такие, что больше друзей? — И так как она многозначительно молчала: — Ну, слава богу. — Он потер руки. — Милейший Вольф рогат! Я был бы последним ничтожеством, если бы мне не удалось доказать ему, что он глуп и смешон.

— Что ты замышляешь? — спросила она скорее с любопытством, чем с тревогой.

— Злую шутку. — Он встал, чтобы поразмяться. — Некто, верящий в высшие силы, может от нее лишиться рассудка.

— Это жестоко, — сказала она без большого волнения. — Ты мстишь ему за себя?

— Нет, за тебя! — пылко вскричал он. — Ты добьешься успеха в тот самый момент, когда заветные мечты его самолюбивой юности потерпят позорнейший крах. Я организую театр, ты будешь премьершей.

Тут встала она.

— Ты не шутишь?

Он ласково взял ее руку, он расписал ей все, что у него произошло с Пильцем и Ланна. Масштабы разрастались; ему и самому вдруг стало ясно, что это дело стоящее.

— Сегодня вечером ты увидишь: от простодушия этих добряков становится прямо неловко, они даже слишком облегчают нам задачу. Не к чему было проходить через огонь и воду. — Он зашептал ей на ухо: — Мыловара Пильца, у которого при одной мысли о тебе слюнки текут, ты годами можешь водить за нос. А тем временем наши дела наладятся. — Он злобно захохотал, засмеялась и она наигранным, театральным смехом.

Она переменяла позу и, закинув голову, ждала реплики. Но он уселся на диван и молчал, пока она снова не села рядом с ним.

— Помнишь, все это мы уже пережили детьми.

— Ты имеешь в виду танцкласс?

— Я рассказал маленькому Вольфу Мангольфу, что тебе хочется танцевать с ним. А тебе было ужасно стыдно.

Сестре, по-видимому, и сейчас еще было стыдно. Брат сказал:

— Дом наш сломали. Осталась ли хотя бы скамейка в саду?

— На этой скамейке ты читал мне сказку о красных туфельках. Я их боялась. И теперь еще, когда я думаю, чем это все кончится, мне кажется, что на ногах у меня красные туфельки и они, танцуя, увлекают меня.

Раздался стук в дверь. Их соединенные руки разжались.

Это был Куршмид. Он приветствовал товарку со стоическим спокойствием, которое должно было свидетельствовать о пережитых страданиях, а брата — с подчеркнутой холодностью. Он пришел за ними от их общего друга, Мангольфа: тот устраивает вечеринку по случаю радостной встречи. Сам Мангольф, по его словам, с трудом отказал себе в удовольствии присутствовать при первом свидании брата и сестры.

— Он сторонится всех, — заметил Терра. — Он ждет перемен в своей судьбе.

— У меня такое же впечатление, — подтвердил Куршмид. И они пошли.

В ресторане был заказан отдельный кабинет. Куршмид, войдя, не закрыл двери; Леа Терра видела снаружи в зеркале, как долговязый человек робкими и жадными глазами поглядывает на нее из кабинета. Она не отходила от зеркала, хотя уже привела себя в порядок. «Он невыносим!» — сказала она, не размыкая губ, и поправила на себе длинное жемчужное ожерелье. Брат помог ей, галантно улыбнулся и сквозь зубы пробормотал:

— Долгов у тебя нет? И жемчуг настоящий?

В кабинете граф Ланна сказал, как раз когда она входила:

— В самом деле, великолепная женщина.

Богач Пильц не находил слов, как нетерпеливый жених, и рука его, коснувшаяся ее руки, была влажной. Пильц, Ланна и оба художника стали по сторонам почетным караулом, Мангольф провел актрису посредине.

— Леа, я ни на миг не забывал, — шепнул он, подвигая ей кресло во главе стола.

— Я тоже кой-что помню, — сказала она, не понижая голоса. И обращаясь ко всем: — Леа меня зовут по сцене. Неплохо звучит, можно с таким именем чего-нибудь добиться?

— Как будто у вас только имя, фрейлейн Леа, — пролепетал Пильц справа от нее, а Мангольф, слева, склонил высокий лоб, на который словно случайно упала волнистая прядь. Посреди стола Терра обстоятельно совершал возлияния, привлекая к участию и сидевшего напротив графа Ланна. Оба художника, рядом с ними, издали приветствовали бокалами фрейлейн Лею. Куршмид, на другом конце, уставился вверх ее головы в стену, пока Леа не окликнула его:

— Вы видели меня в травести. Ну, как?

Он выдавил из себя бледную улыбку.

— Советую не зевать! — обратился он к мужчинам и, вспыхнув, нагнулся над своей тарелкой.

Брат чокнулся с сестрой.

— За твои ноги, — сказал он звучно и четко.

Тотчас у всех мужчин лица стали натянутыми. Граф Ланна незаметно наблюдал за братом. Пильц заявил:

— Мы интересовались только с точки зрения натурализма.

— Отлично, — сказал Терра и заставил Мангольфа, взгляд которого выражал скорбь и презрение, чокнуться с ним.

Мужчины охотно поддержали заданный братом тон. Граф Ланна, мимо Мангольфа, завладел рукой сестры, чтобы, — он поежился, как в ознобе, — полюбоваться ее розовыми отполированными ногтями, ничего больше.

— А глазами? — спросила она и за руку притянула его; он вежливо и рассеянно заглянул ей в глаза. — Странно, — сказала она, мгновенно став серьезной. — На свете еще существует деликатность.

Пильц, неспособный воспринять такие тонкости, срывающимся голосом высказал свое восхищение пурпуром губ и выразительно подрисованным взором. Сестра засмеялась певуче и безучастно. Мангольф смотрел и морщился.

— Мангольф нагоняет тоску, — услышал он и твердо решил положить этому конец.

Брат постучал по столу.

— Все это прелиминарные переговоры. Господа, наша артистка собирается подписать контракт с одним из первых придворных театров. Кто может предложить больше?

У графа Ланна был недоуменный вид, он уже все позабыл. Но Пильц мог предложить больше.

— Вот смета. Высший оклад получает Леа Терра... от меня, — сказал Пильц и стал предприимчивым. Получив отпор, он пожелал выпить на «ты» со своим директором.

Терра резко пресек его фамильярность:

— Это еще успеется, после того как мы подпишем контракт, — и заказал шампанского.

— Куршмида вы приглашаете? — спросила актриса.

Сам Куршмид не отрывал глаз от стены.

— Я все равно бы отклонил такое оскорбительное предложение, — сказал он, бледнея.

Вытянутые лица; но тут впервые заговорил Мангольф:

— Я имею возможность объяснить вам, господа, поведение господина Куршмида.

— Валяй, — сказал Терра и посмотрел на него.

Мангольф не отвел взгляда. Затем серьезным, почти страдальческим тоном сказал, что больше не может отвечать за то, что здесь происходит.

Напряженное внимание, все взоры устремлены на Мангольфа. Терра в одиночестве пил шампанское бокал за бокалом, корча гримасы.

Сестра растерянно смеялась.

— Друг моей юности самым невероятным образом опустился, — сказал Мангольф глухо и скорбно, наморщив лоб. — Как именно? Мне не хочется говорить это вслух. Господин Куршмид покажет вам все наглядно.

Оба художника уже держали в руках снимки карусели. Они вытаращили глаза и

передали фотографии дальше. Только после этого они фыркнули в салфетки, между тем как Пильц и Ланна неохотно вникали в серьезность положения. Сестра высмеяла их.

— А я-то? Я даже с уличными певцами выступала. Это честно заработанные деньги. — Она потянулась, и глаза у нее стали словно хмельными. Богач Пильц не мог устоять, он признал, что и владелец карусели честно зарабатывает свой хлеб.

— К сожалению, нет, — сказал Мангольф. Они ждали дальнейшего уже с неудовольствием. Он почувствовал это. — Я всем в тягость своей щепетильностью в вопросах морали. И себе самому тоже.

Все видели его внутреннюю борьбу. Губы сжаты, виски пульсируют, и глаза закрыты, — таким сидел Мангольф перед лицом всего света. Он хотел заговорить и не смог: поднес руку ко лбу и взглянул на друга последним, молящим, страждущим, покаянным взглядом, потом поборол себя и заговорил.

— Мой друг живет на средства женщины, — сказал он сухо. — Он сам сознался мне.

Все стулья отодвинулись. Кольцо ужаса окружило Терра, который пригнулся и оскалился.

— Кончено, — сказал граф Ланна с робким сожалением.

— Благодарю вас. — Пильц протянул Мангольфу руку.

В этот миг общее внимание привлек к себе Куршмид. Он круто поднялся, хрипя, как будто кто-то душит его. Глаза его блуждали от Мангольфа к Терра. Вдруг он закрыл лицо руками и, дико взыв, бросился бежать.

Оба художника восприняли это комически, двум же другим господам его поведение показало, как неуместны всякие крайности.

— Это не должно служить нам помехой, — сказал Пильц решительно и чокнулся с сестрой. Выпивая бокал, она переглянулась с братом, после чего бросилась на шею Пильцу. Он попытался обнять ее, но она высвободилась.

— Не хватало еще, чтобы вы порвали мой жемчуг! Это подарок князя Иффингена. Я получаю из княжеской казны пожизненную ренту. Клаус, сколько тебе нужно?

— Это многое меняет, — заметил Пильц.

— Не возражаю, — сказал граф Ланна и радостно подвинул свой стул на место Мангольфа, который сидел теперь в тени, позади Леи.

Мангольф убитым взглядом, словно удар получил он, смотрел на ее ярко освещенные волосы и шею, на игру ее рук, отстранявших и манящих. Она стала еще развязнее.

— Я привлеку к вам в театр всю золотую молодежь.

Брату послышался в ее интонациях звонкий пустой голос женщины с той стороны.

— Дитя мое! — крикнул он громко. — Ты в трико? Так потанцуй! — Он захлопал в ладоши.

Она и в самом деле встала.

— Господин доктор Мангольф, за рояль!

Он послушался.

— «Тристана»! — потребовал Терра.

Мангольф заиграл вальс, и Леа, закинув голову, скользнула руками вдоль платья, будто сбрасывая его. Мужчины пришли в восторг, будто увидели ее нагой; один граф Ланна посмотрел на нее, словно не желая верить этому.

— Сперва договор! — сказала она в такт вальсу.

— Идет! — сказал Пильц, взял у Терра договор и подписал.

Терра вытащил его из-под рук богача и бережно сложил, бросая по сторонам вызывающие взгляды. А затем разорвал договор.

— Правильно, Леа? Нам довольно победы! — Он позвал кельнера. Пильц хотел заплатить за шампанское, хотя бы частично, но Терра и слушать не стал.

— Господа, за то, что я заказывал, и платить буду я, — заявил он строго и внушительно.

Сестре он сам помог надеть манто. В коридоре Мангольф сказал ему на ухо, сдавленно:

— Я должен был так поступить.

— Знаю, — сказал Терра. — Тебе было указано свыше. Не забудь, завтра в пять.

Из переулка выскочил Куршмид, он остановил Терра. Мангольф, воспользовавшись задержкой, пошел с Леей вперед.

— Я все знаю, — пылко зашептал Куршмид. — Хотите, я стану перед вами на колени?

— Я не заметил, чтобы вы много пили.

— Я жертва трагического недоразумения.

— Да говорите же, наконец, как в реалистической роли!

— Я прошел черным ходом. Пильц жалуется, что вы одурачили его. Нет, никогда в жизни не стали бы вы толкать сестру в его объятия! Но предательство вашего мнимого друга было так дьявольски подстроено, что я едва не рехнулся, когда понял, куда меня вовлекли. Вы, кого я считал самым распутным человеком под солнцем...

— Вы льстите мне.

— ...оказались благороднейшим из всех. Вы проходите через жизнь с неутолимой жаждой нравственного совершенства.

— Почему вы знаете!.. — Терра пристальнее взгляделся в актера. У него были синеватые круги под глазами, переносица отливала белизной.

Мангольф шел впереди с Леей, но на полшага отступя, как Куршмид с братом, и умоляюще склонялся над полями ее шляпы. Она бросила через плечо:

— Почему вы ни разу не приехали? Скажите мне причину, за которую я могла бы ухватиться.

— Подумайте хорошенько, — сказал Терра Куршмиду. — Ведь я все-таки беру

деньги от ярмарочной девки, вы сами видели.

— А кто знает, для кого вы берете их? Я знаю! Для вашей сестры: вы купили ей фальшивый жемчуг, чтобы она получила ангажемент.

— Вы меня прямо пугаете своей пронизательностью!

Мангольф тем временем говорил Лее:

— Ну, а если я в самом деле боялся, что вы повредите моей будущности?

— Я добьюсь успеха!

— Тем более. Такие успехи, как ваши и вашего брата, пагубны, к ним относятся с подозрением. Вы не знаете борьбы. Почему я люблю тебя?

— Потому что ненавидишь его, — сказала сестра.

Куршмид заклинаящим жестом протянул руки:

— Отныне я ваш друг, с этой минуты я предан вам телом и душой. Проживи я хоть восемьдесят лет — я ваш друг неизменно!

Терра пожал протянутые руки, заглянул ему в глаза и молча пошел дальше. «Так приобретаются друзья», — подумал он.

Мангольф говорил Лее у дома, перед которым она остановилась:

— Ты никого другого не любишь, я знаю.

Она беспечно засмеялась; тогда он стал теснить ее к подъезду и при этом коснулся грудью ее груди; ей пришлось откинуть назад голову.

— Не растрачивай себя, — сказал он у самых ее губ. — У нас с тобой это на всю жизнь.

Куда девалась ее беспечность, на лице смешались смех и мука, она вздохнула. «Я знаю». И вдруг оттолкнула его, но он потребовал, чтобы она ждала его в подъезде, и поспешил прочь, так как брат ее был уже совсем близко.

— Вы хорошо умеете гримироваться? — спросил Терра Куршмида. — Тогда приходите ко мне завтра в четыре часа и захватите с собой все необходимое, чтобы по указанному образцу превратиться в важного господина лет пятидесяти, прическа на пробор, без бороды, упитанный. Спокойной ночи.

С этим он оставил Куршмида и подошел к сестре. Он увидел убогий дом и перед ним ее, воплощение роскоши и красоты. Тем бодрее сказал он:

— Ты убедилась сама, — мы можем все, чего хотим.

— Ах, милый, все случилось так, как должно было случиться, — пробормотала она и отошла, словно прячась, в угол за дверью. Брат хотел проводить ее наверх, она отрицательно покачала головой. Он спросил, чего она ждет, она промолчала. Тогда умолк и он, постоял безмолвно и расстался с сестрой.

На дальнем углу улицы кто-то скрылся в тень. Терра, хотя его путь лежал именно в ту сторону, пошел в противоположную. Он думал: «Предавать и покидать друг друга. Борьба друг с другом, обретать и отрицать друг друга. Ненавидеть друг друга, быть обреченными друг другу, — а ведь нам нет и двадцати пяти лет».

Напротив отеля «Карлсбад», у окна маленького ресторанчика, Терра подкарауливал Мангольфа. Пять часов; в самом деле, вот и он, только с целой компанией. Веселые дамы и мужчины, Мангольф смешил их всех. Смеясь, он распрощался на несколько шагов дальше. Никто бы не подумал, что лицо у него тотчас омрачится, что он долго будет шагать мимо отеля и, наконец, мучительно поборов себя, войдет туда, как для тяжелой операции.

«Боже правый, перенесет ли он это?» — думал Терра, корча насмешливые гримасы и по пятам следуя за ним в холл отеля. Мангольф не заметил его; с видом равнодушного приезжего он уселся в кресло. Терра спрятался за пальмой, против лестницы. С правой стороны разветвленной лестницы медленно и уверенно спускался господин зрелого возраста. Терра кивнул ему из своего убежища, а тот и бровью не повел. Мангольф вскочил с места. Но тут с левой стороны появился тот же пожилой господин и стал тоже спускаться, только гораздо быстрее. Второй увидел первого, который не заметил его. Второй остановился, потом поспешно укрылся за лифтом. Когда первый повернул к холлу и к столикам, его двойник ринулся к выходу, словно спасаясь бегством. Портье, вытаращив глаза, смотрел ему вслед из-за своей конторки. Так как Терра вышел из-за пальмы, портье спросил:

— Что это было? Дважды один и тот же?

— У вас двоится в глазах, — ответил Терра. — Никому не говорите об этом.

Какая-то супружеская чета спросила взволнованно:

— Кто вон тот господин?

— Его сиятельство граф Ланна, — сказал портье.

— А другой, точь-в-точь такой же?

— Другого у нас нет, — сказал портье.

Позади Терра стоял Мангольф, страшно бледный.

— Шарлатан! А я был на волосок от того, чтобы поверить тебе! — прошипел он.

— Сейчас увидишь, — уверил Терра, но и у него самого сорвался голос. Возле господина зрелого возраста стояла барышня с ярмарочной площади. Овладев собою, Терра спросил портье: — Фрейлейн фон Ланна?

— Да, это графиня фон Ланна, — сказал портье.

Тогда Терра достал из кармана пальто книгу, чинно прошел по ковру и церемонным жестом протянул книгу графине, которая сперва чуть было не взяла ее. Но потом узнала Терра и замерла. Граф Ланна отставил чашку с чаем.

— Курьер? — быстро осведомился он.

— К сожалению, нет, господин статс-секретарь, — старательно выговорил Терра и низко поклонился.

— Я не статс-секретарь. — Граф Ланна нахмурил гладкий лоб.

— Прошу прощения, — сказал Терра.

— А книга? — Отец взглянул на дочь, при этом у него появилась ямочка. Графиня

уже овладела собой.

— У Милы. Мы читали Ариосто. Это господин...

— Терра, студент-юрист. — Он добавил с экспрессией: — Я, ваше сиятельство, имею честь быть старшим другом и ментором вашего сына, графа Эрвина.

— Тогда мне надо поговорить с вами. Мой сын делает глупости.

— На него не всегда оказывают благотворное влияние, — сказал Терра, оглядываясь.

— Я имею возможность... — подойдя, начал Мангольф.

— Курьер? — спросил посол. Чтобы загладить свою повторную ошибку, он предложил сесть.

— Посмей еще усомниться во мне! — прошипел Терра.

Но Мангольф был явно потрясен. Это перст судьбы! Терра хотел подшутить над ним, а на самом деле он был орудием судьбы. «Вот я, наконец, перед лицом власти. Я давно у нее на примете. Быть может, тому причиной граф Эрвин?»

Граф Ланна благожелательно расспросил молодых людей о семье, занятиях, общественном положении и тем временем съел целую тарелку пирожных. Прерывая себя, он то и дело осведомлялся о курьере. Мангольф встал.

— Я готов к услугам, если вам, ваше сиятельство, нужно послать верного человека в министерство иностранных дел. Министра сейчас там нет, я могу перехватить курьера.

Дипломат удивился. Потом одобрительно кивнул Мангольфу.

— Неплохо. Вы, видимо, заранее подготовились. — У него вновь появилась ямочка. — Если вы, господа, хотели посетить меня, говорите прямо!

— Ты еще скажешь, папа, будто я потеряла своего Ариосто нарочно, чтобы молодые люди могли представиться тебе, — вставила молодая графиня.

— А в самом деле, почему он должен читать вслух тебе одной... Хорошо он читает? Тогда и я послушаю.

Он зевнул, снова взглянул на часы и на входную дверь, а затем пригласил молодых людей к себе в номер. С легкой одышкой, ввиду большого количества пирожных, вошел он в лифт, с ним Мангольф. Графиня успела взбежать наверх, когда Терра, на которого она не оглядывалась, нагнал ее:

— Что вы натворили! Я не знаю итальянского.

— Это на вас похоже, — произнесла она сквозь зубы.

Тут они встретились с отцом.

Когда посол увидел Терра, он насупился, словно обдумывая что-то важное. У своего номера он схватил студента за пуговицу и прижал его к стене.

— Почему вы называли меня статс-секретарем? — спросил он.

Терра поглядел на него, едва удержался, чтобы не сказать: «Потому что я не осел», и сказал:

— Пусть у вашего сиятельства ни на миг не возникнет подозрение, что граф Эрвин способен проговориться, а я — злоупотребить его доверием.

После такой речи граф даже пропустил его вперед.

Мангольф между тем решил помочь молодому графу, как тот помогал ему. Таким путем оплата векселя будет обеспечена. Поэтому он расписал старому графу его сына как человека слабохарактерного, но не легкомысленного, нуждающегося лишь в серьезном руководителе, чтобы не порывать связи с обществом. Последовало перечисление лучших семейств и громких имен.

— Личные связи, — одобрительно сказал граф Ланна. — А что же наш Ариосто?

Графиня огляделась.

— Книга, вероятно, осталась внизу.

— Вот она, — сказал Терра, незаметно вытаскивая книгу из ее кармана. Он читал так хорошо, что граф Ланна все глубже погружался в кресло. Но вот он стряхнул с себя блаженное оцепенение:

— Не прерывайте, читайте дальше! Вы читаете слишком выразительно, в ущерб музыкальности.

— Я мало музыкален, — сказал Терра и взглянул на графиню. Она держала указательный палец у нежной щеки и морщила лоб.

Посол, кряхтя, разбирал на столе бумаги.

— Мне пришлось уснуть до завтра своего личного секретаря. Читайте дальше, молодой человек!.. Куда он задевал документ FN шесть тысяч двести тридцать пять? — Посол искал в поте лица.

Вдруг из соседней комнаты появился Мангольф. С изящным поклоном он протянул требуемую бумагу. Он нашел ее в комнате рядом, на письменном столе секретаря. Все лежит открытым. Чтобы документ не попал на глаза посторонним, он позволил себе...

— Черт побери! — сказал посол и, не отрываясь от документа, добавил: — Мой секретарь никуда не годится. Вы референдарий?

Тут постучали в дверь. Мангольф пошел открыть, как будто бы он уже состоял на службе.

— Это курьер, — доложил он.

Несмотря на свое нетерпеливое ожидание, посол, казалось, был недоволен, что надо заняться делом. Он кивком велел Мангольфу провести курьера в комнату секретаря. Затем сам проследовал туда.

Терра прочел еще одну строфу и при этом хмурился, чувствуя себя смешным. Но, подняв взгляд, он увидел на ее лице не насмешку, а гнев.

— Вы бестактны. После того, что я говорила вам, вы не смели попадаться мне на глаза.

— Я все забыл. Я помню лишь то, что вы мне разрешили.

Ответом был сердитый взгляд. Затем она отвернулась, и Терра продолжал читать вслух. Дверь в соседнюю комнату была полуоткрыта, оттуда слышался шелест бумаг.

— Вы завладели всеми моими мыслями, — сказал Терра между двумя стихами и вскинул на нее пламенный взгляд. Она резко отшатнулась, потом прикусила губу.

— Это был чистый случай, — заявила она.

— Нет, графиня. Случай не внушил бы мне храбрости представиться вашему отцу.

Тут глаза ее впервые улыбнулись и блеснули умом. Тогда он сказал тем же тоном, что на карусели:

— Кстати, вы этого ждали.

— Ловко. Вы многого достигнете, — заметила она снова вызывающе. И в ответ на его гримасу: — Если пожелаете.

— У меня могла бы быть одна только причина желать... — И он подался вперед.

Она не пошевелилась и сидела, дерзко улыбаясь.

— Не говорите какая! В нашем знакомстве это была бы первая банальность.

— Все, что дает счастье, — банально. — С этим он поднялся. Когда граф Ланна вернулся, он стоял почтительно в стороне.

Посол отер лоб и с облегчением опустил в кресло.

— Вы заперли там? — обратился он к Мангольфу, вошедшему вслед за ним. — Кстати, милый доктор, пусть все это будет погребено в вашем сердце!

Мангольф приложил руку к сердцу. Посол совсем успокоился, он велел налить в рюмки ликеру и предложил сигар. Терра наблюдал за усердствующим Мангольфом, который увиливал от его взгляда; сам он уселся напротив посла, расставив ноги, положив руки на колени, и заговорил громко, в нос:

— Если бы вы, ваше сиятельство, разрешили мне, человеку низкого рождения и совершенному профану, выделяющемуся из *misera plebs*⁶ разве что своим почтительнейшим преклонением перед особой вашего сиятельства, — так вот, повторяю, если бы вы разрешили мне задать краткий вопрос, то я осмелился бы спросить: для чего существуют дипломаты? — И так как посол только мотнул головой: — Я сознаю, что решительно недостоин развить свою мысль более подробно.

Вид у него был самый смиренный. Граф Ланна проявил снисходительность.

— Вы, вероятно, принадлежите к категории тех молодых людей, которым хотелось бы, чтобы даже международные договоры открыто обсуждались в парламентах. — Несмотря на возмущенный протест Терра, он продолжал с той же мягкой авторитетностью: — Молодое поколение необыкновенно самоуверенно, что я лично даже весьма ценю. Мы имеем счастье жить в государстве, где ни один талант, повторяю, ни одно полезное дарование не пропадает без пользы.

Мангольф понял теперь, откуда молодой граф заимствовал свои разглагольствования. Приводя в порядок разбросанные бумаги, он поклоном вбок подтвердил, что не сомневается в правоте его сиятельства. Граф Ланна все-таки пустился в пространные пояснения специально для глубоко взволнованного Терра, который благоговейно внимал поучению свыше, от усердия раскрыв рот и вода по

⁶ жалкая чернь (*лат.*)

губам языком.

Гласность международных договоров, так поучал граф Ланна, — это требование демократии. Ее последнее, завершающее требование. Но какова ее собственная суть?

— Я ценю демократию. Однако кому не ясно, что она бесцеремоннее, жаднее, грубее более или менее убогоприятных представителей к счастью пока неколебимой императорской власти.

Посол поднялся, обошел вокруг стола и, говоря, разбрасывал правой рукой лежащие на нем предметы; голос его из плавного превратился в крикливый:

— Господа! Вы еще, пожалуй, будете свидетелями того, как придут в губительное столкновение выпущенные на волю инстинкты различных наций. Мы пока обуздываем их. Империя — это мир.⁷

Терра почел уместным сидеть смирно и молчать. Мангольф спросил деловым тоном:

— Документ FN шесть тысяч двести тридцать пять связан с оккупацией пункта..?

— Совершенно верно. Мы посылаем туда войска.

— Империя — это мир, — убежденно повторил Терра.

— Игру ведем мы! — сказал завтрашний руководитель государственной политики и сделал в воздухе жест фокусника, развертывающего веером карты. От удовольствия по поводу собственной ловкости рук у него даже появилась ямочка.

Вдруг он припомнил, что у него назначено свидание. Попросту он осознал, перед какой ничтожной аудиторией расточал образцы своего искусства. Он наспех, холодно попрощался и крикнул уже из коридора:

— Алиса, я тебя жду.

Мангольф поспешил за ним; он понимал: за ним любыми правдами и неправдами, сейчас — или никогда! Терра оглянулся, графиня стояла к нему спиной. Он подошел и стал настойчиво что-то нашептывать ей через плечо. Она не отвечала; он чувствовал, что она дрожит. Но дверь была открыта, он не решился закрыть ее и вышел.

В тот же миг Мангольф показался из двери напротив; недоверчиво оглядел он Терра, который оглядел его насмешливо.

— Карьера начинается, — сказал Терра.

Вечером, выезжая одна, без провожатых, графиня думала: «Чем я особенно рискую? Этого можно держать в руках. Куда опаснее было с...» Она перебрала воспоминания своих восемнадцати лет. «Но этот не похож на других... Он такой, как мне хочется. С ним мне, верно, придется пережить много интересного, — сезон ведь был неудачный, — а беспокойства в сущности никакого». Тут экипаж остановился у входа на ярмарку.

Уверенным, легким шагом проникла графиня в замерший город балаганов. Раз она в темноте наткнулась на спящего или пьяного, спряталась за угол и несколько минут

⁷ *Империя — это мир* — демагогическое изречение Луи Наполеона, произнесенное им накануне монархического переворота (1851), в результате которого он сделался императором Франции.

стояла не шевелясь. Непонятные сооружения загораживали небо со всех сторон. Где же американские горки, откуда съезжаешь в две секунды? «Ах, я стою под ними, а там...» Она затаила дыхание, из тени, вероятно скрывавшей карусель, вынырнула фигура.

— Вы пунктуальны, графиня. — Терра поклонился, как в светском салоне. — Итак, я буду иметь честь показать вам ярмарку ночью.

— Я уже видела, ничего интересного.

— Что же нам тогда предпринять? Бесплатное катание?

— Старо.

Свисток, какая-то беготня во мраке, — и женщина, медленно поднимавшаяся позади них с земли, скользнула голубоватой тенью через световой круг вслед бегущим. Графиня отпрянула назад и натолкнулась на вытянутую мужскую руку.

— Пойдем, детка, — сказал Терра, окутывая ее своим плащом.

Под одним из фонарей они остановились.

— Не надо, — сказала она и все же потянулась к нему, а он к ней. На парусиновой стене балагана рядом с ними стройно выросла их слившаяся тень. Напряженно вглядывались они в разоблаченные светом фонаря лица друг друга. Он отнял руку от ее бедра и заключил между ладонями ее нежные, тонко очерченные щеки. Под мечтательным пламенем его взгляда ее юные, детские черты смягчились, лукавые искры погасли в глазах и губы раскрылись. Он склонялся все ниже над блестящими, еще стиснутыми зубками, склонялся так медленно, что под конец почти остановился.

В этом упоенном и просветленном лице он, содрогаясь, увидел глубочайшее сходство со своей сестрой. Вчера еще, когда она тревожно ждала в подъезде... Тем крепче, тем страстнее приник он к этим губам.

Прерывистое дыхание — не его и не ее. Оно приближалось, превратилось в хрипение, и вот какое-то странное тело покатило к их ногам. За ним женщина, — она не видала их, она загородила распростертыми руками упавшего. А вот и преследователь, полуголое чудовище, размахивающее толстым железным брусом. Девушка пригнулась; тогда разъяренное чудовище ринулось вперед, железный брус полетел со звоном.

Графиня вскрикнула; девушка подняла голову, протянула руки, словно моля: только не это! Потом подошла, шатаясь. Ей воочию надо было увидеть самое страшное, более страшное, чем то, что люди убивают друг друга. Она оцепенела от ужаса; застыли и те двое вместе со своими слившимися тенями. Тут девушка встрепенулась, закружилась на месте и побежала, как будто преследуемая погоней.

Оба силача ползли по земле, навстречу друг другу. И вдруг они вскочили и стали друг против друга, сжав кулаки.

— Сейчас начнется представление! — радостно шепнула графиня и шмыгнула в башню. Терра поспешил за ней, потерял ее в поворотах спирали, не нашел и на верхней площадке, а внизу, в кровавом свете фонаря, клокотала борьба, клокотанье долетало доверху, перешло в рев.

«Они прикончат друг друга. Скорее вмешаться!» Он сел в санки и спиралью

помчался вниз. Во время спуска, быстрого и нескончаемого, как мысли, он думал: «Они убивают друг друга. Таково у нас, людей, начало отношений, завязка, кровавый след». В нем вспыхнула ненависть к Мангольфу. Где сейчас был Мангольф с Леей, чьей смертью он был? Сестра! Ее лицо в лицах других женщин — графини, женщины с той стороны, — и та ночь в порту, когда другая, как ныне эта, лежала у него на груди, а рядом тоже лилась кровь! Значит, все переплетается в том головокружительном ночном спуске, который мы совершаем: одно переходит в другое, подобно кольцам спирали, и ведет в пустоту... Тут он очутился на земле.

Борцы лежали и уже только вздрагивали в собственной крови. Терра в ужасе обошел вокруг них. Более сильный повалился на более слабого, он проломил ему череп железным брусом. Но, в то время как он замахивался, нож поразил его самого.

Сверху послышался ликующий возглас. Там стояла графиня и кивала ему. Юная, радостная, недостижимая и ничего не понявшая, глядела она, как умирали внизу. Она появилась, переводя дух от головокружительного спуска, и спросила:

— Так бывает каждую ночь? Это принято?

— Вот напасть! — сказал Терра, очнувшись. — Нам, графиня, лучше всего поскорее убраться отсюда.

Он взял ее под руку и зашагал так, что ей пришлось бежать рядом. Пробежав немного, она запротестовала. Сделав лицо обиженной барышни, она пошла, как ей хотелось, на должном расстоянии от него, и он не удерживал ее. Оба молчали.

Прочь от этого погибельного светового круга, подальше от него, — вместе, как по уговору. Но и остановились оба так же одновременно. Под фонарем, белесо-синяя, как от ущербной луны, лежала фигура; увы, сильно забившиеся сердца подсказали им — чья. Она лежала, вытянувшись, с застывшим взглядом, а над переливчато-черной полоской вокруг ее шеи неподвижно стояла змеиная голова.

Графиня потянулась за его рукой, как бы прося прощения, как бы желая помочь, удержала, когда он хотел вырваться, потащила за собой, когда он хотел остаться подле умершей. На ходу, совсем неожиданно, он возмутился вслух:

— Зачем она это сделала?

— Вы еще ни одной женщине не говорили, что готовы умереть за нее? — очень нежно, словно издалека спросила графиня.

— Говорил, но только из любезности, — пробормотал он, стуча зубами.

Графиня думала: «Где экипаж? Домой, в постель! Как я попала сюда?»

Глава III Директор

«У самых наших ног два человека отправили друг друга на тот свет, — думал Терра. — На наших башмаках, благороднейшая графиня, одна и та же кровь. А кровь укротительницы змей у нас даже на совести. — Он думал о ней с каким-то жестоким торжеством. — Уж она-то будет помнить меня».

О местопребывании Мангольфа он даже не справлялся, так он был уверен, что Мангольф не только последовал за своим министром, но даже опередил его. А сам он продал карусель и собрался в путь. Зачем? — задал он себе вопрос, когда все было уже

кончено.

В тот же вечер, за стаканом вина в укромной пивной последовало признание: «И я буду помнить ее». Он понял, что снялся с места лишь затем, чтобы поехать туда, где находится она, — другой цели, кроме нее, у него не было. Это сознание подействовало ошеломляюще. Терра покорно склонил голову, лоб его покрылся сетью морщин, в глазах вспыхнула насмешка. Другой одинокий посетитель, увидав это, забеспокоился.

Терра только сейчас заметил его, хотя они сидели друг против друга у единственного освещенного столика. За полу сюртука вернул он беглеца от двери, подвел к свету и произнес звучно:

— Не пугайтесь, сударь, вы имеете дело не с сумасшедшим.

— Что вы, что вы, — запротестовал тот. Тоже, по-видимому, человек с еще не определившимся местом в жизни, по профессии нечто среднее между дантистом и комиссионером. Терра не стал допытываться; он представился и собственноручно усадил нового наперсника на прежнее место.

— Были вы когда-нибудь влюблены? — спросил он; вместо ответа тот, успокоившись, чокнулся с ним.

Терра добросовестно совершил возлияние, но глаза его рассеянно блуждали.

— Тогда вы должны знать, — пояснил он, — что при этом совершенно неожиданно перемещается фокус в сердце. Он уже не совпадает целиком с образом женщины с той стороны, публичной княгини Лили.

— Ах, вот в чем дело, вы собираетесь жениться, — заметил наперсник.

Терра рассмеялся.

— Ха-ха, попробуйте возьмите себе в жены умный взгляд, непостижимую гордыню и отсутствующее сердце!

— Она, верно, графиня? — заметил наперсник и скептически хихикнул. — Не связывайтесь с такими девушками, если вы даже и художник.

— Вы опытный человек.

— Я самолично написал одной такой, по брачному объявлению в газете. Она прислала мне даже свою фотографическую карточку, но только карточка была не ее, а покойной сербской королевы.

— И вы с тех пор не могли установить никакой связи между убитой королевой и вашей собственной особой?

— Я не сумасшедший.

— Судьба не посылает этого никому по почте. — И Терра вперила пылающий взгляд в испуганное лицо собеседника. Тот тоскливо покосился на дверь. Но, не надеясь добраться до нее, он съезжился и укрылся за столом. — Разве не воплощенное безумие, — воскликнул Терра, — проматывать жизнь, этот божий дар, кружась все на одной и той же карусели, не слыша ничего, кроме дребезжания гнусной шарманки?

— Позвольте, это надо понимать иносказательно?

— Повертите сами карусель, тогда многое поймете.

— Опять начинается!

— А вы уже наперед знаете, чем я закончу? У неба хватит милосердия оградить меня от вашего влияния! — Терра приподнялся с угрожающим видом. Наперсник наполовину исчез под столом. — Страшнее всего было ваше влияние тогда, когда я сверхчеловеческим напряжением сил старался вырваться от вас. Оставайся чист и неподкупен, будь игроком, насмешником и презирай убожество. — При этом он чокнулся с наперсником. — Все равно, даже самая жертвенная мудрость приведет только к тому, что вашей глупости дано от природы, она превратит меня в гниющую падаль.

— Ну! Ну! — вставил наперсник, стараясь подладиться.

Но Терра поднялся со стула, отошел немного и, упершись ногами в землю, напустив на себя торжественный вид, приготовился к речи.

— Властвовать! — загремел он раскатисто. — Властвовать во славу божью. Преуспеть можно только при существующем общественном строе.

Тогда встал и наперсник; он поднял руку и, желая проявить солидарность, сказал:

— Я тоже голосую за национал-либералов!

Терра держал руки за спиной, упираясь ими в стену; он притих; казалось, его охватила дрожь ужаса.

— Нельзя всю жизнь быть только тенью, которая пугает людей и которую они обходят. Необычайное является нам для того, чтобы мы за него боролись.

— Это вы опять о графине?

Терра зашагал по комнате.

— Дело в том, что в жизни самая фантастическая цель разжигает больше всего. Вот и пробиваешься, стремишься, достигаешь далей, которые всегда оказываются ближе, чем та единственная.

Наперсник, следуя за ним, возбужденно смеялся.

— Как вы все знаете! Откуда вам известно, что я своим благополучием обязан сербской королеве? Ради нее я, наконец, взял себя в руки, и, подумайте, дело вдруг пошло. — Он снова опустился на стул. — Только вам сознаюсь, я люблю ее до сих пор, — и поцеловал карточку кабинетного формата.

Терра оскалил зубы.

— Она думает обо мне, как я о ней, тут уж ничего не попишешь. Ибо здесь пролилась кровь.

Наперсник перестал целовать карточку и с ужасом смотрел на него.

— Капля крови на шее девушки, та капля, что на совести у нас обоих, сиятельная графиня, весит много. Она больше весит, чем ваш умный взгляд, ваша непостижимая гордыня и даже ваше отсутствующее сердце.

Над столом виднелись только глаза наперсника. Затем он совсем сполз вниз, прошмыгнув под столом и скрылся за дверью.

Терра поднялся в ожидании ответа, готовый к бою. А где же наперсник? Тогда он

тоже ушел.

Час спустя отправлялся поезд на Берлин, и Терра сидел в нем. Куршмид, его друг до гробовой доски, ждал его там утром, чтобы немедленно ввести в «Главное агентство по устройству жизни». Оно помещалось на Фридрихштрассе, против кафе «Националь». На вывеске стояло: «Главное агентство по устройству жизни, фон Прасс может сделать все».

— И это истинная правда, — пояснял Куршмид, пока они поднимались по лестнице. — Жизнь, или то, что под этим понимает фон Прасс, состоит из добывания денег и наслаждений. Посему он в первую очередь держит консультанта по биржевым делам или тот содержит его. Случается, что акции, которые он рекламирует в своей газете, идут на повышение, но крах они терпят всегда. В обоих случаях он не в убытке. Ну, а уж тут недалеко и до сводничества в крупном масштабе.

— Отдел наслаждений, — заметил Терра.

— Отдел Б доставляет среди прочего и связи с двором, если это уже не сделано отделом А.

— А я?

— Подождите минутку. Мы устраиваем выставки, проводим гастролы, создаем знаменитостей. Здесь, как и на всякой другой бирже, мы привлекаем средства мелкого люда, а это и есть самые крупные. Мы обслуживаем весь мир искусств.

— Мы?

— Я заведу рекламой, — скромно ответил Куршмид. — Хотите занять мое место?

— Я не такой энтузиаст, как вы, и потому вряд ли буду на высоте.

— Фон Прасс не спрашивает рекомендаций. Зато требует, чтобы вы каким-нибудь особо успешным маневром немедленно оправдали свое жалованье за первые пять лет.

— А как он платит?

— Вполне достаточно для того, чтобы вы не сбежали.

— Ну, это, кажется, не совсем так: ведь вы же собираетесь уйти.

Куршмид замедлил с ответом.

— У меня есть для этого личные причины, — признался он и покраснел.

— Моя сестра Леа, — сказал Терра, — говорят, произвела сильное впечатление во Франкфурте в пьесе какого-то Гуммеля, что ли?

— Вы познакомьтесь с ним! — радостно воскликнул Куршмид. — Я пробуду здесь еще несколько дней до отъезда во Франкфурт.

Они как раз входили в широко открытую дверь приемной «Главного агентства по устройству жизни». Там стояли два круглых дивана, обитых красным плюшем, посреди которых на задрапированных тумбах красовались серые от пыли букеты бумажных цветов. В такой ранний час на диванах сидели только пожилой бритый мужчина и два молодых, того же типа; они на что-то ворчали. В это время вошла еще дама, красивая и изящная; все они объединились, чтобы возмущаться уже громко.

— Эта комната представляет собой праздничную сторону жизни, — пояснил

Куршмид и обратил внимание своего спутника на золотые ленты венков по стенам и на вставленные в богатые рамы портреты знаменитостей обоего пола: их позы выражали полное удовлетворение жизнью. На самом свету стоял небольшой столб для объявлений с многообещающими числами гигантского размера и с изображением танцующих звезд варьете, которые обещали еще больше.

Слева — завешенная стеклянная дверь, прямо видна следующая комната. За деревянной загородкой, охраняющей несгораемый шкаф, кто-то метался из стороны в сторону, как дикий зверь в клетке.

— Господин Зейферт! — крикнул Куршмид через загородку. — Что, придет господин директор?

— Придет, но не тогда, когда вы его ждете, — послышалось оттуда.

Зейферт с быстротой молнии провел рукой по космам волос, переложил связку бумаг, быстро-быстро, как зверь роет засохшую листву, перелистал какие-то записочки на столе и уже снова очутился подле кассы. Рядом в стене было видно отверстие рупора. Куршмид опасливо к нему приблизился и вдруг сорвал с головы шляпу, — из отверстия послышался рычащий голос.

— Отлично, господин директор, слушаюсь, сию минуту, — залепетал Куршмид и поклонился.

Робко и поспешно повел он за собой Терра. Посетители, притихнув, глядели им вслед.

Зейферт сам открыл им загородку и собрался даже полкой своего сюртука вытереть гостю стул; физиономия у него была озабоченная и потная, а рот без передышки извергал сведения о господине директоре и стереотипные изъявления вежливости; но Куршмид стремился дальше. Позади кассы, в большом пустом помещении они обнаружили двух инвалидов. Из-за конторки у окна привстал белокурый курносый человек в зеленой куртке. «Народ встает», — произнес он при этом. Посреди комнаты за большим кухонным столом скромный еврей надписывал адреса; он тоже поклонился.

— Элиас, что, есть там кто-нибудь? — спросил его Куршмид.

Но еврей, скорчив унылую гримасу, пожал плечами. Вместо него «народ» поспешил сообщить:

— Нет никого, если только никто не поднялся через люк.

— Идем, — сказал Куршмид.

Они вошли в темную каморку; там днем и ночью при газовом свете, за дощатой стойкой, на которой стояли горшок с клейстером и кружка пива, копошился старик в синем переднике и в очках.

— Дядюшка Ланге, Альма исправится непременно, — произнес мимоходом Куршмид.

Старик взволнованно бросил ему вслед:

— Это вы всегда говорите, господин Куршмид, когда-нибудь так оно и будет!

Дверь, к которой они подошли, открылась беспрепятственно. За ней два шага

пустого пространства. Терра хотел пройти вперед, но в темноте натолкнулся на войлочную обивку.

— Черт возьми, откройте!

— С этой стороны нет ручки, — ответил Куршмид.

Терра проворчал:

— Любопытный субъект. Судя по всему, он должен носить железную маску.

— Можете говорить громко, — сказал Куршмид. — Дверь обита войлоком, и к тому же он туг на ухо.

В это время войлочная загородка беззвучно повернулась.

Прямо книжный шкаф с полуоткрытыми дверцами, точно створками ширмы. Слева еще одна, обитая войлоком дверь, справа лестница вниз. «Люк, — решил Терра, — откуда поднимаются».

Куршмид притворил дверь. Обернувшись, он сказал:

— Теперь молчите, он видит вас.

Глухой кашель — и из-за книжных полок вырос директор, весь в сером. Бесшумно приблизился он по ковру, вытянув шею из костлявых плеч и опасно поводя сплюснутой головой, взгляд его так и впился в руки пришедшего: что тот принес? Внезапно он остановился и поднял глаза. Терра испугался блеска этих черных глаз. Эти глаза предвещали безумие, — разве не были они похожи на его собственные глаза? Но тут директор скривил бритый рот и протянул руку с длинными пальцами.

— Ну-с, итак? — сказал он, словно появление Терра давно предрешиено судьбой.

Рукопожатие его было цепкое, но холодное; лицо смуглое, с желтыми бороздами, как растрескавшаяся кожа, выдубленная раз навсегда неизвестно в каких переделках. Он погрузился в глубокое кресло, невероятно далеко вытянул тощие ноги, — настоящий скелет с оскалом крупных зубов из слоновой кости. В такой позе он производил впечатление какого-то ископаемого. «Черт возьми, — подумал Терра, — с кем я спутался?»

Но директор коротко и ясно объяснил ему, каковы его будущие функции: он не только обязан создавать рекламу, он сам обязан быть ею. Общение с заведующим рекламой должно вселять в каждого непререкаемую уверенность, что ему следует благодарить небо за то, что он родился и может внести деньги в «Главное агентство по устройству жизни».

— Никогда, ни при каких обстоятельствах не смущайтесь фактами, хотя бы на вас камень свалился с неба. Хорошо то, что приносит успех. Вам будут платить за успех.

— В каких размерах? — спросил Терра.

Директор и бровью не повел.

— Ваша должность, — сказал он, — это нововведение, и притом наиболее важное, в истории чистого духа. Мы добились того, что он будет служить устройству жизни.

— Ваше «Главное агентство», господин фон Прасс, ставит себе максимальные требования.

— У вас нет ничего, вы ничего собой не представляете, а подходите к жизни с моральными запросами. Вы именно то, что теперь называют интеллигентом.

— У вас слишком трезвый ум, господин директор, а потому вы не можете не сознавать, что и для обмана необходим интеллект, — резко ответил Терра.

Директор по-прежнему невозмутимо:

— Интеллигентская щепетильность, которая тяготеет над господином Куршмидом, вам не свойственна, вы далеко пойдете. Непременным условием является...

— Непременным условием является по меньшей мере сто пятьдесят марок в месяц, — ответил Терра настолько выразительно, что директор был вынужден внять ему.

— Господин Куршмид, вы тоже хотите что-то сообщить? — спросил он вопреки очевидности и так недвусмысленно махнул рукой, что Куршмид поспешил откланяться и исчез за обитой войлоком дверью.

— Не угодно ли сигару? — спросил после этого директор.

Терра свирепо оглянулся. В трехстворчатом шкафу на полках стояли коробки с сигарами, среди них одна открытая; Терра хотел взять из нее сигару, но наткнулся на раскрашенную материю. Корешки книг тоже были неподвижно прикреплены, — бутафория везде, куда ни глянь. Терра отпрянул, но директор сидел совершенно спокойно, словно так и нужно, невозможно было даже засмеяться.

В этот момент зазвонил телефон. Директор, не вставая с места, приложил ухо к стене.

— Кто осмеливается звонить? — спросил он грубо. — Что? Как? Это опять вы? Громче! — Собеседник директора производил отчаянный шум в телефоне, наконец директор понял. — Что я делаю? Все. Как? Что? — снова начал он. — Акций нельзя достать? Знаю, ничего не попишешь. Я-то, конечно, могу достать, я все могу. На ваши деньги, говорите вы? Сколько их? Громче! Вы не можете громче кричать? Тому, кто мне дает деньги, приходится кричать. Семьдесят? Только ради вас я возьму семьдесят тысяч. Сдайте в кассу! — Он заполнил бумажку и отнес ее за книжную бутафорию. Затем остановился перед Терра, хвастливо улыбнулся и показал пустые ладони: «Ловкость рук и никакого колдовства». Затем уставился на Терра, но одним глазом, другой он прищурил. — А что, если бы вы были на моем месте? — В этом одном широко открытом глазу светился целый мир хитрости. Тому, на кого так смотрели, ничего не оставалось, как тоже ухмыльнуться в ответ. — А вы толкуете о ста пятидесяти марках, — заключил директор, сделав пируэт. Терра мог только покорно склонить голову. — Ну, давайте, поговорим серьезно! — потребовал директор. Он взял в руки папку, подвинул свое кресло к камину и поставил ноги на решетку. — Я кратко, сжато, скупое дам вам директивы. Вы должны их творчески разработать. В данный момент у нас два важных дела: во-первых, добыть разрешение на котировку наших новых акций, самых последних, — вот вам материалы, учтите все в общих чертах, а во-вторых — опера.

— Я устрою так, что ее напишут, — заверил Терра.

— Нам должна быть доверена еще не известная опера, написанная высокой особой, — сообщил директор и вздернул брови. — У нас ее нет, но мы ее получим.

Автор ее — такое лицо, в союзе с которым мы приобретем мировое могущество...

Терра наклонил голову в знак того, что начинает понимать. Директор сделал паузу, отчасти для большего впечатления, а отчасти, чтобы подготовиться. В это время открылась обитая войлоком дверь за его спиной. Представительный мужчина в добротном синем костюме, с брюшком, плешью и остроконечной белокурой бородкой, быстрым и уверенным шагом прошел за книжную бутафорию, несколько минут пошуршал там бумагами и появился снова, держа в руках то, что искал. Это была только что заполненная директором бумажка. Представительный мужчина не обратил никакого внимания на Терра. Только дойдя до порога, он повернулся к нему и насмешливо прищурил заплывшие жиром глазки. Он исчез, а директор, как будто ничего не произошло, повторил:

— ...мировое могущество, — и продолжал свою речь: — Для этой цели мы вывозим оперу за границу. Петербург, Монте-Карло. Там мы готовим почву, а здесь готовим материал. Но рекламу создавать мы должны при помощи своей собственной прессы. Трудность заключается в том, что официально ничего не должно быть обнаружено. Ваше дело — распространять слухи. Погрузите человечество в волнующую тайну. Кто ничего не знает, может неограниченно дерзать.

— Это мое привычное состояние, — сказал Терра, у которого уже назревал план. — Итак, я принимаю на себя обязательство завербовать для нас это высокое произведение искусства. Если в продолжение ближайших суток дело не подвинется вперед, вы можете послать меня к черту, как полную бездарность.

— Так я и намерен поступить. Кто не начинает с победы, тот никогда не достигнет цели. Сначала успех, а потом, пожалуй, и работа.

Директор внезапно принял выжидательную позу, он что-то услышал. В люке справа послышался шелест, — и директор, который становился глухим, когда прибывали деньги или когда они уплывали, теперь слышал малейший звук. Шаги; легко и таинственно скрипела внизу лестница; но директор был уже на ногах.

— Разговор окончен, ступайте!

Снизу показалась шляпа с фиалками. Директор нетерпеливо топнул ногой, он постарался заслонить люк и оттеснил Терра к двери слева. Закрывая ее за собой, тот успел разглядеть крашенные волосы и край вуали.

Терра очутился в хорошо обставленном кабинете. Кто-то шагал по ковру, — нахальный толстяк, что входил недавно в комнату. За стеклянной дверью слышалось жужжанье, словно там собралось много народу. Терра приподнял портьеру: приемная.

Следовательно, он обошел кругом «Главное агентство по устройству жизни». Приемная была уже полна людей, на горе замученному Зейферту. Он ежеминутно подбегал к загородке, чтобы жестами удержать нападающую толпу. Одному особенно напористому клиенту разрешено было выругаться в рупор, но ругался он, видимо, впустую. Клиенты, чьи лица выражали уверенность, стояли сзади. В прыщавом человеке, потиравшем руки, Терра угадал счастливец, которому удалось всучить директору свои семьдесят тысяч марок.

Когда Терра собрался открыть дверь, чья-то рука удержала его за плечо.

— Моя фамилия Морхен, — сказал толстяк с насмешливыми глазами. — Извините,

пожалуйста, что я нахожусь здесь. Это, собственно, ваша комната. Разрешите ввести вас в курс дела.

— Благодарю вас, я справлюсь сам, — ответил Терра, и без перехода: — У обитой войлоком двери в кабинет директора есть замок, кто взял от него ключ?

— Я, — ответил Морхен, захваченный врасплох, и даже вынул ключ из кармана. Но из рук не выпустил. — Давайте играть в открытую, — сказал он. — Вы думаете, что я вор?

Терра безмолвно закурил папиросу.

— Ну-с, так я не вор, — заявил толстяк и протянул записку. В ней господин фон Прасс уполномочивал господина Морхена получить из кассы семьдесят тысяч марок.

— А что вы с ними сделаете? — спросил Терра.

— Деловая тайна. «Ты все сомненья бросишь и никогда не спросишь...» — Морхен прищурился. — Нет, совершенно серьезно, не подкапывайтесь под меня. Как знать, кто может провалиться вместе со мной?

— Я не давал вам повода считать меня шпионом.

— Тут всякий становится шпионом. Семьдесят тысяч в надежных руках. — И еще доверчивее прибавил: — Сами понимаете, что я удерживаю отсюда свою долю. А вы, конечно, будете получать определенное и вполне достаточное содержание? — И так как в ответ Терра только пахнул дымом папиросы: — К сожалению, нет? Тогда мы пойдем друг друга. Не собираетесь ли вы случайно сегодня вечером в кафе «Националы»?

— Я очень занят, — сдержанно ответил Терра.

— А я? — укоризненно спросил Морхен — На моей обязанности внешние сношения. Я бегаю. Иначе куда бы я девал свой жир? — Снова лукавая усмешка, и толстяк приоткрыл внутреннюю дверь. — Вы его жалеете, правда? — спросил он уже в дверях, кивком головы указав на комнату директора.

— Прохвост! — бросил Терра ему вслед.

Он просмотрел полученные от директора бумаги, затем быстро и решительно начал писать. Он уже не слышал шума в приемной. От удовольствия он водил языком по губам. «Браво!» — сам восхищался он своим новым талантом. Написанное им представляло собой необузданную фантазию на тему об опере, сочиненной некоей высокой особой, которую он величал просвещенным гением высшего полета, но цветистое описание этого чуда искусства являлось в то же время и приманкой для соседней дружественной страны, где не только должны были поставить оперу, но и где была родина тех бумаг, которые требовалось протащить на биржу. «Как странно, — вдруг пришло ему в голову, — статья охватывает пункты А и Б, дело и наслаждение, а следовательно, и всю жизнь, но при этом все в ней химера, игра воображения или обман: трудно пока решить, что именно. — Он подошел к обитой войлоком двери. — За этими тюфяками сидит мой директор и считает себя благодаря бутафории и телефону тончайшим знатоком жизни, сам того не ведая, что он всего-навсего жалкий поэт в мансарде, которого может основательно промочить дождик. — Он раскрыл телефонную книгу. — Прохвост был прав, мне его жалко, я хочу помочь ему одолеть прохвоста... А что симпатичного в директоре? То, что он пугается, когда

действительность предъявляет свои права. Едва из люка показались шляпка с фиалками и прядь крашенных волос, как пелена спала у него с глаз, он осознал серьезность жизни и растерялся, бедный глупец».

Терра позвонил по телефону, решив: «Искуснее подойти к делу не сумел бы даже мой учитель».

— Господин доктор! — обратился он к откликнувшемуся на его звонок редактору. — Вы самый выдающийся во всей берлинской прессе специалист по биржевым делам. Это известно всему миру, и я не хочу быть одним из многих, которые вам об этом твердят. — После чего, варьируя обороты речи и интонации, он раз десять повторил то же самое, а редактор слушал и впитывал его слова. — Кроме того, вы, как никто другой, господин доктор, умеете воздействовать на массы с высот вашего культурного призвания. «Не хватил ли я через край?» — озабоченно думал Терра. Но в трубке как будто послышалось одобрительное бормотанье. — Из всех биржевых корреспондентов, — воскликнул Терра торжественно-приподнятым тоном, — вы один сумели найти в чисто экономической задаче средство к объединению народов и без усталости стремитесь привлечь на нашу сторону самую душу того народа, чьи акции нам следует приобретать. Будучи горячим поклонником ваших научных экскурсов в те страны, которые могут стать ареной нашей предприимчивости... А разве по своей стилистической красочности эти статьи не художественные творения?.. — Только спустя пять минут Терра заговорил об интересовавшем его частном вопросе. Часы пробили ровно двенадцать, когда он получил разрешение немедленно доставить свою статью.

Выбегая из подъезда, он столкнулся с Элиасом, который скромно уступил ему дорогу. Терра остановился.

— Вы тоже идете обедать? Едемте со мной.

Он впихнул Элиаса в проезжавший экипаж. Элиас боялся вздохнуть, сидя в таком шикарном экипаже. Старик был в потертом пиджаке, без пальто; чтобы защититься от порывов ветра, он прижимал руки к груди. Выражение лица у него было смиренное, а в манере держать голову чувствовалась настороженность.

— Извините, — сказал он, — я не обедаю. Свою порцию хлеба я уже съел, а теперь хотел только прогуляться.

— Я вас приглашаю, — сказал Терра. — «Главное агентство по устройству жизни» не очень-то вас откармливает?

— Еще бы, на пятьдесят марок в месяц! — подтвердил Элиас; его карие глаза приветливо поблескивали. В ответ на возмущенный жест Терра он заметил: — Собственно, семьдесят пять. Но остальные я отношу в банк.

— Вы стойкий человек, — сказал Терра и, так как они подъехали к ресторану, прибавил: — Заказывайте обед, а мне придется оставить вас на несколько минут: у меня поручение от директора.

У дверей Элиас окликнул его.

— Вы ведь не собираетесь сыграть со мной шутку и бросить меня здесь? — спросил он. — Денег у меня нет.

— Успокойтесь, — ответил Терра, — я слишком заинтересован в нашем «Главном

агентстве».

Служащий «Главного агентства» кротко, но настойчиво взглянул ему в глаза, затем опустил веки и с улыбкой прирожденного недоверия покорился необъяснимой причуде.

Терра вернулся очень скоро.

— Редакция «Локальпрессе» вне себя от восторга, — сообщил он. — Мое вступление в «Главное агентство» складывается блестяще.

— Раз вы умеете писать, — заметил Элиас, жадно уплетая обед, — вам легче водить других за нос, чем нашему брату.

— Ну, такой человек, как вы, не может быть вечно на ролях обманутого, — сказал Терра уверенно.

Покраснев, Элиас перевел дух.

— Только бы собрать тысячу марок, тогда я сам затею дельце.

— А «Главному агентству» вы, видимо, своих сбережений не доверяете?

Элиас покачал головой.

— Что я, с ума сошел?

— Ага! — кратко отозвался Терра. После чего они взглянули друг на друга.

С неизменной улыбкой Элиас подчинился новому обороту разговора.

— Если вы из конкурирующей фирмы, то что вы желаете знать и сколько предлагаете?

— По меньшей мере двадцать марок прибавки, если вы мне скажете, кто такой Морхен.

— Господин Морхен, — Элиас покачал головой, — человек тонкий, ему что-то известно о господине директоре.

— Директор платит ему беспрекословно?

— Избави бог! Когда они бывают вдвоем в кабинете, обитые войлоком двери прямо трещат, как будто в них что-то бросают, а в рупор мы слышим крик и гам.

— Я получил распоряжение выяснить ситуацию, — сказал Терра и поджал губы.

Элиас побледнел; он встал со стула и расшаркался, после чего снова чинно уселся на место.

— Что прикажете, господин полицейский советник? — кротко спросил он.

— Как только Морхен снова появится, — распорядился Терра, — идите вслед за ним, я объясню на службе ваше отсутствие. Проследите, куда он уносит деньги.

После этого он отпустил своего сообщника, выпил кофе и вернулся в контору. У письменного стола возился кто-то в зеленой куртке. То был «народ». При появлении Терра он бросил бумаги обратно в ящик, сказал «добрый день» и хотел удалиться.

— Такого условия у нас не было! — воскликнул Терра. — Что вы здесь делаете?

— Народ требует гарантий, — ответил белокурый румяный «народ», покачиваясь

на каблуках.

— В чем?

— В том, что наши денежки не пойдут прахом. А вы тоже из этой компании?

— Какой компании?

— Да из еврейской шайки, которая выманивает у людей деньги.

— Вы свои, по-видимому, поместили в «Главное агентство по устройству жизни»? Вас надо выручить.

— Довольно народ терпел от вас, — заявил «народ» и удалился.

Приемная еще не успела наполниться после обеда, но слышно было, как Зейферт уговаривает какую-то незримую толпу. Терра увидел его, еще более затравленного, за перегородкой, которая служила ему плохой защитой от нападений существа женского пола.

— Ради бога, фрейлейн Альма! — молил он. — Не могу же я взять алименты из кассы. А больше неоткуда.

— Да, из кассы, — неумолимо требовала дама. — И поживее, не то худо будет. — И тут же, без промедления, крикнув «отец», она попыталась приступом взять загородку, причем ее забрызганная грязью горжетка полетела вперед. В это время появился дядюшка Ланге; «народ» и Элиас поддерживали его, так как он был близок к обмороку.

— Альма, дитя мое, — хныкал он, — угомонись ты, ведь я, старый человек, место потеряю. — Но, так как она и не думала молчать, дух возмущения сообщился и ему.

— Нужно ж вам это было, господин Зейферт! — заворчал он. — Ну, посмотрите, что вы натворили. Теперь она просто пойдет на панель, даже не в кафе!

Зейферт стоял понурившись и запустив обе руки в волосы, «народ» развлекался, Элиас приветливо посматривал на всех. Терра возвысил голос:

— Фрейлейн, не согласитесь ли вы на сей раз получить требуемую сумму от меня?

— Ну, конечно, дружок, — ответила она и хотела сунуть ему свою визитную карточку. Он отступил, приняв строгий вид.

— Я не думал вас оскорблять, фрейлейн. Могу я просить вас о том же?

— Ну, конечно, — повторила она с удивлением и хотела уйти. Но теперь, переменяя позицию, против нее ополчился отец и выпроводил ее за дверь, осыпая родительскими проклятиями. Когда он вернулся, совершенно разбитый, сослуживцы встретили его словами:

— Дядюшка Ланге, Альма исправится.

— Это вы всегда говорите, — вздохнул отец и, еле волоча ноги, потащился к себе в темную каморку.

— Зейферт, вы, я вижу, тоже неудачник, — заметил Терра, оставшись наедине с кассиром.

— Мне достаточно взглянуть на девушку, как у нее уже готов ребенок, — с убитым видом сказал Зейферт.

Терра конфиденциально перегнулся над загородкой.

— Для человека, невинно пострадавшего, как вы, я не хочу сказать, что оправдал бы, но мог бы оправдать временный заем в кассе.

Зейферт уже снова запустил пальцы в волосы.

— Не хватало мне еще этого!

— И что случилось бы тогда с «Главным агентством по устройству жизни»? — добавил Терра. — Ведь господин Морхен себя не обижает.

Зейферт перестал метаться.

— Это вы тоже успели пронюхать? — Он принес из несгораемого шкафа целую пачку бумажек. — Вместо денег у меня хранятся только его расписки. Для себя-то он берет по двадцать марок, а для директора тысячи. Куда это все девается?

— Будем надеяться, что наш директор помещает их в блестящие предприятия.

— На это можно только надеяться.

— Я составил себе о нем совершенно ясное представление, — сказал Терра. — Я считаю его гением спекуляции.

— Да, выкручиваться он мастер. А утешать здесь людей приходится мне.

— Собачья жизнь, нечего сказать, — поддержал его Терра.

— Сегодня Морхен потребовал у меня семьдесят тысяч, — чуть слышно прошептал кассир.

— Вы послали его к черту?

— После обеда он придет опять.

— Дайте ему достойный отпор.

— Тогда он донесет директору, что я беру из кассы деньги и даю ему взаймы. Он вертит стариком как вздумается.

— Мы сами так с ним расправимся, как ему, при всем его хитроумии, и не снилось, — заявил Терра с такой непреложной уверенностью, что Зейферт, ни о чем больше не спрашивая, просто потряс ему руку. Но появившаяся публика снова бурно атаковала кассира.

В приемной скопилось много народа, и настроение, царившее там, ясно говорило, что люди пришли за своими деньгами и беспокоятся, что пришли напрасно. Терра понимал, что малейший толчок вызовет стихийное возмущение этих людей против того, кто систематически уносит их деньги, и таким образом избавит директора от его злого гения. С каждым часом директор казался ему все более достойным доверия.

Не входя к себе в кабинет, он снова спустился на улицу, так как приближался момент выхода «Локальпрессе». Редактор биржевого отдела почуял, что статья сулит сенсацию, и хотел напечатать ее сейчас же, в вечернем выпуске. Бодро шагал Терра по Фридрихштрассе. Меньше суток он в Берлине — и уже чувствует себя во всеоружии. В быстром мелькании толпы он не различал отдельных лиц, но ощущал каждого из прохожих, как и разогретую их шагами торцовую мостовую. Надо действовать и приступом взять успех. Кругом нищета, роскошь, мошенничество, и все они уравнены

в правах взаимной борьбой. Торговые дома пропускают столько покупателей, сколько могут, и эксплуатируют своих служащих, тоже как только могут. Борьба разрастается, невзирая на тебя и твои терзания. Возьми ж ее в свои руки, сделайся ее вожаком.

Получив у первого разносчика газету, он развернул ее, словно в чад, но, пробегая столбцы при свете газовых фонарей, быстро отрезвился: в отделе торговли не было ничего. Все же он нашел свою статью, напечатанную в виде фельетона; он прочел ее у подъезда «Главного агентства». Господи, как она искорежена, скомкана! Редактор с присущей ему пронизательностью вычеркнул все, что могло пойти на пользу «Главному агентству»: допущение на биржу последних акций, а также деятельность «Главного агентства по устройству жизни» в интересах оперы, написанной высокой особой. Правда, литературно-музыкальная оценка произведения частично сохранилась.

Терра поднялся по ступенькам с сознанием: «Первая неудача! Но второе дело стоит двух. В атаку на Морхена!» Пробравшись через толпу к своей двери, он решительно распахнул ее — и так же быстро снова закрыл со словами: «Прошу прощения». Он увидел даму с фиалками в объятиях какого-то господина, но отнюдь не директора. Господин поддерживал ее за талию, а она откинула голову и весь стан так, что его лицо приходилось над ее лицом. Эта картинная поза не оставляла сомнения в том, кто она. Хотя ее наполовину скрывала фигура мужчины и она еще не успела поднять глаза, но как было не узнать в ней женщину с той стороны!

Они отодвинулись друг от друга, однако без излишней поспешности. Женщина с той стороны кивнула Терра так, будто лишь вчера назначила ему свидание.

— Как вам жилось это время? — спросила она по-приятельски.

— Великолепно, — ответил он ей в тон. — Иначе и не может житься заведующему отделом рекламы.

— А наше дело? Ведь у нас всех троих, по-моему, одно общее дело, — заметила она своему партнеру.

— Да ну! — воскликнул Терра, искренно удивленный. А у того лицо совсем вытянулось. Он был еще выше женщины с той стороны, казался непомерно широкоплечим и каким-то деревянным, физиономия у него была бульдожья, с глазами навывкате, коротким носом и с обвисшими, несмотря на молодость, щеками.

— Дело? Мне ничего неизвестно, — громким, но пискливым голосом произнес великан.

Княгиня Лили сказала презрительно:

— Оставьте при себе дипломатические ухищрения, господин фон Толлебен. Господин Терра — заместитель господина фон Прасса. Вы можете ошеломить его полной откровенностью, в духе вашего бывшего начальника. Господин фон Толлебен состоит в министерстве иностранных дел, — пояснила она, обращаясь к Терра.

Только теперь Терра заметил, что этот человек, когда у него на голове останется еще меньше волос, а брови станут еще кустистее, будет как две капли воды похож на Бисмарка. Сделав это открытие, он поклонился, как подобало заведующему отделом рекламы, словно отдавая себя в полное распоряжение клиента. Здесь речь несомненно шла о высочайшей опере. Но, увы, фон Толлебен, неприступный по-прежнему, с таким

презрением воззрится на Терра, будто перед ним была по меньшей мере побежденная Дания. Терра внутренне вскипел.

— Я вполне в курсе дела, — раболепно заверил он, приложив руку к сердцу.

— В интересах господина фон Прасса будем надеяться, что это не так, — нелюбезно возразил фон Толлебен.

«Скотина!» — всей своей закипевшей кровью ощутил Терра. Он склонился еще ниже сначала перед ним, затем перед ней.

— Княгиня! — обратился он подчеркнуто-почтительно к женщине с той стороны. — Имею честь доложить вашей светлости, что я ради успеха высочайшей оперы трудился целый день до полного изнеможения, — проговорил он, запинаясь.

— Как? Что такое? — пропищал фистулой Бисмарк.

— До полного изнеможения.

— Высочайшая опера вас совершенно не касается, поняли?

— Ваше доверие, господин барон, обязывает, — ответил Терра и протянул фон Толлебену газету с литературно-музыкальным дифирамбом.

— Вы мне неприятны, — сказал Бисмарк с той же пресловутой прямоотой. Враги обменялись взглядом, который был яснее всяких слов.

В то время как фон Толлебен подошел к лампе, чтобы прочесть статью, княгиня неслышно приблизилась к Терра.

— Государственная тайна, мой друг, — прошептала она беззвучным движением губ. — Высочайшая опера создана здесь, на месте, она существует только для того, — произнесла она с полуусмешкой, взглянув на Толлебена, — кто в нее верит.

Терра безмолвно и очень ловко скривил в гримасу рот и все лицо. Женщина с той стороны засмеялась своим звонким, равнодушным смехом. Дипломат подозрительно покосился на них и поспешил подойти ближе.

— Бойкое перо, — сказал он почти вежливо, обращаясь к Терра. — Музыкальную тему божественной благодати я охотно просмотрел бы в партитуре. Нет ли ее случайно при вас?

— К моему величайшему сожалению, она в кабинете у господина фон Прасса.

Тогда дипломат потребовал, чтобы Терра принес ее, а Терра очень учтиво предложил ему самому попытаться это сделать. Фон Толлебен, в самом деле, попробовал открыть обитую войлоком дверь или же докричаться, чтобы ее открыли изнутри. Но у него не хватило голоса, и высочайшая опера осталась недоступной. Свою досаду он выместил на Терра.

— Сударь! Вы бессовестный обманщик, — сказал он откровенно.

Терра ответил холодно и корректно:

— Я забочусь о делах моей фирмы. Если бы я предоставил вам партитуру, возможно, вас, господин барон, осенила бы гениальная мысль захватить ее с собой.

— Дерзкий мальчишка! Мы с вами еще посчитаемся в другом месте.

— Например, у меня, — сказала княгиня примирительно. Она не может уйти с

бароном, у нее есть маленькое дельце к этому заведующему отделом рекламы. Закрывая дверь, барон бросил на них пытливый взгляд из-под отечных век.

Терра отошел к письменному столу и принялся вертеть большой разрезной нож. Княгиня удобно уселась по другую сторону стола.

— Итак, мы встретились, — сказала она и спокойно ему улыбнулась.

Он ничего не ответил; тогда она сняла перчатку и протянула ему через стол руку.

— Я мог присягнуть тогда, что наутро вы исчезнете. Я не спал, и все-таки вы сбежали, — с усилием выговорил он.

— Все еще сердитесь? — спросила она.

Он злобно засмеялся.

— Я не желаю самому отъявленному злодею того состояния духа, в каком я, невинная жертва, вашими стараниями шатался по миру все эти годы.

— Я охотно сохраняю старые привязанности, конечно, по обоюдному желанию.

— Авантюристка! — И лицо его исказилось злобой.

— Того, что вы под этим подразумеваете, не существует вовсе. — Она презрительно скривила рот. — Условия жизни делают нас такими, призванием это не бывает.

Она встала. Она была высокого роста, лицо очень белое с темными бровями; прежняя покачивающаяся походка и голос, который он теперь назвал бы пустым. Но все же сердце его судорожно сжималось, когда он слышал этот голос.

— А вы действительно производите самое невинное впечатление, — сказал он насмешливо. — Как будто вы с тех пор вели себя примернейшим образом.

— Неужели вы все еще думаете, что у женщин моего типа нет другой цели, как губить гимназистов?

— Разумеется, есть, сударыня. Волосы у вас пожелтели, в вашей программе теперь другой номер — княгиня Лили на туго натянутой проволоке. Той дамы, которую я знал, уже нет на свете, а потому прошу вас ни минуты не сомневаться, что я не стану болтать.

— Меня совсем не интересует этот Бисмарк; он в долгу как в шелку.

— Так, значит, вас интересует директор?

— Да, вот кто, — подхватила она. — Как вы полагаете, вернул бы он меня в варьете и сделал бы звездой первой величины, если бы я не была тем, что есть? Он не предастся сантиментам, и его мне незачем обманывать. — И через плечо, небрежно: — Иначе я, конечно, не собиралась бы за него замуж.

Терра стоял неподвижно. Вдруг он направился к ней и протянул руку.

— С этого вам следовало начать.

— Я знала, что в конце концов мы пойдем друг друга.

— Чего мы здесь ищем? — сказал он резко. — Успеха. У вашей светлости, по-видимому, имеются основания душой и телом быть преданной «Агентству по устройству жизни».

— Мы оба держимся им, — сказала она, и лица обоих приняли сосредоточенное выражение. Терра подвинул ей кресло, а свой стул поставил напротив. Положив руки на колени, он начал вполголоса:

— Сначала этот человек показался мне плохим мистификатором, затем несколько лучшим. Но в конце концов я дошел, бог весть почему, чуть ли не до восхищения. А чего он стоит в действительности?

— Он человек огромных возможностей, — ответила она, тоже вполголоса. — Во-первых, он хочет жениться на мне. А на это способен либо незрелый юнец...

— Благодарю, — ввернул Терра.

— ...либо, — закончила она, — человек, которого уже ничем не проймешь.

— Во-вторых, — подхватил Терра, — он так окрыляет души, которые входят с ним в соприкосновение, что недостатка в больших деньгах у него не будет никогда. Ради его несуществующей оперы я сегодня обломал себе все ногти, как будто хотел собственноручно проложить себе путь к вечному блаженству.

— А я, — она ударила его по колену, — устрою так, что наш Бисмарк будет больше уверен в существовании высочайшей оперы, чем в существовании ее державного творца.

— После этого «Главное агентство по устройству жизни» может спокойно рассматривать устройство жизни как свою единоличную монополию, даже если опера никогда не будет написана. Но есть шанс, — добавил Терра, — что наша реклама вытянет оперу из ее творца. Всякий, кого назвали гением, спешит оправдать это звание.

Взглянув друг на друга, они засмеялись счастливым смехом.

— Право же, в нашу единственную ночь любви у нас не было так радостно на душе, — заметил Терра, и она ничего не возразила. Он перестал смеяться. — Но на этот прекрасный мир падает одна тень — Морхен.

— Да, — ответила она, — он и меня беспокоит.

— Какие отношения у фон Прасса с Морхеном? — шепотом спросил Терра.

— Даже мне не удастся выведать это у него, — шепотом ответила она. — Я знаю одно: зависимость от Морхена гложет его больше, чем деньги, каких он ему стоит.

— Я постараюсь разузнать больше, — пообещал Терра и предложил: — Вскружите голову этому негодяю. Он постоянный посетитель кафе «Националь». — Она задумалась. — Хорошо бы заполучить какие-нибудь улики против него.

Стеклянная дверь чуть задребезжала; взглядом они сказали друг другу, что их подслушивают. Вдруг лицо княгини изобразило задорный вызов, как на сцене. Поняв ее намерение, Терра поднес руку к сердцу и что-то залепетал.

Он сохранил эту позу до момента, пока дверь открылась и появился Морхен.

Морхен щурился еще хитрее, чем обычно. Мимоходом он поклонился в сторону княгини, слегка погрозил пальцем Терра и собрался уже воткнуть ключ в обитую войлоком дверь.

— Господин Морхен! — воскликнула княгиня мелодичным голосом.

— Такому зову противостоять нельзя, — сказал он деловитым тоном и подошел к ней.

Она указала ему на стул, с которого встал Терра.

— Директор занят, — промолвила она и откинула голову, соблазняя его своим белым лицом, как земным раем. — Вы можете все сказать мне.

Морхен заржал; казалось, он смеется над ней.

— Здесь творятся забавные дела, — заявил он. — Поверите ли вы, касса пуста!

Она поморщилась.

— Мой милый, кого вы думаете провести?

Но он вынул ордер директора и стал уверять, что ему отказались выплатить семьдесят тысяч.

Она заявила, не задумываясь:

— Я тоже не намерена терять свое состояние. У меня все, до последнего гроша, помещено в «Главное агентство». Я докажу вам свое доверие. Вот... — Она стала тянуть из-под шубки жемчуг, блестящий у нее на шее, нитка становилась все длиннее. Она бросила ее в услужливо подставленные руки Морхена. — Расплатитесь ею!

Морхен немедленно поднялся, он сразу стал серьезен. Низко поклонившись, он собрался уйти. Она подождала, пока он дойдет до двери.

— Который час? — бросила она звонко в тишину и посмотрела на свой браслет. — Четверть седьмого. Если вы до семи не вернетесь, мне придется предположить, что я никогда в жизни больше не увижу вас.

— И вас бы это очень огорчило? — насмешливо сказал Морхен.

— Но как мне быть? — ответила она. — Не могу же я оставить своего будущего мужа в беде.

Захихикав, Морхен исчез.

— Я достаточно ясно намекнула, что ему пора бежать, — остальное в ваших руках.

— А если директор не вынесет такого удара?

— Этого не бойтесь, — сказала она, после чего и он перестал сомневаться.

Она ушла. Он энергично зашагал по комнате, дымя папиросой и рисуя себе победоносное завершение дня: директор «Главного агентства по устройству жизни» избавлен от своего злого гения, он сам — Терра — компаньон, власть завоевана в один день... Время приближалось к семи; он вошел в приемную, там стоял шум и гул.

Зейферт прыгал по своей клетке как заведенный. Увидев Терра, он зашептал:

— Немыслимо с ними справиться, семьдесят тысяч скоро придут к концу, деньги рвут у меня из рук.

— Терпение, — успокаивал его Терра уверенным тоном.

В толпе он наткнулся на Куршмида, разделявшего общее беспокойство. Ходили темные слухи, и шли они из недр самого предприятия.

— Уж не вы ли будоражите тут всех? — спросил он Терра, но Терра ничего не понял.

Еще не старый, но обросший бородой человек, который держался подле Куршмида, тоже проявлял сильное волнение.

— Господин Гуммель и его друзья вложили сюда капитал общества «Всемирный переворот», — пояснил Куршмид.

— Всемирный переворот может свершиться, здесь к нему готовы, — сказал громко Терра и огляделся. Вдруг он заметил Элиаса.

Элиас стоял у двери комнаты, где помещалась касса, он следил за Терра смиренно-недоверчивым взглядом и, увидев, что тот его заметил, пошел навстречу.

— Ну? — осведомился Терра. — Где он?

— Неужели сбежал? — в свою очередь спросил Элиас. — Этого я от него не ожидал. — Он был искренно удивлен.

— Вы, значит, не следили за ним, — грозно произнес Терра.

Элиас же — хладнокровно:

— Разве это нужно, господин комиссар? Я и так знаю, что делает Морхен. Он играет.

Терра не сразу вник в смысл этих слов. Значит, Морхен играл по поручению директора на деньги «Главного агентства». С выигрыша он получал проценты, проигрыш его не касался. Тайна открывалась так просто.

— Я выследил его, — объяснил Элиас. — Тогда он стал мне давать время от времени по десять марок. Ну что ж, я и держал язык за зубами.

— Банк, где лежат ваши сбережения, скоро лопнет, — прорычал Терра.

Элиас шарахнулся.

Зейферт, который разрывался на части, в отчаянии подозвал Терра. Тот вместо него подошел к рупору, Оттуда раздался голос директора:

— Неужели Морхен до сих пор не вернулся?

— Господина Морхена здесь не было, — сказал Терра, подражая голосу кассира. — И касса пуста.

Директор, громко и уверенно:

— Значит, он придет сейчас. Именно сегодня должно закончиться одно грандиозное дело.

Терра взволнованно, голосом Зейферта:

— Господин директор, господин Морхен пришел. Одну минуту! — Затем, предпослав утробный смешок, сказал, подражая голосу Морхена: — Господин директор, не повезло.

— Все потеряно?

— Не волнуйтесь, господин директор. Для себя я выиграл.

— Негодяй, ты меня ограбил!

— Это вы говорите мне? — прозвучал обиженный голос Морхена. — Вот вы какой, господин директор! Семьдесят тысяч вы прощаете, а мои пятьсот марок разорили вас. Я ухожу в частную жизнь. Всего хорошего, господин директор.

И Терра больше не отвечал ни слова, сколько ни звал директор своего Морхена.

— Что вам угодно, господин директор? — спросил он, наконец, собственным голосом.

— Я разгадал вас, — ответил сейчас же директор. — Вы пролезли ко мне, чтобы шпионить. Я тоже велел следить за вами. Где Морхен?

— У него есть основания больше не показываться, — пояснил Терра и прибавил, что жалеть о Морхене не стоит. Отныне «Главное агентство по устройству жизни» может работать на здоровой основе. Но директор не поддавался уговорам.

— Вы отказываетесь вернуть мне Морхена? — упорно твердил он. — Без Морхена ничего не выйдет. Вы отказываетесь... — Голос смолк. Затем вдруг — сухой треск. Терра отпрянул и огляделся.

Положение было критическое. Загородка, защищающая кассу, лежала сломанная на полу, и в нарастающем шуме преобладал крик: «Полицию!» Терра, которого окружила толпа, требуя сведений, пытался все свалить на плутовство одного из служащих; самому предприятию, по его словам, не угрожало никакой опасности. При этом он с дрожью в сердце оглядывался, ища лазейки. Что там случилось с директором?..

«Народ» вывел его из тяжелого положения, — он так вопил, что привлек к себе общее внимание.

— Проклятая еврейская шайка! — кричал он. — Довольно уж народ терпел от вас!

Все поддержали его: вкладчики, спекулянты, актеры, зрители и заблудившиеся мечтатели.

Глубоко потрясенному поэту Гуммелю пришлось усомниться в мировом перевороте из-за отказа «Главного агентства по устройству жизни» от платежей. Только Элиас являл собой оазис беспечности.

— Чего надрывается этот парень? — спрашивал он, показывая большим пальцем через плечо на шумевший «народ». — Вольно ж ему было всему верить!

Терра энергично протиснулся в комнату. Он и сам верил в директора, верил настолько, что не принял никаких мер предосторожности и таким образом ускорил катастрофу!.. В темную каморку вторглись беснующиеся дикари, а между тем дядюшка Ланге, глухим воем выражавший скорбь о потере столь тяжело заработанных грошей своей дочери Альмы, орудовал топором. Рама обитой войлоком двери затрещала, наконец дверь поддалась и толпа ввалилась в комнату. Но взятая с бою тайна оказалась иной, чем все ожидали. При виде комнаты с бутафорией вместо книг, с люком, с пустыми стенами вместо несгораемых касс, наполненных награбленным добром, многим стало смешно. Но, заглянув за один из бутафорских книжных шкафов, люди перестали смеяться. Безмолвно толпились они, обмениваясь вполголоса краткими соображениями, а затем дружно удалились.

Терра закрыл дверь и для безопасности припер ее самыми тяжелыми креслами. Только тогда он прошел за створку. Директор сидел в кресле у письменного стола, навалившись на один из локотников. Правая рука с револьвером свешивалась вниз;

казалось, что она хочет потихоньку засунуть оружие под ковер. Голова склонилась набок и упиралась подбородком в плечо; таким образом, некогда пламенный, а теперь стеклянный взгляд директора приходился, как обычно, на уровне рук посетителей. Казалось, ему по-прежнему важнее всего, что они принесли.

— Несчастный шарлатан, — заговорил Терра, — больше ждать нечего. Все это было лишь плодом твоего шарлатанства, плодом нашего общего шарлатанства. Чем сильнее я и мне подобные верили в существующий социальный строй, тем несокрушимее казался и ты. Временами чувствовалось, что в делах не все ладно, но никто не задавался вопросом, совместимы ли миражи с делами. Ты жертва всеобщей потребности в несбыточном. Те, кто ее удовлетворяет, гибнут, не дождавшись признательности. Мир праху твоему! — заключил он, услышав шаги.

Из люка появилась княгиня Лили.

— Я не любопытна, — заявила она, когда Терра хотел провести ее за бутафорскую стену. — Кроме того, я боюсь новых разочарований.

— Он совсем не страшен.

— У него было все, чего я тщетно искала в мужчинах.

— Неправда, — сказал Терра в приливе ревности. — У него не было будущего.

— Смерть — единственное, чего нельзя простить. — С этими словами она повернулась к выходу. У самой лестницы она, однако, остановилась и схватилась за перила, у нее дрожали колени. — И я собиралась за него замуж. — Она содрогнулась. — А как раз теперь мне было бы особенно некстати попасть впросак.

— Мое восхищение растет с часу на час, — как я понимаю, вы у нового поворота жизненного пути.

Она вдруг протянула ему руку.

— Я должна быть благодарна вам, Клаудиус.

— А я несказанно поражен, что вы еще помните мое имя, — произнес он смиренно.

— Мне сообщили, какую деятельность вы развили сегодня, чтобы вызвать здесь взрыв.

— В этом вы мне ни на йоту не уступали, ваша светлость. Вы пожертвовали даже своими жемчугами.

— Деньги не имеют значения там, где речь идет о более важном, — ответила она горделиво. И торжественно, почти с нежностью: — Вы, милый друг, уберегли меня от такого скандала, который никак не может быть на пользу женщине. Этого я не забуду никогда. Рассчитывайте на меня. Я приду вам на помощь при любых обстоятельствах. Клянусь в этом памятью покойного, — закончила она и стала спускаться впереди Терра по ступенькам.

— Ваша квартира носит отпечаток изысканного вкуса, — констатировал он внизу.

Она поджала губы.

— Он вас уже не слышит. К счастью, все записано на мое имя и полностью оплачено.

В одной из комнат, весело взвизгивая, без усталости бегал из угла в угол ребенок,

совсем еще крошка. Няня исчезла при их появлении.

— Мама! — радостно крикнул малыш, бросил куклу, которую таскал за собой, и повис на матери.

— Он умеет радоваться, — заметил Терра. — И у меня, говорят, была сильно развита эта способность.

— Он все еще неразрывно связан со мной, — сказала мать. — Когда я волнуюсь, его невозможно унять.

— До сих пор? А сколько ему лет?

— Ему два года и три месяца, мой друг, — ответила она и посмотрела на него. Взгляд Терра, выдержавший ее взгляд, дрогнул, он сам не знал, больно ли, или сладостно. Он засмеялся.

— И три года прошло со времени нашего близкого знакомства. Вы строго выдержали законный срок, Лили.

— Это мальчик, — деловито пояснила она, — зовут его Клаус, как и полагается. Дай ручку дяде, Клаус!

Терра наклонился, чтобы взять ручку ребенка. Его темные глаза с жгучим вниманием впились в карие глаза ребенка, в личико с красками блондина. Он едва удержался, чтобы не покачать головой. В конце концов это могло быть даже и правдой. Факт, не менее невероятный, чем многие другие. Нетрудно принять эту версию, как и всякую другую... Испуганный ребенок поспешил ускользнуть от назойливого гостя. Он поплакал минутку, а потом, весело взвизгивая, снова принялся бегать по комнате.

— Позвольте выразить вам мою искреннюю, глубокую признательность, — произнес Терра и с изысканной любезностью поцеловал унизанную кольцами руку княгини.

— Благодарность взаимная, — ответила она и налила ему ликера.

— Разрешите задать вам только один скромный вопрос: почему именно на мою долю выпало это незаслуженное счастье?

— Оно было не так уж не заслужено, — ответила она, пожимая плечами. — Ведь вы действительно требовали ребенка.

— А до меня? — начал он злобно.

— До вас, если вам угодно знать, никто этого особенно не требовал.

Тяжело дыша, он устремил взгляд в одну точку.

— Каковы же будут дальше наши отношения? — миролюбиво спросила она.

— Проще всего было бы нам остаться добрыми друзьями, — живо предложил он.

— Итак, если я ваш добрый друг: как у вас с финансами? Я не имею права оставить вас на произвол судьбы. Вы были заведующим отделом рекламы в агентстве, которое вряд ли будет существовать впредь.

Он поспешил отклонить всякую заботу.

Но она:

— Мне вы ничего нового не скажете о том, как гнусна жизнь. В свое время вы всем пожертвовали для меня.

Он возразил, что то было другое дело.

— А кроме того, вы отец моего ребенка.

За это он категорически не примет платы.

— Но вы меня оградили от нелепого скандала.

В ответ он засмеялся, и она вместе с ним. Это как будто разрядило атмосферу, и она дала волю слезам. Когда она встала, он поднялся вслед за ней. Они прошли еще раз по комнате; ребенок стоял и злыми глазами следил за каждым их шагом. Терра держал ее под руку. Лили снова касалась его бедром; ее щека нежно льнула к его плечу, он чувствовал ее дыхание.

— Мне кажется, случилось не такое уж большое несчастье, — сказал он резким тоном.

— Ах, милый друг, вы еще не понимаете, что случилось. — Всхлипывая: — Господин фон Толлебен ускользнет теперь из моих рук.

— Этот Бисмарк? Да пусть его! Он в долгу как в шелку.

— Но его положение! Реклама! Клаудиус, помогите мне.

— Он же не человек, а недоразумение, — рассуждал Терра. — У него нет темперамента. Что привязывало его к вам, мой друг? Высочайшая опера. Следовательно, нужно, чтобы этот шедевр был в вашем распоряжении. После смерти директора опера перешла к вам. Или, еще лучше, покойный хотел унести ее с собой в могилу и бросил в огонь. Вы с опасностью для своих прекрасных рук выхватили ее из пламени.

— Какое пылкое воображение! — сказала женщина с той стороны и обняла его.

— Если и после этого он не будет раболепствовать перед вами, то я готов стать вашим рабом.

— Но вы как-нибудь натолкните его на это.

— Возможность, пожалуй, представится, — сказал он и поджал губы. Он вспомнил о графине и тут же осознал, что ни разу не подумал сегодня о ней, о той, ради кого он вынес столь богатый событиями день. Она отдалилась от него за этот один день так, словно их прошло не меньше ста. Рядом с ним стояла женщина с той стороны и выжидательно смотрела на него. В это время к ним подбежал ребенок и первый раз прижался к его колену. В приливе еще не изведенного чувства Терра сел, чтобы приласкать ребенка, а кроме того, у него ослабели ноги.

— Вы, вероятно, прервали учение, но, конечно, не забросили совсем? — спросила Лили. — Это было бы недостойно вас. Тот, кто поддержит вас, пока вы не закончите образования, отнюдь не прогадает. Скажем, вот я... Как знать? — заключила она мечтательно, положив руку ему на плечо.

Он понял: «Может быть, вы женитесь на мне, скоро я приду и к этому, и сделаете карьеру при помощи моих сбережений и связей». Ему предлагалась комбинация, которая оскорбляла буржуазные приличия и была сама по себе унижительна. Ни под

каким видом нельзя соглашаться — и все же это предрешено судьбой, приведшей его сюда. «Иди на унижение! Дерзай ради меня!» — твердила его судьба. Рука женщины с той стороны все еще покоилась на его плече. Он схватил эту руку, приблизил к ней лицо и вдруг в необузданном порыве прижал ее сначала к своему влажному лбу, а потом к скорбным губам.

Куршмид и писатель Гуммель все еще стояли в подъезде.

— Какие здесь разыгрались потрясающие сцены! — сказал поэт. — Социальный вопрос — самая благодарная из тем.

— Хорошо, что хоть вы не потерпели ущерба, — заметил Терра. Это относилось, правда, только к моральной стороне дела. Как Гуммель, так и Куршмид предвидели, что на заседании общества «Всемирный переворот», куда они направлялись, начнется форменная паника. Они пригласили Терра пойти с ними. Ему было не по себе, — ведь он немало содействовал катастрофе. Но Куршмид представил Гуммелю Терра как слушателя, способного оценить ту драму, которую Гуммель собирается прочесть нынче вечером членам правления «Всемирный переворот». В толпе Куршмиду и Терра удалось отстать на несколько шагов от Гуммеля.

— Вы сегодня здорово похозяйничали, — сказал Куршмид чуть не с благоговением. — Директор будет не единственной жертвой.

— Меня самого как обухом по голове ударило, — сознался Терра.

— Умоляю вас, со мной не нужно маски! Ваша неутолимая потребность в нравственном совершенстве создает катастрофы, куда только ни ступит ваша нога. Но если бы это сразило даже меня самого, я все же предан вам до конца! — с пылким рукопожатием заключил Куршмид.

Общество «Всемирный переворот» заседало в «Асканийском подворье». В большом уютном помещении за длинным трактирным столом собралась полностью вся корпорация модернистов, мужчин в возрасте до сорока лет. Более пожилые были адвокаты, их положительный ум служил поправкой к отвлеченным дерзаниям литературных схимников. Увы, и они доверились «Главному агентству по устройству жизни» и были жестоко обмануты. Теперь, правда, они заявляли, что никогда не верили в этот вздор и только уступали пристрастию своих более наивных собратьев к социальным веяниям.

— Что может быть общего у Грюнфельда с веяниями? — заметил кто-то, указывая на человека, сидевшего напротив Терра и явно страдавшего желудком. Слова здесь были такие же острые, как и умы. Требования предъявлялись высокие: находчивость, смелость, ультрасовременные взгляды в области искусства и социальные убеждения. За сарказмом выражений чувствовалось твердое верование — у одних искреннее, у других наигранное, но оно чувствовалось повсюду, в каждом разговоре: скоро предстоит ни больше ни меньше как решение социальной проблемы. В связи с этим наступала эра нового духа, так что обществу «Всемирный переворот» открывалась широкая дорога; но пока что оно устраивало спектакли в отдаленных пригородных театрах, для чего требовались средства — во имя настоящего и будущего блага.

— Я прямо потрясен: здесь обсуждаются революционные мероприятия, — простодушным тоном сказал Терра господину, сидевшему напротив.

— Сколько времени вы в Берлине? — спросил господин Грюнфельд.

— Один день, — сознался Терра.

— Я здесь уже двадцать лет, а всемирный переворот бывает только по средам.

После этой отповеди Терра оставалось лишь приналечь на пунш, и для соседей он перестал существовать. Круговой чашей ведал один из членов общества в коричневом вельветовом пиджаке, сидевший во главе стола. Терра тщетно пытался согласовать традиционные застольные обряды с рискованными замыслами общества. Это ему не удалось, тогда он примирился с ролью адепта, которого терпят и который пассивно следит за событиями. Гуммель начал читать свое произведение.

В своей шерстяной егеровской куртке он сидел рядом с коричневым вельветовым пиджаком и читал, сильно злоупотребляя диалектом и негодованием. На диалекте в его пьесе говорили маленькие люди, негодовал же он на богачей. Они эксплуатируют бедняков не только на расстоянии, — они, как тигры, сидят у них на шее, голодом и работой убивают их сыновей, а дочерей — своей похотью. Без сомнения, это было убедительно и мрачно и именно в силу предельной мрачности полно веры в грядущий день. Были в драме и такие места, которые заставляли Терра искренне восхищаться Гуммелем. При такой внешности и такой некультурности языка — столько гордой человеческой воли. В подобные мгновения все вокруг представляли перед ним в ином свете, существами великодушными, жаждущими добра: необыкновенная порода людей, надо примкнуть к ним. А сам поэт, — густая борода скрывала тонкие и подвижные черты его лица и даже скрадывала пронизательность взгляда; но как напряжены тощие плечи под шутовской курткой!

К сожалению, на сцену снова выплыли маленькие люди, и в состраданье, им сопутствовавшем, обнаруживалась, невольна ли, или нарочито, та манера смотреть на мир снизу, которая оскорбляла и отталкивала Терра.

Он тут же решил сбрить свою бородку во избежание всякого сходства с Гуммелем. Но слушать продолжал из-за главной женской роли. Сначала героиня была учительницей, невыигрышная роль, как ему показалось. Она-то и была связующим звеном между богатым домом, где ее любили, и бедным, откуда она происходила. Но постепенно из учительницы она превратилась в авантюристку, которая жила в роскошной вилле, поглотив полностью и дом богачей и их самих. «Неплохо для Леи, — подумал он, — После франкфуртских успехов она вполне созрела для Берлина. Но интересно знать, имеет ли это общество достаточно веса, чтобы моей сестре стоило путаться с ним. Может быть, все их так называемое движение только выдумки „Главного агентства по устройству жизни“».

Гуммель закончил чтение, в его честь выпили еще круговую чашу, а затем началась критика. Соревнуясь в остроумии, каждый выискивал какие-нибудь недостатки. Грюнфельд протестовал с точки зрения юридической, и его доводы уничтожали все в целом; вельветовый пиджак, прихлебывая, заявил, что из-за путаницы во взаимоотношениях полов он ни в чем разобраться не может. Наступившую непредвиденную паузу прервал Терра:

— Как совершенный профан, и притом только сегодня приехавший в Берлин, я позволю себе, со всей необходимой скромностью, предложить один краткий вопрос.

Такое необычное вступление заставило всех умолкнуть.

— Подобные пьесы пишутся потому, что существует социальная проблема, или

социальная проблема создается подобными пьесами? — спросил он смиренно, то ли от робости, то ли из ехидства.

Как он и предполагал, многие высказались за второе. Писатель, раздраженный придирчивой критикой, подсел со стаканом пива к симпатичному профану, который, по-видимому, принял его всерьез. Терра заявил, что его особенно интересуют образ учительницы.

— Вы не находите, — подсказал ему писатель, — что в ней воплощена месть эксплуатируемых?

Терра ответил, что месть эксплуатируемых — дело второстепенное, а что с такими женщинами он встречался и тут не считает себя совсем профаном.

— Нам надо обсудить этот вопрос. Пойдемте со мной, — предложил Гуммель. Терра понял, что тот намерен до бесконечности толковать о своей пьесе, и только роль для сестры побудила его принять приглашение.

Втроем с неизбежным Куршмидом, разговаривая, шагали они без определенной дели по улицам. Их жестикулирующие силуэты отражались в мокром асфальте. Прохожие смотрели им вслед. Возбужденный до экстаза Куршмид уверял, что пьесе обеспечен мировой успех, но только при условии, если главную роль будет играть одна определенная актриса.

— Это невозможно! — воскликнул Терра. — О моей сестре не может быть и речи, что бы вы ни сулили. В ней слишком много от природы и простонародья, она слишком безыскусна, чтобы быть обольстительницей.

Куршмид хотел возразить, но осекся.

Писатель ликовал:

— Это как раз то, что мне нужно и чего я нигде не нахожу. Ради бога, не надо обольщения, не надо нечестивой красоты! Какие волосы у вашей сестры?

— Она уже седеет, — сказал Терра.

Он остановился у небольшой кухмистерской.

— Только у меня маловато денег, — сознался он без стеснения. — А как обстоит дело у вас, господа?

Но Гуммель, которому место было именно здесь, увильнул, заявив, что не хочет есть. Следующую попытку Терра сделал у сияющего входа в Винтергартен, и Гуммель охотно согласился. Спектакль должен был закончиться с минуты на минуту; когда они стояли у кассы, публика начала уже выходить. Терра круто повернулся, выпятил грудь и, судорожно приоткрыв рот, потянулся к шляпе. Он не успел ее снять, как графиня прошла мимо, даже не взглянув в его сторону. Тем не менее он знал, что она издали разглядывала его, пока он ее еще не видел. А тут она стремительно повернулась к своему спутнику, — и кто же был этот спутник? Бисмарк-Толлебен! Ее брат, стройный и вялый, шел позади нее с сине-желтым лейтенантом. Движением хищного зверя Терра вытянул шею в сторону своих приятелей, не заметили ли они чего, но они вели переговоры о билетах. Кровь в нем бурлила: скорее догнать, остановить ее и ту сволочь, которая вместе с ней плюет на него! Тут же, на улице напомнить ей о ее ночных похождениях, а Толлебену бросить в лицо одно только имя женщины с той стороны! У него выступила пена на губах, он ухватился за окошко кассы. Приятели

пропустили его вперед, чтобы он заплатил; тогда он увидел, кто они такие, его собратья, и кто он сам в своем потрепанном плаще. Он проглотил обиду и сказал, побледнев, но нарочито весело:

— Чего ради мы будем брать самые последние, дрянные места? Вот вам и Берлин! — С этим он первый вышел на улицу.

«Тут надо действовать по-иному, — размышлял Терра, принимая участие в разговоре. — Таких гордецов следует проучить. Даю себе клятву рассчитаться с ними, да так, что и через десять лет никто не посмеет не ответить мне на поклон... Но надо сделать это без промедления, не позднее, чем завтра». Он чувствовал, что предстоит бессонная ночь. Ему очень хотелось отвязаться от этого писаки, благо цели своей он уже достиг. Ведь теперь тот будет болтать до самого утра.

Он повел обоих приятелей в приличный ресторан, где сам курил папиросу за папиросой, в то время как они ели. Гуммель ел жадно, но с претензией на хорошее воспитание; ему показалось, что за одним из столиков сидят его знакомые. Только когда выяснилось, что это не они, он дал себе волю.

— Вы меня угощаете, а у вас у самого, верно, не так густо, — сказал он, охая: торопливо съеденная пища отягощала его. — Но посмотрите на улицу, на этих бессовестных прожигателей жизни! — стонал он: из театров как раз выходила хорошо одетая публика.

Терра ответил, что есть ли у них совесть, или нет, это их личное дело.

— Как? В вас нет общественного сознания?

— Не сочтите мой встречный вопрос дерзостью, мною руководит одно лишь горячее желание получить фактические сведения. Сколько времени вы уже пишете без особого успеха?

Гуммель явно раскис под влиянием переполненного желудка.

— Я не старше вас. — В глазах писателя вспыхнули синеватые огоньки. — Только я больше голодал.

— В таком случае я лучше пошел бы в балаганные фокусники либо стал рекламировать других, пока сам не добился бы успеха.

— Я, — заявил Гуммель, — борюсь рука об руку с другими бедняками, со всем классом пролетариев. Движение увлекает меня за собой. Вот увидите, я достигну вершины! — пророчески воскликнул он. Затем покорно, но горделиво: — У меня еще никогда не было собственной кровати. Каморка Куршмида — это моя ночлежка.

Куршмид сухо заметил, что расстается со своей каморкой.

— Тогда, — сказал Гуммель, — мое земное бытие спустится ступенькой ниже. Оскорбления, неудачи, насмешки — вот моя пища, я расту благодаря им.

— Значит, вы убедились в том, что возбуждаете в людях ненависть к себе? — спросил Терра, в первый раз искренно.

— Но и любовь! — с синеватыми огоньками в глазах. — В жилищах нищеты на меня взирают, как на избавителя.

— Сколько я ни старался уверовать в вас, но нет, не могу: вы недостаточно

сильны, — заявил Куршмид и подвинулся к Терра.

— Вы еще придете ко мне клянчить роли, Куршмид.

Терра, услышав это, стал что-то напевать в нос, затем решительно позвал кельнера, расплатился и направился к выходу. Гуммель пригласил их в кафе Бауэр, он употребил даже выражение: «Чтобы реваншироваться».

— Еще не все потеряно, — сказал Терра на это. — Вы еще станете добропорядочным бургером.

Фридрихштрассе являла обычную картину ночной жизни: кое-где шла торговля, были открыты магазины дешевых галстуков, табачные лавки, базары мелочей. Рабочие перекладывали мостовую, цепь экипажей объезжала препятствие, не останавливаясь. Берлинские полуночники, из которых одни были слишком голодны, другие слишком сыты, чтобы идти спать, заполняли тротуары, как днем; от газового света из окон увеселительных заведений на толпу падали кровавые пятна. Злачные места, неведомые днем и погребенные в мути домов, расцветали красными огнями, и перед каждым стоял шущман. Стоило господам в шубах выйти из дверей такого притона, их немедленно окружал целый рой бездомных бродяг. Подъезжали кареты, худосочные подростки открывали дверцы, тотчас подбегали продавцы подозрительного товара, чтобы из-под полы предложить господам непристойные картинки. Воры налетали на свою жертву, а удирая, пользовались покровительством стоящих кругом; старые сводники, скользя мимо шуб, сулили им в широкие спины нечто необычайное, а из тени какого-то подъезда пожилая дама без всякой церемонии вывела за руку накрашенную девочку с распущенными белокурыми волосами. Пудра, которую употребляли проститутки, была ярко-сиреневой.

— У нас нет Ночного покоя, — говорил Гуммель, снова поворачивая назад, потому что он не мог расстаться со своими спутниками. — У нас нет еще воскресного покоя, как в Англии, и даже по ночам представители имущих классов могут попирать ногами бедняков, а уж кому думать о призрении хотя бы женщин и детей! Вот, любуйтесь капитализмом в самом неприкрытом виде! Это станет невозможным, когда мы возьмем его в переделку, когда у власти будем мы.

— Когда у власти будете вы, — заметил Терра, — вас будут играть в театре не на окраине, а там, где пошкарнее, и тогда капитализм возьмет вас в переделку.

— Вы не верите в переворот?

— Не путем писания пьес, — сказал Терра.

И так как Гуммель принялся пространно обосновывать свою веру в воздействие литературы, Терра предложил ему вместо скучного кафе зайти в заманчиво освещенный мюзик-холл в десяти шагах от Унтерденлинден. Через узкий коридор, по грязной лестнице они попали в кабачок с открытой сценой. На эстраде полукругом сидели завитые женщины, полуголые, в зеленых, пунцовых или стеклярусных платьях, туго обтягивающих толстые «олени и открывающих взорам высокие золотые сапожки. Шестая по счету, стул которой в данный момент пустовал, пела, выбиваясь из сил, чтобы перекричать бешеный грохот, производимый бледным пианистом; еще две обслуживали залу: из-за них как будто даже разгорелся спор между столиками, хотя зала не была полна. Вина в три марки и выше были доступны не всем. Гуммель сложил всю ответственность на своих спутников. Они сидели одни за боковым

столиком, почти спиной к эстраде.

Гуммель умолк только для того, чтобы выпить, но Терра воспользовался паузой.

— Чем вы собираетесь покорить этот мир, каков он есть? — Широким жестом он обвел залу и эстраду. — Состраданием? Я, со своей стороны, твердо убежден, что мир не даст вам и пятидесяти пфеннигов за ваше сострадание.

— Я ничего за него не требую, — кротко улыбнулся Гуммель.

— За все нужно чего-нибудь требовать, — настаивал Терра. — Вы оскорбляете богом установленный порядок. — После чего Гуммель стал молча пить.

Дородная девица на эстраде распевала: «Эрна и Эмиль бьются что есть сил. Они кричат, пыхтят, так что швы трещат». После каждого куплета она лениво раз-другой поводила бедрами и с равнодушнойшим видом плутовато грозила пальчиком.

— Проповедуйте с подмостков, как целый легион ангелов, — воскликнул Терра, — любой биржевой разбойник в партере влиятельнее вас! Создавайте новые общества для подготовки всемирного переворота, а один-единственный молодой человек, Вильгельм Второй, который бесцеремонно выдвигает на первый план свое «я», воздействует несравненно шире и глубже, чем вся ваша агитация за общественную солидарность. Спустя двадцать лет после доходнейшей из войн⁸ вы хотите заставить народ забыть, откуда проистекает его благополучие? Вот та несокрушимая стена, перед которой вы можете умереть с голоду.

Гуммель, дойдя до дна бутылки, развел руками:

— Неужели вы сами не понимаете? Вы, как и я, продукт этой войны, последней войны. Должно было явиться наше поколение, крещенное кровью и умудренное опытом с юных лет, чтобы принести человечеству мир. В решении социального вопроса залог вечного мира.

— Я тоже не молокосос, — ответил Терра, — и по грубости натуры полагаю, что дух решительнее всего обнаруживается в действии. Эта публика мне нравится, — сказал он, сясь перекричать шум, так как спор столиков из-за прислуживающих дам перешел в драку. Клубок мужских тел, ошетилившийся, как еж, катался, кусаясь и отбиваясь, в луже воды из опрокинутого ведерка от шампанского. Арбитры вскочили на стулья и дикими возгласами поощряли схватку. Местные дамы визжали во весь голос, капельмейстер наярывал Гогенфридбергский марш⁹. Внимательно приглядываясь к этому ограниченному, но оживленному мирку, Терра думал: «Поколение, крещенное кровью». Хорошо сказано. Вновь и вновь подтверждалась и вскрывалась всеобщая кровавая зависимость, которую он мгновенно осознал в ту головокружительную ночную поездку с вершины башни по спирали вниз, к луже крови, где испустили дух два борца.

«Я больше, чем кто-либо, имею право считаться представителем моего поколения, крещенного кровью». Всего лишь день в «Главном агентстве по устройству жизни» —

⁸ Спустя двадцать лет после доходнейшей из войн... — Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 годов, которая принесла Германии контрибуцию в пять миллиардов франков.

⁹ Гогенфридбергский марш — прусский военный марш, предположительно написанный королем Фридрихом Великим в 1745 году, после победы над австро-саксонскими войсками при Гогенфридберге.

и уже труп! Он вмешался в отношения между двумя атлетами и укротительницей змей, — и все они покончили счеты с жизнью. Катастрофы зарождались в нем и ему подобных. И немедленно перед ним возникло лицо одного из ему подобных, самое враждебное, самое близкое, дышащее презрением, преданное греху честолюбия, — лицо Мангольфа! «Вот мой спутник! Он счастлив был бы увидеть меня внизу, но я выплыву, и если мы когда-нибудь попадем в преисподнюю, то безусловно вместе!» Терра торжествующе заскрежетал зубами, он мысленно провидел отдаленнейшие вехи своей жизни. Но вдруг он вздрогнул, услышав у самого своего уха взволнованный шепот. Это был Куршмид.

— Помогите мне, — шептал он, — я борюсь с невыносимыми сомнениями! Неужели вы, при своей неутолимой жажде нравственного совершенства, можете желать войны?

Терра, устремив взгляд на клубок дерущихся:

— Я хочу того, что должно быть.

— Хотят не хотят, — сказал хозяин ресторана, — а должны, — и с помощью слуг разорвал на части клубок. Для умиротворения умов капельмейстер заиграл что-то более спокойное, а дама в платье цвета резеды запела:

Нас с небес благословляет мать,
 Чтоб невинность сердца строго соблюдать.
 Ты скажи мне, милый, я тебя молю,
 Сладко так, как ты, целуются ль в раю?

Она пела хриплым с перепоя голосом, но тем выразительнее. Когда она подняла кверху руки для материнского благословения, у нее под мышками обнаружили два больших мокрых пятна, а на рай, где целуются, она неодобрительно покосилась.

— Ваше здоровье, — сказал Гуммель, настроенный миролюбиво. — А чего вы хотите? Ничего?

Едва Терра отвел взгляд от певицы, как кельнерша спросила его:

— Нравится она вам, что ли?

Кельнерша была одета под бебе, в платьице с широким кушаком, в чепчике с прикрепленными к нему белокурыми кудряшками и с ниточкой кораллов на могучей груди.

— Воображает тоже, что она тут одна настоящая артистка. Смех, да и только! — обиженно заметила она.

— Смейтесь сколько вашей душе угодно, милая фрейлейн! Разрешите мне только ответить на вопрос моего приятеля, не терпящий отлагательства. Вы тем временем будьте добры принести еще две бутылки вина. — Сконфуженная девица удалилась, а Терра с достоинством продолжал: — Действительно, я ничего не хочу, почти ничего, или во всяком случае немногого. У меня самые простые трезвые желания, — например, чтобы мне никто не наступал на мозоли. Чтобы не отворачивались от меня, проходя мимо, и не смеялись над тем, что я хочу поведать миру, — добавил он, так как Гуммель и Куршмид слушали, усмехаясь.

Бебе принесла бутылки и без приглашения налила стаканчик себе. Терра выпил с ней, со своими собутыльниками, а третий стаканчик выпил один, все это молча и озлобленно.

— Ну, рассказывайте дальше, дружок, — попросила бебе.

— Я прохожу под унижениями, как под проливным дождем, а люди удивляются, что я не теплый и не сухой.

— Вы мне нравитесь! — вскричала бебе. — Вот уж оригинальный гость!

— Только смирение покоряет мир, — бормотал Гуммель, усталый и несчастный; его клонило ко сну.

А Терра воодушевлялся все больше, голос его окреп.

— Ваши бездарные рецепты счастливой жизни никого не убедят, пока вы не проверите их на самом себе. Строго говоря, существует только одна действенная мысль: только она и страшна тем, у кого слишком много денег и добра. То, что есть во мне в смысле морального динамита, есть и у всякой девки! — прогремел Терра в нос.

— Да что вы! — удивилась бебе. Музыка больше никого не интересовала, столики прислушивались к словам Терра; вторая кельнерша, одетая шпреевальдской кормилицей, присоединилась к бебе и стояла, опершись на ее плечо.

— Каждая девка, — гремел Терра, — имеет значение для бога, духовное величие, право на человеческое достоинство и на неприкосновенность!

— Bravo! — закричали бебе и кормилица и погрозили кулаками столикам, которые ржали.

— Борьба за мое человеческое достоинство, — гремел Терра, — это раз и навсегда единственный смысл моего земного существования!

— И еще пьянство! — выкрикнул кто-то.

— Если я добьюсь уважения для себя, — Терра поднял стакан, приветствуя всех вокруг, — то я добьюсь его также и для вас! Выпьем же до дна! — Он выпил стоя, и все последовали его примеру. Бебе, всхлипывая, повисла у него на шее, кормилица сказала:

— Наконец-то к нам в заведение попал приличный человек!

От единодушных криков «ура» Гуммель проснулся; он поднял голову и попросил опохмелиться, но Терра расплатился и проворно встал.

— Только не унывайте, милая фрейлейн! — прибавил он, обращаясь к ревущей бебе. — Никто на свете не скажет вам спасибо, если вы примкнете к армии спасения. Желаю успеха!

На улице в сырой и холодной предрассветной мгле Гуммель съежился и заныл, как ребенок:

— Вот ужас! Что же мне теперь делать?

— Идти домой с господином Куршмидом.

— Какая же в этом радость? — спросил бедняк.

— Здесь еще прогуливаются одинокие дамы. Я охотно... — предложил Терра.

Писатель вдруг заплакал.

— Вы мне не друг, — сказал он, успокоившись. — Но вы первый готовы оплатить мне какую-нибудь радость. Остальные полагают, что достаточно самого насущного. У меня много почитателей, но никому и в голову не приходит, что на душе у меня все равно тяжело, есть ли у меня теплая комната, или нет. Хоть бы один только раз сняли с меня эту тяжесть, на самое короткое время, на несколько ночных часов. Я жду этого, жду и жду! — Он воздел руки к дождливому небу. Никто не прерывал его. — Пиршественный стол, с цветами и серебром, дом, полный прекрасных женщин, музыка, и все в мою честь! — От радостных мечтаний голос его поднялся до теноровых нот. — Один мой взгляд — и они опьянены или стоят предо мной во всей своей мраморной красе. Они читают в моей душе, они, наконец, узнали меня, я не одинок, и мне сладко. О сладкая ночь! — И Гуммель, размахивая крылами поношенного плаща, сделал несколько стремительных шагов, устремился навстречу дымчатому призраку зари, прояснившему его разгоряченный мозг.

Прохожие останавливались; шуцман, шагавший вдалеке, предусмотрительно приблизился.

— Не оставляйте его одного, — сказал Терра Куршмиду, собираясь уйти.

— Прошу вас, два слова! — молил Куршмид. Круги у него под глазами отсвечивали синевой. — Я сгораю от стыда, я усомнился в вас!

— Ну, полно!

— Наложите на меня покаяние, но только не на словах. Я готов для вас на любой подвиг.

— Хорошо, посмотрим, — бросил Терра, уходя.

«У меня ведь назначено свидание», — вспомнил он и вошел в кафе «Националь». Только за одним столиком еще была жизнь, и поддерживал ее, разумеется, не кто иной, как Морхен. Он сидел, обняв двух постоянных посетительниц кафе; мраморный столик, зажатый между тремя дородными телами, казался маленьким, как блюдце. Когда Терра сел сбоку на диванчик, послышался звон трех бокалов. Осушая свой бокал, Морхен заметил его в зеркале; многозначительно подмигивая, он выпил за его здоровье.

— Трупный запах не всем по душе, — сказал Терра громко и раскатисто.

— Присаживайтесь к нам, здесь нет никого, — прокудахтал Морхен.

Одна из дам обнаружила свою осведомленность:

— Вы, вероятно, занимаетесь анатомией? Ну, нам это все равно.

Но Терра сидел молча и неподвижно, только глаза его горели из полумрака.

— Мне как-то не по себе, — заявила дама.

Морхен спросил через плечо:

— Вы, должно быть, отдыхаете после тяжелой работы? Стоило потрудиться.

Терра грозно:

— Убийца! Вы разорили за игорным столом «Главное агентство по устройству жизни».

Тут Морхен засмеялся:

— Со мной покойный мог бы работать еще сто лет, если бы вы нам не помешали. И все вышло потому, что я не вернулся к семи часам из-за нитки жемчуга... — он порылся в карманах, — которая оказалась фальшивой, — и через плечо швырнул ее на колени Терра.

Глава IV Новая встреча

Доктор Вольф Мангольф служил в министерстве иностранных дел в качестве личного секретаря при министре графе Ланна. Молодой, рассудительный и расторопный, способный по-актерски играть любую импозантную роль, одновременно беспечный и пылкий, он радовал взгляд пожилого дипломата не меньше, чем его ум. Он старался понравиться прежде, чем мог стать полезен, и задолго до того, как его принимали всерьез. А потому еще усерднее, чем успехов по службе, домогался он расположения членов семьи министра. Беспечный гурман Ланна был во время трапез благодарен бойкому и угодливому новичку за приподнятое настроение дам: своей приятельницы Альтгот, фрейлейн Кнак и даже своей дочери, хотя здесь молодой человек натолкнулся на явное предубеждение. Зато сын графа, Эрвин, нашел в личном секретаре, то есть в человеке Подчиненном, приятеля, который приносил ему большую пользу, выводя из обычного полусонного состояния.

Увы! на обязанности личного секретаря лежало не только вывозить Эрвина, представлять ему в фешенебельных ресторанах дорого стоящих женщин, лишь для того чтобы молодой граф зарисовал в свою записную книжку какую-нибудь сумочку или туфельку без ноги, — на его обязанности лежало еще добывать для всего этого деньги. Кроме того, Мангольф не потерпел бы, чтобы хоть одна женщина в доме не была очарована им, начиная от графини Альтгот, этой бывлой оперной певицы, игравшей в свое время роль в жизни статс-секретаря, и ныне имевшей свободный доступ к его дочери. Вечно балансируя между жадой приключений и заботой о своей репутации, она была особенно опасна тому, кто занимал здесь такое же зависимое положение, как и она. А дочь, молодую графиню — эту цитадель насмешки и недоверия, надо было обезоруживать изо дня в день и, хотя бы против ее воли, окружать тайным обожанием. Беллона Кнак, наследница крупного промышленника, сама расчищала ему путь к себе, — она, без сомнения, была в него влюблена, какая перспектива! — но и при ней состоял страж, господин фон Толлебен, аристократ, предназначенный к блестящей карьере... Да что говорить о дамах! — и Лизу, камеристку графини Алисы, тоже надо было покорить. Даже борзая, которая при появлении личного секретаря не замахала бы радостно хвостом, могла стать опасной. Но прежде всего следовало установить добрые отношения с камердинером графа Ланна, в соответствующий момент протянуть ему портсигар, а если тот взамен предлагал сигару сомнительного происхождения, следовало взять ее. Вечером в своей тихой комнате личный секретарь мог в зеркале наблюдать на себе, какое затравленное, отчаявшееся лицо бывает у каторжника, который в бесчестии с утра возил на тачке песок. Еще не успев лечь, он уже стонал, как в злом кошмаре, припоминая осечку у Беллоны и унижения от молодой хозяйки дома. Он вновь переживал слишком небрежный поклон Толлебена и похлопывание по плечу того самого Кнака, который ходил сюда, чтобы загребать миллионы не без содействия Мангольфа.

Всеми предполагаемое влияние на министра было единственным, что возвышало его здесь до звания человека; каждым словом, каждым поступком цеплялся он за это влияние. Он подсовывал Толлебену удачные мысли; враг, который за его счет мог блеснуть перед министром, пожалуй, не посмеет наговорить на него тому же министру. Он поддерживал аферы Кнака, в надежде, что Ланна может услышать похвалы ему из уст такого могущественного человека... Он поддерживал их еще и по другим, более осязаемым причинам. Заменить отклоненный год назад проект об увеличении армии новым законом, на сей раз об усилении флота¹⁰: эта мысль, нашептываемая государственному деятелю, была так смела, что заставляла его интересоваться личностью секретаря, приучала его к ней.

Этого никогда нельзя было бы достигнуть деликатными и добропорядочными приемами. Памятуя первые часы своего знакомства с повелителем, Мангольф поначалу лишал себя ночного покоя, чтобы изучить итальянский язык, но это не произвело никакого эффекта. Секретарь ничего бы не добился, если бы открыто выставлял доводы, подобающие образованному, разумно мыслящему существу. Наоборот, их надо было незаметно подсовывать государственному мужу, который охотно их подхватывал и в разговоре играл ими, как карандашом или моноклем. Полчаса просвещенных разглагольствований министра, затем для секретаря наступало время напомнить о суровой действительности, и граф Ланна охотнее, чем раньше, соглашался с поверенным своих заветных чаяний и дум, что необходимо усилить вооружение. В благодарность за такую чуткость и для того, чтобы эта креатура его особого благоволения имела свой собственный вес в свете, он после известного испытательного срока произвел Мангольфа в тайные советники.

Вследствие этого уже не камердинер Реттих, а сам Кнак предлагал ему сигару. Случайные посетители часто удивлялись, когда заменяющий статс-секретаря юнец называл свой чин. Правда, Мангольф с горечью сознавал, что каждое его новое повышение всегда и неизменно исходит от Ланна. Он имел вес, пока имел вес тот, да и это было больше видимостью, чем сущностью. Ведь Ланна работать не любил, и за кулисами министерства иностранных дел действовали тайные силы, которые направляли стоящую на переднем плане фигуру статс-секретаря, а при случае могли бы обратиться против нее... Личному секретарю оставалось только возвести свое вынужденное смирение в принцип и тем самым кое-как успокоить зависть Толлебена. Толлебен старался нарочитым и зловещим умалением своей великолепной персоны показать, что он по долгу службы ставит себя на одну доску с этим желторотым юнцом, но Мангольф протестовал как только мог. «Мы чисто случайно оказались с вами на одной служебной ступени, глубокочтимый барон! Для вас это только этап, а я уже у предела. — Или: — Нам, людям с ограниченными перспективами, судить легко. Вы же, принимая во внимание вашу будущность, несете на себе немалую долю ответственности. — Он заходил так далеко, что восхищенно, снизу вверх созерцал физиономию колосса. — Ваше сходство с величайшим государственным деятелем весьма знаменательно».

На этом его как-то поймала молодая хозяйка. С улыбкой, блеснувшей сквозь

¹⁰ *Заменить отклоненный год назад проект об увеличении армии новым законом... об усилении флота.* — В 1893 году рейхстаг оказал сопротивление увеличению расходов на армию и был распущен. Законопроект о строительстве флота был проведен весной 1898 года.

темные ресницы ее продолговатых глаз и не предвещавшей ничего доброго, она принялась за Мангольфа. Дождалась, пока Толлебен покинул гостиную, и обрушилась на своего врага.

— Благодарю вас, — сказала она. — Вы сейчас смотрели на милейшего Толлебена с такой же мечтательной грустью, с какой смотрите на меня.

Он пожал плечами, решив пожертвовать Толлебенем.

— А разве то, что я сказал, не верно? Этот господин всем в жизни будет обязан своей внешности.

Она поморщилась:

— Вас мудрено понять.

— Я происхожу из низов, и мне необходим талант, — продолжал он, делая вид, что не слышал ее замечания. — А что нужно Толлебену? Осанка.

— Которая, пожалуй, реже встречается, чем талант, — подхватила молодая графиня.

— Если бы он только не выпадал из стиля! — сказал Мангольф и взглянул на нее. — Он просто жалкий чинуша, измельчавший в провинциальных учреждениях, из которых он был извлечен его сиятельством.

— Как наш родственник, — подчеркнула графиня Ланна.

Он отпарировал:

— Лишнее доказательство моей прямоты. Ударит такой бешеный юнкер кулаком по столу и только поднимет пыль. Его сиятельство знает, сколь двойственно это явление, и умеет пользоваться им. Почему же вы упрекаете меня, что и я принимаю это в расчет?

— У вас, кажется, был друг? — прервала она. — В Мюнхене вы ведь были вдвоем?

— Вы говорите, графиня, о том молодом чудаке?

— О котором вы никогда не упоминаете.

— Я уже сказал, что происхожу из низов. Я не горжусь старыми друзьями.

Боясь покраснеть под его взглядом, она внезапно расхохоталась; теперь краска в ее лице была понятна. Он неодобрительно насупил брови, но старался не смотреть на нее.

— Я его очень люблю, — начал он вдруг мягко, почти скорбно. — Когда-то он был моим двойником, моей совестью. Он прям духом, не так гибок, как я...

— Он не рассчитывает? — перебила она.

— И потому погибает, — сказал Мангольф грустно и сдержанно. — Пожалуй, именно большие люди не хотят признавать, что со светом надо считаться. Но что же из этого выходит? Они скатываются в полусвет.

— То есть? — спросила она, и лицо ее так побледнело, что ресницы копиями оцетинились на нем.

— Он каким-то образом впутался в темные дела, его имя связывают со скандалом в одном подозрительном берлинском агентстве.

— Он здесь? — Она резко отвернулась, стенное зеркало отразило широко раскрытый темный глаз в светлом профиле и вытянутую худенькую руку, стиснутую пальчиками другой руки.

— Что не мешает ему продолжать свои прежние авантюры, — тихо и бережно продолжал Мангольф. — Умничающие философы бывают склонны к совершенно неразумной чувственности, я упоминаю об этом как о странном противоречии.

— Сплетни всегда увлекательны, — быстро сказала она и подошла к нему. — А как ваши дела с моей приятельницей, Беллой Кнак? Я выдам вам ее тайну: она вас любит. Но она очень благоразумна. Ее супругом может быть только будущий видный государственный деятель. Вы понимаете: тот, кто производит пушки, должен обладать также и властью объявлять войну. Обдумайте-ка это! — воскликнула она торжествующе, увидя, что теперь побледнел он.

Он затрепетал от неожиданного разоблачения самой своей сокровенной мечты. Величайшим усилием воли он овладел своим лицом и придал голосу оттенок усталости.

— Если бы вы догадывались о запретных грезах, — он смотрел на ее рот, чтобы избежать глаз, — которым я, безумец, предаюсь часами, потеряв уважение к себе... Ах, графиня, слово «честолюбие» и отдаленно не выражает дерзновенности моей заветной тайны. — И с нелicenseрной робостью он поднял глаза на уровень ее глаз.

Ее глаза были прищурены и блестели, быть может завлекали с высоты запрокинутого лица.

— Очень уж вы горды, не мешало бы стать на колени, — отчеканила графиня.

Колени его дрогнули, потом выпрямились, опять дрогнули — так же быстро, как противились и сдавались его мысли. «Ловушка? А не ревность ли? Но ведь она меня ненавидит. Однако она стремится к власти! Кто это почует лучше меня? Она боится меня, боится власти, которую я мог бы завоевать в союзе с Кнаком. Надо ее провести. Стану на колени, а там будь что будет!» Он упал на колени, он был у ее ног. В тот же миг она отскочила от зеркала и, показывая в него пальцем:

— Ну, теперь смотрите на себя! — убежала, пританцовывая, как школьница. Ее смех звучал еще из третьей комнаты.

Мангольф стоял на коленях перед самим собой, с личиной холодного восхищения, но трезвее, чем когда-либо. Он взгляделся: высокий желтоватый лоб, который рассчитывал и страдал, глаза, углубленные обидой. Вставая, он подумал, что это испытание послано ему, дабы закалить его. Правда, у себя в комнате он заплакал. С каким наслаждением склонил он измученную голову на прохладную подушку, отдаваясь всегда готовому к услугам утешителю-сну.

Вскоре после этого, перед самым рождеством, когда Мангольф сидел у себя в кабинете, открылась дверь, и в сопровождении одного из чиновников вошел непрощенный гость. Мангольф мертвенно побледнел и откинулся в кресле: он увидел Терра. Чиновник хотел уже выставить неизвестного посетителя, но Терра сразу принял интимный и свободный тон.

— Несчастный! — воскликнул он. — Ты все еще здесь? А я думал, ты уже впал в немилость.

Выразительный взгляд личного секретаря — и чиновник исчез, правда несколько замешкавшись.

— Возмутительная неосторожность! — Мангольф вскочил.

Терра сел, безмятежно оглядел друга, а затем сказал:

— Именно эти слова ты и должен был произнести.

Мангольф ногой отшвырнул кресло.

— Это издевательство! Ты уже в Мюнхене преследовал меня.

— Я до сих пор считаю непростительным легкомыслием, что осмелился ввести тебя в дом к твоему теперешнему начальнику. — Терра говорил с достоинством. — Все бедствия, которые ты когда-нибудь причинишь государству, падут на мою голову.

— Оставь свои нелепые шутки! У двери подслушивают. — Мангольф подошел вплотную к Терра и заслонил его. — Поговорим начистоту! Чего ты хочешь? Говорю тебе прямо: мое положение хоть и блестяще, но именно потому шатко. Оно не вынесет новых осложнений, ты же способен не только осложнить, а попросту погубить все.

— Ты переоцениваешь меня. — Терра сделал скромно-протестующий жест.

— Здесь ты ничего не добьешься. Ты столкнешь меня, но, падая, я увлеку тебя за собой. А вообще-то ты явился с какими-нибудь притязаниями? Насколько я тебя знаю, скорее для того, чтобы стать на моем пути.

— А теперь ты переоцениваешь себя.

Это вежливое сочувствие вывело друга из равновесия.

— Еще раз спрашиваю тебя, чего ты хочешь? Может быть, предложить тебе часть моего жалованья, чтобы ты меня пощадил? Тебя это не обидит.

— Даже и не тронет.

И они смерили друг друга взглядом.

— Мы старые друзья, — начал опять Терра. — Я знаю твои слабости, как и твою силу. Наша дружба несомненно будет длиться до последнего нашего часа. Ты был прав, когда это предсказывал. Тогда момент был для меня тоже неблагоприятный.

У Мангольфа лицо выражало мрачную сосредоточенность. Он видел эти вечные возвраты прошлого и предрешенный путь до самого конца.

— Я взял бы твои деньги, если бы они мне были нужны, — услышал он слова Терра. — Я заурядный студент, благомыслящий и трудолюбивый.

— К сожалению, с самого начала твоего пребывания здесь ты перестал быть таким, — возразил Мангольф.

Но тут Терра вскочил с места.

— Ты, по-видимому, неправильно осведомлен о плодотворной деятельности, которой я начал жизнь в Берлине. Я снова обрел путь к простому бытию. Чувство собственного достоинства я полностью черпаю теперь в труде.

Личный секретарь вздохнул свободнее. Последний вопрос:

— Что привело тебя сюда?

— Кроме нашей дружбы, — начал Терра в приподнятом тоне, — не что иное, как искреннее преклонение перед твоим сиятельным начальником, не говоря уж о его дочери, молодой графине, — закончил он многозначительно.

Мангольф как подкошенный упал в кресло.

— Ты, значит, дошел до такого безумия, чтобы влюбиться в... Это катастрофа! — Он схватился за волосы. — Но я отказываюсь сделать хоть шаг для того, чтобы ввести тебя в этот дом. — Он вскочил с места и забегал по комнате. — Простой закон самосохранения дает мне право отречься от тебя. Я отрекаюсь от тебя! — бросил он, меж тем как Терра, приоткрыв рот и водя языком по губам, пристально смотрел на него. Боковая дверь тихо отворилась. Кто-то спиной входил в комнату, а в соседней мелькнул граф Ланна, его прямой пробор, его ямочка. Взоры графа Ланна и Клаудиуса Терра даже встретились.

Вошедший обернулся: Толлебен. Увидя Терра, он в первый миг отшатнулся и нахмурился, но потом сразу протянул руку и: «А, это вы?» — так сказать, по-приятельски, тоном соучастника. Терра задумался, пожалть ли протянутую руку. Но в конце концов они ведь одинаково осведомлены друг о друге, — если только женщина с той стороны не нарушила равновесия и, несмотря на все клятвы, не предала его, рассказав про деньги, которые он брал... Терра содрогнулся.

Мангольф уже ничему не удивлялся.

— Вы знакомы, господа? — спросил он с усмешкой.

— Как же, — ответил Толлебен. — Что, все веселимся?

Терра не замедлил подделаться под его тон.

— Но мы же оба были вдрызг пьяны, — и с развязным смехом сделал попытку хлопнуть по плечу влиятельного человека. Толлебен глазом не сморгнул.

Дверь вторично открылась. Сам граф Ланна благосклонно проследовал в комнату, бросил какую-то бумагу на стол к своему секретарю, а затем, словно бумага была только предлогом, повернулся к Терра и начал:

— Милейший Терра...

Толлебен от испуга вытянулся во фронт. Мангольф сделал вид, будто работает.

— Любезнейший господин Терра, вы хотите мне что-то сказать, — утвердительно произнес статс-секретарь, не задавая никаких вопросов. — Пройдемте ко мне. — И при этом сам прошел вперед. Он опустился в кресло у своего огромного стола, на котором каждая кипа дел была прижата томом Гете. — Я вам не предлагаю сесть, — сказал он, — так как хочу вас попросить продеklamировать мне опять Ариосто. Вы, наверно, многое знаете на память. Продолжайте с того места, где мы остановились. — Сидя в расслабленной позе, он приготовился слушать. Веки его опустились, добродушно и маслено лоснился пробор. И когда Терра кончил: — Если бы вы знали, какое вы мне оказали благодеяние! Уже два часа подряд я принимаю доклады. — Он собственноручно подвинул для Терра удобное кресло. — А все-таки вы еще и сейчас декламируете недостаточно музыкально. Вся прелесть переживания заключается в *le divin imprevu*¹¹, говоря словами моего любимого писателя. — Далее последовали

¹¹ божественная непредвиденность (франц.)

вопросы о занятиях, а затем приглашение остаться к завтраку. — Мне нужно еще пропустить один или два доклада. Ступайте пока к дамам. — Он потер руки, с удовольствием констатируя у себя отсутствие предрассудков. Когда на его звонок явился лакей, статс-секретарь стоял в чопорной позе. — Проводите господина Терра к дамам.

Терра прошел вслед за лакеем в сад, где постарался несколько отстать от своего провожатого; когда тот направился к стоявшей в глубине вилле, у него мелькнула мысль улизнуть. Его бросало то в жар, то в холод. К кому он шел! Девушка, которую он держал в объятиях на мюнхенской ярмарочной площади, исчезла вместе с погребенным навеки приключением одной бредовой ночи. Он привел бы ее в ужас, если бы напомнил ей об этом, а чужой светской девице ему нечего сказать... Так как он, остановившись, смотрел вверх, на романтическую виллу за ажурной завесой осенней оснеженной листвы, слуга решил, что ему следует информировать гостя:

— Здесь квартира его сиятельства, господина статс-секретаря. Под министерством иностранных дел всегда подразумевается эта вилла. Здесь его величество изволили посещать князя Бисмарка.

— Надеюсь, я не помешаю? — спросил Терра, который почти не слушал. В углу, подле самого дома, он заприметил калитку, за ней была улица. Избавление так близко! Но слуга пояснил:

— Вы пришли, сударь, с Вильгельмштрассе. Через сад вы попадете на Кениггрецерштрассе. Потом, когда будете уходить, можно пройти через эту калитку.

Потом! Уверенным шагом он переступил порог дома; он шел к ней, потому что она отреклась от него! Шел из чувства долга перед самим собой. Если бы только не было этих последних месяцев, этого периода испытаний, труда и нужды, так как деньги женщины с той стороны то и дело заставляли себя ждать, в зависимости от ее собственного благополучия, — периода жалких заработков, жизни в пивных и всегда за работой! Теперь его благодетельница опять при деньгах, Терра хорошо одет и потому решился на тот шаг, в котором видел долг по отношению к себе. Но как тягостен был этот старый долг!

В доме первый лакей передал его второму. Надо было собраться с духом, сердце у него остановилось. В нижнем этаже, в комнате с панелью и кожаными обоями праздно сидела она под охраной какой-то старухи. Терра остановился у дверей и отвесил низкий поклон. Он ожидал испуга, обморока, бегства. Вместо этого короткая пауза, а затем восклицание, непринужденное, почти веселое:

— А! старый знакомый. Графиня Альтгот, это господин Терра, я вам рассказывала.

Дуэнья смутилась больше, чем ее питомица, она переменялась в лице и кивнула головой, на все соглашаясь. Терра обратился к ней:

— Тогда, многоуважаемая графиня, вам, вероятно, известно, что я имею от его сиятельства лестное поручение помочь высокочтимой молодой графине усовершенствоваться в итальянском языке.

Альтгот удивилась, она посмотрела в лорнет. В конце концов она не нашла что возразить.

— Ну, начнем! — сказала молодая графиня уже по-итальянски.

А он:

— Вы первая здесь не поднимаете из-за меня шума. И вы же как-то вечером прошли мимо меня, даже не взглянув в мою сторону.

— А что же, мне все время любоваться вами? Я прекрасно знала, что стоит мне не обратить на вас внимания, как вы обязательно явитесь сюда.

— Неверно, — сказал Терра по-немецки вежливо-поучительным тоном.

Альтгот, успокоившись, опустила лорнет, затем снова приложила к глазам, чтобы исподтишка разглядеть молодого человека.

Он — по-итальянски:

— Вы кокетка, но изрядная трусиха.

Она повторила, как будто заучивая:

— Я кокетка, но изрядная трусиха.

— Старуха что-нибудь понимает? — спросил он.

— Ни слова, — ответила она, — хотя и была певицей. Но она не старуха, и вы нравитесь ей. Скажите ей какую-нибудь любезность.

Терра, не поднимаясь с кресла, склонился перед Альтгот.

— Графиня, были времена, когда вы своим искусством дарили радость всему миру!

— Маэстро считал меня лучшей Ортрудой, — ответила она глухим голосом, с оттенком грусти.

Он поглядел на нее. У нее была тусклая белая кожа без морщин, каштановые волосы отливали бронзой. Изгиб носа и голос говорили о южногерманском происхождении.

— Вот видите, теперь она и вам нравится, — сказала его ученица по-итальянски.

Альтгот с горделивой улыбкой:

— Наш Вагнер избавил меня от изучения итальянского языка.

— Она старая приятельница отца, — неожиданно бегло заговорила по-итальянски графиня Ланна. — О, не то, что вы думаете. Давно уже вполне невинно. Но она имеет право бывать здесь, и каждый ее поступок преследует одну цель — сохранить это право. Да, на так называемую женщину свободных нравов, которая хочет стариться с достоинством, всякий отец может положиться.

— А вам разве не доверяют? — спросил он невозмутимо. — Если бы они знали, как вы понимаете толк в опасных положениях!

— Намек? — в свою очередь спросила она прежним звонким голосом. Нос был насмешливо наморщен, глаза сияли. По-немецки: — Некоторые люди сами создают такое положение, которое им не под силу. — И по-итальянски, почти с грустью: — На это мы оба мастера. Я не буду на вас в претензии, если сегодняшний ваш урок будет первым и последним.

— *Virichino*, маленький плутишка, — сказал он сухо, а между тем испытующим

взором старался определить, действительно ли ее белокурые волосы выкрашены, как она хвастала тогда на карусели. Нет, они слишком теплого ровного цвета, слишком живые; это дало ему сладостное удовлетворение, словно и чувства у нее должны быть неподдельные.

К счастью, Альтгот не заметила нового оборота, который принял урок, ее отвлекло появление фрейлейн Кнак. Та сама заявила с порога большой гостиной:

— Появляется Белла Кнак!

— Это для вас, — поспешно объяснила Алиса Ланна гостю и устремила навстречу приятельнице. Он удивленно посмотрел ей вслед. Она ступала по ковру гостиной, как по сцене, простирая руки, словно крылья; рукава, широкие и прозрачные, окутывали эти по-детски тонкие руки. Она показалась ему выше, чем тогда, и стройней, даже гармоничней; смелый изгиб шеи, упругость тонких бедер, длинные ноги, все ее движения, ее формы, вместе с нежной, пастельной окраской лица и волос, наряду с темной линией бровей, — все это только сейчас слилось в один образ, бросилось ему в глаза, настолько бурно его захватило, что он отступил в противоположный угол комнаты. Кровь прилила у него к голове, лишь сейчас увидел он по-настоящему то существо, которое открыло ему смысл жизни, за которым он последовал сюда, во имя которого боролся. Как мог он думать, что идет к светской барышне, графине и богачке, давшей ему отставку? Нет, он пришел к избраннице своего сердца, созданию возвышенному и доброму: все то время, пока он замышлял покарать ее, она питала одни благородные чувства.

Внезапно он осознал, что сегодня она встретила его так доверчиво, словно они расстались лишь вчера.

— У тебя тут поклонник, — произнесла фрейлейн Кнак довольно громко и прошла вперед, подпрыгивая на ходу.

Терра бросился к ней навстречу и склонился над рукой барышни с выражением искреннего почтения.

— Мы тут болтаем, — быстро проговорила графиня Алиса. — Господин Терра немного ухаживает за нашей Альтгот. — И по-итальянски: — Ей нельзя говорить, что вы явились сюда в качестве учителя. У нее дома учителя, конечно, не ставят ни во что. — При этом она слегка приподняла руку, как бы говоря ему: «Я ревную, поцелуй и мою!» — Полюбуйтесь на эту девицу! — не вытерпев, сказала она.

Фрейлейн Кнак спрашивала в эту минуту:

— Что, у вас сегодня очень парадно? Тогда я надена чулки. — Она вытащила длинные перчатки и одну из них уронила. Терра не только поднял ее, но хотел ее даже надеть на руку фрейлейн Кнак. — Юрист? — спросила она, в ответ на что он похвалил ее сильные руки, и она тотчас стала перечислять все виды спорта, которыми занимается, а также показала ему новый танец.

— Господин Толлебен знает этот танец? — перебила ее Альтгот многозначительно.

— Толлебен? Куда он годится без мундира! — изрекла фрейлейн Кнак и лихо ударила себя по бедру.

— О, он безусловно офицер запаса, — заверила Алиса Ланна.

— Ну, это уже начало конца, — объявила фрейлейн Кнак.

— А люди искусства? — вставила Альтгот.

— Шуты гороховые! — воскликнула фрейлейн Кнак звонко, точно стеклянным голосом.

У нее была курчавая челка; она старалась произвести впечатление сорванца, задорного и бесшабашного. Как только она умолкала, ее маленький ротик немного западал. Второе впечатление: не только в ее голосе, но в ней самой было что-то стеклянное; казалось, если ее разогреть, она лопнет. «Кнак — и готово!» — подумал Терра, услышав смех здоровой и пышной девы.

Появился лакей: его сиятельство сейчас изволит прийти. Молодая хозяйка приказала открыть дверь в третью комнату и попросила гостей к столу. Когда графиня Альтгот и фрейлейн Кнак прошли вперед, Терра на миг задержал свою даму, чтобы сказать ей: «Все по-прежнему!» Она услышала и пошла рядом с ним.

В столовой их ожидали уже четыре человека. Толлебен представил дамам иностранного дипломата, сорокалетнего мужчину с длинным лицом и черной бородкой. Отец фрейлейн Кнак, которого дочь вместо приветствия хлопнула по плечу, поклонился Альтгот подобострастнее, чем графине Ланна. Терра в свою очередь без церемонии направился навстречу молодому Ланна с протянутой рукой. Брат его дамы сердца — превосходный человек, у которого он должен попросить извинения!

— Я виноват перед вами, — сказал он торжественно, с дрожью в голосе. — Всему виной моя злополучная склонность к мистификации! Но душою, клянусь вам, я был чист.

Молодой Ланна едва коснулся руки гостя и поежился, словно от озноба, причем глаза его сохранили обычный тусклый блеск полудрагоценных камней.

— Пустяки, — проронил он небрежно, больше по рассеянности, чем из высокомерия.

Обескураженному Терра пришлось ограничиться созерцанием промышленника Кнака, его движений, всех проявлений его существа, наполнявшего собой комнату. Ибо Кнак попеременно завладевал всем, что здесь дышало, и повсюду оставлял атмосферу, насыщенную собой, так что в сущности он заполонил всех. Его квадратное, как бы обрубленное лицо с красными прыщами, остроконечная макушка и прямоугольные усы были бы под стать приказчику. Рыжеватая седеющая щетина беспорядочной порослью спускалась на жирный, вульгарный лоб. Длинные пальцы, длинные ноги, живот-полушарие скромных размеров, но такой выпуклый зад, что долгополый сюртук свисал фалдами у ляжек. Странное впечатление производили его манеры. Никто так явно и бесцеремонно не изменял выражения лица и жестов в зависимости от того, с кем говорил. Казалось, будто перед дамами он, согнув спину, раскладывает товары, а графиню Альтгот, обнадеженно улыбаясь, провожает до порога. С иностранным дипломатом у него, судя по всему, были серьезные мужские дела, и тому следовало радоваться, если они выгорят.

Исключительно слащаво встретил он молодого Ланна, голосок у него сделался тонким, и он попытался заговорить об искусстве. К Терра он обратился, прищурив один глаз и подбоченившись:

— Ну как, даете здесь уроки?

И это он уже пронюхал! Но в то время как Терра созерцал этот монумент в образе человека, Кнак внезапно потерял свое величие. Он сжался, сторбился, лицо его выразило плутоватое служебное рвение. Вошел статс-секретарь.

Еще с порога граф Ланна окинул всех быстрым взглядом. Терра со своего места увидел идущего за ним Мангольфа, увидел, какое у него злобное выражение лица. Но едва он вслед за начальством присоединился к обществу, как на лице у него осталась одна солидность и учтивость. Статс-секретарь очень быстро и с большим тактом покончил с приветствиями и предложил руку графине Альтгот, чтобы вести ее к столу, а слева от себя указал место иностранному дипломату. Кнак поспешил усесться по другую сторону иностранца.

— Какой неприятный белесый свет, — сказал Ланна, щурясь на окна. Слуги немедленно опустили занавеси и зажгли газовую люстру, освещавшую только круглый стол. — Не все, графиня, подобно вам, владеют тайной оставаться молодой при всяком освещении. — От молодости Альтгот он непосредственно перешел к преклонному возрасту канцлера. Гогенлоэ¹² был так стар, что «Старец в Саксонском лесу» казался юношей по сравнению с ним. Тем более достоин удивления свежий ум старика. Его боязнь всяческих конфликтов, пожалуй, преувеличена. — Не всегда Германией будут управлять пессимистически настроенные старцы, — по-французски сказал Ланна дипломату, и Кнак поддержал его почтительно-отрицающим жестом. — Наш император молод, он не филистер, и вы не ошибетесь, *mon cher ministre*¹³, если примете в расчет, что в один прекрасный день он найдет канцлера, предназначенного ему природой и историей. Тогда в мировой политике произойдут решительные перемены, и всем рекомендуется с ними считаться.

— Я всякий раз, как вижу императора, говорю ему, кто единственный подходящий кандидат на пост канцлера, — решительно заявил промышленник Кнак.

Статс-секретарь чокнулся с Кнаком, но затем стал называть другие имена, и это немало способствовало оживлению разговора. Какое место среди знатных фамилий занимала фамилия соперника? Нравился ли он императору? Был ли он членом его корпорации? А каков его офицерский чин? Толлебен знал все, графиня Альтгот оживилась, ей была известна история жизни всех жен и степень их влияния, а Кнак был в курсе имущественного положения. К изумлению Терра, графиня Алиса тоже участвовала в разговоре. Но у самого Ланна во время этих толков исчезли и его ямочка и светская беспечность. Последнее должно было броситься в глаза иностранному дипломату, который тщетно старался уследить за разгоревшимися страстями. Под конец он отказался от этой мысли, и взгляд его встретился со взглядом Терра, который был так же удивлен, как и он. Хотя они были незнакомы между собой, но взгляды их говорили красноречивее слов, что открывшийся им мир достоин всяческого удивления.

Заметила ли это Альтгот? Она вставила какое-то восторженное замечание об

¹² Гогенлоэ Хлодвиг, князь Шиллингсфюрст (1819—1901) — германский реакционный государственный деятель, крупный земельный магнат. В 1894—1900 годах — канцлер Германской империи. «Старец в Саксонском лесу» — прозвище Бисмарка. Вильгельм I подарил Бисмарку одно из богатейших лесных угодий Германии — знаменитый Саксонский лес. Там, в своем имении, Бисмарк жил последние годы жизни.

¹³ Мой дорогой министр (франц.)

императоре, что сразу же успокоило страсти и внесло мягкость в беседу. Тут и иностранец, улыбнувшись, заявил о своем восхищении.

— Вы все завидуете, что у нас такой император! — воскликнула Альтгот, на что иностранец улыбнулся еще любезнее и стал хвалить «Гимн Эгиру».

Мангольф, сидевший слева от Кнака, подчеркнул вдохновенно-оригинальную композицию произведения. «Это воспламеняет молодежь», — утверждал он.

Один из его соседей, Кнак, энергичнее закивал головой, меж тем как Терра бросил на друга недоуменный взгляд.

«Гимн Эгиру» появился недавно, Беллона Кнак еще разучивала его. Отец осведомился о ее успехах; ей пришлось прервать свои шалости с молодым Ланна. Воспользовавшись тем, что он не кончил супа, она ему подсыпала перца и втихомолку хихикала, оттого что он закашлялся. Графиня Альтгот ласковым прикосновением руки старалась вывести его из задумчивости.

— Каков наш сорванец! — сказала она о фрейлейн Кнак, обращаясь к Толлебену.

Граф Ланна не замечал сына, что чрезвычайно беспокоило его ментора, Мангольфа. Что случилось?

— Эрвин, ты, наверно, не рискнешь рассказать здесь о своей последней проделке? — обратилась сестра к молодому Ланна через голову фрейлейн Кнак. В ее тоне была снисходительная нежность, так говорят с неразумным существом, за которое несут ответственность. Фрейлейн Кнак пожелала во что бы то ни стало узнать, о какой проделке идет речь; Мангольф шутил, серьезно обеспокоенный, но сын и дочь Ланна молчали. Молодой Эрвин, казалось, все позабыл.

— Спросите у моей сестры. Она все знает лучше меня. То, что она скажет, то правильно, то, чего она хочет, то хорошо, кого она любит, того люблю и я, — произнес он устало и вместе с тем торжественно.

— Вот каким должен быть мой муж! — воскликнула фрейлейн Кнак, всячески давая понять другому своему соседу, Толлебену, что он не такой. И хотя он ухаживал за ней со всем гвардейским апломбом, «наш сорванец» отвечал ему одними смешками. И в даме, сидевшей у него справа, он не встречал никакой поддержки, так как графиня Ланна, стараясь не пропустить ничего из разговоров отца, обращалась с замечаниями только к Терра. Она просвещала его неслышно для окружающих.

— То, что говорит отец, предназначается для заграницы. Сейчас он перешел к промышленности. И ваша очередь придет, подождите. Нам нужно знать, какое впечатление мы производим на независимую интеллигенцию.

Ее умные глаза сияли, как два колеса, сотканые из лучей. Терра думал: «Любимая! Тебя надо во что бы то ни стало вовремя вырвать из твоего страшного окружения. Я буду бороться! Усомнись скорей в смерти, чем в моей победе!» — при этом он выпрямился и его черные глаза метали на молодую графиню дерзновенные взгляды. Графиня Альтгот, сидевшая напротив, наблюдала за ними с ревнивым восхищением и отвечала невпопад обхаживавшему ее иностранному дипломату. По совету своей соседки Терра воспользовался минутой, когда на него никто не смотрел, и поднял бокал за здоровье Альтгот.

Толлебену, на которого соседки не обращали внимания, пришлось говорить с

сидевшим напротив дипломатом, да еще по-французски, так как статс-секретарь разговаривал с ним по-французски. Убийство президента Карно¹⁴ совершено одним из тех распропагандированных рабочих, которые хорошо знакомы и нам; иностранный гость может не сомневаться в том, что мы разделяем общее возмущение.

— Особенно императрица!.. — воскликнул Толлебен. — *Surtout l'empereuse!* — за что Кнак, лучше знавший язык, поднял его на смех.

Мангольфу удалось обменяться со своим начальником взглядом, который относился и к Толлебену и к Кнаку, но это было его единственным удовлетворением. Мангольф страдал. Обычно он без зазрения совести служил, притворялся, угождал, но сейчас, в присутствии Терра, ему было смертельно тяжело. Терра, не видя здесь никого ни ниже, ни выше себя, мог поступать как ему заблагорассудится, без всяких последствий для своей будущности, мог сидеть разинув рот, чересчур усердно поддакивать или заикаться от притворного смущения. А главное, он был способен рассмешить графиню Ланна. Мангольфу уже не удавалось вызвать у нее смех, хотя он и считал это своей прямой обязанностью, — и, пожелтев до самых глаз, он решил выместить свою злость на фрейлейн Кнак. Фрейлейн Кнак, прервав свои шалости, устремила вдруг взгляд, полный робкого обожания, на угрюмо-напряженное лицо Мангольфа. Только в Мангольфе «сорванец» познавал глубины жизни, ее боль.

— Господин секретарь, — робко пошутила она, — вы готовите речь в честь дам?

— Разве дамам можно служить речами? — возразил он так грубо и язвительно, как, пожалуй, мог бы ответить Терра.

Бедный сорванец прикусил губу. Терра же в это время обратился через стол к Альтгот:

— Графиня, когда вы пели в Париже Ортруду, однажды к двери вашей уборной подошло с букетом орхидей этокое двуногое олицетворение робости, но не решилось постучать.

К его удивлению, Альтгот и графиня Ланна переглянулись. Ему хотелось признаться любимой, что его жалость к стареющей женщине внушена ею, что она смягчает его душу, признаться ей в этом, как в самом сокровенном.

Мангольф, не зная, как установить должное расстояние между собой и Терра, пресмыкался перед Кнаком, во всем поддерживал его.

— Конечно, Бисмарк был прав, когда не захотел ограничивать детский, женский и воскресный труд. Что случилось бы тогда с самоопределением? — воскликнул Кнак.

Тут Мангольфу представилась возможность заговорить о своем визите к Бисмарку. Он удостоверил, что канцлер прежней Германии тоже одобряет новый закон о социалистах, которого требует Кнак. Мангольф был принят в Фридрихсруэ¹⁵; он

¹⁴ *Убийство президента Карно...* — Карно Сади (1837—1894) — французский буржуазный политический деятель. В 1887 году был избран президентом республики. Его президентство было отмечено усилением репрессий против поднимавшегося рабочего движения. Карно был убит в Лионе анархистом Казерио.

¹⁵ *Фридрихсруэ* — имение Бисмарка неподалеку от Гамбурга, полученное им в подарок от Вильгельма I. Панамский скандал — крупнейшая афера, связанная с злоупотреблениями правления «Всеобщей компании меж океанского канала», созданной во Франции в 1879 году. Сопровождалась подкупом французских правительственных чиновников, контролировавших деятельность компании.

отправился туда отчасти по собственному побуждению, чтобы лучше вчувствоваться в созданный Бисмарком мир, а также по поручению своего начальника; ибо Ланна претендовал на роль скромного, но проницательного посредника между двумя враждующими великими державами, основателем империи и императором. Глубокомысленно наморщив лоб и не переставая есть, Ланна пояснил, что хотя он и не собирается изменять его величеству, однако думает руководствоваться политикой Бисмарка, и никакое давление извне, равно как и изнутри, не заставит его пойти на уступки. В подтверждение своей угрозы он потряс кулаком, в котором держал нож. Вильгельм Второй и его великий первый советчик, по мнению Ланна, лишь в совокупности представляли собой тип истинного немца. Немец — реалист и романтик, человек общественного склада, но вместе с тем индивидуалист; он признает идею государственности и все же недостаточно тверд в своем чувстве ответственности. Для иллюстрации статс-секретарь привел мнения некоторых партийных лидеров, которые ставили партию выше всего. Он изощрялся в остротах на тему о рейхстаге, все смеялись.

— Мир нас не знает, — заключил он более серьезно, обращаясь к иностранцу.

Иностранец любезно улыбался.

— Это можно отнести и к нам, — заметил он небрежно. — Ведь из всех вами перечисленных противоречий и состоит человек.

«Противоречия» — Кнак ухватился за это слово; от конфликтов в человеке он перешел к конфликтам между народами. После Панамского скандала Французской республике, как известно, не терпится вымыть свое грязное белье в крови, — и, склонившись над дипломатом, он всецело занялся вопросом вооружений.

— Вероятность войны еще никогда не была так близка, — сказал он конфиденциально, с кивком в сторону статс-секретаря, который вскользь бросил:

— Критический год, — и, словно исчерпав свои обязанности в отношении германской промышленности, обратился к дамам. Он сообщил им, что ему удалось освободиться и рождество он может провести с семьей в Либвальде.

— Надеюсь, графиня, и с вами, — что было им произнесено с подчеркнутой галантностью, а графиней Альтгот принято с видом человека, сдавшегося без боя. После чего она поспешила поймать взгляд Терра. Фрейлейн Кнак еще не видала Либвальде, она была также приглашена.

— С господами Мангольфом и фон Толлебенем, — пошутил Ланна.

Усадьба была расположена у реки и окружена лесами. Статс-секретарь предполагал охотиться и, чему особенно радовался, удить рыбу. Отдохнуть от дел. Он всеми своими ямочками улыбался дочери.

— Папа, ты не будешь ни охотиться, ни удить рыбу. Ты будешь бродить со мной по парку, и всякий, кто нас увидит, подумает, что мы жених и невеста. — Веселый, ласковый тон, но и под ним чувствовалось снисхождение, словно она на самом деле думала: «Бедный папа, он всячески избегает усилий и все же так честолюбив для себя и для меня!» Отец не мог оторваться от ее лучистых глаз, его награды за безжизненные глаза сына.

Кнак тем временем энергично обрабатывал за границу.

— Как бы у вас за границей, — кричал он дипломату, — не проглядели того нового духа, которым повеяло в Германии. Пангерманский союз¹⁶ основан! Довольно Англии одной владычествовать над морями: император создает германский флот, как его предки создали армию.

— А вместе с ним и новых врагов, — дополнил иностранец и предостерегающе покачал головой.

Кнак же, вращая глазами, еще убежденнее:

— Пангерманский союз, для которого всякий патриот способен на любые жертвы, — удар кулаком в грудь, — сумеет в будущем воспрепятствовать такому банкротству национального достоинства, каким явилось прошлогоднее отклонение военных кредитов. Довольно торжествовать социал-демократии!

Здесь в разговор вмешался Толлебен. Никакой закон о социалистах уже не поможет. Толлебен требовал большего. Он видел спасение единственно в отмене всеобщего избирательного права, в государственном перевороте. Он так громко и решительно настаивал на государственном перевороте, как будто его устами заявляла о себе воля целого класса. Ланна не мог оставить без внимания заявление своего подчиненного. Но вместо ответа он шутя спросил Терра, какое бы это произвело впечатление.

— Очередь за вами, — сказала графиня Алиса, видя, что он колеблется. Все насторожились: молодой Ланна устремил тусклые глаза на сестру и ее загадочного соседа.

Терра несколько секунд не в силах был выдать из себя тот смелый ответ, которого от него ждали; затем, подняв брови, с воодушевлением:

— Все пришли бы в восторг от такого мероприятия высочайшего повелителя. Отважный прыжок в бездну более, чем что бы то ни было, удовлетворяет эстетическое чувство.

Воодушевление, соединенное с почтительностью, — вот все, что можно было заметить у говорившего; однако слушатели казались смущенными и молчали; Толлебен с содроганием отодвинул свой стул от Терра.

Неожиданно для всех послышался голос молодого Ланна:

— Присоединяюсь к вашему мнению. — Он протянул бокал, чтобы чокнуться с Терра, который откликнулся с готовностью.

Статс-секретарь, оставив без внимания выпад сына, строго и решительно выпрямился. Он очень много и поспешно ел за обедом, и ему было полезно принять такое положение.

— Я готов скорее бросить все, — изрек он и отбросил десертную ложку, — чем советовать его величеству резкую перемену политического курса. — Он перевел дух. — Наоборот, — продолжал он, — кто знает Европу, а мы, дипломаты, ее знаем, тому ясно, что известные, у нас еще не осуществленные, уступки требованиям

¹⁶ *Пангерманский союз* — организация немецких шовинистов; возникла в 1891 году (до 1894 года называлась Всеобщий германский союз). Во главе союза стояли и финансировали его представители промышленных монополий и крупного юнкерства.

демократического духа времени совершенно неизбежны и нам их тоже не миновать.

Толлебен оцепенел. В наступившей тишине графиня Альтгот кивком приказала слугам, чтобы они подождали с кофе и временно удалились. Графиня Ланна с легкой улыбкой, застывшей на губах, смотрела так пристально в глаза отцу, словно от чего-то предостерегала его. Он жонглировал фруктовым ножом и размышлял. Тут из полумрака соседней комнаты вынырнула и остановилась на пороге приоткрытой двери фигура сухощавого человека, одетого в черное; у него была седеющая голова, гладко выбритое лицо, острый нос, сжатые губы; правую руку он заложил за отворот сюртука, причем плечо сильно вздернулось, — а впрочем, не был ли старик горбат? Створка двери медленно раскрылась, вновь пришедший отвесил поклон с подозрительным и сердитым видом. Глазами ночной птицы он, сощурившись, всмотрелся в освещенный круг стола, склонился еще ниже, снова опустил веки и отступил назад: дверь за ним затворилась.

Ощутил ли граф Ланна его присутствие? Он изменил тон.

— Я ни в какой мере не собираюсь, — сказал он твердо, — посягать на существующий благодетельный порядок. — Он вполне успокоил слушателей. — Я чувствую в себе достаточно силы, чтобы остаться господином положения.

— И офицеры по-прежнему будут считаться высшим сословием? — поспешила удостовериться фрейлейн Кнак.

— Я хочу покорнейше просить о том же, — ввернул ее отец.

— «Вот мой надежнейший оплот». Эти слова его величества решают вопрос, — строго сказал статс-секретарь. — С другой стороны, — переходя к болтовне, — боже мой, неужели невозможно и предосудительно попытаться внушить поборникам новых идей уважение к нашему твердому, но суровому режиму? Нам бы следовало научиться представлять его миру в более гуманном свете, и мир был бы нам признателен.

— Революция во вкусах, — заметил иностранный дипломат, тонко улыбаясь.

Ланна тоже перешел на шутливый тон.

— Ну, не совсем. Дело попросту в...

— Оформлении, — подхватил промышленник Кнак.

Ланна наморщил лоб; он не знал такого слова, но постарался запомнить его.

— Этого недостаточно, — заметил он, обращаясь к Терра. — Культурные люди среди нас вправе ожидать большего.

— Так называемые культурные люди, — вмешался Толлебен, и по его тону можно было опасаться дерзости, но Ланна перебил его.

— К каковым и я причисляю себя, — вставил он резко. И снова обращаясь к Терра: — Мы еще потолкуем о моей системе. Я всегда считался с мнением интеллигентной молодежи. Может быть, в Либвальде? — прибавил он после краткого размышления.

Терра поклонился.

— Вы приглашены, — подчеркнула его соседка.

Терра растрогался чуть ли не до слез: здесь царила благосклонность, и навстречу ему раскрывались объятия. При столь непривычной ситуации ему пришлось напрычь

все силы, чтобы ответить, как всегда остро, лаконично и двусмысленно. Он что-то сказал о неожиданном счастье, какое выпадет в Германии на долю разума, если благодаря его сиятельству разум в виде исключения не будет противоречить существующему порядку. Свою признательность разум выразит тем, что поддержит существующий порядок.

— Все сказано одним именем: Ницше!

Имя не сказало ничего, никто о нем не слышал, но Ланна постарался запомнить его. Терра, подождав немного, повторил:

— Ницше!

— Что за притча? — в рифму произнес Толлебен, и это разрядило атмосферу, все засмеялись.

Фрейлейн Кнак хлопала в ладоши. Альтгот смеялась от души, Толлебен хихикал высоким, злым голоском, Кнак ржал, дипломат улыбался только из вежливости, а Мангольф хохотал искусно, пылко и вызывающе. Он держался за живот, проливал слезы и так весь расцвел, молодой, интересный и энергичный, что никому и на ум не пришло бы упрекнуть его в измене другу. Даже Терра не подумал об этом; он видел только заразительное веселье, к которому теперь присоединился и Ланна, и даже, вполне естественно, его дочь. Терра плавал в море смеха; чтобы не захлебнуться, он вбирал в себя воздух; и вдруг захохотал громче всех.

— Ну, будет, — сказал Ланна, запыхавшийся, но довольный, и встал из-за стола.

Двери раскрылись, веселый разговор рассыпался по отдельным группам в гостиных. Толлебен и Кнак очутились рядом.

— Не курите это зелье, — покровительственно сказал богач. — Мое лучше. Будьте ко мне внимательны, тогда сможете получить его хоть ежедневно.

Чиновник заржал:

— Так и быть, возьму у вас сигару.

— Даже и деньги, — добавил Кнак. — Что бы там ни было, вы остаетесь человеком старой школы, консерватором до мозга костей. Но что вы скажете о вашем начальнике?

У Толлебена кровь прилила к голове.

— Ваш намек на взятые взаймы деньги...

— Тсс... — прошептал Кнак, движением плеч указывая на вынырнувшего откуда-то Мангольфа, и Толлебен притих.

— Ваш начальник позволяет себе выкидывать рискованные коленца, — снова начал промышленник, — Как бы он не оступился!

— А его демократические идеи! — Толлебен многозначительно завел глаза.

— Он дальновиднее вас: демократические идеи кое в чем обоснованы, — заявил Кнак. — Такие люди, как я, должны в конце концов получить доступ ко двору, пусть родовитые фамилии хоть на стену лезут. — Кнак загорелся. — А ордена! Неужели высшие всегда будут доставаться вам?

Дочь услышала его. Мангольфу удалось увлечь ее за одну из ширмочек, и он

решительно повел на нее атаку; он встал из-за стола с более ясными намерениями, чем до обеда. Внутреннее влечение неудержимо толкало к нему фрейлейн Кнак; но она боялась непоправимого. Стремительно выскочила она из-за своего прикрытия.

— Папа, имей в виду, у моего будущего супруга непременно должна висеть на шее побрякушка! — Жеманьясь и резвясь, сорванец спрятался под крылышко отца.

Мангольфу оставалось только наблюдать из-за ширм, как Кнак держал ее в отеческих объятиях перед носом Толлебена, словно желая придать тому решимости. Кнак, который пользовался скрытой помощью бедного личного секретаря не меньше, чем сам Ланна, предал и покинул его, точно так, как всегда будет поступать с ним Ланна в критическую минуту. Белла Кнак ускользнула от него, подобно Алисе Ланна. Перед выскочкой, обладавшим только талантом, неколебимо стояла стена единомышленников, соратников и соучастников власти. Никаким самым смелым штурмом ты не одолеешь ее, долголетней службой ты незаметно проберешься в их твердыню, но ты не победишь, тебя только будут терпеть! Во рту у Мангольфа был вкус желчи; он искал лишь благовидного предлога выбраться из-за ширм, как вдруг подошедший слуга попросил его к его сиятельству.

Графиня Альтгот восседала в том углу гостиной, что примыкал непосредственно к комнате с панелью. Иностранный дипломат сидел, пожалуй, слишком близко от ее колен, но не это смутило ее, когда Мангольф, проходя мимо, заглянул за скрывавшие их пальмы. У Мангольфа самого было горько на душе, а потому он понимал Альтгот. Она делала вид, будто охраняет совещание у статс-секретаря и удерживает подле себя иностранца. Но ее больше всего интересовали Терра и графиня Ланна, за которыми она наблюдала из-за пальм. Она страдала, о, Мангольф ее хорошо понимал, она терпела все муки, какие испытывает трусливый расчет при виде свободного безрассудного чувства. У ее юной питомицы, с которой она изо дня в день невольно сравнивала себя, были дерзкие и необычные отношения с безвестным пришельцем. А она оберегала какое-то совещание.

То же, что испытывала Альтгот к своей юной подруге, испытывал и Мангольф к Терра, совершенно такую же ситуацию создавала судьба между ним и Терра. Он даже чувствовал себя старшим, хотя по годам был моложе, но разве мог бы он так непринужденно, как тот, с видом блаженного младенца, воспринимать незаслуженно свалившееся на него счастье? А Терра был слеп ко всему, он не замечал происходящего вокруг, как не замечал открытых дверей. Он не видел и Мангольфа. Зато подруга его глядела зорко. Уже переступая порог комнаты, где происходило совещание, Мангольф на своей спине ощущал ее враждебно пронизывающий взгляд. «Альтгот должна мне помочь, — подумал он и с поклоном уселся в стороне. — Мы союзники, и она это чувствует, у нее нюх, как у породистой гончей. Быть может, у нее уже готов план действий? Чего ей не хватает — это мужества, я его вдохну в нее. На этот раз она может дать волю своим страстям, за свое положение в доме ей нечего дрожать. Наоборот: она застрахует себя у отца, если уберет дочь от опасного приключения и возьмет себе ее любовника. Она при этом только выиграет, как и я. Мы союзники».

Молодая графиня позволила Терра излиться в пылких признаниях, — еще не отболевшее унижение разожгло и взвинтило его, — тем не менее она находила его прямо невозможным: он ничего не видел и не слышал, кроме нее и себя. Она многозначительно указывала ему на открытые со всех сторон двери: по коридору

прошел Кнак. Но на него ничего не действовало, тогда она стала вдруг очень внимательна, улыбка исчезла с ее лица, она подумала, что многие флиртовали с ней, но еще никому не казалось, будто во всем мире существуют лишь они одни. Если это не флирт, что же это тогда?

— Вы думаете, я о вас ничего не знаю? А на что существуют друзья? Один из них осведомил меня, — сказала она, явно волнуясь, и, увидев по его глазам, что он знает, кто этот друг: — Если отбросить все его экивоки, то вы будто бы опустившийся гений, не слишком щепетильный в денежных делах и... — ее взгляд испытующе устремился на него, — не очень благородный с женщинами. — И равнодушнее: — Теперь вы связались с каким-то подозрительным агентством.

— С этим покончено. — Он подкрепил свои слова решительным жестом, но сердце у него замерло. Деньги женщины с той стороны! «Неужели негодяй и об этом донес ей? Конечно, донес, иначе почему она меня с небес опускает на землю! Я у нее в руках». Он растерянно огляделся вокруг, то надувая, то втягивая щеки, несколько раз круто повернувшись, словно отбиваясь от нападения. — Графиня, поверьте мне, — сказал он опять резким носовым голосом, — я познал все опасности жизни.

— Слава богу, вы увидели, наконец, открытые двери.

Он увидел: они находятся в центре, и только на них устремлены все взоры. Он даже удивился, что графиня Алиса так свободно себя чувствует на этих подмостках. Грациозными движениями она беспрестанно меняла место; то, заложив руки за спину, опиралась ими о стол, отчего грудь ее выступала вперед, то садилась на ручку кресла, поджав ноги, так что ее юные бедра красиво округлялись. А он только следил за ней, дивился, но сам был начеку. Через одну из дверей бросала на них искрометные взгляды фрейлейн Кнак и тарасил глаза Толлебен. Графиня Альтгот неотступно прислушивалась к их словам, как ни рассыпался перед ней дипломат. Силы небесные! А из-за портьеры напротив угрожающе выглядывал не кто иной, как Мангольф.

— Графиня! — Он повернулся вокруг своей оси. — Мы мешаем делам государственной важности. Я не хотел бы показаться назойливым.

Она вытянула ноги и приняла серьезный вид.

— Что поделаешь, вы уже здесь. Если вы нечаянно услышите какую-либо важную тайну, от которой зависят судьбы Европы, то отвечать за это придется мне, — серьезно, покачав головой, сказала она.

— Я сознаю свое ничтожество, — повторил он, видя, что в комнате, где происходит совещание, Мангольф делает какие-то заметки. Мангольф, как подчиненный, сидел на некотором расстоянии от совещающихся. Но и Кнаку приходилось немногим лучше. Ланна, держа на коленях маленькую чашечку, помешивал в ней сахар и слушал. Говорил тот чопорный интриган, что показался в дверях столовой, то мимолетное, но многозначительное явление. Он и теперь держался таинственно, отставил настольную лампу и уселся так глубоко, что тело его нигде не выступало над креслом, повернутым спинкой к лампе, и сливалось с полумраком. Только когда он увлекался, скрюченная рука его попадала в полосу света, выражая ужас, недоверие, лукавство. Но вот резким движением высунулся профиль с крючковатым носом и крючковатым подбородком. Лишь вслед за тем к свету постепенно повернулось и все лицо — лицо чиновника с безупречным пробором, но за

тенью носового бугра скрывались лишенные ресниц белесые глаза, словно отражающие бесцветные и быстрые видения, — а какие бездны коварства врезали все эти морщины?

Терра думал: «Черт побери! Вот так сила! Она хоть кого изобличит и уничтожит!» Он прислушался. Старец громко шипел сквозь редкие зубы, чем больше он приглушал свой шепот, тем громче этот шепот раздавался.

— Я проник в их замыслы, — шипел он. — Их отравленная стрела в «Локальпрессе» пронзит их самих. — На его лице мелькнули зависть, крайнее недоверие и торжество. — По каверзным намекам на какую-то высочайшую оперу, имеющим целью встревожить Петербург, я узнаю нашу антирусскую партию. «Просвещенный гений его величества» — вот слова, которые могли быть подсказаны только английским лицемерием!

Он втянул голову в плечи, поджал губы, и взгляд его вонзился в Ланна, который перестал помешивать в чашечке. Терра встретился глазами с Мангольфом. Что было им известно? Словно прикованный к месту, вслушивался он в шепот старца.

— Три месяца я ложусь и встаю с этим дьявольским измышлением. Каждое слово выжжено у меня в мозгу, и я готов уйти на покой, как негодный слуга, если не найду главного, не найду ключа к разгадке, который даст мне возможность принять встречные меры... Избавьте меня только от высочайших сюрпризов! — так закончилось шипение.

— А Толлебен, — раздумчиво сказал Ланна, — хочет меня уверить, что все дело в рекламе какого-то уже переставшего существовать агентства.

Казалось, и он ищет глазами Терра. Терра попятился к двери и добрался до прихожей; там он сделал поворот и хотел улизнуть. Но натолкнулся на свободное кресло и почти помимо воли рухнул в него.

Совесть подсказывала ему, что в ближайшую минуту он может быть арестован как политический отравитель колодцев, чуть ли не государственный преступник. Возможно, что и приглашение статс-секретаря было просто ловушкой: он разыгрывал роль покровителя, чтобы легче уничтожить Терра! Молодая графиня вышла за ним в прихожую, она, любопытствуя, пристроилась в соседнем кресле.

— Что с вами?

Ее поведение тоже казалось ему подозрительным.

— Кто этот интриган в сюртуке? — резко спросил он.

— Действительный тайный советник фон Губиц. Он напугал вас?

Терра видел, что она улыбается. Блестящий луч из-под прищуренных век обезоруживал его своей иронией, как в тот миг, когда они встретились впервые, и как всегда. Когда она так улыбалась, он согласился бы даже, чтобы его арестовали.

— В чем вы провинились? — спросила она.

Он отер пот со лба.

— Перед его нечеловечески пронизательным взглядом и самый невинный смертный может ни с того ни с сего почувствовать себя преступником.

— Он хранитель наших самых сокровенных тайн. Он знает все. Даже папа многого не знает. — Она с обидой откинула голову. — Что вы скажете насчет разоблачения, которое мы подслушали?

— Я скажу, что нам спокойнее сидеть здесь, а то, пожалуй, мы увидим и услышим слишком много, — осторожно заметил он.

Через зал прошла Альтгот.

— Обычно милейшая Альтгот никогда не уезжает, не простившись со мной. Она, видимо, чем-то недовольна, — пробормотала графиня Ланна, усмехаясь глазами. Затем поспешно: — Посмотрите-ка вон туда, на эту пару!

Им была видна и столовая, где Кнак оставил свою дочь наедине с претендентом на ее руку. Его собственный голос слышался из кабинета, где происходило совещание и где он в чем-то убеждал дипломата.

— Бисмарк явно берет верх, — сказала графиня Алиса, кивнув в сторону столовой.

Терра не сразу понял ее. Потом рассмеялся:

— И вы зовете его Бисмарком? — но осекся.

— Если бы вы раньше видели Беллу Кнак! — с такой горечью произнесла молодая графиня, что он даже испугался. — Она не оставляла без внимания ни одного смазливого лейтенанта. Вот тут-то она была на высоте.

— Ведь она может подарить принцу-супругу целое царство! Недаром ее зовут Беллона¹⁷.

— Оставьте шутки! Посмотрите, что с ней творится.

Мощная мужественность Толлебена, дыша удалством, все больше подчиняла себе уже наполовину укрощенного сорванца. Толлебен был навязан ей отцовской властью, вся расстановка социальных сил утверждала его права; он был неизбежен и предназначен свыше. Фрейлейн Кнак прекрасно это понимала, она щурилась сквозь смех и слезы. Вдруг она встала, отодвинула столик и хотела уйти. Но Толлебен преградил ей дорогу.

Из кабинета, который теперь не был в поле зрения Терра, доносился голос Кнака:

— Международное положение таково, что у вас нет выбора, господин посол. Только у нас вы можете заказать пушки, если подпишете политический договор, который предлагает вам его сиятельство.

— Сейчас бедняжке Белле придется капитулировать, — пробормотала Алиса.

— Почему это задевает вас, графиня? — спросил Терра пытливо. Она посмотрела ему в глаза, и во взгляде ее он прочел огорчение, которому не хотел верить.

— Разве вы еще не заметили, что я честолюбива? — ответила она, и резкая складка обозначилась у нее между бровями.

— Это ложь, — сказал он с глубокой искренностью. — Вы вышли безгрешной из рук творца.

¹⁷ *Недаром ее зовут Беллона.* — Беллона — богиня войны у древних римлян, сестра Марса.

В сознании важности всего только что сказанного, они, не отрываясь, глядели друг на друга. То иронизируя, то трепеща, они долго и тщетно искали друг друга. Сейчас произошла их настоящая встреча.

— Нет, это верно, — сказала графиня, не отводя взгляда. — Я хочу, чтобы мой отец достиг вершины, и о том же мечтаю для своего мужа.

— Позвольте смиреннейше напомнить вам, что и тогда вы бы не были первой дамой в государстве. А раз так, к чему все это?

— Я допускаю только такую власть над собой, которая позволит мне уважать себя, — промолвила она свысока.

С ужасом усмотрел он здесь намек на то, как произошло их первое знакомство. За ужасом последовало возмущение; он сжал сплетенные пальцы между колен так, что они сплющились и покраснели, и произнес, пригнувшись, словно для прыжка:

— Почему же вы, графиня, сочли нужным принять меня?

Увидев, что она сильно побледнела, он сделал испуганный жест, отрекаясь от своих слов. Но все же перед ней внезапно и неотвратимо встал тот миг в ночи, когда они, прижавшись друг к другу, как преступные беглецы, склонялись над растекавшейся лужей крови вокруг убитых. Она была во власти того, кто держал ее тогда в объятиях!

— Не кляните меня! — пробормотал он виновато.

— Наоборот, я, как и мой отец, чувствую особое пристрастие к сомнительным личностям, — холодно и отчужденно отрезала она.

Он выслушал ее, не дрогнув. Только ощутив неловкость молчания, он встал, чтобы проститься. Но она удержала его:

— Вам незачем бежать. — У нее снова был тон насмешливой приятельницы. — Вы все равно вернетесь.

— А вы захотите меня видеть? Без всякой задней мысли, просто захотите видеть?

Вместо ответа она повела его наверх по лестнице. Здесь, наверху, был большой рабочий кабинет. Войдя, она заперла дверь, словно от тех страшных сил, которые отдавали каждого из них в руки другого. Из обширного сада под окнами в комнату попадали последние лучи угасающего дня. Она подвела его к окну, и вот они стояли одни над простором сада, так же одни, как в ту ночь на ярмарочной площади. Она сказала тихо и проникновенно:

— Вы, именно вы, никогда не забываете опасностей жизни.

— Но не с вами, — беспомощно прошептал он. — Что испытал я сейчас? Мне казалось, я встретил здесь возвышенное и милосердное существо, чьи помыслы все это время были исполнены доброты.

— Так бы должно быть, — и добавила по-прежнему мягко: — И все же мы будем друг друга ненавидеть.

— Даже мы?

— Как только что. Мы много будем бороться друг с другом.

Он из этого понял одно: значит, он не потеряет ее. Задыхаясь от радости, он признался:

— Помочь вам жить — это все, о чем я мечтаю.

— Но ведь у вас есть сестра? — Ее глаза смотрели так участливо, что он, пристыженный, опустил взгляд.

«Чем был я для сестры? — чувствовал он. — Разве я помог ей жить?» Но пора было кончать с тихими и задушевными признаниями. Она быстро повернулась.

— А у меня есть брат, — сказала она звонким голосом.

— Вот он, — ответил ей брат, появляясь из глубины комнаты.

Он стоял на ступеньках, которые вели во внутреннюю, ниже расположенную часть кабинета. Позади него был мрак, он там, внизу, дожидался сестры и не слышал, как они вошли. С ней он говорил без того отчуждения, которое как будто всегда отдаляло его от людей. Его лицо просветлело и стало привлекательным, словно с него упала завеса. Сестра заботливо положила руку на плечо брата.

— Ты ведь знал, что я приду с господином Терра? — Брат послушно повернулся к Терра. — Он мой друг, — добавила она. Тогда он без колебаний протянул руку.

— Господин Терра, простите меня! Мне следовало лучше запомнить вас. Я, может быть, обидел вас сегодня?

Сестра зажгла маленькую лампу и сказала:

— Я убеждена, господин Терра уже давно считает тебя своим заклятым врагом. Это на него похоже.

— Простите и вы меня, — сказал Терра растроганно. — Я обычно встречаю только противников, и это мне не мешает. Вы же в качестве врага были бы мне помехой.

— Почему? — спросила сестра.

Терра взглянул на брата.

— Потому что вы настоящий человек. Мне было бы стыдно, если бы именно вы не были моим другом.

Сестра рассмеялась, ее умные глаза ласкали нерешительное лицо брата.

— Настоящий человек, — повторила она, улыбаясь снисходительно. — Только беспамятный. Выходит каждый день на улицу так, словно города вчера еще не существовало. Это должно быть прекрасно. Я стара по сравнению с ним, — говорила она, легко-легко взмахивая обеими руками, словно летая.

— Но я помню, — задумчиво произнес молодой Эрвин, — что у господина Терра была бородка, раздвоенная и зачесанная на обе стороны. Он сбрил ее, — уверенно закончил он.

— Он сбрил ее, но ты знаешь, для кого?

Сестра задорно смеялась, и Терра смеялся тоже, смеялся сам над собой, смеялся ей в угоду и потому, что был счастлив. Брат беззвучно делил их веселье, все трое приветливо глядели друг на друга. Графиня Алиса неожиданно схватила обоих мужчин за руки и закружила их.

Едва переводя дыхание, они заговорили одновременно.

— Вот чего мне здесь не доставало! — воскликнул Терра.

— Мы моложе, чем сами думали! — подхватила графиня.

— Я рад, что мы вместе, — сказал граф Эрвин.

Его сестра подняла лампочку так высоко, как могла.

— Именно здесь, — воскликнула она, — здесь, где император бывал у Бисмарка! И последний знаменательный разговор происходил здесь!

— Разве здесь? — спросил Эрвин. — Может быть, внизу, в комнате с панелью. Это уже теперь неизвестно.

— Какое утешение для нас! — воскликнула Алиса. — Наше ничтожное существование столь же преходяще, как и то, что особо отмечено судьбой. — Она легко взбежала по отлогим ступенькам, разделявшим комнату пополам, и примостилась на них.

— Подите сюда! Расскажи нам, Эрвин, о своей последней проделке, о той, за которую отец сегодня тебя упорно не замечает.

— Это не проделка, — ответил он, — это недоразумение, оно могло случиться со всяким. Посудите сами, господин Терра.

Сестра, едва только он начал, прижала ладони к щекам.

— Значит, ты шел по улице, кого-то встретил и пошел провожать? — заговорила она сама.

— Не на улице, а в кафе. Я пошел вслед за какой-то дамой, собственно за ее собачкой, которую мне хотелось зарисовать.

— Вы не верите, господин Терра? Но это правда, — пояснила сестра.

Терра заметил:

— У дамы, конечно, не было более спешных дел, и она заинтересовалась рисованием.

— Нет. Ее ждали. Но около меня уселся какой-то господин. Он был как все, может быть воспитаннее других, во всяком случае он читал «Фигаро»¹⁸.

Терра намеревался вставить какое-то замечание, но молодая графиня взглядом остановила его. Эрвин медленно вертел в руках папиросу, его тускло поблескивавшие глаза, казалось, ничего не видели, и рассказывал он монотонно, запинаясь, как будто о чем-то далеком, виденном во сне.

— Мой рисунок упал к его ногам. Он поднял его и сделал какое-то меткое замечание. Я подарил ему листок, а он за это пригласил меня поужинать. Тут подошла дама, мы уговорились и с ней. Но потом мы решили лучше пойти в варьете. Там я довольно долго прождал его и даму, за которой он хотел заехать. Мне там понравилось, но все же я вышел на улицу, а он как раз в это время проходил мимо. В сущности я был рад, что он без дамы. Он сказал, что теперь он занят. Скоро я опять потерял его в толпе, но, когда я подошел к «Волшебному дворцу», он стоял там у дверей. Он объявил мне, что уже с кем-то сговорился. Я сказал ему, что вообще не пошел бы сюда, здесь никогда не найдешь свободного столика — не для того чтобы

¹⁸ «Фигаро» — французская ежедневная газета, выходящая в Париже с 1854 года.

сидеть, а чтобы рисовать, столика с бутылками и с брошенными салфетками, какой мне хотелось зарисовать. Он ответил, что может устроить мне такой столик, и я вошел вслед за ним. Мне отвели место, напротив меня оказался пустой столик. Зал был полон, посредине танцевали очень нарядные дамы, и наша знакомая из кафе тоже была здесь. Многие посетители пытались занять свободный столик, но всякий раз им говорили, что он заказан. Я рисовал бутылки и салфетки. Подошла та дама и очень смеялась, не знаю почему, — верно, потому, что я пил только водку. Я предложил, чтобы она заказала себе шампанского, но сам собрался уходить, потому что кончил рисовать, и позвал кельнера. Он пришел и подал мне очень большой счет за все, что могло быть съедено за свободным столом, если бы стол был занят. Я посмотрел на кельнера, — это был тот самый господин, с которым я познакомился. При мне не оказалось денег, но ведь у него была моя карточка. И сегодня утром он явился к папе.

Эрвин умолк, будто и не говорил. У сестры его под белыми руками покраснели щеки, из-под полуприкрытых век сияла влажная улыбка.

— Ты говоришь, это со всяким могло случиться?

Молодой Эрвин вопросительно посмотрел на Терра.

— Со мной — пожалуй, — сказал Терра и встал. — А с кем еще — не знаю.

— До свидания в Либвальде, — сказала графиня.

— Можно вас проводить? — спросил граф Эрвин.

— Я еще сам не знаю, куда пойду, — ответил Терра и быстро удалился. Он убежал, потому что боялся пробудиться с проклятием на устах от этого ничем не омраченного часа. Впервые на душе у него стало спокойно, мир словно преобразился, но он был убежден, что это парение бесцельно и не может быть длительным, и хотел упасть без свидетелей. Никогда еще он так не любил. Все происходившее только укрепляло и восполняло его чувство. У нее должен быть именно такой брат, который сквозь сон проходит по той жизни, где она царит. Терра любил жизнь ради них, ради сестры и брата Ланна.

Из обшитой панелью комнаты доносился голос Кнака. Терра хотел проскользнуть незамеченным, но его настиг Мангольф. Он покинул Кнака и Толлебена, чтобы узнать, чем объясняется просветленное выражение на лице друга. Терра тотчас подтвердил его страхи.

— Я иду из будуара юного божества. О друг! Это превосходит твоё воображение. Каждая частица тела моей Галатеи, даже самая малейшая, мизинчик на её ноге сулит больше неземной отрады, чем я способен вкусить до конца моего жалкого существования. У неё есть брат, и он мой друг. Пойми, что это значит!

Мангольф понимал все как нельзя лучше. Избыток чувств у Терра мог быть опасен только для него самого, но слова о брате задевали и Мангольфа. «Осторожно, здесь надо принять меры по системе Губица».

— Графа Эрвина всегда недооценивают, — произнес он вслух. — Как враг он очень опасен, потому что даже родная сестра считает его безобидным дураком. Он, верно, собирался тебя провожать?

Терра смутился, а Мангольф многозначительно улыбнулся. Терра тряхнул головой, лицо его снова засияло. Он указал на Кнака и Толлебена.

— Высшего начальства нет дома, и мышам раздолье. Неужели мне и дальше следить за тайными махинациями прохвостов? — спросил он, пожалуй, слишком громко, необычно звонким голосом.

Мангольф хотел его увести, но сам застыл на месте. Кнак, не стараясь даже говорить обиняками, обсуждал с Толлебенем своеобразное дельце. Брат Толлебена, бригадный генерал, получит у Кнака место директора, но только после того, как новое артиллерийское орудие фирмы Кнак будет принято в армии. Кнак назначал даже срок.

— Дело должно быть закончено к весне, иначе я расторгаю договор. — На возражение собеседника он ответил просто: — С Ланна справится и ребенок. Надо льстить его политическому самолюбию. Только бы он действовал в духе Бисмарка!

— В этом случае так оно и будет, — сказал Толлебен, повышая голос.

Кнак одобрил это всей душой.

— Да здравствует будущий великий деятель! — воскликнул он, и оба подняли рюмки.

Когда Терра и Мангольф вошли в комнату, промышленник невинно рассказывал о своих заводах, о том, что стоимость довольствия рабочих, которое он сам им поставляет, он перекладывает на этих же рабочих и на заказчиков. Говоря, он чистил ногти перочинным ножиком. Терра подошел к нему.

— Милостивый государь, — сказал Терра, — судя по тому, что я вижу и слышу, ваше предприятие сулит человечеству одно только благо. Вы с одинаковой готовностью продаете вашу гуманистическую продукцию как иностранным дипломатам, так и отечественным генералам, и когда вы снабдите одинаково грозным оружием весь мир, без различия религий и валют, тогда или никогда, милостивый государь, миру будет обеспечен мир. Пью, за первого активного пацифиста! — И он схватил рюмку с ликером.

Сидя в глубоком кресле, Кнак разинув рот рассматривал это чудо природы и выжидал дальнейшего.

— Вы готовитесь к длительному миру, — стоя перед ним, разглагольствовал Терра, — поэтому наряду с военным снаряжением изготавливаете также и чугунные жаровни, как для гостиниц, так и для домашнего обихода. Мало того, вы сердцем тяготеете к делу мира и вынимаете из левого жилетного кармана не пушку, а перочинный ножик, тоже собственного производства. Разрешите мне задать вам серьезный вопрос: сколько он стоит?

— Три марки, — сказал Кнак, — но вам я его охотно подарю.

— Я, к моему стыду, не в состоянии исхлопотать вам заказ, а потому плачу наличными. — И Терра вынул несколько серебряных монет из кармана брюк. В послушно протянутую руку Кнака он отсчитал: «Одна, две, три марки и еще пятьдесят пфеннигов на накладные расходы по розничной продаже».

Промышленнику оставалось только грозно вращать глазами. Он увидел, что Мангольф и Толлебен стараются скрыть улыбку, словно их радует этот выпад, который они должны бы счесть предосудительным; но сейчас он явно доставлял им личное удовлетворение. «Таков свет», — подумал Кнак и предпочел разразиться не гневом, а громким смехом. Терра торжественно поклонился и отошел прочь с

перочинным ножом в руках.

На лестнице, спускающейся в сад, его нагнал окрыленный Мангольф.

— Великолепно! — сказал он вполголоса. — Поздравляю.

Терра посмотрел на друга. Интересно, стал бы Мангольф поздравлять его, если бы фрейлейн Кнак оказалась сговорчивей?

— Не могу не признать, ты талантливо разделяешься с подобными свиньями, — весело продолжал Мангольф. — Но способен ли ты сам снести обиду?

— Я ведь только дилетант, — отвечал Терра не менее веселым тоном. — Тебе это хорошо известно.

Мангольфу вдруг пришло в голову давнее подозрение.

— Что мне известно? Ты появляешься в ту самую минуту, когда Кнак и Толлебен заключают между собой сделку. Разыгрываешь перед ними какого-то уморительного шута, а Ланна тем временем приглашает тебя в Либвальде.

— Я разоблачен, — сказал Терра смущенно.

— Возможно. Со стороны Ланна это просто гениально. Шпион в тесном семейном кругу! Кстати, и при его личном секретаре, правда? Придется поостеречься. — Сквозь веселость прорывалось озлобление.

— Между нами, я действительно намерен вступить за твоего начальника. А то, чем я здесь занимаюсь, — только предлог.

— Ах, вот что!

— Мне его очень жалко, особенно когда я вижу, в чьих он руках. Я, конечно, подразумеваю не тебя.

— Да, если бы он был в моих руках! — воскликнул Мангольф с глубокой искренностью.

— Я потерял из виду некоторых людей, — Терра таинственно улыбнулся, — и здесь нахожу их снова. Никто лучше тебя не осведомлен о том, что я состоял на службе в одном мошенническом агентстве. Директор там был человек большой воли и выдающихся способностей. Если бы все зависело от него одного, несомненно, те колоссальные барыши, за которые он без усталости боролся со всем миром, были бы употреблены им на пользу доверителей, — это принесло бы выгоду и ему. К сожалению, он распоряжался не один.

— Он был в чьих-то руках?

— Вследствие особой структуры предприятия, он был в руках некоего Морхена, который вполне мог бы возглавлять мощный концерн представителей тяжелой индустрии. Морхен обладал той бесцеремонностью, в силу которой общественное благо отождествляется с личной выгодой, и владел искусством устраивать свои дела за счет общественного блага. Все ресурсы ума и воли директора, его дипломатические комбинации, неподражаемое умение воздействовать на людей, обольщать их, престиж, который он себе создал, — кто видел от этого ошутимую пользу? Деньги для организации и рекламы, которые его чудодейственная рука неустанно высекала из бесплодной скалы, — кто собирал их? Морхен, все тот же Морхен!

— Это было мошенническое агентство.

— Ты прав. Прощай!

Мангольф догнал его и зашептал ему на ухо:

— И ты не веришь в войну? Ты считаешь, что деятельность Кнака — Морхена способствует миру? Где твоя логика, которой ты так гордишься?

— Там, где безумие несет всем гибель, там я отказываюсь от логики.

Мангольф вторично догнал его.

— Я открою тебе тайну, — с натянутой веселостью объявил он. — Ты сам — ты сам, таков, каков ты есть, будешь способствовать войне. К чему привела твоя забота о директоре?

— Он кончил жизнь самоубийством, — сказал Терра и остановился с открытым ртом. Мангольф, смеясь, стал подниматься по лестнице. — Стой! — громко крикнул Терра и мигом взлетел по лестнице вслед за ним. — Леа приезжает, — сообщил он, следя за тем, как меняется в лице Мангольф. — Она играет в пьесе Гуммеля, которая произведет сенсацию. Ты, конечно, уже об этом знаешь?

Мангольф исчез наверху, не вымолвив ни слова. Терра, закрывая за собой садовую калитку, понял, что допустил большой промах.

Глава V Либвальде

Все это привело к тому, что Терра совсем истосковался по Лее. «Сестра! одна ты можешь почувствовать, что чувствую я. Та, кого я люблю, для меня чужая женщина. Лишь то, что роднит ее с тобой, соединяет нас. Все, что увлекает меня, похоже на тебя. Глаза, в которые мне суждено смотреть дольше, чем во все другие, могут быть иного цвета, иной формы, чем твои, и все же они будут твои. Я буду бороться с той, кого люблю, за свое право на жизнь и счастье, так же как ты — с тем, кто предает тебя. Нам не раз еще придется протягивать друг другу руку помощи. Где ты? Приди же!»

Он протелеграфировал ей во Франкфурт и лишь таким путем узнал, что она уже в Берлине. Что случилось, отчего она до сих пор не подала о себе вестей? По дороге к ней в гостиницу он позабыл все тревоги и горел одним желанием — говорить с ней о себе. Правила приличия не позволяли, чтобы он поднялся к даме в номер. Ее вызвали, и тут, внизу, при портье и лакеях, она рассеянно и нетерпеливо сказала только, что спешит в театр. Очень ли она занята, спросил он.

— О, здесь у меня будет много времени.

— При такой роли!

— Мне нужно сказать тебе что-то.

— А мне нужно сказать тебе даже очень многое. — И ни один не замечал, что другой занят исключительно собой. Когда Терра спохватился, кто идет с ним рядом, он сказал, остановившись, в испуге: — Я всецело к твоим услугам.

Она усмехнулась с грустью и затаенной горечью. Это означало: «Весь твой», и было одним из тех стыдливых и потому театральных порывов ее брата, за которыми никогда ничего не следовало. «Если бы он, как я, играл на сцене, быть может, в жизни

он вел бы себя серьезнее», — мелькнуло у нее в голове. А он в это самое мгновение ощутил, как сестра и возлюбленная сливаются воедино, становятся одним существом, требующим от него полного самопожертвования. Если бы мог он говорить с ней так, как чувствовал!

Они вошли в пустую кондитерскую.

— Ты знаешь, что пьеса запрещена? — спросила Леа.

Он изменился в лице; ему не хотелось догадываться, кто виновник запрещения.

— Понятия не имею. Разве чего-нибудь добьешься от этого беспутного Гуммеля? Совершенно непонятно. Такая в сущности безобидная пьеса! — Тон у него был очень взволнованный.

— Виною, по-видимому, не пьеса, — сказала она равнодушно.

— Может быть, общество «Всемирный переворот» под подозрением или директор театра на дурном счету? — усердствовал он. — Бывают и личные причины...

— Да, бывают. — Она как будто собиралась сказать больше, но кельнерша, слушавшая разговор, помешала ей. Он поспешно расплатился, и они поехали в театр.

— Сегодня я узнаю, окончательное ли это решение.

— Члены «Всемирного переворота» — люди влиятельные, — заявил он уверенным тоном. — Нельзя ни с того ни с сего запрещать...

Она упорно молчала, пока не умолк и он.

В конторе театра, где запрещение было уже достоверно известно, Терра с жаром выступил на защиту договорных прав сестры. Когда ей было отказано во всем, кроме денег на проезд, он поднял шум, в ответ на что последовало холодное сожаление.

— Кавалеры наших дам не имеют по контракту никаких полномочий. Вашей... сестрице самой известно, как обстоит дело.

Внезапно успокоившись, он сказал:

— Вы совершенно правы. Это просто несчастный случай, — и последовал за ней.

Она повела его к себе в уборную.

— Я все объясню тебе. — Слепительно нарядная, стояла она посреди унылой комнатухи, окнами во двор, с ободранными обоями, разбитыми зеркалами, остатками румян и жестяным тазом, полным грязной воды. Свет, отраженный от желтой стены противоположного дома, придавал свежим краскам Леи вялость и искусственность, подчеркивая гримировку губ и век. Так юны линии плеч и бедер, так созданы для успеха, — и все же минутами она напоминала ему другую. Жалкая обстановка, где создавалась такого рода обманчивая красота, и проглядывавшая сквозь прекрасную маску горечь обиды, что наполняла сердце, превращали ее в женщину с той стороны. Тот же облик, та же судьба. Испуг пронизал его до глубины души — он понял, что боится не только за нее, но и за ту, кого любит. Алиса, Леа! Возлюбленная, сестра и шлюха, — он с содроганием понял, что все три сливаются для него в некое единство.

Стремительно склонился он над рукой сестры — над рукой, что утратила уже все девическое и стала пышной плотью.

— Я все объясню тебе, — повторила она задумчиво.

А он очень бережно:

— Я объясню за тебя. Он добился запрещения пьесы, чтобы ты не выступала в Берлине, во всяком случае не выступала с такой помпой.

— Ты уже знаешь?

— Да ведь я сам, в своем преступном легкомыслии, рассказал ему о твоих гастролях. И потом, вряд ли кто-нибудь, кроме него, способен добиваться запрещения пьесы из-за того, что ревнует актрису.

— Ревнует? Ты, значит, ничего не понимаешь. Он стыдится меня. Он сам сказал...

— Тебе в глаза?

— Он сказал мне, что его положение достаточно шатко, новые неприятности окончательно погубят его. — Слабый, страдающий голосок, лихорадочно горящие глаза. Брат захохотал как безумный.

— Знаю, знаю, но так или иначе, а ему придется примириться с этим. Пусть он сломит себе шею, но я хоть избавлю его от жестоких угрызений, которые неизбежны, если он доведет тебя до смерти, поджаривая на медленном огне.

— Не говори, а действуй! — потребовала она, выпрямляясь.

Он зашагал, пыхтя папиросой, между туалетными столами, пять шагов от окна к двери, пять шагов назад. Внезапно он остановился.

— В ближайшем будущем я собираюсь увезти дочь его начальника. Мы бежим с ней, его же в качестве моего друга заподозрят в содействии — тогда он конченный человек, а ты будешь достойно отомщена.

Она была огорошена. Потом нерешительно спросила:

— Ты любишь графиню Ланна?

— И не думаю! — воскликнул он знакомым сестре хвастливым тоном.

— Теперь мне все ясно. В чем же ты хотел мне признаться?

Тут он закрыл глаза, потом открыл их и беспомощно взглянул на сестру.

— Сам не знаю. Как женщина она мне едва ли нравится и все же держит меня в плену. Она по-детски своенравна, и при этом у нее мужской ум, — как мне сладить с ней! Но едва я представлю себе, что могу навсегда потерять ее, никогда в жизни не подчинить себе и не сделать своей, как передо мной разверзается могила.

Сестра коснулась рукой его плеча.

— Не заходи далеко! Люди нашего склада никогда не могут поручиться, чем это кончится... — У нее был тон искушенного опытом человека. — Она тебя любит?

— А разве я ее люблю? Для нее это, должно быть, так же неясно, как и для меня.

— Оба вы дети! Ты никогда не увезешь ее. Ты слишком ее любишь, чтобы повредить ей. Это нам не свойственно, — сказала она ободряюще и просительно, потом с рыданием добавила: — Мы предпочитаем сами страдать.

— Да, так оно и есть! Неужели и всегда так будет? Он будет тобой вертеть как ему

вздумается?

— Не делай ничего против Мангольфа!

Имя это вырвалось у нее, как вопль отчаяния; брату оставалось лишь склонить голову.

— И ему придется испытать много, много разочарований, пока я не останусь последним прибежищем. Я жду, — прошептала она.

— Еще недавно это слово привело бы меня в исступление, — заметил он, и они повернулись друг к другу спиной, чтобы поплакать про себя.

Приводя в порядок лицо, она сказала:

— Я задумала месть, которая уязвит его больше, чем твоя, мой милый.

Он вздрогнул; ему послышался резкий, безапелляционный голос женщины с той стороны.

— Тут есть некий господин фон Толлебен... — Она попудрила нос, сдула облачко пудры, затем: — Вполне светский человек. И, кажется, даже его сослуживец. Это мне на руку.

— Да, он его сослуживец.

— Отлично. Мы с ним совершим небольшое путешествие сейчас же после рождества.

— Невыполнимая затея, дитя мое. Он женится.

— Ты знаешь наверняка? — Она отложила все, что держала в руке. — Тогда это тем более интересно. Светский человек сбежал с актрисой от свежее испеченной супруги. В газеты такие сенсации попадают?

— Можно постараться.

— Это мне особенно важно. И имя мое может быть проставлено?

— Благодарю тебя, оно ведь и мое.

— Кто ты такой? Кто такие мы оба? Но настоящему личному секретарю настоящего министра оно будет колоть глаза. Ему легче бы увидеть собственное имя в судебной хронике. Или, думаешь, он меня не любит?

— На свой лад.

— Его лад требует взбучки, он ее получит. — Она рассмеялась с нарочитой вульгарностью, а прозвучало это надрывно. — О нем во всей истории не будет сказано ни слова, но он никому в глаза не посмеет взглянуть, — и пусть его даже вызовут к императору, он запретя у себя и будет думать обо мне. Да, будет думать обо мне.

— Великолепно! — одобрил он и оглядел ее с ног до головы, дивясь ей. — Только удастся ли тебе это?

Вместо ответа она распахнула дверь. В коридоре стоял Толлебен. При виде Леи на его грозно нахмуренном лице появилось такое просветленное выражение, какого никто от него не мог бы ожидать; Терра был чуть ли не растроган. Но когда гость заметил Терра, просветление сменилось неподдельным ужасом.

— Как? И здесь вы? — прошипел ошеломленный Бисмарк.

— Я тут ни при чем, — заверил его Терра.

— Мой брат, — представила Леа.

Тогда Толлебен протянул ему мощную руку, правда, нерешительно и смущенно.

— Ничего дурного я не замышляю, — заверил Терра. — Просто у нас одинаковые знакомства среди дам, Примем это как волю рока.

Философская точка зрения сомнительного брата вернула мужу чести и дела весь его апломб. Он небрежно заметил:

— Подумайте! Я ведь первоначально пришел сюда из-за той, другой дамы, нашей общей знакомой. Она должна выступить в феерии. — И он, оттеснив брата, завладел актрисой и повел ее по узким коридорам театра. У выхода она надумала немедленно ехать к себе в гостиницу.

— Брат поможет мне уложиться.

— Во всяком случае, нам надо позавтракать, — сказал Толлебен, бросив взгляд на брата.

Терра поблагодарил, но отказался, после чего не замедлила отказаться и Леа. Она уже сделала знак экипажу, но тот не остановился. Ей пришлось идти пешком рядом с Толлебеном. Встречные прохожие оттеснили Терра, он слышал лишь обрывки их разговора:

— Вы играете мною.

— Мне на самом деле нечего делать в Берлине.

— Вы не знаете меня. Я способен на необузданную страсть.

— Я слышала, будто кто-то из ваших коллег на днях женится?

— Я останусь, как и был, свободным человеком. Деньги связывают лишь в общественном смысле. Права сердца остаются за мной.

— Старая песня!

— Ради обладания вами я способен на любые безумства.

— Тогда поговорим разумно!

После чего голоса стали тише, обсуждались детали побега. Терра, на некотором расстоянии, размышлял: «План, достойный меня. Она моя сестра. Жизнь учит ее. Я не посмел бы до такого додуматься. Какое бы этому было название! Но раз план возник у нее самой, ничего в конце концов странного, если я помогу привести его в исполнение».

У стоянки экипажей она простилась с обоими. Они поглядели ей вслед. Когда Терра приподнял шляпу, собираясь уйти, Толлебен сказал, ехидно прищурясь:

— Так называемая княгиня отжила свое, она сдает, передайте ей привет.

Терра вновь приподнял шляпу, меж тем как Толлебен лишь коснулся своей.

Два дня спустя брат опять встретился с сестрой.

— Что нового? — спросила она.

— У меня был разговор с Куршмидом.

— Он здесь?

— Уже уехал, а твой отъезд совпадает с кануном Нового года, — удачнее ничего не придумаешь.

— Я увижу Париж, милый мой.

— Таков был маршрут новобрачных. С твоей стороны было бы не деликатно избрать тот же. Пожалуйста, уговори твоего рыцаря показать тебе Милан.

— Что у тебя на уме?

— Не пугайся, — даже если натолкнешься там на Куршмида... А теперь я хочу признаться тебе, что впервые в жизни по-настоящему счастлив. Я собираюсь в Либвальде. Она написала мне.

— Как красиво звучит — Либвальде.

— Не смейся! — Его тон, его взгляд открыли ей все, что он чувствовал. «Я любим! — чувствовал он. — Наконец-то! После стольких унижений и горчайших обид мечта все же осуществилась, — значит, невозможного нет. Я перешагну через жизненные преграды, вместо того чтобы разрушать их. Успех принадлежит счастливым. Итак, прежде всего добиться счастья!»

Она посмотрела на него не то с любопытством, не то с жалостью.

— Только не дай увлечь себя слишком далеко, — повторила она.

— А ты сама? — спросил он.

— О, я...

Это могло означать: «Я неуязвима» и «Я пропадающая»...

Он сам не знал, как глубоко его захватила она, Алиса Ланна, девушка из иных миров, больше «с той стороны», чем всякая другая, и уже завладевшая им, ставшая половиной его жизни. До получения ее письма он не знал об этом. Жил, как свободный человек, делал свое дело, строил планы, предавался страстям, далеким от нее. Она написала; и вот все остальное исчезло, отодвинулось невероятно далеко; реальной осталась лишь она, она одна. В пригородном поезде, уносившем его к ней, сердце его готово было выпрыгнуть и умчаться вперед, навстречу счастью. Он был потрясен простотой таинства, именуемого жизнью; в стуке колес, в жужжании ветра и в биении собственного пульса слышать ее имя — значило все понимать, над всем властвовать. Он действовал тем, что ехал к ней; чтобы действовать, он последовал за ней в Берлин.

Лишь приехав, — на станции ожидал экипаж, а рядом стоял один Мангольф, и Терра вышел медленнее, чем только что предполагал, — лишь приехав, он понял, что не действовал, а чувствовал, вернее только стремился чувствовать. «Чего я ищу здесь, чего я могу здесь искать?» Его приезд был возвратом к бесцельности, он строго осудил себя за это. Все еще одурачен своими грезами, все еще не настоящий мужчина, — вот и стой под мокрым снегом, из-за глупого любовного эпизода, запоздалого для юноши, преждевременного для мужчины.

Ошеломленный этой внезапной переменой всей ситуации, он подошел к Мангольфу.

— Неужто в самом деле ты?

Мангольфу ситуация представлялась, по-видимому, еще более сомнительной, это вернуло Терра самообладание.

— Долго мы будем удивляться, что едем вдвоем в этом экипаже? — и хлопнул друга по колену.

— Надеюсь, ты не ждал, что в нем окажется графиня Ланна? — спросил тот.

— К чему столь многозначительно? Я еду развлечься, как подобает молодому человеку. Ничего серьезного меня здесь не ждет.

— Так каждый думает сначала. Но потом ты поступишься внутренней свободой, лишь бы вырваться. Твои стремления не больше застрахованы от противного ветра, чем мои.

— Я слышу в твоих словах горечь пережитых неудач.

— Сегодня вечером Толлебен выезжает в промышленную область, а завтра отправляется дальше вместе с женой.

— Всегда может случиться что-нибудь непредвиденное, — сказал Терра. — Тебя ничто не поражает в Толлебене? Я считаю его преступником по натуре, шагающим по трупам.

— К этому не всегда представляется случай.

— Он ненавидит Кнака, который после его женитьбы совсем приберет зятя к рукам, он вообще презирает брак. Найдется какой-нибудь благовидный предлог избавиться от жены и сохранить приданое. А ты счел бы для себя неудобным дать свое имя фрейлейн Кнак — после того как она станет именоваться госпожой фон Толлебен?

— Что я могу сказать? Все зависит от обстоятельств.

Терра, заранее подстроивший эти обстоятельства, почувствовал потребность оправдаться.

— Я простился с Леей, — заявил он с ударением; и на молчание Мангольфа: — Поллюбуемся пейзажем! — После чего оба молча стали следить из-за пелены мокрого снега, как серые льдины движутся по реке, берегом которой они ехали.

Стало темнее, раздался собачий лай.

— Мы в парке, — объяснил Мангольф, и Терра заметил, что они едут уже не по сосновой просеке, а по буковой аллее. Усыпанная сухой листвой аллея кончалась перед высоко поднятой террасой. У Терра создалось впечатление громады из блеклого камня, уходящей куда-то в сумеречную даль. Но экипаж повернул, остановился сбоку, и дом оказался совсем простым, снизу оштукатуренным, сверху бревенчатым, с гонтовой крышей, полы и лестницы вытопанные, как в старом деревенском трактире. Наверху квадратная прихожая, три двери, а между ними, в свете висячих керосиновых ламп, старинные фамильные портреты, какие бывают в домах средней руки.

— Напротив живет Толлебен, я налево, ты направо, — пояснил Мангольф и открыл вновь прибывшему его дверь.

В комнате он увидел разрозненную обстановку старого жилья, но на постели вышитое белье и шелковое стеганое одеяло, — все это он постарался запечатлеть в памяти. То были предметы из ее окружения, то был завоеванный им угол под ее

кровлей.

Он подошел к окошку под самым коньком крыши, отдернул красную занавеску и выглянул в ночь, чтобы полностью ощутить, где он находится. Неожиданно к нему донесся нежный аромат, на подоконнике стоял гиацинт. Он испугался, потом кровь бросилась ему в голову: она побывала здесь! Ее рука держала горшок с цветком, которым она приветствовала его, именно его! Нигде, кроме его комнаты, не было от нее этого знака внимания, сердце его отгадало: этого обещания.

Он вздрогнул, — горничная явилась доложить, что через полчаса будет ужин. Поспешно переодевшись, он сошел вниз, открыл наугад какую-то дверь и очутился в гостиной, где одинокие стенные часы раскачивали маятник. Больше никаких звуков. Кажется, кто-то сидит за столом? Он на всякий случай поклонился, но то была лишь тень, — лампу из экономии прикрутили. Пока он стоял, выжидая, ему явственно послышалось какое-то перешептывание, но не у окна. Знакомый голос шептал совсем у его уха, как на исповеди. Надо послушать! Окно растворилось, едва он его коснулся; голос доносился снаружи, вероятно с террасы.

— Как у них все ладится. Плакать хочется оттого, что жизнь может быть так проста.

— То, что быстро сладилось, по-моему, вряд ли хорошо кончится, — подхватил другой. — По-моему, нужно долго следовать за случаем, пока он не приведет нас туда, где наше место.

Вздых.

— Ты, Эрвин, только провожаешь других. Где твое собственное место, тебе неважно. Ты, как Белла Кнак, примиришься с чем угодно в жизни.

— Только не с твоим несчастьем.

— Сколько у нас общего, Эрвин! В нас сидит одинаковое беспокойство, — но ты плывешь по течению, а я пробиваюсь.

— Маленькая Алиса, кто тебя так мучает, что ты плачешь?

— Никто. Не выходи из себя, тебе никому не надо мстить за сестру. В отдельности — никому. Виновата жизнь, какой я ее вижу, — обычно ее стоит лишь презирать, а нынче вечером, в виде исключения, стоит и поплакать над ней.

Пауза. Трепетно-нежный голос брата:

— Ко всему, ты вряд ли будешь способна влюбиться в подходящую партию.

— И у тебя иногда открываются глаза? Когда темно и никого нет?

— Алиса, послушай! Графиня Альтгот предостерегала меня от господина Терра. Говорят, господин Терра не таков, каким кажется. Он, говорят, интриган.

— Если бы это было так просто... — успел расслышать Терра и захлопнул окно: позади него раскрылась дверь.

— Ах, вы тут? Я так и думала, — сказала графиня Альтгот. Пауза. Лорнет. — Вы бесшумно проникаете в дом, вас неожиданно встречаешь в темной комнате.

— Ваши успехи, графиня, всегда сопровождались целым оркестром.

— У каждого свой метод.

— А самый удобный — это случай.

— Будто вы попали сюда лишь благодаря случаю? Поздравляю вас. Даже в театре я не встречала такой напористости.

— Графиня, вы переоцениваете меня. Такая внезапная атака! Точно моя скромная персона находится здесь на равной ноге с вами. — После чего Альтгот отвернулась, выкрутила фитиль в лампе и заговорила совсем другим тоном:

— Вы правы. Я здесь дольше, чем вы, я могу дать вам совет. Графиня Алиса не такова, какой кажется.

— Ах, и она тоже? Как я, значит.

— Вам она, конечно, хочет казаться лишенной всяких предрассудков.

— Мне она кажется прямодушной, умной, вполне уверенной в себе...

— Этого я не отрицаю, — торопливо перебила Альтгот. — Но едва свет даст ей понять, что этого недостаточно, как она сейчас же поставит вам в вину малейшее словечко, сказанное тайком, хотя раньше позволяла себе флиртовать с вами у всех на виду. А тогда ваши дни здесь сочтены.

Он видел, что необходимо на что-то решиться.

— Могу вам дать торжественную клятву, что за все наше знакомство я ни минуты не считал графиню Ланна не кем иным, как только графиней Лаяна. — И с пламенной мукой в глазах: — Ее не озаряют чары шестисот или восьмисот вагнеровских представлений, и она не воплощала в себе героинь-кровосмесительниц, которые вызвали бы вновь сердечный трепет, некогда охвативший юношу с хризантемами перед вашей уборной, графиня... — Раньше вы говорили: с орхидеями, — поправила она как будто рассеянно. Он понял: решение было принято верно. Веки увядающей красавицы отяжелели, угловатое, костлявое тело размякло; он протянул руки, на случай если бы она упала. Но она уже овладела собой. — Я говорю с вами как друг, старший друг. В нашем положении, здесь, пожалуй, есть что-то общее. Титул слабо оправдывает в этих кругах мое прошлое.

— Ваше великое прошлое.

— Так же, как и вам, мне надо оправдать свое вторжение, держа себя как можно скромнее. — Он еще дальше вытянул руки. — Я во многом себе отказываю, — призналась она, оседая. Но он поспешил водворить ее в кресло, отодвинув его от света. Лишь на волосах у нее остался красноватый отблеск. — Сколько деликатности! — сказала она с восхищением.

Он уселся у самых ее колен.

— Глупы мы были бы, если бы вздумали стесняться, — заявил он прямо и бесцеремонно.

Тут она испугалась, в лицемерном порыве у нее вырвалось признание:

— Меня убедили, что я сделаю доброе дело, если спасу Алису от искушения.

— А! Вы приняли на себя этот крест. А кто убедил вас поступить так? — Он подумал: «Тот же, кто научил вас предостеречь Эрвина от меня, как от интригана».

— Я сразу увидела, что мы с вами пара, — сказала она, снова пугаясь.

— Это по всему ясно, — подтвердил он и передвинул руки со своих колен на ее.

— Нам не в чем упрекать друг друга и давать отчет тому, кто ничего не замечает.

Совсем близко послышался повелительный голос Ланна. Альтгот торопливо поднялась.

— Уйдите отсюда! Ступайте через коридор в соседнюю комнату!

Он послушался и застал всех домашних уже за столом. Ланна, его дети, Мангольф и Толлебен негромко беседовали между собой. Мангольф недоверчиво оглядел входившего, но Ланна протянул ему обе руки и шумно перевел дыхание, словно у него давило под ложечкой. Прием, оказанный молодой графиней, был задумчив, серьезен, еще овеян той глубокой тоской, что из темноты ночи дуновением коснулась его заблудшей души. «Где я был после этого? Что сейчас произошло?» Он опустил перед ней взор. Но тотчас почувствовал, что согласится решительно на все, только бы жить под взглядом этих глаз.

Молодой Эрвин к обычной рассеянной улыбке добавил сознательное и многозначашее рукопожатие. «Мы друг друга поняли, — говорило пожатие. — Перед высоким мнением о вас моей сестры бессильны всякие наветы». Но Толлебен едва наклонил голову, когда Терра здоровался с ним. Тем более изысканными фразами поздравил его Терра с предстоящей женитьбой. Напыщенный юнкер только скалил, но не разжал зубы. Ввиду наступившего молчания, Ланна пояснил:

— Они обручились здесь под рождественской елкой, мы не успели этому помешать.

Но и это не встретило отклика. К счастью, появилась Альтгот. Ее тщетно искали у нее в комнате.

— Я писала письмо рядом. Вас не было слышно.

Взгляд, которым она обменялась с Мангольфом, не оставил у Терра никаких сомнений.

Нахмуренное чело статс-секретаря, молчание, которое он распространял вокруг, нарочитость, с которой он смотрел мимо Толлебена, — все свидетельствовало, что ему что-то не по нутру. Быть может, предстоящая свадьба? Союз его сотрудника с Кнаком, усиливающий их позицию против него? Возможно, он чувствовал тут угрозу своей независимости, своей будущности. Ланна умел быть приятным императору, в то же время укрощая его, умел самым деликатным образом надевать на рейхстаг намордник. До последнего времени он был в ладах и с военной партией, она считала его своим человеком. Сейчас впервые перед удачником возникла нешуточная опасность. Но в тот же миг ему посчастливилось напасть на молодого человека, который, по всем данным, никогда бы не получил доступ в их круг, и именно он-то, будучи случайно на ножах с Толлебенем, мог предотвратить опасность. Терра понимал: «Я собираюсь погубить Толлебена по родственным соображениям, — но стал ли бы я так решительно действовать против него, если бы не поймал его на интригах и против его начальника? — Он продолжал допытываться у самого себя: — А ради чего я забочусь об этом благодушном эгоисте? Он — ее отец».

Ему стало не по себе. Он был здесь, завязывал отношения и совершал необдуманные поступки только потому, что последовал за ней. Она заговорила с ним;

он отвечал спокойно, и под спокойный разговор сердца их забились в унисон. Он обращался не иначе как влево, к Альтгот, и при этом впитывал в себя окружающую обстановку, большую и низкую комнату старинной усадьбы, где в самом уютном углу круглый стол был озарен пламенем восковых свечей. Лампа под надвинутым абажуром освещала вдали неуклюжую консоль упадочно-ампирного стиля. В промежутке лишь бронзовые украшения на разбросанной по комнате мебели мерцали из полутьмы.

«Тут витает моя судьба. От меня зависит схватить ее».

Его внутренняя напряженность, очевидно, все-таки проглядывала наружу; граф Ланна на миг перестал жевать, специально, чтобы ободрить его.

— Я не забыл о вас, мой юный гость. Позднее, когда в доме станет спокойнее, я буду вас ждать у себя для небольшой беседы. — При этом он кивнул на левую дверь. — Где же государственному деятелю, трудящемуся для потомства, искать поддержки, как не среди интеллектуальной молодежи? — И с довольно двусмысленной усмешкой он вновь занялся едой.

— Если угодно мое мнение, то я всякий раз, как заговорят об интеллектуальной молодежи, стою за унтера Пифке, — без обиняков заявил Толлебен.

Пауза. Мангольф и Терра обменялись отчужденным взглядом.

— А если вас никто не спрашивает? — подняла голос молодая хозяйка.

Но Терра, которому следовало поблагодарить ее, почувствовал раздражение за то, что она взяла его под защиту. «Мне зависеть от нее, когда она сама не выдержит испытания». То, что Альтгот нашептала ему, внезапно возымело действие. Оскорбленный до глубины души, он вскипел, скомкал салфетку и собрался швырнуть ее в голову врагу. Толлебен ждал, сдвинув взъерошенные брови. Мангольф и Эрвин ничего не видели или притворялись, будто не видят; граф Ланна, не отрываясь, ел так торопливо, словно ему самому предстояло путешествие. Но Терра почувствовал, что справа и слева его схватили за руки.

Наконец Толлебен попросил разрешения удалиться, время не терпит.

— Мы вас больше не увидим? — бросила графиня Алиса через плечо и, не дожидаясь ответа, прошла в соседнюю комнату, Альтгот за ней.

Итак, Толлебен пока что исчез. Терра смотрел ему вслед, словно осиротев, но тут к нему подошел Мангольф.

— Директор боится своего Морхена, — сказал Мангольф. — А зять Морхена хорохорится.

— Бог рассудит нас с ним! — страстно произнес Терра и выбежал из комнаты.

Мангольф считал, что ему по праву надлежит знать, о чем беседуют дамы. Он огорошил молодого Эрвина какой-то эстетической проблемой и, говоря без умолку, отеснил в маленькую гостиную. Как ни болтал он сам, от него не ускользнуло ни одно слово из тех, что произносились под лампой. Сперва дамы говорили вполголоса.

— И вы очень гостеприимны, милая Альтгот. Я приняла участие в госте, когда его хотели обидеть. А вы его все время закармливали, — мне казалось, вы вот-вот его погладите.

— Я готова на это, дитя мое, лишь бы у вас не явилось такого соблазна. Ваш отец согласен со мной.

— Смелое утверждение. Папа приставил вас ко мне, потому что у так называемой свободной женщины зорче взгляд. — Она выпалила это, побледнев и не понижая голоса.

Альтгот успокаивающе коснулась руки своей питомицы.

— Я серьезно отношусь к своей задаче. Мне в жизни всего важнее мое доброе имя. Но то, что я сейчас вижу, дитя, вынуждает меня пойти на жертву.

— Я прямо трепещу за вас.

— Избави бог, чтобы мне когда-нибудь пришлось трепетать за вас, — сказала Альтгот с достоинством, но уже не так спокойно. Она отошла на несколько шагов, Эрвин подсел к сестре. Мангольф словно невзначай встретился с Альтгот; она прошипела: — Вы доведете меня до беды.

— Настанет миг, когда эта девочка на коленях будет благодарить вас за вашу преданность, — возразил он.

Терра добежал до верхней площадки, когда Толлебен захлопывал дверь своей комнаты. Он подождал его внизу у лестницы, потом вышел во двор и убедился, что экипаж стоит наготове и кучер уже на козлах. Терра поглядывал на экипаж; у него было искушение забраться туда, чтобы там лицом к лицу встретить врага и потребовать у него объяснения, которого он жаждал. Так как он, нервно дымя папиросой и вытягивая шею, без конца шагал перед экипажем, кучер забеспокоился, слез с сиденья и стал наблюдать за ним; Терра вынужден был убраться. Вдруг решив, что Толлебена обязательно позовут еще в гостиную, он поднялся снаружи на террасу и прильнул лицом к стеклу. В комнате теперь горела только лампа на отдаленной консоли.

Должно быть, враг сейчас войдет туда, — тогда Терра переступит порог и вырастет перед ним из мрака. Тут ему послышался шум, как будто лошади уже трогали. Он одним прыжком соскочил в сад, повернул за угол — и в дверях столкнулся с Толлебеном.

— Два слова!

— У меня нет ни минуты времени!

— Два слова! — с угрозой, с презрительной угрозой.

Подхлестываемый этим взглядом, Толлебен вынужден был, опустив голову, идти туда, куда гнал его Терра. Добравшись до большой гостиной, Терра, прежде чем остановиться, описал перед ним полукруг. Не надо начинать сразу, лучше сперва поторжествовать над врагом, который ждет своей участи, пойманный и сдавшийся. «Вот он — враг! Чуждый по речи, с другим складом тела и духа, плоть его мне мерзка, а кровь для моей крови яд, — зверь из бездны с кровожадными глазами, для которого до конца дней у меня найдется одно только слово: „умри“!»

— Ну? — спросил враг с высокомерной миной.

— Вы сами знаете.

— У вас ко мне поручение от той дамы, которая служит между нами единственным

связующим звеном?

— Если бы я и впрямь продавал свою сестру, все же остался бы открытым вопрос — себе ли на пользу, или вам на горе.

— Ха-ха!

Но смех тотчас оборвался. Они стояли посреди большой полутемной комнаты, не спуская друг с друга глаз, ощущая мурашки на спине и напрягшись всем телом для прыжка.

— Это что — шантаж?

— Я заставлю вас уважать мое человеческое достоинство!

Оба говорили, с трудом сдерживая себя, наступая друг на друга, связанные друг с другом крепкими узами ненависти.

— Мои отношения не простираются на братьев.

— Довольно. Что вы знаете обо мне? Знание против знания. У кого будет излишек, за тем победа.

— Я знаю, что вы ее брат.

— Еще что? — спросил Терра, внутренне трепеща, не спросит ли тот: «А деньги! Откуда у вас деньги!» Топнув ногой: — Еще что?

— Остальные ваши качества нетрудно дорисовать.

— Тогда я на более твердой почве, — заявил Терра решительно и непринужденно, видя, что опасность миновала. — Мне известны многие из ваших темных делишек, не считая самого последнего. Княгиня впутала вас в мошеннические предприятия.

— Сударь!

— Вы защищали интересы мошеннического агентства ради оперы, сочиненной императором, которая тоже оказалась мошенничеством. Как вы докажете, что и здесь не соблюдали своих выгод, — вы, человек, заключающий темные сделки с Кнаком и берущий за это приданое?

— Что вы понимаете в вопросах чести?

— Одно приданое, без жены! Прикажете мне открыть вон ту дверь и заранее описать вашему начальству предстоящее свадебное путешествие?

Тут враг заколебался. Еще разбередить рану!

— Тогда вы конченный человек. После путешествия вы могли бы выгородить себя наглостью, но сейчас это покажется хуже, чем преступлением, — вы будете опозорены.

Что тут оставалось делать? Склонить голову.

— Будем благоразумны, — пробормотал враг с жадой крови во взгляде.

И сейчас же в душе у Терра рухнула каменная стена. В побежденном он вновь увидел человека, вместе с ним пережил его унижение, устыдился за него и за себя.

— Хорошо. Будем благоразумны. Вы ненавидите Кнака, в этом мы сходимся. Вы хотите отплатить ему и бросаете его дочь, которая могла бы сделать вас богатым. Я

вам не друг, но по-своему вы молодец.

— Ошибаетесь, — заявил Толлебен, и в его пискливом голосе снова зазвучало невозмутимейшее высокомерие. — Потом за мной будут еще больше ухаживать.

Итак, он просто спекулировал! Он играл на разнице в общественном положении. Баронесса Толлебен даже после величайшего унижения стоила больше, чем наследница Кнака. Как бы крупный промышленник ни был могуществен, воздействовать на власть он мог только через посредство аристократа, у которого она на откуп. Чиновник Толлебен спешил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством для частного развлечения.

Терра скрестил руки; такого рода врагу ему нечего было сказать. А тот пуще разважничался:

— Короче говоря, вы прекращаете свою деятельность в том, что касается меня, господин заведующий рекламой!

Терра только смерил его взглядом, поняв, наконец, кого он хотел втащить к дамам и заставить повиниться. Тут он с большим опозданием заметил, что дверь в будуар открыта и что там темно.

— Счастливого пути, — бросил он, после чего Толлебен удалился, хихикая и пожимая плечами.

Таковы бывают победы.

Чувствуя потребность в одиночестве, Терра искал самого темного уголка. Вдруг на него упал свет, дверь слева отворилась, в ней показался Ланна.

— Вы аккуратны, как заговорщик, — сказал он и с подчеркнутой любезностью в каждом жесте пригласил гостя войти. Его комната вся была в драпировках и подушках; кресла, в которые они погрузились по бокам покрытого плюшевой скатертью стола, состояли из одних подушек. Немного подалее, на возвышении Терра увидел дамский письменный столик. Подле него высился бюст Гете. Едва только Терра начал рисовать себе рыхлые формы статс-секретаря, увенчанные этой головой, как Ланна заговорил:

— Я читал Гете. — При этом он вынул палец из книги, а книгу отложил. Проникновенный взгляд. — Читая, я думал о вас. — И в ответ на почтительное молчание гостя: — Наши решительные мероприятия можно оправдать главным образом тем, что первым их постигает врожденный талант. — Медленно и внушительно: — «Только посредственность стремится поставить на место неограниченного целого свою узкую обособленность и кичится своими промахами, — кстати, что за стиль! — объясняя их не поддающейся узде оригинальностью и независимостью».

— Ваше сиятельство, вы слишком любезны, приписывая моей скромной особе врожденный талант, — не менее выразительно произнес Терра.

— Я был бы слишком строг, если бы назвал вас посредственностью, которая хочет казаться оригинальной. И талант может быть недостаточно скромным.

— И посредственность недостаточно прилежной, чтобы добиться независимости.

Такой ответ гостя смутил хозяина. Терра не пожелал помериться с ним взглядом,

тем не менее Ланна сразу отбросил поучительный тон.

— Я имею удовольствие видеть вас здесь потому, что вам угодно было высказаться передо мной с полной независимостью.

Терра склонился в глубоком поклоне.

— Если в этом есть нужда, я могу засвидетельствовать широчайшую гуманность вашего сиятельства. Но само собой разумеется, что нынче вечером, за исключением нескольких реплик, слово будет всецело принадлежать вашему сиятельству.

— Вы еще не кончили?

Терра понял: университет. Он пролепетал что-то о семейных проблемах. Ланна снисходительно улыбнулся.

— Не имеет значения. Я много жил за границей, мне знаком тип интеллигентного труженика, который, испробовав самые фантастические профессии, наконец, как по волшебству, попадает на правильный путь, — а иногда и не попадает, — но который характерен для самого существа демократического строя. И у меня самого были такие черты. У вашего друга, Мангольфа, их нет.

Он пытливо взглянул на собеседника; от взаимоотношений двух друзей зависело содержание разговора. Ввиду этого Терра заговорил отчужденным тоном:

— Мне неизвестно, считает ли мой школьный товарищ для себя счастьем, что он с жизнью или жизнь с ним до сих пор безупречно ладили...

Ланна явно обрадовался.

— Совершенно моя точка зрения. По всем данным, господин Мангольф оказывает мне более веские услуги, чем, скажем, могли бы оказать вы. В его лице я вижу перед собой доказательство, что при нашей государственной системе всякий толковый человек попадает на должное место, даже без имени и связей. Однако... — Ланна откинулся на подушки и поднял взгляд к потолку, — что, если в конечном итоге свежий элемент попросту ассимилируется и все пойдет по-прежнему?

«Вот что! — решил Терра. — Тут кое-кому грозит беда».

— Ваше сиятельство, — произнес он вслух, — мне вы можете поверить, если я скажу, что в лице вашего секретаря небеса наделили вас куда более загадочной натурой, чем, например, я.

— Совершенно верно, он возражает мне, он высказывает противоположные взгляды. Но не успею я протереть глаза, как он уже сделал крутой поворот, и все опять на месте. Сложными окольными путями он неизменно приходит к полному подчинению. Он стереотипен — с оговоркой.

«Черт возьми, — думал Терра, — враг у ворот!»

— Это не годится! — заявил Ланна и отвел взгляд от потолка. — Будь верен себе до конца! — Он пристально посмотрел на собеседника. — Вы были свидетелем того, как я отверг мысль о государственном перевороте.

Терра церемонно поклонился.

— Ибо я человек штатский и смотрю на вещи с гражданской, а не с военной точки зрения. Пусть трудности, над которыми мы бьемся, чуть ли не жизнеопасны, я — в

качестве уполномоченного нации в целом — обязан верить, что из них есть выход. — Он стукнул себя по ожиревшей груди, меж тем как Терра, в позе, выражающей абсолютное внимание, обдумывал вопрос, когда и где нация в целом уполномочивала этого господина на что бы то ни было... — А посему, — заключил Ланна, — нечего ждать от меня поступков в духе какого-нибудь легковесного удальца-генерала! Ни слова против армии! Она создала прусско-германскую империю, я горд, что принадлежу к ней, без пестрого мундира министр теряет половину власти. Но так же, как этим убеждением Бисмарка, я могу похвалиться и присущим ему Гражданским мужеством. Перед совестью великого канцлера пасовали все генеральские причуды. — Министр говорил все более раздраженным тоном и теребил томик Гете, брошенный на плюшевую скатерть, а Терра тем временем задавал себе вопрос: не потому ли настоящий Бисмарк так ладил с генералами, что между Их и его склонностями не оставалось места для конфликтов?

Но тут Ланна, стоя во весь рост, как монумент, выкрикнул хрипло и угрожающе:

— Чтобы я зависел от военных поставщиков и офицеров, заключающих между собой сделки с помощью моих ближайших сотрудников? Они переоценивают мое терпение! — Глухой удар томиком Гете.

Терра понял две истины: откуда министр черпает свое свободомыслие — и затем, что Ланна не в такой мере обманут, как предполагали обманщики. Он тоже встал и почтительно выжидал. Чем же намерен этот неподкупный штатский обуздать зарвавшуюся военщину? Ланна продлил напряжение; он поднялся на ступеньку, ведущую к дамскому письменному столику и бюсту Гете, встал между ними и схватил огромный карандаш, тех же размеров, что и карандаши Бисмарка. Дирижерское постукивание по столику, и государственный муж начал свою партию.

— Я сам, в качестве руководящего политического деятеля, построю флот. — Отбивание такта в воздухе, где еще не отзвучали только что произнесенные слова. — Никто тогда не посмеет сказать, будто я не забочусь о господствующем положении Германии как на море, так и на суше. Я побью господ военных их же оружием. — Широкий взмах гигантским карандашом над головой Гете. Затем медленно и веско: — Это ли не политика в истинном смысле слова!

Он сошел с возвышения, с размаху погрузился в подушки и кивнул гостю: «Идите сюда!» Кивок выражал благоволение и приказ, был ласковым, но при этом величавым, рассчитанным на то, чтобы внушить собеседнику трепет. Кто способен так кивать, пожалуй, в самом деле имеет право властвовать над людьми!.. Всем своим видом давая понять, как лестно его доверие, Ланна произнес:

— Рассудите сами, дорогой друг, что это значит: флот, задуманный и построенный буржуазными инженерами, руководимый буржуазным офицерством в непрестанно увеличиваемый, с оглядкой на величайшую в мире буржуазную державу, Англию. Это значит, что мы делаем огромный шаг в сторону демократизации, и никто этого не видит. Никто и не должен видеть, — добавил он беспечно и Лукаво, с ямочками и подмигиваниями. — Он оглянулся на дверь и лишь затем произнес: — Мы с императором настроены очень лево.

Сидевший на краешке стула Терра мигом сообразил, что это должно быть разглашено, но не через печать, а устно, отсюда и «дорогой друг», от которого он все еще не мог опомниться. Поразительная, виртуозная способность распознавать людей!

Когда дело касалось его интересов, этот человек с практическим складом ума становился проницательным психологом. «Ведь я идеалист, любящий говорить прямо в глаза неприятные истины. Он оценил меня с точки зрения возможных выгод и опасностей, так же как оценивает своих конкурентов на пост канцлера: да, и меня, пресмыкающегося в пыли».

— Вас удивляет моя откровенность, но я ничем не рискую, — продолжал Ланна, очевидно разгадав и эти мысли. — Кто поймет меня? Во всяком случае, не господин Кнак, если он когда-нибудь и будет представлять перед нами буржуазию. Господин Кнак организует пангерманский союз. Ему и в голову не приходит, что с таким оружием в руках мало-мальски целеустремленная буржуазия может добиться демократии раньше, чем та возникнет естественным путем. Единственное его стремление — стать военным деятелем в штатском и приобрести юнкерскую импозантность. — Подмигивая и пожимая плечами: — Наша буржуазия слишком молода. К тому же господин Кнак боится своих рабочих. — Затем серьезно и твердо: — Все эти обстоятельства имперский министр должен учитывать, как активные факторы. А во внешней политике у него руки развязаны.

— Поскольку его внешняя политика направлена против Англии, если мне позволено будет напомнить. Ибо так угодно господину Кнаку.

— Совершенно верно, мы строим флот. Из этого не следует, что мы хотим войны с Англией. Империя — это мир.

— Вы намерены пересмотреть Франкфуртский мир¹⁹? — спросил Терра, подымая брови.

Статс-секретарь опешил, на лбу появилась складка. Затем он решил принять этот выпад благодушно.

— Понимаю, мы рассуждаем абстрактно. Но Эльзас-Лотарингия остается у Германии.

— А Франция остается нашим врагом.

Статс-секретарь пожал плечами, замялся, потом прищелкнул пальцами.

— К тому же мы расторгли тайный договор, обеспечивавший нам помощь России. Это случилось после Бисмарка, но он узнал об этом и рассказывает направо и налево. Скоро и вы будете читать об этом повсюду. — Слушатель взволнованно перегнулся вперед, рассказчик же, наоборот, мирно откинулся на подушки. — Англии удалось убедить нас расторгнуть договор с Россией. Теперь она видит результаты: мы приступили к постройке флота.

— Приступили? — бережно, как у сумасшедшего, спросил Терра.

— Это дело жизни императора, — заявил Ланна.

¹⁹ *Франкфуртский мир*. — Франкфуртский мирный договор 1871 года, подписанный между Францией и Германией во Франкфурте-на-Майне. По договору к Германии отошли французские области Эльзас и Восточная Лотарингия. Кроме того, Франция обязалась выплатить Германии контрибуцию в размере пяти миллиардов франков. К тому же, мы расторгли тайный договор... — Имеется в виду тайный договор между Россией и Германией, заключенный 6/18 июня 1887 года в Берлине сроком на три года. Посредством этого договора германская дипломатия рассчитывала обеспечить нейтралитет России на случай войны с Францией, а русская дипломатия — нейтралитет Германии на случай войны между Россией и Австрией.

— И Кнака, — добавил Терра.

— Мы изворачиваемся как умеем, — вновь заговорил Ланна с возрастающим благодушием. — Это держит нас в форме. Нынче с одним против другого, завтра против них обоих, послезавтра с ними двумя против третьего. Все идет как по маслу, прирожденный политик для этого и создан.

Терра понял: «Все идет как по маслу, потому что так хочет моя натура, мой беспечный характер, моя счастливая звезда, а также стоящая за мной нация, которая не знает сомнений и желает обогащаться». Он изучал этот феномен, кривя рот и в то же время любуясь им.

Ланна внезапно свернул на общие места.

— Мы можем спокойно глядеть в будущее, ибо немцы обладают тремя свойствами, которые в такой степени не присущи ни одной нации: работоспособностью, дисциплиной и методичностью. При их помощи мы справимся с любыми осложнениями.

Напряженная пауза. У Терра чуть не вырвалось замечание насчет опасностей политики, возлагающей все тяготы на народ... Ланна опередил его:

— Сделаем выводы! — И всецело во власти своих мыслей: — Я буду говорить, а вы записывайте.

Терра повиновался; бумага лежала на письменном столике, где были зажжены две свечи; он не успел взять перо, как Ланна заговорил. Он повторил свой отказ от государственного переворота и вновь подчеркнул демократические тенденции императора, причем отдал должное нации, политически созревшей буржуазии, которая учится на ошибках других народов. Правда, парламентаризм имеет свои бесспорные преимущества, только у нас нет для него естественных предпосылок. Германский народ, иной по духу и по развитию, чем другие народы, таит в себе иррациональные черты, которые делают его не поддающимся учету фактором в системе мира.

Подхлестываемый вдохновением Ланна вскочил, пересел в другое, в третье кресло, говоря без передышки целых двадцать минут. У Терра затекла рука. Когда хвалы германскому народу затянулись, он решил: «Значит, это все-таки должна быть газетная статья». Но в итоге получилось что-то вроде памятки для самого государственного мужа: как Бисмарк, охватывать взглядом мир и историю и, как он, проникать взглядом в душу германского народа.

— То и другое, — звучно произнес Терра, — в большой мере свойственно вашему сиятельству. — И с тем собрался сложить признания статс-секретаря к подножию Гете; но Ланна встал, чтобы взглянуть на свое творение. Вид у него был истомленный, но блаженный, как у роженицы. Он собственноручно достал из шкафа большой альбом и вложил записку рядом с ей подобными. При этом он показал гостю все содержимое альбома: наклеенные вырезки из газет, касающиеся Ланна, начиная с его биографии и назначения и кончая отзывами о его последней речи в рейхстаге, и тут же его портреты из иллюстрированных приложений за последние три месяца, где он был изображен то бодряще-веселым, то исполненным сознания тяжкой ответственности, смотря по тому, какой из стремительно меняющихся моментов переживала Германия.

Статс-секретарь нерешительно взвешивал в руке свои произведения и, наконец, спросил на редкость робко:

— Как вам кажется, у меня был бы талант? — И так как Терра не сразу понял: — В бытность мою молодым атташе, когда я недостаточно быстро продвигался по службе, я серьезно лелеял мысль стать журналистом.

— Что вы! А германский народ? — запротестовал Терра. — Даже трудно вообразить, как бы все тогда сложилось.

Он сам испугался своих слов, но Ланна понял их должным образом.

— Возможно, что для других так лучше. Но для меня? К настоящей цели я, быть может, стремился именно тогда. — Задумчивый взгляд; но грусть была развеяна принесенным чаем.

Терра послушно сел к столу; весь во власти своих мыслей, он не слышал похвалы пирожным, которые предлагал ему Ланна. Его тяготило сознание невыполненного долга. «Сказать надо, пусть это будет впустую или даже во вред. — Настольные часы показывали десять минут одиннадцатого. — Надо сказать». Голос его зазвучал глухо.

— Ваше сиятельство, разрешите мне замечание, продиктованное глубочайшим смирением. — Он выждал, пока Ланна проглотил кусок пирожного и дал согласие. Терра настойчиво задержал его взгляд. — В близких к вам кругах меня заверяли, что мы на пути к войне. — И так как Ланна возмущенно отшатнулся: — Вы тут ни при чем, граф Ланна! Ваша гуманность пустила корни даже в область подсознательного, ваше призвание просвещенного государственного деятеля сквозит во всем вашем облике.

— Вы преувеличиваете, — польщенно пробормотал Ланна. — И потом, я ведь не один.

— Именно это и заставляет меня высказаться. Другие вопреки вам упорствуют в поступках и взглядах, которые создают почву для жесточайшего конфликта, независимо от того, есть ли у них агрессивный умысел, или нет. Окажите им сопротивление, граф Ланна!

Тут министр, смакуя собственные слова, стал излагать то, что давно явствовало из его программы:

— Народам присущи страсти, и лица официальные просто обязаны в некоторых случаях проникаться теми чувствами, которые им далеки.

Его взгляд ждал одобрения. Неуклюжие пальцы Терра сплетались и разжимались, но лицо светилось самоотверженной решимостью, министр заметил это.

— Впрочем, продолжайте, — сказал он ободряюще.

Голос Терра окреп.

— Для национальных страстей, граф Ланна, существует очень мало выходов, и самый привычный из них — война. Вы, ваше сиятельство, на случай войны слишком полагаетесь на исключительные качества немцев. А не все ли равно в конечном итоге, какими качествами обладал тот, кто плавает в собственной крови? Подумали ли вы, убедились ли на опыте, что в результате политики проливается настоящая кровь?

Резкие выкрики, зловещий шепот. Когда все смолкло, графу Ланна стало страшно. Видно было, как он побледнел, каким неподвижным стал его взгляд... Но вот он встряхнулся, на губах снова появилась улыбка, правда натянутая.

— Как противостоять ходу событий? — сказал он вяло.

В этот миг он был настолько неуверен в себе, что совершенно беспомощно смотрел, как собеседник его встал и, отступив на шаг, скрестил руки.

— Отмените смертную казнь! — крикнул Терра, а грудь его под сжимавшими ее руками вздымалась так, словно готова была разорваться. Сердце у него раскрылось, чтобы громко заявить свою волю, вся жизнь его, вся сущность сосредоточилась на этой минуте, прихлынула, сконцентрировалась в одном волевом порыве.

С кресла свисал мертвый директор. Убитые, лежали в объятиях друг друга борцы! Кровожадные вопли неслись из переулков, и дорога с неизгладимыми следами пролитой крови вела назад, к полю битвы, где один из его собственных предков стал убийцей или жертвой друга. А куда вела она вперед? К новым битвам, к новым братоубийствам? Вот оно, его единоборство с Мангольфом! Он хотел закричать и лишь простонал:

— Отмените смертную казнь!

Министр — правильно ли он понял его? — сказал вяло, хмурия лоб:

— Я не бог. Вы восстаете против бога.

— Никогда еще я не был покорнее ему, — твердо сказал Терра. — Я хочу вернуть ему право решения, которое мы узурпируем, убивая. Мы обкрадываем его, убивая. К чему он предназначал кровь, которую мы проливаем?

Ланна рукой разгладил лоб. Оказывается, это мечтатель из числа тех, которые отталкиваются не от фактов, а только от идей.

Решительным жестом Ланна потянулся к блюду с пирожными.

— Некоторые сами накладывают на себя руки, — продолжал Терра, склонив голову, словно навстречу буре, — другие избирают себе жертву, но как первое, так и второе — одинаково безумно, это предел безумного презрения, которое мы, люди, питаем к себе и к своей крови. Я знаю, что говорю, я сам испил его до дна.

Тут Ланна не донес до рта вилку с шоколадным буше, стараясь запомнить эти слова на случай новых столкновений с людьми такого типа.

— Кого почитают превыше всего? Того, кто нас ни во что не ставит. Какое сословие возвышается над всеми другими? То, которое имеет право убивать нас. У государственного деятеля большой соблазн затеять войну, только тогда он может быть уверен, что войдет в историю.

— До чего это верно! — пробормотал Ланна и нерешительно посмотрел на вторую половину шоколадного буше. Ему как-то сразу стало ясно, что за неблагоприятная задача сохранять мир: всегда настороже, всегда начеку против возможных обид, с щепетильностью дуэлянта и хищностью игрока, всегда в маске всеоружия и ответственности за все, и при этом сознавать, что сам император стремится к миру, и даже к миру любой ценой, лишь ради того, чтобы наслаждаться блистательным наследством и пышно обставить свою власть, при этом и отдаленно не предполагая найти ей серьезное применение. «Я же, человек, пекущийся для него о мире, играю в пышном спектакле его правления куда меньшую роль, чем какой-нибудь генерал. Даже канцлер может удержать первое место только в качестве преемника

победоносного военного канцлера. Три искусно подготовленных войны!²⁰ А я! Будь я в силах уберечь Германию от величайшей в ее истории катастрофы, такого признания я бы не добился. — И Ланна тяжело вздохнул. — У этого человека свои заботы, но он и понятия не имеет, каково мне», — и, кротко слушая Терра, он ел пирожные, как будто только по рассеянности.

Терра растопырил пальцы, словно желая схватить возникавшие видения. Все, что он говорил, проносилось перед ним. Он отбивался от образов, а мысли поражали его, как призрачные удары дубиной. Лицо у него было искажено животным ужасом.

— Вы хотите убивать! — говорил он. — Наказание за убийство никогда не было наказанием, — оно было для руководящих классов желанным случаем утолить интеллектуальную жажду крови. На одного выродка, убивающего по влечению или необходимости, приходится сотни представителей суда, полиции и прессы и тысячи представителей общественного мнения, которые, в гнусности превосходя этого выродка, оправдывают убийство идейными соображениями. Та же замаскированная кровожадность опирается на государственную власть и патриотические чувства, чтобы добиться войны. В народе войны не хотят даже убийцы, — а вы, граф Ланна?

Ланна вежливо покачал головой. Ему хотелось пирожных с кремом и вишнями, которые он особенно любил. Вопрос прервал его на размышлении, как бы полакомиться ими, не оскорбив столь деликатный предмет беседы.

— Тогда откажитесь от смертной казни, — прохрипел докучный гость, как будто ему самому приставили к горлу нож.

Ланна мысленно отказался от любимых пирожных.

— Будь я министром юстиции, — сказал он, — я, вероятно, ответил бы вам, что отмена смертной казни сделала бы меня безоружным.

— Нет, граф Ланна! Вы бы так не ответили, ибо вам Понятно, что те, кто требует крови, стремятся не к справедливости, а к власти, будь то юристы или военные. Без крови нет власти, — подмигивают они друг другу. Почему всегда и повсюду контрреволюции более жестоки, чем революции? Революционеры прежде всего добиваются общего блага, а контрреволюционеры — лишь своей утраченной власти, которая заведомо никого, кроме них, не может облагодетельствовать. Не заставляйте того, — рычал Терра, — кому надлежит лишь мыслить и познавать, не заставляйте его действовать, чтоб обезвредить вас! — Сжатые кулаки его дрожали, взгляды метали пламя, он оскалился и заскрежетал зубами. Ланна осторожно подвигался к звонку, чтобы незаметно нажать кнопку, и при этом не спускал глаз с дикаря. «Я был бы посрамлен в своем знании людей, если бы он от слов перешел к делу», — эта мысль вернула ему мужество. Он выпрямился всем корпусом и сказал внушительно:

— Все, что вы говорите, — ошибочно и ни к чему бы не привело, если бы было верным.

Это осадило дикаря, вся его сконцентрированная сила стала убывать на глазах, он

²⁰ *Три искусно подготовленных войны!* — Речь идет о Датской войне 1864 года, в результате которой Пруссия совместно с Австрией отторгла от Дании Шлезвиг и Гольштейн, австро-прусской войне 1866 года, фактически завершившей объединение Германии под гегемонией Пруссии и приведшей к созданию Северо-Германского союза (1867), и франко-прусской войне 1870—1871 годов.

сжался, притих и сказал, уже не рыча, а запинаясь, что считал для себя невозможным упустить такой счастливый случай.

— Вашему Сиятельству на протяжении вашей, будем надеяться, долгой и плодотворной деятельности на благо родины, быть может, представится случай вспомнить о смиренных речах человека низкого рождения и непосвященного. Пока в мирное время на законном основании проливается кровь, войны не могут считаться преступлениями. Но люди не захотят мириться с насильственной смертью ни в чем не повинных солдат, если даже убийц не будут карать смертью. И правящие классы, научившись порицать смертную казнь, раз она отменена, постыдятся поддерживать угрозу войны. Кровавая власть в ее высшей форме может быть подорвана лишь после того, как будет нанесен удар ее первоначальным, низшим формам, — заключил с глубоким почтением в голосе и взгляде Терра и, отвешивая низкие поклоны, прижав кончики пальцев к манишке, стал пятиться к двери. — Ваше сиятельство, — сказал он с последним, самым раболепным поклоном, — вы, как и всякий цивилизованный человек, носите в себе зачатки анархизма, и потому вам нетрудно судить, как сильно взаимодействие всех этих факторов.

Сказав это, он исчез. Ланна при всей своей уравновешенности не мог отделаться от впечатления, что сам дьявол побывал у него.

Первое его побуждение было: «Больше это не повторится» и «Как мне избавиться от него завтра же?» Но потом он пожал плечами и отмахнулся от нелепых предрассудков, втайне смакуя только что испытанный разгул мысли и предвкушая следующий.

За дверью Терра схватился за косяк. Он обливался потом. Выходя из кабинета, он снова взглянул на часы, и, хотя они стояли между зажженными свечами, на сей раз не различил времени, глаза ему застилал туман. Он не знал, сколько прошло часов, но ему казалось, что стоит глубокая ночь, самая черная, какую только ему доводилось пережить. Не веря, что ей когда-нибудь наступит конец, он неустанно шагал по своей комнатке, папиросный дым все сгущался, а он в сотый раз, точно молитву, повторял все, что говорил там, внизу; вновь и вновь спрашивал он себя, взять ли свои слова назад, или просто предать их забвению, всем существом вникал в них, негодовал, порицал — и все же не мог от них отделаться: ибо, страшно вымолвить, он не имел власти над этими словами. Они не принадлежали ему, скорее — он им. Разве он породил их? Скорее он сам был порождением той истины. Сверши, что тебе поручено! Время твое отмерено, сила твоя дана тебе взаймы. Новый день, что взойдет, не будет принадлежать тебе, ибо твое перестало быть твоим. Покорись же! Слейся с единой мыслью.

Но когда он до тошноты перечувствовал протест, усталость и гордое смирение, в самом деле занялся день — и оказался яснее, свежее и беспечальнее, чем предрекала тяжкая ночь. Утро, словно созданное для путешествий, пронзительно голубое, с ветерком, овевающим золотистую даль, утро — как отъезд. Куда? Одно ясно: вдаль — и с ней. Пошире распахнуть окно! Путь лежит в страну творческого духа, к берегам счастья! Твоя спутница вступает с тобой в завоеванные тобою области, ты следуешь за ней в ее сферу. «Я любим! — чувствовал он. — Ее душе, опередившей мою, давно известна наша судьба. Мы убежим, выдержим борьбу, которая будет нам оправданием, завоюем победу, которая позволит нам даже возвратиться сюда». Тут мысли его испуганно замерли. Он понял, что эта женщина снизойдет до его жизни не иначе как с

ручательством победы. «А какое ручательство могу ей дать я?» Спасаясь бегством из комнаты, он ответил: «Я любим! С этим можно перешагнуть через жизненные преграды, вместо того чтобы разрушать их».

В гостиной окна еще были завешены, но кто-то встал при появлении Терра.

— Да, я ждал тебя. — Мангольф пошел ему навстречу. — Я хочу знать, что ты против меня замышляешь?

— Я тоже плохо спал, — только и ответил Терра.

Мангольф шарил сумрачно-страдальческим взглядом по лицу друга. Ему все еще слышались слова, сказанные другом вчера: «Я простился с Леей». Что скрывалось за ними, какие признания сестры, какие козни брата?

— Ты угрожал мне, — сказал Мангольф, задерживая взгляд на бровях Терра.

— Вчера мне представилась возможность замолвить за тебя слово перед твоим высоким начальством, и я с радостью воспользовался ею, — вежливо ответил Терра.

— Этого еще недоставало! — простонал Мангольф.

После паузы Терра подтвердил:

— Именно этого. Надеюсь, сам ты не обманываешься насчет истинной причины, почему ты в такую рань, когда спят даже истопники, ждал меня здесь? Мой разговор с глазу на глаз с хозяином дома напрасно беспокоит тебя — он носил чисто отвлеченный характер. Если бы тайному советнику подобало подслушивать, ты бы услышал, что говорил он один.

— Этому я охотно верю. — Мангольф презрительно улыбнулся. — Ты же играл роль повитухи. Должно быть, он продиктовал тебе статью?

— В этом и заключалась вся беседа, — с жаром подтвердил Терра. — Я преклоняюсь перед твоей прозорливостью. Очевидно, ты в самом деле ждал меня здесь только в связи с моей сестрой.

— Ты угрожал мне, — резко и торопливо повторил Мангольф. — Что происходит?

— Кто это может сказать, кроме нее самой? Разве что Толлебен, — глядя исподлобья, невозмутимо ответил Терра.

Мангольф схватился за голову.

— Толлебен? Господи, а он уехал! — Он заметался по комнате как затравленный. Когда он вернулся на прежнее место, в тоне его слышалась уже только мольба: — Она хочет мстить? За то, что мое честолюбие служит ей преградой? Скажи, мне что-нибудь грозит?

— Как тайному советнику?

— Ты вправе глубоко презирать меня, — пробормотал Мангольф, весь сжавшись и покраснев.

— Я уже говорил тебе, что вызвать у меня презрение не так легко. Я иногда тебя ненавижу — объективно, а если люблю, то субъективно.

— Значит, ты жалеешь меня? — И так как Терра не возражал: — Этого я не потерплю.

— А мне, — сказал Терра, — приходится терпеть, что ты мне завидуешь, тайный советник — вечному студенту.

Мангольф стоял, весь похолодев.

— Все может быть... Но обо мне надо говорить долго. — Главный и неизменный интерес его жизни сквозил у него во взгляде: что происходит со мной, во мне...

— Пойдем на воздух! — потребовал он.

Выйдя, Терра заметил:

— Как эта терраса изменилась со вчерашнего вечера. Она блистала, точно мраморная, а теперь это крашенные доски.

— Здесь каждый день утрачиваешь иллюзии, а к вечеру они снова возвращаются. Благоразумно уехать вовремя. — С этими словами Мангольф повел друга по буковой аллее к реке. Они дошли берегом до мостика. Мангольф перегнулся через перила и смотрел, как бурлит и сверкает вода между льдинами.

— Меня это точно завораживает, — сказал он с интересом. — Разве могу я быть дурным по натуре, если меня так тянет к отречению, ко сну?

Терра тоже попытался одурманить себя. Но ничего не вышло; он отчетливо слышал слова Мангольфа.

— Не будь у меня сна — и сознания, что наша унылая жизнь лишь остановка в ночи...

— Ну, ну! — сказал Терра умиротворяюще.

Но Мангольф продолжал, не отводя взгляда от реки:

— Мне недавно открылось, что я бессмертен...

Терра думал: «Как ему не совестно? Или вся эта комедия имеет целью заставить меня поскорее уехать?» Он грубо захохотал:

— Если так, тогда жизнь не может уязвить тебя всерьез, даже пристыдить тебя никто не может.

Тут Мангольф повернулся к нему.

— Я полон смирения, — сказал он. — Иначе разве я был бы честолюбив?

И Терра опустил взгляд: кому из них следовало устыдиться? Его тянуло к такой же откровенности.

— Я не умею унижаться, — выдавил он из себя, — как же мне добиваться почестей? Вынужденная добродетель — вовсе не добродетель.

— Но ты испытал унижения?

— Ничего другого я не испытывал! — сказал Терра.

— Разве ты выше других?

— Откуда я знаю, каковы другие?

— Да ну! — презрительно протянул Мангольф. Терра, водя языком по губам, ждал раскрытия той родственной картины мира, которую Мангольф жаждал раскрыть перед ним. Незаметно оба обрели прежний вкус друг к другу, давний беспокойный интерес к

мыслям другого. — С тех пор как я себя помню, я достоин самоуважения, — заявил Мангольф, стоя посреди мостика и выпрямляясь во весь рост. Бледно-голубое небо вставало ореолом вокруг его непокрытой головы. — И вам не мешало бы уважать меня! — заключил он с угрозой.

Потом внезапно сошел с мостика и лишь на другом берегу, когда кусты заслонили его, заговорил снова.

— Ужасно! — Со слезами в голосе: — Ужасно сознавать свое высшее призвание, мучительно сознавать в себе не простую волю, а силу, покоряющую людей, — и стоять у исходной точки никому неведомым новичком, самому себе в тягость! Они же относятся ко мне с пренебрежением и в то же время с недоверием, слышишь?

— Остерегайся впасть в их ошибку, — шепнул ему духовник. — Ты слишком много презираешь.

— Я! — вскипел Мангольф. — Кто силен, по праву видит лишь себя. Когда я приехал в Фридрихсруэ, я застал Бисмарка больным: он терзался невралгией и раскаянием. Ему вспоминались его жертвы, жертвы трех его войн. Он вдруг понял, что в сущности никто благодаря ему не стал счастливее, а несчастнее стали многие. Это не трогало его, пока он был силен. А теперь он сидел на мели и терзался вымышленными заботами. Чего стоят заботы конца по сравнению с муками начала!

— Пусть каждый заранее помнит, что его ждет Святая Елена²¹, — шепнул духовник.

Мангольф залился безумным смехом.

— Святая Елена — да с величайшим восторгом! Ведь там все уже позади — и поражения и победы. Там мое честолюбие будет томить меня только как видение прошлого, там я едва вспомню и сейчас же забуду о своих разочарованиях, там оставит меня страшное чувство вечно подавляемого порыва, словно внезапная слабость перед падением в бездну, хотя на самом деле ничего еще не произошло. Действовать — вот что мучительно.

— Отрекись! Ведь ты так стремишься ко сну и отречению!

— Нет!

— Ты ведь страдаешь.

— Я готов на любую жертву.

— Ты духовно выше всех, кто загораживает тебе путь. Ты благороднее их. Ты не можешь принести в жертву свою мысль. Один бог знает, как мы жаждем власти. Но чтобы я не посмел коснуться мыслью их царства, их мощи только ради того, чтобы делить с ними власть?

— Я буду делить с ними власть, нисколько не заблуждаясь насчет ее сущности, и, познав ее сущность, постигну, что такова жизнь. Тот день будет решающим, когда я смогу словно заново народиться на свет и действовать так, как будто я ничего не постиг. Тогда я окажусь достойным великих свершений.

— Великие свершения, на которые ты рассчитываешь, — Терра возвысил голос, —

²¹ *Святая Елена* — остров, на котором доживал пленником свои последние дни Наполеон.

могут означать лишь распад или крушение государства, которое способно использовать свои лучшие силы, только доведя их до отупения и подлости.

Мангольф тоже более резким тоном:

— Общество, в котором ты, именно ты, не встречаешь поддержки, представляется тебе близким к падению. Ты один и падешь.

Терра, исподлобья, со злым торжеством:

— С тобою вместе — в урочный час. Если твое государство, которое создало тебя по своему подобию, вполне счастливо, почему же сам ты несчастный человек? Почему как раз тогда, когда тебе улыбаются успех, почет и власть, перед тобой открывается жизнь, полная смертной тоски, какой не соблазнишь и бездомного пса? И все же ты убоишься смерти. Так не живут в счастливых государствах.

— Лично для себя я уверовал в бессмертие, — сказал Мангольф с вызовом.

— Поговорим спокойнее! Я открою тебе, что произошло вчера в кабинете у Ланна. Я пытался настроить министра против смертной казни.

— Глупец!

— Каждый по-своему отвоевывает у смерти ее владения. Ты — вечность, лично для себя. Я — несколько лет жизни для других. В такую форму у меня выливается жажда власти. Поддержи меня у твоего начальства!

Мангольф вышел из-за прикрытия, в этом вопросе не могло быть никаких недомолвок.

— Мне искренно жаль, что ты, хотя бы во имя нашей дружбы, не постеснялся показать себя таким отпетым идеалистом. Произведенное тобой впечатление невольно отразится и на мне.

— Могу тебя успокоить: у его сиятельства нет никаких иллюзий на твой счет.

— Ты навредил мне, я так и знал!

— А если я в тебе все-таки нуждаюсь? Ты ведь оказываешь повседневное воздействие. Граф Ланна, на свою беду, не способен твердо противостоять чужому влиянию.

— Это будет причиной его падения.

Когда они шли обратно по мостику, Терра сказал:

— Обидно, а я бы с радостью предложил тебе компенсацию. — Пауза. — Я многому мог бы помешать.

Мангольф молчал, мысленно перебирая все те же вопросы: «Помешать тому, что он сам затеял? Но чему именно? Даже Леа, как угроза, отступает на задний план перед Толлебенем. Или это две угрозы, связанные между собой? — Он громко сопел и упорно молчал. — Я не Губиц, чтобы обороняться от призраков, это просто шантаж».

— Мне очень больно, что мы пришли к этому, — заговорил он наконец. — Я воздержусь от резких слов, после того как мы провели вместе несколько хороших мгновений.

— Будем же пробавляться ими, — заключил Терра.

В буковой аллее Мангольф снова заговорил:

— Странно! Твои первые разочарования и испытания сделали тебя в личной жизни Диогеном и моральным нигилистом. Но для человечества ты упорно веришь в светлое будущее.

— Странно, — подхватил Терра. — Ты считаешь, что на земле существуют лишь горести и преступления, но для себя ждешь от жизни награды за презрение к ней и даже в смерти рассчитываешь преуспеть.

Перед домом они взглянули друг на друга. И оба одновременно сказали:

— Мы можем подать друг другу руку.

За завтраком уже сидели брат и сестра Ланна, оба в костюмах для верховой езды.

— Эрвин поедет со мной, — заявила графиня Алиса. — Господин Мангольф, разумеется, занят, ну, а господин Терра?

— С вашего любезного разрешения, я присоединяюсь, — очертя голову ответил Терра.

— Дороги ужасно грязные, — вспыхнув, заметила графиня, а ее брат подхватил:

— Да ведь у нас нет третьей лошади.

Терра пропустил это мимо ушей, а графиня Алиса предпочла засмеяться.

Появилась графиня Альтгот, одетая по-городскому. Граф Ланна просит извинить его, он работает. «В его отсутствии виноват я», — подумал Терра, в то время как Альтгот именно на него избегала смотреть.

— Он ждет господина Мангольфа, — прибавила она, и Мангольф немедленно поднялся.

Уходя, он окинул Терра и графиню Ланна взглядом, равнодушным, как пожатие плеч. Терра понял, — они считают, что с ним покончено, — и приготовился к самозащите.

— В одиннадцать часов я отправляюсь в Берлин, — сказала Альтгот и впервые взглянула на него. — Кто хочет уехать, пусть присоединяется ко мне. Я еду экипажем до самого города, мне надо сделать закупки. — Она выждала. — А это значит, что до завтрашнего вечера отсюда не выбраться. — Так как Терра и бровью не повел, она невозмутимо переменила тактику, решив выполнить возложенное на нее поручение другим путем. — Боже мой, Алиса, а твой туалет к приему десятого числа! Тебе придется ехать со мной, иначе грозит катастрофа.

— Пришли мне портниху сюда, — ответила молодая графиня. — А ты разве совсем уже готова? — спросила она вызывающе, и сердце у нее, наверно, забилось сильнее, потому что Терра чувствовал, как колотится его собственное.

Альтгот не обиделась.

— Отлично, — заметила она. — Мой попутчик от меня не уйдет, — и, уходя, кивнула тому, кого подразумевала. Она даже засмеялась мелодично, что означало: «С графиней Алисой ты поехал бы охотно. А теперь хочешь не хочешь все равно отправишься со мной одной».

Когда Эрвин увидел, что остался третьим, лицо его омрачилось, то ли подозрением,

то ли чувством одиночества. Потом он снисходительно улыбнулся. Они молча выжидали.

— Ты права, дороги слишком грязны. Пойду принесу альбом для рисования, — произнес он, поднявшись.

Они оказались одни; тогда они безмолвно отворили дверь на террасу и вышли в парк.

Графиня Ланна выпрямилась во весь рост, словно чувствуя, что вступает на скользкий путь. Спина у нее стала узкой, с впадиной посередине, хрупкие плечи натянули черное сукно платья; приподняв шлейф, она на ходу отбрасывала сухую листву носками лакированных сапожек.

Терра припомнил: «С какой-то дамой из цирка я уже, кажется, гулял при подобных обстоятельствах. Костюм тот же, но какая между ними пропасть во всем остальном! Тут возможно одно — насилие, она явно ждет его».

Она думала, сузив глаза, словно подсмеиваясь: «Позволить увезти себя? Выбора нет, отступление было бы позором, я перестала бы уважать его». От страха она почти бежала, выход из парка был уже близко.

Перед оградой она резко остановилась и, с трудом переводя дух, произнесла:

— Мы еще ничего не сказали друг другу, а покраснелись от волнения, как на уроке верховой езды.

Но он-то видел, что она мертвенно бледна, и даже вообразил, будто слышит, как у нее стучит сердце. Тем пламеннее взглянул он на нее и так сжал губы, что по углам образовались желваки. Он протянул к ней руку и вдруг понял, что она не будет сопротивляться: из гордости не будет, потому что берет всю ответственность на себя; и он на полпути придал другой смысл своему жесту.

— Не хотите ли опереться, графиня? — сказал он. — Вы взволнованы, вы можете упасть.

— Разве вы способны быть мне опорой? — проговорила она, повернувшись к нему мертвенно бледным лицом. — Вы сами нетвердо стоите на ногах.

По молчаливому уговору они повернули назад к Либвальде. На берегу реки тропинки вели через сухой кустарник. Ветки кустарника задевали их, так узок был проход. Они гуськом пробирались по вязкой глине, но здесь их не могли видеть из дому.

Терра, идя позади Алисы, ждал ее первых слов.

— Вы больше не говорите мне, что любите меня? — прозвучали они наконец.

Он несколько раз открывал рот, прежде чем выговорить:

— Всех женщин, которых я любил, я в то же время и ненавидел. Всех, кроме вас.

Ее плечи дрогнули, как от прикосновения губ; она почувствовала, что это много больше, чем простое объяснение в любви: он весь открывался ей.

— Говорите же, говорите, — шепнула она.

И он, склоняясь к ее шее:

— Подле вас впервые я не знаю страха, хотя я только что упустил возможность похитить вас.

— Мы вовремя поняли, что этого не должно быть, — сказала она покорно.

— Потому что мы ни при каких обстоятельствах не откажемся друг от друга! — подхватил он с глубокой уверенностью.

— Если на то будет воля судьбы, — добавила она и повернулась к нему. Глаза ее снова излучали ласковую насмешку, только выражение губ еще было страдальческим. Она за руку вывела его на дорожку, где они могли идти рядом.

— Почему мы любим друг друга? — сказала она недоуменно. — Значит, надо бороться?

— Бороться друг за друга, друг с другом и вместе бороться с окружающим миром, — пояснил ее соученик в школе жизни, потом остановился и задумался, вглядываясь в ее лицо.

— Так мы уже когда-то, лет сто назад, стояли друг против друга, в старинной одежде, окруженные враждебными силами, точь-в-точь такие же непокорные и осторожные. Такие мы есть, такими и останемся.

— Кем вы тогда были? — спросила она, желая отвлечь его.

— Священнослужителем, — уверенно сказал он.

Она только посмотрела на него и повернула прочь.

— Нет! — крикнул он в ужасе и рванул ее руку к своим губам, сорвал зубами перчатку...

— Но это верно, — сказала она. — Я очень многое угадываю о вас, а вы обо мне ничего? Ведь и я не настолько справляюсь с жизнью, как представляется со стороны. И вы, должно быть, угадали это, иначе вы не были бы так откровенны со мной.

Он растерянно шел рядом. Что с ней? Неужели женщина, которую он любил и в мыслях вознес так высоко, могла страдать от чего-нибудь там, внизу, в жизни? Какая связь с миром была у нее, кроме него?..

— Род Ланна полубюргерский, — объяснила она, — а сейчас, в тысяча восемьсот девяносто четвертом году, в определенных узких кругах нашего полушария это трагедия для таких, как я.

— Ланна — славный род, — сказал он наобум.

— У других хотя бы много денег. Мой отец был так беден, что в молодости не мог рассчитывать ни на какую порядочную карьеру.

— И потому хотел стать журналистом! — воскликнул Терра, его сразу осенило.

— Видите!.. Он дошел до того, что женился на француженке.

— Вот откуда ваши глаза, — снова осенило его.

— И отец его женился не на дворянке, иначе у нас не было бы даже такого скромного барского поместья.

Ему мигом представилась его комната с родной для нее обстановкой, с гиацинтом, поставленным ее рукой. Она считала себя его невестой! Жгучее сожаление овладело

им. Он понял, как похожи старые наследственные бюргерские покои на те, в которых вырос он сам, сколько в них доказательств сродства между ним и этим сказочным созданием. На мгновение Алиса приняла облик его сестры... Им владело жгучее сожаление и бешеная злоба; он с трудом удержался, чтобы не высказать, чем они вызваны.

— Бедный папа опирается только на прихоть императора, который благоволит к нему. Но единственно, чем можно надолго удержать расположение императора, — это большим богатством. Скажите откровенно, вы думаете, мы получим рейхсканцлерство? — потребовала она под конец.

— Без сомнения, — сухо ответил он.

— Относитесь ко мне серьезней! — Ее тон заставил его пристальнее взглянуть на нее; вот опять между бровями та складка, которая так отталкивала его. Сияющий умом взгляд стал близоруким, озабоченным, а возвышенная душа — суетной. Обескураженный, он не перебивал ее.

— Я хочу удержаться наверху, я не хочу съезжать с Вильгельмштрассе. Неужели мое общество должно ограничиваться театральной графиней и пушечной принцессой? Я не стану гоняться за знатными дамами, хотя бы они и приглашали меня на одни официальные приемы. Но в тот день, когда они будут сидеть в моей гостиной...

— Вами будет опрокинут мировой порядок.

— Я буду в состоянии помочь своим друзьям. — К ней вернулась обычная уверенность. — Например, замолвить за вас слово у моего отца. Ведь я несколько не обольщаюсь, будто вы приехали сюда ради меня. Вы не хотите сказать мне, что вам от него нужно? Ну, неважно, мы все равно союзники. Вашу руку!

Но Терра не принял протянутой руки. Он подумал, содрогнувшись: «Вот к чему все свелось. Стоило по-новому осознать жизнь, стать человеком, обрести цель для своих стремлений и своей веры... чтобы услышать такие слова! — И вновь, содрогнувшись: — А я отдал себя всего, целиком; во мне не осталось ничего от тех времен, когда я не знал ее!» Когда Леа спросила его: «Любит она тебя?», он ответил: «А разве я ее люблю?» — ибо существу, ставшему самой его жизнью, он отдал больше, чем любовь. Он понял глубину своего чувства в тот миг, когда всему наступил конец. Отсюда был один исход — в смерть. Вдруг он захохотал: и эта женщина хотела поддержать его в борьбе против смертной казни!

Она торопливо отошла от него и, обороняясь, вытянула руку. Наверно, смех его показался ей недобрый. Лишь сейчас он заметил, что руки у него судорожно стиснуты, а мышцы напряжены как для прыжка. Бешенство захлестнуло его, угрозы и проклятия потонули в скрежете зубов.

Он дико озирался по сторонам, словно ища спасения и в то же время боясь, как бы им не помешали. Между голыми кустами было узкое пространство, но достаточное для того, чтобы отомстить за себя, прежде чем умереть самому. Скорчившись и растопырив узловатые руки, поднимался к белесому небу звероподобный силуэт какого-то дерева, как эмблема убийства, а за кустами все громче клокотала и бурлила вода, подобно льющейся крови.

У нее меж тем, как по волшебству, исчезло с лица выражение страха, глаза засияли живее, чем всегда, жест, которым она оборонялась, стал повелительным.

— Этого вы тоже не сделаете! — звонко крикнула она. И в самом деле, руки его опустились.

Обезоруженный, уставился он в землю и пробормотал только, чтобы не подчиниться, как мальчишке: «Но вы у меня в руках!» В ответ она засмеялась, немного испуганно, как ему почудилось, но явно храбрясь. Ему стало ее жаль; все, чем была и что сулила она, вернулось вновь, жизнь опять завладела им. Но ему стыдно было покориться ей. Он собрал всю свою гордость и с надрывом швырнул ей в лицо:

— Я пойду своим путем и жалею вас, что он не стал вашим. Теперь, когда я вас узнал, я не могу вас любить, а вы не можете мне приказывать. Будущее мое во мне самом. Для зависти у меня слишком много воображения, для честолюбия — слишком много уважения к себе, и если мы когда-нибудь встретимся вновь, быть может, я ничего не добьюсь в жизни, но отвоюю то, над чем вы смеетесь: мое человеческое достоинство! — Метнув ей последний огненный взгляд, он резко повернулся — и прямо через кусты вихрем прочь, в суровой гордыне юности.

— Терра! — крикнул чей-то голос. Он испуганно остановился; навстречу шел Эрвин. — Графиня Альтгот, — сказал он невинным тоном, — утверждает, будто вы едете с ней в Берлин. Почему так спешно?

— Мне незачем здесь оставаться. — И еще резче: — Избавьте меня от изложения причин, господин граф!

— Жаль. Мы к вам хорошо относимся — сестра и я. Я тоже... у вас нет дурных умыслов. Я следил за вашим лицом только что, когда вы произносили свою тираду. Я бы зарисовал вас, если бы сумел.

После этого гостю представился выбор либо броситься на него, либо провалиться сквозь землю. Быть воспринятым как курьез, не заслужить даже серьезного отношения к себе — это утонченное издевательство достойно венчало все, что он пережил здесь!

— Ваше доверие льстит мне, — сказал он, внутренне весь сжавшись и опустив глаза.

Молодой граф продолжал благосклонно, почти по-дружески:

— Ведь и у вас есть сестра, фрейлейн Леа...

— Даже имя! — прорычал Терра.

А Эрвин пояснил Алисе:

— И он оберегал ее от малейшего оскорбления самым удивительным, неподражаемым образом.

— Вы тоже бываете неподражаемы, — зарычал Терра.

— Сам не знаю, был бы я способен так забывать себя и с таким жаром охранять чужие интересы, как вы тогда... — простодушно сказал Эрвин.

Он собирался изложить весь ход событий, но графиня Алиса удержала его. Она видела, что Терра дрожит всем телом. Он непременно заполз бы в кусты, если бы ноги повиновались ему. Выслушивать похвалы себе, как рыцарю, защитнику своей сестры, в то самое время как она была на пути к скандальному походу, которое он поощрял! Чем он стал? Во что его превратила циничная страсть к игре, привычка безоговорочно сводить счеты с жизнью, унижавшей его? Он уже докатился до того,

что способствует бесчестью сестры... Как в злом кошмаре, до него доносились слова:

— Ты не поверишь, что это за создание! Я еще не видел такой красоты, и сам теперь себе не верю, что действительно видел ее. У нее какое-то неуловимое сходство с тобой, Алиса.

Терра поднял отчаянный взгляд к говорившему, но перед ним была лишь молодая графиня.

— Я поняла, что троим здесь не место. — И она сделала умиротворяющий жест.

— Проститься мы должны без свидетелей, — подхватил он.

— Не надо горечи! — И она подошла к нему. — Мы были так близки, пощадим же друг друга!

Он склонился перед ней, и они бок о бок пошли назад между кустарниками.

Сколько длилось это молчание смятенных чувств? И вот у него со стоном вырвалось:

— Где ты найдешь еще такое обожание?

— Никогда и нигде, — ответила она, во взгляде ее была скорбь. — Пожалей меня за то, что я тебя отпускаю!

— А я? Значит, такова моя доля. Я беспредельно любил тебя.

— Я все еще тебя люблю, — мягко сказала она.

Он не выдержал, он склонился к ее рукам, он целовал их рожденными болью поцелуями. Ее бледное лицо, по которому текли слезы, было обращено куда-то вдаль.

— Может быть, все очень просто? — прошептала она. — Только мы слишком молоды?

Он выпрямился, не выпуская ее рук.

— Но я буду ждать, — торопливо сказала она.

— Ждать меня, пока я смогу прийти за тобой? — так же торопливо спросил он и почувствовал, как руки ее дали ответ.

Правда, в глазах друг у друга они прочли, что это всего лишь трафаретные вопросы и ответы юности, которая не хочет признать себя побежденной. Конечно, все могло случиться, но их сердца сомневались, даже разбиваясь.

Стыдливо отвели они глаза и пошли обратно. Теперь они спешили, дом был уже близко, и перед ним наготове стоял экипаж. В тот миг, когда они выходили из-за прикрытия последних кустов, на Терра вновь налетел стихийный порыв схватить ее, швырнуть в экипаж и умчаться прочь. Его порыв захлестнул и ее. Потом все оборвалось.

Кучер вынес саквояж, в котором Терра с изумлением узнал свой собственный. Вслед за тем появилась графиня Альтгот и кивком пригласила его садиться. Он лихорадочно огляделся. Алиса исчезла. «Прощай! Я поторопился жить. Все вымысел — и мое счастье и моя мука. Золотое утро, созданное для путешествий, я ждал свою спутницу, — помнится, так уж было однажды. Но только уверенности осталось меньше, чем в тот раз, когда я ждал женщину с той стороны. Другие времена, но тот же финал...» — думал он, когда садился рядом с Альтгот, и ее улыбка говорила ему:

«А кто оказался прав?»

Он думал: «Вы, голубушка. Вы одна. Вы окажетесь правы даже в большей степени, чем вам хотелось бы». Он искоса посмотрел на нее с угрозой; она неверно истолковала его взгляд, улыбка ее стала завлекающей. «Старая ведьма, — думал он, — какая новая гадость у тебя на уме?» Но ее кокетство, после того как они выехали из парка, становилось все настойчивее, и он сообразил, что усердствовала она не только в интересах молодой девицы, но и в своих собственных. Это было так нелепо, что Терра подскочил словно ужаленный. Ощущая во рту вкус желчи, он набросился на почтенную даму.

— Гадкий, — прошептала она, обмирая, — ты целуешь как бог.

Правда, она очень скоро вспомнила о гарантиях, которые ей требовалось получить. Каковы его отношения с графиней Алисой? Есть ли у него хоть ничтожный шанс когда-либо вернуться в дом к Ланна? Она насторожилась. Малейшее сомнение — и она пожертвует этим последним, трудно завоеванным счастьем во имя своей репутации. Он успокоил ее, и она предалась мечтам. У нее есть квартира, наполненная трофеями ее славного прошлого, это ее святая святых, она никого не принимает там. Но сегодня, по приезде в город, она отошлет экипаж, они возьмут наемный и отправятся к ней домой, он и она. «Мы спрячем от света свое счастье», — собралась она сказать, но Терра опередил ее. И тут, склонившись на его плечо, она созналась, что предпочла бы уехать с ним путешествовать.

— Ты для меня с первого взгляда стал воплощением Летучего Голландца, — сказала она, покраснев и вновь обретя девичью стыдливость.

Он испугался, что может пожалеть ее, и потому внезапно резко захохотал.

— По примеру Толлебена и урожденной Кнак!

— Нет, — сказала она обиженно. — У них это по-мещански, шаблонно, мы не таковы.

— Вы недооцениваете мещанина, сударыня! — возразил он. — Это самый ярый противник шаблона. — И он начал: — Я знавал одного кавалера и богатую наследницу, которые отправились вместе в свадебное путешествие...

Альтгот окаменела, ее ожидания оказались превзойденным», подле нее был сам дьявол во плоти. Лицо, перекошенное презрением и гневом. Глаза, подобные пылающим безднам, а неуклюжие руки сопровождали слова ужасающе уверенными жестами.

— Неужели ваш кавалер, — спросила она, догадываясь, — способен на нечто подобное?

— Оказывается, да, — подтвердил Терра. — Спровадив женушку в вагон-ресторан, он, сославшись на таможенный досмотр, исчезает. Еще одна остановка, и поезд катит к французской границе, увозя безмятежно закусывающую женушку, меж тем как супруг садится в поезд на Италию совместно с некоей актрисой.

— Это заслуживает жестокой мести, — наперед содрогаясь, произнесла Альтгот.

— Совершенно верно, сударыня. Более того: в основе всего заложена двойная месть. У актрисы есть любовник, а у брата актрисы есть сестра.

— Помилосердствуйте! — взмолилась Альтгот при виде его лица. — Вы сидите в экипаже, а вид у вас такой, будто вы душисте врага. Вы сидите в экипаже!

— Вместо брата по Милану разгуливает простодушный белокурый немец и вербует иностранных актеров, знакомых ему по его деятельности в одном берлинском агентстве. Ночью происходит инсценированное нападение, наш кавалер успеваает лишь сказать несколько слов ободрения своей даме, затем разбойники разлучают парочку, — он приходит в себя только у них в пещере. Вот горе: они не берут выкупа. Черт побери, они требуют какой-то расписки. Запасшись протоколом комического приключения, за подписью самого кавалера, белокурый импрессарио перевоплощается в кавалера, дает интервью, будоражит пол-Европы первостатейным берлинским скандалом.

Сдавленный вопль — и Альтгот упала на подушки.

— Что это даст вам? — пролепетала она.

— Бескорыстное наслаждение житейской суетой, — пояснил Терра. — Кавалер занимает высокий дипломатический пост. Его коллегу, более удачливого любовника актрисы, удар поразит не меньше: актриса, собственно, в него и метила. А брат ее действует во имя морали.

— Вы настоящий дьявол! — простонала Альтгот.

— Нет. Сочинитель комедий, — сказал Терра.

Она тихонько охала и вдруг встрепенулась.

— Выходите немедленно.

— Как это так? Мы в открытом поле.

— Выходите, я не могу показаться с вами в Берлине. Еще немного — и пойдут слухи об этой дикой истории. Они подтвердятся, центром действия окажется дом Ланна, на всех нас станут пальцем показывать. — И она сама подняла дрожащий палец. В паническом ужасе она уже лицезрела перед собой катастрофу. — Все, кто увидит меня сегодня с вами, подумают, что это я подстроила, — тогда я погибла, все гостиные закроются для меня. Выходите! — трагически потребовала она.

— Довезите меня до остановки омнибуса, — холодно потребовал Терра.

Доехав до остановки, он вышел.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I Подъем

Мангольф заболел от разразившегося скандала: Леа Терра, затеявшая его, одержала верх. Целое утро лихорадочно листал он газеты с первой версией, где была дана еще неполная картина этого невероятного происшествия. Героем был господин из высшего общества. «Пока что мы можем лишь намекнуть, что он близок к правительственным сферам». Невольная героиня происходила из кругов тяжелой индустрии. Отец ее, один из крупнейших магнатов промышленности, не принадлежит к тем, кто способен снести оскорбление. Где это слыхано, чтобы богатых наследниц бросали во время свадебного путешествия! Продолжение истории пока не выяснено. Сбежавший жених

вместе с некоей дамой из театрального мира или полусвета, по слухам, претерпел в Италии новые непредвиденные приключения, требующие дальнейших расследований. «Нашему — миланскому корреспонденту вскоре удастся выяснить личность дамы, центральной фигуры скандала».

Мангольф понимал: это могло привести к полному краху. Его собственные отношения с актрисой, в которой видели центральную фигуру, могли погубить его. Должны его погубить. Терра верно рассчитал! Его, Мангольфа, неминуемо обвинят в соучастии. Кому в первую очередь на руку устранение Толлебена? Толлебен — отпрыск старинного бранденбургского аристократического рода, боннский корпорант, гальберштадтский кирасир! Кнак — цвет и сила новой Германской империи. Перед такой коалицией Мангольф чувствовал себя ничтожеством, лихорадка его усилилась. Она бы совсем одолела его, не будь у него достаточно воли, чтобы отгонять от себя образ Терра, всякий раз как тот возникал перед ним. Вот истинный подстрекатель и победитель, на сей раз вполне в своей стихии! Ибо он считает цинизм доблестью и мстит власть имущим своей разлагающей иронией! Негодяй, он даже родную сестру... нет, не надо, успокойся, держи себя в руках! Тщетно! Все то же видение возникало вновь, жестокий образ — возлюбленная в упоении своим обманом, своей мстью!

Мангольф, забившись в укромный угол комнаты, проливал горькие беззвучные слезы, а Леа Терра, притаившаяся где-то там, слышала и торжествовала.

К вечеру он подавил приступ лихорадки и появился за чайным столом у статс-секретаря. Болезненную бледность он скрыл под легким слоем румян, а подозрительный блеск глаз скрадывал постной миной, выражающей благородное сокрушение. Мина его так понравилась, что сам Ланна постарался скопировать ее. Графиня Алиса перед посторонними прямо до слез жалела свою приятельницу Беллу; но, очутившись наедине с Мангольфом и Альтгот, она усмотрела в происшествии и смешные стороны. Она даже созналась: «Я этого просто не ожидала от нудного Толлебена». Явная похвала! И сама Альтгот, вначале онемевшая от страха, присоединилась к ней; она не впервые слышала похвалы толлебенской отваге. На миг она осталась с Мангольфом без свидетелей, и оба в один голос сказали:

— Имя Терра не упоминается.

Большим отвлечением в последующие бурные дни служил все тот же Толлебен; каждая новая подробность ставила его в центре внимания. Возмущение по поводу печальной роли молодой жены не выходило за пределы положенного, его собственный провал достаточно сравнивал их судьбы! Терра оставался в тени, роль неизвестной актрисы казалась понятной, то есть соответствующей ее положению и профессии, и когда Мангольфа спрашивали о ней, вопрос скорее мог польстить ему. Лишь один человек спрашивал его о ней совершенно особым тоном: Ланна. Не напрасно Ланна боялся опасного союза Толлебена с фирмой Кнак. Он считал крушение их союза особой для себя удачей.

Этому способствовала дама, якобы близкая его личному секретарю. Надо это зачесть в заслугу личному секретарю. И он стал лучше относиться к нему... «Неверный шаг!» — мысленно обращался Мангольф к Терра. Кто больше достоин презрения, чем зложелатель, потерпевший неудачу, чем наглец, которого никто не замечает? Но сам-то Мангольф был очень больно уязвлен, и ненависть в нем кипела с утра до ночи, ненависть снедающая и алчущая. Едва оставшись один, он слышал

незримое ликование Терра: «Взгляни на себя. Боль от измены возлюбленной переплетается у тебя в душе со страхом за свою карьеру, и если карьера будет спасена, с изменой ты помиришься. — Голос Терра становился сатанинским: — Вместо того чтобы выступить открыто и расправиться с Толлебенем, радуйся, если для него все сойдет благополучно!» Мангольф за это время пожелтел до самых глаз. Как назвать всю эту гнусность? Скверным анекдотом, который вскрыл перед тобой всю твою жизнь, точно оперированный живот, зияющий и дурно пахнущий. Однажды друзья встретились на улице. Издали могло показаться, будто Терра ухмыляется, немного поближе — будто он насторожился. Когда они сошлись, его рука поднялась к полям шляпы и растерянно повисла в воздухе, а лицо выразило сожаление. Столько муки было в пожелтевших от ненависти глазах того, кто без поклона прошел мимо.

Выбитый из колеи полным смятением чувств, степенный Мангольф впервые предался безудержному разгулу и во зло обратил свою миссию при молодом Эрвине. Это уже не был светский наставник юного мечтателя, это был воплощенный порок, судорожно кривляющийся, порок как паническое бегство от самого себя, без настоящего воодушевления и подъема. Что можно еще предпринять, еще изобрести? Женщина с той стороны! Собственное гнездо недруга, его юношеская греза... В ночном кафе состоялось знакомство, Мангольф разъяснил княгине странности своего питомца и попросил ее содействия. Он смотрел в белое лицо, усладу недруга, и ненавидел его. Но, ненавидя, сознавал, что желает эту женщину. Раньше он чувствовал бы к ней одно лишь отвращение, — он, пленявшийся только чистотой! Неужто ненависть уподобляет ненавидимому? Визит к ней. Эрвин безучастно ждал в приемной, пока Мангольф удалился с княгиней.

Новый визит: но тут на сцену выступил ребенок; Мангольф понял, чей ребенок. Тотчас, оставив молодого Ланна с княгиней, он занялся малышом. Часто ли отец целует его, любит ли он отца? — спросил и, затаив дыхание, ждал ответа. Но мальчик и сам не знал. Тогда Мангольф выразил желание погулять с ним и почаще видеть его. Какой сумбур противоречивых чувств! Рассеянно выслушал он слова матери, что для графа ей потребуется немало времени.

Ей требовались время и деньги. Приятели вновь посетили ее. Эрвин привез деньги, которые ростовщик Каппус ссудил сыну министра. Мангольф исхлопотал их единственно для того, чтобы бывать здесь и вытеснить отца в сознании ребенка. Однажды раздался особенный звонок, малыш закричал: «Папа!» — и хотел броситься навстречу. Но Мангольф, невзирая на вопли ребенка, втолкнул его в угол и хотел уже преградить дорогу пришедшему. «Мать занята, ребенок со мной. Твоя семья, если ты считаешь ее таковой, принадлежит каждому больше, чем тебе. Не воображай, пожалуйста, что здесь тобой интересуются больше, чем во всем мире, где ты ничего не можешь добиться!» Все стихло. Мальчуган перестал плакать, найдя для себя какое-то занятие в углу; за стеной смеялась княгиня. Один из них двоих будет сейчас выброшен за пределы элементарных человеческих отношений, где отверженного поглотит пустота. Мангольф ждал, но тот все не шел. Вместо него появился Толлебен.

Толлебен, никому не сказавшись, вернулся в Берлин. Он хотел исподтишка разузнать, как принята его эскапада, что его ждет.

— Самый любезный прием, — заверил Мангольф. — Вы произвели впечатление.

— Даже мне вы теперь импонируете, — сказала хозяйка дома.

Но Толлебен был по-прежнему мрачен.

— Пусть только ваш приятель Терра попадетсЯ мне...

Мангольф промолчал.

— Вам не за что на него сердиться, — возразила женщина с той стороны. — Он составил вам рекламу. Другое дело его сестра. И такая тварь претендует на ангажемент в солидных театрах? — спросила она, бесцеремонно разглядывая обоих соперников, одного обманутого, другого одураченного. Вдруг оба разом, как по команде, расхохотались. Эрвин отложил папиросу и сказал:

— Смею надеяться, княгиня, вы говорите не о фрейлейн Терра?

Она легонько ударила его по щеке.

— Лучше не надейтесь! — После чего он сложил свой альбом для рисования и удалился. Мангольфу пришлось последовать за ним. Толлебен остался и заявил, что все это было величайшей незадачей.

— Если бы в тот раз, на репетиции, мне посчастливилось встретить другую, более прекрасную даму... — Он говорил это со строго деловым видом. Она сразу поняла его.

— Мы можем наверстать упущенное, — сказала она звонко и уселась с ногами на диван. — Вернее, возобновить былое. Но на этот раз вполне открыто. Я тоже нуждаюсь в рекламе.

— Так я и предполагаю, — подтвердил Толлебен.

— Вы сбежали от жены со мной, — понимаете? Вы отправились путешествовать ни с кем иным, как со мной. А я не из тех женщин, которые подговаривают апашей отнять у их кавалера чековую книжку и потом покидают его на чужбине. Это не мой метод. Впредь вас будут встречать только со мной, — значит, вы и не думали попасть в западню, это была клевета, и никто не посмеет настаивать на ней. Мы сегодня же вечером должны показаться вместе.

— Вполне с вами согласен, — подтвердил Толлебен.

— Разве обязательно быть при этом ледяной глыбой?

— Я пришел по делу. А вам реклама обеспечена.

— Одной рекламы мне мало, — сказала она томно, и обнаженная рука ее скользнула к нему по подушкам. — Дела никогда всецело не занимали меня.

— Но вы ни одного из них не упускали.

— Вы не можете простить мне высочайшую оперу? Но разве я ответственна за извращенные фантазии кандидата в самоубийцы? Высочайшая опера скомпрометировала множество людей, только вас я уберегла.

— Это я знаю, Лили. — Наконец-то он расчувствовался. Она уже откинула голову на подушку и подставила ему лицо. Он потянулся к ней, и его челюсти, мешки под глазами, его лысина очутились над ее ртом. Она прищурилась и ждала, как вдруг он произнес обычным пискливым голосом:

— Вам, Лили, я могу сознаться, что моя потребность в женщинах с избытком удовлетворена двойным свадебным путешествием. Сыт по горло! — добавил Толлебен с прямою истого государственного мужа.

Княгиня проворно вскочила и оттолкнула его.

— Хоть с долгами-то вы разделались? Улизнув, вы, понятно, прихватили приданое!

Общая уверенность в этом оказала благоприятное влияние на судьбу Толлебена. Во всяком случае, ясно было, что при бракоразводном процессе он выговорит себе огромную компенсацию. Все, кого он ни встречал, поздравляли его. Неудача эскапады Толлебена с актрисой вскоре ни в ком уже не вызывала веры; их встречали вместе, и притом в самом добром согласии. Толлебен мог по праву считать себя превосходным дипломатом. От всего происшедшего за ним осталась только слава человека, который, недолго думая, бросил богатейшую девушку буржуазного круга, как соблазненную горняшку. Чисто юнкерская проделка! «В поезде, душечка, у них было отдельное купе, и занавески весь день были спущены. Как она может что-либо отрицать? А на границе только его и видели...» Придворная и аграрная знать, офицерство и высшее чиновничество чувствовали себя отомщенными за дерзкое наступление буржуазного капитала. Толлебен, герой сезона, любимец матерей, робкая надежда дочек, был нарасхват. Его сходство с великим канцлером внезапно бросилось в глаза; люди посвященные не сомневались, что его ждет блистательная карьера. Даже Ланна не остался глух к общему мнению: он дал понять, что считает толлебенскую проделку в сущности маневром талантливого дипломата.

Однако он бдительно следил за своей дочерью, чересчур увлекшейся модой на Толлебена. Многоопытный отец говорил:

— Неужели моя умная дочка верит, что обыкновенный осел, вроде нашего друга, способен как ни в чем не бывало прослыть львом? В конце концов он бесповоротно свернет себе шею.

— Кто знает? При его сходстве! — возражала дочь, сияя умными глазами. — А кто же, кроме него, может быть принят в расчет?

В качестве кого? Супруга графини Ланна? Или преемника Ланна по министерству иностранных дел, когда сам он возвысится до рейхсканцлера? Отцу стало не по себе; ему показалось, будто собственное дитя посылает ему вдогонку преследователя. И все же он обнял свою дочурку и поцеловал ее, улыбаясь сквозь непритворные слезы.

— Мы еще долго будем вместе, ненаглядная моя! — Ее взгляд как будто говорил, что этот срок следует по возможности сократить. Отец поцеловал ее еще нежнее. — Ты у меня одна. Только самый высокий союз может быть достоин тебя.

Вслед за тем он предложил в качестве претендента герцога фон Драхенфельс. Вполне современный тип. Алиса отнеслась к нему с интересом. Сколок с настоящего парижанина, эстет конца века, воплощенное изящество в черном галстуке, воплощенная неврастения. Честолюбие? Бессмысленное соединение двух вульгарных понятий! Вельможа в высшем смысле слова может еще, пожалуй, снизойти до роли посла, явить какой-нибудь из европейских столиц образец изысканнейшего аристократизма. Но больше ничего.

Графиня Ланна долго оставляла его в неизвестности, может ли он для нее стать чем-то больше. Она флиртовала с герцогом, предоставляя другим ухаживать за Толлебеном, но сама была настороже.

А заласканный Толлебен страдал от того, что успех мешает ему заняться своей карьерой. У него не хватало мужества разорвать цепи из роз. Он твердил себе: «Я

плененный исполин. Пора кончать!» — но необъяснимая слабость заставила его замешкаться. И Мангольф опередил его.

Вид толлебенского успеха не замедлил вернуть Мангольфа со стези порока. Как по волшебству, взор его стал ясен, рука тверда. «Вот подходящий случай! — решил он. — Надо мобилизовать все силы!» И Мангольф написал Кнаку.

Промышленный магнат, посрамленный и преисполненный ярости, удалился вместе с оскорбленной дочерью в свои рейнско-вестфальские владения — и о нем не было ни слуху ни духу. Долго ли это может длиться? Если многие до поры до времени и забыли, что флот строится, артиллерия энергично обновляется и мощь Кнака день ото дня растет и становится выше любых превратностей счастья, то Мангольф хорошо помнил об этом. Он сообщил отсутствующему о положении вещей без сентиментальных отступлений, но с серьезной симпатией, и добавил, что в интересах государства считает необходимой внутривнутриполитическую диверсию. Результатом был широкий жест Кнака, а затем последовало небывалое усиление пангерманского движения, которое до того прозябало.

Мангольф решительно примкнул к нему. А когда уже все пути были отрезаны, обратился за советом к начальству.

— Нельзя отказать вам в ловкости, — сказал Ланна. — Сперва вы произносите речь на публичном собрании, а потом являетесь ко мне, как будто я могу еще чему-нибудь помешать.

Мангольф стал заверять, что в любом случае он подчинится указанию его сиятельства.

— Оставьте, пожалуйста! Мой личный секретарь находится в другом положении, чем остальные чиновники. Вы пользуетесь этим преимуществом, чтобы вести собственную политику...

Он был бы в отчаянии, заверил Мангольф, если бы его политика хоть на минуту доставила неприятность глубокоочтимому государственному деятелю.

— Пожалуй, ваша политика может служить неплохим дополнением к моей собственной, — ответил на это Ланна. — То, что приемлемо для одного, не подходит другому.

Он позволил себе наперед учесть это, сознался Мангольф.

Ланна отвернулся от него с сердитым видом.

— А если бы я и пожелал наказать вас, вы спросили бы меня: что вы можете сделать? Вы правы. Раз мой личный секретарь пользуется покровительством пангерманского союза во главе с председателем генералом фон Гекеротом, я могу избавиться от него не иначе, как дав ему повышение.

Скосив глаза, он увидел, как Мангольф покраснел.

— У меня одна надежда, что наверху вас не одобряют, — заключил Ланна.

Эту опасность, единственную, но решающую, Мангольф предвидел заранее. Малейшее указание свыше — и он либо уничтожен, либо вознесен. Пробьет урочный час, тебе не уйти от него. Уж лучше предвосхитить все влияния и взять высоты штурмом, не дав никому опомниться.

Без колебаний взошел Мангольф на трибуну того собрания пангерманцев, которое впервые должно было заслушать свою программу без прикрас. Он выступил против мирной политики, отошедшей от бисмарковских традиций. Противовесом ей служил Кнак и адмирал фон Фишер. Наш флот должен стать сильнее английского, и мировое владычество должно быть завоевано нами в решительной схватке с англичанами. Таков лозунг немецких националистов... У Мангольфа проскальзывали неожиданные юношеские нотки вперемежку с внушительной твердостью и торжествующими выкриками, которые вызывали ответные выкрики у слушателей. Темноволосый, тонкий, изжелта-бледный человек, отнюдь не германского типа, стоял на трибуне, но тем убедительнее звучал германский символ веры. Этих румяных или белолицых, дородных или ширококостых слушателей в зале не мог бы так обольстить никто из им подобных. Мангольф зорко следил за ними во время своих мнимо восторженных излияний, которые он точно, секунда в секунду, соразмерял со степенью восприимчивости аудитории. Город Лилль он называл нижненемецким городом Рисселем, Туль именовался Лейком, и повсюду — и в том и в другом — французскому трехцветному знамени надлежало склониться во прах перед немецким орлом. Прежде чем семь французских департаментов целиком не освободятся от французского иноземного владычества, германская империя не будет удовлетворена и старый долг не погашен.

Едва окончив речь и отвечая в артистической на крепкие рукопожатия, Мангольф под маской решимости уже томился тяжкими сомнениями. Пожалуй, он все-таки перехватил! Из такого рискованного предприятия выходишь заклеянным, неприемлемым для официальных должностей, и плоды в результате пожинают те, кто благоразумно держался в тени. Мучительная ночь; но к утру все прояснилось. Выждать. Он не пошел к Ланна, а Ланна не позвал его. Днем ему сообщили, что император без предупреждения явился к статс-секретарю и пожелал выслушать доклад. Личный секретарь вошел с материалами. Ланна по собственному побуждению представил его. Тогда император милостиво засиял ему в глаза, пока Мангольф не потупился, ослепленный.

— Н-да, вы вчера показали им всем, — благосклонно резюмировал император и, хлопнув себя по августейшей ляжке, знаком приказал секретарю удалиться. Мангольф, не теряя мгновения, пока солнце еще озаряло его, исчез, пятясь к двери с изящными поклонами.

В тот же вечер Ланна пригласил его к себе. Он стоял, прислонясь к письменному столу, и задумчиво играл цепочкой от часов.

— Итак, — сказал он, — мне приходится дать вам повышение.

— То, что делается против воли вашего сиятельства, не может радовать меня, — сказал Мангольф опечаленным тоном.

Ланна отклонил попытку примирения.

— Вы получили должное. Вы поставили на карту все и выиграли.

— Я выступал не против вашего сиятельства.

— Против мирной политики, отошедшей от бисмарковских традиций.

Мангольф заметил, каким ничтожным, почти жалким становится Ланна, когда он несчастен. Лишь ореол успеха красил его оплывшее лицо, лишь ямочки и

скептическое лукавство. Мангольф старался сказать своей жертве что-нибудь по-настоящему успокоительное.

— Но сейчас я такой же чиновник, как все. Я тоже представляю политику вашего сиятельства, безразлично, по убеждению ли, из дисциплины, или ради личной выгоды.

Ланна, покачивая головой, продумывал сказанное Мангольфом. Для данной минуты это могло быть искренне, но в его тоне так явно звучит лживая покорность и убежденное превосходство! Вот где гнездится опасность, одна из многих и, быть может, самая отдаленная, но совсем особая.

«По-настоящему одаренный человек, который рассчитывает сменить меня, — думал Ланна, — должен быть под моим постоянным наблюдением». Внезапно у него снова появилась ямочка.

— Мы будем и впредь работать вместе и, надо полагать, сумеем найти общий язык, — сказал он просто и протянул руку.

— Поздравляю! — сказал Толлебен. — Хотя я дорого дал бы, чтобы понять, почему мне приходится поздравлять вас. — По-видимому, он только ради этого вошел так непривычно рано в рабочий кабинет Мангольфа. — Тут что-то неладно, — продолжал он, — это мы оба понимаем. Я решил, что лучше всего обратиться к вам лично.

— Прямодушны, как всегда, — польстил Мангольф. — Но, господин барон, когда же все шло ладно? Режим, которому мы служим, так сложен, что с некоторой уверенностью можно полагаться лишь на случай, да и то не очень, — ведь тут можно натолкнуться на талантливое соперника.

«Мозгляк!» — говорило лицо Толлебена. Но Мангольф продолжал еще любезнее:

— У человека вашего происхождения в руках все козыри. Доселе вы были слишком горды, быть может слишком рассеянны, чтобы воспользоваться ими против меня. Один из них, сами понимаете какой, вы недавно швырнули под стол. Господин барон, я никогда еще так не восхищался вами. — У него дрожал голос. — Вот чего мне недостает: именно этой способности выкинуть какой-нибудь фортель, выйти из строя когда вздумается. Смелые жесты — не мой удел, я родился бескрылым. То, что я в поте лица добываю многолетними трудами, вы, счастливец, преодолеваете одним прыжком и прямо достигаете цели. Где уж мне поспеть за вами!

Мангольф говорил до тех пор, пока лицо Толлебена перестало выражать что-либо, кроме блаженного сознания собственного превосходства. По уходе посетителя — он открыл перед ним дверь и проводил его до лестницы — Мангольфу понадобилось четверть часа мысленных увещаний, чтобы овладеть собой. Но в следующее воскресенье он был вознагражден: унизиться пришлось другому — Терра.

В дверь квартиры Мангольфа постучали сильно, но глухо, как стучит удрученное сердце, и появился Терра — воплощенная корректность в лице и костюме, с цилиндром в обтянутой темной перчаткой правой руке.

— Дорогой Вольф! — изрек он торжественно, не сядя и выставив вперед цилиндр. Мангольфу пришлось снова встать, чтобы выслушать высокопарное поздравление. Лишь после этого Терра позволил ему и себе усесться. Мангольф признался, что не ожидал его. — Я понимаю, дорогой Вольф, какую жестокую шутку я

снова сыграл с твоими нервами, — сокрушенно ответил Терра. — К счастью, это случается не впервые, что облегчает мне сегодняшний шаг, которого безоговорочно требует от меня совесть.

— Мы друг друга знаем, — сухо заметил Мангольф.

Терра подхватил его замечание:

— Мы друг друга знаем! Разве бы я осмелился показаться тебе на глаза, если бы не понимал, что успех делает тебя отнюдь не высокомернее, а, наоборот, великодушнее! Перед богом и людьми ты имеешь полное и безусловное право выставить меня за дверь пинком в зад. Даже и это было бы актом чрезмерного внимания, которое я никак не заслужил своими поступками.

— Зачем преувеличивать? — сказал Мангольф. — Инсценированная тобою комедия принесла мне даже пользу. Я не стану винить тебя за то, что это не входило в твои планы.

— Слава богу, слава богу! — Терра прижал руку к сердцу, которое все еще замирало. — Грех мой снят с меня.

Мангольф приосанился.

— По-моему, ты гораздо сильнее грешишь против самого себя. Если человеку на его жизненном пути представляются такие случаи, как тебе, то незачем быть дураком.

— Жестоко, но верно, — прошептал Терра.

— Вспомни, к чему ты свел свои отношения с семьей Ланна. Прежде всего влюбился в дочь, затем разыграл перед отцом апостола гуманности, а под конец выкидываешь такую штуку, от которой получился один конфуз. Я уж не говорю о самой простой благодарности, — продолжал Мангольф с возрастающим раздражением, меж тем как Терра постепенно съеживался. — Я только подчеркиваю, что твоя прямо-таки патологическая безответственность делает тебя неспособным создать себе хотя бы самое скромное положение.

— Ты совершенно прав, дорогой Вольф, жизнь моя не удалась, — прошептал совершенно уничтоженный Терра. — Я мерзок богу и людям, каждый мало-мальски нормальный человек отворачивается от меня с отвращением. Я не дерзну отрицать ни один из моих позорных срывов. Но... — Из бездны унижения сверкнул ехидный взгляд. — Но таких пангерманских мерзопакостей, какие ты позволил себе в Газенхейде, я не говорил никогда.

— Это было не в Газенхейде, — единственное, что нашелся возразить огорошенный Мангольф.

— Тогда прости мне заодно и эту ошибку. Ты уже так много прощал мне. Вдобавок я, к сожалению, вынужден просить у тебя займы.

— Это меня не удивляет. Меня больше удивляет, чем ты жил до сих пор.

— Работой, — сказал Терра с достоинством. — Я давал уроки. Теперь у меня совсем нет времени, а мне как раз нужно купить кое-какую мебель для устройства адвокатской конторы.

— Ты адвокат?

— Уже два месяца. Я в полнейшем затворничестве кончал занятия и, смею тебя заверить, трудился не для экзамена, а лично для себя. Ведь работа, проделанная ради нее самой, сулит борьбу, новые идеи, успех, страдания и радость. И, если хочешь — власть.

— Постой! — сказал Мангольф, который не слушал. — Ты в самом деле адвокат? — И он испытующе посмотрел на друга. Что-то в его повадке убедило Мангольфа. — И после этого ты битых полчаса слушаешь, как тебе читают мораль! Экзамены ты выдержал, больше от тебя ничего не требуется. Наконец-то, дорогой Клаус, и я в свою очередь могу поздравить тебя!

Рукопожатие. Мангольф был искренно рад. Он налил вина. Терра, по-видимому, все-таки решил образумиться и занять подобающее место в обществе.

— Итак, мы снова можем свободно общаться. Твое здоровье!

Терра опорожнил свой бокал.

— Дорогой Вольф, мне придется несколько разочаровать тебя, — пояснил он. — У меня практика только среди бедных.

— Другой ты пока не нашел?

— Другой я пока не искал.

Мангольф задумался, но ненадолго.

— Я ссужу тебя деньгами, — сказал он. — От мебели зависит клиентура.

— Мне нельзя покупать очень дорогую. — Терра был явно смущен. — Одна особа, которая помогала мне в трудные времена, могла бы с полным правом спросить, почему я сперва не возвращаю ей долг.

Мангольф молчал. Он давно догадывался, на какие сомнительные средства существует его друг; сейчас Мангольф мог бы услышать об этом из его уст. Терра был искренне растроган, потребность в откровенности читалась у него на лице. Поэтому Мангольф и молчал. В сознании исконного братства он, щадя брата, щадил себя. Он отвернулся и достал деньги. Терра поспешил распрощаться с торжественными объятиями и полным церемониалом организованного отступления.

Пока он спускался, Мангольф не двигался с места, взбудораженный до глубины души подобием и различием их судеб, которые снова казались ему неразделимыми. В его смятенной душе одновременно теснились радость и горе. «Вот двойник, которому нельзя доверяться, — он враг твой и твое отражение. Он сумасброд, а тебе, связанному с ним ненавистью и любовью, положено управлять нормальными людьми».

Когда Терра вышел из дому, Мангольф долго следил за ним в бинокль. Терра перешел через Вильгельмплац. Вдруг он круто повернулся и, сняв цилиндр, приветствовал не успевшего скрыться Мангольфа.

Терра разделил деньги на две части и большую отнес женщине с той стороны. Он знал, что она ждет этих денег; однако она небрежно отложила их, вид у нее был хмурый и раздраженный. Но Терра интересовался только ребенком.

— Здравствуй, Клаудиус! — сказал он и, протянув руку, с горящим непритворной нежностью взглядом направился к малышу. Тот ждал, не шевелясь, но, когда он приблизился, мальчик рассчитанным движением бросился ему на шею. Отец, крепко

держа сына, как он ни отбивался, пристально разглядывал его. Лоб и глаза у него материнские; обыкновенный лоб правильных пропорций, воплощение житейской мудрости и воли к жизни; под ним ясные серые глаза, которые никогда, вероятно, не выразят глубокой страсти, зато несомненно будут возбуждать ее в других. И к этому его рот, — да, на лице сына коготки его собственный, правда еще не определившийся рот, которому предстоит многое: произносить слова, пить, целовать, судорожно сжиматься, беспомощно раскрываться, лгать, клеветать и стенать, пока он не постигнет всей комедии, в которой ему отведена своя роль и пока в уголках губ от знания и молчания не образуются желваки.

Терра опустил ребенка на пол и сунул ему в рот какое-то лакомство.

— Благодарить нельзя, — сказал он строго. — Чем больше благодаришь, тем меньше получаешь. Спроси свою мать, она скажет, что это так.

— Дети замечают, когда над ними смеются, — сказала мать с другого конца комнаты.

Но мальчугана было трудно провести. Он поглядел на строгого отца и заявил матери:

— Он мне ничего не сделает, он меня очень любит.

— Играй, как полагается в твоём возрасте! — приказала она.

— Давай играть, как полагается в нашем возрасте, — в свою очередь приказал он отцу, Терра не заставил себя долго просить. Он завесил лицо носовым платком, потом медленно приподнял занавес, — показалась лукавая рожа убийцы-растлителя, без лба, с прищуренным глазом, с чавкающим от первобытного вождения ртом. «Лик божий», — объявил отец, в то время как мальчик жадно разглядывал его. На этот раз мать возмутилась. Тут как раз вошла бонна, и мать приказала немедленно увести ребенка.

— Этого я больше не потерплю! — заявила она, когда они остались вдвоем. Он поднял брови.

— Вы, глубокочтимый друг? Но ведь за всю вашу благочестивую жизнь не нашлось ни одного такого отъявленного негодяя, которого вы отказались бы терпеть.

— Перестань болтать вздор! — сказала она с таким отчаянием, что он внимательнее взгляделся в нее. Она сидела на стуле у стены, расставив колени, опершись на них руками; дряблые, неподтянутые тела кое-как располагались в свободном платье. Волосы чуть потемнели, лицо было менее ослепительным, на шее и руках появились следы увядания.

— Жизнь бывает гнусна, — сказала она ворчливо.

— Без особых с ее стороны усилий, — подтвердил Терра. — Но почему вдруг гнусность жизни удостоилась твоего внимания, дитя мое? Я подозреваю: из-за Толлебена. Он не оправдал твоих надежд. В качестве рекламного плаката этот субъект не заманит ни одной собаки. Мне следовало предостеречь тебя; кроме издержек, если я верно понял, он ничего не дал.

Ее взгляд последовал за ним и подтвердил его догадки. Мавританский кабинет, рядом, был недавно приобретен и еще не оплачен.

— Если бы только это! — жаловалась она. — Я завела даже карету и лошадей. Еще не оплачены, а уже проданы.

— Что вы, княгиня!

— А теперь грозятся забрать даже спальню. Посмотри на нее, пока не поздно. — И засмеявшись: — За осмотр ничего не беру. — Она вошла туда впереди него, небрежно переваливаясь, и вдруг пошатнулась: — Боже, что это со мной!.. Заметь, вся инкрустирована слоновой костью, — успела она пробормотать, когда он подхватил ее.

Она тяжело оперлась на него, словно желая помериться с ним силами. Монументальная кровать, на которую указывала ее вяло протянутая рука, была близко, диван в мавританском кабинете довольно далеко, а ноша оседала и обвисала, мешая ему двигаться. Он высоко поднял ее, понес на вытянутых руках и, напрягая все силы, легко опустил свою ношу на подушки дивана.

— Какой ты сильный! Чего мне еще искать? — томно пролепетала она и потянула его за собой. Но он, весь растрепавшись, выскользнул из ее прекрасных обнаженных рук.

— Разрешите мне присесть.

— Как хотите, — сказала она без разочарования, без злобы.

— Снова былые чары, Лили, но, не сердитесь, на что вам это? — часто и глубоко дыша, спросил он издалика.

Положив голову на руку, она взглянула на него. Взгляд снова стал трезвым, лицо сверкало в благодетельном полумраке.

— Забыть с тобой, что меня должны описать, — проронила она звучно и однотонно, как всегда. Только он, он не поверил ей. — Мы ведь товарищи, — продолжала она вкрадчиво. — Ты плюешь на все, я — тоже. Нам надо держаться друг друга, тогда мы завоюем его, — жестом охватывая мир.

Любовь и корысть, союз, чреватый темными последствиями, а там, по ту сторону традиций и закона, — чувственный восторг, удесятенный ежечасной опасностью для свободы и жизни. Вот какое предложение она ему делала. Лет пять назад это было пределом его желаний; стоило только руку протянуть — и сразу полное обладание. Прекрасная хищница — его собственность, его плоть и кровь, а жизнь — их добыча. Теперь было иначе; он в страхе чувствовал: «Либо я сдал, либо она опустилась. Вероятно, то и другое. Я уже старый осел: это называется стать мужчиной. У нее же, что еще хуже, приступ старости, — понятно, только приступ; но ведь она чуть не кланчит». Какая-то часть его существа отмечала разрушения в ней. Это случилось впервые, ему стало жутко.

— Над вами, княгиня, просто сыграло шутку ваше прекрасное тело, — тем громче и внушительнее заговорил он. — Я из тех, кто способен воспользоваться вашей минутной слабостью. Пусть бы я был инкрустирован слоновой костью, все равно я весь ваш. — Затем, отодвигаясь еще дальше: — Но если вы на самом деле усомнились, усомнились в своем божественном назначении на лету потрошить живых мужчин, — тогда избави меня боже по преступному недомыслию способствовать вашей гибели. Поверьте, мы были на правильном пути, когда в свое время вы попросту бросили меня, незрелого юнца.

— Ах, так! Вот о чем вы вспомнили! Но я как раз готова на все, чего вы тогда хотели. Более того: я готова выйти за тебя замуж, — сказала она звонко и, видя, как он, открыв рот, водит по губам языком, потребовала: — Поговори со мной хоть когда-нибудь по-человечески.

Он долго смотрел на нее. Хищница хочет оmettere!

— Все это у тебя оттого, что ты перестала носить корсет. Сняв корсет, женщина твоего типа теряет стройность как тела, так и мышления.

— Помнишь, как ты восхищался моими ногами, — они все те же. — И она распахнулась. — Но есть и другие доводы.

— У нас кое-какие денежные расчеты.

— У нас также ребенок. — И, увидев, что задела чувствительную струну: — Теперь у тебя есть профессия и ты обязан его содержать. А кто тебе может быть полезнее меня, при моих богатых знакомствах? Мои товарки затевают тяжбы еще чаще, чем их покровители, и платят, сколько с них сдерут... Ну, как же?

— Это надо серьезно обдумать. — И он поднялся. — Случай солидно устроиться встречается не каждый день. Ты верным чутьем угадала момент, когда этим можно соблазнить меня.

— Ну и отлично. — Она проводила его до передней и там, указывая на свой отяжелевший стан, заметила с горечью, но тем не менее со странной уверенностью: — Будь покоен, такой я не останусь.

И он возвратился к своей практике. Он вникал за убогую плату, но во имя высшей пользы, в повседневную борьбу людей между собой. Борьбу родителей против детей, ставших для них угрозой, и молодежи против отслуживших стариков. Самоистязание обездоленных матерей, которые мучают своих младенцев, и самоистязание стареющих мужчин, которые предпочитают утопить в вине остаток сил; нищенские счета, из-за которых распадаются целые семьи; жестокость родных, всем скопом обрушивающихся на одного из своих, иначе мыслящего, иначе живущего; потасовки между товарищами по несчастью — из-за грошей; жалкие, нелепые детоубийства соблазненных служанок и неумолимость ростовщиков, холодная и методичная, как закон, и безжалостное отношение слабых друг к другу; ему приходилось изучать все разновидности безумия, всю человеческую куплю-продажу, весь полный курс социальной зоологии.

У него у самого дни проходили в кропотливой безвестной борьбе, а среди них выпадали отдельные значительные дни, когда торжествовала его логика: непреложная логика, вынуждающая у судьбы желанный приговор. Сознание, что ты серьезный человек, способный чего-то добиться, может дать удовлетворение хотя бы на полдня. Но выпадали и дни отчаяния, Чего уж тут добьешься, как одолеть твердыни нужды и нищеты? Зачем это? Почему вы существуете? Лихорадочная злоба, крушение всех надежд и всякой веры. Но и это надо стерпеть, надо бороться за вас. И вот, в итоге одно унижение. Ты не властен поднять общий уровень: делай же хоть для немногих что можешь.

«К чему обязывает меня долг перед самыми близкими? Перед другом моим Мангольфом долг обязывает меня к почтительнейшему признанию его успехов, ибо пренебрежение с моей стороны могло бы толкнуть его на самоубийство. Сестре Лее я

обязан приискать ангажемент в Берлине, что теперь, слава богу, ей обеспечено. Разве можно сделать больше, чем дать людям случай проявить их способности? Но каков мой долг перед моим старейшим другом? Перед моей советчицей и покровительницей, матерью моего ребенка и верной спутницей моей жизни? Я должен жениться на ней. В этом моя горькая обязанность и потому, хоть а без гарантий, мое благо».

Она уехала к родным в какой-то городишко, где ей, вероятно, пришлось выкапывать из глубин прошлого забытые буржуазные понятия. Оторванная от привычной жизни, она, несомненно, ждала от него решительного шага. А тем временем даже издалека заботилась о нем. В его контору явился некий изобретатель, смазливый молодой человек, которому был обеспечен успех в том или ином виде. Однако он честно трудился, пока в дело не вмешалась одна из приятельниц княгини Лили. Мигом испарились его заветные сбережения, за сбережениями последовали перспективы; как то, так и другое прибрал к рукам ростовщик Каппус. Заинтересованность крупнейшего ростовщика, у которого был договор с молодым изобретателем, служила порукой того, что изобретение действительно ценное. Но договор был такого сорта, что, по всем данным, у молодого человека от его изобретения останется одно воспоминание. Терра должен был найти погрешность в договоре, какое-нибудь слабое место, лазейку. «А тогда уж вы сами сообразите, как быть», — писала ему княгиня Лили.

Сколько такта и практичности! Если изобретение и изобретатель преуспеют, то Терра, их спаситель, с самого начала своей карьеры предстанет перед лицом общества в исключительно благоприятном свете. «Ни один человек в мире не способен с таким рвением и знанием жизни заботиться о моей пользе. Неразумный юнец счел бы невесть какой жертвой женитьбу на ней. Я же знаю, что делаю. Я заключаю брак по расчету».

Три месяца кряду носился он с этим договором, знал его наизусть, любая фраза могла при желании возникнуть у него перед глазами наяву и во сне, а то вдруг вспыхивало какое-нибудь одно слово, одно-единственное, которое могло оказаться ключом, сезамом, щелкой, сквозь которую засверкают сказочные сокровища. Но тщетно! Договор, составленный самим Каппусом без сучка без задоринки, был несокрушим. И все же опорочить его было необходимо, опорочить вопреки всему: Терра видел в этом для себя особый суеверный знак. Тут уже дело было не столько в решающем испытании собственных возможностей, сколько в попытке доказать, что можно побороть темные силы словом, только словом.

Он поручил свою контору заместителю, а сам являлся туда очень редко. Много времени он проводил у сестры.

Актриса жила в мещанском районе города. Дверь чаще всего отворяла она сама, прислуга приходила всего на несколько часов в день; небрежно одетая и причесанная, с рассеянным взглядом, вела она его к себе. Он садился в угол, она становилась посреди комнаты и декламировала свою роль. В его сознании тотчас же возникали роковые слова договора, которые не оставляли его ни на миг. «Браво! Дело идет на лад», — говорил он время от времени из вежливости и под влиянием располагающей атмосферы.

Его сестра без труда придала меблированной комнате отпечаток своей личности, — повсюду пестрые легкие вещицы, шали, шкатулки, искусственные букеты и кипы

затрепанных ролей. Где-то в углу пылился повернутый к стене череп, который дебютантка когда-то захватила в свое дерзновенное житейское плавание. В подсвечники вставлены свечи, для тех случаев, когда задергиваются занавески и юные страдания дают себе волю при ночном освещении. А вот из спальни виднеется тот портрет юноши, кисти Веласкеса, в черных мертвенных тонах, что так похож на далекую, вечно оплакиваемую тень Мангольфа. Но разве там кто-то плачет? Леа заглядывала в дверь, стремительно перегнувшись; ее рука, помолодевшая, такая же нежная и упругая, как прежде, ухватившись за косяк, взлетала ввысь, как рука самого счастья, и она выкрикивала ликующим тоном:

— Не думаете ли вы, что обойдетесь без меня?

Поза не менялась, пока звучали слова: «Не думаете ли вы...» Свет из окна падал прямо на нее, волосы ее сверкали, лицо светилось, она откидывала голову, как напоенный солнцем цветок на ветру. «Браво! Дело идет на лад», — с уверенностью повторял брат. «Не думаете ли вы, что обойдетесь без меня?» — ликовала сестра.

Однажды Терра опять отринул и отогнал слово, которое часами под этот аккомпанемент кружило вокруг него; другое выскочило ему навстречу из ряда слов договора, и радостный испуг возвестил ему, что оно и есть искомое. Он поворачивал его во все стороны, ощупывал, вскрывал до самой сердцевины. И наконец застыл неподвижно, даже не дыша. Но вот он перевел дух мощно, как Самсон. Свершилось! Орудие выковано, сезам найден. Победа! Он вскочил с места, ему хотелось обнять Лею; тут только он заметил, что совсем стемнело и сестры давно нет. Спектакль должен сейчас кончиться. Из кухни доносился шум; Терра пошел туда. Кто-то хозяйничал там, — оказалось, что Куршмид.

— Победа, милый друг! — крикнул Терра актеру. — Силам тьмы сегодня не повезло. Есть в Берлине живодер, у которого в данный миг уплывают его барыши.

Куршмид возликовал, проникнувшись важностью события. Вокруг его беспокойных глаз легли синеватые тени.

— Я так и знал! — Широкий жест шумовкой. — Вы одержите победу над обществом! — Потом попросил мечтательно: — Добудьте мне билет на заседание суда! Лучше никогда в жизни не видеть Кайнца и Миттервурцера²², лишь бы мне быть свидетелем вашего торжества и вместе со всеми чествовать вас.

Терра пришлось втолковать ему, что это победа без блеска и парадной шумихи. Запись в протоколе, объявленное сквозь зубы определение, переход к следующему делу... Но все же добыча будет спасена от коршуна, создание мысли — из когтей стяжателя, человек — от гибели.

— И в довершение всего, — сказал Терра, выходя из кухни, — моя нареченная увидит, чего я стою!

На парадном стучали и звонили одновременно: Леа. Она ворвалась как вихрь:

— Скорей поесть! Я сегодня была в ударе. Публика только ради меня и ходит. Дайте чего-нибудь поесть, я умираю с голоду. Сбор на три четверти. Шесть вызовов.

²² *Кайнц Йозеф* (1858—1910) — выдающийся австрийский актер. *Миттервурцер Фридрих* (1844—1897) — известный немецкий актер.

— Неплохо для двадцатого представления, — сказал брат.

— Двадцать второго!

— Новая твоя роль будет еще лучше.

— А я, — отозвался Куршмид, суетясь у стола, — после того как произнесу свои реплики во втором акте, рад бы каждый раз остаться и смотреть тебя, но ведь лучше, чтобы я шел готовить ужин.

— Совершенно верно, — сказала Леа и принялась за еду.

— У твоего брата тоже огромная удача, — заикнулся Куршмид.

— Что ты? — произнесла она с преувеличенным интересом.

— Теперь он наверняка выигрывает дело.

— Вот как! — бросила она рассеянно. И сейчас же спохватилась: — Прости, милый! Это, понятно, очень важно и для тебя и вообще. Но вот ты надумал что-то и сидишь и ждешь, — правда ведь? — что из этого сделают другие. Я же сама хочу добиться всего. Не только словами, — всем телом я показываю им, что я такое и чего хочу. Вот взгляни, чем я нынче сорвала аплодисменты.

Она откинула голову, выразительно скользнула руками вдоль бедер и застыла в улыбке такого трепетного ожидания, что пауза и рукоплескания напрашивались сами собой. Куршмид и Терра тоже собирались хлопнуть в ладоши, но услышали, как кто-то возится у входной двери, кто-то, у кого, очевидно, был свой ключ. Он вошел: Мангольф. Леа еще была вся ожидание — душой и телом. Он направился к ней, сперва медленно, потом порывисто, взял ее руку с бедра, поцеловал и сказал сердечно:

— Комедиантка, но не плохая.

Терра подошел к нему, они обменялись рукопожатием, как две дружественные великие державы. Куршмид готовил чай.

— Значит, новая роль мне удастся? — снова спросила Леа и, не дождавшись ответа: — Если бы не удалась, то перед самой премьерой непременно настал бы конец света, чтобы я не успела осрамиться. Мне слишком везет.

— И должно везти, — подтвердил Куршмид. — К этому все идет. Я никогда и не сомневался. — Вокруг глаз у него легла синева.

— Слава богу, что мы опять играем ерунду. Настоящая литература не по мне. Сколько лет я зря потеряла! — проговорила Леа, закинув руки за голову и глядя в упор на Мангольфа.

— Ради всего святого, не надо дурмана, не надо нечестивой красоты, — вставил Терра голосом писателя Гуммеля.

Леа узнала и засмеялась.

— Мне не нужно больше гладко зачесывать волосы и напускать на себя строгость. Я могу играть самую бесстыжую комедию.

— Ты можешь блистать, — с гордостью сказал Мангольф.

— Не возражаю, пока нас хватит, — добавила она, глядя ему прямо в глаза.

А он от всей души:

— Надолго хватит. — После чего он стремительно зашагал по комнате. — Мы на подъеме! — выкрикнул он, задорно хохоча. — Кончится тем, что я в один прекрасный день буду рейхсканцлером. — Он с разбегу прыгнул на стол и поднял чашку с чаем.

— Что вы, господин тайный советник! — сказал Куршмид. — У нас есть и вино.

— Не думаете ли вы, что обойдетесь без меня? — ворвался ликующий голос Леи в речь Мангольфа.

А Терра тем временем думал: «Без сомнения, мы на подъеме, успех — вещь неплохая».

— Великолепно! — воскликнул он. — Когда я расправлюсь с Каппусом, мы соберемся снова.

— Ты мне подаришь тогда что-нибудь? — спросила сестра. — Ты ведь загребешь не меньше денег, чем твой Каппус.

— Если бы мне и довелось, как ты любезно предсказываешь, стать истым буржуа, — заметил он, — у меня все же останется героическая перспектива разориться по причине порядочности — и даже с ее помощью стать большим человеком.

— За твоё выступление в роли героического буржуа! — крикнула сестра и выпила.

Терра последовал ее примеру сдержанно, Мангольф игриво.

— А вы, Куршмид? — крикнул он. — Вокруг вас такая полнота чувств, вы один в стороне.

— Я служу, — сказал Куршмид.

Трое одержимых собою уставились на него.

— Вот самая надежная позиция, — заключил Терра. — Когда мы снова шлепнемся в грязь, ему и тогда будет дела по горло.

Мангольф изобразил на лице глубокомысленную грусть, сел за рояль и заиграл «Смерть Изольды»²³ с таким самозабвенным видом, словно смерть сама играла себя. «Спина такая же, как раньше», — подумал Терра. Сестра его млела и замирала от созерцания и звуков. Терра потихоньку вышел из комнаты, пока еще Куршмид был там.

Не успел он пройти несколько шагов, как Куршмид догнал его.

— Я думал, вы пробудете там как можно дольше, — заметил Терра. — Разве вы не ревнуете?

— Ревновать, мне? — просто сказал Куршмид. — Только к страданию. Довольно она уже настрадалась.

— Способна ли она вообще быть счастливой? — с горечью сказал брат. — Есть люди, способные на большее.

Куршмид, не поняв:

— Все совершенно ясно. Ему нужно было сперва занять прочное положение. Теперь он может обручиться с ней. Кстати, и она имеет успех, значит он может даже...

²³ «Смерть Изольды» — сцена из оперы Вагнера «Тристан и Изольда».

— Куршмид понизил голос до шепота, — жениться на ней.

Брат вздернул брови.

— Это она вам сказала?

Куршмид утвердительно кивнул, брови поднялись и у него. Вдруг он услышал резкий голос Терра:

— Ничего из этого не выйдет.

— Тогда произойдет неслыханная катастрофа, — насмерть испугавшись, пролепетал он.

Но Терра перешел уже на обычный тон, который мог показаться трагическим или просто неуместным:

— Ступайте в постель и постарайтесь проспять катастрофу. Вам меньше придется спать, чем вы думаете.

Куршмид покорно отстал от Терра. Но потом еще раз догнал его.

— Не вы!.. — сказал он взволнованно. — Я сам возьму это на себя.

— Да о чем вы? — спросил Терра, но актер уже исчез.

Чем ближе было решение, тем сомнительнее казалось оно Терра. Доказательство свое он по-прежнему считал неопровержимым, перед Богом и Словом его правда была несомненной. Но успех всегда и всюду зависит от людей, а не от идеи. Судьи, твердил себе адвокат, часто обязаны судить вразрез с непререкаемой логикой, ибо за ними стоит, предъявляя свои требования, другая логика — логика существующего общественного строя. Эта вездесущая владычица устами своего судьи возвещает, что созданное тем, кто занимается умственным трудом, по полному неотъемлемому праву принадлежит тому, у кого есть деньги. Всякое ограничение этого права носит характер уступки, чуть ли не милостыни. «Каппус сильнее меня. — Только с существующим общественным строем можно заключать выгодные сделки». Эти страшные истины неотступно маячили перед ним в бессонные ночи. Наутро система его доказательств с новой ясностью являлась ему: как можно бояться, что ум, призванный судить, посрамит себя отрицанием того, что так ясно?

Настал решительный день. Терра не пошел в суд; его заместитель должен был позвонить ему оттуда тотчас после решения. Он метался перед телефоном как безумный, окутанный облаками табачного дыма, в висках стучало, а при каждом звонке подкашивались колени. Тягостно и медлительно надвигался вечер, служащие конторы стали, наконец, складывать дела. Сумбур противоречивых мыслей, борьба впустую, борьба, которая решалась другими, — от всего вместе было ощущение не только страха, но и мути. Убежать бы... но нет сил избавиться от добровольной пытки! Тут раздался звонок.

Процесс выигран! Радуйся! Ты не рад? Терра коротко и жестко захохотал в телефон, подтвердил получение известия и повесил трубку. Он думал, наконец, сесть, но вместо этого упал без чувств. Так застал его Мангольф.

— Что случилось? — спросил Мангольф. — Двери настезь, полный разгром! Что на тебя снова обрушилось?

— Кажется, счастье. — И Терра поднялся с пола. — Я выиграл процесс против

Капруса.

Мангольф поздравил друга, в его тоне был оттенок пренебрежения. Терра понял. «Продолжай в том же духе, — говорил тон Мангольфа. — Растрачивай весь свой пыл на ничтожные мелочи. Одной опасностью меньше».

Они сели к письменному столу друг против друга и ждали.

— Ничтожная мелочь, но, на беду, для меня это был вопрос чести, — начал Терра. — Приговор мне сейчас уже ни к чему.

— Тогда разреши поговорить с тобой о моих делах. — Мангольф смотрел ему прямо в глаза. — Что бы ты сказал, если бы я вздумал жениться?

Терра зажмурился. Рот у него был раскрыт, на лице отражалась напряженная и беззвучная борьба чувств.

Наконец Мангольф, не дождавшись вопроса, сказал:

— Не на Лее.

Тут Терра открыл глаза — глаза затравленного пса, на котором не осталось живого места и который все-таки скалит зубы.

— Иначе я употребил бы весь свой братский авторитет, чтобы помешать ей выйти замуж за авантюриста.

Мангольф не дрогнул.

— Я давно собираюсь поговорить с тобой начистоту.

Терра, не давая спуску:

— В тот вечер у нее на квартире это было незаметно.

Мангольф тяжело вздохнул.

— Мне хотелось оберечь ее от горя возможно дольше. Если бы это было в моей власти — навсегда! И ты должен помочь мне. Мы ведь друзья.

— Если мы и сегодня останемся ими, — сказал Терра, — значит, мы друзья.

— Кому бы я принес пользу женитьбой на Лее? Во всяком случае, не себе, — а я вправе прежде всего думать о себе. Карьера моя была бы кончена: место консула где-нибудь за океаном, на большее нечего и рассчитывать. А ей? Ей тоже пришлось бы пожертвовать собой. Остаешься ты. Неужели мы оба должны считаться с твоей щепетильностью в вопросе мешанских приличий? Решай! Я подчинюсь.

— Ты пристыдил меня, — сказал Терра. — Я не владел собой. Больше это не повторится. — Он принял торжественный вид. — Продолжай! Невеста достойна своего счастья?

— Вот это я и хочу выяснить с твоей помощью, — мрачно произнес Мангольф и достал какую-то бумагу. — Невестой будет госпожа Беллона фон Толлебен-Кнак — в том случае, если нынче вечером мы придем к положительным выводам.

— Идет! — сказал Терра, ему стало жаль этого подвижника честолюбия. Сам он никого не утруждал вопросом своей женитьбы. — У меня есть один второстепенный вопрос: решение зависит от тебя одного? Твоя избранница возражать не будет? И ее отец тоже?

— Беллона любит меня, — сказал Мангольф, сдвинув брови. — Она была принесена в жертву господину фон Толлебену. Подобного опыта старик не повторит. К тому же он поклялся отомстить всему юнкерскому сословию. Я, при моем влиянии на Ланна, прямо-таки послан ему судьбой в качестве зятя. Прими во внимание, что Ланна не сегодня-завтра рейхсканцлер.

— Чистая работа! — заметил Терра, словно дивясь механизму машины.

— Даже слишком, — сказал Мангольф, бросив взгляд в свою бумагу. — На меня оказывают давление. Я могу попасться помимо моей воли. Всем заправляет графиня Альтгот.

— Со своим политическим салоном.

— Она в переписке с Беллой Кнак. Она принадлежит к тем немногим дальновидным людям, которые заранее принимали в расчет возвращение Кнаков.

— Что Альтгот на высоте, я не сомневаюсь, — подтвердил Терра.

— Она устроила у себя филиал ланновского салона, — пояснил Мангольф. — Ланна, таким образом, приобрел неофициальную базу, где действуют в его интересах.

— Да и она не в накладе, ей больше не будут приписывать любовников. Политика — лучшее алиби. Догадливая дама — Альтгот!

Мангольф неодобрительно покачал головой.

— С ней надо считаться всерьез.

— Тогда слушайся ее!

— Нет, я только спрашиваю: чего она добивается для себя? Может быть, Кнак подкупил ее? Тогда я окажусь в дураках.

Несмотря на озабоченный вид Мангольфа, Терра едва удержался, чтобы не расхохотаться. Перед ним встало видение былых времен, дверь в родительский дом Мангольфа с дощечкой: «Мангольф, комиссионер». Шаткая скрипучая лестница ведет на вышку, а там маленькая комнатка, клетушка, пространство в один шаг, — и кто же там оборачивается, сумрачно хмуря чело? — Тот самый, кто и сейчас склонил к нему чело и хмурится в сомнении, не обсчитывают ли его, предлагая богатейшую невесту Германии.

Терра не засмеялся.

— Здорово! — заметил он.

Мангольф словно не понял его.

— Я верю только в свою зоркость, — продолжал он, — ну, еще, пожалуй, в твою.

— Так пустим ее в ход, — решил Терра. — Выкладывай, какие у тебя подозрения.

— Подозрений нет, есть только баланс. — Он протянул свою бумагу и, видя, что Терра растерянно вглядывается в нее: — Посмотри, прибыль и убытки сходятся без остатка.

Терра в самом деле увидел два проставленных друг против друга столбца статей расхода и прихода; с точки зрения считавшего, они, очевидно, сходились без остатка, ибо в конце каждой строки стоял нуль.

— Сейчас объясню тебе мой баланс, — заметил Мангольф и, в ответ на жест Терра, подвинувшего к нему бумагу: — Не надо! Я знаю его наизусть.

Он знал свой баланс наизусть, как Терра свой договор; и теперь, вычисляя снова, копясь в нем и болея им, он горел на том внутреннем огне, который был знаком и Терра.

— Она богата, но скомпрометирована. — Он провел в воздухе черту: — Я беден, но безупречен.

— Тут, правда, трудно решить, на чьей стороне выгода, — пробормотал Терра.

— Она меня любит, я ее не люблю, — продолжал Мангольф.

— Преимущество явно на твоей стороне! — вскричал Терра.

— Постой! Правый столбец: я пасую перед богатством. Она же не только знает это, но и считает естественным.

— Просчет, — сказал Терра.

— Я не дворянин, и у меня совсем нет родни. Именно потому я и не наглец вроде Толлебена. У нее нет матери, зато есть пренеприятный отец.

— В итоге нуль, — сказал Терра.

— Я не офицер и не корпорант, зато я элегантней, чем обычно бывают эти господа, у меня тип иностранца, и я при случае не откажусь драться.

— Ты не откажешься драться? — поспешно подхватил Терра.

— Поверь мне, я слишком ловок, чтобы когда-нибудь довести дело до этого. — Черта и следующий столбец: — Она с виду современная дама, а по существу напыщенная гусыня.

— Опять ничего, — сказал Терра. — Последняя статья.

— Мое будущее неопределенно. Правда, мне покровительствует Ланна. Другой столбец: она, при своих средствах, вправе рассчитывать на успех в жизни, — правда, этот успех может быть и двусмысленным.

— В итоге, — заключил Терра, — ты вышел из низов, она тоже, ты можешь пригодиться ей, как и она тебе.

— Но из всего этого ровно ничего не следует, — простонал Мангольф. — Все та же мучительная неопределенность, круглый счет обывателя. — Он вскипел. — Как бы я швырнул ей эти деньги, если бы на ее стороне был минус. А будь у нее плюс, я бы ей показал себя и свои способности.

— Да, твои способности ты не учел, — заметил Терра.

— Потому что они естественны, как само бытие, а кроме того, зависят от обстоятельств. Каким бездарным окажусь я со своей пушечной принцессой, если в день моей свадьбы вся Европа заключит вечный мир!

— Твое дело воспрепятствовать этому, — сказал Терра и добавил резко: — Мое же, наоборот, — этому способствовать.

— Вот оно где — решение! — Мангольф возбужденно вскочил. — Каждый будет добиваться своего. Пусть девица проведет еще года два в посте и молитве, тогда

выяснится, кто из нас сильнее, ты или я. От этого зависит ее счастье.

— Ты ведь сидишь в самом осином гнезде, тебе бы уже сейчас следовало знать, какое взято направление.

— Нашей политики? Понятия не имею. Ее курс кажется все бессистемнее, чем ближе к ней стоишь. Весь секрет в том, что у нее попросту нет цели. Кто до этого додумается, того мое начальство отличает! — И Мангольф захохотал как бес.

— А твои пангерманцы? — Теперь встал и Терра.

Мангольф бросился к нему через всю комнату и схватил его за руку.

— Скажи мне только одно, но с полной искренностью, какая возможна только между нами: то, что я с ними якшаюсь, очень меня компрометирует? — И так как Терра сжал губы: — Говори, нового ты мне ничего не скажешь. Ведь они во всем: и в публичных выступлениях и в программе до такой степени зарываются, что никакая мало-мальски жизнеспособная нация не позволит им втравить себя в войну. Даже круглому дураку это должно бить в нос.

— Бить в нос? — повторил Терра. — Да в этом же половина успеха. Смешное у нас способны оценить немногие, зато кричащее импонирует всем. «Жизнь — это плакат», — говорит монарх своему народу, и тот с каждым днем все лучше понимает своего монарха.

Мангольф шагал по комнате.

— Знать бы, достаточно ли мы нагнали страху на наше начальство, и даже самое высшее, чтобы оно холодно приняло попытку Англии к сближению!

— Как? Разве таковая предвидится? — Терра вышел на середину комнаты.

— С тобой мне не следовало говорить об этом, — отозвался Мангольф из темного угла.

— Успокойся, — сказал Терра. — Я не выступлю в газетах в пользу союза с Англией. Союз с Англией произвел бы дурное впечатление на многие другие европейские страны и у нас самих увеличил бы соблазн легкой победы. Нет, я противопоставлю твоему пангерманскому союзу другую лигу.

— Какую?

— Лигу противников смерти.

— Прощай! — сказал Мангольф. Он спрятал свой баланс. — Я опираюсь на действительные факты. Таким образом, наш вопрос относительно моей женитьбы на бывшей Кнак почти разрешен. — Беглое рукопожатие, но уже в дверях Мангольф обернулся. — Еще новость: Толлебен сватается к Алисе Ланна.

Терра разразился хохотом.

— А она составляет свой баланс, — попытался Мангольф перекрыть его хохот и затем исчез.

Все это отняло немало времени; Терра сел за стол, собираясь проработать всю ночь. Мысль жениться на женщине с той стороны оказалась удачнее, чем он предполагал, раз Алиса одновременно обдумывала кандидатуру Толлебена. «Моя Алиса» — чувствовал он, но тем усерднее старался работать. Княгине Лили пора бы

вернуться. Где она застряла? О ней ничего не слышно. «Дочери нового рейхсканцлера придется напрасно дожидаться моей скромной персоны. Ей ничего не останется, как пойти на уступки, да и мне тоже», — думал он, склонившись над бумагами и гримасами выражая недовольство собственными мыслями. Вдруг он отбросил документ, он ощутил, как бледнеет и разглаживается его искаженное лицо. «Я люблю Алису, а она меня — вот сейчас, в эту самую минуту. Мне довольно одного сознания. А счастья, большего, чем дает повседневность, мы не станем себе желать. Кто порхает, пахать не может. Я из тех, кто медленно, но верно движется вперед».

Глаза выразили сомнение. «Кто я?» — с этим вопросом он подошел к окну. Снизу долетали, то нарастая, то замирая, уличные шумы, неустанный прилив и отлив ночной жизни. «Я такой же, как сотни тысяч. Какой обыватель не припомнит в своем прошлом хоть одной юношеской глупости вроде преобразования мира или любви к принцессе? Незаметно для себя я избрал вернейший путь стать обывателем».

Но другой, более смелый голос возмутился в нем: «Нет! Ты будешь жить во имя многих. В этом твое отличие». Он отворил окно навстречу шуму стихий, и сразу его внутренняя тишь замутилась и заволновалась. Все мышцы его коренастого тела напряглись, он расставил ноги и уперся руками в обе стороны оконной ниши, словно силой удерживая распахнутые ворота, в которые должна хлынуть улица, в которые должны хлынуть все улицы.

— Аминь, — сказал Терра, снова усаживаясь за стол. — У меня своя определенная задача, скажем между нами: призвание свыше, миссия вождя. Обстоятельства требуют, чтобы она осуществлялась в будничной обстановке, как обыденное дело. А потому лукавить неизбежно. Моя миссия гласит: «Да не будет у вас нужды убивать друг друга». Аминь. А теперь за работу, чтобы выбиться из неизвестности! — И он придвинул отброшенный документ.

Так как о невесте не было ни слуху ни духу, он пошел к ней. Она оказалась дома. «Недавно?»

— Нет, порядочно, — сказала она. — Но с нашим объяснением нечего было спешить.

— Ты помолодела, если только возможно было стать еще моложе. Как ты этого добилась?

— Так я тебе снова нравлюсь?

— Когда мы поженимся?

— Ты еще не раздумал? Тогда лучше поговорим начистоту. Ты не можешь требовать, чтобы я ради тебя разорилась. Своя рубашка к телу ближе.

И тут Терра узнал, что в истории с Каппусом он сглупил непростительнейшим образом. Всякий другой не стал бы выносить дело в суд, а столкнулся бы с самим Каппусом. Пусть бы изобретатель обрел, что ему причиталось, а Терра, естественно, должен был потребовать у Каппуса свою долю, — иначе к чему вся затея? Он не понял, как ему следует действовать, невесту его это ужасно поразило. Счастье, что она вовремя уберегла себя от такой ненадежной опоры.

— Выйти за тебя, дружок, равноценно самоубийству.

Терра, не без сожаления, согласился с ней.

— Такая достойная женщина, — я говорю, а сердце у меня кровью обливается, — имеет бесспорное право на нормального мужа из самого нормального буржуазного круга. За всю твою благословенную жизнь ты не сделала для своего преуспевания ничего такого, что буржуазное общество не вменяло бы в обязанность своим сочленам. Ты только придавала элегантность своим подлостям, но и это оно тебе со временем простит.

Она не выдержала и рассмеялась:

— Какой ты чудак! Приходи почаще! Только предупреждаю — мои дела в полном расцвете. Спальня остается у меня, я продаю лишь мавританский кабинет. В полумраке я больше не нуждаюсь.

— В том бог свидетель, — сказал он торжественно. Он смотрел, как она на полном свету высоко вытянула руки над копной своих огненных волос и поднялась на носки. Формам вернулась прежняя мягкая пластичность и мускулистая упругость, а краскам — свежесть, как от притока обновленной крови: неувядаемая стояла она, сдвинув носки, словно балансируя на шаре, и медленно вращалась вокруг самой себя.

— Чудо из чудес, — сказал он. — Как ты этого добилась?

В ответ она загадочно усмехнулась и звонким, равнодушным голосом позвала кормилицу.

Кормилица? Ну, разумеется. В этом и было все дело. Отсюда ее тогдашнее состояние, ее уныние и затея выйти за него замуж... Кормилица явилась с новорожденным на руках. Старший мальчуган держался за ее подол.

— Это девочка, — сказала мать.

— Я вел себя как форменный осел, — признал Терра.

Она лишь пожала плечами. Она не ставила глупость в укор мужчинам, их глупость подразумевалась сама собой.

— Отца ты знаешь, — сказала она на случай, если бы ему потребовалось и это разъяснение. Действительно, ему только сейчас пришло в голову имя отца; он вспыхнул.

— Мой сын и дочь господина фон Толлебена — брат и сестра? Этого в условии не было.

Тут явно удивилась она.

— Что ж теперь поделаешь! — пробормотала она с запинкой.

— Я не желаю, чтобы они воспитывались вместе. Идем со мной, сын мой, — решительно заявил он и протянул руку.

Мать забеспокоилась.

— Перестань, пожалуйста! Кстати, ребенок вовсе не от Толлебена, а от Мангольфа. — И так как он уставился на нее, словно собираясь наброситься: — Ну да, от твоего друга. Но ты навел меня на хорошую мысль. Я уверю Толлебена, что ребенок от него. Ему это польстит, он обеспечит дочь, а твой друг окажется в стороне. Все участники будут удовлетворены. — Она отошла, напевая, чтобы скрыть остаток беспокойства; вид у него по-прежнему был грозный. Но вдруг он резко повернулся.

— Идем, мой сын! — повторил он.

Пауза. Мать сразу успокоилась и обменялась взглядом с кормилицей.

— Ну что? Идет он? — спросила она даже без насмешки.

Тщетно нагибался Терра, протягивая руку, — под его жгуче-суровым взглядом мальчик обошел, от складки к складке, всю юбку кормилицы. Выглядывая из-за нее, шестилетний мальчуган сжимал рот точь-в-точь, как сам Терра.

— Папа хочет взять тебя с собой, — повторил Терра.

— А может, ты лучше останешься у мамы? — Она раскрыла объятия. — К кому ты пойдешь? — И мальчик бросился к ней. — Он слишком похож на тебя, — сказала мать торжествующе и примирительно. — Потому он так привязан ко мне.

— Впечатления, которые ждут его в твоём доме, бесконечно ценны для многих, но только, пожалуй, не для подрастающего мальчика, — учтиво заметил Терра.

— Ты находишь, что в почтенном доме твоих родителей тебя столь блестяще подготовили к жизни? — возразила она. И так как он молчал, открыв рот: — Ведь ты же до сих пор не уразумел, что такое жизнь!

Она сочла вопрос исчерпанным и занялась прерванными делами. Терра сказал сыну: «Давай мириться», и предложил поиграть с ним.

Мысленно он решил: «Сегодняшний урок я себе зарублю на носу. Пора образумиться. Я повсюду умудрился наглупить и всем стал в тягость».

Итак, он продолжал успешно работать, не падал духом, запросы высшего порядка оставлял втуне и, проверяя в конце недели свой моральный инвентарь, радовался, что ему удалось избежать унижений и, не слишком срамясь, приспособиться к окружающему миру. Принцип его был таков: «Лишь трезвый житейский опыт позволит мне с успехом привить окружающему миру свои взгляды, не свойственные ему».

После двухгодичной страды однажды утром к нему в контору явился Каппус.

— Господин адвокат, — начал знаменитый ростовщик, — вы человек по мне, ибо вы на редкость честный человек. — Не слушая возражений, он продолжал: — Но вы и трудолюбивый человек, вы рано встаете и приходите в контору задолго до ваших служащих. Это тоже хорошо, господин адвокат, таким образом нас никто не потревожит или, чего доброго, не подслушает. Иначе нам не поздоровилось бы, господин адвокат. — Он говорил настойчиво и горячо, таков был, очевидно, его характер. Сюртук у него был наглухо застегнут, кожа на лице очень белая и нежная. Когда он наклонил голову и описал цилиндром плавный полукруг, у него появилось сходство с благостным духовным пастырем. — Давайте присядем! — сказал он, поставил цилиндр под стул и вместо него надел ермолку.

Он был уже старик, но волосы красил. Мягкие голубые глаза блестели из-под крашенных бровей. Ростовщик — и вдруг дородный!

Вид его говорил наблюдателю: «И ты обманывался на мой счет!» Внезапно он всем своим существом изобразил горестное сожаление.

— Могли бы вы подумать, что граф Ланна проведет старика Каппуса?

Терра недоумевающе посмотрел на него, потом встал и запер обитую войлоком дверь.

— А сейчас выкладывайте все и говорите так, как будто имеете дело с адвокатом вашего противника! — вернувшись, потребовал он.

— Да и с самим собою я говорю не иначе как от имени противника, — наставительно ответил Каппус.

И тотчас, вновь изобразив горестное сожаление и смягчив голос до кроткого шепота, он посвятил Терра в суть дела. Молодой граф Эрвин оставил ему в залог бриллиантовое кольцо, но впоследствии оказалось, что бриллианты фальшивые.

— Почему вы раньше не выяснили, какие они?

— В первый раз за всю мою жизнь не выяснил. Что вы думаете, конечно же, из уважения к новому рейхсканцлеру, из доверия к нему и потому еще, что считал: сыну первого после императора человека это ни к чему.

— Вы лучше, чем кто-либо, знали, что у графа Эрвина много долгов, — ведь должен-то он главным образом вам.

Каппус понял: его подозревают, будто он сразу увидел, что камни поддельные, и на этом построил всю махинацию. Тем настойчивее и горячее уверял он, что никогда бы и не помыслил запутать одного из графов Ланна в грязную историю.

— Стоит влипнуть одному из членов семьи, так уж влипнут и остальные, и тогда это будет стоить нам рейхсканцлера. Но кому это будет стоить рейхсканцлера? Нашей возлюбленной Германии. Нет, господин адвокат, на это я не способен! Скорее я махну рукой на деньги.

— Сколько там всего? — спросил Терра. Но определенного ответа не добился.

— Сумма значительная, не будем пока говорить о цифрах, — сказал Каппус и продолжал разглагольствовать о морально-политических последствиях. Терра оборвал его. Он поговорит с противной стороной. Он возьмет на себя это дело лишь в том случае, если его вмешательство будет желательным и противной стороне.

— Не беспокойтесь, даже очень желательным, — сказал Каппус задушевно. — Ведь вы, господин адвокат, в семье у Ланна совсем как родное дитя, вы имеете влияние на старика. Почему бы я иначе обратился именно к вам?

С этим заключительным доводом он исчез за обитой войлоком дверью.

Терра только собрался написать Эрвину Ланна, как тот сам явился к нему.

— Произошло неприятное недоразумение, — сказал он, поеживаясь, как от озноба. — Особенно неприятное для моей сестры.

Терра почувствовал, как сердце его бешено заколотилось у самого горла. Он ничего подобного не ожидал и теперь не мог выговорить ни слова.

— Ведь она таким образом узнала, что кольцо фальшивое, — пояснил Эрвин. — А это единственная крупная вещь, которую она унаследовала от матери!

— Раньше вам это не было известно? Ну, понятно, нет. Но Каппус не верит — или делает вид, будто не верит, что не менее скверно. Расскажите мне все подробно и разрешите покорнейше просить вас...

Терра говорил, лишь бы говорить и таким образом совладать со своим волнением. Как мало изменился молодой Ланна! И сейчас еще трудно понять, куда направлен его взгляд — взгляд двух полудрагоценных камней. Губы красные, как у совсем юного мальчика, а лицо гладкое и бледное, ничуть не тронутое временем.

— Нам нужны деньги, — начал он. — Алисе деньги всегда нужны для полезных дел, мне — для самых бесполезных. Так уж повелось. Мы хотели дожидаться наследства. Знаете, того большого наследства, которое отец должен получить от своей богатой родни. К несчастью, мы в безвыходном положении. Алиса, понятно, хорошо взвесила этот шаг. Раз она со мной о чем-то заговорила, значит у нее все обдумано. «Мы продадим кольцо», — сказала она.

— Говорите прямо, без утайки! — сурово потребовал Терра.

— Она оценила его у Бервальда на Унтерденлинден.

— О! — бессознательно вырвалось у Терра.

— Тогда она мне ничего не сказала. Она говорит мне только то, что ей угодно. Она думала, что я продам фальшивое кольцо за ту цену, какую оно стоит. Платина там настоящая.

— Ну да, так она и думала, — подтвердил, сам того не сознавая, Терра.

— И все из-за моей глупости. Я в свою очередь решил оценить кольцо и тоже пошел к Бервальду. Он был очень удивлен. Вероятно, он подумал, что я в курсе дела, и ничего мне не сказал. Он только отсоветовал продавать, время якобы неблагоприятное. Я его не понял и, к несчастью, пошел к Каппусу. Тот, как всегда, дал мне немного. Но... — И Эрвин протянул Терра какую-то бумагу. — Тут ясно сказано, что он дал займы под залог настоящего кольца.

— Это и есть ловушка, — догадался Терра. — Теперь он, несомненно, потребует огромную сумму с наследства вашего отца.

Эрвин подтвердил это.

— Потому-то я и пришел к вам, — так закончил он рассказ о своих рассеянных блужданиях и повел плечами, как в ознобе.

— Я постараюсь добиться соглашения, благоприятного для вас и для ваших близких, — без всяких колебаний заявил Терра. — Мне многое известно о Каппусе. Он меня боится. Он уже побывал здесь.

— Будет он молчать?

— Только пока он молчит, у него есть надежда что-нибудь выудить у вас.

— Он должен молчать ради моей сестры, — сказал брат живее, чем обычно; и словно испугавшись, что предал ее: — Никто не знает, как ей приходится бороться за свое положение. Она честолюбива. Нам не хватало денег, а папе мы не могли сказать. Что ей было делать?

— Я твердо убежден, что графиню Алису ждет высокий удел, — с пафосом заявил Терра. — Для начала — самый блистательный брак, какой можно придумать.

— Так рассуждаете вы, — возразил Эрвин, — но, по-видимому, мы для этого еще недостаточно прочно сидим в седле. Подумайте, мы даже не смеем пока порвать с

Толлебенем. Он хочет жениться на Алисе. Сами понимаете, как ей это по душе. Но просто отказать — нельзя. Она тянет с ним. Она чего-то ждет, но чего — понять не могу.

У Терра снова заколотилось сердце, он не ответил. Они молчали, пока молодой Ланна не поднялся.

— Вот еще к вашему сведению, — добавил он, — перед отцом я всю вину беру на себя. Я будто бы стащил у сестры кольцо и обманул ростовщика. Спасет это Алису, если дело дойдет до крайности?

— Конечно. А вы сами?

— Ну, я могу уйти из жизни, — сказал заблудившийся мечтатель и, округлив большой и указательный пальцы в форме дула, поднес их к виску.

Терра поторопился разъяснить ему, что это было бы крайне неблагоприятно. Сейчас самое важное так разделаться с Каппусом, чтобы граф Ланна ничего не узнал об истории с ожерельем.

В соответствии с этим он и стал действовать. Ланна выкупил кольцо, как настоящее, за гораздо меньшую сумму, чем хотелось Каппусу, но добавил к ней орден. Все участники были удовлетворены, и всех больше Каппус. У старика слезы стояли на глазах.

— Я не из-за ордена плачу, — всхлипывал он, — а оттого, что наша возлюбленная Германия спасена от ужасающего скандала.

Ланна, как всегда, беспечно и в счастливом неведении миновавший бездну, удостоил Терра нескольких дружеских строк. Терра был приглашен явиться запросто, но не пошел.

По почте прибыло извещение о помолвке Мангольфа. В приписке он просил своего старейшего, чтобы не сказать — единственного, друга быть свидетелем при бракосочетании. Вторым свидетелем будет господин рейхсканцлер. Краткие и горделивые слова; чувствовалось, сколько сознательного, подчеркнутого самоутверждения в том, что в самый торжественный день своей жизни Мангольф решается показаться рядом с каким-то адвокатом Терра. Под влиянием гордыни он, очевидно, позабыл, что этот свидетель — брат его покинутой любовницы.

Словно громом пораженный, Терра отправился к Лее. Он давно знал о надвигающемся на нее горе, но теперь оно представилось ему безысходным и непоправимым бедствием.

Он не застал ее дома. Ему открыла прислуга, которая кончила дела и собиралась уходить. Он решил подождать сестру в той комнате, где даже без нее все жило ее трудами и мечтаниями. Что она делает сейчас? Где, среди каких грозных химер и жестоких соблазнов блуждает она? «Держать тебя в объятиях, сестра! Ты поплакала бы в этом прибежище, как оно ни утло. Мы бы и на сей раз справились с бедой». Увы! Вместо этого она была у другого, он знал — у кого: у того, единственного, и он не смел последовать туда за ней. Когда он очутился у телефона и держал себя за руку, чтобы не позвонить, раздался звонок.

Говорила она:

— Я у него, а его все нет. Подожди меня!

Он крикнул в трубку:

— Иди сюда, ко мне! — Но она уже дала отбой.

Итак, они оба — она там, он здесь — бегали по комнате, где нависла тучей их тревога, бежали навстречу року и все же отпрянули бы перед его появлением. Вдруг крик! Сквозь даль и шум города брат услышал, как она вскрикнула. Ее возлюбленный стоял позади нее, она взметнулась.

— Я испугал тебя? — сказал возлюбленный спокойным тоном.

— Я хочу думать, что все это пустая болтовня! — гневно выкрикнула она.

— Ты этого не можешь думать. Ты знаешь факты, — пожимая плечами, ответил он.

С заученной красотой жеста она презрительно бросила через плечо:

— Все это с нами уже бывало. Помнишь, милый, во Франкфурте, когда я собиралась замуж? Ты примчался туда и ни за что не хотел отстать.

— Радуйся: теперь я от тебя отстану.

— А другие разы? А история с Толлебенем? Ты все мне прощал, как и я тебе. Могли бы мы столько долгих лет быть вместе, если бы это не было суждено? О, сколько унижений! Все от тебя, так было суждено. И вдруг конец? Это невозможно, милый! Ты сам знаешь, милый, что невозможно. Я не желаю тебе несчастья, но если ты покинешь меня, тебе его не миновать. Другую ты любить не можешь. Это твои собственные слова, ты сказал их не мне. У нас все общее, даже слова. Помнишь, что ты сказал? «У нас с тобой это до конца жизни!»

Куда девались презрение и гнев! Она то вкладывала всю свою волю в эти бессильные слова, то смиренно обнажала перед ним душу. Лицо ее и все тело попеременно выражали то борьбу, то покорность, прекрасные гибкие руки дополняли то, что она говорила, заклинали, тянулись, дрожа от желания схватить и удержать. Но он уклонился от них.

Тогда она поникла без сил.

— Что я сделала тебе?

Он стал позади ее кресла. Он гладил светлые волосы, рука его чаровала по-прежнему.

— Я люблю тебя одну, Леа. У меня не было мужества откровенно поговорить с тобой. Ты придаешь мне его. Я зависим и честолюбив, потому я и решаюсь на такой мучительный шаг. Только потому. Я и сам бы хотел отказаться.

Они увидели друг друга в зеркале, ее лицо просияло.

— Так откажись! — надрывно-ликующе выкрикнула она и уже откинулась в ожидании поцелуя. Он поцеловал ее и сказал:

— Ведь ничто не изменится. Все будет по-прежнему.

Тогда она вырвалась от него и вскочила.

— Чего ты хочешь? Жениться и сохранить меня? — спросила она, глядя на него невидящими глазами.

Он понял, что надвигается гроза, и протянул руку. Но она успела отбежать в

дальний угол и, вынув из сумочки какой-то предмет, поднесла его к губам. Любовник едва успел схватить ее за руку.

— Оставь! — сурово сказал он.

— Это повредило бы тебе! — Она пронзительно захохотала. — Но это всего лишь губная помада, милый.

Тогда он отстранился, и она опустилась на пол, чтобы наплакаться вволю. А он шагал взад и вперед, хмуря лоб, в глубоком волнении. Вдруг он услышал, что она говорит и голос у нее, как у ребенка.

— Я не желаю тебе несчастья, — говорила она так смиренно, не вставая с пола. — Но что, если твое несчастье во мне? Тогда я отпущу тебя. Только зачем именно под конец ты мне дал столько счастья! — Покинутое дитя плакало там, на полу.

«Надо быть настороже! — про себя решил мужчина. — Сцена со слезами в третьем акте. Кто поймается на удочку, тому несдобровать». Он скрестил руки.

Не слыша от него ни звука, она кротко поднялась и, поправляя прическу, заговорила:

— Я просто зло подшутила над тобой. Поверь мне. — Тон был какой-то уж очень многозначительный, он насторожился. — Будь у меня настоящий яд, я все равно ни за что не позволила бы себе принять его здесь. Знакомая актриса найдена мертвой у тебя на ковре: это могло бы всерьез повредить тебе. Прости! — Ирония в голосе, а взгляд, манящий исподтишка. Он еще больше нахмурился. Она собралась уходить.

— Это нигде бы не доставило мне удовольствия, дорогая моя. Ни на моем ковре, ни в любом другом месте, — успел он сказать, когда она была уже в дверях.

— Охотно верю, — проговорила она, совсем уже не скрывая иронии, иронии высокодраматической. — Но все-таки я не знаю, удастся ли тебе избежать полицейского протокола.

И она исчезла, а он остался один с ее угрозой, связанный по рукам и ногам, во власти ее угрозы.

Когда она пришла домой, уже стемнело, но она различила сидящего на диване брата, который ждал ее. Он сидел, сторбившись, склонясь лбом на руки, и ничего не слышал, совсем как в те времена, когда он сосредоточенно вникал в тот пресловутый договор. Вдруг он поднялся и произнес: — Отдай мне яд!

— У меня нет никакого яда, — ответила сестра.

— Ты хотела только запугать его? Говори правду!

Сестра, ничуть не удивившись:

— Тебе я могу сказать. Мне хотелось бы иметь яд, но и мужество в придачу к нему.

Он усадил ее на диван.

— Дитя мое, бойся согрешить перед господом. На основании непреложных данных могу тебя уверить, что любовь к богу абсолютно равнозначна любви к самому себе. Глупо было бы нам кончать с собой: бог и жизнь с готовностью берут на себя всю ответственность в этом вопросе.

Но он чувствовал, что рука ее безучастно лежит у него в руке. Он весь затрясся; она

повернулась к нему, стараясь в темноте встретиться с ним взглядом. Крупные слезы тяжело выкатились у него из глаз. Голос был придушен, речь бессвязна:

— Кто же мы такие? Избитые истины ничему не помогут! Мы не настолько молоды, чтобы дурачить себя отжившими бреднями. Послушай: я буду рассказывать тебе сказки, как, помнишь, когда-то о красных туфельках.

Ее рука перестала быть безучастной. Она с дрожью прильнула к его руке.

— Ты будешь счастлива по-прежнему, — горячо прошептал брат.

— Я больше ничего не хочу. Верь мне, я рада, что все кончилось, — тоже шепотом ответила сестра и после паузы: — А кто она, эта женщина?

Он облегченно вздохнул; жизнь снова завладела ею!

Повернувшись к освещенному окну, вперив глаза в пустоту, слушала она его описание Беллоны Кнак.

И с надменной улыбкой:

— Пожалуй, мне в самом деле нечего волноваться.

Брат с готовностью:

— Брак по расчету, в полном смысле слова. Ручаюсь тебе, он будет глубоко несчастен. — А про себя: «Не вполне. Ты примешь его и в роли чужого супруга».

— Он тебе не написал? Не послал извещения? — спросила она, как будто совсем равнодушно; но едва у нее в руках очутилось письмо, как она бросилась зажигать свет, склонилась у стола над листком бумаги, фиксируя его застывшим взглядом, впитывая всем существом.

— Ты нынче не играешь? — окликнул ее брат. И вспомнил. — В это время обычно является Куршмид.

— Куршмид не показывается, — сказала она как во сне.

— Давно?

— Не помню. Он всегда был здесь. И вдруг его не стало. Ах, да, — с того вечера, как я ему сказала, что Мангольф помолвлен.

— С того самого вечера?

— Он еще погромел посудой на кухне, а потом исчез, словно провалился.

— Ты не видала его лица?

— Его лица? Почему?

— Я разыщу его, — сказал Терра и ушел, не медля ни минуты. В театре он узнал адрес актера. Оказалось, тот съехал неизвестно куда. По слухам, выехал даже из города, — может быть, в провинцию, на гастроли? Терра отыскал агентов, которые могли дать какие-нибудь сведения, но и это ни к чему не привело.

В назначенный час он явился к Мангольфу. Мангольф взволнованно бросился ему навстречу, но подавил вопрос, который чуть не вырвался у него, и от усилия воли даже побледнел. Но тут же постарался сгладить свой порыв светской беспечностью. Лишь когда друг напомнил: «Урожденная Кнак ждет», — лицо его омрачилось.

— Прощу тебя, помоги мне соблюсти декорум, — сказал он официальным тоном. — Впрочем, госпожу фон Толлебен я люблю. «В довершение всего, он даже влюбился в ту, что воплощает для него успех!»

— Что делает Леа? — неожиданно спросил он на улице и сбился при этом с шага.

— Она великолепно настроена и желает тебе счастья, за недостатком времени через меня, — весело, тоном человека, понятия не имеющего о всяких сложных взаимоотношениях, ответил Терра и с удовольствием констатировал, что друг побледнел больше прежнего.

Они заехали за невестой и ее родней. Второй свидетель, рейхсканцлер, должен был прибыть прямо в ратушу к заключению гражданского брака. Он появился в самую подходящую минуту. Все были в сборе, и наступила пауза. Ничего лучше жених не мог бы пожелать.

Затем внушительной вереницей карет все двинулись к церкви. У входа в ризницу, от самой мостовой стройными шпалерами выстроились зрители. Дальше тянулся коридор, уставленный растениями в кадках. Дверь в глубине была, по недоразумению, закрыта, рейхсканцлер собственноручно распахнул ее перед дамами из родни невесты. В то время как он сам проследовал за ними, а на другом конце коридора показались первые приглашенные, жених и невеста очутились одни, сбоку, спиной к группе пальм. Только Терра, сменивший у двери рейхсканцлера, заметил, как пальмовые листья заколебались и из-за них высунулась рука. Рука сжимала кинжал и уже направила его в спину Мангольфа, когда Терра схватил эту руку и отвел. Кинжал упал на землю. В тот же миг пальмы рухнули, и показался отчаянно сопротивляющийся Куршмид.

— Образумьтесь вы, сумасшедший! — прохрипел Терра.

Мангольф пригнулся, спасаясь от кинжала, который уже не грозил ему. Его молодая супруга в первый миг забыла о нем; она отскочила в сторону, заботясь лишь о собственной безопасности. Потом она спохватилась и упала без чувств, как раз на руки возвращавшегося рейхсканцлера. Тот передал ее отцу, и Кнак, не владея собой от гнева на судьбу, преследовавшую замужество его дочери, торопливо поволок ее в ризницу.

Рейхсканцлер тем временем решительно и прямо направился к зрителям, как по команде ринувшимся с противоположного конца. Несколько негромких, но внушительных слов — и он уже был господином положения, Любопытные отскочили, словно их дернули за веревочку. Они даже поспешили уверить напирających сзади, что ничего не произошло. Мангольф искал Терра, он хотел что-то сказать ему, но Терра уже исчез вместе с Куршмидом.

Он вовремя обнаружил дверь в сад. Твердым шагом вышел он за ограду, на улицу. Куршмид еле плелся рядом с ним. Терра все еще держал его как в тисках, но это было уже ни к чему, Куршмид сдался.

— У вас всегда хромало чувство такта, — сказал Терра, ища глазами, на чем бы сплавить Куршмида. Боковая улица была пустынна.

— Я не помнил себя, — сказал Куршмид сокрушенно. И добавил с гордостью: — Леа была бы отомщена!

— Опозорена, — поправил Терра и махнул рукой подъезжавшему экипажу.

Куршмид был водворен в экипаж.

— Проваливайте! — грозно прошипел ему Терра прямо в осунувшееся лицо. — Проваливайте! Поняли?

— Учитель, я ваш до последнего вздоха. — Под глазами у него мерцали синеватые полукруги. С тем он и отбыл.

Когда Терра вошел в ризницу, ситуация была такова: несчастная жертва, Беллона, возлежала на скамье для хора, скрытая стайей дам, успокаивавших ее. Господа Ланна и Кнак защищали вход от свадебных гостей, шумевших в церкви. Свадьба будто бы отложена, в воздухе пахло скандалом. Рейхсканцлер опровергал слухи. Кнак убеждал гостей поверить слову такого человека.

Всеми забытый новобрачный одиноко жался за раскрытой створкой двери.

Хмурясь, он подозвал Терра:

— Я сразу же хотел тебе сказать: твое вмешательство было лишним... Ну, все равно благодарю тебя. А его нет? — спросил он и, не в силах дождаться ответа: — Все уже известно?

Терра отер лоб; он был возмущен за друга, равно как и за сестру.

— Этот субъект всех нас подвел.

— Слава богу, что он не выбрал время перед гражданским бракосочетанием! — сказал Мангольф.

— Для Леи это просто смерть, — подхватил Терра тоном искусителя. — Даже идиоту понятно, что после сегодняшнего скандала вам надо бежать друг от друга, как от чумы, иначе в самом деле одному из вас несдобровать. — А взгляд его впивался в глаза Мангольфа.

Мангольф ничего не возразил.

— Его уже нет? — помолчав, спросил он снова, и Терра утвердительно кивнул.

Потом заговорил, глядя прямо в глаза Мангольфу:

— Этот субъект явился в мир, как воплощенное недоразумение, каждый факт он неизменно умудрялся толковать самым извращенным образом. Стоит ли проявлять столько осмотрительности и такта в житейских делах, чтобы в итоге какой-то фанатичный болван размахивал у тебя под носом кинжалом?

— Именно кинжалом, какая пошлость! — пробормотал Мангольф, при этом он становился все бледнее и бледнее, взгляд Терра жег его.

— Пошлость можно бы еще перенести, если бы она была доведена до конца, — изрек Терра замогильным голосом. Он показал, что кинжал у него в кармане. — Тогда бы и Леа не зависела от превратностей твоей карьеры, — добавил он, скрежеща зубами.

Обороняясь, Мангольф выставил вперед руку, но сейчас же опомнился:

— Нет уж, только не ты, — сказал он, заискивающе смеясь. — На твою дружбу я рассчитываю больше, чем когда-либо. Надо избежать огласки. Пусть газеты в крайнем

случае опубликуют ложные сведения. — Он схватил друга за лацканы сюртука, жест совсем ему непривычный. — Вспомни, что благодаря своей женьтебе я ближайший кандидат на пост помощника статс-секретаря.

Терра стоял обезоруженный, раскрыв рот. «Браво!» — произнес он затем. Оба облегченно вздохнули и отошли друг от друга.

— Только спаси меня! — напоследок повторил Мангольф.

Дверь, скрывавшая их, затворилась. Рейхсканцлер увидел Терра и отвел его в сторону. Лицо его, сиявшее доброжелательством, пока он закрывал дверь, сразу стало обиженным и очень недовольным.

— Нужно мне было для этого являться! — заявил он с видом дамы, которая не встретила привычного уважения.

— Весьма прискорбное неуважение к особе вашего сиятельства, — в тон ответил Терра.

— А все моя пресловутая любезность. Другой бы не попал в подобную историю, да еще ради подчиненного, — проворчал Ланна со злобным взглядом в сторону Мангольфа, который сделал вид, будто ничего не замечает. Рейхсканцлер круто повернулся к нему спиной, а Мангольф настойчиво повторил одними губами: «Спаси меня!», и Терра внял ему.

— Я беру на себя смелость почтительнейше представить вашему сиятельству краткий отчет. Преступник у меня на глазах был отправлен в наемном экипаже.

— Надеюсь, без участия полиции?

— Без чьего-либо содействия. Преступник исчезнет бесследно, я отвечаю за это перед вашим сиятельством.

— Благодарю вас, господин адвокат. С этой стороны я теперь совершенно спокоен. Я знаю вас.

— А вот другая сторона дела! — сказал Терра, не ожидая приглашения. — Многим репортерам я уже изложил происшествие в самом невинном свете.

— Вы мне друг, — почти произвольно вырвалось у Ланна. — И почему именно друзей никогда не видишь у себя? Однажды я уже хотел лично поблагодарить вас, но вы не пришли. Если вы не придете и после сегодняшнего вашего одолжения, я сочту это признаком враждебности. — И добавил, в то время как Терра отвешивал глубокий поклон: — Мне кажется, я смогу порадовать вас.

У него снова появилась ямочка. Он самолично подвел ожившую новобрачную к супругу и даже похлопал Мангольфа по плечу.

Венчание сошло благополучно, завтрак в отеле начался блистательно, но Терра поспешил удалиться.

Он провел день со знакомыми репортерами, стараясь каждому сообщить о ходе событий по-иному. Он разузнал, что говорят, и прежде всего позаботился дать слухам такое направление, которое отвлекло бы их от Леи. Последняя его версия гласила, что зубной врач средних лет, с давних пор страдавший душевным расстройством из-за измены невесты, в силу болезненного состояния видел под каждым венчальным убором обманувшую его девицу. Случайно он именно сегодня сбежал из убежища для

умалишенных. Вот причина, по которой на свадьбе одного из чинов министерства иностранных дел перед самым венчанием произошло легкое замешательство, почти никем, впрочем, не замеченное.

Вечером Терра был в театре, а Леа играла. Пьесу, в которой она имела когда-то большой успех, возобновили после некоторого перерыва, ей снова приходилось ликующе восклицать: «Не думаете ли вы, что обойдетесь без меня?» «Как она будет ликовать?» — спрашивал себя брат, сидя в партере.

Эффектная драма из жизни полусвета разворачивалась своим чередом, за фривольным и несколько элегичным началом следовало бурное прощание героини с любовником номер один.

Он любил, терзал и непрерывно обманывал ее. Она мучилась, мстила, возвращала и вновь отталкивала его. Теперь все кончилось. Вот она одна, разбитая, отчаявшаяся, напоенная смертельной горечью. Шаги. Она хочет бежать, ее манит только смерть.

Но вместо смерти является любовник номер два, томный молодой кавалер, который намерен отдать ей сердце. Он носится с душевными запросами и ищет каких-то небывалых переживаний в этом излюбленном месте встреч веселящейся молодежи. После нескольких неизбежных неудач он, наконец, находит то, что искал. Она соглашается на эту короткую передышку перед последним шагом, соглашается от усталости и оттого, что ей теперь все равно, — так это понимал брат. Тон пьесы начинает меняться.

Как примет сегодня его ухаживания это видавшее виды, но неземное создание? Сидя на краешке дивана, меж тем как на заднем плане ужинают их приятели, он высказывает ей свои изысканные желания, а она покоится на диване. Смелые очертания длинной и узкой фигуры в переливчатом футляре платья, чуть приподнятые колени, голова откинулась с подушки — вся она воплощение покоя, мертвенного, безнадежного покоя. Нагое плечо сверкает в пустоте, бесцельно свешивается упругая нагая рука. Не все ли равно? Она готова откликнуться на прихоть кавалера, который ищет верности и обещает нежность.

Решение принято, она целует. Не в меру золотистое сооружение из локонов на ее откинутой голове распалось, эгрет из перьев цапли заколыхался, она подняла лицо к его губам. Лицо, слишком белое, с грубым сценическим гримом, с густой чернотой сомкнутых век, изобразило поцелуй. И эти губы хотят создать иллюзию невинного поцелуя невесты? Скрепить лобзанием обет на всю жизнь? Нет, это маска смерти перед последним вздохом присосалась к его губам.

Отпраздновать начало новой любви! Те, что были на заднем плане, собрались уйти. Взметнувшись с дивана и протянув руки, стройная подвижная фигура устремила за ними, как воплощенное торжество.

— Не думаете ли вы, что обойдетесь без меня? — раздался вопль, и занавес упал.

И это — ликование, знакомое всем? Нет. Это был вопль: должно быть, там за занавесом стройная женщина склонилась сейчас над разоренным столом, обессиленная и одинокая.

Занавес взвился снова, она и ее партнеры вышли раскланиваться. Вдруг она сильно вздрогнула. Кого увидел в ложе ее взгляд, скользивший по залу? Брат взглянул туда, ложа была пуста. Он же со своего места в партере внул ей сквозь занавес: «Ну, ну,

дителя мое, мы стали старше, вот и все. Сколько времени мы уже играем комедию? Восемь лет, — так уплывают годы. Только сейчас начнется самое лучшее, ты еще увидишь чудеса. Ради всего святого, выдержи эти последние испытания, уважаемая моя артистка!»

А действие развертывалось. Теперь она воплощала счастье. Никто не видал ее такой счастливой, как нынче вечером, с любовником номер два. Он был вполне доволен, но она не верила в прочность их счастья. И на этот раз все может закончиться такой же катастрофой, как и в предшествующий, если она полюбит опять. Она боится полюбить и быть покинутой и хочет опередить его: лишь потому она обманывает его с любовником номер один и устраивает так, чтобы их застigli врасплох.

Драматическая сцена. Номер два понимает лишь теперь, что любит ее, и приходит в бешенство. Номер один предлагает удовлетворение и удаляется. Она утверждает, что по-прежнему любит того, а этого никогда не любила; потом замыкается в молчании. Этот не верит ей, он знает противное, знает по себе. Он полюбил по-настоящему, пусть и она признается, что любит его.

И она признается: нет, она не любит никого; не любит и того, с кем умышленно обманывала этого. Тому она тоже хотела доказать, что охладела к нему, навеки охладела!

— Один, другой и даже третий может думать, что я принадлежу ему. Но на самом деле я ничья. Все кончено, навсегда! — уверяет она.

Тронут ли он? Он потрясен, он готов простить.

— Для того, чтобы потом ты уж наверняка прогнал меня? Потом, когда я буду беззащитна. — И на его протест: — Да. Тот, кого я люблю, всегда гонит меня прочь.

Куда девалась легкая комедия пустых чувств? Дерзко и необузданно восстает она против мужчины, она отбросила всякое самолюбие, она хочет стать воплощенным ужасом — только бы избавиться от новых страданий. Но он не согласен ни от чего ее избавить; она вырывается, бежит от него и, словно прикованная, останавливается у боковой кулисы.

И тут она показывает, что значит страдать: все, что она выстрадала, все, что могла бы выстрадать, — всю совокупность страдания. Обессиленные руки тянутся вверх для мольбы, но к чему мольба? — и они падают вновь. Незрячее лицо парит одиноко, словно зачарованное. Но сама женщина, это великолепное тело в богатом платье, становится нищей, открытой всем взглядам, чуть не прозрачной, — вы видите в ней внутренний огонь. Вы больше не слушаете ее жалоб, вы видите, как огонь жжет ее, жжет и озаряет.

«Черт побери, — подумал брат, — она делает успехи». Сейчас пришло наше время, все мы на подъеме. Только что я присутствовал на свадьбе. Но вот это безусловно самый верный успех, такой же верный, как страдание».

Актриса тем временем готовилась к уходу со сцены. С мужчиной было покончено, она сломала его. Он сидел, совершенно измученный непривычными переживаниями, и мысленно слал ее ко всем чертям. Она же обрела некое величие; прощание — величавое и утомленное после той бурной сцены. Последнее рукопожатие? Он уклонился, обиженно пожав плечами. Тогда она — мимо него, только кивком и жестом сказала: «Ну, не надо». Все ее знание было в кивке, все прощание — в жесте.

Ликовала она сегодня неубедительно, зато ее безмолвное «ну, не надо» было безупречно.

Некоторые аплодировали бурно, вся же публика в целом — умеренно. Здравый смысл противился этим последним откровениям. Самое интересное, очевидно, кончилось, первый акт происходил чуть ли не в публичном доме. Дамы были потрясены туалетами героини.

Когда Терра встал, он очутился рядом с Эрвином Ланна.

— Я тоже пришел сюда, — сказал мечтательный фланер; при этом у него были совсем необычные, неподвижные и широко раскрытые глаза. И брат тоже, пока они смотрели друг на друга, старался не мигать, чтобы не пролить подступавших слез. От смущения и оттого, что Терра молчал, Эрвин заговорил: — Я видел во время свадебного завтрака, как вы ушли. Вскоре вызвали и меня. Знакомый журналист хотел знать правду о покушении. Я сам знал все лишь по догадкам, но ему не сказал ничего. А он наговорил кучу чепухи. Так, в разговорах, мы обошли несколько кафе.

— Вы не думаете, что нам следует вернуться туда? Пьеса продолжается, но нам уже тут, по-моему, ждать нечего.

— Конечно. Прекрасней она быть не может. — И Эрвин Ланна просто добавил: — Я люблю ее.

А Мангольф вышел из своей закрытой ложи и потребовал, чтобы ему отперли дверь за кулисы.

После разрыва с Леей он учредил слежку за ней, чтобы узнать, не собирается ли она покончить с собой. Женщина-детектив, заменившая ее прислугу, обшарила всю квартиру в поисках яда. Она ничего не нашла, — однако Мангольф не успокоился. Значит, она держит яд при себе! При первой же встрече с ним она могла принять этот яд прямо на улице или, чего доброго, отравиться в день его свадьбы. Он не решался показываться открыто; ее хитрость удалась, она держала его под угрозой. Все эти недели он ненавидел ее — и никогда еще так сильно ее не желал. Ему надо было освободиться от нее, будь то насильственным путем. Он придумывал, как бы удалить ее из Берлина полицейскими мерами; пусть она где-нибудь вдали осуществит свою угрозу. Нет! Боже упаси! И раскаяние, тоска, страх гнали его к ее дому. А она стояла у окна и смотрела вниз сквозь штору, пронизывая взглядом тень, в которой он укрывался: каждый искал глаза другого и не находил, а только угадывал их.

В день его свадьбы она сидела дома и никого не впускала к себе, так сообщила ему нанятая им шпионка. Вот она — развязка! Быть может, сейчас уже его возлюбленная, мертвая и обезображенная, покоится на ложе, которое хранит память об их наслаждениях. «Она умерла?» — был невысказанный вопрос Мангольфа к ее брату. Покушение Куршмида одновременно с испугом породило робкую надежду, что мстительница, наконец, удовлетворена, что она перестанет его мучить и избавит от своего самоубийства. Но едва он почувствовал себя в безопасности, сразу же за свадебной трапезой беспокойство и страсть вновь завладели им. Под каким-то предлогом он отсрочил отъезд с молодой женой до вечера, а вечером нанятый им рассыльный привез настоящий вызов в министерство. Он бросился в театр, он прокрался в ложу.

Господи, что за женщина! Сколько красоты в самоотречении! Сколько очарования

даже в скорби! Он не мог примириться со своей утратой, впервые в жизни Мангольф не владел собой. Он твердил себе то, что было ясно даже ее брату: «Вы должны бежать друг от друга, как от чумы!» Да, он прекрасно сознавал все последствия своей слабости. Вторично покинутая Кнак становилась непреодолимым препятствием для его карьеры, ведь он — не Толлебен. И все же потрясающие сцены второго акта делали его безоружным. Блаженное самозаклание ее сердца разрушило в душе неверного любовника все преграды.

Горестное сияние, пронизавшее ее насквозь, вселило в него неожиданную силу для жертвы, о которой он и не помышлял, когда видел возлюбленную в сиянии счастья. Он принадлежит ей, она — ему.

Итак, он встал, полный решимости, и пошел к ней.

Она как раз входила к себе в уборную и собиралась в изнеможении опуститься на стул. Увидев его, она остановилась. Лицо ее выражало удовлетворение и усталость. Она услышала его слова:

— Я пришел сказать тебе, Леа, что твердо решил развестись с женой, никогда больше ее не видеть и жениться на тебе.

Тут только она села. Но лицо по-прежнему выражало удовлетворение и усталость.

— Неужели ты дошел до этого, милый? — нежно сказала она. — Да, я была в ударе нынче вечером. Ты очень любезен, что улучил время посмотреть меня. Что касается остального, — в голосе ее звучала только легкая грусть, — все миновало. Все перегорело в сегодняшней моей игре. Мне было не легко. Ты не вправе требовать от меня повторения. — Она встала, отошла к стене и кончила строго и в то же время жалобно: — Повторения я бы, пожалуй, не вынесла, милый. А ведь ты неизбежно снова покинул бы меня. Я знаю лучший исход, с сегодняшнего вечера знаю, что он лучший. Ты останешься с женой, и она будет мне лучшей порукой, что ты больше не изменишь мне.

Он замер на миг, потом бросился к ней, приник к ее руке и застыл над ее рукой, уничтоженный и благодарный — благодарный за избавление от страшной опасности. Она же с жалостью коснулась его волос, и незримые для него слезы закапали на них — скудная награда за принесенную в жертву гордость и за столь великое самоотречение.

Глава II Салон Альтгот

Не успел Терра решить вопрос, идти ли ему к Ланна, или нет, как получил настойчивое напоминание.

Он хотел избегнуть официальности, а потому вошел не с Вильгельмштрассе. Как некогда, он проник через маленькую калитку подле Бранденбургских ворот, миновал романтическую виллу, которая называлась министерством иностранных дел, пересек сад и вышел к самой главной цитадели власти, к новой резиденции Ланна. Гордая и нарядная стояла она среди зелени; издали можно было подумать, что это загородная вилла, а не правительственное здание; плющ вился в промежутках между высокими, сводчатыми застекленными дверьми, старые деревья осеняли оба длинных крыла здания, но главный фасад — стройные колонны, высокие окна — открыто выступал вперед. Из круглых слуховых окошек под стрельчатой крышей глядели былые века.

Уверенным шагом Терра подошел к главному зданию, решив не смущаться торжественностью обстановки.

— Господин рейхсканцлер ждет меня! — крикнул он уже издали, когда открылась одна из застекленных дверей.

— Правда, не с этой стороны, — сказал какой-то приятный господин, приветливо впуская гостя.

«Тайный советник фон...» — догадался Терра и пояснил:

— Ввиду того, что я приглашен в сугубо частном порядке, я и счел возможным пройти прямо в кабинет графа. — Он увидел вдали письменный стол.

— Рабочий кабинет рейхсканцлера теперь не здесь, — сообщил тайный советник. — Здесь он был во времена Бисмарка, для удобства, ввиду близости канцелярий, которые все помещаются с этой стороны. Бисмарк мог послать даже свою собаку, и чиновники являлись мигом, дисциплина соблюдалась строго.

Тайный советник прикидывался простодушным и сердечным, по-видимому ему было дано поручение занять гостя разговором. И так как лицо гостя становилось все нетерпеливее, он рассыпался вовсю.

— После Бисмарка здесь работал только его непосредственный преемник. Он приказал вырубить лучшие деревья перед окнами. Услышав об этом, Бисмарк сразу дал ему оценку: славянин!

— Весьма примечательно, — сказал Терра и опустил углы рта.

— Вы, может быть, интересуетесь старыми картинами? — осведомился тайный советник. — Наш теперешний начальник заимствовал некоторые полотна из королевских музеев.

С помощью картин он заманил непокладистого гостя через комнату с кричаще-пестрой мебелью в вестибюль. Там он свободно вздохнул, передав его лакею. С этим новым молчаливым проводником Терра, тоже вздохнув свободно, добрался до второго этажа.

В передней стоял еще один лакей, уже в ливрее.

— Господин Зехтинг, — спросил первый лакей, — там кто-нибудь есть?

— У его сиятельства нет никого, и его сиятельства тоже здесь нет, — ответил Зехтинг.

— А где же он?

— Он в мемориальной комнате, — сказал Зехтинг.

Итак, от дверей этого кабинета Терра тоже пришлось повернуть назад. Идти надо было через гигантскую двухсветную залу, расположенную по ширине всего здания и пышно позолоченную.

— Зал заседаний, — сказал старый лакей с ударением, внезапно повернувшись к Терра. Терра почтительно наклонил голову. — Только захочет ли он вас принять? — сказал лакей и замешкался у двери, к которой они приблизились. К его удивлению, гость просто постучал в дверь и немедленно вошел в комнату.

Ему следовало войти на минуту позже, рейхсканцлер еще не успел принять ту позу,

какую считал подходящей. По-старопрусски прямо и неподвижно сидел он, читая телеграммы, в большом вольтеровском кресле между окном и печью, похожей на печку в ванной. Поджав губы, он медленно поднял на вошедшего взгляд поверх роговых очков.

Жестом указав на стул, преемник Бисмарка продолжал чтение.

— Господин адвокат, я должен вас предостеречь, вы сами себе вредите, — промолвил он, наконец, сухо и многозначительно. — Пусть бы ваши коллеги социалисты избавляли от тюрьмы рабочих, подстрекавших других рабочих к забастовке, а вам незачем в это вмешиваться.

— Ваше сиятельство, покорнейше прошу разрешения заметить...

Но Ланна перебил его:

— Заметьте себе прежде всего, что мы этим законом обязаны самоличной инициативе его величества.

— Ваше сиятельство, покорнейше прошу разрешения заметить, — повторил Терра, не смущаясь, — что я почел своим долгом принять на себя защиту рабочих именно как верный слуга своего короля. Совесть подсказывает мне, что эти простодушные рабочие, готовые во всякое время умереть за своего короля и императора, ничем не оскорбили закона.

— Так уж они готовы умереть? Впрочем, им в этом помогут. — Ланна отбросил очки, теперь ему стало труднее сохранять маску многоопытной мудрости, которую он надел, как для себя самого, так и для гостя. Показался намек на ямочку, осанка сделалась непринужденнее, а также и речь.

— Чем вы руководствовались, милый друг, когда защищали «товарищей»? Впрочем, может быть, вы ничем и не руководствовались. В нашей власти придать делу другую окраску. Все зависит от вас... Господи! — выкрикнул он фистулой. Обо всем позабыв, он вскочил на кресло и нетерпеливо потянулся к стенным часам. Правда, им место было скорей на кухне, они тикали, совсем как будильник. Рейхсканцлер силился их открыть. — Каждый раз одно и то же, — ворчал он. — Из преклонения перед великой эпохой Бисмарка, которую видели эти часы, я иногда завожу их, но у меня не хватает сил слушать их тиканье. — Возясь с часами, он продолжал повествовать: — Я храню здесь реликвии великого человека. Вот его письменный стол, отчаянно исцарапанный, — все семидесятые годы запечатлелись на нем. Но когда вы к нему прикасаетесь, вас словно пронизывает электрический ток.

— Да, в самом деле, — подтвердил Терра.

— С глубоким благоговением перенес я сюда всю эту невзрачную обстановку, в которой протекала его титаническая деятельность, вплоть до папок и спичечниц! У меня хранится даже немного собственной почтовой бумаги великого мужа. — Наконец ему удалось остановить часы; он слез на пол. — Милый друг! — Теперь он двигался по комнате много свободнее, чем раньше. Кто-то постучал, и он сам взял у чиновника принесенную бумагу. — Ну, вот она, у нас в руках, — сказал он вне всякой связи с предыдущим разговором. — Дело слажено, вы можете немедленно отправляться в избирательный округ.

— В избирательный округ? — переспросил Терра.

— Я решил предоставить вам освободившийся мандат в рейхстаг. Пока что подождите противоречить или соглашаться.

— Какая партия избирает меня?

— Имперская партия, именуемая также партией свободных консерваторов. Фракция нуждается в интеллектуальных силах. Кое-кто вспомнил о вас. Не я, — добавил он в ответ на глубокий поклон Терра. Он остановился у письменного стола под портретом Бисмарка во весь рост, работы Ленбаха, и принял осанку государственного мужа: — Рейхсканцлер не занимается личным составом парламента, он стоит над партиями. — И так как Терра изобразил глубочайшее благоговение, он продолжал: — Теперь вы думаете: оно и видно; недаром он разглагольствует здесь и вербует в свою любимую партию удобных ему людей. Но это неверно, в данном случае я забочусь только о вашем благе.

— Ваше сиятельство, — сказал Терра, прижав руку к сердцу, — вы всегда осыпали меня незаслуженными благодеяниями. Вряд ли найдется сердце, которое билось бы с такой горячей признательностью навстречу своему высокопоставленному другу и благодетелю, как мое.

— Вам не придется ничем поступаться, если вы в равной мере будете и свободным и консервативным, — по-прежнему деловым тоном сказал Ланна.

— А если бы и понадобилось поступиться! — воскликнул Терра в порыве преданности.

— Я признаю за вами право на внутренние оговорки. Чем чаще мы будем работать вместе, тем меньше их останется. — Ланна обошел вокруг стола и сел рядом с Терра на диван, так что их колени соприкасались.

— Поймите меня, милый друг, у меня должны быть друзья в отдельных фракциях, иначе я потеряю почву под ногами.

— Ваше сиятельство, вы возвышаетесь над партиями и над той почвой, на которой они стоят, — заметил Терра с холодной почтительностью.

— Но они должны голосовать за меня. Ни один депутат не станет добровольно голосовать за министра, которого не знает, который не хочет быть с ним на равной ноге и вдобавок ничем ему не импонирует. — Потом в крайнем раздражении, тем неприятным голосом, каким он говорил, когда бывал раздражен, рейхсканцлер добавил: — Не всякому дано, облачившись в мундир с желтым воротником, нагонять страх на оппозицию и пинать ее своими смазными сапогами. — При этом он бросил взгляд на портрет Бисмарка в натуральную величину, висевший над письменным столом.

Молчание.

— Несомненно, только в силу ограниченной сообразительности, — осторожно начал Терра, — я из всего изложенного здесь вашим сиятельством выношу впечатление, что при подобных обстоятельствах министр должен приветствовать неограниченный парламентаризм, как величайший дар небес.

— Кому вы это говорите! — Ланна вздохнул, но не слишком глубоко и продолжительно. И тут же снова перешел к фактам: — Мне нужны друзья, так как противников у меня довольно даже и в имперской партии! — Новый вздох, уже

несколько глубже, а затем: — Вы, господин адвокат Терра, интеллигент ультрасовременной складки. Духовные устремления интересуют вас не меньше, чем реальная действительность. Я не раз беседовал с вами с самых восприимчивых лет вашей юности и льщу себя надеждой, что мое влияние играло некоторую роль в вашем незаурядном развитии.

Взгляд. Терра поклонился.

— Тогда в Либвальде вы необдуманно заняли позицию идеалистического анархизма. Теперь вы знаете, что именно идеалисту особенно важно быть в то же время и деловым человеком.

— Да, это верно, — удивленно сказал Терра. Он широко раскрыл глаза и сосредоточенно ожидал, что последует дальше. А дальше последовало:

— Возьмем ваших подстрекателей. Социал-демократ обсуждает в рейхстаге этот случай, никакого впечатления! Но вы? Допустим, накануне вы произнесли длинную речь, в которой дали безоговорочно положительную оценку моей политике. Вы, как и я, в социальных вопросах чрезвычайно осторожны, зато в вопросах культуры вы мыслите свободно. Всем ясно, что мы с вами действуем заодно. Если же вы после этого станете на защиту подстрекателей, какой получится эффект?

Взгляд. Терра застыл с открытым ртом.

— Эффект будет тот, что принадлежащие к вашей фракции представители тяжелой индустрии будут приперты к стенке, — подчеркнул Ланна. — После вашей речи можно было бы даже усомниться в гуманнейшем законе о тюремном заключении, не будь он случайно детищем его величества, — успокаиваясь, заключил Ланна.

Терра смотрел на него с восхищением: «Значит, меня посылают против Кнака. Черт возьми! Идея, достойная меня». Терра водил языком по губам, все его лицо скорчилось в дьявольской гримасе.

— Так надувают честных людей, которые твердо уповали на то, что они одни умеют обманывать.

— Вслушайтесь в свой тон! Вы как-то странно гнусавите, — остановил его Ланна и кротко добавил: — Разрешите мне обратить ваше внимание на внешнюю сторону. Вы могли сказать и нечто более рискованное, но нельзя это подчеркивать гнусавым голосом и чересчур выразительной мимикой. Вам надо стать безличнее, надо стать деловым человеком, даже оставаясь самим собой.

Все это было сказано в тоне попутного добавления к законченному разговору. Терра понял и встал. То сплетая, то расплетая пальцы, он в смятении произнес:

— Надеюсь, ваше сиятельство, даже в самую трудную минуту вашей жизни вы будете достаточно великодушны, чтобы не считать меня безнадежным ослом, который ложно истолковал что-то в ваших словах. Я не слышал и не сохранил в памяти ничего, кроме того, что вы оказали мне высокую честь и сочли меня достойным представлять в парламенте германский народ, высшее попечение о котором находится в ваших руках.

— С глазу на глаз я по достоинству ценю ваш витиеватый стиль, — сказал Ланна примирительно. Он протянул руку для прощания. — Президиум вашей фракции ждет вас. А вам не любопытно узнать, кто мне так своевременно напомнил о вас? —

окликнул он уходящего посетителя.

Какая странная улыбка! Хитрая, смущенная, немного укоризненная и высокомерная и вместе с тем радостная. Терра выразил удивление.

— Так вот, дело было в салоне Альтгот, — пояснил Ланна. — Кстати, поторопитесь попасть в этот политический детский сад. А кроме того, приходите и к нам. Дочь на днях посетовала, что вы совсем нас забыли.

— Не Мангольф ли напомнил обо мне? — вырвалось у Терра помимо его воли. По лицу Ланна было ясно, что он ожидал другого вопроса. Теперь на лице его выразилось сожаление.

— Ваш друг Мангольф последнее время думал исключительно о себе. Сначала женитьба, потом пост помощника статс-секретаря. Мне придется его назначить, тесть его этого желает во что бы то ни стало, — добавил он крайне озабоченным тоном.

— Моего друга Мангольфа я знаю, — заметил Терра многозначительно. — Его карьеризм является следствием глубочайшей скромности.

— Прекрасно, но он опять насаждает на меня. — С озлоблением: — Все, что я для него делаю, мне приходится делать под его нажимом. Но подождите, пробьет час отмщения. — И видя, что Терра умиротворяюще поднял руку: — О, вы! Вы воображаете себя демократом. Но именно вы — настоящий аристократ; сидите себе в своей башне и даже не появляетесь. Кто хочет вас видеть, должен посылать за вами, как за маркизом Поза²⁴. У меня такое чувство, словно я совершил невесть какой подвиг, послав за вами. С вашим другом Мангольфом не то: хотите знать, какой я готовлю ему сюрприз?

— Ваше сиятельство, то, что вы уделяете мне от избытка своего разума, всегда для меня плодотворно.

— Я вынужден назначить его помощником статс-секретаря, — хорошо, согласен. Но кого я провожу в личные докладчики? А личный докладчик, хотя и не имеет особого чина, занимает значительно более влиятельное положение. И кому я предоставляю это положение? Его врагу — Толлебену. Так ему и надо! — Рейхсканцлер схватил за плечо будущего депутата. — Один уничтожит другого — такова государственная мудрость. — И, весело смеясь, он, наконец, закрыл за гостем дверь мемориальной комнаты.

В своем избирательном округе Терра обеспечил себе успех речами, которые, кстати, мог бы произнести кто угодно.

В рейхстаге депутат Терра вначале обратил на себя внимание самым невинным способом, делая замечания исключительно технического характера. Они были умны, всегда кратки и ни в чем не противоречили убеждениям консервативной партии. Основную свою деятельность он перенес в лоно фракции; его единственной целью было успокоить умы насчет своих намерений. Выступив, наконец, по принципиальному поводу, Терра дал себе слово, что не выскажет ни одной собственной мысли. Он цитировал Бисмарка, депутата Швертмейера, каждого оратора,

²⁴ ...как за маркизом Поза. — Маркиз де Поза — персонаж драмы Ф.Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский», отличавшийся гордым и независимым характером.

пользовавшегося популярностью в парламенте. Он цитировал даже Кнака, который не говорил никогда. Настоящей темой его речи был протест против туманного, запутанного и дезорганизирующего понятия свободы, политической свободы. По этому поводу он выразился словами Гете: «Только посредственность стремится поставить на место неограниченного целого свою узкую обособленность...» Эти слова когда-то в Либвальде прочно внушил ему Ланна, и теперь он приписывал их Ланна, а не Гете.

Ланна, сидя за столом Союзного совета²⁵, расплывался в улыбке. Он подозвал к себе депутата и по-товарищески поздравил его. Он напомнил ему также о ближайшем парламентском вечере у него дома. На этот раз Терра не смеет уклониться.

Но Терра уклонился, потому что его жизнь и то, что он делал, говорил, отстаивал, все вплоть до собственной его личности никогда даже отдаленно не были ему так отвратительны, как теперь. Окруженный не только уважением, но и особым почтением, он вспоминал о самых тяжких обидах своей мрачной юности, как о небесной росе. Тогда ты в любой толпе встречал неприязненные и презрительные взгляды. Не было недостатка в людях, готовых заклеить тебя. Теперь они если не вполне обмануты, то укрощены. Ты пользуешься известностью и высоким покровительством. Такое положение и благосклонность канцлера непременно должны быть вызваны какими-то особыми заслугами и связями, — так думают те, кто вообще задает себе вопрос, почему они кланяются ниже тому или иному человеку. Для них ты изысканно одеваешься, придаешь лицу невозмутимое выражение. И все-таки кое-кто пугается: бывают случаи, когда маска съезжает у тебя с лица. Берегись! Только что на трибуне у тебя явилось искушение оскалить зубы и высказать им в лицо жестокую правду.

Пока ты как будто ближе к власти, чем большинство из них, они проглотили бы эту правду, что, пожалуй, хуже всего. Твой провал несомненно порадовал бы их, ибо инстинкт все-таки правильно руководит ими. Но коль скоро ты держишься на поверхности, подразумевается, что ты стараешься быть похожим на них и что они этому верят. Продажность наименьшее из зол. Можно просто принять ее как факт и даже сделать вид, что ты и сам не без греха. Депутат Швертмейер никак не мог бы прожить на одно свое либерально-патриотическое красноречие, без чаевых, получаемых от крупных промышленников, для которых он вербует мелкую буржуазию. На своих местах депутаты находят проспекты, — например, проспект нового типа мачт для военных кораблей. Мачты эти, как подчеркивает фабрикант, дороже, чем применяемые теперь, и быстрее требуют замены. Следовательно, кто покровительствует им, чаще зарабатывает. Детские забавы! Ты приходишь в отчаяние не из-за них. Давать наживаться — один из принципов самой системы. Ланна разрабатывает план, по которому суточные депутатов превращаются в своего рода взятку. Никто этого и не заметит. Все такие дела проводятся келейно; во всяком случае они не запрещены. Нелепо предполагать, что люди, занятые общественной деятельностью и уважающие друг друга, не уважают самих себя.

Единственный, кто считает здесь свою роль сомнительной, — это ты. Ибо ты пришел сюда, чтобы обмануть других. Ты намереваешься коварно навязать им, живущим сегодняшним днем, идеи дальнего прицела. Для этого ты лицемеришь,

²⁵ *Союзный совет* — коллегия уполномоченных союзных германских государств, обладавшая законодательной и исполнительной властью.

лжешь, льстишь, носишь маску, по мере сил отнимая у себя последние остатки самоутверждения. Когда тебя оплевывали, ты больше верил в себя. Ты потерпел поражение в борьбе за человеческое достоинство, а ведь эта борьба была целью твоей жизни. Раз уж ты себе изменил, смотри не продешеви себя!

Терра внушал некоторым членам фракции, будто можно предпринять что-то новое, озарить повседневную суетню отблеском высоких идей, заронить искру, которая воодушевит избирателей и непременно в пользу нашей партии. Он твердил им: исторический опыт учит, что больше всего отклика встречают в массах идеи гуманности, если не считать полную их противоположность, идеи националистические, дающие тот же эффект.

Мы же готовы выступить в защиту гуманистических идей лишь потому, что дело Дрейфуса делает их сейчас особенно актуальными. Причины всеобщего интереса к невинно осужденному французу весьма сложны и темны. Здесь играет роль даже чувство справедливости, хотя в наших собственных делах оно, слава богу, не зашло бы так далеко, чтобы подорвать престиж власти.

— Мы, немцы, еще не настолько развращены! — добавляет Терра при общем одобрении.

Итак, для того чтобы воспользоваться созданным умонастроением, нужно провести какое-нибудь человеколюбивое мероприятие на пользу более или менее значительной группы наших угнетенных братьев, но так, чтобы нам самим это не принесло ни малейшего ущерба. Кто наиболее подходит для этого? Сельскохозяйственные рабочие? — спрашивал Терра у своих коллег-промышленников. И сам отвечал: борьба за их права представляет монополию социал-демократов. Солдаты, унтер-офицеры? Это не нашего ума дело, — безапелляционно решил он. Значит, просто люди? От какого гнета можно их избавить? И провозгласил, словно по наитию: от смертной казни!

— Отменить ее, пожалуй, возможно — именно потому, что об этом никто не думает. В программе у социал-демократов имеется, конечно, и такой номер, — чего, впрочем, у них нет? Но просто на всякий случай и вполне платонически. В наших устах это требование покажется более веским и подействует так, словно мы во всеуслышание бросили в ликующую толпу миллиардную цифру. Большие числа действуют воодушевляюще, как вы, господа, вероятно, уже заметили сами.

Удивленные господа молчали; недоуменные замечания позволили себе только те, кто сидел далеко от Терра. Ближе и выжидательно сидел Кнак. Может быть, за этим скрывается рейхсканцлер? С намерениями, которые еще неясны? Внимание! — думали Кнак и прочие. У коллеги Терра был такой лукавый вид, словно ему многое известно. И действительно, коллега Терра сказал следующее:

— Вам, господа, конечно трудно осознать, что представляет собой отмена смертной казни. Господа! Для выборов это золотое дно, а на деле — просто ловушка. Голоса достались бы нам даром. Ибо смертная казнь не может быть отменена — прежде всего потому, что все мы смертны. Кроме того, я надеюсь, что мы все, к нашей чести, глубоко убеждены в неизбежности грядущей войны, которая будет величайшим событием в истории нашего народа, — прогремел Терра, поднимаясь с места. Слушатели, включая и Кнака, были вынуждены реагировать одобрительным шепотом.

Неожиданно коллега Терра состроил преувеличенно лукавую гримасу.

— Итак, посмотрите, господа, что практически останется от отмены смертной казни. Только одно: горстка убийц будет упрятана в тюрьмы, вместо того чтобы быть казненной. Прекрасно. Это никого не трогает. Зато мы, милостивые государи, будем окружены ореолом гуманности, и никто, даже спустя сто лет, не посмеет от нас требовать, чтобы мы ратовали за разоружение, за третейский суд, за всеобщий мир.

— Правильно, — слышались голоса.

— Обманутой окажется социал-демократия, которая, как обычно, этого и не заметит. Она мало смыслит в отвлеченных политических вопросах, наша славная социал-демократия. Нельзя же думать обо всем. Кто постоянно занят вопросом об увеличении заработной платы рабочим, легко забывает, что война в мгновение ока вместе с заработной платой поглотит и самих рабочих. Но вопрос о войне, слава богу, решаем пока что мы.

— Bravo!

Предоставив собранию изощряться в насмешках по адресу социал-демократии, сам Терра вскоре удалился. Он явно добился успеха, однако заметил, как те, кому он пожимал руку, незаметно вытирают ее в кармане. Он обливался потом и изнывал от усталости, будто долгие часы рубил дрова. Но самое ужасное: софизмы, которые он измышлял, поколебали его собственную веру. Очевидно, так оно и было, как он говорил, ибо в самой жизни отсутствовала логика.

Из залы к нему еще доносился смех; он знал примерно, о чем там говорят. «Ну и иезуит наш коллега Терра! Только его уловки ни к чему, все это шито белыми нитками. Такие простакки всегда рады перестараться. Но откуда это у него? Неужели действительно от Ланна?»

От рейхсканцлера всего можно ожидать. Он достаточно разносторонний и деловой человек, чтобы заниматься отменой смертной казни в тот момент, когда сам он по горло занят отклонением попыток Англии заключить с нами союз. Дело зашло так далеко, что рейхсканцлер, нарушая искони строго соблюдаемую тайну переговоров, счел необходимым открыто огласить в рейхстаге английские козни. Все равно ведь пангерманская пресса была начеку, она знала все. Итак, рейхсканцлер доложил, что опасность сближения нарастала в течение трех лет и сейчас превратилась в весьма серьезную проблему. Он не стал перечислять все те ужасные последствия, какими нам грозила дружба с Англией, что вполне понятно со стороны стоящего у власти государственного деятеля. Достаточно сказать, что, согласно планам Англии, на одно германское военное судно в будущем должно прийти пять английских. Правда, такое соотношение существует и сейчас; если же мы сохраним его, тогда прощай свободное развитие нашей мощи, прощай флот, общее любимое детище императора и буржуазии.

Таково было положение дел, но тут нам посчастливилось: один из английских министров открыто в недоброжелательном тоне сообщил несколько исторических фактов, касающихся нашей армии. Хватит, теперь можно вздохнуть свободно, конец церемониям, презрительное равнодушие нашего общества к домогательствам Англии вдруг сменилось решительным протестом. Вспыхнул гнев против лицемерного врага, который забылся и стал не в меру дерзок. Закипела злоба на жадную акулу,

рассчитывавшую парализовать притворным миролюбием нас, своих прямых преемников в мировом владычестве.

После того как вся Германия неистовствовала целую неделю и у каждого гражданина составилось в голове определенное, как из чугуна отлитое, мнение, тогда наконец-то и рейхстагу было предложено принять к сведению создавшуюся ситуацию. Предстоял большой день, это было видно уже при входе в зал заседаний по необычной сдержанности каждого депутата в отдельности; все словно боялись друг друга. Каждый, кому дорога его политическая карьера, должен следить за собой больше, чем за соседом. Сегодня опасно произнести хоть одно лишнее слово, обнаружить собственное лицо. Это день стихийного слияния с национальной совестью. И, повинувшись ей, оратор на трибуне высказывает свои обезличенные истины. Дыши в унисон — или вовсе не дыши! Оратор говорит сотнею тысяч глоток, он говорит в такт поступи полков.

Длинные ряды высунувшихся вперед тел, рук, открытых ртов. «Слушайте! — Слушайте! — Неслыханно!» Обратный порыв только у стропливой кучки социалистов, которые клонятся назад, ища, за что бы ухватиться. Вот один, из них всходит на трибуну. Они осмеливаются говорить, они раздражают все собрание. Свист, подхлестнутая масса прихлынула к самой трибуне, взмыленные головы, как гребни волн, вздымаются у ее подножья.

Оратор, пожилой человек, сразу же внушает подозрение патриотически взвинченным депутатам. Значительную часть своей жизни он прожил за границей, взгляды у него уже не вполне немецкие. В политике он англофил; дружба с Англией — его конек. Все понимают: если бы западня, в которую нас заманивают, не была уже поставлена Англией, он сам постарался бы поставить ее. Отсюда недалеко и до государственной измены. Собрание насторожилось, готовое к прыжку. Одно неосмотрительное слово — и оратор будет сброшен с трибуны... Но он оперирует числами, экономическими данными, пусть они ничего не решают, но с ними надо считаться. Однако собрание ничего не хочет слушать, оно шумно выражает нетерпение. Цифры, в которые никто не вникает, разочаровывают в конце концов и самого оратора. Он хочет воодушевиться, прибегает к пафосу. Его пафос звучит неубедительно, он звучит, как назойливые мольбы о спасении. Злобный вой поглощает их. Вытянутые руки приказывают: умри!.. Тогда он отступает, на его согбенных плечах вся тяжесть неудачи, он отступает под всеобщий презрительный хохот.

«Его жизнь кончена! — думает Терра. — Он плохо распорядился ею, потому что строил ее в расчете на человеческий разум. Но на разум рассчитывать нельзя. Кто хочет лучше употребить свою жизнь, чем этот социалист, должен основываться на человеческом стремлении к хаосу, на человеческом законе катастрофы. Только хитростью и лицемерием мне, может быть, удастся еще отнять у них шанс на желанную им бойню». Навстречу отступающему социалисту он сам поднимается на трибуну, намереваясь говорить сотнями тысяч глоток. Но в решительную минуту не чувствует в себе достаточной уверенности. Пример отступившего пристыдил и парализовал его. Он хочет вложить силу тысячи глоток в те слова, которые выкликало уже столько ораторов, но у него они куда-то проваливаются. «Англия ищет мира из страха!.. Значит, мы отказываемся от него из удальства? — думает он. — Англия чувствует себя сильнее! Значит, мы не хотим дружбы с сильнейшим?» — думает он. Отчаянное положение патриота, которого смущает логика.

Терра взглянул искоса на рейхсканцлера; тот, скрестив руки, следил за борьбой депутата с логикой. Лицо его выражало твердость и величие, оно говорило: судьбы мира решаются за этим столом и на этом стуле, как ни говори, логично ли, нет ли... Пробор сверкал на его высоко вскинутой голове.

Терра завидовал безмятежной ясности Ланна; ему самому туманили голову угар и чад националистического возбуждения, захватившего трибуны зрителей и ложи знатных гостей. В одной из лож Терра увидел улыбающееся лицо. Лицо белое, удлинненное; под большой шляпой с перьями сузившиеся в щелку темные глаза излучали улыбку. Терра пытливо заглянул в них. Лучистые глаза говорили ему: «Неужто ты такой новичок? Тебе тут разыгрывают разгул стихий, а ты и не видишь режиссера?»

Тогда он действительно понял, что все здесь инсценировано. Волны, которые вскипали, бурля, держались на нитках, и каждая в отдельности силилась быть на высоте. «А ну-ка, налегай!» — говорило неукротимое стремление вперед. Взмыленные головы на разнужданных телах, но если только застать их врасплох, — совсем трезвые глаза и равнодушные лица давным-давно во всем изверившихся парламентариев, которые разыгрывают перед избирателями энтузиазм. Жалкие статисты, лучшие роли разобраны, вы же на сегодня лишены даже обычной отдушины — домашних забот и не смеете под шумок писать письма. Ваши заправилы начеку, они сейчас особенно усердствуют; им предстоит либо потерять состояние, либо нажать его. В центре своей фракции всеми действиями командует Кнак, олицетворенное спокойствие.

Под давлением такого сплошного обмана сама истина превратилась бы в ложь. Не оскверняй ее! Голос Терра внезапно окреп, громко и слегка в нос он теперь с апломбом повторял все, что сегодня уже было произнесено против Англии. Он ничем не стеснялся. «Англия нуждается в нас из-за буров! — И тут же, не переводя дыхания: — Она нас самих считает бурами!» В дипломатической ложе какой-то господин с моржовыми усами не выдержал и выругался вслух, но тут Терра закончил свою речь на самой высокой ноте.

Рейхсканцлер и на сей раз подозвал его к себе. После нескольких лестных фраз он настоятельно потребовал, чтобы Терра посетил его в ближайшее время. «Мне надо вам сообщить кое-что неприятное», — и при этом подметнул ему.

— Слово принадлежит господину рейхсканцлеру, — объявил председатель.

Ланна, сидевший посреди своего штаба из членов правительства, поднялся с места. Помощник статс-секретаря Мангольф наспех пожал руку депутату Терра.

— Твой взгляд на существующее положение вполне совпадает с нашим, — заметил он деловым тоном, с торопливой угодливостью подавая своему начальнику какую-то добавочную справку.

Рейхсканцлер говорил о немецком миролюбии, в противовес депутатам, которые упустили это из виду. Он наверстывал их промах, подробно и настойчиво распространяясь на эту тему. — Поведение Германии на прошлогодней мирной конференции в Гааге²⁶ не встретило правильной, чтобы не сказать честной оценки.

²⁶ ...на прошлогодней мирной конференции в Гааге... — Имеется в виду Гагская конференция 1899 года, которая привела к заключению трех конвенций: 1) о мирном разрешении международных споров; 2) о законах и обычаях сухопутной войны; 3) о применении женеvской конвенции о раненых и больных к морской войне. Но разве за это время

Мы воспротивились требованию ограничить сухопутные вооружения — совершенно верно! — точно так же, как теперь морские. Но разве за это время Англия не совершила нападения на буров? И другие государства, выступавшие в Гааге, тоже за это время успели нарушить мир. Только не Германия!.. — Чтобы сильнее подчеркнуть эти слова, рейхсканцлер с силой ударил по столу карандашом, карандашом бисмарковского формата. Его обычная выдержка сменилась неестественной резкостью, сочный голос стал хриплым, всем своим видом он выражал негодование. — Почему мы отказались ограничить вооружение? Из миролюбия. Только вооружение поддерживает мир. *Si vis pacem, para bellum.*²⁷ — И карандаш, видимо, был железный, иначе он сломался бы.

Терра взглянул в ту ложу. Одинокое лицо под большой шляпой с перьями, теперь прикрытое вуалью, смутно мерцало из тумана.

Между тем рейхсканцлер дошел до единоборства со своим истинным врагом, английским министром. Он вытягивался всей своей расплывшейся фигурой, как на постаменте. Упершись рукой в округлое бедро, он выразительным взглядом искал противника, который именно так, а не иначе, стоял на своем лондонском постаменте. О, какое удовлетворение говорить с древней мировой державой, как равный с равным! Какое сладострастие возвещать вывернутые наизнанку истины! Упоение угрозами! Весь рейхстаг дышал разреженным воздухом горных вершин.

Терра едва различал там наверху совсем отодвинувшееся в тень лицо. Сам он поспешил к выходу.

На этот раз Терра пошел официально, через главный вход. Но Зехтинг, который отправился в кабинет доложить о нем рейхсканцлеру, немедленно вернулся. Его сиятельство предпочел бы принять господина депутата рейхстага у себя на квартире. Слуга в светлой расшитой ливрее стоял уже наготове, чтобы проводить его — через весь зал заседаний и через анфиладу комнат, выдержанных в различных тонах.

Опять перед ним раскрывались двери, опять в комнаты, через которые он проходил, падал свет из осенних садов — тех же, что и тогда. Из садов, ширь и пустынность которых как бы отделяла их от города, хотя находились они в оживленном центре; а среди садов были разбросаны, с расчетом на романтическую торжественность, правительственные здания. Терра, который по следам женщины пришел некогда в одно из этих зданий, шел теперь в другое по тем же следам. Другие комнаты, он сам тоже другой; и все же повторяется давно канувшее в вечность мгновение. Такой же путь проделал он несколько лет назад — и так же за его плечами были годы труда и лишений. Девушка там, в последней комнате, за прикрытой дверью, и тогда не знала, что он приближается. Его приход был мстью и вместе с тем самоотречением. Это было пронизанное счастьем мгновение после застывших на месте лет. И вот оно снова вернулось, все вернулось вновь. Жизнь последовательно повторяет то, что нам суждено, пока мы способны вместить все это.

Сердце его трепетало; но последняя дверь отворилась без заминки, там сидела она.

Англия не совершила нападения на буров? — В 1899—1902 годах Великобритания вела захватническую войну против южноафриканских (бурских) республик Оранжевой и Трансвааля, завершившуюся превращением их в английские колонии.

²⁷ Если хочешь мира, готовься к войне (*лат.*)

Она взглянула ему навстречу, глаза ее почти закрылись, то сияние, которое было ее улыбкой, теперь притаилось. Свет из-за драпировок искрился в ее волосах и смягчал контуры шеи.

Он взял ее руку, как ей хотелось, чтобы он взял, и прикоснулся к ней губами, как она желала. Он подвинул себе стул, на который указала она. Едва он сел, как сама она поднялась. Она раздвинула драпировки, все драпировки, — стало светло, как в саду. Он считал это самозащитой, отказом; в сердце его вкралась грусть. Тогда она обернулась к нему, и он увидел: она готова заплакать... от радости.

Он тоже встал; они вглядывались друг в друга молча и неподвижно, вся жизнь сосредоточилась в глазах. Каждый из них искал в чертах другого следы того, что было пережито в эти годы разлуки, а также следы их общих воспоминаний, прежнего чувства. Она трепетала, стараясь разгадать, оставалась ли она для него все эти долгие годы единой целью, единым смыслом. Он же вопрошал ее сердце, ждало ли оно. И вдруг оба опустили головы, то ли смирившись, то ли не поняв, — и заговорили.

Они рассказывали друг другу о впечатлениях сегодняшнего заседания в рейхстаге, но говорили тихо, рассеянно и слегка улыбались: пусть другому будет ясно, что подразумевается совсем не то.

— Ваш отец был сегодня в ударе.

— На трибуне он очень легко теряет чувство меры, совсем как за едой, — сказала она рассеянно. В это время оба они увидели того, о ком говорили, он уходил в глубь сада, а справа от него шел господин в военной форме — император.

— Вершина успеха! — заметил Терра с полуулыбкой. Она ответила только на улыбку; тогда он тоже оставил эту тему и опять заговорил о себе. — Я вынес из очага националистического воодушевления бесконечную грусть. Но это грусть плодотворная.

Чуть приподняв брови, она мечтательно вслушивалась в его слова, а может быть, только в звук голоса: усталые мечты. А он погрузился в созерцание ее пропорциональной и упругой стройности, свежести ее красок: все еще по-девически юная, совсем как тогда, — а над гармонией тела парит незапятнанная душа ее глаз. Невыразимая благодарность переполнила его сердце, благодарность за то, что она осталась такой.

— Я вас видел издали тогда, на свадьбе. А вы предполагали, что я там? — произнес он тихо, сдавленным голосом. Тогда заговорила она, и голос ее прозвучал так неуверенно, точно он вот-вот оборвется и замрет.

— В салоне Альтгот говорили о вас.

Теперь он понял, кто произнес его имя, кто хлопотал о нем.

— Вы обратили на себя внимание, — добавила она. — Сейчас самый для вас подходящий момент поступить на государственную службу.

— Давно уже ходят слухи, будто скоро ваша помолвка. Я не верил этому, — вместо ответа сказал он.

Тут оба остановились, на пути к развязке. Они увидели в окно идущих обратно по аллее сада Ланна и императора. Канцлер осыпал своего повелителя блестками нежности и остроумия, как мужчина, ухаживающий за дамой, которой надлежит

беспечно ступать по розам. Император принимал все это оживленно и приветливо...

— Когда-нибудь это должно случиться, — заговорила она решительно, тоном человека, пробужденного от грез.

— Почему? — спросил он, вздрогнув. — Вы и теперь такая, какой были всегда, ни один волосок не лежит по-иному.

— Вы говорите о маске. А под ней, поверьте, произошло много перемен. Я не могла остаться такой же неприступной, какой вы знали меня. Мне пришлось столкнуться с людьми. — Широко раскрытые глаза приковывали его взгляд. — Жизнь заставляет идти на уступки, — добавила она; и тут же: — Двоюродный брат Толлебена назначен личным адъютантом императора.

Он страшно испугался, внезапно поняв что мог опоздать. От испуга он почувствовал в себе прилив силы, а не любви.

— Приказывайте! — Он встал для большей убедительности. — Я поступлю на государственную службу. Я откажусь от всего, чем жил. Я перешагну через все и буду принадлежать вам всецело. — Она испытующе смотрела в его подергивающееся лицо, а он то сплетал, то разжимал пальцы. — Именем всемогущего бога молю вас, не сомневайтесь в моей непоколебимой решимости! Я, без сомнения, способен достигнуть многого. Я могу в один прекрасный день отпраздновать такую же многообещающую свадьбу, как та, на которой мы видели друг друга в последний раз.

— Берегитесь, как бы вас не поймали на слове, — с неожиданной сухостью сказала она. — Вам кажется, что я для вас совершенно недоступна? Ошибаетесь. Мой отец охотнее согласился бы на вас, чем на Толлебена. Много охотнее — как только вы сделаетесь тайным советником. Но я не занимаюсь устройством дел моего отца. Слышите?

— Как нельзя лучше. — И он тотчас отпарировал ее вызов: — Вы хотите властвовать. Эта черта в вас мне знакома. В качестве супруга для вас приемлем лишь тот, кто может сменить вашего отца на посту рейхсканцлера. Меня же он не боится, и для вас я неприемлем. Я преклоняюсь перед вами, графиня. После длительной и безуспешной выучки я вновь стою перед вами, как самый что ни на есть глупый юнец.

Он захлебывался от гнева, ему сразу все стало ясно. Благожелательный отец со своими предложениями. «Дочь еще недавно вспоминала...» А дочь! Вместо того чтобы выйти за него замуж, она, вероятно, грозила, что убежит с ним. На сей раз похищение — уже не юношеское сумасбродство, а трезвая сделка. Вернувшись, она получит разрешение на Толлебена.

— Сильные мира, кажется, хотят впутать меня в свои интриги, — захлебываясь, говорил он. — Мне придется не шутя пустить в ход кулаки, чтобы спасти свою шкуру.

В его гневе она видела страх, отчаянную борьбу за человеческую душу. Она наклонилась вперед, взяла его за руку и усадила обратно в кресло.

— Не мучайтесь! Я знаю, что вы не можете ничего сделать для меня. Поэтому я и была с вами вполне откровенна. Будьте откровенны и вы. За вашими публичными успехами вы скрываете другую, тайную деятельность, она-то и есть настоящая. У вас только одна истинная страсть.

Он не заметил ревности, звучащей в ее словах.

— Только одна страсть, — повторил он. — Борьба за отмену смертной казни. Я не политик, путеводной звездой мне служит лишь животворящий разум, я хочу подставить ножку смерти, которая подкрадывается отовсюду.

— Я знаю, чего вы хотите, — сказала она, по-прежнему глядя на него широко раскрытыми глазами, в тоне ее была непривычная ребячливость. — Вы против нас.

— Ваш уважаемый отец ни одним словом не выразил неодобрения моей агитации, — с притворным испугом перебил он и посмотрел в окно. Ее отец по-прежнему увивался вокруг монарха. Она последовала за ним взглядом.

— Но ему известно, куда вы клоните, — жестом показывая, что ей это безразлично. Она закусила губу и все же молча договорила самое главное, а для нее совершенно неожиданное: она сдается, она переходит в другой лагерь — к нему. Пусть он действует против ее класса, против ее отца, против нее самой: она все же хочет к нему. — А вы мне не доверяли! — без тени насмешки в глазах.

Он весь затрепетал; он бросился к ее ногам.

— Так слушайте же! — воскликнул он и схватился за грудь, словно хотел раскрыть перед ней свое сердце. — Я действительно злоумышляю против ваших близких. Вы единственная, кого я не могу обманывать. Теперь между нами все кончено.

Прижавшись лбом к ее руке, он ждал, — но она молчала. Когда он поднял голову, на лице у нее он увидел отчаяние. Все решено, она не принесет жертвы, как не принесет и он. Канцлер и император ушли из сада. Сейчас войдет ее отец. Терра выпрямился во весь рост, притянул ее к себе; держась за руки, оба тяжело дышали, приблизив лицо к любимому лицу. «Мы враги: так будет всегда. Все тщетно! Все тщетно!» — говорили их вздохи, их страдальческие глаза. Вот уже руки поднялись для объятия; сейчас свершится непоправимое; но в этот миг где-то хлопнула дверь. Они услышали голоса и бесшумно отодвинулись друг от друга.

Дверь открылась в то время, когда они в молчаливом ожидании глядели на нее. Рейхсканцлер пропустил вперед госпожу Беллу Мангольф, у него под мышкой была целая кипа газет.

— Я хотела немедленно сказать тебе, что речь твоего отца для меня крупное событие, нечто неповторимое, — сказала Белла и поцеловала Алису.

Очередь была за отцом. Он подошел к дочери, раскрыв объятия, с улыбкой, от которой сердце рвалось на части. Улыбка говорила: «Любимая, мой успех пока еще и твой, а потому прости мне его!» Для поцелуя он отклонил ее стан назад и тотчас снова легко поднял ее. Это было выражением силы и доброты. «Верь мне и будь осторожна!» Она так это и поняла. Из ее закрытых глаз выкатилась слеза. Она подняла глаза и сказала:

— Ты такой большой человек. Я так горжусь тобой. — Заплаканная улыбка, как прощание. Он ответил горестной улыбкой...

— Меня сильно задержали, — сказал Ланна, поднимая брови. Терра почтительно поклонился. — Император такая значительная личность! — воскликнул канцлер, он, видимо, не мог сдержаться. — Гениален и прост, он воодушевляет меня, а сам остается спокойным. Я благоговею перед ним. — И тут же, без паузы: — Вы читали газеты?..

Можете радоваться! Растерянность полная!

Здесь Терра заметил, что у Алисы Ланна появилась складка между бровями, которая придавала ее ясному лбу какую-то ограниченность. Взгляд сделался близоруким; так принимала она любезности Беллы и слушала жалобы отца на прессу. Пресса не вполне уяснила себе важность и всемирно-историческое значение его поединка с английским министром. Он считал, что его недооценили. Терра вспомнил об альбоме с газетными вырезками и, повинувшись какому-то импульсу, заговорил словами статьи, которую мог бы написать.

— Напишите ее, время не ушло! — воскликнул Ланна в совершенном восторге. — Самое лучшее, если вы все наиболее существенное скажете от моего имени.

На углу стола Терра набрасывал статью, руководствуясь этими указаниями. Белла Кнак-Мангольф то и дело отрывала его; она уверяла, что особенно восхищается изяществом формы в речах Терра. Несчастье коренным образом изменило ее: сорванца и попрыгуньи не было и в помине; она держала себя важно и величаво и старалась выражаться как можно изысканнее. Воздевала руки кверху под прямым углом, говорила несколько свысока и корчила гримаску, которая казалась ей глубокомысленной.

— Как это надо понимать? — спросила она у Терра. — Вы защищали рабочих, которые подстрекали к забастовке, как это надо понимать? — повторила она с раздражением.

— Но ведь их оправдали.

— Да. Однако они нас все равно ненавидят, — руки воздеты под прямым углом, — просто потому, что мы красивые, утонченные люди. Их несчастье в том, что они так ужасающе уродливы, и за это они ненавидят нас. — Гримаска.

Терра записал в свой отчет: напыщенная гусыня. Урожденная Кнак, которая стояла подле него, прочла и с возмущением удалилась.

Он кончил; вступление рейхсканцлер написал собственноручно: «Депутат рейхстага Терра был удостоен чести выслушать в более чем часовой аудиенции личное мнение главы правительства по поводу положения, создавшегося в связи с его знаменательной речью в рейхстаге». Терра вынужден был подписаться под этим. Ланна оставил статью у себя, намереваясь лично отдать ее в печать.

Терра встал, чтобы откланяться. Графиня Алиса прочла отчет, на лице у нее отразилось все ее честолюбие.

Они простились так официально, словно за интересами честолюбия, за этой светской маской никогда ничего не было.

Госпожа Белла Мангольф милостиво подняла к его губам изогнутую для поцелуя руку. Открыто мстить за обиду ей не позволяла утонченность натуры.

— Ваше сиятельство, вы сегодня днем изволили обнадежить меня каким-то неприятным известием, — с порога спросил Терра.

— Да-да. Я вынужден представить вас к ордену. — Ланна взял его под руку. — Милый друг, я знаю вас, и я в этом вопросе склоняюсь к вашему мнению. Но наденьте орден! Сделайте это для меня! У моей приятельницы Альтгот это будет весьма кстати. О вашем приглашении я позабочусь.

И Терра закрыл за собой дверь, — в пылу раздражения ему казалось, что он отгораживается ею от каких-то жалких марионеток. Неужели одна из них была его возлюбленной? Он и на этот раз не увлек ее за собой. Так будет еще сотни раз, и вся вина в ней; едва пообещав себя, она немедленно отступает. Она не способна на самопожертвование, ей суждено многое упустить в борьбе за суетные блага.

Какой свет бросает на нее эта приятельница! «Только приятельница вполне заканчивает ее характеристику. Ни за что на свете не хотел бы я упустить случай видеть их рядом». Он разглядывал мебель в комнатах, через которые проходил. Громадное роскошное зеркало в зеленой, громадное роскошное зеркало в желтой, — такое же, как в красной, из которой он вышел. Повсюду одни и те же по-старинному громоздкие диваны, консоли, столы — размеры, количество и однообразие говорили о славе и величии рода Ланна. О его древности свидетельствовали исторические реликвии, большие серебряные щиты на стенах, приспособленные для восковых свечей, на пышных каминах гербы знатных семейств, связанных с хозяевами отдаленным родством. В красной гостиной, где она принимала его, было нечто вроде алтаря, уставленного драгоценными безделушками; и кресла, среди которых разыгрывалась их любовь, были предназначены не иначе как для кардиналов. Ах, да, пресловутое миллионное наследство получено, сквозь историческую бутафорию проглядывало свежее богатство. Все здесь являло расцвет германского духа в сочетании с соответствующим великолепием и блеском.

Тем лучше! Девушке, ради которой зря пропадала его жизнь, не нужно больше надувать ростовщиков фальшивыми ожерельями, — совершенно так же, как в свое время женщина с той стороны надула некоего Морхена. «Видно, мне суждено губить себя ради такого рода женщин!»

Он уже вышел на улицу, закурил, вместе с клубами дыма выдыхая свою злость. Несколько успокоившись, он задал себе вопрос: что, собственно, случилось? Неужели хотя бы в самом отдаленном уголке души он надеялся, что сегодня будет их помолвка?

Увы! Помолвке не суждено быть никогда, и тем не менее они обречены друг другу до конца дней: со всеми желаниями и обетами, со всей страстью и ненавистью, со всей потребностью любви целой человеческой жизни... Шагая, он смотрел в землю; он чувствовал на шее ее руки, которые так и не сомкнулись вокруг него. Но даже и в мечтах они тотчас же отстранялись; он снова видел любимую, как она стояла в минуту прощания, одержимая честолюбием, словно болезнью, и казалось, будто ее знобит, как обычно знобило ее несчастного брата: он снова видел ее такой и любил ее даже за это.

Терра не очень удивился, заметив у своих коллег некоторую реакцию после националистического подъема на заседании рейхстага. Они, очевидно, вернулись к позабытой действительности; от угрозы войны с Англией было не так-то легко отмахнуться. Это рождало неприятное чувство у отрезвившихся энтузиастов.

И надо сказать, вполне обоснованное чувство, ибо что произошло дальше? Вскоре обнаружилось, что эта самая Англия предлагала нам союз отнюдь не из особой любви к нам. Ее настроение было столь мало германфильским, что она даже вступила в переговоры с Францией. Что это значит? Требовалось найти объяснение. А пока необходимо было чем-нибудь отвлечь внимание страны, не вполне уверенной в мудрости своих правителей.

Что придумать? Надо бросить подачку той части населения, которая жила отнюдь

не интересами представителей крупной индустрии и не пангерманскими восторгами. До сих пор эта часть, численно значительно большая, была менее влиятельна. Временно ее авторитет могло повысить предполагаемое оправдание Дрейфуса, которое становилось все вероятнее.

Таким путем фракция пришла к негласным переговорам с соседними фракциями по вопросу об отмене смертной казни. Секретность переговоров казалась обеспеченной взаимным недоверием сторон, ибо дерзновенность предприятия настраивала их подозрительно друг к другу, каждая фракция возлагала надежды только на молчаливое попустительство рейхсканцлера. Когда настанет момент обратиться к нему? Очевидно тогда, когда он сам подаст к этому знак.

Снедаемый нетерпением, Терра искал случая ускорить это. Он хорошо знал графа Ланна. Горячая защита невинно осужденного не входила в круг его деятельности, но отнюдь не выходила за пределы его характера. Он был бы способен взяться за эту защиту. Однако, пожалуй, не раньше, чем сравнялись бы шансы на успех или неудачу. И все же какой человек на подобном посту мог похвастать тем же? Правда, побудить к доброду делу его вряд ли могло дело как таковое или отдельная личность. Тогда, быть может, открытое давление целой группы людей? Голоса из того умеренного и благомыслящего культурного круга, к которому рейхсканцлера влекли все его симпатии?.. Депутат от имперской партии Терра убедил нескольких видных ученых, что для блага нации и ее нравственного прогресса, а также лично для них, равно как и для их ученой карьеры, им необходимо высказаться. Ученые высказались в наиболее солидных газетах, которые соответствовали их академическим вкусам. Они осторожно взвешивали все доводы за и против отмены, с осторожным, но вместе с тем явно ощутимым перевесом в сторону «за».

В ответ другие ученые высказались определенно «против», и много решительнее, чем первые. Вслед за тем сторонники «за» выступили вновь — тем энергичнее, чем меньше был их служебный или общественный вес. Борьба перекинулась уже и в периодическую печать, правда, пока только в фельетоны, и тогда на лисьей физиономии депутата Швертмейера мелькнула ехидная улыбка.

— Многоуважаемый коллега Терра, ваша карта бита, возьмите отпуск для поправления здоровья, — сказал он.

Так как Терра не понял, Швертмейер взглянул на него еще язвительнее:

— Каждое практическое предложение, которое попадает в колено принципиальных споров, обречено на неминуемую гибель. Раз начался обмен мнений, значит делу конец: так у нас водится. Разве вы этого еще не заметили?

— Господин доктор Швертмейер, я верю в свой народ, — сказал Терра вызывающим тоном.

— А я разве не верю! — поспешил оправдаться либерал-патриот.

Так обстояли дела, когда Терра прочел во влиятельной правительственной газете, а именно в «Локаль анцейгере»: «Что же, собственно, кроется за такой страстной защитой единичной человеческой жизни? Страх смерти, господин Терра! И более того: нежелание сражаться с оружием в руках, страх, чуждый германскому духу! Но все это ни к чему не приведет — несмотря на временный успех депутата Терра». При этом личном выпад Терра насторожился, он перечел статью еще раз. Где на самом

деле отменили смертную казнь? В одном из романских государств; а в другом этот вопрос бесконечно дебатруется. Только человек совершенно чуждого образа мыслей мог стремиться отвратить немца от того, чем он гордится перед всем миром: его чисто германским пренебрежением к жизни как таковой, его германской готовностью беззаветно жертвовать жизнью. «Будьте настороже: вас ведут к вырождению. И ради кого же?» Эти два слова даны курсивом. «Такой вопрос должен задать себе и господин рейхсканцлер».

Какая осведомленность, какое провидение и проникновение! Сколько глубокого понимания в этой идейной вражде! Аноним говорил еще об обезьянах и о прочих жителях южных стран, которые, правда, никого не казнят, но зато заранее обречены на поражение в предстоящей войне германской расы господ с чуждой воинственному духу цивилизацией. Затем следовало пространное восхваление грядущей войны — хотя, как понимал Терра, для его враждебного наперсника дело было не в ней. Все сводилось к тому, чтобы поразить, скомпрометировать, уничтожить его лично. На его успехе заранее поставлен крест. Он сам взят под подозрение, как человек, чужой по существу, и если внимательнее вчитаться, даже подкупленный.

Терра видел: вот она — общественная жизнь. Этот интимный враг по духу, некогда столь чуткий в своей ненависти, но с недостаточно чуткой совестью, вынужден теперь пускаться на вульгарную ложь, иначе его прямая цель не будет достигнута. Успех — и ничего больше! Вот что нужно общественному мнению. Ты или я!

Исполняя свое обещание, он в один из вечеров направился в салон Альтгот, но с поникшей головой. Опасности завтрашнего дня казались несравненно страшнее, нежели вчерашние, — и разве не угрожали они уже сегодня? Развязка могла произойти именно нынче вечером, в том доме, куда он шел. Алиса будет там, непременно будет сегодня, потому что туда должен явиться некто, приятный господин, который сядет подле нее и не уйдет от нее никогда. Смятенному воображению рисовалось, как тот склоняется к ней, рисовались его редкие волосы, его исполинский торс. Приятного господина ничто не удерживало взять руку, которую предлагала ему Алиса Ланна, предлагала не потому, что любила его, а ради карьеры — его и своей. Этого господина не удерживало ничто!

Идя по улице, Терра строил мучительные гримасы. Только когда его кто-то окликнул, он заметил, что прошел мимо цели. Окликнувший был Ланна.

— Теперь уж я вас не отпущу, — сказал он улыбаясь.

Несколько шагов до Фосштрассе он прошел пешком и, несмотря на холод, распахнул пальто, — видимо, его согревало радостное возбуждение. Его лицо казалось освещенным задумчивым светом. На нем был написан успех явный, беззаботный.

— Ну-с, милый друг, что вы скажете? — выразительно спросил рейхсканцлер, когда они подходили к дому.

— Позвольте мне, ваше сиятельство, принести вам мои самые искренние поздравления, — наобум ответил Терра. Не зная, как быть, люди на всякий случай поздравляли Ланна.

— Охотно принимаю, — ответил Ланна, кладя руку на плечо Терра. Радость делала его участливым. — У вас неважный вид, мой милый. Между нами, я полагаю, что вам недолго уж придется ломать копыя: по человеческому разумению, ваше дело

складывается благоприятно. — Первые слова, которые обнаруживали, что он знает об этом деле, признает его!

— Услышать нечто подобное от главы правительства... — пролепетал Терра.

— Когда все препятствия будут устранены, тогда я готов возглавить дело, — перебил Ланна и продолжал, покачивая головой: — Перед лицом общественного мнения вам придется выдержать еще одно испытание. Как знать, может быть, даже сегодня вечером... Остается его величество. Как решит император — это всегда лотерея. — Внезапно он принял озабоченный вид. — Говорят, что благодаря моему умению и ловкости его величество в большинстве случаев вынимает нужный номер.

Он вздохнул и сбросил пальто на руки подоспевших лакеев.

Лакеи были в золотистых ливреях; двойная лестница вела наверх мимо поблекших гобеленов; дальше, насколько мог охватить взгляд, открывалась анфилада гостиных. Проходя, Терра по достоинству оценил их высоту и уединенность, глянцево-белые двери, старинные штофные обои нежных тонов. В одной из гостиных вместо всякой мебели посередине стояла ваза, а высокие узкие окна были завешены драпировками, которые, казалось, недвижимо провисели здесь сто лет. Приглушенная роскошь — полная противоположность кричащей роскоши в гостиных рейхсканцлера. Терра восхитился выдержанностью стиля; Ланна принял его похвалы с улыбкой. Разбогатевшему рейхсканцлеру стоило немалых стараний устроить театральной графине такую обстановку, какая была испокон века в зале у родителей Терра.

— Не сердитесь на меня за орден, — еще раз попросил Ланна. — Здесь это несущественно, здесь бывают исключительно культурные люди.

Тем не менее, когда они вошли в четвертую, и последнюю, комнату, Терра заметил, что взгляды большинства присутствующих немедленно устремились на его петлицу, только не взгляд графини Ланна. Она внимательно следила за тем, что происходит между ее отцом и Толлебенем. Толлебен сидел подле нее, наклонившись к ней в позе признанного претендента. Он поднялся при виде своего начальника. Взгляд отца даже побудил его отойти в сторону. Алиса Ланна прикусила губу и опустила глаза; она не подняла их и тогда, когда отец самолично подвел к ней ее приятеля, Терра. Он так и сказал: «Твой приятель». Она протянула Терра руку, но тотчас же отдернула ее, словно подала по ошибке. Затем она все-таки подняла глаза: насмешливые глаза. Все происшедшее не ускользнуло от общего внимания. Альтгот обнаружила явное беспокойство, что в свою очередь заметила старуха фон Иерихов, которая как раз входила в гостиную. Она немедленно обменялась мнениями со своей приятельницей, графиней Бейтин. Так как глухие старухи не могли кричать, они обменивались мнениями с помощью мимики.

Зато Альтгот говорила много и громко, она тоже поздравила Ланна — с чем, собственно? Терра удивлялся ей. Малокультурная, ограниченная, какой он ее помнил, — теперь она в своем политическом салоне болтала с рейхсканцлером об английском короле, который с Клемансо²⁸ в отеле Ритц... Ланна подвинулся ближе, ему хотелось неустанно слушать об этом, может быть, он только потому и приехал так

²⁸ ...об английском короле, который с Клемансо... — Эдуард VII (1841—1910), английский король с 1901 по 1910 год. Клемансо Жорж-Бенжамен (1841—1929) — французский реакционный политический деятель. В 1906—1909 годах возглавлял французское правительство.

рано. Каждый раз, как упоминались король и Клемансо, у него делалось то же лицо, с каким он принимал поздравления. У Терра зародилась догадка.

Меж тем Беллона Кнак-Мангольф покоилась в собственном величии. Ни одна царица придворных балов, ни одна театральная королева никогда не достигала такого совершенства в изысканности, какое являла собой она. Сидя в реставрированном кресле ампир, как на троне, она изощрялась в обдуманых жестах и самодовольно-рассеянных гримасках. Богиня самовлюбленности царила здесь в образе Белонны — и это в трех шагах от Толлебена, который хихикал исподтишка... Урожденную Кнак он бросил во время свадебного путешествия, у того мозгляка только что вырвал из-под носа невесту, а старику Ланна, который считал себя хитрее всех хитрых, он еще покажет кавалерийские фокусы!

Беллона благодаря деньгам могла свысока взирать на кавалериста, но Терра это было недоступно, и он воспринимал хихиканье, как удары хлыста, а насмешку графини Алисы — как соль на кровавых рубцах. Он стоял неподвижно, скованный паническим ужасом, мысленно обращаясь в бегство, но на деле застыв на месте, открытый всем взглядам и опозоренный.

«Вот она, смертная мука. Сам дьявол надоумил меня связаться с девицей из высшего общества, чтобы ей во славу укрепить нравственные устои человеческого рода!»

Он прижал кулак к манишке и, оскалив зубы, прошипел Беллоне Кнак-Мангольф, смотревшей поверх него:

— Сударыня, ваш супруг наклеветал на меня, будто я негодяй, подкупленный иностранцами.

Урожденная Кнак и после этого нисколько не поступилась изысканностью своего тона.

— Совершенно неправдоподобно. Скорей бы вы брали деньги у нас, — произнесла она, как заученный урок.

Неожиданно подле них очутился сам Мангольф.

— Он смеется над тобой, — сказал Мангольф страдальчески и раздраженно.

Он протянул руку и с напряженным страхом ждал, пожмет ли тот ее, или нет... Вид его говорил о бессонных ночах, внутренних противоречиях и раскаянии. Взъерошенные брови, провалившиеся виски. Ненависть, светившаяся в глазах, была какая-то робкая. Мангольф постарался даже прикрыть ее одобрительной улыбкой.

— Мое почтение, — сказал он. — До тебя теперь рукой не достанешь.

— Милый Вольф, — ответил Терра, выразительно и сердечно. — Я искренно обрадовался нашей честной, мужественной борьбе. Это опять прежние мы!

У Мангольфа дрогнули веки, и губы тоже только дрогнули, как парализованные. Беллона, к которой вновь вернулось сознание своего величия, помогла ему овладеть собой.

— Ведь денег у вас нет? — спросила она у Терра. — Тогда и не воображайте, что добьетесь успеха! Без денег не может быть успеха, — заявила урожденная Кнак.

— Ты как будто удивлен, мой милый? — с трудом выдавил из себя Мангольф. —

Неужели дама должна тебе преподавать такие элементарные истины? У твоих противников, может быть, нет твоей душевной страстности, — прибавил он уже с иронией и указал на входную дверь. — Зато у них есть деньги.

В салон входили обер-адмирал фон Фишер, грубый и неотесанный с головы до начищенных сапог, под руку с седенькой женой; рядом с ним фон Гекерот, генерал-майор и председатель пангерманского союза, за ними двое штатских, один бритый, другой — с окладистой бородой.

Ланна встал; он встретил шествие, стоя посреди комнаты. Подняв голову со сверкающим пробором, он, как лицо высокопоставленное, не сделал ни шагу дальше середины, но все же заискивающе протянул руку навстречу этим представителям другой породы, которые не ответили на его улыбку. Они как будто бы вторглись сюда, чтобы очистить местность от неприятеля. Только седенькая обер-адмиральша несколько разряжала атмосферу, сопутствуя мужу как эмблема уюта и семейственности. Зато поведение четверых мужчин с первой же минуты не оставляло места никаким сомнениям. Им к тому же предшествовал не вполне определившийся, но угрожающий запах.

Обер-адмирал, должно быть, понял, что вторжение было слишком решительным.

— Сегодня я не мог устоять, чтобы не поглядеть на него, — сказал он, склоняясь перед Альтгот, как прирученный медведь, и простодушно сгреб в свою лапу руку рейхсканцлера.

— Ну-с, милый друг, что вы скажете! — воскликнул Ланна, весь изнутри пронизанный солнцем; таким Терра уже видел его сегодня.

Генерал фон Гекерот заскрежетал, прежде чем разжать челюсти:

— Поздравляю, ваше сиятельство, вы нас опередили. — Прилив крови к лицу и снова скрежет.

— Что было бы с нами, — зарычал Фишер, призывая дам в свидетели, — если бы в силки Англии попался он, а не Франция?

Предположение Терра подтверждалось. А Гекерот тем временем скрежетал:

— Наше предостережение не было напрасным. Сами видите.

Тогда Ланна перешел на деловой тон.

— Англия постаралась сблизиться с Францией, отсюда явствует, сколь искренно было ее дружелюбие к нам. Но, господа, разве вы не знаете, чего нам стоило вывести на чистую воду этих голубчиков! — заключил он необычно для него грубо, почти вульгарно.

Терра оцепенел. Так вот тот успех, по поводу которого Ланна принимал поздравления! Правда, Терра взяли уже сомнения насчет внутреннего сияния; глаза рейхсканцлера не глядели прямо, а вульгарный тон был рассчитан на слушателей. Но и тут он не достиг полного успеха: оба штатских не принимали участия в общем хоре восхищения. От рейхсканцлера это не укрылось; он вывел обросший бородой экземпляр на середину комнаты, чтобы тот показал себя.

— Многоуважаемый профессор Тассе, — обратился он к экземпляру, — вы как заместитель председателя пангерманского союза, конечно, вполне солидарны с вашим

генералом?

— Я ни с кем не бываю солидарен, — ответил Тассе и неожиданно стал поводить своим большим рыхлым животом, так что рейхсканцлеру пришлось отстраниться. — А действуем мы всегда заодно, — закончил Тассе со злобной усмешкой в своих густых зарослях.

— Господин генерал, ваш коллега настоящий диалектик, — сказал Ланна, но тотчас же понял, что его двусмысленная шутка не достигла цели. Фон Гекерот совсем недвусмысленно сдвинул перед Тассе каблуки и ждал, что тот еще изречет. И тот без церемоний изрек:

— Весь наш союз во главе с господином генералом уже, как вам известно, высказал свои высокие убеждения. А как мы будем действовать, это мы знаем про себя. — То же непредвиденное раскачивание живота; на сей раз пострадал Толлебен, случайно приблизившийся к странному феномену.

— Ну, разумеется, — сказал второй штатский, в то время как Гекерот стоял навтыжку. Обер-адмирал позволил себе оговорку.

— Мой флотский союз тоже должен быть принят в расчет, — сказал он простодушно.

— Это опять-таки мы, — коротко пояснил Тассе.

Теперь он один занимал центр салона. Мужчины дружно отодвинулись к стенам. Только полукруг дам в сиреневом, бледно-зеленом, желтом и белом тонах мерцал вокруг Тассе и его помятого фрака. От него исходил запах йодоформа, теперь это всем стало ясно.

— Итак, чего же вы хотите, господин профессор? — спросил Ланна, стоя на почтительном расстоянии.

— Чтобы нас не смели дурачить! — заявил Тассе.

— Жиды! — выкрикнул второй штатский. — Англия ожиговела, Франция тоже ожиговела. Потому они и объединились против нас.

— Коллега Пильниц тоже не дурак, — снисходительно заметил Тассе.

— Наш известный ориенталист, — пояснил предупредительно Ланна.

На лице гладко выбритого немедленно отразилась его знаменитость. Тассе напрягал свой сдавленный голос, чтобы пресечь отклонение от темы.

— Англия подлая стерва! — воскликнул он. — Она думает: мне бы только снять пенки, и примазывается к Франции, которая киснет на суше и совсем сдает на море. С ней ужиться куда легче, чем с растущей во все стороны Германией. — Тассе наставительно поднял палец. — Но о чем забывает коварный Альбион²⁹? О том, что мы еще существуем.

— Что существует наш Тассе! — пылко выкрикнул Пильниц, а Фишер и Гекерот одобрительно закивали.

— Когда нам удастся, наконец, свести кровавые счета с нашим исконным

²⁹ Альбион — древнейшее название Британских островов.

врагом, — поучал Тассе, — мы заодно прикончим и Англию. Тогда уж у нее не будет никаких уверток, пожалуйста к ответу. Только нечего нас дурачить! Флот у нас должен быть! — Припав на одну ногу, Тассе красовался во всем своем величии и сверкал очками.

— Хейль! — выкрикнул Пильниц.

— Правильно, правильно! — подхватили Гекерот и Фишер.

Наступила тишина. Лорнеты дам устремились на Тассе. Тассе, нимало не смущаясь, засунул в вырез жилета вылезшую во время представления сорочку и облюбовал себе удобное место в соседней комнате, — очевидно, он сказал свое последнее слово.

Его коллеги последовали за ним, спустя некоторое время к ним присоединился и Мангольф. Толлебен был явно растерян.

— Поухаживайте за новой великой державой! — посоветовала ему Алиса Ланна, и он отошел. Рейхсканцлер нерешительно поднялся.

— Ваше сиятельство, — заметил Терра, — вам так или иначе придется считаться с этим явлением.

— Рано или поздно придется, — согласился Ланна, но поспешил сразу же направиться туда.

Оставшиеся в одиночестве дамы теснее сдвинули стулья.

— Милая госпожа Фишер, наконец-то, — сказала Альтгот, обращаясь к жене обер-адмирала, — я давно уже стремлюсь поговорить с вами. Что вы, с присущей вам трезвой объективностью, скажете по поводу короля, который с Клемансо у Ритца...

— Милая графиня, — приветливо, но строго перебила ее седенькая женщина, — послушайте лучше, что я вам скажу: нынче на рынке торговка запросила за пару голубей...

Альтгот осеклась и от смущения засмеялась.

Потом поняла: это был урок — и собралась восстать. Но она увидела неподалеку Ланна, который смиренно сносил поучения Тассе. И тоже решила смириться.

Беллона Кнак-Мангольф предоставила дамам беседовать по выбору — о домашнем хозяйстве или о политике. Сама же с виду равнодушно следила за маневрами своей приятельницы Алисы Ланна и Терра. Алиса встала, Терра встретился с ней. Они не сели, они бродили. Расстояние между обеими группами — дам и мужчин — позволяло им на ходу обмениваться признаниями, никто ничего толком не слышал; лишь когда они проходили мимо, долетало какое-нибудь отдельное слово. Беллона не доверяла им, хотя выражение лица у них было вполне корректное.

— Вы довольны? Вы меня отхлестали, — сказал Терра. «Отхлестали», — услышала Беллона, и ее фантазия заработала за их спиной. — Умоляю вас, не делайте ничего непоправимого! Я уже не говорю о том, что вы очертя голову бросаетесь навстречу собственному несчастью. Заклинаю вас всеми силами, уцелевшими у меня от вашей неумолимой мстительности, — спасите мою неудавшуюся жизнь, которая рухнет подо мной. Не отворачивайте от меня ваше прелестное ушко, я еще никому не грозил самоубийством.

— Сегодня вы весьма галантны. Поэтому я вас прощаю, хотя все то, что вы мне сказали, совершенно непозволительно.

Теперь они проходили мимо группы мужчин. Толлебен в упор смотрел им навстречу, стремясь помериться взглядом с Терра. Однако это ему не удалось, как не удалось и встретить взгляд молодой графини. Те двое обособленно и неприступно шли своим путем. Раздраженный и обескураженный, Толлебен прислушался к тому, что говорил его шеф.

Ланна, получивший, наконец, возможность вставить слово, рассказывал анекдот об Эдуарде Седьмом. В заключение он сообщил, что английский король оказывает ему честь своей исключительной ненавистью. Рейхсканцлер особенно подчеркнул это; взгляд у него был патетический, как в рейхстаге, когда он от постаментов к постаменту обращался к Англии. Правда, дочь ему не удалось обмануть.

— Папа хочет пленить пангерманских мещан, — отметила она. — Вот видите, — а я, по-вашему, не должна позаботиться о своем будущем? У меня нет ни малейшего желания спуститься ниже. Вы знаете это.

Теперь они попали опять в поле зрения дам. Белла Кнак-Мангольф поспешно отвела взгляд; придворные дамы Иерихов и Бейтин даже не потрудились последовать ее примеру. Они обменивались многозначительными улыбками и закатывали глаза: «Здесь дело нечисто. Алиса Ланна обманывает бедного Толлебена еще до свадьбы. А отец словно ослеп».

— Господи боже мой! — воскликнула возмущенная Иерихов.

— Quel спектакль!³⁰ — вторила ей старуха Бейтин.

Терра сделал вид, словно услышал невинную шутку.

— То, что происходило между нами, графиня, было непозволительно с самого первого дня. Теперь я раскаиваюсь единственно в том, что у меня в свое время не хватило трезвого эгоизма и я не скомпрометировал вас бесповоротно. Тогда вопрос о том, спуститься ли ниже, или подняться выше, не причинял бы в данную минуту никаких страданий ни вам, ни мне. Двоюродный брат Толлебена был бы тогда совершенно напрасно личным адъютантом у его величества.

«Скомпрометировал вас», — услышала Беллона и так взволновалась, что ей с трудом удалось сохранить обычную манерную позу.

— Да, надо сознаться, я никогда не думала, что в день помолвки мне придется выслушивать подобные речи, — заметила Алиса, повернув назад в сторону мужчин.

— Вы хотите надругаться над моей гибелью.

Оба заставили себя принять светский вид, потому что Толлебен смотрел на них, — правда, украдкой и с явным намерением пока ничем себя не тревожить. Он знал, чего хотел. Сперва отпраздновать свадьбу, а там стать господином и повелевать. В кружке мужчин Ланна убеждался, что перед ним ни более ни менее как второе правительство, у которого глаза и уши во всех министерствах. Его подозрительный взгляд упал на Мангольфа, тот поспешно отвернулся и пошел навстречу тестю. Кнак явился с двумя

³⁰ Какое зрелище! (франц.)

молодыми людьми; он выступал как главнокомандующий впереди своей гвардии. «Вы едите мой хлеб, вы и работаете на меня», — говорил каждый его шаг. Ланна понял ясно: у него здесь нет ни одного настоящего друга.

— Милый друг, — начал он ласково и весело, как всегда.

— Допустим, вы без этого не можете жить, Алиса. Но зачем именно этот гроб повапленный? — спросил Терра умоляюще.

— Вы мой друг, — сказала она примирительно, — вы имеете право спрашивать. Я мысленно сделала смотр всем влиятельным людям в стране. Со всяким другим мне пришлось бы еще хуже, чем с гробом повапленным. А потому устроимся в нем по-семейному.

— И меня вы берете с собой? — дерзко спросил он.

— Вы же сами сказали: то, что мы делали, с самого начала было непозволительно. Предъявляйте свои права, я безоружна.

Тут он беззвучно зарыдал; Беллона увидела это.

— Боже милосердный, что с нами будет!

Алиса еще владела собой.

— Примем это так, как оно есть, — сказала она кротко. — Ведь каждый из нас живет соизволением другого.

Но теперь и ей пришлось сесть. Они сели на расстоянии друг от друга, оба смотрели в пространство и молчали.

Для Ланна дело повернулось так, что теперь с победой над Англией поздравляли не его, а Кнака. Тассе и Кнак вмиг столкнулись. «Ну-с? Франция и Англия в одной ловушке! Результат хоть куда!» И Ланна остался в стороне. Тогда он занялся приемом вновь прибывающих гостей.

— Он ничего не говорил об отмене смертной казни?.. — шептал за его спиной Кнак. — Не смейтесь, Тассе, я тоже смеялся. Но мой зять, помощник статс-секретаря Мангольф, предостерегает от отмены, ведь это незаменимое средство воздействия на людей. — На что Тассе уже открыто захохотал.

— Гекерот, слышите? Пильниц, Фишер, слышите? Есть такие простаки, которые рассуждают о воздействии на людей. Вот именно, о воздействии на людей. Ну, уж этому им придется поучиться у нас! Как зовут того депутата? Фамилия у него что-то не немецкая.

— Терра, — сказал Кнак и с сомнением покачал головой.

Молодые люди из свиты Кнака набросились на госпожу Швертмейер, отеснив депутата от его обольстительной жены. Стройная рыжеволосая женщина глазами щекотала обоих. На их непристойности она отвечала совершенно невозмутимо:

— Дети, на что вы рассчитываете? И на каком основании? Тайный советник Кнак иногда посылает вас, господин доктор Мерзер, к моему мужу. Ну, и что же? Вы племянник тайного советника, а мой муж влиятельный политический деятель. В Пруссии становится интересно.

При этом она так близко наклонилась к юному пролазе, что ресницами коснулась

его преждевременной плешу. Он плотоядно заржал. Рослый сын газетного короля Шеллена громко смеялся.

— Золотые слова, сударыня. Будут приняты во внимание. — И еще решительнее добавил: — Честное слово офицера, завтра посвятим вашему супругу хвалебный гимн.

Стреляя глазами во все стороны, Швертмейер задумалась над тем, что он сказал. Тут она увидела, что зять Кнака, помощник статс-секретаря Мангольф, устремился к ее мужу; Швертмейер при этом даже бросил в ее сторону поспешный взгляд; и она решительно обратилась к пролазе; лейтенант запаса был на сегодня отставлен.

Все происшедшее не укрылось от внимания почтенных дам, сидевших в третьей гостиной. Так как народу было много и стало шумно, они могли, наконец, беспрепятственно кричать.

— Смотришь и глазам своим не веришь, — кричала госпожа фон Иерихов прямо в ухо своей приятельнице Бейтин.

— C'est la каналья!³¹ — кричала в ответ старая графиня.

Тут встрепенулась и седенькая жена обер-адмирала.

— Мы, буржуазия, истинный оплот нравственности и приличий, — закричала она в другое ухо Бейтин, на которое та, по-видимому, была абсолютно глуха. Вскоре госпожа фон Фишер совсем возликовала: вошел ротмистр граф Гаунфест, за которым, как всегда, неотступно следовала его разведенная жена, Блахфельдер. Всем видом и движениями он напоминал неисправную куклу, ни один мужчина не был застрахован от его мечтательного взгляда. Об этом обер-адмиральша громким голосом сообщила старым придворным дамам. Они же, напротив, старались подчеркнуть поведение урожденной Блахфельдер. Богачка энергично протискивалась сквозь толпу, румяна у нее на лице расплылись, жемчуг болтался сам по себе, она уже успела оборвать что-то у себя на платье. Альтгот, стараясь в качестве хозяйки убогатворить дочь калийного магната, подвела ее к буфету в боковой галерее, куда из всех салонов двери были открыты настежь.

— Ну, опять напьется, — заметили пожилые дамы и пока что обратили внимание на «него».

Граф Гаунфест явно был обворожен видом юного Шеллена, который со своей стороны сосредоточил все внимание на обособленной группе Ланна — Мангольф — Швертмейер. «Кажется, там кто-то обронил слова „смертная казнь“?»

— Скоро будут интересные новости, — сулил всем отпрыск газетного треста, и эта весть мигом облетела всех.

Жизнерадостный юноша не замечал бедного гвардейца и его нежной влюбленности. Но племянник Кнака смотрел на того так выразительно, что его дама возмутилась.

— Господин доктор Мерзер! — заметила Швертмейер. — Вы удостоены чести разговаривать со мной. Я женщина, о которой говорят.

— И что же, собственно, говорят? — спросил он рассеянно и продолжал энергично

³¹ Это чернь! (франц.)

кокетничать с Гаунфестом. Его сероватое лицо до самой лысины покрылось тонкими жадными морщинками, глаза затуманились от волнения, одно плечо, то, что было выше, задергалось.

— Вы настоящий выродок, доктор Мерзер! — не вытерпела красавица Швертмейер. — Я, женщина, могла бы одним пальцем повалить вас, а вы еще хотите чего-то особенного? Потому что это шикарно! Потому что это аристократично! Вы — сноб! Выродок и сноб!

После чего, насмерть обиженная, повернулась к нему спиной. А граф Гаунфест был в экстазе, душа его, отделившись от покинутого тела, витала вокруг жизнерадостного юноши. Рейхсканцлер самолично подозвал к себе молодого Шеллена и с невольным почтением в голосе спросил о его отце:

— Какой еще орден должен я дать вашему отцу, чтобы он вышел из своего уединения? Ни один живой человек его не видел, и вы, господин Шеллен, верно, не видели тоже. Он существует? Или он миф? Вымысел, созданный его газетами?

— Тем виднее сын... Подготавливается нечто новое, ваше сиятельство! — воспользовавшись случаем, сообщил отпрыск газетного треста. У рейхсканцлера сейчас же появилась лукавая ямочка.

— Такой слух дошел и до меня. — И с этими словами он удалился. Около Шеллена очутился граф Гаунфест, но не сразу заговорил от волнения.

— Вы не видите, где рейхсканцлер, господин Шеллен? — наконец пролепетал он.

— Ведь он только что говорил со мной, граф Гаунфест.

— О боже! Я видел только вас, — краснея под легким искусственным румянцем. Юноша громко смеялся.

— Простите, что я в форме! — шептал влюбленный, движимый бог весть какими деликатными чувствами. — Я намереваюсь переменить карьеру на дипломатическую, за границей как-то свободнее. — Все это говорилось под аккомпанемент веселого смеха, и тем не менее какое неожиданное счастье беседовать с прекрасным юношей! Но тот положил конец беседе.

— Если вы ищете рейхсканцлера, то легко узнаете, где он, по запаху йодоформа... Нет, он здоров, но там, где творится политика, так пахнет. В Пруссии становится интересно, — дерзко добавил он.

Граф Гаунфест осмелился прикоснуться к руке своего избранника и даже пожать ее... Расшаркавшись, они разошлись, и каждого поглотила холодная, равнодушная человеческая волна.

Несколько минут спустя Алиса Ланна у всех на глазах пробежала через гостиную, неожиданно покинув господина фон Толлебена. Кажется, ссора. Недурное начало, или попросту конец? Несчастливая Альтгот то бледнела, то краснела. Какой скандал! Положение Алисы не таково, чтобы ей можно было выпускать Толлебена. Ланна, по доброте сердечной, совершил большую ошибку. Он был против Толлебена, ибо чувствовал, что Алиса в сущности его не любит. Ну, а эта игра с сомнительным другом юности? Тут дело не так уж невинно, и отцу не следовало это поощрять. Растерявшаяся Альтгот не знала, что предпринять. Следовало ли ей прикрыть своей особой покинутого Толлебена? Или только наблюдать за всем издали, как было угодно

Ланна?

Алиса Ланна начала буйствовать.

— Прямо буйствует, — кричала старуха Иерихов. — А с кем буйствует? С пьяной Блахфельдер!

— C'est le fin de la monde!³² — кричала старуха Бейтин.

Но Алиса Ланна пробилась сквозь толпу мужчин и внезапно приняла такой вид, словно и не знала никакой Блахфельдер. Без намека на буйство, с самой высокомерной миной подошла она к госпоже Мангольф, которая умышленно прошла мимо своего мужа и бросила ему как бы мимоходом:

— Я теперь знаю наверно, что Алиса и Терра...

— Меньше чем когда-либо, Беллона, — сказала Алиса и остановила ее на минутку. — Я даже благоразумнее тебя. Если бы я любила кого-нибудь, я бы не вышла за него замуж в тот момент, когда он уже на вернем пути к блестящей карьере, потому что в будущем неизбежны взаимные упреки либо из-за карьеры, либо из-за любви. Скорей тогда, когда он был ничем.

— Этот момент ты уже упустила, — ответила подруга.

Публика из гостиных хлынула в галерею; даже самые спаянные группы могущественных богачей, которые старались извлечь друг из друга какую-нибудь пользу, распались и покинули лощеный паркет. Упорно не расходились только те, что окружали Тассе. Они загородили одну из дверей в буфет и перехватывали слуг с бокалами и бутылками. Кнак коленом дал пинка одному из лакеев. Он доставил себе это удовольствие, — ведь лакей служил родовой знати! Развеселившийся обер-адмирал рассказывал во всеуслышание о своей встрече с английским коллегой.

— Пейцтер говорит мне: «Фишер, дружище, ничто на свете не могло бы меня так порадовать, как если бы у нас с вами заварилась каша!» — «Меня тоже», — говорю я. «Только я уж пообломаю тебе паруса!» — кричит Пейцтер... Фишер кричал громче, чем тогда Пейцтер. «Дружище, — кричу я, — а я огнеглотатель, затушу все твои машины!»

Многие поспешили на шум из буфета, все весело смеялись, поднимали бокалы, выражали одобрение. Умилительная простота старого морского волка! Но тут Фишер заметил, что среди подошедших оказался и Ланна и что он отпускает какие-то шуточки своему соседу, некоему Терра, тому, который носится со смертной казнью. От зорких, даже под хмельком, глаз мнимого морского волка ничто не могло укрыться.

— А потому за нашего глубокочтимого рейхсканцлера, ура! — закричал он неожиданно так, что Ланна пришлось благодарить и принять участие в происходящем. Правда, он наморщил брови и строго кивал головой при каждом лозунге, который выкликали участники шайки. «Зависть Англии к нашей торговле; соглашение превратит нас в ландскнехтов; мы будем рабами, если не будем строить суда сколько хотим; славянская опасность; исконный враг; желтая опасность...»

³² Это светопреставление! (франц.)

— Вы забыли про моровую язву, падеж скота... — сухо добавил член верхней палаты фон Иерихов, засунув руки в карманы брюк.

Ланна кивнул еще строже, в то время как Тассе и обер-адмирал чокались со своими друзьями за конечную победу над всеми опасностями.

У Кнака возникли сомнения, и он тихо сказал могущественному банкиру Берберицу:

— А как, в деловом отношении это желательно?

Бербериц в ответ покачал головой.

Кроме них, протестовал еще кто-то позади Ланна, правда, только шипеньем, так что протест остался незамеченным. Губиц всегда старался не быть замеченным. Ланна наклонился, и присяжный интриган министерства иностранных дел прошипел ему в ухо:

— Никакая тонкая работа немыслима при вмешательстве таких грубиянов!

— Это у нас-то тонкая работа? — спросил Ланна глубоко усталым голосом.

Но действительный тайный советник зашипел, потрясая в воздухе когтистой рукой:

— Предотвращать, выслеживать и снова предотвращать!

— Опять ваши индийские пассы, Губиц. Может быть, вы последний в своем роде, — заметил Ланна.

Вдруг, прорезая густой чад лозунгов, четко прозвучал громкий голос:

— Господа, так как, наконец, твердо установлено, что мы рады иметь возможно больше врагов, я позволю себе настоятельно указать на один пробел. Россия еще не заключила союза с Великобританией. Пробел этот может стать для нас роковым, о чем я и спешу напомнить.

Драматическая ирония; многие засмеялись, словно протрезвившись. Депутат Швертмейер отошел подальше от говорившего. Приспешники Тассе посмотрели на него, прежде чем показать, что поняли. Сам Тассе повернулся животом — кто-то поспешил отстраниться — и заявил внушительно и веско:

— Послушайте-ка, господин депутат Терра! Нам и не с такими, как вы, случалось расправляться. И как следует! — закричал он возмущенно и злобно.

Вдруг оказалось, что депутат Терра тут ни при чем. Молча, но открыв от страха рот, он старался положить руку на сердце доказать всем, что он тут ни при чем.

— Удивительный тип, — сказал кто-то вполголоса. — И вот кто вытесняет Толлебена чуть ли не перед самой свадьбой.

Кто это сказал — Кнак? Ланна оглянулся и обнаружил, что его дочь снова сидит подле Толлебена. Ни минуты покоя нигде, ни в чем! Они сидели в буфете за столиком; раздраженный государственный деятель, изобразив на лице самую веселую улыбку, поспешил помешать им. Но Тассе не зевал. Едва Ланна сделал первый шаг, Тассе преградил ему путь, сверкая глазами из-под опухших век.

— Наш рейхсканцлер пока очень неплохо исполняет свои обязанности. Но, к сожалению, его общество не всегда состоит из истинных немцев.

— Жиды! — выкрикнул знаменитый Пильниц.

Генерал Гекерот заскрежетал зубами.

— Мы больше всего печемся о народных интересах, — заключил Тассе.

Ланна, на которого все смотрели, решил отделаться шуткой.

— Народные... как вы сказали? это что — консервы, что ли? Они хранятся у вас в кладовой?

Общий взрыв веселья, — но сверкание из-под припухлых век говорило: «На сей раз ты выдал себя. Это тебе припомнится. Когда-нибудь сломишь себе шею». Ланна понял; он раньше других перестал смеяться. Хотел показаться суровым, но едва сумел оградить свой престиж. На помощь подоспел его друг, старик Иерихов; длинный и тощий, он вплотную придвинулся к толстому обер-адмиралу.

Терра не стал дожидаться какого-нибудь нового инцидента; там впереди, у входа, он заметил явление из былых времен. Но, раньше чем он успел вырваться, на его плечо легла чья-то рука; то был Кнак.

— Вам везет, — сказал он. — Меня радует, коллега, что вы все-таки кой в чем преуспели.

Терра вполоборота очень внимательно оглядел Кнака; что значит это окончательное забвение дерзких шуток, которые позволил себе некогда человек без имени в отношении могущественного промышленника, эта осторожная попытка к сближению?

— Я был с давних пор вашим большим почитателем, — ответил Терра. — Лишь после того как я взял вас за образец, господин тайный советник, мне удалось сделаться более или менее деловым и счастливым человеком.

Обер-адмирал сказал: «Мощь на море», что не понравилось старику Иерихову.

— У меня Пруссия сидит на коне, — проворчал он из-под крючковатого носа. — Верховая езда, господин Фишер, сохраняет фигуру. От путешествий по морю растет живот. — Пронзительными узкими глазками он рассматривал живот «господина Фишера», и не только адмиральский живот, — сам Тассе почувствовал, что и его взяли под сомнение. Он тотчас же поднялся с видом Вотана³³.

— Господин камергер! — рявкнул он с революционной отвагой. — Господин камергер, я как медик предсказываю вам, что вы плохо кончите.

Испуганный кавалерист попятился назад, к этому он все-таки не был подготовлен. Ланна же поспешил устроиться поближе к Вотану, в атмосфере окружающего его йодоформенного чада. Он считал нужным держаться примирительно, наладить отношения.

— Многоуважаемый профессор, вам бы следовало войти в рейхстаг, — осторожно начал он.

Тассе отверг соблазн.

³³ *Вотан* — в мифологии древних германцев бог ветра и бурь, позднее бог войны, верховное божество ряда германских племен. (То же, что Один.)

— Конечно, вам бы этого хотелось. Мой пангерманский союз — хорошее подспорье для неудачных дипломатов.

Ланна проглотил и это; он всячески старался не отстать от безапелляционного Тассе.

— Как бы то ни было, профессор, мы коллеги. Дипломатия — та же хирургия, — заявил он решительно.

Мысль принадлежала Бисмарку. Поверит ли Тассе, что она принадлежит ему, Ланна? Тассе поверил. На данный момент он был укрощен, он протянул шершавую руку. Ланна воспользовался моментом, чтобы отойти и направиться к буфету. По дороге ему пришло в голову взять с собой депутата Терра, он подозвал его.

Терра обменялся рукопожатием с Кнаком, который заключил их разговор словами:

— Нам не мешало бы сблизиться, коллега.

Мангольф издали наблюдал за ними; он боялся очутиться между двумя державами: Ланна и Тассе. Он по-своему направлял хрупкую ладью своего счастья... Там, вдали, все еще маячило явление из былых времен, Терра устремился туда, но Ланна кивнул ему, и он последовал за рейхсканцлером.

Они сели у столика, который только что покинули Алиса и Толлебен.

— Да, вот вам дети! Они всегда делают то, что причиняет боль, — сказал Ланна, поглядев им вслед. Ни слова о Тассе. Ланна, может быть, боялся этих людей, но было ясно, что он их презирает. Глядя издали на дочь, он подавил вздох, так как у других столиков, где только что шли громкие разговоры, все приумолкло и стали подслушивать. Рассеянно поедая антрекот под соусом кумберленд. Он знал, что его подслушивают, а потому проводил аналогию между своими политическими идеями и соусом. Соус был острый и сладкий, — сочетание, которого часто не хватало германским политикам. Они становились нелюбезны, как только хотели добиться своего. Но силу надо обязательно сдабривать вкусом! На сей раз он явно намекал на шайку. Между тем разговоры снова стали громче.

— Мне нет никакого смысла молчать, милый друг, — неожиданно начал Ланна. — Вы друг моих детей. Вам известна трагедия нашей семьи. — Лоб покрылся поперечными морщинами, и голос стал сердитым.

— Ваше сиятельство, нельзя допустить, чтобы вы были несчастливы. Это дорого обойдется нам, немцам, — вставил Терра.

— Это чревато последствиями. Но я, кроме того, и отец. Разве не естественно прежде всего быть отцом? Если бы Алиса хоть любила его! У меня такое впечатление, что она его и не любит! Мое дитя — не я, мое дитя будет несчастливо. Я-то причём? Сравнение между мной и ее избранником вызывает только смех. — Он попытался засмеяться.

— Так, значит, это чисто политический брак?

Ланна пытливо взглянул на Терра: что ему известно? Так как он не усмотрел ничего, кроме трагически взволнованного вопроса, то стал поспешно уничтожать салат из крабов и заказал вторую порцию антрекота.

Горькая усмешка.

— Разве можно с политическими целями выходить замуж за дурака? А он глуп. Такого рода дураков укротить нельзя, они бодаются.

— Следовательно, опасности нет, — сказал Терра глухо.

Снова пытливый взгляд.

— Маска! Все дело в маске, — прорвалось у государственного деятеля. — Все бы ничего, но это действует на императора. Император чувствителен к истории, в особенности же к историческому маскараду.

На лице его собеседника ничего не отражалось, — казалось, будто он ничего не слышит; но про себя он слышал тот же голос: «Император такая значительная личность». Рейхсканцлер между тем дал волю возмущению.

— Человек с такой маской может занять мое место. Трудно представить себе, какими это грозит последствиями. Последствиями для Германии, для всего мира. О себе я не говорю, я сыт по горло. — И действительно, он, наконец, отставил антрекот, но велел подать пирожное. — Я выполняю свой долг, тяжкий долг... — С шоколадным буше на вилке: — Чем власть может привлечь поборника культуры? Ведь я первая ее жертва. Я хотел бы бросить все, но, к сожалению, я необходим. — Второе шоколадное буше, первое пирожное с кремом, на глазах у него появились слезы умиления собой и своей дочерью. — Мое собственное дитя роет мне яму. Но что я могу сделать против собственной дочери? Она обезоруживает меня.

— Господин генерал фон дер Флеше назначен флигель-адъютантом к его величеству, — заметил Терра, как бы про себя. — Правда, что генерал фон дер Флеше кузен господина фон Толлебена?

Умиления рейхсканцлера как не бывало.

— Это ему мало поможет, — быстро произнес он. — Я там побывал раньше и настроил императора против Флеше, тот долго не продержится. — И оседлав своего конька: — Чего добиваются мои враги? Я остаюсь, таково требование момента, говорит Гете. Мне все на пользу: и ненависть пангерманцев, ибо они не в фаворе у императора. Да и сами вы, мой милый, если бы это оказалось необходимым, помогли бы мне.

Терра опустил глаза; ему показалось, что он понял. Ему следовало увезти дочь: эта мысль приходила в голову и ей и ее отцу. Она надеялась таким путем добиться своего. Отец же думал произвести соблазнителя в тайные советники, отдать ему дочь, и дело с концом. Так была бы устранена угроза в самом слабом месте; чего не сделаешь ради власти... Терра боялся поверить, что и это можно сделать ради нее; он испуганно поднял глаза. Ланна весь побагровел. Правда, он уничтожил целое блюдо пирожных.

Рейхсканцлер встал; Терра попросил разрешения откланяться, так как он давно заприметил старого знакомого, господина Гуммеля.

— Писателя? Моего друга? — переспросил рейхсканцлер. — Идите, я сейчас, только узнаю у Иерихова, что там еще выкинула пангерманская шайка.

Совершенно верно, это был Гуммель из «Всемирного переворота»; он стоял вдали от людского потока, все еще одиноко стоял у вазы, посреди первой гостиной. По памяти Терра его бы не узнал, но нынешняя его физиономия часто мелькала в иллюстрированных журналах. Он сбрил бороду, лоб у него стал выше, фрак сидел

безукоризненно. Приблизившись, Терра заметил, что, несмотря на морщины, он казался моложе прежнего Гуммеля, который голодал. Подойдя вплотную, Терра, правда, увидел жесткие складки по углам рта; беспутному бродяге они были так же чужды, как и чопорная робость, с какой теперь держал себя знаменитый писатель.

— Вы меня не знаете, господин Гуммель, а я знаю вас только как большого мастера, которого знают все, — церемонно начал Терра. — Когда, много лет назад, нам случилось обменяться несколькими словами, вы еще скрывались в облаках, а я был безвестным юнцом. Не пугайтесь, я не притязаю быть вашим старым знакомым. Я полон такого уважения к вам, словно вы только что сошли с Олимпа.

Он несколько раз повторил то же самое, но другими словами. Гуммель усмехался, обнажая искусственные зубы, — собственные пали жертвой невзгод юности. Цветистые фразы Терра были ему, как и Ланна, далеко не безразличны.

— Я вас знаю, — милостиво произнес он и тут же осведомился: — Какое из моих произведений вы больше всего любите?

— Разве я осмелюсь одно предпочесть другому? — залепетал Терра. — Повсюду ваше глубокое сострадание к нам, людям... А мы и в самом деле словно с виселицы сорвались... — закончил он четко и резко.

Гуммель испугался. Подошел Ланна. Через переполненную гостиную он шел молодцевато и важно, а в пустой показался разочарованным и одряхлевшим.

— Вы даже не представляете себе, как утомительно руководить политическим детским садом, — сказал он, глубоко вздыхая. — Великие умы нации мне в сущности ближе, чем ее деловые люди. — Обращаясь к Терра: — С моим другом Гуммелем я провожу редкие свободные часы у себя в библиотеке.

Но это дошло и до слуха других. Кучка льстецов начала скопляться поблизости от рейхсканцлера. Оттуда неслись замечания:

— Группа выдающихся личностей! — Первый государственный деятель с крупнейшим писателем! — Таких друзей у Бисмарка не было. — А со вторым он отменяет смертную казнь! — Канцлер — сеятель культуры.

— Император противник нового направления, как вам известно, — сказал Ланна тоже достаточно громко. — Я же, наоборот, и в этом сохраняю свою независимость. Именно это и нравится императору. Он отнюдь не филистер. — И тихо добавил: — Сейчас их отвлекут, начнется музыка.

В самом деле, графиня Альтгот собрала своих гостей во второй гостиной вокруг рояля. Из галереи появилась совсем юная девушка со всеми признаками огромной самонадеянности; следом за ней шел красивый мужчина, ее искусный аккомпаниатор. За аплодисменты, которыми ее приветствовали, она поблагодарила, как за должное, и начала какой-то романс. Под прикрытием музыки Ланна разоткровенничался со старыми друзьями.

— Моему другу Гуммелю можно уже через полчаса вторично рассказать величайшую сенсацию, потому что он успеет позабыть ее. А у вас, Терра, особый взгляд на политику, мы с вами понимаем друг друга. То, о чем я должен молчать в рейхстаге и что предпочитаю утаить от собравшихся здесь двуногих зверей, я могу рассказать вам, людям, единственным людям, попавшим сюда, и тем облегчить

душу. — Небольшая торжественная пауза. — Нам предстояло совместно с Францией и Россией сделать представление в Лондоне касательно буров. Но мы выдвинули условия, которые воспрепятствовали этому шагу, о чем поставили в известность Англию. Она знает, какую неоценимую услугу мы ей оказали. Ну вот, можете ли вы, разумные люди, при таких условиях считать Англию нашим врагом? Господам из флотского союза не удастся испортить наши отношения. И в политике существуют человеческие факторы, которые уравнивают государственно-политические. Человеческий фактор — это благодарность.

Ланна говорил без передышки, — очевидно, это был привычный ему ход мыслей. Терра испугался: благодарность? За то, что здесь других выдали Англии, а не Англию другим, как в Марокко? Он посмотрел на Гуммеля, но Гуммеля интересовали только громкие аплодисменты, которые расточались молодой певице. Складки по углам его рта обозначились резче. И Ланна отвлекся; его явно интриговала беседа депутата Швертмейера с Берберием. Они стояли позади публики, слушающей певицу, у двери в третью гостиную.

— Я придерживаюсь политики с позиций силы, — все-таки добавил Ланна, — и придерживаюсь ее по убеждению. Но и у гуманности есть своя политика. Ведь существует же не только ложная гуманность. — Еще две-три фразы на ту же тему, Терра приготовился вставить слово об отмене смертной казни; но Ланна, который, вероятно, догадался об этом, придал разговору другое направление. — Бисмарку мешал спать страх перед враждебными коалициями. Но я не таков. Я верю в стремление народов к миру. Все дело в том, чтобы подать им мир в такой же блестящей, победной и волнующей форме, в какой обычно представляется только война... — Но тут, не вынеся вида совещающихся депутатов, он внезапно оставил своих друзей по духу и стал пробираться через зал, в обход столпившейся в дверях публики. Глядя ему вслед с открытым ртом, Терра задумался над этим смелым полетом духа.

Громкие фразы о гуманности они с Мангольфом могли бы произносить в камерке Мангольфа, когда им было по восемнадцати лет. Да и то, надо думать, постыдились бы. Ланна же, строивший флот и под давлением шайки Тассе и Фишера попеременно вооружавший против себя все иностранные государства, хранил в тайниках души такую свежесть чувств, что она непроизвольно выливалась в слова. Впервые он растрогал Терра.

У Гуммеля были свои горести. Молодая певица, которой нечего было больше желать в смысле успеха, привела из галереи какого-то седого человека и представила его публике. Его тяжелые башмаки слишком громко стучали по паркету. Когда он стоял посреди гостиной в потрепанном черном сюртуке, упиваясь шумом аплодисментов, на его привычном к страданию лице отражалось больше страха, чем счастья. Вот он, успех, на ожидание которого ушла целая человеческая жизнь. Наконец-то его романсы пропеты. Девочка, вкусившая уже славы, милостиво познакомила с ней и старца. Он кланялся, из глаз его катились слезинки... А Гуммель, завоевавший единодушное признание во всех немецких театрах, даже в лице изменился от этого зрелища. Терра подумал: «Вот его знаменитое сострадание».

— А я-то? — заговорил Гуммель. — Хоть бы один-единственный раз такое блестящее общество богатых мужчин и прекрасных женщин собралось лишь затем, чтобы сделать меня счастливым на одну ночь!

— Это я уже слышал от вас при совершенно иных обстоятельствах. Неужели с тех пор ничего не переменилось?

— Нет. Ничего! — ответил Гуммель, как бы оправдываясь.

В это время к ним подошла госпожа Беллона Кнак-Мангольф. Ей во что бы то ни стало нужно было потребовать объяснения у Гуммеля.

— Я ваша поклонница, господин Гуммель. — Руки подняты под прямым углом, ладонями вперед. — Именно потому я считаю себя вправе спросить у вас, как это надо понимать? У вас всегда все только для бедных людей, а богатых вы не жалуете. Как это надо понимать? — допрашивала она свысока и с обиженной гримаской.

Перед Терра внезапно очутился молодой Шеллен и, расшаркиваясь, сказал:

— Поздравляю. Я первый? — И так как Терра точно онемел: — Как же, совещание рейхсканцлера с депутатами... — Он сам перебил себя: — Чего вы гримасничаете, господин депутат? Это явный успех. Вы — герой вечера. Пришлите мне ваш портрет для газеты. И, пожалуйста, помните, что я был первым.

Тут стали подходить и другие.

Правда ли, что Ланна взял курс на гуманность? Терра бросало то в жар, то в холод. Вот оно решение! И пришло оно в самый неожиданный момент, среди хаотического разгула тщеславий, злобствований, борьбы за ложные взгляды, борьбы за ничто. Оно пришло в недобрый час; а какой час может быть лучше? В минуту решения Терра раскаялся и в борьбе и даже в победе... Совещание, к которому присоединились еще многие депутаты, заняло территорию вплоть до третьей гостиной. Кто подслушивал, разносил дальше слова: «отмена смертной казни», повторяя их как долгожданный приговор судьбы. И в самом деле, это встречали как приговор. Терра, которого дружеские рукопожатия втянули в центр толпы, видел, как побледнели некоторые лица, он встречал взгляды, застывшие от злости. Издали на него глядели в упор глаза Алисы Ланна, его врага в этот час.

Кое-кому из менее крупных политических деятелей стало не по себе от зависти. Кнак, наоборот, допытывался у Шеллена, правда ли это. «В Пруссии становится интересно», — ответил отпрыск газетного треста и указал на Терра, которого окружили дамы — Швертмейер, Блахфельдер, самые «сливки». Тогда и Кнак кивнул ему издали, как ближайший друг, который давно единокорен с героем дня. И даже граф Гаунфест не устоял перед успехом, он строил Терра глазки. Только банкир Берберниц смотрел на него критическим взглядом, исполненным грусти. Вот какова была обстановка к моменту прихода Мангольфа.

— Как ты чувствуешь себя на вершине успеха? — спросил он сердечным тоном. Терра огляделся по сторонам, незаметно скривил рот; они поняли друг друга. Успех ничего не стоил, он был обесценен этими пошляками, которых ничто не волновало, кроме успеха как такового. Ни идея, ни человек, — только успех. Неутомимая погоня завлекала всех...

— На одну минуту! — попросил Мангольф; и когда ему удалось отвести друга в сторону: — Мужайся, дорогой Клаус, твой успех основан на ложном слухе.

Терра вздрогнул всем телом.

— Жестоко, правда? — сказал друг еще сердечнее. — Что почести! Их можно

презирать, Но когда их едва успеешь вкусить и они превращаются в... ты сам увидишь, во что... К чему эта шутка? — спросишь ты. Да, таковы шутки Ланна. Ты его наперсник, потому ты его и не знаешь... Как мог он думать об отмене смертной казни, когда он прекрасно знает, что в таком государстве, как наше, вообще ничего не отменяется? Но на случай непредвиденной высочайшей прихоти он иногда пускает в ход безответственные слухи.

— Понимаю, дорогой Вольф. На самом же деле он потчует моих коллег охотничьими рассказами.

Но друга это не смутило.

— Нет, он не врал. Он заключает с твоими коллегами сделку. Разве это не самое существенное? Депутаты будут получать суточные даже в том случае, если рейхстаг отдыхает половину сессии. Не называй это подкупом, это просто деликатное оружие против оппозиции, собственное изобретение Ланна.

— В Пруссии становится интересно, — сказал Шеллен, у которого был тонкий слух.

— Я ни одной минуты не сомневаюсь, дорогой Вольф, что тебе доставило искреннее удовольствие открыть мне глаза, — заключил Терра.

Мангольф пожал плечами и отошел. Ланна окончил свои переговоры; ему пришло в голову просить Альтгот, чтобы она спела; его приятельница не должна остаться в тени из-за успеха молодой певицы. Альтгот увидела, что все двинулись к ней, она испуганно запротестовала; но ее благодарный взгляд искал Ланна. Только ему свойственна такая чуткость! Она спела балладу.

— Голос сохранился хорошо, но дикция плохая, — сказал кто-то, на что Шеллен привел ее слова: «Король с Клемансо сидели у Ритца...»

Терра стоял, покинутый всеми, и Гуммелем в том числе; даже граф Гаунфест перестал строить ему глазки. Политические деятели, которым было не по себе от его успеха, смотрели на него теперь с недоверием, как на авантюриста. Они уже снова вступили в подозрительные переговоры с плешивым племянником Кнака. А сам Кнак, восхищенный голосом певицы, повернулся к Терра спиной. Толлебен не удостоивал его своим злорадством, как не удостоил и поздравлением. В умных глазах графини Ланна светилась насмешка; и даже глухие придворные дамы что-то расслышали; они кричали на ухо друг другу о каком-то шарлатане, который хотел свыше меры продлить человеческую жизнь и, конечно, осрамился.

Но один человек все-таки заговорил с Терра. Не обращая внимания на его удивление, Эрвин Ланна сказал:

— Я случайно сегодня вечером во фраке. Ни за что не приехал бы сюда, если бы знал, что здесь творится. Хотел поговорить с сестрой наедине об одной ее фантазии, которую я не одобряю. И вдруг я слышу здесь от многих, даже от тех, кто меня не знает, что фантазия эта сегодня же будет осуществлена, а сестра избегает меня. Поэтому я ухожу. И вам, я вижу, не по себе. Пойдемте со мной! Только не думайте, что Алисе лучше, чем нам. Но она, очевидно, уже не может отступить.

— И я хочу остаться, — сказал Терра; но пока он на миг отвлекся от своего собеседника, тот ускользнул, как собеседник в мысленном диалоге. Терра внезапно

принял решение храбро снести все, что сейчас еще казалось таким тяжким: несчастье, одиночество и борьбу без надежды на успех. Он перевел дух. Враги, которые больше не поздравляли, казались естественнее, он сам в положении неудачника был привычнее для себя. Борьба, в которой он готов уже был раскаяться, обретала прежнее значение. Крепко сжав рот, так что по углам образовались желваки, излучая бог весть какие угрозы скорбно горящими глазами, стоял он одиноко, и вид его как будто говорил, что у него еще остался козырь. Вдруг певица оборвала пение, стулья задвигались.

Появление фон дер Флеше, генерал-адъютанта; Ланна спешит ему навстречу; Альтгот делает знак лакеям убрать стулья. Всем понятно: появление фон дер Флеше означает, что его величество уже здесь. Дамы торопливо бросаются к зеркалам. «Позвольте, пропустите меня, сударыня!» Ясно как день: он по пятам следует за генерал-адъютантом; господа, у кого грудь в орденах, вперед, живо в первый ряд. «Простите, ваше сиятельство, все должны остаться на местах».

Последний миг, трепетное ожидание, сопение взволнованных гостей, какая-то дама дико взвизгивает. Ланна спешит спроводить писателя Гуммеля. «Милый друг, как мне ни больно...» Гуммель трух, трух, рысью вниз по левому крылу лестницы. Ланна стремглав к правому, поздно, его величество поднимается слева. Все взоры влево. Выход его величества.

Свита едва поспевала вслед, так он бежал. Он разминулся с Ланна, промчался мимо Альтгот, а она так и застыла, присев до земли. Кто выпрямился достаточно быстро после придворного реверанса или низкого поклона, увидел, как он кусает губы, как грозно топорщатся закрученные кверху усы. Нахмутив брови, красный гусар ринулся сквозь расступившиеся ряды, не иначе как собираясь захватить в плен притаившегося в последней комнате неприятеля. Шепот недоумения следовал за ним. «Его величество не в духе. Вот беда, — увидел Гуммеля. Спасайся кто может! Что бог даст... Я? Иду». Однако никто не двигался, все ждали возвращения властелина и топтались на месте. Но вот он вернулся, и все стали кидаться то вправо, то влево, следуя за его резкими движениями.

Наконец он обратился к хозяйке дома:

— Слышал прекрасно, как вы завывали. Вы воете. Плохая школа.

Бедная Альтгот, под уничтожающими взглядами всех присутствующих, что-то бормотала о вполне понятном замешательстве под влиянием непредвиденной высочайшей милости. Ланна преспокойно улыбался. Только седенькая обер-адмиральша осмелилась вмешаться.

— Графиня Альтгот и на этот раз своим пением глубоко взволновала наши сердца, — сказала она с твердостью, столь же неколебимой, как буржуазная мораль.

Его величество резко отвернулся. Он увидел подле себя кого-то, это оказался Кнак.

— Направление музыки должно стать иным, не таким лирическим, более патриотическим. — Кнак сам не знал, как у него хватило отваги.

— И литературы тоже! — потребовал его величество. — Она только и знает что выставлять напоказ нищету.

Кнаку это тоже не нравилось, он горячо поддержал монарха.

— Грешит против германского народа, — еще раздраженнее продолжал его величество. — Помойка! Подтянуть! Каковы последствия таких дряблых убеждений? Оправдательный приговор забастовщикам.

Это попало прямо в цель. Простерши руки, промышленник склонился перед монархом, олицетворенная преданность. Его величество еще выше закинул голову, голос гортанный, глаза мечут молнии над склоненным Кнаком.

— Приказал передать моему прокурору, что такой приговор — государственная измена. — У Кнака глаза увлажнились благодарностью, его величество, наконец, заметил его. — Вы мне друг, покровительство германского императора над вашим домом, — проговорил он все еще раздраженно, челюсти зажаты, как у кота, ищущего добычи, уничтожающий взгляд в глаза ближайшему беззащитному, который пригнулся. Страшно было и за императора и за беззащитного.

Император казался слабым и болезненно возбужденным, какими бывают кокаиинисты. Он был груб, как бывают грубы больные; некоторые преданные сердца сочувственно сжались. Один Ланна, спокойный и уверенный в своей силе, сохранил на лице улыбку. За спиной своего повелителя он делал знаки, вокруг повелителя образовалось пустое пространство, Ланна плавно приблизился. У него были такие движения, будто он собирается пригласить на котильон богатую наследницу.

С бойкостью, близкой к бесцеремонности, он что-то шепнул императору, чего другие не расслышали. Император сразу успокоился, словно разрядился. Ланна с обычной своей ямочкой тут же подвел к нему красавицу Швертмейер. Подвел и тотчас отступил, довольный удавшимся трюком.

Все вздохнули свободно. Швертмейер, как всегда, вела себя слишком развязно и непосредственно, но настоящая дама была бы здесь не на месте; зато император мигом стал само очарование, прямо восторг, наш прежний чудный молодой император! Каждый, глядя на это искристое веселье, надеялся сегодня на удачу: на разговор, местечко в памяти повелителя. Надеялся и Терра.

Все переходили с места на место, говорили громко и озабоченно, меж тем как в действительности только искали способа очутиться поближе к повелителю; Терра не двигался с места и горящим взором следил за каждым движением императора. Он убеждал себя: «Я монархист! Прежде всего хотя бы потому, что человек, которого окружают величайшим уважением почтеннейшие дамы и мужчины, вот уже целых пять минут на виду у всех преспокойно беседует с заведомой потаскушкой. Затем еще потому, что я предпочитаю быть обязанным отменой смертной казни его капризу, нежели светским интригам. Теперь я понимаю моего благодетеля Ланна. Он был далек от мысли подшутить надо мной. Мне на собственной шкуре надлежало испытать, что для света имеет значение только удача или неудача, а сама идея как таковая — лишь в той мере, в какой она представляет для каждого шансы на успех. Я думал, что знаю это. Но по-настоящему узнал только сейчас. И вместе с тем я постиг, что гораздо больше смысла в прихоти монарха, чем во всех ученых, газетных и партийных спорах».

Он встретился со взглядом рейхсканцлера, в нем было прямое указание. Терра всем своим видом ответил, что намерен искать решения у его источника; намерен либо подчинить себе случай, либо пасть его жертвой.

Ланна принял это к сведению и с веселым видом отважился помешать высочайшей беседе. Он попросил у его величества милостивого разрешения Представить ему еще нескольких лиц; и хотя столько ртов жадно раскрывалось по-рыбьи, чтобы схватить наживку, столько страждущих лиц тянулось к нему, Ланна вытащил одного Тассе. Его шайка последовала за ним без приглашения.

Его величество далеко не милостиво готовился к встрече с пангерманским союзом в лице его второго председателя, который имел несчастье разлучить его с красавицей Швертмейер. Тассе сразу начал куролесить. Он едва дал Ланна время назвать его имя, считая, что оно и без того известно; затем представил сам:

— Господина генерала фон Гекерота мы взяли себе первым председателем, а вот это, ваше величество, наш коллега Пильниц.

— Не собираетесь ли вы представлять мне и моего обер-адмирала? — оборвал его император. — Господа генералы, добрейший Гекерот, не суйтесь, пожалуйста, в мою политику, она отнюдь вас не касается.

— Ну, да вы, господа, знакомы, — заметил Тассе, после чего император обратился за помощью к Ланна, Ланна в ответ на обиженную мину своего повелителя поднял глаза к небу. Но против Тассе бессильно было даже небо.

Генерал фон Гекерот долго скрежетал, пока его челюсти разжались. Он заявил, что только «поддает пару», но его возражение было явно неубедительным. Опять прилив крови к лицу и скрежет. Тогда Тассе пустился в объяснения, хотя к нему никто не обращался, — «зависть Англии к нашей торговле, соглашение превратит нас в ландскнехтов», — он полностью повторял свою речь о флоте, и удержать его не было возможности.

Император принохивался; он давно бы повернулся спиной, если бы не запах! Вдруг он резко прервал Тассе:

— А вы видели хоть один корабль? Вы знаете, где бакборт?

Тассе молчал зло и тупо, обер-адмирал тщетно подсказывал ему ответ. Император презрительно рассмеялся, опять втянул носом запах йодоформа, сказал: «Ну, желаю вам поправиться», и с этими словами отошел. Все, кого угнетал Тассе, тоже расхохотались, и заразительнее всех Ланна. За это Тассе наградил его взглядом, говорившим: «Мы еще посчитаемся», после чего рейхсканцлер немедленно оборвал смех.

Тассе воспользовался паузой, пересек дорогу императору и сказал доверительно, только для него и для стоявших вблизи:

— Я, правда, не знаю, где бакборт, но зато я хорошо знаю, что вы, ваше величество, тайком завели шашни с царем³⁴.

Оцепенение. Даже император не нашелся что сказать и снова обернулся к рейхсканцлеру. Тот, бледный, как призрак, искал опоры, но под руку ему попался только стакан вина. Значит, шайке была известна секретная переписка! Чего только

³⁴ ...тайком завели шашни с царем. — Намек на неоднократные попытки германской дипломатии заставить Россию переориентировать свою внешнюю политику в угодном для Германии направлении и ликвидировать Русско-французский союз.

она не знала! И этого проклятого Тассе Ланна сам представил императору, надеясь, что он потопит себя!

«Плохо твое дело», — мимикой показал ему Тассе, пока император глядел в сторону. Когда он снова повернул голову, Тассе ухмыльнулся и лукаво произнес:

— Ваше величество, что, если об этом услышат англичане? То-то у них глаза рогом полезут.

— Что вы сказали? — Император смеялся, но на этот раз весело. — Как это вы сказали?

— Ну, я сказал, что у них глаза рогом полезут. — Тассе был воплощенное добродушие. Он невозмутимо смотрел, как император смеется, чуть не с завыванием, и как все общество до коллик потешается на его счет. Ланна, который не смеялся, познал противника во всем его величии; противник был слишком уверен в своем превосходстве и готов бы даже поступиться его избытком!

Император похлопал Тассе по плечу.

— Вы человек по мне. — И обращаясь к Ланна: — Ну, Леопольд, как же быть? Пожалуй, он может снять с вас бремя ответственности? Тайны ваши он все равно уже разведal.

Ланна ответил весело и с достоинством, что готов нести бремя, пока его величеству не будет угодно освободить его, — меж тем как Тассе, чувствуя на плече высочайшую руку, кичился своим смирением.

Безоблачно настроенный император удостоил кое-кого разговором.

— Ну-с, Бербериц, иудейский согражданин? Швертмейер, вы опять что-то украли? Гаунфест, меня вам не обольстить. — Одновременно с шутками сыпались и милости. — Напомните мне, Флеше, господину Швертмейеру надо дать орден. Или лучше браслет госпоже Швертмейер.

А память какая! Он наизусть прочел молодому Шеллену какую-то газетную статью. Все дивились. Все были под обаянием, дамы очарованы, мужчины ошеломлены. Каждому он прямо смотрел в глаза: попирая мою внутреннюю свободу, — как чувствовал каждый. Но каждый трепещал подавлял в себе это чувство. А вслед ему шептал: «Вот это личность!» И дальше уже другие подвергались воздействию царственного ока, и еще другие могли любоваться гогенцоллернским профилем³⁵, линии которого, уходя назад, приближались к полукругу.

— Вот это личность! — сладостный трепет. Император обернулся. — Ну, Гаунфест, тенор, как дела? В следующую поездку на север беру вас с собой, будете воспевать вечернюю звезду.

— Незакатное величие северной звезды, — опустив веки, благоговейно выдохнул Гаунфест.

— И стихи сочиняете, Гаунфест? Конкурируете с Флеше? Но что с вами? — Флеше тоже стыдливо прикрыл глаза. — Вид у вас обоих такой, словно вы только что обручились.

³⁵ ...гогенцоллернским профилем... — Гогенцоллерны — династия германских императоров (1871—1918).

Генерал и ротмистр растроганно молчали, пока император смеялся. Смеялся он благодушно.

— Мы все друзья, связанные одинаковым обетом... — растроганно начал Гаунфест, нежно смягчая голос и взглядом как бы замыкая в один магический круг и друзей и императора. — Во славу возлюбленного нашего повелителя.

— И он тоже? — спросил император, увидев подле Флеше Толлебена.

— Мой кузен, — пояснил генерал-адъютант, — просит у вашего величества милостивой защиты в своих сердечных делах.

Снизу, склонив голову набок, его величество оглядел длинноногого Бисмарка и лукаво прищурил глаза:

— Знаю, мой Леопольд не хочет отдать вам свою дочь. Приму меры. Уломаю Леопольда. — Милостивый жест рукой, затем крутой поворот в сторону Алисы Ланна. — Графиня, у нас общая тайна, настоящий заговор. Вы действительно согласны удовольствоваться Толлебенем? Да, да, мой Флеше его кузен. — Мгновенный взгляд ее умных глаз подтвердил императору, что она разгадана. Тогда он заговорил совсем в открытую: — Если вы поженитесь, у меня будет в вашем лице перестраховка против Леопольда. Потому что и вы, графиня, не преминете вести политику против папаши. На тот случай, когда он выйдет в тираж. Смейтесь, смейтесь, кстати, вы красиво смеетесь. Итак, нынче вечером мы с вами заодно против Леопольда. Он пока слышать об этом не хочет, но ему придется послушаться.

Они оба засмеялись, Алиса не менее кокетливо, чем он, а он не менее двулично. Казалось: две дамы, замышляющие интригу. Его величество напряг икры, округлил упругие бедра и покачивал головой; в то время как правая рука выразительно жестикулировала, недоразвитая левая пряталась, насколько возможно, под красный ментик.

Но тут новая идея завладела им — или, может быть, пока только беспокойство, словно все кругом, затаив дыханье, ждали новой идеи. Он повернулся, и тотчас навстречу потянулись ошарашенно-испуганные лица, ему стало противно. Но нужно было поддерживать приподнятое настроение и стараться, чтобы воодушевление не ослабевало. Он знал, с кем имеет дело: ничто не должно происходить помимо него, а где он, там должно что-то происходить... Два темных жгучих глаза преследовали его, как совесть, он встречал их всякий раз, как искал смены впечатлений, они гипнотизировали его, они дерзали не обмирать под его взглядом; в чем они обвиняли его? Напуганный и раздраженный император отмахнулся от их обладателя: «Назойливый субъект, подожди, я тебе еще насолю!» — и уцепился за Пильница:

— Ну-с, профессор, вас я давно собираюсь отделать как следует. Вы осмелились полемизировать с учением об откровении.

Пильниц был не из тех, что упускают случай, он начал распространяться строго научно. Императору пришлось слушать. Он и в этом, как во всем, был активен; слушая, он либо решительно опровергал, либо усердно подсказывал. Ученый сам в конце концов стал в тупик перед выводами, к которым пришел: следовательно, откровение существует! «Вот видите!» — сказал император, и измученный Пильниц только отбросил свою белую гриву с влажного лба.

— Я должен опираться на явившегося мне в откровении бога, иначе мне не

справиться со своей задачей, — еще увереннее и тверже заявил император. Он взглянул в стенное зеркало; лицо избранника небес говорило, что он видит в зеркале не только себя, но и того, кого только что назвал. Онемевшие зрители что есть сил старались придать себе благочестивый и восторженный вид. Только директор банка Берберец басом изрек:

— Вот это христианин! Гений, прямо сказать.

Награда пришла немедленно:

— Берберец, послушайте-ка, что Пильниц говорит об Иерихоне! Нет, не о вас, Иерихов, но вы можете тоже послушать, это забавно.

После этих слов несколько господ поспешили приблизиться, его величество явно поощрял непринужденность. Ученый с готовностью повторил все то, к чему пришел путем строго научных изысканий. Стены пали вовсе не от трубного гласа, как утверждали евреи. Город они завоевали с помощью публичных женщин.

— Это вполне возможно, — решил император. — В военном деле ничего не стоят, а головы изобретательные.

Ученый просил разрешения познакомить научный мир с высочайшими взглядами на этот предмет.

— Избави бог! Тогда Берберец перестанет мне рассказывать анекдоты!

Кивок в сторону Берберца. Упитанный банкир с достоинством стал в позу перед сидящим императором. После каждого анекдота его величество с хохотом откидывался на спинку кресла и дважды хлопал себя по высочайшей ляжке. Он смеялся, широко открыв рот, смех его звучал каким-то плотоядным прерывистым лаем, но впервые за весь вечер он был самим собой. Все вздохнули свободно, мысленно благодаря банкира. А тот был совершенно равнодушен. И его анекдоты забавляли всех, кроме него самого. Миниатюрное лицо над грузным туловищем сохраняло выражение неисцелимой меланхолии, в то время как все рычали от хохота. Он держал голову высоко; видно было, что пушистая борода растет у него на шее так же густо, как и на лице. Бесцветные глаза, казалось, вот-вот вытекут, так они были выпучены.

Еще удачливее Берберца был Ланна, который его сменил. Ведь никто так не умел рассказывать еврейские анекдоты, как он, Ланна. Император держался за бока и требовал шампанского. «Обер, шампанского!» — кивнув в сторону обер-адмирала, который бросился исполнять приказание. Длиннобородый морской волк возвратился, кротко улыбаясь, с салфеткой под мышкой и ведерком для шампанского в руках. После его величества он подал бокал Тассе; Ланна было ясно, что союзники хорошо спелись.

Ланна предусмотрительно принял меры предосторожности. Отстранив от императорского углового дивана слишком назойливых гостей, он с озабоченной улыбкой попросил провести дам в дальние комнаты. Его величество в это время, выпив бокал, выплеснул остатки на обер-адмирала; тот поблагодарил. Второй бокал был тоже выплеснут, но Ланна, кому он был предназначен, ловко увернулся, брызги попали на генерал-адъютанта фон дер Флеше.

— Флеше на середку плечи, — сказал в рифму император. — Леопольд по мне

слишком увертлив. Тассе он тоже не по вкусу. Тассе, а флот я все-таки построю.

Теперь уж вся шайка во главе с Тассе придвинулась вплотную. И Шеллен оказался тут как тут; Ланна почти силой отвел его.

— А вы знаете, почему я строю флот? — прикрыв рот рукой, обратился император к оставшимся и, косясь на рейхсканцлера: — Я не смею сказать, Леопольд мне не позволяет. Но когда у меня уже будет флот, я поеду... я не скажу, куда, не волнуйтесь, Леопольд... и напрямик поставлю свои условия.

— Боже мой, что же это такое! — обратился Терра к Ланна.

— Bravo! — воскликнул обер-адмирал фон Фишер. — Старый приятель Пейцтер не обрадуется.

— Просто до гениальности! — воскликнул Пильниц. Слова «гений» и «личность» носились в воздухе; только Тассе держался строго и скептически. Он требовал немедленных действий:

— А то плохо вам придется, ваше величество, коварная сволочь опередит нас!

Ланна, несколько поодаль от императорского углового дивана, охранял подступы.

— Ах, если бы вы знали, что только мне не приходится предотвращать! — ответил он депутату.

— И вам это удастся? — спросил Терра.

Но тут вслед за Тассе послышался новый голос:

— Один французский депутат заявил, что он считает дипломатическим идеалом союз между Францией, Англией и Россией. Человек этот удивительно провидит будущее, — уверенно прозвучал голос, старательно выговаривающий каждое слово. Император взглянул на говорившего.

— И вы, видимо, тоже, господин помощник статс-секретаря Мангольф? — спросил он с изумлением, без обычной агрессивности в тоне. Мангольф слегка поклонился.

— Я прошу все милостивейшего разрешения почтительно напомнить о том, что один из английских министров уже хлопочет о сближении с Россией... Это вполне понятно с его точки зрения, — прибавил он, в то время как император встал.

— В следующий раз я за это чокнусь с Пейцтером, — пообещал обер-адмирал. — Тогда у нас обоих окажется больше судов, чем требуется.

Остальные, по-видимому, тоже способны были только радоваться предполагаемым козням против Германии. Серьезным оставался один император. Ему явно было не по себе, он хотел уже выйти из круга, но остановился в нерешительности и сказал:

— Но ведь это может привести к войне. Я не согласен. Не имею ни малейшего желания. «Хорошенькая история», как говорит Бербериц, — он явно пытался превратить все дело в шутку.

— Слово за мной, — прошептал Терра, дрожа от возбуждения. — Ваше сиятельство, сейчас мой черед, я не имею права упустить случай. Представьте меня! — Но на лице рейхсканцлера он не прочел согласия: — Я понял вас, вы со свойственной вам заботливостью подвергли меня испытаниям, чтобы с помощью уроков света подготовить к этой последней борьбе. Дайте же мне теперь возможность выдержать

ее! Пусть в моем ничтожном лице перед вами предстанет человечество, борющееся с жестокостью судьбы. Рейхсканцлер граф Ланна, предоставьте мне эту возможность!

Император сразу же отказался от своей попытки обратить все в шутку, в мрачном синклите генералов, пангерманской братии и штатских никто даже не улыбнулся, никто не выразил ни малейшей склонности к веселью. Нет, они настроены вполне серьезно. Император надул губы, повел плечами — и сам прервал томительное молчание:

— Чего же вы от меня хотите? Чего можно добиться, кроме каких-то дурацких побед, а на что они мне нужны? Я и без них обойдусь! — Молчание. Тогда он перешел на торжественный и строгий тон. — Кроме того, я несу ответственность перед моим создателем.

На это возразить было трудно. Всем оставалось только вздохнуть.

Рейхсканцлер решил, что его повелителю будет по душе некоторое разнообразие; он схватил Терра за плечи и выдвинул его вперед.

— Ваше величество встречает глубокое понимание и особо пламенное почитание у молодежи, — сказал он назидательно и вместе с тем дипломатично. — Вашему величеству это вряд ли будет неприятно. В «Фаусте», у нашего Гете, сказано: «Всего милее мне румянец свежий щек, Для трупа хладного в душе моей нет места», — язвительно бросил Ланна в сторону беспокойных стариков. Ему нечего было бояться, что кто-нибудь из них бросит ему в лицо: Мефистофель!

Император облегченно засмеялся и даже спокойно отнесся к назойливому субъекту, который, как совесть, докучал ему весь вечер. Прежде чем Терра, не отнимая рук от груди, выпрямился после глубокого поклона, Ланна успел сообщить императору, что депутат и помощник статс-секретаря — школьные товарищи.

— Ваше величество, вот вам живое доказательство того, что при таком мудром правлении, как ваше, и при нашей совершенной системе каждому таланту открыт свободный путь. Из предшественников вашего величества, пожалуй, один только Людовик Четырнадцатый умел так же по-королевски беспристрастно выбирать себе слуг.

Как монарх, так и государственный муж, по-видимому, придавали моменту важность исторического события. Каждому хотелось быть его свидетелем. Те, кого Ланна удалил, снова придвинулись. На всех лицах была написана напряженная торжественность. Даже приближенные, те, что смеялись над еврейскими анекдотами, застыли один за другим, словно фигуры на официальных картинах.

Рейхсканцлер произносил слова для потомства, а монарх с каждым словом становился благосклоннее. Когда отзвучало последнее, он устремил взгляд на склоненного в выжидательной позе депутата.

— О вас я кое-что знаю, — резко, но снисходительно.

— Ваше величество, соблаговолите милостиво выслушать меня, — заговорил Терра, не отнимая рук от груди. — Бог свидетель, что я никогда не позволил себе ни одного поступка или мысли, которые не имели бы единственной и твердой цели — содействовать, в меру моих ничтожных сил, славе и могуществу вашего императорского величества. — Голос то нарастал, словно неудержимо вырываясь из

сердца, то замирал в глубочайшем смирении. Император был, видимо, заинтересован как техникой речи, так и ее содержанием. Он ожидал продолжения.

— В полном сознании своей вины, я каюсь перед вашим величеством, что однажды необдуманно взял на себя защиту бастующих рабочих. Помыслами я был чист. Увлекли меня молодость и духовная гордыня, которая часто выступает на сцену там, где знаниям не соответствует ни имущественное, ни общественное положение. Ваше величество видите во мне одного из самых недостойных своих адептов. Ни один бастующий рабочий не может отныне ни в какой мере надеяться на мою защиту.

За этим последовал одобрительный императорский кивок. Путь был расчищен, Терра ринулся в бой:

— Благодаря твердой и дальновидной политике вашего величества Германия занимает в настоящее время независимое положение, ибо никакой союз с Англией не может воспрепятствовать ей строить флот.

— Вотируйте мне кредиты, господин депутат!

— Только во имя этого я живу и дышу. Но вашему величеству требуются не только денежные средства. Для создания флота вашему величеству нужна и высокая нравственная поддержка.

Император выпрямился и посмотрел в зеркало. Позади него и его красного мундира стоял бог. «Гений! Личность!» — бормотали вокруг. Столпившиеся зрители употребляли сверхчеловеческие усилия, чтобы быть замеченными его величеством. В этот миг подоспел Кнак. Лысый племянник оторвал его от чрезвычайно важных дел с депутатами, он задыхался, потому что очень быстро бежал и еще потому, что здесь дело было поважнее. Неслышно ступая, сильно покраснев от сдерживаемой одышки, Кнак протискивался вперед до тех пор, пока оба — император несколько сбоку, а депутат Терра прямо — не очутились непосредственно перед ним.

Депутат решил пустить в ход все средства, чтобы сосредоточить на себе высочайшее внимание; это видно было по его лицу, выражавшему железную волю.

— Ваше величество! — воскликнул он. — Германский император призван одержать победу над темными силами как того, так и этого мира, и притом без борьбы!

— Как так? — спросил император. Стремительный поворот, и он взглянул депутату прямо в глаза. — Что вы под этим подразумеваете? Объясните поскорей, в чем дело.

— Отмените смертную казнь!

— Как?

— Это ново, это действительно и современно, это обеспечивает успех. Пусть тогда кто-нибудь посмеет утверждать, будто ваше величество лелеет агрессивные планы. Даже самому отъявленному лжецу не удастся убедить мир в том, что вы желаете братоубийственной войны народов, вы, отменивший казнь даже для преступников!

Минутная растерянность — потом император сообразил. Он оглянулся: общее смятение. Он сообразил раньше других; мысль понравилась ему.

— Мысль не плохая, — сказал император. — Но попробуйте-ка разъяснить ее людям!

— Она на устах у всех. Правда, ее глубочайший смысл доступен только избранным... — Поклон, рука прижата к груди. — Вернее, только одному избраннику.

— Ах да, там было написано, что вы подкуплены англичанами, — сразу припомнил император. — Чепуха, я этому не верю.

Терра, содрогаясь с головы до ног, в последнем волевом усилии в виду цели:

— Я жду воздаяния только от бога. Я хочу иметь право почитать вас, ваше величество, как высшее, совершеннейшее орудие божие во всей истории человечества. Что такое Хаммураби, Моисей и даже... — Последнее имя не было произнесено. Новый волевой порыв, рука поднята вверх. — Ваше величество в мгновение ока становитесь гуманнейшим из монархов. При соответствующей пропаганде вас будут чтить как спасителя. Это ново, это действительно и современно, и это обеспечивает успех.

Его величество насупил брови:

— Что значит гуманнейшим?

— Истинная гуманность, политически рентабельная.

— А я было подумал — ложная.

Император оглянулся, нет ли у кого возражений.

— Вопрос проходит удивительно гладко, — произнес он сквозь зубы. — Никто не протестует. Ну, мы еще с вами потолкуем.

Но у обер-адмирала Фишера все же зародилось сомнение:

— Народ искренне привязан к виселице.

— А мы его отвяжем, — решил император. — Я человек современного склада... Что вы смотрите на меня, Ланна? Разве я не смею быть человеком? Да, я человек, значит и со мной может что-нибудь случиться... Ах, позвольте!

Он испугался — чего? Заглянул еще раз всем в глаза, движения стали как у автомата, затем резко повернулся к Терра:

— Скажите, пожалуйста, значит, казнить никого нельзя, даже убийц? Безразлично, кого бы ни убили? Меня, например?.. Ага! Вот вы и попались. — С угрозой: — Хотели меня провести.

Но Терра отпрянул, словно перед ним разверзлась пышущая пламенем бездна. На лице ужас, нескладные руки умоляюще стиснуты.

— Я был поражен слепотой. Я богом отринутое чудовище! — с невыразимой мукой выдавил он.

— Верно, — сказал император. — Ну, успокойтесь. Хорошо, что я вовремя спохватился. — Обращаясь к окружающим: — Мне сразу показалось странным, как это дело легко налаживается. — Опять к Терра, уже со смехом: — Вот выкинул штуку! — Стоявшие в непосредственной близости засмеялись тоже. — Хотел отменить смертную казнь! Ловкий малый, только глуповат. — Удар по ляжкам, знак, что и стоящие поодаль могут смеяться, а затем сквозь смех: — Отменить смертную казнь! Террористы подумали бы, что я спятил. А если ты мне когда-нибудь дашь пощечину, Флеше? И тогда увильнешь от харакикирики?

Генерал-адъютант успокоил его величество на этот счет, и они вместе продолжали

смеяться.

Терра, прикованному к полу, казалось, что он бежит и хохот, как внезапный морской прилив, настигает, опрокидывает его.

Громче всех звучал чей-то визгливый голосок: Толлебен. Он отбросил осторожность и смеялся. Что теперь может значить для него такой противник! Алисы не было видно. «Она даже посмеяться не захотела. Значит, всему конец». Вдруг его взгляд в борьбе за последние остатки человеческого достоинства наткнулся на лицо, серьезное как смерть и потому такое же желанное, как она. Лицо принадлежало Кнаку. Промышленник безмолвно кивнул ему, оба выбрались из толпы. Никто не препятствовал уходу Терра; ему стало ясно: смех царедворцев относился не к нему. Он относился к императору. Императору надлежало видеть их смех, как надлежало слышать из их уст слово: «Гений»! Они смеялись в поте лица своего.

Кнак и Терра, лавируя, протиснулись назад, где было пусто. Ища прикрытия на пустынном паркете, Терра отошел к колоннам у входа в последнюю гостиную. Он уже миновал их, как вдруг что-то заставило его обернуться. Его взгляд встретился с глазами, полными муки прощания, полными тоскующего неутолимого зова. Женщина судорожно сведенными пальцами искала опоры на гладкой стене. Опоры не было; тот, кто прошел мимо, мог ее взять и увести с собой, в эту минуту она убежала бы с ним! Именно в минуту его поражения! Когда он прошел, она зарыдала. Он видел, что она безоружна, далека от всех честолюбивых заблуждений и готова к бегству, что она его собственность — на то время, пока длятся рыдания. Он поспешил дальше.

Тут к нему присоединился Кнак. Кругом ни души, но и это не удовлетворило Кнака, он открыл потайную дверь. Когда они вошли, он оставил ее полуоткрытой, из боязни быть застигнутым врасплох. Выяснилось, что они в будуаре хозяйки дома. Подавляло обилие подушек и ковров.

— Расчет был неверен, — сказал Терра, глядя в землю.

— Тссс... я не стану вас утешать. Высказывайтесь, только потише, — предостерег Кнак.

— Когда-то человеческое общество выбросило меня из своих рядов за непригодностью. Я не погиб, выплыл вновь и предложил ему свои услуги. И предлагал не раз, — сказал Терра, поднимая взгляд, полный отчаяния.

— На сей раз не напрасно. Сейчас вы в этом убедитесь. — С этими словами промышленник протянул ему стакан воды. — Выпейте и садитесь! Вы сделали свое дело!

Терра, опускаясь на подушки:

— Мне совершенно ясно, что со мной покончено, что отныне я всего-навсего побежденная опасность. Если бы меня не убил смех, мне все равно пришлось бы околеть от сознания собственной беспредельной глупости. Я высказал императору то, что думал. Я пал жертвой кошунственной фантазии, будто можно иногда в качестве крайней меры пустить в ход правду. Жизнь мне этого не простит.

— Для вашей ошибки есть оправдание. Даже допустив неправильность расчета, нельзя отрицать, что самое выступление проведено мастерски. — Промышленник жестом отверг всякие возражения. — Я не преувеличиваю — мастерски. У его

величества возникают подозрения, но вы отводите удар и вызываете смех. Кто еще способен на это? Подозрение императора могло просто погубить вас. А что делаете вы? Вы добровольно становитесь мишенью для насмешек, вы развлекаете, а ведь это день изо дня наша единственная цель. Блестящий маневр! Теперь отдыхайте!

Терра вместо этого подскочил:

— Вы продолжаете издеваться надо мной, господин тайный советник! Я еще не так низко пал в собственных глазах, чтобы стерпеть позор и поругание именно от того, кому я в своей непростительной наивности помог устроить дела.

— Вот потому-то я и предлагаю вам место юрисконсульта и члена правления моей компании. — Тайный советник сел.

Терра снова опустился на подушки, на этот раз непроизвольно, — у него подкосились ноги. Вот она, настоящая катастрофа! Она была настолько безусловна и непоправима, что он сразу пришел в себя. Преодолев физическую слабость, он выпрямился и сказал хладнокровно:

— Не откажите изложить ваши мотивы.

— Они видны как на ладони. В способностях ваших я имел случай убедиться. Вы сами признали, что содействовали моему успеху. Но кто из нас может сказать, как все сложится в следующий раз. Вы отнюдь не конченный человек. Всякий раз, как общество выбрасывало вас из своей среды за непригодность, вы считали себя конченным, но выплывали вновь. У меня есть основание бояться, что в один прекрасный день вы снова вынырнете и будете мне угрожать. Вполне вероятно, что вы и тогда невольно только поспособствуете моим делам. Но все же я хочу учесть опасность, которую вы собой представляете, и снова предлагаю вам войти в мою Оружейную компанию. Ваши пацифистские взгляды мне не мешают, да и вас они не должны смущать.

Промышленник нерешительно запнулся, но Терра всем своим видом требовал, чтобы он закончил начатую мысль.

— Тем более что вашей основной целью, собственно, и было поступить ко мне на руководящую должность. У человека такого выдающегося ума должно же быть хоть настолько здравого смысла. — Сказав это, Кнак откинулся на подушки. Но ужаснее всего было то, что он совсем не казался победителем; он относился к сделке просто, не переоценивая ее. Плата, которую он предлагал за соучастие, была вполне приличной, для себя же он рассчитывал лишь на скромную выгоду. «Я оказался большим мошенником, чем он, — подумал Терра. — Вот к чему привела моя идейная борьба».

— Вы ничего не слышите? — прошептал он. — Нас подслушивают.

— Это нежелательно. — Кнак отодвинул портьеру в следующий из личных апартаментов Альтгот. — Я знаю, как выйти. Оставайтесь здесь, договор вам будет доставлен. — И он исчез.

Терра остался у той двери, через которую скрылся Кнак; он взял в руки шнур от портьеры и спросил вслух:

— Выдержит? Как сделать, чтобы изящно на нем повиснуть? — Его интересовала теперь только техническая сторона вопроса... В этот миг кто-то схватил его за плечо: Мангольф.

— Ты, как всегда, вовремя. Словно по заказу.

В ответ на вызывающий тон Мангольф сказал глухо и с непобедимой дрожью в голосе:

— Только не это, Клаус.

— Лучше стать юрисконсультom у твоего тестя?

Насмешку Мангольф тоже оставил без ответа:

— Я этим удовлетворяюсь.

— А я не могу!

В ответ на его возрастающее раздражение Мангольф проявил еще более кроткую настойчивость.

— Что, собственно, случилось? Ничего, что могло бы тебя сразить внутренне. Неудача! — Он пожал плечами. Мангольф — и пожимает плечами при слове «неудача»! Терра прислушался внимательнее к словам друга. — Ты ведь останешься тем же, чем был, — сказал друг, — вечной досадой для тех, кто тебя любит... Но с этим они примирятся, лишь бы ты жил.

— А нужно ли мне жить? — спросил Терра с сомнением.

— Это непереносимое условие и для моего существования. — Какой новый, незнакомый звук голоса! Голос шел из глубины души, такой настойчивый и вместе с тем нежный. Терра был тронут. Охваченный жестоким раскаянием, он сознался:

— Ты скомпрометирован по моей милости. Ланна неразрывно связал нас с тобой в сознании императора.

— А разве мы не связаны неразрывно в нашем собственном сознании?

— Это говорит твоя благородная душа, дорогой Вольф. Я же, в своем слепом эгоизме, не понимал, что Ланна готов погубить меня, лишь бы избавиться от тебя!

— Ты начинаешь прозревать. Но поверь мне, Клаус, я больше страдаю за тебя, чем за себя самого.

— Вижу, — сказал Терра, — и я, подлец, только потому не уйду из жизни.

— Мы не подлецы, Клаус. Я бывал несчастнейшим человеком, когда ты преуспевал. Но в те минуты, которые мы только что пережили, я был куда несчастнее. — Он сжал обе руки друга. — Дай мне взглянуть тебе в глаза, не смеешься ли ты, чего доброго, надо мной? В часы сомнений я считаю тебя каким-то вырожденком, для которого важнее всего удовлетворить свое тщеславие. Разуверь меня, и я буду счастлив.

Терра, не выпуская его рук:

— Откровенность за откровенность, Вольф. Я в минуты слабости готов верить в твою так называемую вторую наивность, с помощью которой ты хотел бы сравняться в глупости с современным обществом. Короче говоря, я готов считать тебя таким же глупцом, как твоих собратьев. Разубеди меня в этом!

Каждый из них старался увлечь другого из полумрака комнаты к выходу и яркому свету. Только раскаяние, только доверие видел один у другого, видел сквозь слезы,

застилавшие свои глаза и глаза друга...

Но тут к ним донесся громкий повелительный голос.

— Все сюда! — командовал знакомый голос. — Внимание! Радостное известие!

Они прислушались. Голос императора оповещал об обручении!

— Я взял это на себя, чтобы все видели, насколько мне близки торжественные события в семье моего рейхсканцлера.

Вырвав решение из рук отца, он к тому же еще кичится этим.

— Он свое дело понимает! — заметил Мангольф и тут же вскрикнул: — Что ты! Бог с тобой!

Ибо Терра рванулся от него и попятился назад, как раненный насмерть. И опять то же лицо, какое было, когда они встретились.

— Знаю, — сказал Мангольф. — Но радуйся: хорошо хоть, что все свалилось сразу.

Он подошел вплотную к другу и безмолвно ждал, пока пройдет спазм, стеснивший ему грудь, и смотрел только на его руки. Они то шарили по телу, то сжимались в кулак — и, наконец, беспомощно опустились.

Друзья стояли в полумраке за дверью, пышное торжество происходило незримо для них. Но в нарастающей сумятице голосов угадывалось многое; подобострастие перед успехом, преклонение перед властью, настоящей и будущей; каждый завидовал тому, кто раньше успел привлечь внимание императора; каждый боялся, что его подобострастно согнувшаяся фигура не попадет в поле зрения того, кому дано миловать, жаловать и благодетельствовать. Какой вид был у Ланна... когда он пожимал руки? И снова голос повелителя:

— Девственная прелесть невесты! Богатырский рост моего гальберштадтца! — Возбужденный нескончаемыми выражениями восторга голос добавил: — Запомните его хорошенько, на случай если увидите в мировой истории среди моих паладинов!

Ура! Браво! Бисмарковская маска!

«Но какой же вид у Ланна? Даже в ладоши захлопали. Неужели и Ланна?»

«Этот человек способен броситься на шею поддельному Бисмарку, — бормотал Терра про себя. — Слышит свой приговор, а на лице ямочка. Мы сражены одновременно. Но что думает он на тему „быть или не быть?“ — Шепотом: — А дочь — наш общий возлюбленный палач? Перед нами раскрываются бездны, ваше сиятельство! — Терра в темноте видел ее. Вызванная его тоской и безумным отчаянием, она явилась ему, мертвенно бледный призрак, далекий от всех честолюбивых заблуждений, с глазами, полными тоскующего неутолимого зова. Прочь все сомнения! Скорее к ней! Он бросился вперед, призрак исчез...

Кто-то схватил его за руку: Мангольф. Друзья были одни.

Кряхтенье и спотыкающиеся шаги со стороны личных апартаментов Альтгот. Терра вопросительно взглянул на Мангольфа: опять обман воображения? Но Мангольф кивком подтвердил, что теперь это действительность. Тот, кого оба узнали, доплелся до роковой портьеры и схватился за нее. Он закричал сильнее, но раздвинуть портьеру ему не удалось. Вдруг он рухнул на нее, рухнул, как

подкошенный, послышался шум падения. Он лежал, подмяв под себя жирную руку, запонка на манишке отлетела, дряблые щеки обвисли.

— Ваше сиятельство! — забормотали испуганные друзья, но глаза его не открывались.

Терра приложил палец к губам.

— Обморок свой он честно заслужил. Не успел он выстрадать Тассе, как его любимая дочь верным чутьем сердца уловила подходящую минуту, чтобы доконать его.

— Но он ведь жив? — спрашивал Мангольф, напряженно всматриваясь. — Он не смеет умереть, он мне нужен, и он и Толлебен, который гонится за ним по пятам; они должны сразу уничтожить друг друга. Тогда я отделаюсь от обоих.

— Леопольд! — послышался голос повелителя.

Тут только они заметили, что все общество во главе с императором входит в последнюю гостиную и приближается к полуоткрытой потайной двери; император даже как будто собрался войти вместе со своим генерал-адъютантом; он отдавал приказания, которым тот отказывался повиноваться.

— Где Леопольд? Пусть Леопольд мне поможет.

— Ваше величество, не гневайтесь. — Генерал-адъютант был в крайнем смущении. — Воля вашего величества для меня единственный закон.

— Надеюсь! — проворчал его величество.

— Однако госпожа Швертмейер? Не гневайтесь, ваше величество, только это уже слишком.

— Флеше, ты не жалеешь своей плечи!

— Я не могу взять на себя такую ответственность! Покорнейше прошу возложить ее на рейхсканцлера. Можно ли оставить в интимном кругу, когда все разойдутся, даму с такой репутацией, как у Швертмейер? Как верный слуга моего повелителя я должен считаться с обстоятельствами.

— Твои обстоятельства мне известны, Флеше. От тебя я не избавлюсь никогда. Не тронь меня, и я тебя оставлю в покое.

Господин протянул руку. Слуга, согнувшись под прямым углом, облобызал ее.

Они отошли от двери. Мангольфу и Терра было ясно, что тем, кто слышал этот разговор, лучше всего поскорее исчезнуть. Они обошли вокруг лежащего на полу Ланна и скрылись за портьерой. Из гостиной в это время уже входила Альтгот. От испуга у нее захватило дыхание. Сохраняя, несмотря ни на что, присутствие духа, она поспешила закрыть дверь, но старуха Иерихов все же успела проскользнуть в комнату.

— Дорогая, этого никто не должен видеть! — сказала она и стала разглядывать лежащего. — Особенно его величество! Его величество любит здоровых. К обморокам он относится неблагоприятно... Но что же это такое?

Альтгот опустилась на колени подле больного.

— Он опять слишком много ел, — сказала она. — Госпожа Иерихов, пожалуйста, не кричите и придержите дверь, чтобы не влезла Фишер! Она ведь, конечно,

подслушивает. Помогите, его необходимо перенести ко мне в спальню.

Но старуха Иерихов только подавала советы.

— Знаете что, дорогая! Есть только одно верное средство, это — чтобы помолилась Кипке. Правда, она живет далеко, на Папештрассе, но за ней можно послать. Помогает и корень мандрагоры. Купите у Тица, пятьдесят пфеннигов, с притертой пробкой.

Не находя помощи извне, Альтгот обрела всю силу в любви. Как Эдит Лебединая Шея на поле сражения при Гастингсе³⁶, она подняла возлюбленного с ковра и, не пошатнувшись, унесла его за портьеру. Терра и Мангольф при ее приближении проскользнули в следующую комнату, затем дальше еще через несколько комнат, до выхода на лестницу.

Многие из гостей все еще не решались удалиться, боясь что-нибудь упустить. Его величество остается в интимном кружке приближенных, тут уж ничего не поделаешь! Да, но Швертмейер? Измученные лица, безумное напряжение последних часов в истомленных, но все же ищущих чего-то взглядах.

— Господин Шеллен! — Граф Гаунфест звал его снимать собравшихся. — Можно и мне тоже сняться? Его величество изволил меня сегодня отметить. Как? Только его величество с женой и невестой? И с членами семьи? А госпожа Швертмейер тоже член семьи?

Сквозь толпу взбунтовавшихся рабов друзья прорвались разными путями. Скорей накинуть шубы, и прочь, каждый сам по себе, даже не подав вида, что их связывают чужие тайны.

Глава III Система Ланна

Новые тяжелые испытания в жизни Мангольфа: Толлебен обскакал его, и — что всего хуже — на сей раз окончательно. Толлебен брал теперь такие препятствия, на которых какой-то Мангольф неминуемо сломал бы себе шею. Он — зять Ланна, этим дурак побивал талантливый соперник. К чему все эти с трудом завоеванные позиции, к чему победа над людьми, которые скорее склонны презирать его? А ведь Мангольф умудрился внушить страх даже самому Ланна! Более того — обратил на себя внимание императора. Все ни к чему. Широкая спина встала перед ним, и Мангольф отодвинут на второй план: никогда уж ему не оспаривать высшего государственного поста. Чем больше успехов позади, тем сильнее радуют всех его неудачи.

Внешне он был спокоен, жизнерадостен, только порой невысказанные угрозы омрачали его лицо: это была его манера встречать удары судьбы. Наедине с собой он переживал обычные приступы отвращения, ненависти к себе, страстного желания положить всему конец. Всю жизнь он приносил в жертву разум — чтобы теперь быть поверженным во прах! «Я мог бы прославить свое имя как мыслитель. Ведь в конце концов управлять страной государственного деятеля учит тот же мыслитель. Это еще не упущено. Я уйду со сцены. При том, что мне известно, я опубликую такие материалы, что меня сейчас же привлекут обратно, да еще с повышением. Я, пожалуй,

³⁶ Как Эдит Лебединая Шея на поле сражения при Гастингсе... — Эдит Лебединая Шея — возлюбленная англосаксонского короля Гарольда II, смертельно раненного в битве при Гастингсе (1066).

сделаюсь статс-секретарем даже раньше канцлерского зятя». И вслед затем реакция, невыносимая тоска, вплоть до бестолковых поисков старого револьвера.

Другое дело на людях, здесь его линия поведения диктовалась обстоятельствами. Каково отношение Толлебена к флоту? Мангольфу достаточно было вполне правдиво отвечать на вопросы Тассе и его друзей. Толлебен? Прусский юнкер. Они ведь слышали, что говорит о флоте ландрат Иерихов? Кстати, если они полагают, что сам Ланна искренно... Нет, Мангольф признался, что Ланна не разгадаешь; именно это больше всего и раздражало единомышленников Мангольфа.

Со своими коллегами из высших правительственных сфер помощник статс-секретаря мог говорить прямо. Они, как и он, учитывали опасность, какую представляет зять рейхсканцлера. Опять династия вроде бисмарковской! Та еще у всех в памяти. Но втолкуйте-ка это парламентариям!

Там Мангольф наталкивался на равнодушие, и могло ли оно удивить его? Группа воротил, преследующих собственные корыстные цели, распространяла свое влияние внепарламентскими путями. Монарх сам выбирал себе советчиков, а успех рейхсканцлера зависел от того, удастся ли ему настроить монарха в пользу могущественных воротил. Император же видел назначение рейхсканцлера в том, чтобы водить этих господ за нос. Такова система, и менять ее нет оснований.

Мангольфу приходилось напоминать депутатам, что в их программу входит требование парламентского режима. Они возражали, что в период блистательного расцвета нечего думать о бурях и катаклизмах. Во всяком случае, все, что есть в системе отсталого, Ланна либо смягчает, либо даже устраняет. Благодаря Ланна мы, можно сказать, шагаем в ногу с современностью! Он внес в систему легкость, подвижность, даже отказ от устаревшей строгости нравов. Итак, это была его система — система Ланна. Дела шли нехудо, пусть так идут и дальше. Зять в качестве преемника? Что ж, и это не плохо.

Так наступил день свадьбы. Он миновал. Чета Мангольф сидела в одиночестве дома.

— Ты что-то бледен, мой друг, — сказала Беллона.

Хотя ее участие было искренним, в тоне звучала напыщенная манерность. Она обвила его голову рукой и постаралась придать всей своей фигуре стильный излом.

— Разве ты не счастлив? — с наигранным равнодушием спросила она.

Но он чувствовал ее тайный трепет, и она раздражала его.

— Меллендорфский дворец — отнюдь не гарантия счастья, — ответил он резко.

— Отец купил и меблировал для нас самый шикарный стильный дворец, и мы живем в нем: неужели, мой друг, сейчас время тосковать о двух каморках при рейхсканцлерской резиденции? — Рука поднялась под прямым углом кверху; Белла говорила свысока и с обычной гримаской. Так понимала она его печаль! Мангольф в глубоком раздражении неподвижно сидел у своего роскошного камина.

— Впрочем, она будет его обманывать, — заявила вдруг Беллона тоном простой мещанки.

Он нашел нужным выразить сомнение, но урожденную Кнак невозможно было переубедить. Она наблюдала за Алисой Ланна во время венчания.

— Все вы ничего не видите. И ничего не слышите. Когда она, бывало, говорила «этот Бисмарк», подразумевая своего нареченного, чьему тону она подражала?

— Ну, с Терра ведь все покончено! — простодушно возразил он.

— Все еще впереди, — возвестила она. — Ты заблуждался, милый мальчик, если думал, что такая, как Алиса Ланна, решится еще до свадьбы... Она-то, с ее расчетливым умом!

— Зато у тебя, Беллона, женский ум.

— И слава богу. Потому-то я и предсказываю: все еще впереди.

Он противоречил и таким путем добился от нее обещания в ближайшем же будущем представить ему доказательства.

Но ее доказательства были весьма сомнительного свойства. Алиса Ланна отказалась от свадебной поездки со своим Толлебенем. Мангольф возразил, что она, естественно, побоялась скуки, но жена его подозревала здесь уступку требованиям Терра. Для нее ведь нет сомнений, что их отчужденность, чуть не вражда — просто комедия. Беллона не пропускала ни одного приема у своей приятельницы, но ни разу не встретила там Терра. Значит, его принимают наедине. На одном вечере у себя, в новом Меллендорфском дворце, она нарочно села возле Терра, поодаль от всех. Она дала ему полную возможность заговорить об Алисе. Но он — ни слова. Она попыталась откровенничать: «Наша бедная Алиса несчастна». В ответ — испуг, такой резкий, как все у этого человека. Он судорожно прижал руку к груди, он оскалил зубы. А глаза так и засверкали исподлобья: он явно почувствовал себя уличенным. У него был такой вид, будто он способен ударить даму. Беллона подозвала кого-то из гостей.

В спальне она рассказала обо всем мужу. Готовясь ко сну, чета еще раз взвесила все, что подтверждало подозрения. Уже в постели оба сокрушенно повздыхали.

— Бедная моя Алиса! — вздыхала Беллона. — Какое несчастье для нашего круга! Что скажет государыня? А какой шум поднимется за границей!

— Это необходимо предотвратить, — скорбно произнес Мангольф.

Взволнованная Беллона согласилась с ним. И они пожертвовали часом сна, не придя в результате ни к чему. Каждый из них, бросая слова, словно закидывал другому удочку.

— Если это станет достоянием гласности, Толлебену крышка, — сказала жена. Муж не решился понять.

— Ужаснее всего было бы падение Ланна, — сказал он.

И этой мысли они пожертвовали еще полчаса сна. Наконец Беллона подвинулась почти к его подушке и прошептала ему на ухо:

— Надо с этим покончить, раньше чем Толлебен станет статс-секретарем.

Не понять смысла невозможно, принимая во внимание тон, каким были сказаны эти слова. Долгая пауза. Мангольф затаил дыхание.

— А как ты себе это рисуешь? — спросил он, немного помолчав.

Белла, не задумываясь:

— Боже мой, нужно сказать обо всем мужу. То есть не сказать, а написать.

Конечно, я не собираюсь действовать открыто.

— Значит, анонимно? — спросил Мангольф, потому что больше нечего было терять.

Она засмеялась, пожалуй, слишком резко.

— Боже мой, если это доброе дело и притом нужное? Какое значение имеют слова? Анонимное письмо... ну, что ж тут особенного? У меня вовсе нет привычки к ним. Такая женщина, как я, пишет анонимные письма, так сказать, в перчатках и только в перчатках решается прикоснуться к ним.

Даже и в постели тот же претенциозный снобизм и гримаска, но при этом такие циничные мысли! Никогда она не казалась ему столь соблазнительной; он внезапно привлек ее к себе. Уже наполовину отуманенная страстью, она прошептала:

— Дурак Толлебен, конечно, поднимет шум и свернет себе шею. А я-то тут при чем?

Когда Толлебен получил письмо, он бросил все дела и без шляпы, с распечатанным письмом в руке, ринулся через сад к рейхсканцлерскому дворцу, в левом крыле которого со стороны Вильгельмштрассе помещалась его квартира. Жены дома не оказалось: потный и запыхавшийся, он добежал до швейцара, узнал, что жена в апартаментах рейхсканцлера, опять поднялся по лестнице. Обошел все здание, вплоть до кабинета Ланна. Он так волновался, что способен был войти туда с письмом в руке. К счастью, ему навстречу вышел Зехтинг и доложил, что его сиятельство, господин граф, в посольском зале, там прием. Толлебен об этом позабыл. «А моя жена? Моя жена?» Графиня в зимнем саду. Не дрогнув, выдержал лакей свирепый взгляд несчастного супруга. Вот, наконец, красная гостиная: в бурном отчаянии Толлебен проделал весь путь до нее. Каждая роскошная комната, через которую он проходил, убеждала его, что подлое письмо не лжет. К обладательнице этой роскоши он был равнодушен, как и она к нему; такая женитьба — тяжелая ошибка. В его душе нет чванства, он презирает чванство, — удар кулаком по какой-то позолоте! Он — истовый протестант. Он плюет на этот скарб и на его владельцев; честный юнкер с радостью удалится в поместье, которое в качестве приданого, слава богу, записано на его имя.

Последнюю дверь он открыл пинком, лакей, видно, был не из расторопных. «Где моя жена?» — «В зимнем саду». Между колонн, которые в глубине обрамляли сад, он увидел ее. Она стояла позади сооружения в виде алтаря, у последней кулисы перед перспективой зимнего сада. На переднем плане красный шелк, расставленная группами мебель и в простеночных зеркалах ее отражение, ярко-красное с позолотой; дальше алтарь, на нем высокая урна; за ним сплетающиеся верхушками растения, дышащие холодком и спокойствием.

Алиса быстро обернулась на его тяжелый топот. «Одну минуту», — холодно и спокойно промолвила она. Она велела садовнику переставить цветочный горшок, а сама прошла вглубь и остановилась среди зелени. Толлебен топтался среди ярко-красной мебели, дальше он не двигался, несмотря на широкий проход в зимний сад. «Я не актер, — думал он. — Как я угодил на эту итальянскую оперную сцену? В какую семью я попал?»

— Интернациональная сволочь! — бормотал он, напыжившись от гнева.

Он хотел окликнуть ее: «Нельзя ли поскорей» — но, кроме легкого писка, ничего не получилось, а она в это время звучным контральто разговаривала с садовником. Тогда супруг накинулся на лакея, — то был давешний лентяй, — что это он мнетя здесь и шпионит. Мигом коленкой в зад, рукой за шиворот. Рычанье. Столик, окованный медью, с грохотом перевернулся, дверь закрылась, уф!..

— Что такое! — воскликнула Алиса Ланна. Она велела садовнику поставить стол на место и знаком отпустила его. Страх свой она уже преодолела.

— С тобой это часто случается? — спросила она, как всегда высокомерно. — Ну, садись же!

Он послушно сел.

Огромное туловище от волнения раскачивалось из стороны в сторону, глаза выкатились на лоб.

— Совсем Бисмарк, — сказала она, дивясь. На это удивление следовало бы ответить взрывом бешенства, но бешенство уже поутихло. Рука, державшая письмо, свисала с подлокотника итальянского кресла-качалки. Он нетерпеливо ждал, чтобы она увидела письмо. Но она заговорила уже совсем другим тоном:

— Теперь перейдем к более важным делам. Папа должен получить княжеский титул, однако у нас есть враги. Посмотри, пожалуйста, нас никто не подслушивает?

Он убедился в том, что в зеленой комнате нет никого, и оставил дверь настежь открытой. Несмотря на это, Алиса произносила враждебные имена шепотом.

— Верхняя палата? — переспросил Толлебен; он стал внимательнее.

— Зависть в среде равных, — пояснила она. — Все остальные будут довольны, если канцлер сделается князем, особенно император.

— Это сомнительно. Он сам хочет быть своим рейхсканцлером.

— Именно потому. В лице своего Леопольда он венчает собственный успех. Он счастливо отделался от соглашения с Англией. Англо-французский союз уже достоверный факт. Он теперь может преспокойно строить суда. Его Леопольд должен стать князем, он только об этом и мечтает. Похлопчи же и ты! От папы тебе нечего ждать благодарности, это ясно. — Складка у нее между бровей стала глубже. — Благодарность придет свыше.

Он подождал, пока она высказалась до конца, и продолжал вслушиваться, даже когда она умолкла. Придя в себя, он рассказал, как вызванный к доске старательный ученик, все, чем успел помочь делу, обо всех уговорах и нажатых пружинах. В каждом отдельном случае все прошло так, как она заранее рассчитала. Теперь она подавала ему советы, как повлиять на самых несговорчивых. Долго, подробно, все по два, по три раза, но неизменно заканчивала так:

— Я ведь все знаю только с твоих слов, умник ты мой. Вот этого, например, я хорошо узнала только через тебя. Ты забыл, конечно. Мне врезалось в память каждое твое слово.

На самом же деле она боялась одного: что он не уяснил себе даже истинного значения всего предприятия в целом. Она не оставляла ничего недосказанным.

— Откровенность — лучшая дипломатия. Ты, конечно, хочешь спросить, что тебе с

того, если ты сможешь моему отцу стать князем и при этом сам не сделаешься статс-секретарем? Я тоже так думаю. Папа охотно сплавил бы нас в какое-нибудь посольство, но мы на это не пойдем. Не будешь ты статс-секретарем, так и он не будет князем, я держу папу в руках, положишься на меня.

Он хотел сказать: «А тебе я могу верить?» — но все было и без того ясно.

— А его величество! — продолжала она. — Ты способствовал осуществлению его тайного желания, польстил его тщеславию, это тебе не забудется. В ближайшие годы Леопольд будет прочно сидеть на месте. Его успех — это успех императора. Но преемник должен быть намечен заранее. Кто может им быть, кто на виду? С точки зрения житейской отец пустил к себе в дом врага. Как это будет с точки зрения политической — покажет время. — Говоря так, она искренно страдала. Против отца за этого дурака! Такова жизнь! — Ты дашь мне директивы, — заключила она и заговорила другими словами о том же самом.

Она умолкла только после того, как убедилась, что он прочно затвердил урок и стал поглядывать на письмо, которым размахивал все это время. Алиса давно уже прочла содержание письма у него на лице; теперь ей было ясно, что он по-иному рисовал себе брак прирожденного повелителя. Несмотря на всю ее предусмотрительность, он все еще слишком ясно ощущал ее превосходство и всегда задавался вопросом: «Может ли она, при своем уме, быть мне верна?»

Раньше чем он успел вновь распалиться злобой, Алиса сказала:

— Теперь перейдем к тому, что тебе пишет моя подруга Белла. А ну-ка, покажи!

Толлебен протянул ей письмо, как послушный ребенок, — он ни о чем не спрашивал, он совсем растерялся.

— Буквы вырезаны из газеты, — деловым тоном заметила она. — Нет! Вернее, это целый кусок из газетного романа-фельетона, не иначе. Мой возлюбленный будто бы пьет у меня чай в те дни, когда я не принимаю. — Она подняла глаза. — Послушай, значит это должно быть не сегодня. Сегодня мой приемный день. Вот что, я отменю прием и не извещу об отмене только чету Мангольф. Они приедут, хотя бы для того, чтобы не возбудить подозрения. Что ты на это скажешь?

Толлебен попытался прибегнуть к привычному устрашающему ржанию, чему-то среднему между протестом и угрозой.

— Если желаешь моей помощи, объяснись точнее.

— Ну, угадай сам, кто твой враг! — сказала она спокойно. — Это враг твой, не мой. В нашем кругу обычно действуют целесообразно. Никому не придет в голову вырезать из газет букву за буквой только для того, чтобы причинить вред женщине. Здесь дело в тебе, — повторила она.

— Он подставляет мне ножку, чтобы я не был назначен статс-секретарем, — догадался Толлебен.

— Верно, — подтвердила Алиса, затем: — Тебе здесь советуют войти ко мне в указанное время и самому во всем убедиться. То же самое тебе советую и я. Только встретишь ты не моего возлюбленного, — у меня его нет, — а своего врага. — Все это было сказано очень решительным тоном. Кончив, она поднялась. Толлебен также встал с места и поклонился по-рыцарски. Его помощь была обеспечена.

Она понимала, что рискует всем. Терра мог узнать об отмене приема и прийти. Кого послать к нему? У нее не было телефона, за которым бы не следили. Но когда она все-таки решилась позвонить ему, никто не ответил. В последний момент, когда она совсем потеряла голову, ей пришел на ум отец. Граф Ланна как раз собирался в рейхстаг; она попросила его передать господину Терра, что она сегодня не принимает. Не успела она вернуться в красную гостиную, как явились Мангольфы.

— Странно, что мы оказались одни, — сказала Алиса, указывая на чайный стол. — Я ждала всех своих друзей. Теперь нам хватит места и здесь, в уголке. — С этими словами она усадила их в глубокие кресла у самого входа в зимний сад. — Чем интимней, тем приятней. Главное, надо знать своих истинных друзей, — прибавила она с меланхоличной веселостью.

Беллона обняла приятельницу картинным движением, проливая при этом слезы раскаяния. Мангольф молча уставился в пространство. Внезапно он заговорил о Терра в доброжелательном тоне.

— Его отношения с вашим тестем мне не по душе, — возразила Алиса. — При его взглядах нельзя с полной искренностью представлять интересы военной промышленности.

Мангольф расхохотался:

— По-вашему, это так уж необычно?

— Для господина Терра, конечно. Он всегда шел своим путем.

— Тогда будьте уверены, что пожертвовать доводами разума было неизбежно. Только бездушные люди идут на это без особой крайности.

Она посмотрела на страдальца; под высоким изжелта-бледным лбом топорщились брови, почти доходя до запавших висков. У нее явилось искушение заговорить откровенно. Но именно в этот миг чета обменялась многозначительным взглядом, и начался легкий разговор.

В тишине прозвучал бой часов, гости поднялись. Мангольф уже поцеловал руку хозяйке дома, но Белла еще замешкалась. Когда Белла собралась уходить, Алиса сказала:

— Твой муж ушел вперед.

— Какой невежливый! — заметила Белла.

Алиса посмотрела ей вслед, и они еще раз кивнули друг другу. Тогда Алиса подошла к зеркалу; она уже раньше увидела в нем, как Мангольф шмыгнул за угол и спрятался в зимнем саду за группой растений. Он ждал появления Терра.

Весь ужас был в том, что тот действительно мог войти. За чаем она с нечеловеческим напряжением владела собой, сейчас силы ее иссякли. Когда позади открылась дверь, она шарахнулась, вытянув вперед руки, и вполголоса пролепетала чье-то имя, ее возглас услышали рядом, в зимнем саду, листья там зашевелились.

Вошедший оказался Толлебенем; Алиса увидела его раньше, чем Мангольф. Она решила разыграть комедию, пусть тот до последнего мгновения думает, что это Терра. Пусть сидит там, пока все пути не будут ему отрезаны.

Никогда еще ее изящная фигурка не устремлялась так к Толлебену, никогда он не

видел такой улыбки на ее лице. Он в смущении остановился, раньше чем его могли заметить из зимнего сада. Алиса подлетела к нему, шепотом все объяснила и исчезла.

Толлебен зашагал прямо к группе растений. Мангольф успел выйти навстречу, прежде чем его вытащили за рукав. Он воспользовался этим, чтобы придать себе независимый вид.

— Пожалуйста, без лишних слов, — сказал он решительно. — И без этого!..

Он не отклонился, хотя видел, что рука противника дрогнула. Мангольф не спускал с него глаз и овладел положением единственно властью взгляда, который не был вызывающим, а лишь пронизывающим, властью мрачного лица, которому было известно все о себе и о других и которому в любую минуту могла прийти охота заговорить. Толлебен отступил — отступил перед непостижимым.

— Комедиант! — пропищал он злобно, но при всем презрении он внутренне дрожал.

— Я жду ваших секундантов, — заявил Мангольф и удалился.

Но когда Мангольф проходил через зеленую комнату, он услышал сбоку, в приемной, голос Алисы. Не задумываясь, он вошел. Она не заметила его, занятая разговором по телефону.

— Его нет? — Взволнованным тоном: — Постарайтесь, пожалуйста, его найти, это необходимо! Что? Нет в Берлине? Его нет в Берлине? Тогда благодарю вас. Пожалуйста, поблагодарите и моего отца от меня. — Трубка выпала у нее из рук, она зашаталась.

Мангольф едва подоспел, чтобы поддержать ее. Но она отстранилась. Тогда он стал говорить о своем глубоком сожалении, о том, как раскаивается, что взял на себя такую роль.

— Да, не следует бороться. Но мы захвачены борьбой. И не от нас уже зависит, к чему она приводит.

— Чего вы хотите? — спросила Алиса.

— Того же, что и вы. Дуэли не должно быть.

— Ошибаетесь. Я хочу, чтобы она была. — Она посмотрела ему прямо в лицо. — Вы должны умереть.

Он задрожал.

— Это не выход, — опомнившись, ответил он.

— Нет, это выход, — настаивала она. — Ведь вы хотели, чтобы умер мой муж... или тот, на кого вы его натравливали, — добавила она зловецким шепотом.

— Глубокоуважаемая графиня! Логика чувства делает вам честь, но она и обманывает вас. Дуэль невозможна, — настаивал Мангольф. — Нам не пристало слушаться велений сердца. Зять рейхсканцлера так же не зависит от себя, как и зять тайного советника фон Кнака. Серьезная распря между этими двумя могущественными факторами власти, Кнаком и Ланна, неприемлема для нашей политики.

— Она не то еще приемлет, — вставила Алиса.

Он снова принялся убеждать ее с еще большим жаром.

— Трус! — сказала Алиса.

Выразив сожаление, он с достоинством удалился. Она побежала обратно в красную гостиную, побежала, чтобы застать там Толлебена. Да, он топтался по комнате.

— Почему я этого молодчика не убил на месте? Если и ты мне не объяснишь — почему, я лопну от злости! — Он весь побагровел.

— Я скажу одно: он обезумел от страха. Он умрет от страха раньше, чем ты прицелишься в него.

— Ну, на это не было похоже, — с удивлением припомнил Толлебен.

— Как подумаю, что он замышлял, я не помню себя от счастья!

Язык не поспевал за сердцем. Это было воздаяние за страх последних часов. Устранена опасность, нависшая не только над ее головой, но и над головой того, кто даже ничего не узнает. Какой урок! А тот все еще мечтал, что они будут принадлежать друг другу. «Никогда, никогда, и все-таки мы не перестанем любить друг друга». При этой мысли к ней вернулись строгость и решимость. Обернувшись к Толлебену:

— Я хочу что-то сказать, для чего действительно нужен особенный случай, иначе этого и не скажешь. Я всегда буду тебе верна.

Он ничего не ответил. Есть признания, которые принимаются молча, ибо слова преходящи. Слова хороши для труса. Правда, у нее сейчас такое лицо, сознавал Толлебен, какого обычно у женщин не бывает, честное лицо.

— У меня неотложные дела, — сказал он и ушел искать секундантов.

Мангольф не мог опомниться от изумления: рано утром, когда супруги еще были в постели, явились два офицера. Он объяснил жене, что дело, верно, идет о каких-нибудь формальностях, — дуэль была и остается невозможной, Алиса, несомненно, вмешается. Для улаживания конфликта ему тоже понадобятся секунданты, и он немедленно вызвал к телефону генерала фон Гекерота, который охотно дал согласие. К офицерам он вышел в элегантной пижаме.

Учтивый разговор, настолько заученный и трафаретный, что вряд ли он мог быть серьезным. Иначе как-нибудь почувствовалось бы, что дело идет о человеческой жизни. Офицеры откланялись, сцена прошла как по маслу.

За завтраком он был занят газетами и письмами и только попросил Беллу дать ему знать в министерство, когда Гекерот сообщит, что недоразумение улажено. После чего он сел в автомобиль и уехал.

Серьезный день. Надо подготовить ответ на запрос социал-демократов. Ланна любил в таких случаях блеснуть. Только взглянув мимоходом на часы, Мангольф вспомнил о Гекероте. Ответ уже должен быть получен. Очевидно, еще нет. Но теперь он понял, что только этого и ждет. Еще немного погодя он позвонил домой: ничего; Гекероту: нет дома. Что же, собственно, происходит? Неужто вмешалось что-либо непредвиденное? Мангольф успокаивал подступавшую тревогу самыми простыми объяснениями. Секунданты Толлебена, конечно, займут примирительную позицию, Мангольф попросил своих держаться выжидательно. Ведь кому по-настоящему грозит скандал? Кто обманутый муж и с кем тогда будет покончено?

Но это слово раскрыло истину. Нет! С Толлебенем и тогда не будет покончено. Покончено будет с тем, кого убьют. Ужасная истина! И вдруг Мангольф предался отчаянию, схватившись за голову руками. Его убьют, и все забудется — и толлебенский позор, и смерть Мангольфа, и вся их вражда. Разве Кнак будет враждовать с Ланна из-за убитого зятя? Зять, представитель компании в лоне правительства, убит, на его посту новый человек, а дальше что? Первым позабудет Кнак, потом Белла. В конце концов и Толлебен будет с благожелательством вспоминать об устраненном сопернике. Он может себе это позволить, глупец. Глуп единственно тот, кто умирает.

Боже мой, какой нелепый промах! Его дело, все его, созданное собственными руками, напряженное, строгое и осмысленное существование — под бездушным дулом пистолета! «Трагически глупая игра без выигрыша, а ставка — мое я!»

— Я! Я! — громко повторил он, остановившись посреди кабинета, ударяя себя в грудь. Тут Мангольф опомнился.

Он заметил, что уже в течение целого часа терзается ужасающим страхом. Надо положить этому конец! К телефону. «Господин генерал?» Да, сам Гекерот, его тяжелое дыхание.

— Только что вернулся домой. Хорошенький сюрприз нам преподнесли. Конечно, позор падет на всю армию, не следовало иметь дело с интернациональным сбродом.

Говорит, словно пьяный. К Мангольфу вернулось все его хладнокровие.

— О чем вы говорите?

— Ах, вы ничего не знаете! В самом деле ничего не знаете? Конечно, откуда же вам знать? Ваша дуэль не может состояться из-за смерти секунданта.

— Что такое? Какой секундант? — выкрикнул он так резко, что Гекерот испугался.

— Простите, ради бога, дорогой Мангольф, мне следовало немедленно позвонить, но если бы вы знали, в каком я состоянии! Однако не беспокойтесь, дуэль состоится непременно, только с опозданием; чести вашей ничто не угрожает, не беспокойтесь! Но послушайте! Все было отлично слажено, трехкратный обмен выстрелами. Идея графа Финкенбурга, он на этом настаивал, в интересах вашего противника. Я, конечно, вел себя сдержанно, согласно вашим указаниям, и требовал — до потери боеспособности. Однако не преуспел, сожалею, следовательно — трехкратный. Вы слушаете?

— Слушаю.

— Конечно, мне следовало к вам заехать. Я так и собирался. Но граф Финкенбург пристал, чтобы я отправился с ним в манеж посмотреть его кобылу. И там это случилось.

— Граф Финкенбург упал с лошади?

— Нет, его застрелили.

— Его? — спросил Мангольф. — А не меня? — Он не знал, что говорит, но генерал, не слушая, кричал в трубку:

— Выстрел в спину! Сзади! Трусливый и предательский. Позор падет на всю армию, помяните мое слово! Подозревают денщика Финкенбурга, но доказательств

нет. Я лично обрабатывал его два часа. Солдаты держатся сплоченно, как стена. Правда, покойный был живодер. Воображаю, что нам преподнесет окаянная левая пресса!

— Благодарю вас, господин генерал.

Мангольф хотел повесить трубку, но Гекерот крикнул еще:

— Конечно, сегодня ваше дело не может сладиться, сами понимаете, что тут на меня свалилось. Завтра начнем сначала. Послезавтра утром, если все пойдет ладно, вы будете стреляться.

Мангольф сел, чтобы не подпрыгнуть до потолка. Спасен! Спасен судом божьим! Значит, дуэль действительно нечто вроде суда божьего. Человек, еще вчера ему совершенно неизвестный, вмешавшись сегодня в его судьбу, умер вместо него. Мангольф содрогнулся, почуввав руку всевышнего. Потом снова его охватила радость, — он закурил папиросу. Скорей в гущу жизни! На улице он увидел весеннее солнце и женщин. Ведь он еще молод! Тут вдруг ему пришло в голову, что он не успеет состариться, смертный приговор не отменен.

Но время выиграно, значит все выиграно. Он уселся в кафе у большого зеркального окна. Шальная весенняя суэта на площади подбодрила его, наглядно показывая неугомный ход жизни. «И у меня есть лазейки, и не одна, а десять!» Однако каждая из лазеек, на которой он пытался остановиться, оказывалась несостоятельной. И вот он сидел в одиночестве, мрачно углубившись в себя. Из глаз его исчезла весенняя суэта. Мангольф видел только чудовищную могилу, способную поглотить весь мир.

Скорей бежать! Убежать от страха. Куда? У тебя на свете есть один-единственный человек. Ему одному твоя жизнь так дорога, что он за тебя пойдет даже на бесчестие. О! Он найдет средство уберечь тебя, потому что для него все средства хороши. Настал решительный час... И он уже стоял у двери Терра.

Терра не было в Берлине. Где же он? В Рейнской области? Так далеко?

— Я позвоню к нему. Прямо отсюда. — Его впустили.

Он сидел, ожидая услышать голос друга. Сидел долго, словно был уже в верном прибежище, — и вдруг им овладел ужас. Терра... Ну, да. Терра мог вместо него... Как теперь граф Финкенбург. Так могло случиться. «Не моя заслуга в том, что случилось по-иному. Я его предал». В этот миг зазвонил телефон. Мангольф хотел попросить, чтобы Терра не вызывали; но друг сам был у телефона.

— Ты еле говоришь, дорогой Вольф, — сказал он. — Что-нибудь случилось? Мы непременно повидаемся завтра рано утром. Я, конечно, считаю своим долгом сегодня же вечером выехать в Берлин.

— Я не могу ждать до завтра! — вырвалось у Мангольфа.

— Да и незачем, — подхватил друг. — На что существует автомобиль? Он изобретен специально для нас. Я сажусь сейчас же в самый мощный автомобиль твоего тестя и, если не сломаю шею, буду во втором часу ночи у тебя.

— Я выеду тебе навстречу! — Этот вопль проник в душу друга, как раньше слезные мольбы.

Они наскоро сговорились о месте встречи на полпути. Два слова Беллоне, и

Мангольф сел в свой собственный автомобиль — одновременно с Терра, который выехал с противоположного конца. Быстрая езда через весенние деревни, в легком дурмане от воздуха и движения. Страх исчез, и уже не было ощущения одиночества; там его друг совершал часть пути вместо него, Мангольфа. Делил с ним путь, страх, опасность. Должно быть, знал уже все, еще ни о чем не услышав. Наступил вечер, они в темноте приближались друг к другу. Неудачный поворот: Мангольфа швырнуло в сторону. Испуг: не случилось ли сейчас несчастья и с другом?

Прибытие в маленький городок, гостиница. Никого нет. Мангольф не хотел есть один — и все-таки ел, чтобы скорей прошло время, но проходившие минуты сменялись еще более тягостными. Он вышел из дому — зачем? Зашагал по площади. Какой гнет! Это собор; сплюснутый, наполовину вросший в землю, он давил своей тяжестью, одинокий, мгристо-серый. Пустые старинные улочки с первых же шагов погружались в ночь. Назад, к собору! Мимо проносились летучие мыши. Ах! Сегодня утром, перед шальной, весенней суетой на площади казалось, что нетрудно прожить этот день, хотя бы он был последним. Но здесь — нет.

Шаги позади одной из колонн, и перед ним очутился Друг.

— Вольф, дорогой, я искал тебя, — сказал он. Мангольф молчал, но Терра пока и не требовал объяснений. — Мы, очевидно, остановились на разных концах этого городишки, милый Вольф. Я не устал, но вот скамейка. Она стоит под кустами цветущей сирени, в тени собора, и несколько осиротелых могил делят с ней эту тень. Отсутствие на скамейке влюбленной парочки наглядно свидетельствует о безнадежной затхлости этой дыры. Ведь могилы — обычные наперсники влюбленных. Где-то даже журчит вода... Мы заменим влюбленную парочку и будем вместо нее шептаться под журчанье ручейка.

И Мангольф тихим голосом начал исповедь. Терра поощрял друга кивками и нежными прикосновениями к его плечу. Когда Мангольф дошел до главного, задыхающимся шепотом, перескакивая через самые тяжкие места и торопясь дальше, Терра стал резким голосом вставлять замечания: «Дальше!» или: «Превосходно!» Под конец он захохотал злобно и раскатисто, а Мангольф поник головой.

— Дорогой Вольф, я ничего другого и не ждал от тебя, — сказал Терра, поднявшись, и пошел прочь.

Гневные шаги гулко застучали по плитам; потом затихли, повернули обратно. Мангольф сидел сгорбившись.

— Ты бесчестный человек! — произнес Терра.

— Это действительно твоя точка зрения? — спросил Мангольф.

— Предположив без всякого права, что у меня может быть любовное свидание с госпожой фон Толлебен, ты решил натравить на меня ее мужа, как бешеного пса. Я-то готов простить тебе, но ведь ты скомпрометировал даму!

— Что за слова! — сказал Мангольф. — Давай говорить так, как свойственно нам. Я тебя предал и за это несу наказание.

— Если госпожа фон Толлебен хочет тебе мстить, я, ей-богу, не виню ее за это. — С этими словами Терра опять собрался уйти. Но он лишь повернулся вокруг своей оси и снова уселся. — Объясни мне, пожалуйста, только одно, — сказал он менее

твердо. — Откуда у человека нашего с тобой склада ни с того ни с сего является такая грандиозная доза чисто ребяческой подлости? Ты для меня загадка, дорогой Вольф!

Однако в его тоне меньше всего было удивления. Мангольф поднял голову; они посмотрели друг на друга, и оба до конца поняли все происшедшее. Более простые натуры восприняли бы это иначе: более простые, привыкшие больше действовать, чем рассуждать.

— А я? — начал Терра, хмуря лоб, в сознании собственной вины. — Еще зимой у Альтгот тебе представилась прекрасная возможность вынуть меня из петли, таких дел я натворил. И если твой благородный план заставить меня с Алисой не удался, бог свидетель, — не по моей вине. Ничто не дает мне права смотреть на тебя с презрением моралиста. Просто теперь твоя очередь вешаться, а моя — вынимать тебя из петли.

— Мне хорошо знакома твоя манера выражаться, — пробормотал Мангольф, пока они рука об руку шли обратно.

— Непростительна только твоя безбожная глупость, — доказывал Терра. — Ну, хорошо, человека, под которого иначе никак не подкопаешься, обычно устраняют с помощью половой морали. Но почему тебе не пришла в голову простая мысль взяться непосредственно за твоего противника, вместо того чтобы обрушиваться на ни в чем не повинную женщину? Зачем существует на свете княгиня Лили?

— О Лили я и не подумал. — Мангольф с удивлением вглядывался в ночь. — В самом деле, — признал он, — это средство верное, если, может быть, и не смертельное для пациентов. Он, говорят, до сих пор не порвал с Лили — верно, из-за ребенка.

— Из-за твоего ребенка, — поправил Терра.

— Эта история выставила бы его в таком комическом виде, что он по меньшей мере еще год не мог бы сделаться статс-секретарем. Больше мне ничего и не требовалось! Но... — Мангольф сделал паузу. — Тут уж ты упускаешь из виду самое главное. При этом твоя Алиса была бы задета в своем честолюбии. А что, по-твоему, могло бы задеть ее больше?

— Ничего, — сказал Терра, остановившись и глядя себе под ноги. Мангольф не дышал. Наконец Терра двинулся дальше. — Решено. Едем прямо к Лили. Ты должен жить!

Мангольф поспешно, весьма поспешно схватил его под руку. Молча вышли они за город.

— Я здесь, за городом, оставил автомобиль твоего тестя, — сказал Терра. — Я решил, что благоразумнее появиться в городе без особого шума. Мы обсуждаем здесь такое деликатное дело.

Чтобы сразу же наметить план действий, они вернулись обратно и снова обошли соборную площадь. Когда они опять вышли за пределы города, уже брезжил день.

— Я не устал, — констатировал каждый из них, — нервы слишком взвинчены. Но мне хочется есть.

Они обильно позавтракали, затем сели в автомобиль Мангольфа; свой Терра отослал. Сначала они медленно ехали сквозь молодую, яркую зелень, мимо наполненных щебетаньем садов. Этой свежести, этой близости к земле люди не ощущали еще совсем недавно, когда приходилось ездить только по железной дороге. С

дуэлью было покончено; они дышали, они радовались, что могут передвигаться, ни от кого не завися, пользуясь небывалой свободой богатых людей, путешествующих в собственных автомобилях — этом новейшем изобретении, усладе доходных профессий.

— Я, может быть, и негодяй, что продался твоему тестю, — сказал Терра, — но езда на автомобиле стоит того. — При этом он учтиво раскланивался с людьми, проезжавшими во встречных автомобилях. — Весь промышленный мир, — пояснил Терра громко и возбужденно. — Мы теперь всегда в пути. Дорогами завладели мы одни. Наши автомобили, обгоняющие друг друга, приводят нас к неопровержимому убеждению, что в один прекрасный день мы завладеем всей страной. Конец дворянству. Власть промышленной буржуазии опережает его на автомобилях — и с помощью флота.

— Если Толлебен, как угроза, будет устранен, чего достигну я? — Вся гордыня Мангольфа прорвалась в этом вопросе.

Вдруг их машина остановилась. Хаотическая свалка людей и сельскохозяйственных орудий: столкнулись автомобиль и телега с навозом; подбежавшие крестьяне поддерживали возмущенного возницу, двое путешественников не могли сладить с орущей толпой. И так как на них надвигались громадные вымазанные в навозе вилы, они вскочили с ногами на сиденье, как были, в автомобильных очках и макинтошах и, размахивая руками, словно утопающие, отчаянными криками призывали своего шофера. Тот исчез. Критический момент! Наконец у одного из них зародилась счастливая мысль.

— Принц Генрих! — воскликнул он. — Мы расскажем принцу Генриху! Здесь вообще всем известная западня для автомобилей. Вы за это дорого заплатите. Наш председатель — принц Генрих!

Крестьяне опешили. Вряд ли они знали принца, но чем туманнее угроза, тем сильнее ее действие: вилы опустились. Автомобиль и телегу расцепили. Мангольф послал на помощь своего шофера; тогда появился и второй шофер. Путешественники сняли очки. Какая неожиданность! Доктор Мерзер, граф Гаунфест! Один с грязно-желтым, другой с нарумяненным лицом.

Завязалась беседа, задымили сигары, меж тем как укрощенные деньгами крестьяне с готовностью очищали автомобиль от навоза. Щелканье каблучков, рукопожатия; между удивленными шпалерами зрителей оба автомобиля разъехались в разные стороны.

— Видишь, — сказал Терра, — граф Гаунфест едет даже в Кнакштадт.

— Это дружба, — пояснил Мангольф.

— У племянника Кнака высокопоставленные увлечения, — продолжал Терра. — Сознаемся откровенно! Очевидно, наш брат что-нибудь да стоит, если уж кнаковский племянник заводит себе графов. У промышленности свои интересы. Нерушимое право судить о том, получает ли фирма выгоды от сердечных дел господина доктора Мерзера, принадлежит единственно господину тайному советнику Кнаку.

— Фон Кнаку, — подчеркнул Мангольф.

— Значит, все-таки добился? — Терра потер руки. — Большое, но, по моему

скромному разумению, вполне заслуженное отличие за плодотворную деятельность. — Такая высокопарность выражений немедленно внушила Мангольфу недоверие.

— Ты недавно уже пел дифирамбы могуществу промышленной буржуазии.

— Ну, а как же! — ответил Терра; он говорил просто, без всякого задора. — Я безоружен перед явлениями, совершенными в своем роде. Кнакштадт — крепость с тысячью заводских труб, — так прежние города хвалились численностью своих церквей! Весь мозг большого государства, вся его воля сконцентрированы в Кнакштадте. Дымящая, грохочущая воля. Капитал служит только ей. Капитал, вложенный в военную промышленность, презирая моря и границы, устремляется из Кнакштадта к разным странам света. Встречаясь с другим таким же капиталом, который стремится из этих стран, он вступает с ним в дружеские отношения, несмотря на вражду государств...

— А ты можешь это доказать? — перебил его Мангольф.

Терра, отрезвляясь:

— Я юрисконсульт фирмы. Как настоящий юрист, я слепо защищаю ее интересы, поверь мне. Я живу всегда в Берлине, езжу в Кнакштадт только для доклада. — Снова загораясь: — Однако я должен быть лишен даже искры божественного разума, чтобы не видеть наиболее яркого проявления существующей действительности.

— Ты подразумеваешь Кнакштадт?

— Кнакштадт и его производство носят на себе божественную печать, они существуют единственно для себя.

Мангольф обиженно:

— Я полагал, что и военная промышленность — одно из орудий политики.

— Мы все орудия, но в чьих руках? — вымолвил Терра, и это прозвучало как-то слишком загадочно. Мангольф пожал плечами. Но недоверие осталось. Что Терра имел в виду? Что он успел узнать? И не угроза ли это? Предостережь Кнака от этого воплощения неуловимой изворотливости: совершенно бесполезно. Мангольф задумался, в то время как Терра продолжал разглагольствовать невозмутимо и двусмысленно. Он говорил о демонической обыденности Кнака, о зловещем комизме, составляющем его сущность, которая наглядно воплотилась в образе доктора Мерзера.

Мангольфу стало жутко; он плотнее закутался в плед, стараясь отодвинуться от Терра. Кому он доверился! В чьих руках его жизнь! Мангольф безмолвно поник головой, горький страх опять овладел им. А Терра все возвышал голос, и мысли его парили все выше. Так они приехали в Берлин.

Мангольф решил показаться в министерстве иностранных дел.

— Сейчас полдень, — заявил Терра. — К двум часам дело будет улажено, я уведомя тебя. — И он направился к женщине с той стороны.

— Что, мой сын еще не вернулся из школы? — спросил он. Ему сказали, что княгиня одевается, он решил подождать. Очень светлая комната в розовых и желтых тонах, полумрак мавританского кабинета упразднен. Вскоре она впустила его к себе. Она вертелась перед большим зеркалом, необычайно стройная в траурном наряде.

— Смею тебя уверить, что, по моему глубочайшему убеждению, лучшая твоя пора только начинается, — заверил ее Терра как обычно. — Ты с каждым днем приобретаешь все более девический облик.

Она взглянула на него без всякой благодарности.

— Да, теперь элегантной женщине полагается быть стройной, — сказала она, продолжая вертеться на стройных ногах.

— Мы врастаем в новое столетие. Стоит только взглянуть на тебя, и все понятно без слов, — подтвердил он.

— Кого ты этим хочешь унизить, меня или столетие? — не без раздражения осведомилась она.

— Разве я когда-нибудь посмел бы заметить в тебе недостатки?

— Попробуй только! Я играю в теннис, поло, гольф. Я управляю автомобилем, занимаюсь боксом.

— В прошлом столетии ты возлежала в полутемных покоях.

— Не делай меня старше, чем я есть.

— Разве это возможно? Ты несокрушимой породы... Траур — это новинка? — спросил он. — Удачно. Именно в трауре тебя ждут неслыханные успехи.

Она отошла от зеркала, приблизилась к Терра и возмущенно бросила:

— Не представляйся, будто ты не знаешь, что Финкенбург умер!

— Именно потому и я здесь, — сказал он необдуманно.

— И не нашел ничего лучше, как делать мне комплименты? — сказала она со слезами в голосе.

— А разве надо было..? Ради бога, пожалей свои прекрасные глаза. Теперь я вспомнил, где слышал его имя. Он был тебе дорог. Это для тебя весьма ощутимая потеря.

— Кто заплатит за мою новую обстановку? — вздохнула она, прильнув к Терра вместе со своей печалью, чтобы он приласкал ее — и волосы, ставшие совсем белокурыми, и помолодевшее лицо, лицо самой жизни, на котором не видно следов печали, даже когда веки опущены, краски поблекли, и оно поникло на тонком черном стебле. В этом новом обличье она была похожа на свою еще не оплаченную мебель: те же плоские удлиненные линии, то же преобладание металла, тона блеклые, но все в целом очень жестко, а смелость орнамента рассчитана, как ход машины.

— Поговорим о деле! — сказал он и придвинул стулья. Она тотчас же приняла сосредоточенный вид. — Мой приход, — объяснил Терра, — имеет целью предотвратить новое несчастье. Ты лишилась графа Финкенбурга, надо избавить тебя от возможной потери обоих отцов твоего младшего ребенка.

Он рассказал ей все самое существенное. Достаточно ее письменного заявления, что ребенок у нее от Толлебена, и все будет улажено. Никто не дерется по доброй воле; она всем окажет величайшую услугу, а прежде всего Толлебену. Ее письменное заявление, конечно, никогда не будет пущено в ход. Толлебен только и ждет легкого нажима, чтобы выйти из игры.

— Ты сам этому не веришь, — возразила она. — Мы оба знаем, что такое рыцарская честь. С тобой я не хочу связываться. У тебя ее никогда не было.

— Все твои счета за мебель будут, разумеется, оплачены до последнего гроша.

— Я в высших сферах, как ты знаешь, свой человек. На подлость в отношении господина фон Толлебена ты меня не толкнешь.

— Это делает тебе честь. Однако я должен тебе напомнить, что ты навязываешь ему чужого ребенка.

— Это совсем другое дело, — запротестовала она и продолжала без видимой связи: — Твой Мангольф тоже ничего не платит.

Когда он стал настаивать, она облекла свой отказ в презрительную насмешку.

— Ты явился от своего друга. То, что ты мне наплел, не может быть правдой, твой друг сыграл в этом деле некрасивую роль, а теперь увиливает. Ну, понятно, господин фон Толлебен стреляет великолепно.

— Но нашему другу Мангольфу везет, — сказал Терра многозначительно. — Вспомни, что непричастный к делу господин уже отдал богу душу только потому, что был его секундантом.

Она надулась.

— Зачем ты меня дурачишь? Графа Финкенбурга все равно убил бы денщик.

Что тут оставалось делать? Терра поднялся и сказал, четко разделяя слова:

— Не хочешь? Прекрасно. Тогда я буду действовать сам. Я вызову Толлебена к тебе и, бог мне свидетель, всажу ему пулю в лоб.

— Здесь, у меня?

— Здесь, у тебя.

Она долго, пытливо смотрела на него, стараясь понять, серьезно ли он говорит.

— Ты даже мне внушаешь почтение, — сказала она, после чего предложила вызвать Толлебена для переговоров. — В конце концов он тоже ничего не будет иметь против, ведь это доброе дело. Я вытребую его немедленно. А ты приходи со своим другом. Но без револьвера. — И когда все это было оговорено: — А мебель?

Если сойдет благополучно, мебель будет оплачена, обещал Терра. Сам же он отправился к Гекероту. Кратко и с авторитетным видом заявил он генералу, что дуэль нежелательна. Она является помехой в делах, она испортит отношения между фирмой Кнак и правительством, что опять-таки нежелательно и в интересах нации. Пангерманский союз неминуемо ощутит на себе последствия.

Кнаковские субсидии могут прекратиться? Это мгновенно подействовало на второго председателя союза. У него тоже, сказал он, за это время возникли некоторые колебания. И даже представители Толлебена как будто заразились ими, особенно после неожиданной гибели первого секунданта. Какое счастье! Толлебен оказался суевернее, чем женщина с той стороны! Терра заключил из этого, что Алиса теперь правильнее оценила ситуацию и не будет чинить препятствий. Гекерот же вообще не усматривал никаких препятствий. Он горячо поблагодарил господина Терра за шаг, который, как с личной, так и с общественной точки зрения, был безусловно желателен.

Честь именно и требовала, чтобы два таких истых немца, как доктор Мангольф и господин фон Толлебен, шли рука об руку. Личное свидание обоих противников, каковое предлагал господин Терра, это самый прямой, а потому истинно-немецкий путь. Генерал взялся доставить Толлебена через посредство его секундантов к княгине Лили.

Сам Терра явился туда, когда, по его расчетам, переговоры уже начались. Хозяйка дома принимала участие в совещании. В одной из соседних комнат Терра увидел своего сына Клаудиуса, склонившегося над коллекцией марок.

— Твой товарищ блестяще устраивает свои дела за твой счет, — сказал отец, разглядывая обмененные марки. — А из тетради сочинений я вижу, что учитель тоже считает тебя полнейшим ослом... Всякий дурак сумел бы избежать этого. Научись выражаться так, чтобы нравилось не тебе, а ему. Будь одним для самого себя, и другим для него. Такова жизнь! Нельзя длительно навязывать свое лучшее «я» миру, если оно ни в какой мере его не интересует, — это ведет к банкротству и самоубийству... По твоему лицу всякому видно, сколько на тебе можно заработать! Тебе одиннадцать лет, и ты носишь мое имя. Пора мне начать руководить тобой.

При этом он своим проникновенно страстным взглядом удерживал взгляд ясных серых глаз, которые хотели ускользнуть от него. Через две комнаты слышались громкие голоса.

— У твоей матери, — пояснил Терра, — сидят два господина, которые стараются выторговать друг у друга ни более ни менее как жизнь. Если каждый из них добьется от другого того, что ему нужно, заработает твоя мать. Запомни, что редчайший и самый благородный способ заработка — посредничать в вопросах жизни. Большинство людей предпочитает быть маклерами смерти.

Говоря все это, отец думал: «Что я делаю! Постоянно учить недоверию, показывать изнанку жизни, подавлять нежные чувства: я ведь не этого хочу, получается какая-то ошибка. Нужно побольше взаимного понимания». Но мальчик и так понял. Он в раздумье по-отцовски сжал губы, ему стало ясно, что отец мягкий человек и любит его. Он тотчас же весь раскрылся. Минута доверчивости; этому серьезному, загадочному отцу в такие минуты можно задавать вопросы, с которыми нельзя обратиться к гораздо более снисходительной матери. Как раз сейчас из той комнаты доносился громкий, как будто гневный голос матери.

— Папа, скажи, пожалуйста, почему маму называют княгиней? — спросил мальчик вкрадчивым тоном.

— Потому что она имеет на это право, — сказал Терра с ударением. — Она носит полноценный титул, другой я ее и не знал.

Мальчик задумался. Он думал с глубочайшим напряжением, тело изнемогло и ослабело от усилия мысли. Затем лоб его разгладился, и он снова вспомнил об отце. Взглянул на него с видом воплощенной невинности.

— Мама была еще с князем, когда я появился на свет? — спросил он. Звонкий голос, ясные серые глаза; может быть, за вопросом не таилось ничего, кроме детского простодушия. Или же он открывал многообещающие перспективы? Терра попытался проникнуть в его смысл.

— Твоя мать, — объяснил он, — только временно выбыла из высшего света. Она

проходит через некоторые испытания. Но так как она, ты сам это знаешь, держит себя неизменно, как подобает благородной светской даме, ее высокопоставленный супруг в один прекрасный день обязательно вернет ее к прежней блестящей жизни. Ты хотел бы уйти с ней?

Это явилось полной неожиданностью; юный Клаудиус слегка вздрогнул, запнулся и потом выговорил:

— Нет, папа.

Терра тем временем обхватил его за плечи, слабые плечики, которые от его прикосновения несколько подались вперед... Мальчик опустил голову, отец видел только его лоб, обыкновенный пропорциональный лоб, такой же непроницаемый, как и всякий чужой. Этот ребенок был некогда зачат в таком бурном и страстном порыве, что на его долю, должно быть, осталась уже не страстность, а одно подобие ее. Сколько противоречий с самых ранних лет, и во что это выльется дальше? Отец поцеловал его в голову и спрятал лицо между белокурыми прядями различных оттенков. Но тут открылась дверь, и вошла мать. Она сейчас же остановилась.

— Что ты ему опять толкуешь? Мне всегда подозрительно, когда вы шепчетесь. Видишь, он смутился, он убегает. — Мальчик поспешил удалиться. — Кстати, можешь сам спасти жизнь этим двум сумасшедшим, я больше пальцем не пошевелю, с ними можно лопнуть от злости. — Она действительно была сама не своя.

— Еще маленькое усилие! — попросил Терра.

Но она разбушевалась еще пуще:

— У них обоих вопросы чести стали поперек горла. Угадай, кто теперь больше безумствует? Твой друг! Он во что бы то ни стало жаждет крови и не идет на мировую с тем, другим идиотом.

Тут Терра тоже громко выразил возмущение. Надо принять меры. Если они дойдут до смертоубийства, для нее это может привести к тяжелым последствиям. Гневными выкриками он добился того, что она несколько остыла.

— Пусть каждый из них письменно изложит, какие он совершил подлости, тогда они успокоятся, — надумала она.

Что она под этим подразумевает? Она высказалась яснее. В конце концов Толлебену нечего так уж возмущаться вмешательством Мангольфа в его семейные дела. В конце концов он и теперь бывает здесь, и не его заслуга, что у них нет ребенка, — она спохватилась, прикрыла рот рукой и упала в кресло: она, кажется, выдала себя? Он успокоил ее.

— После такого оборота дела, — заявил он невозмутимо, — моя прямая обязанность составить протокол именно с той формулировкой, которую я уже имел честь предложить в интересах моего клиента. Однако, по здравом размышлении, я считаю более целесообразным, чтобы каждый из противников дал в руки другому какой-нибудь козырь против себя. Мой клиент документально подтвердит, что он с помощью анонимных писем стремился, вопреки истине, доказать наличие супружеской измены в семействе Толлебен. Господин фон Толлебен в письменной форме удостоверит, что, имея уже дочь от прославленной княгини Лили, не прекратил сношений с этой дамой даже после брака и продолжает их по сей день. Ну, дитя мое,

мир ждет, чтобы ты выполнила свой долг. Иди же! — Это было сказано строгим тоном. Она моментально пошла.

Оставшись наедине, Терра стал прислушиваться. Сначала затишье, потом все заговорили разом.

— Еще бы! — сказал Терра громко. — Стыд больше уязвлен, когда должны сознаваться оба, а не один. Один находит себе утешение в беспорочности другого. Предпосылка, что мы порядочные люди, остается наполовину в силе, поскольку негодяем оказываюсь я один.

Шум голосов начал ослабевать и понемногу стих. Тишина; только Терра продолжал думать вслух:

— Пишите, друзья мои! Давайте свое жизнеописание, посвятите его друг другу. Это единственное средство держать в известных границах честолюбие таких субъектов, как вы. По крайней мере у вас обоих будут основания щадить друг друга, а вместе с тем и всех нас. Если бы у каждого в сейфе хранилось жизнеописание противника, может быть, не было бы и войны.

Он говорил во весь голос и шагал по комнате, потрясая кулаками, на его лице страстность сменилась презрением. Приближались шаги, он их не слышал. Только когда дверь уже открылась, он узнал, чьи это шаги. Он едва успел отойти к окну и повернуться спиной. Неужели на Толлебена так сильно повлияло пережитое, что он не заметил Терра, проходя через комнату? Встретиться с ним было бы, конечно, неделикатно, — «хотя нам уже не привыкать к встречам именно в самые тягостные минуты».

Немного погодя появился и Мангольф, друг пошел с ним. Через полутемную переднюю пробежала маленькая девочка. «Папа!» — воскликнула она, но остановилась и замолчала. Ни в одном из них она не узнала своего отца.

— Я отвезу тебя домой, — сказал Терра, увидев лицо друга, когда они вышли на улицу. Но Мангольф попросил разрешения сопровождать его, и они поехали к Терра. И вот он сидел мертвенно бледный, с пожелтевшими висками; брови мрачно топорщились над осунувшимся лицом.

— Не уехать ли нам куда-нибудь на два-три дня? — предложил Терра.

— Я могу уехать и на больший срок, — сказал Мангольф. — Для меня все кончено. — Лицо — непознаваемое и страдальческое; глаза, в которых бессильно сломилась житейская злоба, а рот сомкнулся, чтобы ни о чем больше не спрашивать.

— Тогда и для Толлебена все кончено, — сказал Терра. — Он зависит от тебя, как ты от него.

— Его это не бесчестит, — сказал Мангольф со сверхчеловеческой гордостью.

Молчание.

— Я сделал для тебя все, что мог, — промолвил Терра, опустив глаза.

— Никто тебя и не винит. Все идет как должно. Я не могу допустить, чтобы меня убили. Толлебен в качестве зятя станет статс-секретарем, затем канцлером. Для этого не стоило затевать всю историю. — Мангольф взволнованно жестикулировал. — Разница лишь в том, что теперь уж я не могу взбунтоваться, отныне я бессилен против

пошлой посредственности. Мало того! Я даже вынужден поддерживать ее. Из страха, из голого страха мне придется всегда идти об руку с Толлебенем.

«Как и ему с тобой», — хотел возразить Терра, но это не было возражением. Он следил за несчастным страдальцем; тот вскочил, заметался.

— Пристрели меня! Зачем спас ты мне жизнь? Пристрели меня! Нельзя отнимать у труса единственной возможности умереть с честью. Я трус, теперь ты в этом убедился. Я чуть было в конце концов не настоял снова на дуэли из страха перед собственной трусостью. Я опостылел себе! — Он бросился на диван, уткнул лицо в подушки и застонал: — Ложь, все ложь, мне здесь не место, этот дух мне враждебен. Я не должен добиваться успеха, мой успех был бы концом всего. А ведь я продался успеху! Я должен жить, должен жить ради успеха. И даже теперь, понимаешь ты это?

Десять раз одно и то же, с постепенно утихающей болью:

— Понимаешь? Ты убедился в том, что моя преступная гордыня — в крайнем самоуничижении. Если мне не дано теперь с боем взять вершину — все равно я доползу до нее. Отдам себя на посрамление. Открыто провозглашу свой позор. Окончу дни в позоре и поругании.

Он лежал неподвижно и только время от времени тихонько стонал:

— Я опостылел себе. Зачем ты спас мне жизнь? Ты сам раскаешься в этом. — Наконец он уснул.

Сидя подле него, Терра прежде всего понял, что оба они раскаются в этом часе. Они никогда не упомянут о нем, но никогда и не забудут его. «Он еще заставит меня полной мерой искупить его сегодняшнюю истерику, пока же будет сам искупать ее. Наша дружба стала еще непримиримее».

«А как же Алиса? — думал он дальше. — Могу ли я показаться ей на глаза?» Он убедился, что при одном ее имени, как мальчик, теряет самообладание, но ничего с собой поделать не мог. Он еще ни разу ее не предавал. К этому тоже придется привыкнуть, сказал он себе. «Четыре пятых моих знакомых — люди, против интересов которых я действую как умею. В сущности к ним следует отнести и Алису Ланна. Правда, ее лично я до сих пор щадил. Но ей пришлось в голову изъять из жизни моего исконного противника. А он мне нужен, и мне пришлось вступить».

Он научился быть циничным в качестве дельца, но не в качестве влюбленного. Проходили недели, месяцы в проектах объяснений, в мечтах о том, как бы легко и бездумно сложить все к ее ногам. Но так как на сердце становилось все тяжелее, то о легкости мечтать уже было немислимо. От Алисы ничего, ни звука о том, что он может снова прийти к ней. Перед ним уже вставала угроза обычного конца: отчужденности, забвения... Как будто это возможно! Посреди деловой суеты в нем назревал протест против бессмысленной утраты. Ведь внутренняя связь существует так давно! А все пережитые испытания неотъемлемы от него, он рос на них!

В такие дни он становился суровее по отношению к деловым противникам, которые больше боялись его и менее легко от него отказывались, чем та женщина. Как ни грустно, но это его утешало. Вникая в этих людей, он даже слишком успешно отвлекался от того так до конца и не разгаданного создания, которое в это самое время ускользало от него. Издалека она казалась ему еще большей загадкой, чем-то вроде судьбы, распоряжающейся нами. Чтобы уподобиться деловым противникам, нужна

была только сила воли. Может быть, помогало и то, что она за ним не наблюдала. Деловые противники, как и деловые друзья, видимо, научились считаться с ним. Куда девалось ироническое почтение к интеллигенту и к его подозрительным претензиям! Терра перестал говорить загадками и нарочито вносить путаницу. Ему почти можно было верить. Упорно, грубо и невозмутимо шел он напролом, когда дело касалось барышей, и был вполне на месте в этой среде.

Начался новый год. Как-то майским утром он в Тиргартене увидел всадницу. Не было еще шести часов, только что пошли трамваи, на улицах одни рабочие, — а бодрой рысью по аллее уже проскакала дама. От испуга он остановился, сердце забилось ожиданием. Да, вот она возвращается. Она остановилась подле него и сказала:

— И вы так рано? Почему не верхом? Разве вы все время были в Берлине?

— По порядку, многоуважаемая графиня. — И сам удивился, откуда взялся прежний тон, прежняя живая манера разговора, не подобающая его теперешнему положению. — Я живу совсем в особом мире... А вы были летом в Нордернее³⁷? — в свою очередь спросил он. — Зимой в Италии?

— У меня меньше времени, чем вы полагаете, — сказала она деловым тоном. — А уж вы-то целый год не могли уйти из своего особого мира. Даже моцион разрешаете себе только в пять утра.

— День и ночь в автомобиле, — так же сухо ответил он. Затем с гримасой: — Никто лучше вас не знает, многоуважаемая графиня, что были времена, когда я катался только на карусели.

— Прощайте! — бросила она в пространство, кивнула и поскакала дальше. Полуобернувшись, прибавила: — Отец спрашивает, отчего вы не приходите.

Он поспешил вслед, чтобы увидеть, как она спрыгнет с лошади перед калиткой в стене подле Бранденбургских ворот. Через ту калитку он когда-то, давным-давно, прокрадывался к этой женщине, будто к тайной возлюбленной. Так могли думать все, так мог думать и он сам. Все миновало; он повернул назад, его нога ступала по увядшей листве, меж тем как вверху уже распускалась новая. И он вспомнил, что всегда в решительные минуты их встреч к его и к ее ногам приставала увядшая листва.

Он спешил; его заново выстроенная контора помещалась в новой, западной части Берлина. Кончено! После этой встречи дом рейхсканцлера его больше не увидит, теперь уж никогда. Как? Они встретились, сердца их были полны упреков, стыда и мщенья, — но ни слова об этом, и сразу тот же тон, как в былые дни. Ужасно! Как их души за это время развратили друг друга, если притворство казалось столь естественным!

Он прибавил шагу... А ведь он чуть было не поверил, что оба они, наконец, станут смелее и искреннее. Только история с Мангольфом остановила их на путях, которые, возможно, вели к высшим свершениям. После своего замужества она так часто принимала его одного у себя за чайным столом исключительно из стремления к независимости. Он приходил, потому что его восхищала ее смелость. Она открыто

³⁷ *Нордерней* — фешенебельный курорт на острове того же названия в Северном море.

отстаивала перед мужем свое право встречаться с тем, кого он ненавидел, к чему бы это Не привело!

«Но к чему это может привести, — только теперь понял человек, бегавший по Тиргартену, — если женщина, снедаемая честолюбием, поступает наперекор нелюбимому мужу. Развод исключен, пока интересы их сходятся».

— А я? Я?.. — вслух произнес Терра. — Я ее не разлучил с ним. Я крепче привязал их друг к другу. Конечно, она после того особенно рьяно защищала интересы мужа: ведь ей надо было убедить его, что я не ее любовник. — Про себя: «Она его убедила, и он ей верит».

Это унижало влюбленного. Он только теперь понял: со времени ее замужества все вело к его унижению. Ее страсть, возбужденная и не удовлетворенная браком, требовала от него дешевой компенсации. При этой мысли он взял такси, чтобы поскорей убраться отсюда.

Тем не менее почти одновременно с ним явился лакей с цветами. Если бы Терра и не узнал ливреи, он и так понял бы, из какого сада были цветы. Какая уверенность в том, что ее роль благодарнее! Она прощала, она разрешала. Ему давали право вернуться для новых испытаний. Желал ли он этого? Был ли он настолько безумен?

Он решил изменить маршрут обычной утренней прогулки, но прошел день, и она снова очутилась перед ним. На сей раз позади ехал грум — деталь, достойная внимания. Она не остановилась, а пустила лошадь шагом: хорошо вымуштрованный лакей отстал еще немного.

— Вы не пришли. Несмотря на это, я настолько любезна, что сообщаю вам: папа будет князем. Об этом еще никто не знает, — сказала она, обращаясь к Терра, которому пришлось идти с ней рядом. Кивок, и рысью прочь. Терра стоял, погружаясь ногами в рыхлую землю.

Нельзя было не известить Кнака; положение Терра в фирме поддерживалось его тайными связями еще более, чем явными. В ответ на это в телефоне голос из Кнакштадта:

— Превосходно, мы будем первыми у цели. Завтра я явлюсь сам. А вы не теряйте ни минуты!

Терра, впрочем, потерял целое утро, ему казалось — из протеста. Но только когда он отправился туда в два часа, ему стало ясно, что медлил он единственно с целью застать Ланна наедине с дочерью. Он знал распорядок дня рейхсканцлера. От двух до трех у него час отдыха. Он подписывает бумаги в библиотеке, Алиса поит его кофе.

— Господин депутат, только потому, что это вы... — сказал камердинер Зехтинг. — Сегодня приказано никого не впускать в библиотеку. Сегодня такой день. — С особым ударением: значит, Зехтингу все известно! — Ну, пройдите покамест в кабинет, я доложу. Для вас, так и быть, я это сделаю.

— Вы тут из человека что захотите, то и сделаете. Вы ведь служили еще при Бисмарке?

— Нет, только при его преемнике.

Зехтинг открыл дверь в библиотеку; он оставил Терра в кабинете, среди роскошной мягкой мебели, подле вычурной печи. Золотисто-коричневый полумрак, в котором

изображения императора уживались со старыми мастерами. Бюст повелителя в каске с орлом надзирал за порядком на столе. Не потому ли на нем и царил такой порядок? Справа и слева от чернильницы на одинаковом расстоянии друг от друга лежало по шести остро отточенных карандашей. Рядом с рисунком императора — «Народы Европы, оберегайте свое священнейшее достояние!» — детский портрет Алисы Ланна, написанный и подаренный вдовой императора Фридриха. Снова глядели на него те глаза, которые некогда явились пред ним впервые в самую неустойчивую пору его юности, бросили ему вызов, спасли и обрекли на жизнь в этом мире. Совсем детские глаза — и уже таили в себе его судьбу... Тут вышла она.

— Ну, пойдёмте, — сказала она.

Он сразу же на пороге отвесил глубокий поклон. «Ваша светлость!» Никакого ответа. Удивленный, он подошел ближе. Ах, вот в чем дело: князь спит.

— Зехтинг хотел его разбудить. Зачем? Ему предстоит трудный вечер. Кстати, не зовите его князем, он еще не вполне имеет на это право. Но иначе я бы вас не залучила. — И только после этого она протянула изумленному гостю руку для поцелуя. — Для меня вы бы не пришли, — заметила она, покачав головой. — Ваше расположение к моему отцу значительно серьезнее. Он очень меня тревожит. — И не дожидаясь ответа Терра: — Княжеский титул — это уж что-то чересчур, я бы его не желала. — Она топнула ногой, чтобы справиться с ложью.

Они сели у камина; тепло проникало сквозь кованую решетку. Алиса с беспокойством поглядывала на отца. Он полулежал, погрузившись в высокое кресло у заваленного бумагами стола под книжными полками. Терра сравнил его с бюстом молодого рыцаря, стоявшим на круглом столике среди роскошных альбомов. Душой системы был этот молодой рыцарь, но представлял ее усталый скептик в кресле.

— В конце концов, — взгляд дочери стал жестким, — он получил княжеский титул исключительно за неудачи. — Она отклонила возражения Терра. — Конечно, мы это не называем неудачами. Ни *entente cordiale*³⁸, ни испано-французское соглашение по поводу Марокко³⁹, ни африканское восстание, о котором нельзя говорить при императоре, и тем более не поражение России в войне с Японией. Но если бы это не были неудачи, почему у императора явилась такая непреодолимая потребность сгладить их, произведя своего канцлера в князья?

— Каприз императора, — сказал Терра, — императорский каприз...

— Император подписал назначение; для его обнародования недостает только официального повода. Такие поводы подвертываются почти каждодневно, и вот сейчас их почему-то нет! Император раздражен, и вполне справедливо; можно прямо усомниться в нашей изобретательности. Как? Нет повода, чтобы сделаться князем? — сказала Алиса Ланна, раздражаясь сама, после чего они оба стали прислушиваться к

³⁸ сердечное согласие (*франц.*)

³⁹ ...испано-французское соглашение по поводу Марокко — секретное соглашение, подписанное в 1904 году Испанией и Францией о разделе Марокко и подтвержденное Алхесирасской конференцией 1906 года. Африканское восстание. — Имеется в виду героическая борьба племени гереро и восстание готтентотов против германских колонизаторов в Юго-Западной Африке (1904—1907). Оба восстания были подавлены совместными усилиями германских и английских войск в 1907 году. Канцлер Бюлов использовал восстание в Юго-Западной Африке как повод для создания в 1907 году блока реакционных политических партий, так называемого «готтентотского блока».

дыханию князя. Оно становилось слышнее.

— Графиня! Я верю в гений вашего светлейшего отца, — сказал Терра с ударением.

— Поддержите в нем только здравый смысл! От кого он зависит? — Она помолчала. Потом, внезапно насупив брови: — От слабого, трусливого монарха, жаждущего славы. Если он теперь и произведет своего канцлера в князя без всякого повода, то рано или поздно надо же, чтобы что-то произошло. Например, в Марокко. Мы должны заставить говорить о себе.

— Только бы разговоры не привели в конце концов к войне.

— Неужели вы это серьезно думаете? Игра ведется уже давно и будет продолжаться дальше в том же духе. Заметьте также, что этот рескрипт, о котором мы давно хлопочем, поможет и господину фон Толлебену сделаться статс-секретарем. Я говорю откровенно. Разве вы не должны отплатить мне тем же?

Кредитор изобразил на своем лице самую приветливую улыбку. «К чему мы придем?» — думал Терра. С мукой в сердце он сказал:

— Плачу вам тем же. Мой друг Мангольф лишен возможности когда-либо противодействовать интересам вашего супруга.

— Отлично! — сказал кредитор. — Значит, все мы можем прийти к соглашению. Ведь и вы в конце концов освободились от постоянного страха перед войной. Недаром же вы состоите при тяжелой промышленности! — добавила она совсем другим тоном. Это месть, открытая месть за измену. Она вызвала его сюда, чтобы сказать это. Удар был меткий; да, он состоит при тяжелой промышленности... Вскочив, он задел стулом железную решетку камина, она зазвенела. Ланна проснулся. Сначала блаженная улыбка. Он вспомнил, что стал князем. Потом озабоченно нахмуренный лоб при мысли о недостающем поводе. Дочь уже протягивала ему чашку кофе. Он еще сонным голосом приказал позвать к себе чиновника с бумагами для подписи.

— Ваша светлость, это моя скромная персона. — Терра подошел ближе и принес поздравленья.

— Вы давно уже здесь? — спросил князь. — Я был так занят. — С деланно-озабоченным видом: — И вы хотите, чтобы я радовался? Ах, если бы вы знали! Я могу сказать вместе с Бисмарком: никогда я не мог по-настоящему радоваться успеху. За ним немедленно следовала очередная забота. — Скорбно, но из ямочек неудержимо сияло счастье.

— Ваша светлость, вы будете со временем и герцогом, — сказал уверенно Терра.

— Герцогство принесло мало счастья моему великому предшественнику⁴⁰, — пробормотал Ланна, бросив вопросительный взгляд в сторону камина. Там возвышался герб: в самом деле — герб Бисмарка! Рейхсканцлер поместил в своей личной комнате чужой, а не свой собственный герб; он жил под эгидой чужого.

— А мы говорили о твоих заботах, — сказала Алиса; она подала чашку кофе и Терра. И на вопрос отца: — Конечно, о Марокко. Твой испытанный друг, Терра,

⁴⁰ Герцогство принесло мало счастья моему великому предшественнику... — Бисмарку, предшественнику Бюлова на посту имперского канцлера, накануне отставки был пожалован титул герцога Лауэнбургского.

вполне со мной согласен. Папа, Марокко ты должен доверить одному из статс-секретарей, который лично докладывает императору. Твой не пользуется правом личного доклада императору, переведи его лучше куда-нибудь послом. Новый статс-секретарь за твоей спиной соответственно настроит императора. Ты воспротивишься. Если делу все-таки будет дан ход и оно не удастся, статс-секретарь получит отставку, только и всего.

— Статс-секретарь, то есть твой муж? — Ланна улыбнулся, но взгляд его был суров. — Ты, стало быть, вряд ли рассчитываешь на отставку, скорей на успех.

— Благодаря которому твой новый титул будет немедленно объявлен официально, — подхватила она.

Но Ланна невозмутимо:

— Мой долг предвидеть будущее. Император не филистер. Если вам посчастливится, он немедленно объявит войну... объявит всерьез... — Лицо приняло суровое выражение. — Вы могли бы добиться чрезмерного успеха... с точки зрения блага родины, — закончил он. Но это так ясно означало: «С точки зрения моего, моего блага», что дочь, словно пойманная с поличным, опустила голову. Лицо отца хранило суровость вплоть до морщинок у глаз; но из самих глаз, которые потускнели, проглядывало смущение, даже скорбь.

Впущенный Зехтингом чиновник прервал беседу. Маленький чиновник с пышным титулом надворного советника, в черном сюртуке, при белом галстуке, остановился на пороге; комната, хотя и тонувшая в золотисто-зеленом полумраке, как будто ослепила его. На оклик рейхсканцлера он подошел ближе, не отводя взгляда от бюста Данте над книжными полками.

— Милый Польцов, мою дочь вы ведь знаете. А это депутат Терра, — сказал рейхсканцлер. Лишь после этого чиновник осмелился взглянуть на присутствующих и тотчас превратился в олицетворенную учтивость, взял даже чашку кофе. Он не сразу освоился в этой новой для него обстановке. Он попал в блестящий семейный круг, но вместе с тем это и служба. Здесь нет строго разграниченных областей; здесь вершит дела важный вельможа, полный благожелательности к окружающему миру, который держится им.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил Ланна.

Чиновник, только для того и улыбавшийся, чтобы ему задали такой вопрос, ответил:

— Как посмотрю на эту старую картину и на ту, что напротив, — мадоннами их называют, что ли? — так не могу не улыбнуться. Каждый раз вспоминаю, что мы между собой говорим про их младенцев.

Что же они говорят, спросил Ланна, подписывая бумаги.

— Один младенец в пеленках, а другой нет. Так вот тот, что в пеленках, у нас называется земное, а тот, что без — небесное дитя. — Под конец чиновник застеснялся, видимо испугавшись, что шутка не понравится. Но Ланна смехом поддержал незатейливого остролова.

Терра прошел за Алисой ко второму столу:

— Графиня, вы молодеете прямо на глазах; чем это кончится? В вашем чудном

парижском туалете, который я как будто рисовал себе в мечтах, вы только дух женщины, страшно даже близко подойти. — Он сказал это, потому что подумал, что она, может быть, беременна, — так необычно медлительны были ее движения, такое у нее было вытянутое лицо.

Но она ответила:

— Я неправильно повела разговор с отцом. Как все это неприятно! Точно мы здесь в наказание друг другу! — Она не села в кресло, которое он подвинул ей.

— Может быть, вам это лучше удастся. А я подожду вас в саду, у моей беседки.

Она ушла; отец с улыбкой глядел ей вслед, пока она не скрылась; потом с той же проницательной улыбкой взглянул на Терра. Неужели этот убогий чиновник действительно так развеселил Ланна? Да, глядя на него, Ланна улыбался своим скрытым мыслям, он думал о будущем своего зятя. Когда тот молодой бульдог состарится, он, наверное, станет похож на этого испитого чинушу, захиреет, сделается такой же бумажной душонкой. Тождественность типа очевидна; характер тоже сходный; только незаслуженная снисходительность судьбы поддерживала еще подобие Бисмарка там, где уже проглядывал Польцов. «У него тоже когда-нибудь наступят неудачи», — думал Ланна. Надворный советник Польцов был в фаворе у Ланна, потому что наталкивал его на приятные размышления.

— Ну-с, так что же говорят ваши сослуживцы обо мне и о Бисмарке? — спросил рейхсканцлер.

— Будто у вас, ваше сиятельство, более легкая походка. — Чиновник заколебался, но в ответ на настойчивый взгляд прибавил: — Те, что посмелее, говорят, будто вы умеете плясать на канате. Я, конечно, тут ни при чем.

— Почему вы хотите быть ни при чем? Бисмарка ведь называли жонглером. Рассказывайте об этом всем. До свидания, милейший Польцов, — что звучало уже как приказ. Чиновник вскочил и немедленно ретировался. Ланна поднялся; в этот момент у него был непритворно нахмуренный лоб, морщины резко обозначились. Заложив руки за спину, он подошел к Терра.

— Вы скажите мне все, что думаете, — попросил он. — Где я, в моем положении, могу узнать правду о себе?

Терра, шагая рядом с ним по комнате:

— В тысяча девятьсот втором году вы, ваша светлость, заявили одному парижскому журналисту, что марокканский вопрос⁴¹ мало интересует Германию и она радуется единодушию других стран. Другие не заставили себя долго уговаривать. Спустя два года после ваших слов Франция и Англия заключили соглашение по поводу Марокко. Это было в апреле текущего года. После этого вы, ваша светлость, недолго думая, заявили в рейхстаге, что мы должны и будем охранять наши торговые

⁴¹ ...марокканский вопрос... — Речь идет о борьбе империалистических держав (главным образом Франции, Германии и Испании) за влияние в Марокко. Франция и Англия заключили соглашение по поводу Марокко... — соглашение, положившее начало англо-французскому союзу, направленному против Германии, и во многом определившее расстановку сил перед первой мировой войной; известно под названием «сердечного согласия», или «Антанты» (Entente cordiale). Согласно декларации о Египте и Марокко Франция обязывалась не чинить препятствий действиям Англии в Египте, а Англия признавала особые права Франции в Марокко и гарантировала ей свободу судоходства по Суэцкому каналу.

интересы. Однако необходимо отметить, что у нас не было торговых интересов в Марокко. Они начали создаваться лишь с того момента — и притом промышленностью.

— Вполне в духе времени, что промышленность пытается руководить нами. — Государственный муж вздохнул. И в поисках облегчения: — Я высказал в рейхстаге весьма определенные мысли, о которых вы не упоминаете и которые могли быть восприняты как легкое предостережение государствам, заключающим договоры. Своими напоминаниями вы хотите дать мне понять, будто я сам не знаю, чего хочу, будто я шаток и нерешителен, — словом, канатный плясун, и к тому же плохой.

— Боже избави! — запротестовал Терра. — Я глубоко потрясен тем, что являюсь свидетелем сомнений, которые вы, ваша светлость, надо полагать, высказываете только с целью ввести меня в заблуждение. Я-то как раз считаю, что у вашей светлости исключительно крепкие нервы, — иначе как удалось бы вам остаться здоровым и невредимым среди того безумия, которое напирает на вас со всех сторон!

Ланна остановился и кивнул.

— Германия жаждет успеха. Сейчас — это страна, для которой единственным критерием является успех. Если где-то обходятся без нашего участия, это значит, что мы терпим там неудачи. Что же мне — мириться с неудачами? Я должен угрожать, это тоже своего рода участие. Стучать кулаком по столу, с точки зрения нашей страны, — наименьшая опасность для мира. Не участвовать в чем-то — наибольшая. Никто не знает, что мне приходится предотвращать. Нам необходим мир.

Они взглянули друг на друга; мир, они оба в нем нуждались. Но кто еще нуждался в нем? Каждый из них подумал о своей сфере. Терра — о кнаковских филиалах в Марокко и их целях. Ланна — об оживленной перебранке через пролив между обер-адмиралом Фишером и его английским коллегой Пейцтером.

— Между тем ближайшие десять лет мы не можем еще воевать на море, — ответил он вслух на свои мысли.

— А ваша система, единственно возможная при существующих обстоятельствах, не выдержит войны даже и через десять лет. — Терра говорил убедительно, он был уверен, что выражает истинные мысли Ланна; но увидел, что Ланна изумлен.

— Моя система — золотая середина, — отпарировал он.

Чувствуя, что это недостаточно веский довод, он молча отошел к окну. Терра прислушивался к его бормотанию:

— Бессмысленная суета с половины восьмого утра до поздней ночи, перерыв только от двух до трех. Как это Бисмарк умудрялся рождать большие идеи, будучи вынужден заниматься мелочами? Творить мировую историю — и жить среди полицейских протоколов! — Еще тише: — Я искусственно укрепляю сельское хозяйство в противовес промышленности, — ведь в случае войны промышленность нас не накормит. Я не надеюсь, подобно фритредерам, на вечный мир. Но думаю ли серьезно о войне? — Пауза, строгий самоанализ. — Она может разразиться вопреки всем моим предположениям. Если бы я, в угоду старой Пруссии, стоял только за сельское хозяйство, я бы подготовлял войну. Если бы я, в угоду новой Германии, шел в ногу с промышленностью, я непременно бы ее вызвал. Только золотая середина может еще задержать ее. Я из тех, что постоянно вооружаются, но не воюют никогда.

Моя система не дает видимых результатов.

При этом плечи его опустились. Терра подошел к нему.

— Ваша система говорит сама за себя, ваша светлость. Потомство будет ее чтить. — При этом он два раза обмолвился.

Но тут Ланна вдруг увидел дочь; она вышла из своей новой беседки и выжидающе посматривала вверх. Он тотчас же оживился.

— Вас ждут, милый друг. — Косой взгляд, под которым Терра затрепетал, и Ланна произнес буквально следующее: — А в самом деле, к чему видимые результаты?

Этим он, казалось, был вполне вознагражден за навязанные ему минуты самоанализа и отошел. Терра все еще дрожал, вспоминая его косой взгляд. Этот взгляд сообщника, должно быть, с давних пор сопутствовал ему. Ведь Ланна же требовал когда-то, чтобы Терра избавил его от такого зятя, как Толлебен! Избавил каким образом? Ланна и теперь не возражает против вмешательства любовника в его отношения с опасной дочерью. Какое коварство, какой отец! Министры шестнадцатого века не могли бы действовать коварнее, а этого считают простоватым.

Ланна опустился в кресло у камина. Жест, приглашающий сесть; и когда Терра, опершись кулаком о спинку кресла, остановился перед ним, Ланна сказал:

— Конечно, мы не отданы *a la merci d'une defaite*⁴², как Наполеон Третий⁴³. Мы пустили корни глубже. Желать или не желать войны зависит от нашего понимания государственной мощи. Но мы-то знаем, что завоевания ничего не прибавят в этой мощи. Только промышленность держится иного взгляда.

— Совершенно правильно, — сказал Терра; сам он думал об одном: не потому ли этот цинически благожелательный человек его не отпускает, что его ждет дочь.

— Это совсем новые слои. У них еще нет нашего скептицизма. — Князь поморщился. — Они непреложно верят в свои деньги, меж тем как мы уже не абсолютно верим в свою власть. «Боже мой!» — мысленно стонал Терра, переминаясь с ноги на ногу.

— Для соревнования всех народов мира, — поучал государственный муж, — хозяйственная мощь имеет огромное значение, но в конечном итоге она вопроса не решает. Какие идеи проповедует промышленность? — спросил он. — Те, что исходят из пангерманского союза? — Углы рта опустились еще ниже.

— Разрешите напомнить вам, ваша светлость, что время вашей светлости... — не выдержал Терра.

Снова жест, и Ланна продолжал:

— Я осуждаю этих людей за то, что они тратят столько денег, добиваясь большинства голосов в пользу флота. Я не люблю оплаченного национального чувства. Что же получается? Мы хлопочем о флоте для своего престижа, а они строят

⁴² на милость поражения (*франц.*)

⁴³ Конечно, мы не отданы *a ta merci d'une defaite*, как Наполеон III — В результате поражения Франции во франко-прусской войне император Наполеон III, попавший при Седане в плен к пруссакам, лишился престола. Во Франции была установлена республика.

его в своих интересах.

— Хорошо сформулировано. — Тут Терра прислушался.

— Они раздражают Англию не только открытой агитацией, они вооружают против нас английскую промышленность, сбивая цены у нее на родине, — продолжал Ланна, подогретый поощрением. — Здесь же, для немецких сограждан, их продукция дороже английской. Хороша мораль! Допустите этих людей к власти, и мир прямо содрогнется. Ненасытное чрево! О нас еще вспомнят и пожалеют. Промышленный абсолютизм, именуемый демократией, — это непрерывная война. — Он видел, что нетерпение его слушателя почти сломлено, и улыбался всеми своими ямочками. — Но я совсем забыл, с кем говорю. Вы представитель господина Кнака. Вы, несомненно, желаете вынудить меня, чтобы я разорвался в Марокко шрапнелью.

— Совершенно верно, — сказал Терра, — поскольку я представитель Кнака. — На мгновение он заколебался: договаривать ли все до конца? Ланна мог завтра же заключить союз с Кнаком, зная его, он считал это возможным. Опасно хорошо ознакомить двух противников друг с другом. «Мне открыться этому коварному отцу, — а Алиса ждет?» Но он заговорил: — И должен сознаться, представительство не без усердия. — Громко и отчетливо: — Я заведу у него отделом шпионажа и подкупа. — Он не заметил, как Ланна передернуло. — На редкость увлекательная деятельность. Заглядываешь, можно сказать, в самое нутро мира. Я распределяю взятки между членами военных приемочных комиссий.

— Иностранных, — строго добавил Ланна.

Терра подхватил:

— Иностранных. Конечно, иностранных. Само собой разумеется, что иностранных. Разве я не сказал? В самой Германии подкуп обходится пока что так дешево, что я им не ведаю. Впрочем, вашей светлости небезызвестно обычно практикуемое вовлечение государственных чиновников в частную промышленность. Я полагаю, вы, ваша светлость, достаточно проникательны, чтобы считать это не чем иным, как благодарностью за оказанные услуги.

Взгляд рейхсканцлера затуманился.

Ведь это же неизбежные уступки постепенно меняющемуся порядку вещей! Но и рабочие приобретают реальное влияние, — сказал он, пожимая плечами.

— И даже в международном масштабе, прекрасными речами на конгрессах, — подхватил Терра. — Что можно возразить, если и тяжелая индустрия по-своему стремится к международной солидарности? Через посредство военной промышленности наших союзников фирма Кнак косвенным путем заинтересована и в неприятельской военной промышленности, — произнес он громко и отчетливо.

Наступила пауза. У рейхсканцлера руки свесились с поручней кресла. Один глаз стал меньше другого, как от внезапной невралгической боли; в остальном выражение лица не изменилось. Терра повторил отчетливо:

— Мы заинтересованы в фирме Пютуа-Лалуш. А в наших заграничных предприятиях опять-таки заинтересована фирма Пютуа-Лалуш.

— Это невозможно, — сказал рейхсканцлер и встал с места. — Что же тогда называется войной? — Шагая по комнате, он делал открытия. — Значит, война

заключается в том, что эта шайка сообща загребает барыши при любом исходе. У них взаимная перестраховка. Оба народа могут погибнуть, но обе фирмы будут процветать. — Он повернул к Терра покрытое потом лицо. — Как вы это обнаружили?

— Я обнаружил еще кое-что другое, о чем пока умалчиваю даже и перед вашей светлостью. Но как молчать о фактах, которые известны всей бирже и неизвестны только правительству!

Ланна скорбно, а потому неприятным голосом:

— Что можно предпринять против этого?

Терра сел, в то время как рейхсканцлер стоял. Он сел, потому что настал великий миг: сейчас обсуждался вопрос огромной важности. Обсуждения же обычно происходят в креслах. Ланна в своей тяжелой скорби даже не удивился.

— Введите угольную монополию! — потребовал Терра спокойно и невозмутимо. — Государственную монополию на добычу руды и угля. Вот вам и контроль над промышленностью! — Он казался теперь внушительнее испуганного Ланна, преимущество было на его стороне. — Вы должны либо отнять у промышленности ее силу, а сила ее — это уголь и руда, либо сложить оружие. Государство, не имеющее сегодня в своих руках угля, не имеет и власти. Хозяйственной мощью обладает тот, в чьих руках уголь. Войну решает тот, в чьих руках уголь. Ваше государство, князь Ланна, существует милостями угольных магнатов — и даже, пожалуй, весь ваш класс. — Он проницательно взглянул на Ланна, но тот, казалось, не был тронут перспективой падения своего класса. — Вы государственный деятель, — продолжал Терра уже с горячностью, — вы печетесь о благе своего народа. Так уберите тех, кто печется только о собственном благе. Сделайте это, пока еще есть время, — у вас его осталось немного. Объявите угольную монополию!

Ланна пошевелинулся, он отяжелел от неподвижности и молчания.

— Теперь я снова узнаю ваш прежний голос, — произнес он. — Голос тех времен, когда вы, милый друг, впервые потребовали от меня отмены смертной казни. — С этими словами он опустил в кресло. — У вас много идей, — пробормотал он и сделал попытку взять перевес: — Это уже ваша вторая идея. И ей вы тоже собираетесь посвятить десятилетие?

— Такого срока у нас нет, — сказал Терра.

В ответ на его тон Ланна умолк и закрыл глаза.

— На сей раз это Колумбово яйцо, — начал он, овладев собой. — Угольная монополия! Само собой разумеется, ее надо осуществить со временем.

— Ее надо осуществить немедленно, иначе это отодвинется на целую вечность.

— Конечно, милый друг, — примирительно поддакнул Ланна. — Наш разговор зашел дальше, чем можно было предвидеть. Но, принимая во внимание нашу долготлетнюю дружбу, меня вы могли без всякой боязни посвятить в свои идеи, — с дружелюбной насмешкой над тем, кто себя выдал ему. — Ну, рассудим здраво! — заговорил он серьезно и вдумчиво. — Недра, богатства недр. По глубоко укоренившемуся в народе взгляду, они испокон века считаются всеобщим достоянием... Правда, это должно было бы относиться не только к недрам, но и к

самой земле, к лугам и пашням, — сказал он, нахмутив брови. — Но тогда землевладельцы упрекнули бы нас в социализме.

— Вспомните, ваша светлость, о государственной железнодорожной монополии! Теперь очередь за рудниками, но еще не за землевладением. Мы не выходим за пределы актуальных государственных нужд.

— С каких пор вы занимаетесь экономикой? — спросил Ланна. — Не забудьте, что руководство железнодорожным хозяйством считается более простым, а ведь и оно в ваших кругах уже встречает нарекания.

— Ваша светлость, вы приводите возражения противника. Если бы я так поступал, фирма Кнак дала бы мне бессрочный отпуск.

Ланна опешил: не слишком ли это? Но он только сказал с многозначительным взглядом:

— Вы самый редкостный представитель угольного магната, какого мне когда-либо приходилось встречать.

— Я хочу отнять у этих господ то, что выходит за пределы их компетенции: государственную власть. Пока они еще открыто не проявляют своей власти, с ними можно сладить. Пусть остаются руководителями предприятий, монополизированных государством. О! Они не откажутся, эти пройдохи. Головокружительные оклады и участие в прибылях пусть идет им. Но собственником пусть будет государство. Пусть их личное благополучие зиждется на мощи страны. Сейчас оно зиждется только на ее покорности. Сейчас они накликают на нас катастрофы, в которых погибнут не они, а в крайнем случае лишь страна.

Ланна с раздражением взглянул на говорившего и тотчас отвел взгляд. Это было уж слишком, потому что было убедительно. С грубостями можно мириться, но со справедливыми нареканиями на испытанную систему, на искусство, доходящее до предела возможного, — мириться нельзя. «Идеалист остается верен себе, даже будучи юрисконсультom, — подумал Ланна. — Он подкапывается не только под угольных магнатов. Он по своей природе подкапывается подо все существующее. Даже под меня!»

— Мы друг друга понимаем, — произнес он вслух. Эта мысль снова настроила его благодушно. — Во всяком случае, наш обмен мнений никогда не оставался бесплодным, полагаю, что и для вас. Я льщу себя надеждой, что мне в свое время удалось указать вам правильный путь. Вы не можете себе представить, каким удивительным феноменом вы были в Либвальде. Как личность вы интересовали меня уже тогда, а по существу — больше теперь.

Терра пришло в голову, что та далекая сцена в Либвальде больше взволновала его, а эта последняя, пожалуй, больше взволновала Ланна. Тогда он вышел, обливаясь потом, ничего не видя перед собой, от волнения не мог даже разглядеть время на часах!.. Он посмотрел сейчас на стоячие часы и отлично разглядел время. Каким нечувствительным становишься с годами! Жизненные цели, если предположить, что они вообще существуют, становятся просто предметом разговоров.

— Я стал деловым человеком, — ответил он. И с ударением: — Отойдя от идеализма, я руководствуюсь теперь своим благоприобретенным опытом. Высшее мое честолюбие заключается в том, чтобы поделиться этим опытом с вашей светлостью,

дабы вы его приняли или отбросили. Вам, с ваших высот, виднее, нежели ограниченному дельцу, следует ли вам вмешаться в дела Марокко, если этого желает только что разоблаченная нами военная промышленность.

Ланна, словно не слыша этой убедительной речи:

— Но и мне с тех пор пришлось довольствоваться только ролью делового человека. Боже мой, таково требование эпохи. Разве вы слышали за последнее время, чтобы я философствовал? Помню, когда-то я вам объяснял связь между демократией и флотом. Император в качестве защитника того и другого! Боже мой, до чего мы дожили! Я едва успеваю наспех прочесть страничку из Гете. Вы тогда видели мой дневник? Поверите ли, уже два года, как я его не открывал.

Появился Зехтинг:

— Господа ждут уже давно, — сказал он и исчез.

Рейхсканцлер со вздохом поднялся.

— Вот видите: только от двух до трех была передышка, и снова изволь бросаться в водоворот. До свидания, милый друг! — Но он не отпустил гостя; оказалось, что он слышал каждое его слово. — Неужели вы намерены склонить меня к тому, чтобы я пренебрег разумным и желательным только оттого, что этого желает и мой враг? — Он повторил «мой враг» и подумал: кто только не враг ему! Ведь и она ему враг. Потом, взяв себя в руки: — Марокко! Если я не сделаю ничего, другие завладеют императором. Этого вы и сами не хотите, скажите же, как мне быть! На сей раз императору нужно дать нечто реальное, нечто осязаемое, полезное. Постоянно препятствовать я не могу. Значит, необходимо самому сделать нечто более блестящее, чем способны сделать другие. Сильный эффект, откуда его взять? — На лбу обозначились поперечные морщины; затем вдруг появились все ямочки и он беспечно махнул рукой: — Найдется. Только бы повлиять на императора, пока его не окружили всякие проходимцы. У него у самого нет мужества настоять на своем. — Он несколько раз повторил эту мысль; другая, невысказанная, мелькала среди повторений: «Тогда явится и повод! И можно будет обнародовать мое пожалование!»

— Создать международную опасность — наперекор разуму? — резюмировал Терра.

После чего и Ланна веско и энергично произнес свое заключительное слово:

— Пускай опасность — все равно, лишь бы я уцелел.

Поклон, и Терра молча направился к выходу. В открытую дверь он увидел внизу, у лестницы, двух мужчин. Ланна, в спину Терра, прошептал: «Видите?» Тассе и Гекерот стояли внизу, не двигаясь с места, рейхсканцлеру надлежало прийти за ними и извиниться.

Зехтинг тоже шепотом:

— В посольской комнате они ждать не пожелали. А в кабинет я не хотел их впускать.

— Хорошо, что вы меня сегодня навели на мысль об угольной монополии, — сказал напоследок Ланна. И уже на ходу, уже с приветственной улыбкой: — Теперь я могу их этим припугнуть.

Таков был он, и таким его снова узнавал Терра, сходя вниз по лестнице. Чем-либо хорошим он мог только угрожать. Истинное благо служило ему лишь средством удержать положение. Он пользовался идеями, но не осуществлял их.

Враги внутри его класса ему не мешали, княжеский титул поднимал его над ними. Среди своих личных врагов он, правда, видел собственную дочь, «которая теперь с роковой неизбежностью становится и моим врагом», — подумал Терра, проходя по саду.

Погода была не по времени теплая и тихая, сад благоухал. Терра заглянул в беседку, к которой вела каменная колоннада, увитая листвой. Не могла же Алиса ждать его до сих пор? Она, наверно, обиделась и даже подумала, что он снова предал ее. Лучше повернуть назад, выйти на улицу и опять целый год не видеть Алисы.

И все же он прошел по увитой зеленью галерее, заложив руки за спину, словно фланируя. С улицы доносился шум города, его лихорадочная суета, здесь — мирное цветенье. Оживленная толпа за оградой твердо верила, что здесь все полно заботой о ее благополучии. «Пожалуй, что и так. Но на первом плане собственная шкура и стремление из-за угла уничтожить друг друга. Сейчас Ланна — меня, а до этого я — Кнака. Я же — Алису, она — опять-таки своего отца, на которого все всегда нападают с тылу. Он в конце концов прав: в автократическом государстве нельзя никого любить, кроме самого себя».

Эта мысль несколько подбодрила его. «Как же тяжело моему другу Вольфу сознавать, что он прикован к дураку Толлебену! О, для предательства и у того ума хватит, ибо единственное, на что наш доверчивый народ там, за оградой, может еще рассчитывать, — это на глупость, царящую здесь. Политика идет путями вероломства, личных интересов и глупости, беспредельной глупости, — к целям, которые были неведомы самим зачинщикам и часто оказываются выше их». Вдруг он очутился перед Алисой.

Оба они одновременно обогнули увитую зеленью виллу, именуемую министерством иностранных дел.

— Я иду оттуда, — сказала Алиса Ланна. — Если бы вы послушали Губица! Пифия была по сравнению с ним младенцем. — Тут вдруг она вспомнила, что он заставил ее дожидаться, и по-детски надула губы: — Старались вы в угоду мне повлиять на папу?

— В угоду вам, — сказал он, и сердце его забилося, как прежде. — Я свято верю, что из Марокко получится мировая сенсация. И преподношу ее вам, глубокоуважаемая графиня, на этой подушке. — Он сорвал несколько листьев, наклонившись, собрал пучок фиалок и поднес ей цветы, уложив их на листья.

— Право, можно подумать, что я выстроила эту беседку специально для вас. Если бы ее не было, мой муж сейчас бы вас увидел. Его место там, наверху, подле окна.

Он быстро отодвинулся вглубь. Она засмеялась; легким прикосновением руки она увлекла его еще дальше. Как легка ее рука, как невесомы шаги! Куда девалась женщина, которая недавно в библиотеке была до того изуродована честолюбием и раскаянием, что он предпочел бы приписать эту перемену беременности. И вот она снова здесь, непреходящая любовь всей его жизни!

Они повернулись друг к другу; о эти умные глаза бесстрашной юности, ваш насмешливый блеск растворяется в нежности.

— Вы располнели, мой бедный друг. — В смехе ее чувствовалась женщина, которая знает, что она любима.

— Мои глаза всегда были прикованы к вам, и я жадно впитывал сладкий яд любви... — сказал он пылко. — Слышите, я говорю, словно из «Тысячи и одной ночи». Ведь уже много больше ночей я томлюсь страстной тоской.

— Не преувеличивайте, мой милый: мы скоро станем пожилыми людьми.

В ответ на это он взял ее руку и, целуя, так долго глядел ей в глаза, что она потянулась к нему и губами. Впервые в жизни их губы слились в поцелуе. Предварительно они бросили пугливый взгляд на окружающую листву, достаточно ли она укрыла их.

Лица их отразили легкую печаль, когда отстранились друг от друга. Как это произошло? Неужто поцелуй имел теперь так мало цены, что они могли на него отважиться? «Тогда, в семнадцать лет, — почувствовала она, — один такой поцелуй, и вся моя жизнь пошла бы по-иному». Он думал: «Если бы с ней я когда-нибудь познал такой же непреодолимо-властный Порыв, который меня, желторотого юнца, бросил в объятия женщины с той стороны! Почему этого не было по отношению к ней?»

— Ты помнишь? — начал он... И воскресли воспоминания. Либвальде!

— Тогда ты хотел меня похитить. Ты хотел меня убить! — сказала она. И с болью: — Мы оба были жестоки. Мы бежали друг от друга из ненависти к нашей прекрасной любви. — Поднимая к нему глаза: — Но, правда, мы все же были счастливы?

— И как счастливы! — Он поднял руку, словно хотел раскрыть объятия. — Небо в Либвальде было такое голубое, такого я больше не видел.

— Что ты говоришь? Оно было свинцово-серое. — Беря его руку: — Вот так мы пробирались по увядшей листве.

— Какой это был день?

— Последний в году. Когда ты уходил, начинался снег.

— Я вижу только цветочный дождь.

— Ты прав, милый. То были цветы, — ответила она, помолчав.

Опустив головы, они пошли по крытой аллее до самого конца. Кругом светило солнце.

— Но теперь-то ведь настоящая весна? — сказали оба. С этим печальным вопросом они вышли из аллеи. Два шага — и они отпрянули назад: у окна наверху Толлебен...

Он не видел их, не видел в эту минуту, ко по его лицу было ясно, что он знал об их присутствии здесь и искал их. Терра почувствовал прежнюю ненависть, ту врожденную первобытную ненависть, которая насильственно была принесена в жертву условностям и теперь вспыхнула с новой силой. Алиса думала: «Он мне все еще не доверяет. Неужели я никогда с ним не справлюсь?» Но оба вспомнили, что у него, к счастью, связаны руки. Его связывал договор с Мангольфом. Мангольф был клеветником, нарушение супружеской верности оказалось ложью. Если Толлебен это опровергнет, то, ввиду всего предшествующего, он сломит себе шею. Он обезоружен. «Мы могли бы делать безнаказанно все, что нам вздумается», — эту мысль каждый из них прочел на лице другого.

«И все же нельзя пойти на это, — чувствовала Алиса. — В сущности неизвестно, почему... И нужно слушать от того, кто стоит там, наверху, что он хочет стать отцом. В довершение всего я ему отказываю в наследнике! Неужели мой долг быть еще несчастнее?»

Она глубоко вздохнула.

Почему она вздыхает? С Толлебенем не легко жить. И вдруг:

— Правда, что у него есть ребенок? — Совсем другой тон, брови нахмурены. — У вас нет никакого основания держать меня в неведении. У него сын?

— Дочь, — ответил Терра.

— Значит, тоже не наследник. — Она рассмеялась. Затем тихо и строго: — Как это возможно, что у вас сын от той же женщины? — После чего она снова прошла в глубь зеленой галереи. Он стоял как громом пораженный. Она знает! Конечно, знает давно. Но знает не все. Он пошел вслед за ней.

— Вы ошибаетесь, глубокоуважаемая графиня. — Мнимая дочь господина фон Толлебена отнюдь не его дочь.

— Как? Княгиня Лили... — Она поправилась: — Так называемая княгиня Лили обманывает его?

— Это ее призвание на земле, — сказал Терра.

— Вас это все-таки не оправдывает. От кого же дочь у так называемой княгини?

Ее тону нельзя было противиться. «Понятно, что вы вертите супругом как хотите», — подумал он.

— Честь принадлежит моему другу Мангольфу, — сказал он вслух.

— Я так и думала, с ним вы делитесь даже любовницей.

— Мне было двадцать лет, когда я ее любил, — возразил он с жаром. — К тому же это прошло скорее, чем нам с вами понадобилось, чтобы быть несправедливо заподозренными и стать угрозой для жизни нескольких не причастных к делу людей. — Когда она, задетая за живое, опустила голову, он прибавил еще тверже: — Поверьте, сударыня, что из всех жизненных благ единственное неомраченное благо — чувственное наслаждение.

Она слышала, как он тяжело дышит от ярости. Только когда он совсем успокоился, она сказала очень кротко:

— Вы, вероятно, безгранично любите сына.

Он просиял, он воскликнул пылко:

— Вы бы посмотрели на него!.. Конечно, я не смею и думать об этом, — пролепетал он, всем своим видом прося о прощении.

— А почему, собственно, это невозможно? — просто ответила она. — Я давно об этом мечтаю. Хотите — у вашей сестры Леи?

— Вы это серьезно?

— Я знакома с вашей сестрой. Недавно встретила с ней у графини Альтгот. Какая бы она была прославленная актриса, если бы Альтгот не пригласила ее на чашку чая?

На днях я заеду к вашей сестре.

— Вы встретите там большое общество мужчин, — предупредил он.

— Я приеду с Беллой Мангольф. А вы приходите со своим мальчиком. Как его зовут?

— Клаудиус.

— Клаудиус, — повторила она у самых его губ.

Они стояли уже вне крытой аллеи, вероятно муж видел их теперь. Он мог даже слышать, о чем они так громко говорят. Все равно Алиса спросила:

— Вы проводите меня наверх, в министерство иностранных дел? Губиц уже, наверно, дошел до апогея. — Но он услышал: «Я не отрекаюсь от тебя, мы пойдем ему навстречу».

Они вошли в дом. Комнаты одна за другой открывались перед ними, и они вспоминали: здесь вот, здесь они впервые по-настоящему увидели друг друга. Обстановка другая; они искали место на полу, где стояли их ноги, когда вырвалось то слово, когда сверкнул тот незабываемый взгляд.

Вон в той комнате, в пустом теперь кабинете, они некогда, еще в начале всех путей, обедали рядом... Вдруг Терра испугался: неподалеку от него из большого вольтеровского кресла высунулся и мгновенно снова скрылся старческий профиль с крючковатым носом и подбородком. Губиц! На том же месте, что и тогда, словно он с тех пор так и не вставал. И сейчас он умудрился сесть так, что его тело погрузилось в кресло и составляло одно целое со своей тенью. Послышался шипящий голос:

— Дьявольские мысли, Толлебен! Но я их уже разгадал. Они окружают меня со всех сторон! — Шипенье такое громкое, что в ушах звенело; напрасно Толлебен не отрывался от окна. Он стоял спиной, он подглядывал, он прислушивался. Для него Алиса и Терра все еще прогуливались по саду.

— Они окружают меня, — шипел Губиц, его дрожащий профиль высунулся и вновь отпрянул назад. — Я не прекращаю слезки, я десятилетиями принимаю свои меры. Я открыл их тайные ходы, я воздвиг перед ними неприступные скалы. Я работал, как циклоп, как крот. Больше не могу!

Тут он так подскочил, что полы черного сюртука, свисавшего с худых старческих ребер, взметнулись над креслом; седую страдальческую голову охватили скрюченные руки.

— Один мозг против целого мира! Вы слышите меня, Толлебен?

Но Толлебен был во власти собственного безумия.

— Я в самом центре всего, — шипел старик, сползая все ниже. — Противник охватывает меня концентрическими кругами. Сначала наши границы блокируются периферией, а дальше континентами и морями. Я, центр, не могу прорваться сквозь них. Воздуха! — Он вскочил.

В тени носового бугра глаза без ресниц померкли от бесцветных быстрых видений. Тех, что вошли и смотрели на него, он не видел. В сюртуке, гладко выбритый, с ровным пробором, и при этом словно впивается в воздух пророческими руками. «Припадок», — прошептала Алиса. «Состояние ухудшилось», — прошептал Терра.

— Дайте мне метательный снаряд, чтобы пробить их круги. Изобрети же его ты, действительный тайный! — хрипел действительный тайный советник. — Что ты видишь?

Он что-то увидел, что-то засветилось вокруг него, чего он, как ни старался, не мог охватить.

— Синее море! На нем белый корабль! Мой огнедышащий истукан с орлом на каске. Вы еще посмотрите! — И старик поднял окостенелую ногу, словно приготовился к танцу дервишей. — Он замер. — Пальба! — пронзительно зашипел он. — Толлебен, вы слышите пальбу?

Толлебен оставался глух; сгорбленный Губиц проковылял к нему и повернул его к себе лицом.

— Вы ничего не слышите в саду? — спросил Толлебен.

— Вы слышите пальбу? — спросил Губиц. — Я выпускаю мину, как же не быть пальбе?

Они глядели друг на друга, и один не понимал другого... Алиса кивнула Терра, и оба поспешно скрылись. Она тихо притворила за собой дверь.

— Вы поняли? — спросила она строго, даже взволнованно.

— Что я мог понять? Ведь это безумие.

— Мировая сенсация.

— Будь я проклят...

— Пожалуйста, без комедий! — сказала она нетерпеливо. — Мы узнали сейчас средство уладить дела в Марокко. Кто знает, что знаем мы, тот ведет бег.

— Что же, действуйте против своего отца! — сказал он кратко и ясно.

Она побледнела. Отсутствующий взгляд. Потом спросила:

— Вы действительно посоветовали ему вмешаться в марокканские дела?

— Во всяком случае, я был скромным свидетелем того, как он искал способ проявить себя. Искал чего-либо помпезного для императора и увлекательного для публики. Именно того, что изобрел сию минуту при нас этот канцелярский демон. Поспешите, графиня, перехватить этот план у князя.

Тут он увидел слезы у нее на глазах. Не успел он опомниться, как она уже выбежала из подъезда. Он — за ней. Издали показался Ланна. Дочь устремилась к нему и подошла вплотную:

— Ни слова, папа, немедленно к императору. Пусть император едет в Марокко. Пойдем, я велю подать твой автомобиль. Поспеши, а то кто-нибудь опередит тебя.

— Значит, ты все-таки думаешь обо мне, мое дитя! — Отец взял дочь под руку. Терра скрылся за углом министерства иностранных дел. Он шел медленно, и все же голос Ланна едва долетал к нему. — Я ценю, что ты говоришь это мне, а не своему мужу. За это я обещаю вам Министерский пост. Если я, будем надеяться, выйду из этого дела с упроченным положением, господину фон Толлебену обеспечено место статс-секретаря.

— Только бы ты стал князем, папа!

— Не плачь, моя любимая! Тебя ввели в соблазн, это со всеми нами бывало. Честолюбие проникает во все человеческие отношения, даже и наши нам следует тщательно оберегать от него. Но нас оно не разлучит. Как! Ты против меня в союзе с глупостью? Это было бы тяжким грехом — не только против дочерней любви, но и против твоего честолюбия.

— Каким образом, папа? Ведь я могу им руководить!

— Ты так полагаешь? Многие думают, что можно подчинить себе глупость. Но она всегда оказывается сильнее. Это познание приобретено долголетним опытом. Верь твоему отцу, который черпает познания из опасностей. — Ее молчание, его сочный вздох; затем: — Игра не стоит свеч! Постоянная зависимость, щелчки и необходимость изо дня в день заново отстаивать мираж власти. Нам бы следовало уехать от всего; вместе — в Либвальде или в кругосветное путешествие... Но сперва устроить дело с Марокко! — Отходя и уже на расстоянии. — А это под силу только мне!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I Система Ланна. Ее торжество и крушение

Леа Терра, наконец, появилась, граф Эрвин Ланна прождал полных два часа.

— Вы чересчур терпеливы, граф Ланна. За это время перебивало бог весть сколько народу, и все потеряли терпение. Вы один всегда переживаете всех.

Она повела сверкающими плечами, желая выразить недоумение или попросту сдвинуть ниже переливчатый капот. Он соскользнул до плеч, а руки, словно сказочные белые пестики цветка, выступили из раскрывшихся лепестками рукавов.

— Вот сейчас вы скажете: этот жест, сударыня, вознаграждает меня за двухчасовое ожидание. Вы скромны, граф Ланна. — При этом она расхаживала по комнате взад и вперед.

Стройные ноги при каждом шаге натягивали переливчатую ткань, бедра покачивались, как колыбель самых радужных грез. Он видел: она изображает перед ним скаковую лошадь, породистое животное, блаженство и упование людских толп. Сама же она словно глядела на все со стороны. Неправдоподобно стройная линия груди и шеи, но лицо над ними несколько жесткое и усталое в своем великолепии. Глаза были подведены и оттого казались еще более испытующими и алчущими. Из-за чересчур красных губ бледные линии у рта были еще неуместнее. И вокруг такого лица золотистый ореол волос.

— Вы должны требовать большего, граф Ланна. — Резковатый актерский голос. — Вы должны добиться, чтобы актриса перед вами одним гарцевала по всем правилам высшей школы. Вам не пристало торчать здесь по шесть часов в день безвозмездной рекламой.

— Иногда у вас появляется та же манера выражаться, что у вашего брата, — сказал он.

— Ну, хорошо, — подхватила она. — Значит, для вас я не должна быть актрисой. И к чему? Вы старый друг, мне незачем все время быть на ходулях. — Она опустилась, по привычке плавно, как для зрителей, в ближайшее кресло. Превосходное, обитое

гобеленом кресло; ее безукоризненно вылепленные пальцы тотчас картинно расположились на позолоченных поручнях. — За это, друг мой, вы целый вечер должны читать мне вслух. Я никого не принимаю. У меня болит голова, ваш голос меня успокаивает. В театр я сообщила, что не приеду, как только узнала, что мы будем одни.

— Я у ваших ног, — сказал он вежливо. — Но разве можно было сообщать в театр так поздно! Через полтора часа ваш выход.

— Через час и три четверти. Но меня это не касается. — У нее был очень утомленный вид, он не стал возражать. — Лучше скажите, мой друг, какую фотографию вы так спешно пытались сунуть за остальные. Вам это не удалось, вон она еще валяется. — Леа потянулась за ней. — Ах, да! — со вздохом, который был бы виден и слышен в партере.

— Вероятно, коллега из тех времен, когда вы только поступили на сцену, — сказал он, превосходно зная, что это Мангольф в молодости.

Она же, не сомневаясь, что он знает:

— Да. Глухая провинция. Неужели я сама была когда-то такой молодой? Совершенно неправдоподобно.

— Скажите мне откровенно...

Услышав этот голос, она подняла глаза; в нем появилась звучность и даже страстность.

— Что с вами, Эрвин?

— Если бы господин Мангольф пожелал тогда на вас жениться, были бы вы теперь счастливы? — договорил он.

Леа глухо:

— Да, вы всегда многое видели. Созерцатель, который проходит именно в ту минуту, когда другие плачут или смеются. Чаще плачут, разумеется. Но бывают и светлые промежутки. Вы, вероятно, на светлые не попадали.

— Я не созерцатель, Леа, — ответил он с непривычной горячностью. — Я давно уже перестал им быть. Вы сами видите, где я просиживаю целые дни и часы. Сперва я действительно только зарисовывал вас.

— Меня? Нет, мою банку с румянами.

— Это было совсем давно. Вероятно, вы тоже выросли с тех пор. Я увидел, какая вы артистка!

Артистка насторожилась.

— Началось с вашей туфельки, с ноги, которая ее носила, потом перешло на походку.

— Пока вы не добрались до лица...

— А тогда раскрылся весь человеческий облик. И сам я лишь после этого осознал себя. Осознал благодаря вам, Леа Терра. Другим, быть может, нужно испытывать срывы, несчастья. Я же переживал все в душе, потому что была женщина, которая так мастерски все изображала. Тогда же я сказал вслух: я люблю ее. — Он и сейчас

испугался своих слов.

— Продолжайте, — потребовала она. — Что вы думали обо мне? Ведь это было почти вначале, я еще не прослыла бессердечной.

— Вы — бессердечны! Я живое доказательство противного. Я научился чувствовать лишь у вас.

— Неизменные успехи, и неизменно мнимые! — Она спросила, перегнувшись вперед и сложив руки: — Помните, граф Ланна? Туалеты с глубоким смыслом. Это было мое прозвище, в нем отразилась неприязнь двух лагерей: лагеря глубокого смысла и лагеря туалетов. За мной лично признавали утонченность и, пожалуй, талант. Но сердце? Сердце отрицали, как бы беззаветно я ни отдавалась изображаемой на сцене страсти.

— Вас окружают таким поклонением!

— Молоденькие девушки. Их тянет ко мне, как мышек к кошке. Им хочется узнать, откуда она черпает силу, но при этом они косятся на свою норку. Мужчины? В столице не найдется актрисы, у которой насчитывалось бы так мало настоящих связей, как у меня, несмотря на вечную толчею здесь, — закончила она откровенно.

— Вас ничто не может замарать, — сказал он, опустив глаза.

— Это вы себе внушили, — возразила она без насмешки.

— Правда, какие бы качества они в вас ни ценили, любить вашу человеческую сущность они не могут. Они страшатся ее. Каждый из них по сути ищет себе мышиную норку.

— Вы, граф Эрвин, ничего не страшитесь, — сказала она поощрительно.

— Чего бы я тогда стоил? — спросил он. — Нет, из созерцателя, собиравшего впечатления, возник некто, у кого эти впечатления породили жалость. Только тогда он превратился в человека, который любит вас и потому хочет вас спасти. Любить — значит хотеть.

— Жалость? — Она состроила гримасу, напомнившую ее брага. — Если бы это мне сказали не вы... Мой друг, вы уже седеете. Сколько времени еще придется прощать вам мальчишеские промахи? Поговорим начистоту! Я жестоко страдала от господина Мангольфа чуть не полжизни. За то, чем я стала, ответственность несет он: и за мое искусство и за это все, — жестом охватывая комнату, где кресла, обитые гобеленом, глубокие козетки, треугольные плетеные диванчики в форме золоченых клеток стояли наготове для мужского гарема.

— Если бы я смел сказать вам все!

— Что еще? — спросила она неприязненно.

— О чем я мечтаю!

— Воображаю, о чем вы можете мечтать! — Она погрузилась в мысли и в свою боль.

Он созерцал ее, как на спектакле. Вздрагивание выразительной руки, трагически напрягшаяся шея, подчеркнутая мимика бровей и рта невольно делали зрителем того, кто сам изнемогал от душевной боли. Молчание. В стыде и муке от своей никчемности

он стал искать портрет Мангольфа, который она взяла и не положила на место. Должно быть, она спрятала его у себя на груди!..

Но тут она сказала:

— Господин Мангольф достиг всего тоже не самостоятельно, он был связан с актрисой. О! Ему не так-то просто отвязаться, — с жестоким взглядом, от которого Эрвин побледнел. — Какое счастье стареть! — продолжала она, уже спокойнее. — Перед вами мне нечего рисоваться. — Она подлаживается к нему! Сердце у него забилося робкой радостью. — В застарелых чувствах всегда множество трещин. Но если они не теряют силы? Тогда кажется, будто они незаменимы. Смотрите не обожгитесь, Эрвин! — заключила она почти добродушно. Тут раздался звонок. Она торопливо досказала самое, на ее взгляд, важное: — У господина Мангольфа большие неприятности. Ему до смерти опостылело то, что разделяло нас. Стоит мне пожелать — и он все бросит, он потребует развода... — Но гости уже входили.

Вместе явились коммерции советник фон Блахфельдер-младший и доктор Мерзер, за ними следом Мангольф с молодым Шелленом. Сын газетного Юпитера, который вершил дела, скрываясь в облаках, был, в противовес отцу, очень заметен и шумлив, у него тотчас оказались деловые секреты с актрисой. Он вызвал ее в соседнюю комнату, но там стал попросту объясняться в любви, да так громко, что все было слышно через закрытую дверь.

Леа Терра последовала за ним, чтобы избавиться от назойливого Мерзера. Шеллен бежал по той же причине.

— Этот выродок осаждаст одновременно нас обоих, — сказала Леа.

— Выродок — то же самое сказала про него и красавица Швертмейер, — заметил Шеллен. — Так называют его все дамы, у которых есть нюх и при помощи которых он хочет реабилитироваться. Какого еще юношу, кроме меня, вы здесь подкарауливаете? — зычно спросил он у прокравшегося следом Мерзера.

Тот принял рассеянный вид, а глаза потускнели от страха.

— По-видимому, вы уповаете на всемогущество своего папаша, — не выдержал он в конце концов и угрожающе оскалил редкие зубы.

На его счастье, раздался телефонный звонок. Леа попросила Шеллена ответить администрации театра, что она лежит. Слышно было, как он выдавал себя за врача. Но так как секретарь директора осмелился усомниться, он назвал свое грозное имя.

— Что он тут делает? — спрашивал в соседней комнате Блахфельдер у Мангольфа, который старался сохранить тон человека постороннего.

— А вы, господин фон Блахфельдер? Ведь мы в гостях у актрисы. Вы, как я вижу, успели опять побаловать ее великолепным экземпляром Дега.

— Что за краски! Никаких денег не пожалеешь. — Младший хозяин калийной фирмы пришел в экстаз. Тонкая красота его лица с миндалевидными глазами успела поблекнуть, но перед драгоценной картиной она расцвела вновь. — Искусство оправдывает все, — произнес он в экстазе. — Леа — олицетворенное искусство.

Мангольф, продолжая его мысль:

— Искусство оправдывает Шеллена, который обеспечивает рекламу. Другие

обеспечивают другое, — кивком указывая на стены.

«Он все еще привязан к ее подолу, — подумал Блахфельдер, но тут же поправился: — Что бы ни дала нам жизнь, женщина одним движением сметает все». Вслух он сказал:

— Простите мою нескромность, Мангольф: в свое время вы, кажется, румянились. Вы были тогда молоды. Вас не огорчает, что молодость уходит? А я не сплю целыми ночами. — И с решительным жестом: — Перейдем к политике! Танжерская поездка императора⁴⁴ оказала магическое действие.

— Вас она трогает? — спокойно спросил Мангольф.

— Я только представляю себе: синее море, белая яхта, на носу фигура в каске с орлом... он умеет бить на эффект.

— Как и все мы. Германия умеет бить на эффект. Если бы больше ничего не требовалось...

— Откуда такой скептицизм? — Видно было, что Блахфельдер внутренне насторожился. — Господин помощник статс-секретаря, вам бы следовало проявить предусмотрительность. Вы должны заранее знать, принесет ли танжерская поездка хорошие результаты.

— Принесет, я это знаю. — Мангольф оживился. — И даже уже принесла. Танжерская поездка побудила, наконец, Францию всерьез подумать о союзе с Англией, который давно был ей предложен. После чего мы послали запрос нашим друзьям в Рим. Вслед за тем началась невероятная сумятица в Париже. Неужели они допустят, чтобы их бешеный министр иностранных дел начал войну?

— Мы хотим мира, — заверил Блахфельдер. — Мы на все готовы ради него.

— Мы подвергаем его всяческим испытаниям. Настоящий мир должен быть прочен. — Вместо ответа Блахфельдер пытливо взглянул на него, но Мангольф был непроницаем. Вдруг он заявил, что ему пора ехать; именно сейчас в министерстве ждут решения из Парижа: либо отставка французского министра, либо девять шансов против одного за войну... — Если он падет, Ланна получит титул князя, — бросил Мангольф напоследок.

Блахфельдер только теперь вышел из равновесия.

— Как? Князя? Значит, это правда? Скажите, это безусловно верно? Можно уже поздравить его? Подождите, Мангольф! — Но тот не внял ему, и Блахфельдер остался один. — Мы переживаем исторический момент, — произнес он торжественно и подошел к открытому окну, высоко над суетящейся в ясном июльском солнце площадью, где никто не был в курсе таких новостей. Но, едва бросив взгляд на площадь, он ринулся в прихожую вслед за помощником статс-секретаря и втащил его назад за плечи: — При этом вам не мешает присутствовать.

Мангольф увидел свою собственную жену вместе с Алисой Ланна. Они как раз входили в подъезд. С ними вернулся только что ушедший Эрвин Ланна.

⁴⁴ *Танжерская поездка императора.* — Весной 1905 гона император Вильгельм II совершил демонстративный визит в Танжер, где произнес речь провокационного характера и объявил себя «защитником независимости» Марокко. Появление Вильгельма II в Танжере было попыткой ликвидировать англо-французскую Антанту.

Их появление вызвало минутное взволнованное затишье. Крики у телефона смолкли, Шеллен усердно целовал руки. Мерзер впал в подлое раболепство, каким бывал одержим и его дядюшка Кнак перед сильными мира. Мангольф сделал вид, будто сговорился с женой встретиться здесь, и усадил ее подле Леи, когда Леа пригласила к чайному столу. Сама Белла пустила в ход все чары, чтобы усадить рядом с собой господина Шеллена. А немного погодя привлекла к себе также Блахфельдера, Мерзера и даже графа Эрвина, в то время как Леа с Алисой скрылись в маленьком будуаре. Мангольфу пришлось наблюдать, как его жена в гостиной его возлюбленной флиртует с четырьмя мужчинами. Те совсем потеряли головы, настолько вызывающе держала себя Белла; несомненно, Шеллен не преминул бы стать нахальным. Мангольф предпочел поскорее ретироваться.

Леа и Алиса разглядывали друг друга, сидя в пестром будуарчике с лакированной мебелью, фарфоровой люстрой и ярко разрисованными шелковыми обоями.

Леа, обводя взглядом комнату:

— Вы — здесь у меня?! Я не выхожу, — знаете, у меня мигрень... Нет, я знала, что придете вы!

— От вашего брата? Неужто я вижу вас? Вас, его сестру! Знаете, вы совсем другая, чем на сцене.

— Потому что там я играю все, только не восхищение, только не... смирение. — И Леа хотела коснуться губами руки гостыи. Но Алиса привлекла Лею к себе на грудь.

За дверью резвилась Белла:

— Руки прочь, Шеллен! Мы с вами в гостях у актрисы, которая славится своими брильянтами. Вот как нынче живут! Все, кто на виду, селятся в новом западном районе. Только я одна кисну в своем Меллендорфском дворце. А здесь все сплошь дворцы! — Прыжок на подоконник, еле удалось ее удержать.

Блахфельдер рассказал, что в Генуе есть улица, состоящая из десяти старинных дворцов. Но куда лучше — сто шестьдесят новых. Шеллен воспользовался этой темой для самых неприкрытых намеков на первое свадебное путешествие Беллы, когда жених один доехал до Италии, а невесте пришлось повернуть назад. Она от смеха чуть не вывалилась из окна; Эрвин Ланна, давно с тревогой следивший за ней, втащил ее в комнату. Словно обессилев, она минутку полежала у него на плече. «Боже! до чего я несчастна!» — как будто послышалось ему. Но она уже снова резвилась, сама не замечая с кем. Однако молодой Шеллен успел прикинуть, какие перед ним открываются возможности.

Алиса и Леа спаслись от шума в спальню. Спальня белая с серебром; кровать такая низкая, что пушистые белые меха, разбросанные по полу, чуть не касаются подушек.

— Кровать односпальная, — заметила Алиса.

— Что тем не менее ничего не доказывает, — заметила Леа.

— Ну, все же, — возразила Алиса. И робко добавила: — Вы в жизни гораздо больше играете, чем чувствуете.

Лицо актрисы приняло злое и печальное выражение.

— Если хотите, это так: моя воля, мой темперамент, все мои способности к жизни и

любви поглощены игрой на подмостках — актерским ремеслом. Мои безумства — это маска, страх, бесплодная алчная тоска об упущенном. Дорого мне обошлось ненавистное, неблагодарное, тираническое актерское ремесло. И сейчас, когда пришло время навестывать, я заставляю молодых людей ждать меня за кулисами. Тех молодых людей, чьи чувства целый день волновали мое воображение: и вот они передо мной, я же, усталая, истощенная игрой, отсылаю их прочь! Мерзость! — твержу я себе, опускаясь без сил на кровать. — Сказав это, она опустилась на край кровати и сжала голову руками. — Ведь я говорю с целомудренной женщиной, — пробормотала она. — Иначе б я молчала.

— Скажите, как это возможно всю жизнь любить одного мужчину, которому никогда не будешь принадлежать? — шепнула Алиса ей на ухо.

— Именно потому его и любишь, — промолвила актриса.

Она принялась рассказывать гостье, которая так плохо знала жизнь, что значит обмануть и потерять того, кто в сущности был единственным. Потом снова прежние отношения, новая измена, его, ее, в сочетании с ненавистью, сопротивлением, верностью. Удовлетворение? Счастье? Почти нет — из-за неустанной борьбы. Но верность нерушимая, наперекор всем житейским законам, ценой унижений и потери своего «я». — Нахмутив лоб и отчеканивая слова: — Не будь я опустошена игрой, я, пожалуй, могла бы любить других. А так он стал моей жизнью.

Но Алиса Ланна, думая о себе.

— Только поэтому? — Она погрузилась в размышления: «Неужели и у меня это так, оттого что и я предпочитаю властвовать, а не любить?» Честолюбие — высшая ступень жалкого снобизма, всеобщего и всеобъемлющего увлечения. Но даже Белла способна любить! Даже урожденная Кнак на своих прочно укрепленных жизненных высотах позволяла себе любить и идти запретными путями. Алиса Ланна прижалась к актрисе.

— Я часто задаю себе вопрос, почему я не принадлежу вашему брату? Я не религиозна... Что же еще? Положение в свете? Пример для народа? Боже ты мой, долг ли наш век, — надо спешить урвать свое. И как бы это было просто! — Она замолчала, смущенная безотчетным ощущением, что это было бы слишком просто и что воздержанием она глубже мстит своей судьбе... И, зарывшись в пушистые белые меха, они тесно прижались друг к другу — Алиса и Леа.

Тут как-то особенно настойчиво зазвонил телефон. Одновременно ворвалась госпожа Гаунфест-Блахфельдер и тотчас же бросилась к телефону.

— Из театра? Опять? Хорошо. — И под диктовку Леи: — Она даже не собирается, у нее мигрень... Вероятно, до тех пор, пока вы не увеличите жалованья.

— Совершенно верно! — крикнула Леа.

А урожденная Блахфельдер еще бесцеремоннее:

— Ищите Шумскую. Если она должна заменять Лею, вам ее не найти, мы спрятали ее. Да, да, здесь в ванной. Итак, всего наилучшего. Выпутывайтесь сами как знаете, а я хочу выпить.

Блахфельдер обняла Лею; Алиса Ланна с огорчением заметила, что даже сильный запах алкоголя не отталкивал от нее Лею, не говоря уже о липких руках и щуплой

фигурке, истерически извивавшейся от прикосновений подруги.

— Через три четверти часа он должен начать спектакль. Как же ему быть? — воскликнул Блахфельдер-младший, меж тем как сестрица его собственноручно готовила себе коктейль.

Яичный желток обрызгал ей платье, но она тем не менее отклонила всякую помощь. Впрочем, она уже успела оборвать себе подол. Жемчуг у нее отстегнулся; всем бросилось в глаза, с какой нежностью Леа поправила его.

— Ваша сестрица обаятельное существо, — с огорчением услышала Алиса ее слова.

Блахфельдер возразил:

— Если бы только у нее вечно не расплывались румяна! Достаньте ей румяна, на которые не действует алкоголь. — И он занялся госпожой фон Толлебен.

Доктор Мерзер тоже был весьма галантен. Стараясь заинтересовать обоих сразу — супругу дипломата и очаровательного отпрыска газетного треста, он сообщал сведения о международном кризисе. Сведения, полученные фирмой Кнак, носили тревожный характер. От совета министров, заседавшего в данный момент в Париже, уступчивости ждать не приходится: кнаковские доверенные знали об этом из первых рук.

Шеллен заметил, что его газеты все равно это опубликуют.

— Только бы не отстать от других!

— Промышленность готовится к войне, — сказал Мерзер, брызгая слюной. Его грязно-желтое лицо покрылось до самой лысины сетью алчных морщин.

Но Блахфельдер-младший откинулся на спинку стула и провел рукой по лбу.

— Ах, да, чуть не забыл: в данную минуту французский министр иностранных дел⁴⁵ подает в отставку. Одновременно господин рейхсканцлер становится князем.

Молчание. Блахфельдер упивался произведенным им эффектом. Он взглянул на Алису Ланна, ища подтверждения. Доктор Мерзер склонился перед ней.

— Ваш высокочтимый папаша станет князем в момент объявления войны! Как раз сейчас! — с уверенностью сказал он и взглянул на часы.

— А мы сидим здесь, словно позабытые нашим веком, — заметил потрясенный Блахфельдер; вслед за тем несколько минут раздавались возгласы изумления, тревоги, безоговорочной готовности, — последние из уст Беллоны, урожденной Кнак. Леа Терра, правда, примешивала к воинственному пылу Европы свой собственный; она заявила, что не подумает переступить порог театра, пока директор Неккер не увеличит ей жалованья.

— Неккера надо тоже сместить! — крикнул Шеллен.

— Все решает соотношение сил! — воскликнула Леа, между тем как Алиса и ее брат переглянулись. Ему она говорила, что у нее болит голова, а новой подруге — что

⁴⁵ ...французский министр иностранных дел — Делькассе Теофиль (1852—1923), французский дипломат, министр иностранных дел Франции с 1898 по 1905 год. Отставка Делькассе была одной из уступок Франции немецким требованиям.

осталась дома исключительно ради нее.

— Все решает соотношение сил, — повторил в дверях чей-то певучий голос, и появилась графиня Альтгот в сопровождении депутата Швертмейера. Они искали господина Мангольфа. Рейхсканцлер не принимал никого, даже свою старую приятельницу.

— Правда, что вопрос о пожаловании ему княжеского титула решен? А господин фон Толлебен назначается статс-секретарем?

К Алисе Ланна тотчас же вернулась обычная насмешливая сдержанность. Альтгот знала ее и потому оставила в покое; от себя она добавила:

— Во всяком случае, ясно, что стадия переговоров позади. Теперь все решает соотношение сил.

— Разве я этого не говорила? — воскликнула Леа.

Блахфельдер, намешавшая себе во второй коктейль все виды настоек, шумно поддержала ее. Каждый с кем-нибудь соглашался, сам не зная, о каком конфликте идет речь — о театральном или другом. Швертмейер тщетно пытался внести ясность. Его лисья физиономия сунулась своим острым носом в общую беседу и, оскалась, отпрянула.

— Почему вы так волнуетесь? — спросил его Шеллен. — Взгляните на Блахфельдера! Он спокойно дожидается Мангольфа. А Мангольф возвратится непременно, его здесь крепко держат.

— Так или иначе, я узнаю об этом на четверть часа раньше, чем биржа, — сказал Блахфельдер.

— А мне надо знать на полчаса раньше! — выкрикнул Швертмейер вне себя.

— Для кого? — спросил Шеллен. — Для банкирской конторы Бербериц? Для Кнака? Ведь блистательной патриотической речью, которую вы произнесли вчера, сыт не будешь! — бросил он дерзко.

Депутат старался перекричать его:

— Вам легко рассуждать, молодой человек. Пусть ваши информации будут неверны, вы все равно заработаете на них. Если же мои окажутся ложными, мне крышка.

Их обоих заглушил телефонный звонок. Должно быть, Мангольф? Графиня Альтгот раньше всех схватила трубку и крикнула в нее певучим, но срывающимся голосом:

— Значит, правда? Стадия переговоров позади. Теперь все решает соотношение сил. — Но она тотчас отшатнулась. — Господи, силы небесные, кто это? — Она прижала руки к щекам. — Этот человек крикнул мне такое слово, которого я за всю свою жизнь не слыхала.

— Вы давно покинули сцену и потому забыли его, — резко сказала Леа и сама взяла трубку.

Изменившимся до неузнаваемости голосом она стала выкрикивать ответные оскорбления. Друзья, в полном составе следовавшие за ней в спальню, с ужимками

помогали ей изобретать новые. Вдали от общего оживления, на пороге передней стояли только что пришедшие Терра с юношей сыном.

— Вот смотри, сын мой Клаудиус, — сказал Терра. — Такова жизнь, таков свет. Ты должен питать к ним огромное, глубочайшее уважение. Ты видишь перед собой в природе цвет политики, искусства, промышленности. У них нет дурных побуждений. Просто они таковы!

Алиса Ланна, собравшаяся уйти, натолкнулась на них.

— Мой сын Клаудиус, — произнес Терра. Он говорил с подчеркнутым достоинством, так как видел, что Алиса готова расплакаться. — Я хотел в этот знаменательный день представить его вам. Сын мой, графиня удостоит тебя неоценимой милости взглянуть на тебя.

Они втроем прошли из передней в столовую. Одной стеной она примыкала к гостиной, оттуда появился Эрвин. Он ждал, чтобы его заметили. Но Терра стоял, почтительно склонившись к госпоже фон Толлебен, а она, сидя у стола, рассматривала его сына. Она заглянула в прекрасное лицо мальчика, ее собственное лицо при этом все передернулось.

— Открой же глаза! — сказала она и таким тоном, будто сама не сознавая, что говорит, добавила: — Ты любишь свою мать? — Мальчик откинулся назад, стараясь вырваться от нее; он открыл глаза и плотно сомкнул рот. Она узнала эти стиснутые губы, этот страх перед жизнью. — А отца? — спросила она. Он оглянулся. Какой недоверчивый взгляд! Терра отступил, пораженный, и тут натолкнулся на Эрвина.

— Простите меня! — произнес Эрвин. — Я что-то плохо соображаю. Сколько тяжелого с Леей! — И в ответ на жест Терра: — Да у Алисы тоже плохой вид. Но о ней мне незачем заботиться: тот, кто считает, будто подчинил ее своей власти, глубоко заблуждается. Отнять у нее свободу никто не сможет. Иногда я вижу, как она выходит из дому пешком, и невольно улыбаюсь.

— Куда она идет? — спросил Терра.

— К вам.

— Вы не в своем уме! — в ужасе прошептал Терра.

Эрвин тоже шепотом:

— Если бы это было не так, мне пришлось бы убить господина фон Толлебена.

— Неплохая мысль, — пробормотал Терра.

— Но Леа! Ее мучают беспрерывно, с отчаяния она готова махнуть на себя рукой. А тот, кто мучает ее, тоже теперь не виноват, я это отлично понимаю. Мука стала для нее самой жизнью, которая неотвратимее любимого человека. Что с ней будет?

Молчаливый стон; Терра скорее прочел его в глазах Эрвина, чем услышал из его уст. Он испугался. Увидев, что он потрясен, Эрвин собрал все силы.

— Помогите мне! Вместе мы спасем ее. И Алису тоже. Мы увезем обеих куда-нибудь далеко. Например, на острова Океании, где мало людей и люди еще не возвращены. Поедемте, Терра!..

— В самом деле? Туда, где нет ни телефона, ни совета министров? Где не надо

волноваться, одержат ли верх те прохвосты, которые требуют немедленной международной бойни, или другие, которые хотят сперва откормить убойную скотинку?

— Где нет ни алчности, ни утомления, ни предательства, главное — предательства! А опасности только такие, какими грозит природа, но ведь она добра.

— Только не наша. Наша человеческая природа иная, — как сладить с ней?

— Физическим трудом, — сказал Эрвин. — Отдыхом без сновидений.

Тут Терра рассмеялся. Алиса издали повернула к ним растерянный взгляд, а юноша — неприступно замкнутый. Затем обе стороны возобновили тихие настойчивые переговоры.

— Убедите Лею! — молил Эрвин. — Если бы я смел сказать ей все! — И прислушиваясь к приближающемуся из соседних комнат шуму: — Нельзя терять ни минуты. Поедем вместе на острова Океании!

Но их прервали.

— Был такой момент в моей жизни... — успел только произнести Терра. — Теперь я связан неразрывными путами... Все бродят друг вокруг друга. И никто никого не находит.

Альтгот отбыла вместе со Шwertмейером, остальные искали госпожу фон Толлебен. На молодого Клаудиуса никто сперва не обратил внимания, но потом Мерзер заприметил его и повел есть пирожные.

Леа увидела это и хотела пойти следом, но брат удержал ее.

— Уважаемая актриса, — начал он, запинаясь. — Граф Эрвин поделился со мной такими душераздирающими переживаниями, до каких тебе не следовало бы доводить даже последнего из твоих верноподданных.

— Что ему нужно? Ведь он мой друг.

— Это, вероятно, труд, который по силам лишь молодому Геркулесу.

— Больше у тебя нет никаких новостей?

— Леонора! — строго сказал брат. — Разумно оценивая твои интересы, я настоятельно советую тебе прекратить неуместные шутки с обществом, в котором мы живем. Если ты недовольна им, когда оно благоволит к тебе, то имей в виду, что во вражде оно исключительно упорно.

— Какая я есть, такой останусь.

— Странно, что чаще всего так рассуждают артисты, то есть люди, которые должны быть только тем, кем их желает видеть общество. Лишь общество своею властью дает тебе возможность проявлять твое дарование, взамен чего оно ждет от тебя и в жизни самого совершенного воплощения его собственных склонностей. Но оно ни в коем случае не разрешит тебе превысить ту меру порока и преступления, которую на данный момент считает для себя допустимой.

— Вот как! — заметила сестра.

— Ты можешь доходить до самых пределов, этого от тебя даже ждут, но только не вздумай переступить их. Это право остается за теми, кто могущественней нас.

Поведение госпожи фон Гаунфест-Блахфельдер для тебя безусловно недопустимо.

— А разве сам ты всегда был таким благоразумным? — спросила она, испытующе глядя на него.

— Дитя мое, каковы бы ни были наши планы в отношении существующего общественного строя, мы его нахлебники, — ответил брат с угрюмой откровенностью. — Берегись заронить в нем подозрение, будто ты выше его!

— Я дивлюсь перемене, происходящей в тебе, но для меня это недоступно, — смиренно и с легкой грустью сказала Леа. — И тут же непосредственно: — А теперь пойду спасать твоего мальчугана от посягательств выроodka, это будет вполне в духе твоих советов!

В своих ухаживаниях за молодым Клаудиусом доктор Мерзер держался вполне благопристойно. По-видимому, он соображался не только с раскрытыми дверьми, но и с чувством собственного достоинства. Подбитый особенно добротным шелком сюртук его был расстегнут и ничуть не помят, рукам он тоже не давал воли. Грязно-желтый цвет лица и глаз и сетка алчных морщин вплоть до лысины были присущи ему всегда. Гораздо сомнительнее держал себя юноша. В своем неведении он ощущал вожделение мужчины и откликался на него! Длинные ресницы были невинно подняты, шея кокетливо изогнута, ясный взгляд застыл вопросительно. Лицо такое чистое, над чистым лбом такой крупный золотистый локон, а первый, еще не осознанный взгляд любви достался выродку.

Это ему поставила на вид Леа после того, как отослала Мерзера. Она в ярком свете выставила перед мальчиком уродство этого мужчины. Он же снова опустил ресницы, — кто знает, понял ли он ее?

— Тебе нравятся женщины? Ну, например, я? — спросила Леа. Перед робко вскинутым детским взглядом разом засверкала вся прославленная игра ее глаз. — Ты мне очень нравишься, — сказала она, но не своим обычным тоном, а как будто от его имени. Он же решительно сжал губы; она недоумевала, что с ним.

— Оставим глупости, тетя Леа, — потребовал он. — Мне надо что-то сказать тебе. Больше некому. Маму я спрашивать не могу, она сама тут замешана.

— У тебя есть секрет?

Он несколько раз открывал рот, который и открытым был все так же невинен, все так же прекрасен; но едва Леа собралась поцеловать его, как мальчик отвел голову и тихо произнес:

— Мне пишет один господин. — Она выпустила его и хотела отстраниться, но он добавил: — Мой отец.

Долгая пауза. Леа ничего не поняла, но испугалась: что еще он преподнесет? Она поспешно огляделась: Блахфельдер собиралась уходить и тащила с собой несчастного Эрвина Ланна. Белла Мангольф исчезла с Шелленом, у которого был удовлетворенный вид. За чайным столом, друг против друга, самозабвенно отдаваясь скудным мгновениям, сидели Терра и Алиса. Из столовой, где совещались Блахфельдер и доктор Мерзер, были видны обе стороны — влюбленная пара и исповедующийся мальчик.

— Как вы могли это сделать? — шептала Алиса самозабвенно. — Вы смелы до

безрассудства. Так играть любовью сына! Чего же нам, бедным женщинам, ждать от вас?

Выражение ее лица, такое самозабвенное в страхе и нежности, не ускользнуло от совещающихся дельцов. Оперируя в беседе крупными цифрами, они в то же время думали: «Там что-то не клеится». Мерзер думал: «Может быть, отношения порваны? Тогда он много потеряет в глазах дядюшки Кнака, и мне нечего остерегаться его». Блахфельдер думал: «Тоже шлюха! — И тут же изысканно: — Нет ничего противоречивее женской души». Но соображения свои они оставили при себе и продолжали беседу, оперируя цифрами.

— Теперь я понимаю его мать, — шепнула Алиса. Она, такая гордая, унижалась до сравнения с княгиней Лили!

Поэтому он возразил:

— Его мать женщина незаурядных душевных качеств, и не только отрицательных, как я полагал. Она без устали пользуется своим природным даром окружать себя фальшивым блеском, вечно меняться, молодеть по желанию, быть возбудительницей все новых иллюзий и первой их жертвой. У меня есть веские основания предполагать у сына те же способности. Клаудиус — сын кокотки!

— Взгляните на него! — сказала Алиса. — У него вид прозелита, еще совсем наивного, совсем юного прозелита. У отрока Иоанна Крестителя в новом музее императора Фридриха точно так же ниспадает локон, точно так же подняты ресницы. Но губы ваш сын сжимает, совсем как вы.

— Тетя Леа, — шептал мальчик, — я знаю, что это правда. Он мой настоящий отец. Никем другим он быть не может. Он пишет о том, чего никто не знает, даже и господин Терра.

— Господин Терра? Но ведь содержит тебя не кто иной, как он.

— Теперь нет. Я хочу, чтобы мама все ему вернула. Мой настоящий отец посылает нам деньги. Посылает секретно, потому что он, наверно, очень знатный и высокопоставленный человек. — Он не слушал ее возражений. — Я это знаю. Я и во сне это видел, да и вообще знаю. Мне это подсказывает моя кровь, — заявил он, широко раскрывая ясные серые материнские глаза и тут же с несокрушимым упрямством сжимая губы.

— Ты с ума сошел! — сказала Леа.

Но он, не слушая:

— После его писем я все вижу в Другом свете. Осенью он послал меня к морю. Раньше я даже летом никуда не хотел ехать без мамы. А теперь я закалился, прямо другой человек, — пощупай, какие мускулы!

— Может статься, — говорил Терра Алисе, — он будет тем, чем не пришлось сделаться мне: настоящим деятельным рыцарем святого духа. А может статься, он до конца дней не проявит себя ничем, кроме убогих сумасбродных порывов. Однако я склонен уверовать в силу его чувства при виде того, с каким жаром он ухватился за мой пошлый обман.

— Бога ради, прекратите это, — умоляла Алиса.

Но Терра с горечью:

— Он не вынес бы разочарования. Я хотел узнать его. Теперь я его знаю.

— О! Но я-то вас знаю еще лучше, — сказала Алиса. — Вам покоя не было, пока вы не выяснили, устоит ли он. Теперь дело сделано. Вы не зря писали ему от имени его высокопоставленного отца. Вас он теперь возненавидит. — И в ответ на испуг Терра: — Вы любите проделывать опыты над теми, кто в вашей власти. Но ваши опыты могут кончиться трагически.

— Трагически? — переспросил он.

— Вам не приходит в голову, что мы можем разлюбить вас? — И она строго, испытующе взглянула на него, во взгляде у нее было такое же недоверие, как недавно у сына. — Это предостережение, — прошептала она и, видя, что он испугался еще больше: — Вы однажды уже предали меня моим друзьям Мангольфам, я этого не забываю.

В другой комнате Леа протестовала, энергично жестикулируя:

— Неужто у тебя нет ни капли здравого смысла? Одумайся, глупый ты мальчик! Я в ужасе! Ведь ты даже не знаешь имени человека, который так зло подшутил над тобой.

— Ты умеешь хранить тайны, тетя Леа? — И, хотя она вместо ответа только пожала плечами, он открылся ей. — Я его знаю, это князь Вальдемар, — да, супруг моей матери. Я его законный сын. Он намекает мне между строк, почему он до сих пор не может взять меня к себе и дать мне воспитание, соответствующее моему рождению. Он в руках какой-то женщины, от которой хочет уберечь меня.

— Это на него не похоже, — сухо сказала Леа. — Я его всегда знала как законченного мерзавца.

— Ты знаешь его? — Глаза мальчика вспыхнули сладостным и суеверным трепетом перед этим откровением. Отец, о котором он только грезил, был живой человек, кто-то знал его: больше он ничего не слышал. Актрисе стало жаль юношеской мечты, она обняла Клаудиуса. Это увидел доктор Мерзер.

— Кажется, наша Леа переходит на мальчиков, — сказал он коммерции советнику фон Блахфельдеру, а тот только спросил:

— Откуда она ваша Леа?

Они закончили совещание; а Мангольфа все нет? Что ж, на очереди искусство и любовь.

— Как актриса она не увлекает, — заявил доктор Мерзер, потому что как женщина она не склонна была увлечься им.

— Вы не первый так говорите, — заметил Блахфельдер. — Однако смею вас уверить, это ошибка. Просто она женщина своего века, — а ведь только такие и могут нас интересовать. Чего вам надо? Разве наши любовницы лунатические девы? Мы знаем таких когтистых и зубастых женщин, которые пожирают мужчин, нисколько не портя себе пищеварения. Искренняя любовь у них граничит с чудом. — Блахфельдер явно на что-то намекал. — Кто пережил нечто подобное... — добавил он с чувством.

«Как же, похоже это на тебя!» — подумал Мерзер.

Вслух, но приглушенно, он сказал:

— А разве самая умная женщина Берлина не делает глупостей? — с кивком в сторону Алисы. Взгляд коммерции советника призвал его к порядку; тогда Мерзер, не теряя времени, перешел к Терра: — Этот Терра со своим непомерным самомнением и какой-то сверхморалью не слишком импонирующая фигура для промышленности.

Блахфельдер и здесь проявил широту взглядов, как он это называл.

— Памятуя о благородном несравненном мастерстве Леи Терра, я считаю своим долгом проявить широту взглядов и в отношении ее брата. Он случайно столкнулся с экономикой, но в душе остался мечтателем. Кто это знает по себе... — добавил он с чувством.

«Как же, похоже это на тебя!» — подумал Мерзер.

Алиса и Терра переходили с места на место. Они делали вид, будто рассматривают картины. Имя художника произносилось громко; тихо и с жестами, выдававшими совсем иные слова, они говорили:

— Недоверие! От тебя!

— Ваша мысль изворотлива, вы скрываете свои истинные цели. Неужели господин Мангольф вам дороже меня? Ты пугаешь меня! Кто же ты наконец?

Терра громко:

— Как подумаешь, что не так давно Дега можно было приобрести за пятьсот франков, прямо повеситься хочется. — И тихо: — Я тот, кто с первого дня любил тебя и кто когда-нибудь вместо последнего вдоха выдохнет твое имя! — Но тут новые страхи одолели его. Естественно, что в любви она хочет идти вперед! Ведь она женщина! Вечно довольствоваться воспоминаниями, нежностью и отсрочками?

— Что ты, бескорыстен или холоден? — спросила она его в этот миг.

«Значит, лирикой ее больше не убедишь?»

— Какая нам польза от того, что господа Мерзер и Блахфельдер смотрят на нас как на преступнейших счастливцев? — произнес он, пожалуй, чересчур громко. — Счастливыцы — так будем же ими, черт возьми! Что мешает мне, сударыня, сегодня ночью спать с вами?

— Очевидно, мы знаем, что нам мешает, — мягко сказала она. — У нас столько других дел!

— В сущности я не одобряю этого направления, — возразил он, повернувшись к картине. — Честолюбивая бравада не имеет ничего общего с жизнью. Простота чувств! Непокколебимая воля брать счастье и давать его! — А страх, сжавший сердце, исподтишка нашептывал ему: «Я люблю ее, а между тем, строго говоря, не хочу с ней спать. Что это значит?.. Неужели я люблю ее меньше, чем какую-нибудь княгиню Лили? — допрашивал он себя. — Только бы она ничего не поняла! Боже мой, только бы не поняла!» Но она сказала испытующе:

— Вероятно, нам просто следовало пожениться.

— Я не создан для того, чтобы женитьбой на единственной дочери рейхсканцлера князя Ланна возвысить и упрочить свое общественное положение, — напрямик заявил

Терра. — Я создан, чтобы любить мою Алису, — добавил он, нагнувшись над картиной.

Она наклонилась, ее голова коснулась его.

— Вы один любите так. Вы не верите, что я могу пожертвовать своим положением. Тогда мне еще серьезнее приходится задуматься, почему мы не принадлежим друг другу, наперекор всему, — сказала она и, отстранившись внешне, внутренне тоже отстранилась от него. Ему послышалась насмешка в ее тоне. А может быть, и ненависть? Хотя в сущности она сама всегда всеми силами противилась как разводу, так и нарушению супружеской верности.

— Эту загадку, — прошипел Терра, — мы унесем с собой в могилу, — и проводил свою даму вниз, к ее экипажу.

— Теперь он уже не опасен для промышленности, — говорил в столовой доктор Мерзер коммерции советнику. — Он еще мнит себя духовным светочем, озаряющим нашу темную обитель. Но я считаю его подлинным филистером, то есть человеком, который не преминет стать таковым, едва отрастит брюшко. Мы его купили со всеми потрохами. Он сам не заметит, как потеряет всю свою загадочность.

— А мальчик? — спросил Блахфельдер язвительно, поймав плотоядный взгляд Мерзера. — Какие загадки таятся в нем?

Леа Терра оттолкнула юношу и встала.

— С тобой не столкнешься, ты ненавидишь своего отца. Но помни: тогда я тоже отказываюсь от тебя.

— Тетя Леа! — умолял мальчик. — Ведь он мне не отец.

— Значит, у тебя нет и тети Леи, — заключила она и оставила его одного, так как раздался звонок.

Мальчик стоял озадаченный, такого вывода он не предвидел.

Все бросились в переднюю. Да, это Мангольф, и вместе с ним директор театра Неккер.

— Господин помощник статс-секретаря любезно подвез меня в своем автомобиле, — пояснил директор.

— Ну как? — задыхаясь, выкрикнули дельцы, выбежавшие из столовой.

— Министр отставлен, — сказал Мангольф.

Блахфельдер немедленно убежал.

— Войны не будет? — спросил смертельно разочарованный Мерзер. И тоже убежал. Но Блахфельдер опередил его: он раньше очутился у телефона.

— Дело в том, что мой автомобиль был неисправен, — заявил директор.

— А на мое жалование автомобиля не купишь, — сказала Леа.

— Поэтому я и здесь, фрейлейн Терра, — галантно отозвался директор.

— Войны не будет? — спросил возвратившийся Терра. — И между вами тоже?

Те, несмотря на телефонную перебранку, как ни в чем не бывало улыбались друг другу.

— Что это за вознаграждение? — говорила актриса. — Я для вас самый ценный член труппы, я одна делаю полные сборы.

И Неккер, теребя попеременно манжеты, носовой платок, жилет, со всем соглашался. Только просил ее безотлагательно ехать с ним в автомобиле помощника статс-секретаря.

— Через двенадцать минут мы должны начать!

Она побежала одеваться, и немедленно вслед за тем из спальни вылетели Блахфельдер и Мерзер.

Они набросились на Мангольфа с дополнительными вопросами.

— Ланна способствовал отставке министра и получил титул князя, — подтвердил Мангольф.

— Если бы разразилась война, он все равно стал бы князем, — уверял Мерзер.

— Весьма возможно, — согласился Мангольф. — Отставленный министр просто послужил предлогом... Его падение было предрешиено его же коллегами. Для этого не требовалось и Танжера.

— Последнее вы, господа, в собственных интересах ни в коем случае не должны разглашать, — решительно перебил Терра, и они испуганно дали слово, директор Неккер даже приложил руку к сердцу.

Директор Неккер принимал участие в общем разговоре, польщенный, но не очень заинтересованный; он все время охорашивался. Лично он признавал значение политики, однако был твердо убежден, что его театральные дела несравненно больше трогают не только его самого, но также публику и прессу. Терра держался одного мнения с директором.

— Для всех нас и для каждого в отдельности чрезвычайно важно, чтобы ваше детище, высокочтимый господин директор, не потерпело краха. Я содрогаюсь при мысли, какую бурю это вызвало бы в обществе. А вопрос — будет война или нет — всерьез не волнует никого.

Директор благодарил, тупо улыбаясь, как будто выслушивая привычные комплименты.

— Кто же читает газеты! — с пренебрежением сказал Мерзер. — Люди давно перестали обращать внимание на то, что там пишут. Там только и разговору что о войне. Им важно обделывать свои аферы, в наши они не суются.

Блахфельдер растерянно озирался.

— Значит, снова пронесло. Подумать, из чего мог возникнуть мировой пожар! Во рту какой-то приторный вкус. По меньшей мере как после интересного заезда на бегах! — заключил он и удалился вместе с Мерзером и директором, который побежал вперед, к автомобилю.

Леа крикнула ему из спальни, что сейчас идет. На пути ему попался молодой Клаудиус. Директор успел сказать через дверь:

— Ваш мальчик очарователен, фрейлейн Терра, вылитый ваш портрет. Он будет у меня лучшим молодым любовником.

Мангольф, не шевелясь, стоял перед Терра; вокруг все было пусто, двери распахнуты, стулья сдвинуты в беспорядке.

— Ты хотел мне что-то сказать?

Терра так же быстро, тихо, твердо:

— Дорогой Вольф, я понимаю тебя. Толлебен только что стал министром иностранных дел. Прими мое глубокое соболезнование, но тебе все-таки следовало бы настолько владеть собой, чтобы не разглашать государственных тайн. Нашему высокочтимому рейхсканцлеру и без того известно, что ты, безразлично по каким причинам, тесно связан с ненавистным ему зятем.

— Связан? Я? Таков был твой умысел, когда ты удержал меня от несравненно менее пагубного поединка с Толлебеном.

— Это было необходимо, — возразил Терра и опустил голову, ибо Мангольф сказал правду; таков был его умысел.

— Я связан? — стремительно и страстно заговорил Мангольф. — И это с сознанием, что мне никогда не занять первого места? Я все отмету. Я человек независимый. Я не ты, чтобы жиреть и продавать себя. И кому? Беспардонной государственной системе, которая по легкомыслию каждые полгода ставит нас под угрозу войны!

— Такие слова из твоих уст! — только и успел сказать Терра.

Мангольфа словно прорвало:

— Я никогда не отрицал войны, как явления предельной значимости, но я презираю ее, когда она становится игрушкой. Я знаю, убийство всегда будет крайней ступенью в борьбе за существование. Кровожадный людской сброд, порою утомившись, принимает цивилизованное, деликатное обличье, но кровавый угар неизбежно вновь охватывает его.

Хлопнула дверь. Шаги и шелест; светлое лицо Леи показалось на пороге:

— Bravo! Настоящий характерный актер! — И она исчезла. Мангольф зашатался.

— О ней мы позабыли, — сказал Терра. — Во всем прочем ты прав, до единого слова. Ты обрел себя, теперь ты на прямом пути. Прими поздравления от продажного негодяя... Будь человеком! — сказал он уже по-иному, так как Мангольф закрыл глаза.

— Значит, развестись? — прошептал Мангольф, не открывая глаз. — Сразу всему положить конец?

— Из-за молодого Шеллена? Ерунда! Твоя жена просто хочет доказать тебе, что с помощью газетной рекламы ты, пожалуй, еще можешь выплыть. — Терра в испуге охнул и сжал губы: какое страшное предположение он высказал.

Но Мангольф открыл глаза и спросил:

— А Леа? — Как он беспокоится о Лее! Больше, чем об урожденной Кнак, больше, чем о своей карьере! — Если она захочет, если она еще хочет меня, — сказал Мангольф нерешительно, — мы уедем куда глаза глядят.

Но Терра уже им не интересовался, он отошел к открытому окну.

Внизу стремительно подкатил второй автомобиль; еще на ходу дверца распахнулась, с подножки спрыгнула дама и вдруг очутилась лицом к лицу с Леей.

— Где мой сын? — крикнула она.

Княгиня Лили! Терра лишь сейчас понял, что происходит.

Леа, стоя на краю тротуара, огляделась по сторонам; юный Клаудиус исчез. Она посмотрела на директора Неккера, потом на остальных.

— Я не знаю, где он, — сказала она и пошла садиться в автомобиль.

Но княгиня Лили успела проскользнуть между нею и дверцей автомобиля. Терра невольно отметил эту гибкость, эту ловкость.

— Вы принимаете моего сына без меня, а потом отговариваетесь незнанием. Так не годится.

— Не годится задерживать меня.

И Леа попыталась отпихнуть ее. Но безуспешно. Напряженная пауза. Директор Неккер вынул часы.

— Осталось три с половиной минуты.

Блахфельдер и Мерзер не шевелились. Шофер застыл в иронической неподвижности.

Леа откинула голову, как перед драматическим уходом со сцены в третьем акте.

— Сударыня, отец мальчика счел, видимо, излишним вводить вас ко мне в дом.

— Ваш дом, сударыня, всем известен, — ответила княгиня Лили спокойно и фамильярно. При этом локти обеих дам соприкоснулись, грозила потасовка. По знаку директора автомобиль проехал два шага вперед. Леа прыгнула в машину. Неккер и Блахфельдер устремились следом. Только Мерзер замешкался.

— Одна и три четверти, — сказал Неккер, глядя на часы.

А Леа, отъезжая, крикнула громко, чтобы отвлечь внимание от недружелюбной выходки княгини Лили:

— Каким образом одна и три четверти? Мой выход только в третьей сцене, у меня полных двенадцать минут, а я уже загримирована. Как вы думаете, стала бы я иначе ломаться весь вечер? Ведь сегодня на спектакле будет антрепренер из Нью-Йорка.

Перед княгиней Лили почтительно расшаркался доктор Мерзер. Он сообщил свою фамилию, свой адрес и заговорил о сильнейшем впечатлении, о своей давнишней мечте; но она не смягчилась. Тогда он стал усердно звать юного Клаудиуса. Льстивый голос, видимо, убедил ее, она последовала за Мерзером.

Терра оторвался от окна. Происшествие внизу отшумело и рассеялось в мгновение ока, Терра слушал теперь Мангольфа. Друг все еще говорил, обращаясь к нему. Он снова услышал все сначала:

— Я никогда не отрицал войны, как явления предельной значимости...

На это он решил ответить.

— Не большей, чем ты сам, дорогой Вольф. Ты никогда не утрачиваешь своего идеала, потому что ты сам для себя идеал. Так должно быть, иначе нельзя считаться

человеком. В свое оправдание могу только сказать, что, на мой взгляд, вся цель системы Ланна — устранять из жизни все значимые явления, и я от души приветствую это, прежде всего в твоих интересах. Что было бы с тобой, если бы разразилась война? Тебе пришлось бы иметь дело с кровожадным сбродом, а как бы ты это вынес? — Он не оглядывался на Мангольфа, он говорил наполовину в окно. — Тебе следует искренно желать, чтобы сброд и в дальнейшем сохранял цивилизованное и деликатное обличье. Представляй ему отечество исключительно в качестве солидного предприятия для капиталовложений, но отнюдь не для рискованных спекуляций. Для них оно не приспособлено, мне это виднее, я ведь человек деловой. То, чем ты хочешь стать...

Он хотел сказать: для таких, как ты, возможно только в эпоху нерушимого мира, — и обернулся. Как? Мангольф исчез. На его месте детская фигура. Клаудиус, но взгляд совсем не детский.

— Я хочу быть солдатом, — сказал сын.

— Это самое уважаемое сословие, — подтвердил отец.

— Несмотря на твои вечные насмешки, — сказал сын. Первый открытый вызов.

— Поговорим серьезно! — И отец шагнул ему навстречу. — Если ты хочешь быть солдатом, из этого еще не следует, что ты желаешь войны. Нельзя желать того, чего не знаешь, а никто из нас войны не знает.

— Я люблю свое отечество. — Жесткий молодой взгляд. — Мы, молодые, любим его не так, как любят дельцы.

— А как герои. Это ваша привилегия.

Но юноша не шел на примирение.

— И, кроме того, нам ненавистно ваше благоразумие. Ненавистна ваша расчетливость, ваша ирония. Вы сами ненавистны нам!

Его собственные стиснутые губы раскрылись, чтобы сказать ему это! Пораженный Терра смотрел, как вздымается грудь мальчика. Грудь слабая и вздымается от самоутверждения. Совсем новое воинственное племя заявляет здесь о себе. Как он ужасающе переигрывает — с этих пор! Терра был всецело поглощен сыном, а тот — самим собой. На парадном звонили, они не двигались.

— Вот уже и лето. В будущем месяце ты, сын мой, снова поедешь к морю.

— На твои деньги — нет.

— А у тебя есть другие деньги, сын мой?

Враждебное молчание.

— Что, если они не придут?

— Я все-таки буду знать, кто властен надо мной, — попеременно краснея и бледнея, с трудом выговорил сын.

— Разве не бог? — спросил отец.

— Да, и он тоже, — сказал сын. — Совершенно верно, я в ладах с небом. — Терра казалось, будто он слышит самого себя из этих, столь знакомых ему уст. — Я не признаю бессмысленной иронии. То, что надо мной, пусть там и остается. Зато я сам

буду отстаивать свое место. Если понадобится, даже против тебя!

— Я же буду молиться за тебя богу, — сказал Терра так многозначительно, что сын испугался... Тут на парадном поднялся такой оглушительный трезвон, что Клаудиусу пришлось пойти отворить: он очутился в объятиях матери. Он хотел немедленно уйти с ней, но она воспротивилась, желая во что бы то ни стало попасть в квартиру.

— Это и есть святилище? — заметила она пренебрежительно. — Здесь великая артистка принимает своих почитателей?

— И почитательниц. Ты приглашена на завтрашний семейный обед. — На ухо Терра шепнул ей: — Тебе следует прийти. Твой сын влюблен в Лею и рассказывает ей всякие небылицы.

Она испугалась: значит, она в курсе дела! Она поощряет фантастические мечты Клаудиуса и содействует его превращению в авантюриста! Терра уже поднял на нее руку, но вовремя вспомнил, кто все это затеял и ввел в соблазн как мать, так и сына. Рука его бессильно повисла, он застыл на месте, он увидел, что его страсть к мистификации порождает преступления. «Как бы мы вместе с сыном по неисповедимой воле божьей не кончили жизнь преступниками!» — осознал он с дрожью покорности.

Придя в себя, он увидел, что сын стоит в угрожающей позе, выставив одну руку против отца, другую отведя назад для защиты матери. Потом он предложил ей эту юную руку, выпрямился, чтобы быть одного с ней роста, и удалился вместе с ней, прямой, как стрела.

Но тут кто-то громко вздохнул с непритворным восхищением. То был доктор Мерзер; он покинул темный угол, он отворил перед прекрасной парочкой дверь в переднюю и почтительно последовал за ней. Княгине не пришлось призывать его в свидетели случившегося, он сам всецело предоставил себя в ее распоряжение. Прежде всего он испросил разрешения повезти княгиню и молодого графа отужинать. Молодой граф! Юноша Клаудиус от этих слов стал как будто еще выше. А лицо его, в благодарность за такие щедроты жизни, стало еще прекраснее.

— Соглашайся, мама! — попросил он вкрадчиво.

Княгиня Лили колебалась.

— Как зовут вашего обворожительного сына? — спросил доктор Мерзер.

— Вальдемар, — поспешно ответил Клаудиус.

Но мать отклонила приглашение. Она считает, что еще рано вывозить мальчика. Это было ложью; она, наоборот, считала, что ей уже поздно показываться с ним, он велик для сына. Кроме того, ее шокировала явная взаимная симпатия между мальчиком и выродком. Да, выродком! Она посмотрела на Мерзера, это слово было у нее как на губах, так и в глазах, он не мог ошибиться.

Мерзер только смущенно замигал, сохранив, однако, и достоинство манер и галантность обращения. Он привык к препятствиям, но зато знал, сколь податлива невинность! Как упоительно было кокетство этого мальчугана, его доверчивость, еще не осознанная им самим нежность, славшая новому другу ласку из-под длинных ресниц, в то время как он просил мать не лишать его удовольствия. «Детская жажда жизни! — думал Мерзер. — Здесь мне раздолье, здесь я могу осчастливить».

— Мама! — шептал мальчик. — Ты от него не избавишься. Он все время спрашивает о тебе, он в тебя влюблен.

Мать была побеждена, она обняла сына. Быть может, он уже лгал, как его отец? Ах, он умел льстить, как никто. Мужчины казались менее гнусным племенем из-за этого будущего мужчины, который принадлежал ей одной!

Движение ревности в сторону выроodka, который незаметно кивнул своему шоферу. Как прекрасная влюбленная парочка, вошли они в его автомобиль; Мерзер следом, словно скромный гость или даже просто приживальщик. Он хотел сесть впереди. Княгиня не возражала; она думала о своих долгах и удвоила сдержанность.

Но мальчик шаловливо усадил выроodka рядом со своей обожаемой матерью.

Вся эта грязная игра не укрылась от Терра.

Терра тут же решил прибрать к рукам Мерзера. Только частная жизнь сильных мира делает их уязвимыми, а у доктора Мерзера была весьма не двусмысленная частная жизнь.

— Что за достойный человек ваш высокочтимый дядюшка, — говорил Терра своей жертве однажды вечером в спальном вагоне первого класса по дороге в Кнакштадт. — Он делает вид, будто находится в связи с танцовщицей Кристалли, но на самом деле, как выяснилось, он из чистого рыцарства покрывает весьма высокопоставленную особу.

— Больше он ни на что не способен, — хихикая, произнес Мерзер.

— Вот вы, господин доктор Мерзер, другое дело! Вы не только галантно жертвовали собой, чтобы уберечь красавицу Швертмейер от более тяжких заблуждений, — целые аристократические клубы живут исключительно вами! — Видя, что у Мерзера вытянулась физиономия и он хватается за уходящую из-под рук стену, Терра решил ободрить его: — Надеюсь, вы не считаете меня противником самых мужественных радостей? Только классы и народы, предназначенные властвовать, знают любовь мальчиков. — Последние слова он произнес слишком громко. Мерзер беспокойно оглядел коридор. Но час был поздний, другие промышленники уже разошлись по своим купе, Мерзер тоже собрался ретироваться, но Терра прислонился к его двери; Мерзеру пришлось опереться на дверь Терра.

— Вам это, верно, не дешево обходится, — заметил Терра.

— Говорите тише! — прошипел Мерзер. — Что вы знаете и чего хотите?

— Вот золотые слова! — Терра перевел дух, а у Мерзера дух захватило. Оба выжидали, прижавшись к дверям своих стремительно мчащихся спален. Нос у Мерзера так заострился от страха, что пенсне свалилось с него; тогда Терра заговорил.

Сперва он припомнил свой кабинет в Кнакштадте, украшенный портретами хозяев. Дедушка, основатель фирмы, был изображен в праздничном сюртуке, без синего фартука, в котором он еще иной раз работал. Лицо у него было суровое и благочестивое, руки, вероятно, в почерневших трещинах. Этими почерневшими руками он считал деньги в конторе до тех пор, пока его сын не стал настоящим крупным буржуа. Портрет сына с окладистой бородой, какие носили в семидесятых годах, говорил о просвещенности и благополучии, солидном благополучии и буржуазном свободомыслии, основанном на уверенности, что так мир задуман, таким

он и пребудет.

— Это было недальновидно, — сказал Терра. — Но порядочные люди всегда недальновидны. Как мог второй Кнак предвидеть ставшее для нас уже привычным явление в лице Кнака-внука, когда сам он простодушно поставлял пушки своему королю?

— И другим лицам тоже, — заметил Мерзер.

— Неужели и враждебным державам? Но, наверное, не лучшие, — не лучшие враждебным державам? — настаивал Терра. — А разве второй Кнак тоже совал нос в государственные дела? Видите, как далеко мы шагнули вперед.

— У нас все возрастает потребность в сбыте, и удовлетворить ее становится все труднее.

— Это именно и я хотел сказать. Покупайте! Иначе мы втравим вас в войну. Народам же виден лишь облик миролюбивого гражданина. Какой глубокий смысл в том, что наш почтенный шеф страдает диабетом! Вы сами, господин доктор Мерзер, были в детстве рахитиком, следы остались до сих пор. Вы некрасивы до уродства и всю жизнь возитесь с тяжелой, неблагодарной задачей, как бы скрыть свои природные изъяны. Что это? Вы позволяете себе обнаруживать перед посторонним ваши безобразные подергивания мускулов лица! Я давно разгадал вас, покажите же, наконец, всему миру свой отвратительно кровожадный лик! — И скрежеща зубами: — Мой сын...

— Все это из-за сына! — взвизгнул Мерзер. — Вы городите вздор из-за сына.

Терра, снова овладев собой:

— Мой сын ничего против вас не имеет. Уродство Сократа тоже привлекало юношей. Я, со своей стороны, отношусь терпимо к причудам молодого поколения.

В ответ последовал презрительный смешок Мерзера. Затем Мерзер стал распространяться о своих нравственных устоях и под конец спросил, нуждается ли Терра в деньгах.

— Мои потребности много скромнее ваших, — сказал Терра. — Ведь вы превышаете свои возможности. Вы обкрадываете резервный фонд. — Тут мерзеровский тик стал поистине ужасным. Терра молча наблюдал его без всякого отвращения, даже с жалостью. — Вам прекрасно бы жилось, не будь вы племянником фирмы, а служи в ней за семьдесят пять марок в месяц. Только бессмысленное богатство сделало вас расточителем и в результате даже вором. — Терра говорил тоном наставника.

— Это вы тоже знаете? Разве вы состоите при моем дяде? — спросил Мерзер, даже не пытаясь возражать.

— Не слишком доверяйтесь ему!

Тут племянник совсем потерял голову.

— О нем тоже есть что порассказать, вы бы немало подивились.

— Я ничему не дивлюсь. Зато вы, господин доктор, не откажете взять на себя обязанность неукоснительно сообщать мне о всех секретных мошеннических сделках нашего почтенного шефа. Его частная жизнь поневоле безупречна. Мы оба знаем, что

его можно поймать только на государственной измене в области крупной промышленности.

— Ну, ну, что за выражения! — заметил Мерзер, на самом деле даже довольный ими; он видел, что опасность для него лично миновала. — Чего вы, собственно, хотите? — спросил он с любопытством. — Живется вам как нельзя лучше. У нас в предприятии встречаются, конечно, сварливые субъекты, так называемые идеалисты, в силу своих ограниченных способностей пригодные лишь на средние должности и недовольные этим. Вы ведь стоите выше их.

— Я хочу подняться еще выше, — сказал Терра четко. — Я хочу власти.

— Это возможно, только если мы будем заодно. — И Мерзер хладнокровно предложил: — Поддержите меня!

Об этом они проговорили до рассвета.

Тем не менее Терра и в дальнейшем был настороже, опасаясь, как бы Мерзер не повредил ему в глазах Кнака. Вот уж поистине опасный противник, этот Кнак! Терра знал его. Они следили друг за другом, готовясь к нападению, но, вероятно, лишь собственная хитрость подсказывала промышленнику, что враг не смирился. Мерзер был тут ни при чем; против него Терра себя обезопасил, Мерзер мог красть больше прежнего. Так шли месяцы, когда Терра ездил в Кнакштадт, и еще другие, когда Кнак совещался с ним в своей берлинской конторе. В течение зимы Кнак неоднократно показывал ему запросы Пютуа-Лалуша. Предложения исходили от третьих лиц, но, несмотря на окольные пути, смысл их был ясен. Не видит ли Терра здесь западни? «В каком смысле?» В патриотическом. Алхесирасская конференция ⁴⁶ открывает обширные деловые возможности, правда, небезопасные.

— Я юрист, патриотизм тут ни при чем, лишь бы меня не упрятали в тюрьму. — Последний довод показался Кнаку рискованным. А Терра долгое время терзался сомнением, не написан ли этот относительно безобидный документ по заказу — специально для него?

Он подумывал расспросить Мерзера, но письменные сообщения сына, адресованные князю Вальдемару, показывали, что Мерзеру доверять опасно. «Давно пора, чтобы князь Вальдемар самолично предостерег своего сына Клаудиуса. Но откуда мне раздобыть подходящего князя Вальдемара?»

Он приходил в отчаяние, не видя способов вернуть себе расположение мальчика. Только матери он мог открыть, что ее обманывают, посягая на ее сына. Но княгиня Лили уже и сама до этого додумалась, лишь создавшееся положение не позволяло ей вмешаться. Клаудиус исчезал, едва появлялся Терра. «Он отрекся от меня, — чувствовал Терра, как только захлопывалась дверь. — И совершенно справедливо. Я толкаю его на дурное, а потом теряю над ним власть. Ни один отец не вел себя так терпимо и в то же время так подло. Я гублю человеческую душу! Это будет самым тяжким из моих прегрешений».

⁴⁶ Алхесирасская конференция 1906 года (15 янв. — 7 апр.) — конференция, созванная в Алхесирасе (Испания) по требованию Германии для урегулирования ею же спровоцированного франко-германского конфликта по вопросу о Марокко. Алхесирасская конференция открыла Франции путь к окончательному захвату Марокко и знаменовала крупное дипломатическое поражение Германии.

— Ты давно уже не строил гримас, — заметила княгиня в зеркало, перед которым подправляла свою неувядаемую красоту.

Он застонал.

— Еще бы! Мне не часто приходилось одновременно сражаться со всеми кошмарными страшилищами, какие только порождает жизнь.

— Если это не пустая болтовня, очевидно, ты хватил через край в своих обычных сумасбродствах.

— Знала бы ты, какое благодеяние для жалкой твари вроде меня выслушивать заслуженные упреки от испытанного друга вроде тебя!

Она с сердобольным видом подошла к нему, кстати лицо ее было уже готово.

— Старый друг, тебе давно пора образумиться. В известные годы нельзя уже быть вне жизни, иначе это плохо кончится.

— На что ты намекаешь?

— Вот вопрос! Разумеется, я говорю о твоём романе. Всякий видит, чего он тебе стоит. Дитя, меня ты не проведешь, ты никогда не обладал этой женщиной.

— Однако все в этом уверены, — пролепетал он испуганно.

— Пусть их верят, — вам, мужчинам, так приятнее. А я стою на своем. Где же происходят ваши томительные встречи?

— За городом, — сознался Терра послушно, как дитя. — При нынешней погоде это несносно. Она безумно ненавидит мужа. Вот главная причина, почему мы терзаем друг друга и не находим удовлетворения.

Княгиня пожала прекрасными плечами.

— Ничего ты не понимаешь. Тебя она сводит с ума, а мужа тоже не упускает. Чем она для тебя рискует? Ну, а ты? В тебе самом нет настоящей страсти, иначе она давно была бы твоей.

— Вот истинный здравый смысл! — сказал он облегченно, меж тем как она уже снова вертелась перед зеркалом, оглядывая свой вечерний туалет.

— Я охотнее проводил бы ночь за ночью у тебя, — сознался он.

— Этого многие бы хотели, — сказала она, продолжая вертеться.

— Тут-то и кроется мое непостижимое раздвоение, — сказал он, вовсе не думая о ней.

Она же расхохоталась от души, невозмутимо и заразительно.

— Все равно тебе уже поздно меняться, — сказала она.

— Только ты не меняйся! — серьезно посоветовал Терра. — Ты безупречна, и как мать тоже. Береги наше возлюбленное дитя! — прибавил он умоляюще.

— Ты ходишь сюда лишь ради него, — заметила она в досаде. — Но что ты даешь ему, кроме твоих рискованных — ну, скажем, дурачеств? — закончила она первым попавшимся словом. — А я, старый друг, — добавила она, похлопывая себя по белоснежной шее, — я приспособляю его к себе.

Во время этой декларации на пороге появился мальчик. Терра вскочил от неожиданности: молодой человек во фраке. В черном он казался выше, хрупкость, изящество и нежность красок делали его похожим на переодетую девушку. Он помог матери накинуть мантию. Она взяла его под руку. Что за пара! Знатный юноша избрал себе в подруги многоопытную, но еще молодую женщину. То была пара, созданная для легких наслаждений, невозмутимая, неутомимая. Пара, за которой тянулись все взгляды, как за воплотившейся мечтой. Для каждого, в ком иссякал жизненный пыл, эта пара была прямо находкой. Ей цены не было.

— Желаю успеха, — пробормотал Терра.

— Можно сказать, что он мой сын? — спросила мать.

— Всем, что тебе свято, клянусь: нельзя! — сказал Терра. — И все это для господина доктора Мерзера? — спросил он.

У обоих губы сложились в пренебрежительную гримасу.

— Есть и другие кавалеры, — сказал пятнадцатилетний юноша и удалился со своей дамой.

— Это начало конца! — вскричал Терра спустя долгое время. Он был один и говорил вслух. — Ты этого хотел, прохвост! Коварный прохвост, ты щедро снабжаешь деньгами мать, чтобы она загубила и убрала с твоего пути твое собственное дитя. Ты боишься этого юноши. Он не чета тебе, он может стать наглядным доказательством твоей неудавшейся жизни. Подлый убийца, ты толкаешь его, снабдив деньгами, в первую попавшуюся пропасть!

Самообвинения сыпались градом. Но когда все было сказано: «В какой же момент следовало отнять его у матери?» И он решил про себя: «Такого момента не было. Мой Клаудиус — сын кокотки. В белокурой головке моего малыша, к которой я некогда прижимался лицом, всегда было темно. А почему бы только в головке? Должно быть, и в сердце у него тоже темно? Нет, я не в силах был изменить ни головы, ни сердца. Из мальчика, который послушно терпел меня и выжидал, вырос юноша и стал моим врагом. Но при этом я не шутя подозреваю, что, несмотря на все, мы любим друг друга... Судьба, свершай свой путь!» — закончил он и ушел.

«Моя старая приятельница советует мне быть, как все! Пусть лучше оглянется на себя! Едем!» Он сел в свой автомобиль и поехал в Либвальде.

Что за путешествия зимними ночами ради часового свидания! Опасность была несравненно больше, чем если бы Алиса просто принимала его у себя в красной гостиной. Страх перед супругом? Не в этом дело. Но пусть супруг потеряет след, пусть, еще лучше, потеряет разум. Его шпионы, наверное, донесут ему, где происходят встречи, но они не раскроют ему смысла прогулок по грязи в самых неожиданных местах. Терра думал: «Собственно, все наши стремления сводятся к тому, чтобы он не мог сомневаться в нашей физической невинности? Мы совершаем самый ловкий обман, ибо он соответствует истине. Как тут распутаться какому-то Толлебену! Он, не задумываясь, предпочел бы, чтобы мы обманывали его попросту. Никакой улики. Он не может рассчитывать даже на такое реальное оскорбление, как в случае с Мангольфом. Дьявольски скомбинированный план, чтобы человек с подобной самоуверенностью лишился рассудка».

В этот миг посреди пустого шоссе, где завывает ветер, он ненавидел Алису. «Как

можно до такой степени подчиниться женщине! Мужчина должен сохранить за собой хотя бы возможность борьбы. В сущности я больше уважаю Толлебена, чем эту женщину... Что, если повернуть назад?»

Но едва он вошел в парк Либвальде, как раскаяние овладело им. Деревья кряхтели и скрипели под ветром, влажная листва змеилась в темноте, студено журчала вода. «Все это хранит мою Алису, среди глухой пустынной непогоды я ищу мою Алису!»

Он выбрался на аллею, на большую аллею между террасой и рекой. Быть может, она стоит под деревьями в глубокой тьме, и те же докучные мысли сковывают ее и она не хочет знать, что он идет к ней?

На берегу реки тропинки пересекают сухой кустарник — все такое же безотрадное место! Колючки задевают его, так узок проход, в вязкой глине тонут ноги: здесь когда-то небо точно разверзлось перед ним. А вот и узкое пространство между кустами — и, скорчившись, растопырив узловатые руки, звероподобный силуэт дерева! Эмблема убийства. Терра узнавал все вновь. За кустами клокочет и бурлит вода, подобно проливающейся крови! Здесь он хотел убить ее и умереть вместе с ней. Но здесь все только началось... «Здесь я найду мою Алису!»

Она металась взад и вперед в темноте, как в тенетах. Ему пришлось дотронуться до нее; она ничего не видела и не слышала в тенетах своих мыслей.

— Сколько мы перестрадали с тех пор и доныне! — воскликнула она. — Как отплатить за это людям?

Он бережно обнял ее.

— Ты только что из Ниццы? Мою Алису окружала там сияющая синева, и оттуда она поспешила вернуться прямо сюда, в эти печальные места. Ради меня, Алиса, ради меня?

Она покоилась в его объятиях, сомкнув глаза.

— Я бежала в Ниццу. Мне все время хочется убежать, но для меня нет прибежища. Одну ночь я пролежала там без сна, проклиная все. Потом вернулась. Возьми меня!

Он опустился перед ней на колени в грязь. Но она отвернулась, плотно сомкнув глаза; он встал, а она так и не пошевелилась.

Идя по аллее, они заметили далеко впереди слабое поблескивание — калитка парка.

— Сюда мы бежали когда-то, потом разом остановились и едва перевели дух. Открыта она сегодня?

— Она всегда была открыта, но ты не увез меня.

— Так запрем же ее наконец! — сказал он. — И останемся на ночь в Либвальде.

— Поздно! — сказала она, не останавливаясь, но он преградил ей путь.

— Так больше нельзя. Все это превосходно — твоя непорочная месть, разговоры о самоуважении и о нашей исключительности, — но в один прекрасный день становишься просто человеком. В доме темно, ключ у тебя. Твой приятель-сторож ничего не услышит, а если жена разбудит его, он скажет, что мы привидения.

— Эту зиму дом был необитаем. Не надо в холодный дом! Если хочешь, лучше к тебе. — Этим она заставила его отпустить ее. Когда они уже сели в автомобиль,

подбежал сторож: почему графиня не возвращается в дом? Его жена протопила там. Алиса не ответила ему; она подняла воротник шубки, так, чтобы и шофер не видел ее лица. Скорее прочь! Дорогой она пожаловалась, что сторож тоже подкуплен ее мужем. А Терра доверяет своему шоферу? «Она фантазирует!» — мечтательно думал Терра; у него было такое чувство, словно он увозит свою Алису. Время отодвинулось назад, на целую жизнь, до того далекого часа — и вот они отважились, они бежали. Но Алиса что-то выдумывала. О чем это она?..

Она тихо жаловалась:

— Когда я нынче вечером в Либвальде вышла из дому, какая-то тень двинулась за мной, я побежала. Я пробежала весь парк, до того места, где ты меня нашел, вернуться я не решалась. Это, наверное, был шпион, — у него повсюду шпионы.

— Это деревья! Ты видела, как деревья качаются под ветром, и решила, что кто-то идет... Бедняжка! — Он прижимал ее к своей груди, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Она вырывалась, но вся дрожала.

— Он становится с каждым днем невыносимее, — бормотала она. — И ты бы потерял голову, если бы знал все. Я не могу даже сказать.

— Мы изводим его, надо же это признать. Чего бы он не дал, чтобы ты была обыкновенной женщиной, у которой есть любовник! Он, больше чем мы в Либвальде, блуждает во мраке. И ему еще страшнее. Ты не замечаешь в нем перемены?

— Он молится.

— Это знаменательно.

— Я слышу, как он молится вслух у себя в комнате. В прошлое воскресенье он потащил меня на проповедь в собор.

— Несчастный! — Жалость, которая охватила его при виде смятения Алисы, теперь перешла на ее мужа.

Но она возмутилась:

— Бесстыжее животное! Он осмеливается требовать, чтобы я взяла к себе его незаконнорожденную дочь.

— Что? — с трудом выговорил Терра. — Значит, вы объяснились?

— Он мне во всем признался. По долгу совести, — говорит он. Но это мерзость, пытка! Я должна изо дня в день видеть его незаконнорожденную дочь. Он хочет замучить меня сожалением, почему у меня нет ребенка от тебя! Нет того дурака, который не умел бы мучить!

— Я приму это к сведению. — Терра весь ушел в себя от ее признаний. Вдруг он надумал: — Тебе ничего не стоит разочаровать его. Скажи ему, чья это дочь, которую он считает своей.

— Нет, ни за что! — она горько засмеялась. Да, конечно, у нее осталась одна отрада знать это про себя.

— Но я хочу, чтобы он умер, — неожиданно сказала она. Это прозвучало как самая обычная фраза. Терра пропустил ее слова мимо ушей.

— Он статс-секретарь и по всем данным ближайший кандидат на пост канцлера,

если бы с твоим почтенным отцом что-нибудь случилось. Я сам, по совести, не посоветовал бы тебе сейчас требовать развода.

— Ты не слушаешь меня. Я убью его! Я решила убить его.

Автомобиль остановился перед домом, где жил Терра; но Терра не шевелился. Шофер подошел к дверце. Терра через стекло сделал ему знак ехать дальше. Они молчали, оба чувствовали, что там им не место. Перед ними лежал долгий путь, без света, без передышки. Никогда не будут они покоиться в объятиях друг друга, как любовники. Они обречены блуждать во мраке, терпеть вражду и ужас. Последнее их решение — любить — пошло прахом. Вместо ночи любви для них — ночь смерти для того!

В каком-то пустынном месте они вышли. Терра немного проводил Алису.

— Это не так просто, — прошептал он ей на ухо. — Допустим, тебя не коснутся самые тяжелые последствия преступления. Хорошо. Но сколько мучительного все равно осталось бы! Нет, если уж так должно быть, мой прямой долг взять это на себя, — закончил он вежливо, но твердо, и исчез.

Он знал, что она еще стоит на месте, однако не оглянулся. Лишь теперь преступление представилось ей со всей ясностью, когда не сама она должна была совершить его.

Теперь она испугалась.

Но наутро он спохватился: а вдруг она уже это сделала, вдруг поспешила из страха перед его вмешательством, действуя наперекор всем доводам разума? Убила, быть может, только чтобы избавиться от мыслей об убийстве?

Было слишком рано, чтобы навести справки. Час прошел во все возрастающем страхе, наконец он позвонил. Он придумывал всевозможные способы будто ненароком разузнать о здоровье Толлебена. Наконец решился и просто позвонил к самому Толлебену. Никто не ответил; но тут в дверь постучали, и вошел Толлебен.

— Сию минуту, — сказал Терра деловым тоном и, соединившись с квартирой Толлебена, не называя имен, обстоятельно расспросил о местопребывании того, кто сидел перед ним. В конце концов ему все-таки пришлось обратиться к гостю.

— У вас плохой вид, господин фон Толлебен, — сказал он, чтобы сразу поставить того в невыгодное положение. — Правда, мы обычно встречаемся по таким поводам, которые не позволяют хотя бы одному из нас проявлять жизнерадостность. Чем могу служить вам на сей раз?

— Другой манерой выражаться... Это просьба, — добавил он, видя, что Терра готов вспылить.

Толлебен никак не мог сжаться, его гигантский торс по привычке раскачивался в кресле от одного локотника к другому. Но лицо чуть что не просило прощения за такие пропорции тела. Кроме того, он казался утомленным. Если Толлебен и не был убит, то спать ему сегодня не довелось.

— С моей стороны это искренняя забота, — заявил Терра, понижая голос. — Ведь мы некоторым образом связаны друг с другом. Такова была воля судьбы, не наша...

Толлебен махнул рукой, показывая, что этот вопрос обсуждать поздно.

— Поэтому ваше самочувствие для меня не безразлично, — заключил Терра. — Разрешите дать вам совет: уезжайте на несколько недель из Берлина! — При этом он очень убедительно смотрел на собеседника. Не побледнел ли Толлебен? Впрочем, лицо у него вообще приблизилось по цвету к канцелярским бумагам. Кого напоминала его обвисшая книзу, а сверху отощавшая физиономия? Того надворного советника, к которому благоволил Ланна. Мечта Ланна начала осуществляться — Бисмарк уступал место заработавшемуся чиновнику. Только глаза, естественно, казались еще более выпученными на дряблом лице.

Но тут он даже покраснел.

— Вам нет надобности отсылать меня, — произнес он пискливым голосом. — Моя жена все равно делает что ей вздумается.

— Если вы подозреваете, — начал Терра, — что я хоть в малейшей степени затронул вашу честь...

— Я все равно не стал бы вызывать вас на дуэль. Я как-то вызвал вашего друга Мангольфа, с тех пор я знаю, как ваша братия относится к делу чести. В следующий раз мне пришлось бы расписаться в том, что я конокрад. — Голосок был пронзительнее, чем всегда, и во взгляде появилась жажда крови.

— Между нами ничто не изменилось, Толлебен, — прошипел Терра, нагнувшись вперед. — Вы были моим заклятым врагом, зверем из бездны с кровожадными глазами. Им вы и остались.

Чудовищная искренность, но Толлебен отверг ее.

— К этому я не склонен, — сказал он, выпрямляясь. — Я не склонен к излишним.

После чего Терра отвернулся, и наступила пауза.

— У вас с моей женой какие-то очень уж современные отношения. — Толлебен начал бережно, чтобы не задеть чего-нибудь. — Но я тоже не отстал от века и могу верно судить о них, — закончил он решительно. Он произнес затверженный урок и перевел дух.

Терра думал, отвернувшись: «Раздавленный человек, а я издеваюсь над ним».

— Господин статс-секретарь! Не возьмете ли вы, ваше превосходительство, на себя труд припомнить, что я иногда совершенно не по заслугам пользуюсь влиянием у вашего тестя, нашего высокочтимого рейхсканцлера, и могу либо помочь, либо повредить вам. Но я веду честную игру и не делаю ни того, ни другого!

Терра внезапно поднял глаза и увидел, что Толлебен смотрит на него робко и тревожно.

— Мне осталась только роль просителя, — торопливо сказал озадаченный гость. — Отговорите мою жену выступать в цирке!

— Что? — спросил Терра.

— Выступать в цирке, — повторил Толлебен. Он растерялся. — Вот как! Я думал, вы знаете. Очевидно, она и вам не все говорит.

Терра поднялся.

— Этому мы должны воспрепятствовать, — решил он.

— То же считаю и я. Но что мы можем поделать, если она и вам говорит не все?

— Какая нелепость хотя бы ее поездка в Ниццу! — подхватил Терра.

— В нашем кругу не принято показывать высшую школу верховой езды даже под вуалью, — заметил Толлебен.

— Ее имя стоит на афише?

— Этого еще недоставало! — Мысль эта заставила вскочить и супруга. Супруг и возлюбленный стали кружить по комнате.

— Тяжкое испытание, — сказал супруг.

— Немыслимое, — подхватил возлюбленный.

— Я даю слово воспрепятствовать этому. — Терра остановился. — Но одновременно должен высказать вам свое порицание. Многое зависит от мужа.

— Стало быть, от нас обоих! — взвизгнул Толлебен.

Терра насторожился. Вот она, природа! Зверь сорвался с цепи; еще минута — и он вонзится когтями ему в плечи. Толлебен раскачивался на каблуках. Он боролся со своей вспышкой, так что побагровел и был близок к удару. Терра казалось, будто он пригибается, хотя на самом деле он стоял прямо.

— Наконец-то мы верно поняли друг друга, — сказал Терра.

— Нет! — воскликнул Толлебен. — Вы считаете, что я должен все стерпеть. Но я терплю не потому, что так угодно вам, сударь. Я терплю во славу высшей власти.

Терра решил было, что он пожаловался императору. Но Толлебен закончил:

— Лишь во славу божию я жертвую своей честью.

При этом щеки у него опали до самой шеи, а глаза поблекли.

Терра, в нос:

— Как вам нравится новый собор, ваше превосходительство? Я не пропускаю ни одной проповеди. — И так как противник молчал: — Тема последней была: если кто ударит тебя в левую щеку, подставь ему правую!

В ответ на это Толлебен ринулся вперед, Терра навстречу; но тут вовремя отворилась дверь. Появилась Алиса.

Она была мертвенно бледна. С одного взгляда ей все стало ясно. Она прислонилась всем телом к косяку двери и тяжело дышала, закрыв глаза.

— Слава богу, вовремя, — шепнула она.

Толлебен отступил на шаг. Что это значит? У Терра такой вид, словно его застигли при попытке к предумышленному убийству; и поведение жены тоже странное. «Значит, они злоумышляли против меня? — думал Толлебен. — Быть может, я обязан жизнью только своему самообладанию, его же корни в благочестии. Я принес в жертву свою мирскую честь, и в награду господь спас меня». Он стоял потрясенный, воздев глаза к небу, руки сами собой сложились, как для молитвы.

— Графиня, вы не будете выступать в цирке, — тем временем шепнул Терра Алисе.

— Что? — Она уже не опиралась о косяк. — Вот откуда все ваше бешенство! — Она попеременно оглядывала обоих: Толлебена, который покраснел, осознав неуместность своей позы, и Терра, который корчил гримасы и ловил воздух раскрытым ртом. Она расхохоталась.

Оба услышали ее былой смех, бездумный, беспечный. Она кружилась на месте и хохотала. Остановилась и продолжала смеяться глазами. Затуманенные, невидящие скорбные глаза, где вы? Снова блески ума сквозь суженные веки и сияние, когда веки поднимаются. Ни намек на страх жизни все это долгое мгновение. Когда переживание слишком уж нелепо, на душе становится легче. Не надо думать; думать не о чем. Вот это игра!

Но Терра долго сидел, придавленный бесславным бременем. Супружеская чета удалилась, он ощущал еще ладонь Толлебена, пожатие особенно осмотрительное, из страха, чтобы оно, боже упаси, не приняло другого характера.

Он еще видел глаза Алисы. Быть может, они уже перестали лучиться — и глядели еще безутешнее. «Мне они понапрасну напомнили былые времена». Тут в комнату кто-то вошел.

— Если не ошибаюсь, господин Куршмид? — Еще одно воспоминание; правда, для Терра все было незнакомо в обветренном, поглубевшем лице, кроме глаз и выделявшейся более светлой окраской синевы под глазами, хотя взгляд их сделался много смелее. — Что же с вами случилось?

— Этого в двух словах не расскажешь, — заявил Куршмид. — Зато я знаю, что случилось с вами.

Тут Терра испугался.

— Не притворяйтесь передо мной! — попросил Куршмид. — Ваша цель не более и не менее как взорвать на воздух этих бандитов. — Жестом он отклонил всякие возражения. — Для того вы и втерлись к ним и поднялись до самой верхушки. Другого я от вас не ожидал. Вы с давних пор были моим героем.

— Говорите по крайней мере тише! — Терра налил ему ликеру.

— Чего-нибудь попроще! — потребовал Куршмид. — Ваш враг — некий Мерзер.

— Вы по-прежнему актер? — спросил Терра, чтобы собраться с мыслями.

— Он предостерегает против вас Париж, — договорил Куршмид.

— А! Вот почему вы ко мне заявились!

Куршмид, не смущаясь:

— Мерзер продает ваши планы в Париж.

— Однако мне хотелось бы знать... — начал Терра.

— А тамошние планы продаются вам, — прервал его Куршмид. — Вы и французы изощряетесь друг перед другом в новых изобретениях. Если одному удастся перещеголять другого, тот бьет тревогу и подкупает первого. Это, вероятно, приводит к увеличению армии и уж во всяком случае к обновлению артиллерии, так вот и делаются дела. Верно я усвоил их?

«Я сущий ребенок, — думал Терра. — Вообразил себе, что Мерзер удовольствуется

резервным фондом... Как бы не так, он хочет меня поймать и подсылает ко мне этого субъекта».

— Ваше здоровье, господин Куршмид! — И Терра совершил возлияние, совсем как в прежние времена. — Когда мы виделись в последний раз, вам не везло. Вы тщетно пытались заколоть во время свадьбы некоего жениха в знак рыцарского преклонения перед моей сестрой. Интересно знать, сохранилось ли по сей день это преклонение и удалась бы вам теперь такого рода попытка? — Тут Куршмид опустил свои дерзкие глаза.

— Фрейлейн Леа Терра достигла всего того, что я предвидел, и даже большего. Не откажите передать ей, что она по-прежнему может располагать моей жизнью, только теперь это будет ей полезнее. Я служил в иностранном легионе.

— Ваше здоровье! У вас, наверное, жажда. Немало вы намаялись.

— Напрасно вы думаете. Я ничего хорошего и не ждал, ибо с первого дня сказал себе, что искупаю покушение на человеческую жизнь. Так легче исполнить свой долг и заслужить доверие.

— Вы возмужали и раздались в груди. Ваши вихры были белесыми, а теперь они своим блеском оттеняют загорелый лоб. Вы стали внушительней на вид и, вероятно, крепче духом. Надо намотать себе на ус, что таковы следствия покушения на убийство.

— Словом... — продолжал Куршмид невозмутимо. — Под конец я был назначен взводным. Это большое отличие. У меня в подчинении оказался человек, которому я сумел внушить доверие. Он выдавал себя за иностранца, но подозрительно быстро выучился по-французски. Я заметил, что он с образованием, и угадал, откуда он родом. За все эти годы мы вместе изучили африканские земли и нравы. Нам удалось проникнуть в разные тайны, ведь он был человек образованный. Из-за этого, однако, мы не раз подвергались опасностям. Хотя я был немец, а он француз, мы все делили дружно, опасности и мечты... Пока он не исчез.

— Дезертировал?

— Его неминуемо должны были преследовать и могли даже расстрелять. Но командиру это не удалось. — Куршмид играл, как на сцене, синева под глазами проступила явственнее. — Он, по-видимому, знал, кто мой товарищ, и обратился ко мне. Я, как друг, должен, мол, осторожно вернуть его, иными словами — спасти, пока он не попался... Командир дает мне с собой людей. Людям в первую голову было приказано следить за мной, своим начальником, это я сразу понял.

— С военной точки зрения это полнейшая несуразность, господин Куршмид. — Замечание, пропущенное мимо ушей и даже, вероятно, не расслышанное.

Куршмид драматически повествовал:

— Подходим мы к цепи песчаных холмов. Люди мои уже взбираются вверх, я же замешкался внизу и оглядывал в бинокль песчаную равнину. Вдруг я чувствую, как меня тащат за ногу, и проваливаюсь в яму.

— Ваше здоровье!

— Я очутился у своего пропавшего товарища в каком-то кладохранилище.

— Так я и думал, — заметил Терра, ставя рюмку на стол. — Ваш замечательный друг нашел сокровища Гамилькара⁴⁷, но заплатил за это своей многообещающей молодой жизнью. Труды и лишения подкосили его, и он испустил дух в тот самый миг, когда жизнь улыбнулась ему.

— Пойдите, все сложилось иначе! — попробовал вставить Куршмид, но Терра не внял ему:

— Нет, голубчик, дайте мне рассказать. Ваш герой происходил из знатной парижской семьи и расточал отцовское состояние, пока не вынужден был скрыться. Но сильна буржуазная закваска. Добыв сказочные богатства, он успевает благодетельствовать в завещании своих сестер-невест, чье приданое он некогда промотал.

— Да у них и так денег куры не клюют! Старик ведь в наблюдательном совете Пютуа-Лалуша.

— Словом, мы вернулись к заданию, с которым вы подсланы ко мне. — И так как Куршмид сделал недоумевающее лицо: — Оказывается, вы умеете прикидываться дурачком. Господин Куршмид, вы никогда не были в иностранном легионе. Вы все время служили в театре, может быть в бродячей труппе, если судить по свежему цвету лица. Доктор Мерзер, который имеет особые основания интересоваться моим прошлым, как-нибудь случайно набрел на вас. Кланяйтесь ему от меня! — И Терра кивком распрощался с гостем.

Куршмид покорно встал и направился к двери.

Когда он почти дошел до нее, Терра поднял было руку, чтобы удержать его. Ведь так уходит только оскорбленная невинность. Или маленький актер сделал столь разительные успехи?.. Терра опустил руку, но Куршмид сам вновь повернулся к нему.

— У меня с собой документ от фирмы.

— Какой фирмы?.. Здорово! — воскликнул Терра, прочтя бумагу. И взглядом поверх пенсне подозвал Куршмида. — Оказывается, эта теплая компания в целях повышения своей продукции не ограничивается одним шпионажем. Есть средства порискованней.

Он сжал губы, снова взял документ.

— А может быть, это тоже фальшивка... Все равно, господин Куршмид, — протягивая руку, — я верю вам, я полагаюсь на ваше честное лицо, с этого мне и следовало начать. Присаживайтесь!

— Если бы вы сразу поверили мне, вы не были бы тем, перед кем я преклоняюсь, — сказал Куршмид смиренно и просто.

— По-прежнему? — вполголоса спросил Терра. — Но к делу. Вы воспользовались наследством, оставшимся от сына, чтобы втереться в доверие к отцу.

— По истечении срока моей службы командир откомендовал меня отцу, иначе дело было бы сложнее. Тот и так сперва решил, что это новый шантаж со стороны

⁴⁷ ...сокровища Гамилькара... — Гамилькар Барка (ум. в 229 г. до н.э.) — выдающийся карфагенский полководец и политический деятель.

сына. Но потом в первую очередь заявил притязания на наследство.

— Которое принадлежит государству. Стало быть, вы ограбили государство в пользу этого богача?

— Не вполне. Я продал ему самые незначительные образчики находки. Неужели вы думаете, что я открыл этому скряге местоположение клада! Я хочу, чтобы оно вновь было предано забвению на долгие века. Я не хочу быть богатым, господин Терра. Знакомство с жизнью богачей показало мне, что сокровища прекрасны лишь в грезах.

Выслушав это и покачав головой, Терра сказал:

— Значит, скряга приблизил вас к себе. В качестве личного секретаря? Чтобы, приручив вас, в один прекрасный день выведать, где скрыто золото.

— А также из страха, как бы я не проболтался другим. Чем больше он принуждал меня к молчанию, тем откровеннее становился сам. Он считал, что купил меня, так как у меня было что продать. Отсюда и тайное поручение, с которым я послан к вам.

— Психология этих людей — одна из сложнейших проблем, Куршмид. Мои коллеги считают, будто их жертвы столь наивны, что их можно безнаказанно эксплуатировать, и вместе с тем способны исполнять самые хитрые поручения.

— Они это знают по опыту, — сказал Куршмид спокойно.

Они обсудили, как получше извлечь выгоду из особых познаний и возможностей Куршмида. Прежде всего им следует делать вид, будто они незнакомы. На случай если бы доктор Мерзер проведал об их старых отношениях, они могут притвориться, что рассорились. Куршмида должен отрекомендовать Кнаку Мерзер, который захочет заработать на нем. Все, что Куршмид заработает своей осведомительной деятельностью наполовину в Париже, наполовину в Кнакштадте, надо отдавать Мерзеру. Пусть Мерзер думает, что ему достается часть, когда на самом деле он будет получать все. Тут дело пойдет как по маслу — ведь доктор Мерзер несомненно будет держаться за такое выгодное предприятие, на него положиться можно.

Не то с Кнаком. Сам он был в этом уравнении неизвестной величиной. Кнак ни разу серьезно не скомпрометировал себя. Он мог сделаться орудием международных преступников, но при этом оставаться невинным.

И его следовало считать невинным ради чести его класса, пока еще мыслимо поддерживать иллюзию...

Куршмид, став благодаря Мерзеру доверенным лицом, постарался, чтобы Кнак наткнулся на его недвусмысленную деятельность. Но ведь Кнак обязан охранять честь фирмы! А разве она не требует от него хотя бы внешней снисходительности к заблуждениям племянника? Он потихоньку устранил улики, и все осталось шито-крыто.

Не мешало и Терра сблизиться с ним, проявить к нему личное внимание. Кнак был болен. Как-то раз он слегка намекнул, кто виною его болезни. Но Терра решительно отклонил всякие недомолвки. Он предложил старику, пока не поздно, избавиться от ставшего ненужным племянника. Такая поспешность диктовалась только откровенно грязными нравами Мерзера; деловые же его методы, по мнению Терра, вполне соответствовали духу времени. Эти методы дозволены, даже если и считаются

недопустимыми, они не противоречат уже ни одной из принятых норм, а только лицемерным условностям.

Но что же сам Кнак? Он страдал от этой двойной игры. При каждом новом столкновении традиционного патриотизма фирмы с расширившимся кругом ее деятельности процент сахара возрастал у него неуклонно.

Скорбно, слезливо смотрел он на предков, которые висели по стенам, чуждые всяким компромиссам. Международный концерн вооружений, естественный этап развития их почтенного предприятия, был им не по душе; внук же, при его нынешней слабости, боялся их. Ему хотелось бы повернуть назад. Синий передник, закоптелые руки, благочестивый и положительный вид деда взывали к его совести, тем более что воссоединение было не за горами. Следует ли считаться с возможностью воссоединения? Терра этого не исключал. Тогда Кнак стал исповедоваться.

Он исповедовался в самых сокровенных тайнах, которые, по его словам, до настоящей минуты ускользнули от внимания даже его одареннейшего сотрудника! Правда, взгляд из-под век, поднимавшихся уже с трудом, говорил: «Мы друг друга знаем. Именно тебе исповедуюсь я, ты мой самый близкий, самый осведомленный враг. Обмолвлюсь ли я хоть одним лишним словом? Отдамся ли тебе в руки? Так, значит, жизнь еще имеет для меня свою прелесть?» Такую волнующую игру перед самым своим концом познал этот столп буржуазии, который думал, что давно выиграл все ставки. Совесть! Загробная жизнь и ее карающие мероприятия не вполне исключены! И каково же исповедоваться перед тем, кто уже на земле замышлял возмездие! Как он насторожился! Терра и в самом деле постарался принять вид сообщника, которого ничто не способно смутить. Заразившись его гримасами, Кнак, которого все считали непроницаемым, тоже наморщил лоб и скривил рот... Однако документально не подтвердил ничего. Даже в таком состоянии он настолько еще владел собой, что вовремя лишился чувств.

Так дело и не было доведено до конца. Куршмид и Терра прибегли к сложным махинациям, с целью залучить в Кнакштадт главу административного совета, парижского магната собственной персоной. Когда это удалось, наступило уже лето 1907 года, предстоящая мирная конференция в Гааге⁴⁸ влекла за собой такие опасности, с которыми родственным предприятиям было легче бороться совместно.

Удушливый день, Кнак боится умереть. Ни намек на остроконечный живот, даже плечи опустились. Сюртук приходилось ежедневно утюжить, чтобы он не западал на тающем теле.

Жалкая лукавая маска преступника, серая, как пыльная тряпка. Челюсти вываливались, когда раскрывался рот, остатки ржавой щетины ниспадали с макушки и висков на глаза. Блуждающие глаза, скребущая рука, — а мощь этого разлагающегося полутрупа все еще держит народы во всеоружии ненависти и неколебимой воли к войне!

Терра покинул Кнака, когда явился гость. О нем доложили как о враче, иностранном специалисте. Он пробыл час, Кнак еще сохранил силы для совещаний,

⁴⁸ ...предстоящая мирная конференция в Гааге... — Вторая Гаагская конференция (1907), в которой участвовали сорок четыре государства, пересмотрела три конвенции, одобренные в 1899 году на первой Гаагской конференции, и приняла десять новых, относящихся к вопросам нейтралитета и отдельным вопросам права и морской войны.

Терра и Куршмид были за дверью на своем посту. Минуту спустя после ухода гостя из кабинета хозяина Куршмид со всех ног налетел на него в коридоре. Не прошло и трех минут, как Терра, прочитав документ, через верные руки передал его в надежное место.

Он пошел к Кнаку, иностранный гость снова был там. Они с Терра испытующе оглядели друг друга; гость был румяный крепкий блондин, безукоризненно одетый. Так как правая рука его была спрятана, Терра наполовину вынул свою из кармана брюк; под ней обрисовались контуры какого-то предмета.

— Мне опять стало хуже, — пожаловался Кнак.

— Рецепт доктора непонятным образом исчез по дороге, — сказал Терра. — Господину доктору придется вторично написать его.

По соседству чем-то громыхал Куршмид, предварительно удалив секретарей. Рослый блондин, видимо, убедился, что пока ничего поделывать нельзя; он ушел, предоставив больному соратнику выпутываться самому.

Кнак, в полуобморочном состоянии, обратился к Терра:

— Дорогой друг! У меня есть одно заветное желание. Но сперва дайте руку!

Терра подал левую, обмороку не следовало доверять вполне.

— Женитесь на моей дочке! Я отдам ее за вас.

Тут даже Терра отпрянул. Единственной дочерью Кнака была Беллона Мангольф. Вот каков его ответ на кражу сделанных им в письменной форме признаний! Терра наводящими вопросами выяснил положение. Да, Беллона собирается развестись. Мангольф, по-видимому, попал на службе в тупик, он будет попросту отставлен. Кнак заговорил вполне откровенно.

— Вы один достойны стоять во главе предприятия в качестве моего зятя. Разве я могу передать его в неопытные руки, когда наступают трудные времена! Ведь если вскоре не будет войны, от чего избави боже, — заключил Кнак, — экономический кризис неизбежен.

Возможно, он еще до тех пор уйдет из предприятия, многозначительно заметил Терра. Политические задачи как раз в настоящее время выдвигаются для него на первый план. С этими словами он оставил Кнака и отправился в Берлин к Ланна. Доклад его не терпел отлагательств. Терра решил не дожидаться скорого поезда. Автомобиль стоял наготове, когда ему передали просьбу госпожи Беллоны Мангольф захватить ее с собой.

Он даже не знал, что она здесь, и не поверил этому. Уловка старика, чтобы задержать его! Но когда он сел в автомобиль, появилась она сама, и ему пришлось покориться.

Не дождавшись, чтобы завели мотор, она принялась жаловаться. Брак ее несчастлив. Ее обманывали с самого начала, как она понимает теперь. На чью еще долю выпало столько страданий?.. Тут они сшибли какого-то человека. Автомобиль остановился, шофер спрыгнул; он помог старику подняться, потом сказал ему внушительно: «Это вы умышленно сделали». Старик завыл еще настойчивее; он хотел опять повалиться, но шофер не пустил его.

Неподалеку к заводу устремлялся поток рабочих; привлеченные криком, они с молчаливой угрозой обступили автомобиль. Терра подле скрытой вуалью дочери Кнака снял фуражку, автомобильные очки и показал лицо, так явно выражающее скорбь и омерзение, что угрожавшие отступили.

Шофер, по-своему истолковав гримасу Терра, сказал:

— Они это проделывают чуть ли не каждую неделю.

Но Терра вспомнил о том времени, когда был адвокатом бедняков. Как он дошел до того, чтобы сидеть рядом с дочерью Кнака, в то время как бедняк бросается под колеса? Он сам этого не понимал.

Белла сделала для приличия паузу. Лишь на шоссе она вновь заговорила вполголоса, словно одержимая одной мыслью. На чью еще долю выпало столько страданий? И если она нашла мужество мстить, то это вовсе не мужество. К чему месть, которая не задевает никого, кроме нее самой? Она любила Мангольфа; она никого не может любить, кроме него.

Тут неожиданно для нее Терра взял ее руку и проявил искреннее сочувствие. Он назвал ее честной натурой и товаркой по несчастью своей сестры, — последнее совсем некстати. Бедные женщины! Течение жизни влечет их к случайным целям, как его или тех рабочих, что, опустив руки, смотрят на несчастье своих братьев.

Ее стесняло его сочувствие, жалобы полились менее обильно. Когда стемнело, они почти перестали разговаривать.

Впрочем, Белла начала снова, но чувствительное сердце, которое она обнаружила подле себя вместо делового человека, мешало ей договориться до главного. Только когда они очутились в скором поезде, в закрытом и ярко освещенном купе первого класса, она, наконец, высказалась: Терра должен помочь Мангольфу снова выплыть на поверхность политической жизни. От этого зависит все. Правда, она и сама ему навредила тогда историей с дуэлью. С тех пор Леа опять взяла верх и, того и гляди, совсем вытеснит ее. Ах, он полюбил бы ее снова, — какое значение имеют измены! — если бы оказался опять на подъеме!.. А это во власти Терра.

Деловой человек подле нее тотчас спросил:

— Что вы предлагаете, сударыня?

Все очень просто. Он должен, наконец, жениться на своей Алисе, тогда Толлебену грош цена, несмотря на договор с Мангольфом. Ланна устранит его: если он не зять, следовательно, и не преемник. Мангольф будет назначен статс-секретарем и войдет в соглашение с Терра...

— Как вошел уже в соглашение с Толлебеном, — вставил деловой человек, но его собеседницу это не смутило. Неужто он думает, что такой отсталый политик, как Ланна, окажет активную поддержку его ультрасовременным идеям? Неужто вернее опираться на Ланна, нежели на друга своей юности?

Белла привыкла к светской болтовне, весь последний час она говорила без умолку. Лишь на прощание он напомнил ей об Алисе. Белла, которая борется за свое счастье, должна ведь понять, насколько тяжелее там, где борьба идет даже не за счастье... Нет, никто не сочувствует тому, что происходит рядом. Каждый для себя, в своей закупоренной ячейке.

«У меня в руках сейчас самый крупный козырь моей жизни, — думал Терра, сидя уже дома. — Такой человек, как Ланна, не может спокойно принять то, что я собираюсь ему сказать. Не пройдет и получаса, как у нас будет революция — сверху! С моей стороны было бы глупо вносить сейчас смятение в его семью».

Он пришел после двух, во время «передышки», но не застал рейхсканцлера в библиотеке. Значит, он уже за работой! В самом деле, Зехтинг сам удивлялся такому рвению. Однако Терра может войти.

Князь Ланна что-то писал гусиным пером, в которое, однако, было вставлено вполне современное стальное перо. Он кивком указал гостю на плетеный диван подле стола, дописал последнюю строку и поднял взгляд, как всегда олимпийский, хотя в данную минуту и несколько вялый.

— Важные вести, — тотчас заявил Терра.

— Вас они волнуют? — спросил Ланна, наклоня голову. Его гладко зачесанные на пробор волосы стали белоснежными, а лицо побледнело и осунулось. — Что может быть важного в этом мире? Не тормозить этот мир — вот что важно.

— Это было хорошо для одряхлевшего Бисмарка. Вы, ваша светлость, в расцвете сил, и, бог даст, на долгие годы.

— Вы знаете, что я подавал императору прошение об отставке? — Вздох отречения.

— Сейчас?

— Нет. Сейчас бы он его, пожалуй, принял. — Последнее звучало бодрее, Терра успокоился. — Кроме того, тогда бы я вас не стал в это посвящать, — продолжал Ланна почти что плутоватым тоном. — Нет, в то время император заключил нечто вроде частного соглашения с царем⁴⁹ по важнейшим вопросам мировой политики. Я взял себе за правило хвалить все его поступки без исключения, оставляя за собой право улаживать то, что еще поправимо. Но он, на законном основании, ждет похвал за то, в чем ему дали волю. Ведь ему бы не давали воли, если бы он не поступал похвально.

Озабоченные морщины сгладились, ясный лоб — и такие речи! Терра был сбит с толку.

— Абсолютистские выходки императора, — продолжал Ланна с явным благодушием, — создают опасность для национальных интересов. Они порождают экспромты, после которых приходится бить отбой. А затем следуют периоды глубокой депрессии. Император очень болен. — Тон легкомысленный с оттенком ласкового снисхождения. Затем серьезней: — В периоды депрессии он у меня в руках. Не то, когда он снова уверен в себе. Тогда строятся суда. Тогда орудует Фишер. Я написал обер-адмиралу, пытаясь его утихомирить, это было в минуты депрессии. Потом настал период уверенности в себе, и тут пришел ответ обер-адмирала с просьбой поддержать его прошение об отставке. Но я, конечно, не решился, я бы рисковал сам получить отставку.

⁴⁹ ...император заключил нечто вроде частного соглашения с царем... — Имеется в виду Бьеркский договор 1905 года о союзе между Россией и Германией, подписанный 11/24 июля 1905 года Вильгельмом II и Николаем II во время их свидания в Финляндских шхерах близ острова Бьерке. В силу этот договор не вступил.

— Достанет ли у нации когда-нибудь разума приписывать угрозу своим интересам самой себе? — спросил Терра.

— А чего хочет нация? — спросил Ланна, впервые раздраженно, а потому неприятным голосом. — В Алхесирасе чуть ли не весь мир был против нас, а мы все-таки существуем. Я знаю, теперь говорят, что мне следовало ликвидировать марокканский вопрос при закрытых дверях, а не выставлять напоказ нашу изоляцию на конференции держав. Но это как-никак зрелище... а такой нации... такому императору нужны только зрелища... — Он не кончил; порядок, в котором лежали подле чернильницы шесть карандашей, злил его; он разбросал их.

Лоб ясный, но взгляд испытующе устремлен на собеседника.

— А благополучные выборы в рейхстаг ⁵⁰ ? Легко ли мне было снабдить противоядием и наново заразить энтузиазмом общество, которое чуть не примирилось с грозящим переворотом!

— Только вы, ваша светлость, могли добиться этого, — подтвердил Терра.

— Может быть, я перегнул палку? — неожиданно спросил Ланна. От внутреннего беспокойства он чуть не вскочил, но сдержался.

— На основании личного опыта могу заверить вашу светлость, что созданный вами блок буржуазных партий способствует грандиозному расцвету дел. А дела — самое главное!

— Каким вы стали практичным!

— Потому-то вы, ваша светлость, и должны без малейшего недоверия принять из моих рук неопровержимое доказательство того, какие у нас творятся дела. — И Терра протянул свой документ.

Ланна не взглянул на него, он не спускал глаз с Терра.

— Милый друг, затруднений у меня и без того вдоволь. Я не хочу, чтобы ваша вера в мое искусство все улаживать поколебалась, а потому, прошу вас, не создавайте мне затруднений непреодолимых.

— Прочтите! — сказал Терра, тихо и настойчиво.

Взгляд Ланна заколебался, стал неуверенным. Ланна встал. Он обошел плетеный диван, на котором сидел Терра, сделал несколько шагов у него за спиной, затем все стихло. Не улился ли он?

Терра сказал наугад, не оборачиваясь и как будто в пространство:

— Если бы могущественнейшее лицо в государстве стало утверждать мне в глаза, что международная шайка преступников, с центром в Кнакштадте, подкапывается под это самое государство и готовится в ближайшем будущем взорвать его, я бы непременно усомнился. Естественно, что, когда это утверждаю я, могущественнейшее лицо тоже не верит. Меня сразу же опять берут на подозрение. Скорее автомобиль! Я уезжаю.

⁵⁰ ...благополучные выборы в рейхстаг? — Речь идет о победе на выборах 1907 года сколоченного Бюловым так называемого «готтентотского блока», объединившего почти все силы реакции (национал-либералы, консерваторы, свободомыслящие).

Когда он вставал, голос Ланна произнес издалека:

— Есть такие дела, которые имеете право знать вы, но не могущественнейшее лицо в государстве. — Ланна сидел в углу, у курительного столика, под бюстом, увенчанным каской и орлом. — Иначе все действительно может взлететь на воздух, — заключил он, когда Терра подошел к нему. Умиротворяющий жест, и он предложил папиросы, но Терра отказался. — Надо сохранять равновесие! — продолжал Ланна. — Вот моя задача. А ваша — делать открытия, нарушающие его. Я отдаю вам должное, вы мне друг.

Терра безмолвно протянул ему документ.

— Только не читать! — сказал Ланна, однако взял бумагу и поднес к ней зажженную спичку. Терра хотел выхватить ее, но бумага уже горела. Взмахнув в воздухе ногами, он рухнул в ближайшее кресло. «Кончено! — чувствовал он; и дальше: — Этому угрю все уже было известно. Я опоздал».

Облегченно вздохнув, Ланна развеял пепел разоблачений.

— Документ сфотографирован! — крикнул Терра из недр кресла. Он с трудом выкарабкался, ему мешал стол.

— Тогда я могу лишь посоветовать вам любоваться фотографией в самом укромном месте, — спокойно сказал Ланна.

Терра, наконец, встал, он заикался от бешенства.

— Укромнейшее место, могущественнейшее лицо! Могущественнейшее лицо в укромнейшем месте! Ваша светлость, на худой конец, может остаться могущественнейшим лицом в укромнейшем месте. — От бешенства и ненависти он весь дергался.

Ланна созерцал этого бесноватого и следовал за ним глазами не без сочувствия, когда тот стал кружить по комнате, мимо резного стола с альбомами гравюр, мимо бюста, мимо вычурного камина, мимо музейной тумбы с китайской вазой, мимо голландских кресел и снова к могущественнейшему лицу. Оскалил зубы, зарычал без слов и, насмешливо захохотав, снова забегал вдоль разукрашенных стен... Одна из дверей тихонько отворилась, Зехтинг забыл прикрыть ее за собой, ничего подобного ему еще не случалось видеть.

Он шепнул рейхсканцлеру, что прибыл посол, которого ожидали, но Ланна только пожал плечами. Когда Зехтинг ушел, он встал и преградил дорогу Терра.

— Ну? — спросил он, как врач-психиатр. — Отбушевали? Легче стало? — И так как тот продолжал хохотать от бешенства: — Нельзя же так распускаться. — Ланна улыбнулся заученно-любезной улыбкой. Он думал об адмирале Фишере как о воплощении всех враждебных сил, грозивших ему, думал о своей отставке — и любезно улыбался ничего не видевшему Терра.

— Монополия на уголь и руду! — мягко сказал Ланна. — Вот чем вы хотите воспрепятствовать войне. Но если глава правительства пожелает, он объявит войну, несмотря ни на что. Я не желаю войны, потому что ее желают мои противники, в этом для вас гарантия. И я достаточно ловок, чтобы воспрепятствовать ей всякий раз, когда я сам как будто провоцирую ее, — и в этом еще общая гарантия. Как вам понравился мой шаг, за который меня сделали князем? Но подождите следующего! — Он явно

чувствовал себя уверенней, чем в начале беседы, и даже похлопал Терра по плечу. — Вашим известиям, милый друг, возможно, найдется другое применение, чем вы предполагали, но они не утратят своей ценности. Постарайтесь, пожалуйста, проследить, что происходит на другом конце сети, соединяющей Кнакштадт с Парижем! Считайте себя моим тайным агентом! — Он успокоительно погладил руку, которую Терра не подал ему, и сам проводил его до двери.

Лишь спустившись с лестницы, Терра заметил, что у него перед глазами туман. Он не разглядел времени на больших часах. Снова, как некогда! Рано он похвалялся, что закален против всего. «Такие вопиющие безобразия, к сожалению, не скоро перестанут волновать меня. Ради кого я трудился? Ради этого любезного ничтожества! Ради него заставил себя быть тем, чем я стал!» Громко застонав, он скорчился, как от боли, на сидении своего автомобиля. Тут они попали в затор, и какая-то дама удивленно заглянула в автомобиль. Терра вздрогнул: Алиса! Нет, опять ошибка; но ей он еще себя покажет, теперь всему конец. «Удалиться от мира и заготовлять бомбы — единственное, что мне осталось!.. Впрочем, нет! Надо съездить в Париж. Сделать самую последнюю попытку».

Дочери Ланна, ожидавшей его, он написал отказ — отказ навсегда. Вечером он уехал.

На следующий вечер он вышел из своей гостиницы в Париже и отправился пешком в один дом, о котором неоднократно слышал. Дом средней руки; привратница указала квартиру, которую он искал. Ему отворили; он спросил того, с кем желал переговорить. Еще нет дома? Но его, хоть он и был чужим, провели в комнату, зажгли и поставили на письменный стол рабочую лампу. Посетитель остался один.

Он сидел сперва в зеленоватом свете лампы, кругом была темнота. Лампа начала коптить; он встал, чтобы подкрутить фитиль, сделал несколько шагов вдоль книжных полок. Остановился на полдороге, обхватил голову руками. Огляделся, опомнился, вернулся на прежнее место под лампой. Некоторое время сидел в раздумье, потом снова принялся метаться. Он ждал, не замечая, что проходят часы.

Дверь распахнулась настежь, когда он как раз стоял в самом темном углу. Не успел он овладеть собой, как вошедший миновал его⁵¹ и склонился у письменного стола над корреспонденцией. Широкая спина, широкий затылок, борода по краю раздумявшейся щеки отливают серебром. Хозяин комнаты резко повернулся: он услышал позади чье-то тяжелое дыхание.

— Я ужасно смущен, — сказал чей-то голос. — Теперь мне остается сделать вид, что не вы меня, а я вас застал врасплох.

Когда гость шагнул к столу и поклонился, только лицо его попало в световой круг.

— Вы немец? — спросил хозяин комнаты. И нерешительно: — Пастор?

— Я предпочитаю не говорить, кто я, — пробормотал посетитель. — Тогда бы вы мне окончательно не поверили. А очень важно, чтобы вы поверили мне. — Последние

⁵¹ *Не успел он овладеть собой, как вошедший миновал его...* — Не названный автором собеседник Терра — Жан Жорес (1859—1914) — видный деятель международного социалистического движения, руководитель правого крыла Французской социалистической партии, историк и выдающийся оратор, активно выступавший против милитаризма и войны.

слова были сказаны громким и резким голосом.

— Говорите, пожалуйста! — деловито произнес хозяин; взяв из рук гостя протянутую ему бумагу, он обследовал ее под лампой: — Фотокопия? Как прикажете это понимать? Мне столько всего приносят! — Он приподнял плечи и руки одновременно. Широкое туловище, словно высеченное из одного куска. Широкое лицо с широким носом, львиный разрез глаз, брови наискось к выпуклому лбу. Что он говорит? Недоверие? Мелко для такой физиономии. Ирония сильнейшего выражалась в ней, единственная угроза, до которой снисходит высший разум.

Гость сделал новую попытку.

— Помните, что после дела Дрейфуса настроение у вас тут не в пользу войны. Вполне естественно, что международный концерт военных снаряжений принимает свои меры.

— Вполне. Но ему это не удастся. — Бросив повторный взгляд на сфотографированный документ, он стремительно шагнул к гостю. — Вы сами тоже это подписали, так ведь?

Тут гость отпрянул в темноту.

Мягче, с теплотой в голосе:

— Я не собираюсь вас разоблачать, я не против вас. Садитесь! — Сам он тоже сел. И снова с теплотой в голосе: — Дело Дрейфуса просветило слишком много умов. А у вас разве нет? Ведь и вы волновались и боролись вместе с нами! Не напрасно потоки разума и гуманности омыли души и умы. Примирение!

Протянув руки, он откинулся всем своим корпусом в распахнутом мешковатом сюртуке, и лицо оказалось в световом круге.

Гость из полумрака:

— Непримиримые сильнее.

— Единодушный протест рабочих партий воспрепятствует войне!

— Я этому не верю. Ваша сфера — политика, где каждый говорит о своих чаяниях. Моя сфера — промышленность, где говорят только факты. Рабочие пойдут за большинством.

— Пока я существую — нет!

Молчание. Так же уверен в себе был в Берлине тот, другой.

Освещенная голова отодвинулась, стул был теперь повернут боком.

— Если же ваши друзья так этого жаждут, они добьются войны, но такой, какую им уже не удастся повторить, — войны, из которой мы вернемся с миром для всего мира и с претворенным в жизнь социализмом.

— Иллюзии! — сказал резкий голос.

— Надо держать их под страхом! — трезво ответил хозяин и тут же вдохновенно: — Надо верить в это. — Голос нарастал, говоривший оттолкнул стул. — Надо это осуществлять! Что такое социализм? Идеал. Его можно осуществить лишь на основе реальной действительности. У нас хватит силы осуществить его. — Все это он говорил, шагая между камином и столом, с мимикой, как для зрителей, полной блеска

и выразительности, но без излишней аффектации. — Что такое пацифизм? Идеал. Осуществление его — это компромисс между миролюбивым разумом и человеческой природой, которая не стала еще миролюбивой. Лишь социализм умиротворит ее...

Выразительные жесты, отгонявшие возможные сомнения, большая гибкость, подчеркнутая решимость, над которой преобладает воля к жизни, — все это величественно и вместе с тем со всей присущей человеку слабостью демонстрировалось на воображаемой трибуне. Наконец оратор сел с достоинством, как под гул оваций.

— Благодарю вас, — начал его слушатель. — Вы показали мне религиозное отношение к миру. Я же знаю только таких интеллигентов, которым чуждо это отношение. Вам не понять, как безотраднa жизнь, в которой процветают им подобные.

— Так не будьте же глупцами! У вас те же враги, что и у нас. Добру у вас грозят те же самые опасности, почему вы малодушествуете?.. Я и сам знаю, — тут у льва сделалось лукавое выражение, — что у вас на переднем плане всемогущий пангерманский союз, в то время как у нас — Лига прав человека. Внешняя разница налицо. Но за ней все одинаковое. Только здесь враг действует исподтишка, защитники зла не показывают своего лица.

— А что, если есть страна, где всякое другое лицо должно скрываться? Если защитники добра обречены действовать под покровом темноты всю жизнь? — Голос гостя был полон отчаяния; но тот, кто слушал его, повернулся всем своим мощным туловищем и приказал ему умолкнуть, ибо в нем говорит преступная слабость.

— Почему вы слабы, скажите, почему? Как может здравомыслящее большинство спокойно относиться к тому, что его страна изолируется, словно зачумленная, — не в силу вражды, а в силу контраста между кастовым произволом и общеевропейской демократией?

В его голосе звучал уже гнев, он сам распалял себя.

— Сейчас в Гааге ваше правительство побило рекорд бесцеремонности в Европе. У нас по крайней мере умеют лицемерить. Существует негласный сговор проявлять на мирных конференциях добрую волю, хотя на деле это не приводит ни к чему. Но ваше правительство окончательно зарвалось. Оно доставляет другим бесплатное развлечение, голосуя даже против третейского суда. Однако предел всего — ваша система заложников! — Тут, подхлестнутый гневом, он вскочил и стоял, облокотясь о кресло. — Если вы начнете войну с Англией, вам угодно вести ее на французской земле, независимо от того, примкнем мы или нет. Франция будет у вас заложницей. Вы способны вывести из терпения даже меня! — Другим тоном: — А я предпочитаю бороться с внутренним врагом, с нашими поджигателями войны, которым ничего не жаль, лишь бы заставить говорить о себе. Пока я существую, они бесславно прячутся в тени. Пусть себе интригуют там в пользу войны, меж тем как открыто торжествует мир. Нас озаряет свет дня, нас одних! — То было самоупоение, глухое ко всему, кроме себя.

Ибо голос гостя звучал слабым бормотаньем:

— Позор! — Сквозь сплетенные пальцы вырывалось бормотанье и шипенье: — Позор!

Тот вслушался, наконец подошел ближе, придвинул свой стул совсем близко, сполз

на самый краешек, чуть ли не на пол, перегнулся и слушал.

— Я вел жизнь каторжника, жизнь беглого преступника, который скрывает свой позор. Позором своим я был обязан лучшему во мне, моему человеческому достоинству. Благо тому, у кого его нет! Чтобы добиваться своего, я должен был лгать. Помогать в делах сильным мира, чтобы втайне подкапываться под них. Разыгрывать им на посмешище человечность, ибо там, где я живу, нет ничего смешнее, как поступать человечно. Так сам начинаешь заниматься делами, богатеешь и можешь разоблачать богачей. Я стал всем, только чтобы разоблачить их. А теперь заблудился на окольных путях. Целая жизнь лжи и обмана!

— Дальше! — потребовал духовник, но долгое время раздавались одни сухие рыдания. Наконец исповедник овладел собой.

— Иначе нельзя было. — Голос зазвучал жестко. — Теперь я бы уже не мог говорить правду, если бы и смел. Я буду лгать и обманывать и впредь, куда бы это меня ни привело. К хорошему не приведет. Когда-нибудь такая жизнь вынудит меня на акт отчаяния. Тайная война с властью! Вдумайтесь в это вы, что ведете против нее открытую войну. Пожалейте нас, — у нас она с первого шага была бы обречена на провал.

Так как голос ослабел и стих, духовник сказал:

— Вы пришли не для того, чтобы предъявить мне сфотографированный документ. Вы хотели сказать мне именно это. Благодарю вас. Нам не видно, что происходит за границей, за нашей самой ближней границей. Что происходит в человеке, и то не видно.

Тут погасла лампа. Хозяин комнаты отдернул занавеску, — за окном светало.

Они подошли друг к другу попрощаться.

— Надеюсь, я не очень надоел вам сегодня ночью, — сказал гость не слишком искренним тоном.

— Хочу верить, что вы без особой неприязни смотрели на меня этой ночью! — прямодушно и приветливо ответил хозяин. — Вы сами видите, что различие наших стран лишь в темпераментах. Во всем прочем у нас с вами тот же тернистый путь.

— Которому не будет конца.

— На котором нам нужна взаимная поддержка.

И они протянули друг другу руки, обе руки.

Терра первым же поездом покинул Париж. На вокзале в Берлине его встречали. Куршмид — он повел его к автомобилю, в котором сидела Алиса Ланна.

Несмотря на ранний час, ей надо было повидаться с ним. Вовремя предостеречь его, пока он не станет перед лицом кризиса, который неизбежен.

Ни слова об их личных отношениях. Его прощальное письмо даже не было упомянуто, отказ от встреч оставлен без внимания. Тогда и он стал задавать чисто деловые вопросы, которых требовал настоящий момент.

Ланна нужно устранить, его дочь горячо настаивала на этом. Дело шло о жизни и смерти, корабль тонул. Он получил пробоину на последних выборах в рейхстаг. Всему

причиной выборы по спискам блока! Ланна добился этим слишком большого личного успеха; вечером после выборов он обращался к народу из рейхсканцлерской резиденции одновременно с императором, который обращался к народу из дворца. Неосторожное совпадение во времени как раз, когда император почувствовал себя уверенней благодаря удачным выборам! Небывалая уверенность в себе — он следил за посетителями своего канцлера.

— Знаете ли вы, что ваш позавчерашний визит стоил моему отцу высочайшего порицания?

Она повторила это несколько раз и с разными оттенками, как в тех случаях, когда наставляла Толлебена.

— Понимаю, — сказал Терра, — он снова сыграл на руку лишь своим врагам. Ни на что другое бог не благословляет его успехом. Он избавил их от социал-демократов, как будто социал-демократы не нужны ему до крайности, чтобы изо дня в день спасать от них общество.

— Он дал слишком много воли его величеству, — повторила она. — Это доказывает, что его система устарела. Нужно что-то новое. Мы должны, в противовес поджигателям войны, утвердить свою самостоятельность. Или, лучше сказать, восстановить ее!

Терра подумал, что ошибается, но нет — он понял верно. Алиса обещала ему в лице Толлебена рейхсканцлера, который будет стоять за союз с Англией, до смерти пугавший Фишера. Этого мало! Ему даже улыбается мысль об угольной монополии.

— Все хорошо, пока ты с ним! — сказал Терра, еле опомнившись. Нет, дело обстоит иначе. Сильнее, чем Алиса, влияла на Толлебена его религиозность. Он по внутреннему убеждению был против войны — против того класса, который ее добивался, который способствовал ей.

— Это естественно для человека старого закала, — возразил Терра.

Но она доказывала, что причина в обращении на путь истины.

— Хочешь знать правду? Его неотразимо влечет к тебе и твоим задачам.

— Моим? Потому что они мои?

— Кто его поймет! Может быть, это христианское смирение.

Терра может убедиться лично, что Толлебен не избегает его. Совершенно верно, он даже ищет встреч с ним. Алиса хотела выяснить, будет ли Терра в таком случае помогать им. Его связи, его искусство обращения с людьми... Ему послышалось: его шулерские способности... Он не стал отказываться.

Автомобиль остановился в уединенном месте, чтобы Терра мог незаметно выйти.

— Ни слова Мангольфу! — успела она шепнуть. — Все, что он сулит тебе, исходит от твоих злейших врагов.

Лишь в этих, сказанных вдогонку словах открылась цель всего разговора. Он был ответом семейства Толлебенов на тот, другой разговор, три дня назад, с женой Мангольфа.

Наутро, правда, пришло письмецо от Алисы. Ничего не предпринимать! Ее

несчастный отец в своем горе доверился ей. Свет был слишком несправедлив к князю Ланна. Это уже сказалось на его желудке. Ничего не предпринимать против него! Дочь во всяком случае встанет на его защиту, забыв о своем честолюбии! Князь подает в отставку. Она поедет с ним в Италию: счастливо им жилось только там. Эти потрясающие решения были приняты за ночь. В политике теперь, несомненно, произойдут неожиданные перемены. «И все оттого, что я вчера вечером зашла в красную гостиную, где был он. От таких случайностей зависят судьбы мира».

«Только бы они уехали», — думал Терра. Чего стоили движения дочернего сердца? Скоро Алиса начала жаловаться, что отец снова добился успеха. Ему как будто бы удастся увильнуть от союза с Россией. Этого требует Австрия. Пока шла такая игра, никто не решился бы покушаться на дипломата, который вел ее, и меньше всего император, ибо всякая реальная опасность войны мигом превращала его в осторожнейшего человека.

Мангольф сам навестил Терра, чтобы сообщить ему о ходе боснийского дела⁵². Уверенный в успехе Ланна, Мангольф все же ожидал его скорого падения. Поэтому ему нужно было заручиться поддержкой Терра. Но впечатление создавалось такое, будто Мангольф всецело покорен ланновским мастерством. Вместо того чтобы мчаться вслед за австрийским сорвиголовой навстречу катастрофе, Ланна схватил поводья и правил теперь сам. На волосок от пропасти он благополучно миновал ее. Но что с ним творится в часы одиночества...

— Ровно ничего, — сказал Терра. — Он умеет придать себе вид активного борца, будучи на самом деле скептиком.

— А что, если это вовсе не так и он всю жизнь обманывал нас всех? — спросил Мангольф с глубоким интересом. — Его пронизательность — не в ней сила. Главное — выдержка, эта загадочная твердость, которая доводит противника до сокрушительного сознания собственной слабости. И все так просто! Все с таким мужественным изяществом. Вот это человек!

Мангольф забылся, и на лице у него появилась та печать страдания, какую налагало на его черты честолюбие. Так мог бы вести себя он сам и делал бы это лучше и ради более высоких целей. Когда же наступит его день?.. И он поспешил умалить достоинства Ланна.

— К чему приводит его успех? Тогда он одержал победу над Парижем, теперь над Петербургом, а дальше? Число непримиримых возрастает с каждой новой победой. Придет день, когда даже такое мастерство окажется бессильным: тогда наступит то, чего он не желал, но что сам же обеспечил своими победами.

— А что бы делал ты?

— Не стал бы отклонять союз с Англией во имя наших добрых отношений с Россией, с которой мы тут же ссоримся. Но ничего не может быть прочно, пока нет солидного фундамента. Основание построено на песке. Франкфуртский мир — это старый национальный фетиш.

Терра вытаращил глаза.

⁵² ...о ходе боснийского дела. — Боснийский кризис 1908—1909 годов — международный конфликт, возникший в связи с аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией.

— Как! Ты и на него дерзнул бы посягнуть? Клянусь, дорогой Вольф, что никогда не напому тебе этих слов, даже если дела у тебя снова пойдут на лад и ты снова будешь на должной патриотической высоте.

«Чего мне еще ждать!» — жестом сказал Мангольф... Победы Ланна становились невыносимы.

Полный триумф — и у Ланна достало силы взять себя в руки: он запретил чересчур много писать об этом... Мало того: он воспользовался своей победой, чтобы организовать в прессе выступление против преувеличенного национализма. Однако ему было ясно, что высшему обществу этот успех надо преподнести в блистательной форме.

Торжественный прием у рейхсканцлера, оживленная картина ночной улицы перед сияющим огнями дворцом. Между колоннами высокие окна, сияющие огнями до самого конька старинной кровли. Прибытие экипажей; швейцар выходил навстречу каждому. С булавой, в треуголке и богатой ливрее, он открывал дверцы; появлялись фигуры в горностае; обнаженные дамские шеи, и мундиры мужчин сверкали звездами. Экипажи сменяли друг друга. У толпы, по-осеннему дрогнувшей за решеткой, глаза разбегались при виде такого великолепия; ей видно было, как господа ступали по красному ковру, ей видны были лакеи. Белые парики! Ливреи светлые и расшитые сверху донизу! Вот каковы княжеские слуги. Наглядные образы высших миров, тех сияющих сфер, в которые не всякий, пожалуй, и верил и отблеск которых достигал сюда. «Значит, такое еще бывает», — говорили многие.

— Где тут платят за вход в маскарад? — спросил кто-то у Терра, который стоял в качестве зрителя, прежде чем войти самому. Необычное скопление народа заинтересовало его. Сам ли Ланна организовал это? Или он явился жертвой более или менее преданных приверженцев, которые внушили ему, будто его удавшийся дипломатический блеф воодушевил нацию? Не собирается ли он говорить из окна? Это приятное занятие могло войти в привычку.

— Прошу не забывать о почтении к господину рейхсканцлеру! — резко сказал Терра, обернувшись.

Из толпы выступил молодой человек.

— Гедульдих, — представился он.

Терра взглянул на него; молодой человек был миловиден, нежные краски, блестящие глаза, черные кудри под шляпой, которую он приподнял не без изящества. Выразительный рот произнес:

— Господин Терра! Вы, наверное, тоже много раз решали про себя, что дальше так продолжаться не может.

— Ошибаетесь, мой юный друг. Наша правительственная система, — а вы, очевидно, говорите о ней, — самая благополучная во всем мире. Вам бы следовало усвоить это убеждение хотя бы потому, что изменить ее вам не удастся.

— Таким точно я вас и представлял себе, — сказал молодой человек.

— Билет за вход в маскарад вы оплатите долгими трудами и в один прекрасный день тоже примете в нем участие. Наша система каждому позволяет обогащаться... — Он взглянул на вдумчивый лоб юноши. — Уму она оказывает должный почет.

— Господин тайный советник, — вы ведь тайный советник, господин Терра? — сейчас вы отнесетесь ко мне благосклоннее. — Все та же насмешка, в каждом звуке задор, но сколько юношеского обаяния! Терра словно увидел лоб Мангольфа и свой собственный рот когда-то, в начале всех путей.

— Ну? — произнес он.

В этот миг наверху, в окне зала заседаний, поставили канделябр. Терра застыл с раскрытым ртом. Ланна собирается говорить! В переднем ряду у решетки кто-то попробовал выкрикнуть приветствие; слабая попытка, — никто не поддержал ее. Прошло несколько томительных минут, потом канделябр убрали. Терра облегченно вздохнул и вслушался в слова юноши.

— А разницу он мне не выплатил.

— Какую разницу?

— Да ведь я же вам говорю — разница между тем, что нам стоили голоса, и предварительной правительственной сметой.

— Какие голоса?

— Избирателей, разумеется. Вы, должно быть, не расслышали, что мы с вашим сыном работали избирательными агентами от правительства, — говорил юноша посреди скопища избирателей. Терра немедленно отвел его в сторону.

— Мой сын обидел вас? Чего вы требуете за это? Поскорее, — я спешу.

— Не расточайте зря своего презрения, господин тайный советник! — сердитый молодой голос, задор стал злобным, и при этом ни намек на стыд. — Я брал грязные деньги от вашего государства, чтобы на них подготавливать революцию.

— Которая лучше всего осуществляется с помощью консервативных выборов, — подытожил Терра.

— Этого вы еще не понимаете, у нас другая точка зрения. Оставим этот разговор, — не унимался юноша.

— Я жажду узнать поколение моего сына.

— Случай к тому представится скорее, чем вы думаете, — вставил юноша.

— И много среди вас вымогателей?

Тут юноша задрожал. Он был бледен как мел и весь дрожал в своей бессильной гордыне.

— Вы никогда не знали, что значит стать даже подлецом во имя идеала, — прохрипел он.

— Это действительно никогда бы не могло произойти со мной, — подтвердил Терра, расхохотавшись. Но он взгляделся в фигурку, в которой за бедностью чувствовалась претензия на элегантность, и смягчился.

— Для большинства главное в жизни — наслаждение, во главу угла у них поставлено удовлетворенное тщеславие. Таков мой сын, который, по-видимому, унаследовал эти качества от меня. У вас, по вашим словам, дело обстоит иначе. Но все-таки вам сперва следует подумать о себе, а потом, если хотите, и об идее. Я попытаюсь устроить вас на место. Это ведь лучше, чем возместить вам деньги,

которые мой сын... заработал. Где вы живете?

— Ваше предложение мне подходит. — С видом делового человека юноша достал из бумажника карточку, изящно откланялся и удалился твердым шагом. Терра ступил на порог сияющего огнями дома и на смиренскую дорожку.

Наверху гостей принимал дворецкий, личность при треуголке и шпаге. Канцлер в первой гостиной пожимал всем руку. К Терра он обратился со словами: «Я обещал вам, что вы будете довольны», — а сам при этом сиял, как и его дом, не хватало духа противоречить ему. Его удача расточала чары, перед ней склонялась титулованная и богатая толпа и даже дипломаты, которые кляли эту самую удачу; притянутый ее чарами, русский посол стоял возле Ланна, и они вместе встречали людской поток.

Он катился из желтой, через зеленую в красную гостиную, там находилась дочь рейхсканцлера; из зимнего сада неслись приглушенные звуки струнного оркестра. Оттуда поток заворачивал; буфет был в зале заседаний, позолоченном гигантском помещении в два света. И оно было полно! Ланна широко раскрыл свои двери, даже высшие слои буржуазии получили доступ. Не принятые при дворе промышленные круги могли здесь соприкоснуться с миром узаконенной власти. Их представители расхаживали, принимали кушанья и напитки от лакеев в напудренных париках и собственными ушами слышали, как господа в мундирах задают вопрос, прибудет ли император. Это, как ни странно, было под сомнением.

Его величество сказал послу (интересно какому?): «Войны я не потерплю». А вдруг Ланна не возьмет верх в поединке с Россией? Вся ставка была на его врожденное везение, но «слишком много счастья даже непозволительно», — говорили скептики. Депутаты возражали:

— Он все-таки прорвал блокаду⁵³, Англия осталась ни при чем.

— А куда он денет Губица? — спросил Берберец из недр своей черной бороды. — Большую часть мыслей ему подсказывает Губиц, а ведь Губиц только и живет блокадой.

— Не беспокойтесь, никуда мы от нее не уйдем, если Ланна иногда и случится перескочить через нее.

Пошли шутки.

Настроение было приподнятое. Какой-то генерал обратился к одному из адмиралов:

— Ну, а теперь вперед, против Англии!

— Как вы, ваше превосходительство, мыслите себе это?

— Переправим туда дивизию.

— Только попробуйте!

— Ну, тогда с Россией в поход на Индию!

Настроение, созданное шампанским, множеством цветов, разгоряченных дам,

⁵³ Он... прорвал блокаду... — Имеется в виду политика закулисного интригана барона Гольштейна, которая привела Германию к полной изоляции в Европе. Договор с Россией противоречил этой политике изоляции.

кружило головы мужчинам; раскрасневшись, они пускали клубы дыма в золотистый туман парадных апартаментов итальянского стиля. Причудливый свет струился из хрустальных гирлянд, из высоких резных канделябров, свет, какой обычно озаряет мадонн. Эти мадонны — Алиса, Альтгот и множество других — сливались со стенами, а мужчины склонялись перед ними. Алиса не спускала глаз с отца.

Она думала: «Дорогой мой отец!» — и брови ее сдвигались от тревоги о нем посреди его удачи, от скорби над своей судьбой, приказывающей предать его... Только бы он держал себя в руках. Не дал бы им представления, над которым они посмеются завтра, когда он будет повержен. О нет! Выдержки у него хватит, но одна дочь могла оценить ее. Оценить достоинство того, кто рассчитывает лишь на собственные силы! «Я улыбаюсь, несмотря ни на что. Мне не суждено уверенным шагом перейти в историю. Если все еще не пошло прахом, причиной мое величие». Как гордилась им Алиса!

Между тем отец проследовал из желтой в зеленую гостиную, она могла бы слышать его слова. Но позади нее раздалась музыка... Отец проходил мимо группы Фишера, те задержали его. Обер-адмирал, как всегда, изображал морского волка, будучи на деле интриганом и чинушей, но так ему удобнее было проявлять свою грубую агрессивность. Его зычного рева не заглушала даже музыка. «Я рассчитываю еще долго пробыть на своем посту, — сказал мне старина Пейцтер, — до тех самых пор, пока ваш флот не очутится на дне моря». А я ему на это: «До свидания там, внизу!» — зычно ревел обер-адмирал.

Сказал ли отец, что блокада прорвана? Нет, в ответ на это грубиян не мог бы зареветь: «Только за недостатком храбрости!» Вот он даже сделал вид, будто нетвердо стоит на ногах, схватился за руку отца и заорал: «Будьте здоровы, ваша светлость, вы вместе со всеми только способствуете успеху моего дела!» Отец, правда, предугадал его выходку и отстранился. Фишер растянулся бы во весь рост, если бы друзья не подхватили его. Из широкого низкого кресла по соседству с трудом поднялся труп: Кнак, тайный советник фон Кнак; при слове «дело» он поднялся. Разве оно не было его делом еще больше, чем фишеровским?

Отец отвернулся; но теперь господин фон Ганнеман, начальник его канцелярии, пересек ему путь, поскользнулся с разбегу, потом все-таки удержался и доложил о чем-то. Он делал вид, что ужасно запыхался, желая подчеркнуть, сколь важны принесенные им сообщения. Однако отец небрежно махнул рукой. Он стоял, повернувшись лицом к красной гостиной, и не глядел на Ганнемана. Но тут Алиса уронила веер, чтобы господин, занимавший ее, наклонился и ничего не увидел. Взгляд отца застыл, словно смерть коснулась его, меж тем как щеки и рот продолжали улыбаться.

Алиса бросилась было ему на помощь, но он тем временем успел удалиться. Она на ходу изменила свое намерение. Смеясь и веером приветствуя знакомых, она как будто бежала навстречу долгожданной подруге. Шлейф грациозно подобран, голова откинута, стройная фигура стремится вперед. «Молода и резва по-прежнему, что за прелестная женщина! — говорили дамы господину фон Толлебену. — Муза двух государственных деятелей!» — говорили они.

Миновав гостиные, Алиса свернула к мемориальной комнате Бисмарка. К счастью, никто не заметил ее в гигантском зале заседаний, и она осторожно приотворила дверь.

Да, кто-то ждал там в одиночестве. Она сперва не узнала его, он сидел в кресле Бисмарка, рука его шарилась по столу. Но вот он вскочил, словно застигнутый врасплох; это был Мангольф.

Войдя с противоположной стороны, Ланна торопливо приблизился к Мангольфу. Помощник статс-секретаря открыл какую-то папку. Ланна слушал его, читал то, на что Мангольф указывал, а сам вспоминал ту минуту, когда появился Ганнеман и он, ничего еще не зная, на лету почувствовал несчастье. Музыка тогда играла баркаролу из «Сказок Гофмана»⁵⁴, он никогда не забудет той минуты, чувствовал Ланна, читая, слушая и напряженно думая.

Он заглянул в глаза Мангольфу.

— У вас превосходно налажена связь, — сказал он, — вы первый приносите мне эту весть. Вы могли бы принести ее даже час назад. — Прямо в глаза, но взгляд Мангольфа не дрогнул. Ланна пожал плечами.

— Тяжелый удар, но надо спасать то, что еще возможно. Одна из английских газет печатает вдруг тщательно охраняемые нами тайны. А выболтал их наш высочайший повелитель. Как быть? Щадить его, как всегда? По-прежнему покрывать его? Ничего не выйдет. Придется поступиться им.

— Императором?.. — подавленный выкрик Мангольфа.

— А лучше интересами государства? — спросил Ланна.

Олимпийский взгляд поднят к портрету Бисмарка над письменным столом. Так продиктовал он Мангольфу нужные распоряжения. Ночью, как только ему удастся покинуть празднество, он сам придет в министерство иностранных дел... И продолжал стоять в позе олимпийца, даже когда Мангольф скрылся.

Он с первого взгляда увидел все в глазах этого человека, который черпал свои сведения отнюдь не из английских источников. Этот человек хочет занять пост Толлебена, когда Толлебен станет канцлером вместо Ланна. Его они просто-напросто решили сместить; понятно, хотя и преступно. Но метод? Содействовать императору, этому опасному безумцу, в его самых сумасбродных выходках. «Я бы на это не пошел даже ради власти».

Смехотворные уловки, — их махинации видны как на ладони. У Толлебена есть ход к императору через его двоюродного брата фон дер Флеше. Генерал-адъютанта Флеше, должно быть, обеспокоило благочестивое миролюбие кузена. А Мангольф, которого, по-видимому, связывают с Толлебеном какие-то грязные делишки, договаривается с Флеше, узнает от него об императорских выпадах и пытается прикрыть себя и свою клику высочайшим именем. «Толлебену уже все известно. И Алисе тоже...»

«Невозмутимый вид, — думал дипломат, — но железная хватка. Вот что мне нужно. Я одержал победу над Россией, он же на сей раз чуть не довел страну до крайности, и я докажу это. И он еще намеревался отставить меня! Теперь он у меня в руках». Поглощенный единоборством с неназываемым, он не заметил присутствия дочери.

⁵⁴ «Сказки Гофмана» — опера французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

Глаза у нее искрились, как всегда, на губах играла жизнерадостная улыбка.

— Ненаглядный папочка, ты волнуешь меня. Этот господин Мангольф, — прости, что я подсматривала: он всегда был мне не по душе, но сегодня он внушает мне особенное недоверие.

Ага! Она хочет, чтобы ей он верил, и ради этого отступается от Мангольфа.

Ланна тотчас стал непроницаем, при всей своей отцовской любви.

В последующие дни он действовал совершенно самостоятельно, никому не доверяясь и собрав всю душевную энергию. Возмущению в стране он противопоставил полнейшую невозмутимость, казалось говорившую: «А что я еще предотвращал, вы и вообразить себе не можете». Или: «Я покрываю своего повелителя». Или же еще: «Почему вы беснуетесь сейчас, когда сами же допустили до этого?» Или просто: «Холопы!» Был ли он доволен, что они беснуются? Гибкие либерал-патриоты со Швертмейером во главе внезапно подняли крик против императора, думая тем самым угодить рейхсканцлеру; так ему якобы легче добиться от императора обещания, что он «больше не будет». Но был ли он доволен? Рейхсканцлер с непроницаемым видом выслушивал все, что ему сообщали. Либерал-патриоты сообщали о всеобщем негодовании, о возмущении в стране. Ланна знал цену этому возмущению.

Но вот к нему явился Иерихов, его старый приятель, камергер фон Иерихов. Первые полчаса он только твердил: «Вот история-то, вот история-то!» Ланна не поддерживал его; наоборот, он возразил: «Чистый случай, удивительно, что это не произошло еще раньше». — «Вот история так история!» — «Теперь уже ничего не поделаешь». — «Как бы не вышло еще хуже». На что Ланна пожал плечами:

— Затем я и существую, чтобы до последней возможности предупреждать катастрофы.

Член верхней палаты собирался что-то сказать, кашлянул, поперхнулся и, наконец, выдавил из себя: «Ясно как день: надо его убрать». — «Мы не римляне», — заметил Ланна. Тут Иерихов стукнул по столу. «Значит, взять в опеку!» Ланна обернулся, как будто кто-то стоял позади него. Неужели ему удалось довести их до этого?

Он с сочувствием заговорил о больном; но Иерихов не был доступен сочувствию, консервативная партия сочувствия не признавала⁵⁵. «Нянчится со своими триариями, к тому же водится с евреями». Ланна нахмурил лоб. Иерихов получил задание проверить его в этом пункте. Благонадежен ли он... Злополучный Иерихов так же прямо выдал и главную цель своего визита: «Они хотят регента».

Пристально следил он за своим давнишним приятелем, тощий старик за толстым: но нет, такое изумление должно быть искренним.

— Это невозможно! — вскричал Ланна. — Это ударило бы по мне. Я считаю себя его опекуном, для меня лично он несовершеннолетний, нуждающийся в опеке. Но заявить об этом во всеуслышание! Я старый монархист, и на это я не пойду.

Такая речь пришла по вкусу камергеру.

⁵⁵ ...консервативная партия сочувствия не признавала. — Немецко-консервативная партия — партия крупного землевладельческого дворянства Восточной Пруссии.

— Я так им и скажу, — заявил он. — А знаешь, что дальше будет? Кронпринц должен сперва заслужить их доверие, иначе они его не пожелают. Они пожелают тебя.

— Мы слишком долго медлили, а в результате ситуация стала настолько серьезной, что, лишь будучи в высокой степени *goupi aux affaires*⁵⁶, можно выбраться из нее. — Ланна говорил уже не как приятель, его устами говорил государственный муж. — Я не поддерживаю намерения учредить опеку над его величеством. Более того: совесть моя повелевает мне противиться этому до тех пор, пока он не безнадежен. Если же назреет такая необходимость, то, зная всю сложность положения, как знает ее лишь тот, кто был *nourri dans le serail*⁵⁷, я готов признать, что тут необходимо радикальное вмешательство опытного государственного деятеля, стоящего во главе правления.

Правда, Ланна вставлял французские слова, но это был единственный признак волнения, все другие ему удалось скрыть. Заключительный вывод — Иерихов отправился докладывать о нем.

Дальше на сцену выступил рейхстаг. Ноябрьская буря неожиданно всколыхнула всю страну, только рейхстаг она пока не задела. И вот фракции решили всколыхнуться сильнее всех, один хотел перещегоолять другого в бесстрашной любви к отечеству: священный трепет покинул чиновников и верноподданных, остались одни независимые мужи. Даже депутат Терра, хоть господин этот и любил завираться и не отличался твердостью убеждений, ради такого случая был выдвинут своей партией для выступления на предполагавшемся историческом заседании. Терра думал: «Все это превосходно, но Ланна не придет, глуп он никогда не был. Он не станет слушать, как его повелителя, единственного человека, от которого он зависит, будут смешивать с грязью перед всем высоким собранием. Его повелитель улизнул, принял приглашение куда-то далеко в гости. Почему бы так не поступить и Ланна?» Тем не менее Терра надеялся, что удастся заманить лисицу в ловушку. Регентство! Быть может, это слово способно вскружить голову даже такому человеку, как Ланна. Нет, этому Терра не верил. Единственная надежда была на Алису. Она обещала отговаривать отца, но так, чтобы он поступил наперекор ее советам.

В день исторического заседания рейхстага ей не удалось позавтракать с отцом. Обилие дел задержало его; ей пришлось в последнюю минуту настойчиво и убедительно попросить его к себе. Нет, лучше зайти за ним, чтобы он пришел наверняка.

— Сегодня мы даже в библиотеке не могли бы чувствовать себя спокойно, — начала Алиса. — Такой опасный день... Удивляюсь тебе, папа, ты как будто даже не сознаешь...

— Чего? Дитя мое, я иду по предначертанному пути. Уклониться — значило бы струсить. Да это и невозможно. — Серьезно и неприступно. Потом ласковая улыбка, поцелуй в лоб. — Ты ведь будешь в ложе?

— Ты даже собираешься сам выступить?

Она сделала вид, будто жалеет его, чтобы он почувствовал себя униженным. Он

⁵⁶ искушен в делах (франц.)

⁵⁷ вскормлен в серале, т.е. посвящен в дворцовые интриги (франц.)

должен идти навстречу беде, потому что она, та, кому он перестал верить, отговаривает его.

— Бедный папа, как ты позволяешь играть собой? Разве ты не замечаешь, что на тебя хотят свалить все? Потом каждый постарается выгородить себя, только не ты, конечно. И тогда все отступятся от тебя. Император в конце концов возьмет верх!

Ланна сказал:

— Я всегда мечтал, как о самой высшей милости судьбы, но и самой неправдоподобной, чтобы ту миссию, которую я осуществляю, на меня возложила моя страна. Миссиям, возлагаемым монархом, я старался придать такой вес и значение, чтобы они хотя бы отдаленно носили национально-немецкий характер. И вот сегодня я наконец-то на самом деле выступаю от имени страны, как немецкий государственный деятель, на которого обращены ее взоры.

Это было сказано торжественно и до такой степени простодушно!

— Какое ты дитя! — зарыдала дочь, обнимая его. — Не поддавайся обману! — горячо шептала она. — Вспомни свой долгий опыт! Ради бога, не надо дурмана! Когда-то ты был беден и без надежд на будущее, а сейчас уже видишь себя на месте императора, в этом твоя беда. — Да, теперь она сочувствовала не притворно. Отцу, которого она хотела погубить, пришлось утешать ее. Он ласково гладил ее, пока она вновь не заговорила:

— Ты думаешь с помощью консерваторов, которым ты никогда не был по душе, свергнуть императора? А что, если именно они столкнулись с императором свергнуть тебя, да, тебя!

— Лживы-то они в достаточной мере, — признал Ланна, — но вместе с тем слишком глупы, а теперь на них нашло полное затмение.

Алиса ломала руки. Неужели же признаться ему в собственном предательстве? Она намекнула на интриги Терра; но Ланна возразил, что знает своих врагов: каждый из них сам по себе влияния не имеет. Он собрался уходить. «Не ходи!» — крикнула она тоном человека, которому многое известно. Но Ланна усмехнулся, полный горделивой снисходительности, и пошел.

Терра изучал его, когда он садился за стол Союзного совета, когда выслушивал речи. Что скрывалось за олимпийским взглядом? «Невозмутимый вид» был, вероятно, единственной заботой Ланна перед единодушными, ужасными, беспримерными оскорблениями величества, которые позволял себе рейхстаг. Слово «регент» он, вероятно, гнал от себя из страха утратить невозмутимый вид, в то время как депутаты честила своего императора так что дух шел на весь мир. Накопившаяся годами подлость прорвалась, наконец, и уже не знала удержу, лживая верность показала свое истинное лицо, неизменно подразумеваемое преклонение перед признанным гением разом обратилось в гаденькую месть посредственности. Они сводили счеты со своим повелителем, с собой, со своим веком, со всей своей породой. Они потеряли всякую сдержанность, тут лишь обнаружилось, чего они стоят.

«Слово принадлежит депутату Терра». Но что еще можно было сказать? Он отдал должное нации за ее здравый смысл, депутатам — за то, что они так быстро овладели положением: впереди всех опора трона, его столпы. Сегодня они выступали наиболее резко и притом с наибольшим знанием дела; будучи столпами трона, они знали его. Их

единственной целью было оградить этот трон от его обладателя. Подрывателям основ, которые сегодня присоединились к общему хору, не следовало радоваться раньше времени: переворот в данном случае лишь укреплял существующий строй. В нем участвовали консерваторы; это был акт всеобщего примирения, подлинная солидарность народа против императора.

«А Ланна видит меня насквозь! — думал оратор. — Меня он не выслушает до конца. Сейчас он встанет и отмежуетя от всей компании». Но так как Ланна не тронулся с места, Терра похвалил его перед собранием. Примирение, солидарность народа — ведь это были, собственно, цель и суть системы, носившей его имя. Оратор распространялся насчет уравнивания всех интересов без изъятия, насчет культурного рвеня и оттенка гуманности при внутренней твердости, — словом, всего того, что делало эту систему чуть ли не совершенным изобретением, — и прославлял изобретателя, дипломата легкой руки и железной хватки, единственного, кто после побед над всеми повелителями мира безусловно справится и с императором.

«Ну, теперь он, наверное, вскочит? Стукнет по столу?..» Нет. Ланна поднялся, как обычно. На лице та же твердая невозмутимость, однако он все принимал. Он принимал миссию, возлагаемую собранием; возгласы и приветственные жесты, которые летели к нему со всех скамей и галерей, он собрал в один букет и из них создал для себя миссию. Какую? Передать императору пожелания германского народа, — пояснил он сам; но пожелания шли далеко.

И вот настал день, когда Ланна отправился в Потсдам. Он поехал на вокзал, он хотел открыто отправиться с миссией от народа к тому, кто уже заранее прятался, как изгнанник. Дочь поняла это по его виду, однако ни слова не сказала ему. Она проводила его на поезд, но только для того, чтобы не слишком явно отступить от него. Ее жалость исчерпалась, отныне все было отдано на волю рока.

У поезда теснилась кучка людей — то был народ в солидных сюртуках. Несколько рук протянулось с приветствием. Нашелся даже рабочий, с которым Ланна мог обменяться рукопожатием. Он повторил ему, что передаст императору пожелания народа. Когда поезд тронулся, раздалось многоголосое «ура», впечатление получилось довольно сильное. Ланна кланялся с серьезным видом. Но как плохо прикрывалось счастье маской серьезности. Вот она сдвинулась. О сияние! О молчаливый гимн радости!

Алиса, увидев это, отвернулась. Она знала: погибший человек. Она знала: беги того, в ком ослабело чутье к успеху, хотя бы тебя связывали с ним узы крови... Слишком смелые цели, слишком благородные идеи и даже избыток силы враждебны успеху, — нам же нужен успех. Успех у равнодушных и слабых, успех, который мы презираем. Но прежде всего мы должны заручиться им, а там можно, пожалуй, подумать и о том, чтобы стать достойными людьми. Перешагнуть через тех, кого мы знаем как более достойных людей, но у кого просто не хватило ловкости.

К тому времени, когда отец возвратился из Потсдама, мир успел снова измениться, — он был уже не тем, каким рисовался ему в течение одного-единственного дня. Страна вернулась к обычным делам; буря миновала, никто уже не думал свергать императора. Отец верил в прочность перемен и решений, когда в действительности вокруг все лишь обдeldывали свои дела. Как мог даже он утратить чутье к успеху?

Его дочь не на шутку волновало сознание, что это произошло в ее непосредственной близости.

Долго ли длился его самообман? В тот майский день, когда его старый приятель Иерихов снова посетил его, он еще не вполне ясно разбирался во всем.

— Меня радует, что у твоих почтенных коллег изменились чувства к императору, — сказал Ланна. — Их трогает его непривычное смирение. Многие деловые люди бывают сентиментальны, когда это им ничего не стоит. Но это не меняет требований момента, — сказал он, к удивлению Иерихова. — Оставив в стороне опеку, которая никогда не была мне по душе, — продолжал Ланна, — политически его необходимо обезвредить. Пока что я объяснился и помирился с ним, — сказал он, повышая голос и стуча по столу.

Сомнения все-таки мучают его, догадался Иерихов. Не мог же такой человек, как Ланна, считать примирением заискивающую улыбку своего заклятого врага.

Старый приятель старался щадить его.

— Ты с ним, пожалуй, слишком далеко зашел. Делает тебе честь, но этот Гогенцоллерн к такому обращению не привык. Я не стану повторять с другими, что ты на всех нас навлек немилость, хотя и я чуть не поплатился камергерством. Ну да мы свое наверстаем, он в нас нуждается.

— Наоборот, вы, с моей точки зрения, тогда чересчур разбушевались, — возразил Ланна. — Я высказывал тебе свои сомнения на этот счет.

— Да, но по-французски, — не сдержался Иерихов. — Теперь они мне ставят это на вид. Они говорят, что сказывается твое иностранное образование, тебе нет дела до бранденбургских традиций⁵⁸. — Старый приятель весь побагровел. Наконец-то все поняв, Ланна долго сидел неподвижно, когда тот ушел.

Они отступились от него! Ему пришлось быть мужественным за всех, у них же хватило мужества на одно предательство. Пожалуй, они будут голосовать и против налога на наследство? Разумеется, этот налог вообще их не устраивает. Тут они воспользуются случаем и провалят его творца, тогда он окажется всецело во власти своего повелителя. По-прежнему повелителя! «Стоило ли становиться тем, что я есть, если все мое умение, все равновесие, которое я сохраняю с несказанным трудом, ставится под вопрос из-за того, что задержался период депрессии? Когда ему следует начаться?» Он погрузился в вычисления. Подсчитывая, он ходил по комнате и время от времени выкрикивал вслух:

— Он не осмелится! Он плакал передо мной, клянчил, чтобы я остался!

Зехтинг приоткрыл дверь — что там происходит? Но Ланна продолжал свои подсчеты.

Он внес в рейхстаг законопроект о налоге на наследство, законопроект провалился, и Ланна отправился в Киль просить императора об отставке. Никто не понял, что это парламентская смерть.

Отставку он получил. Возвратившись, он пошел пешком на Фосштрассе, к графине

⁵⁸ ...до бранденбургских традиций. — Бранденбургское маркграфство — историческое ядро Прусского королевства.

Альтгот. Он сказал швейцару:

— Сюда должны доставить телеграмму из Киля. — Ведь телеграмма с отменой отставки и с мольбой о его приезде должна прийти неотвратимо, как ночь. Больной не вытерпит и часа!

Князь Ланна поднялся один по широкой старинной лестнице, немногим сильнее обычного налегая на тонкие перила. Перед ним беззвучно растворились двери в три тихих покоя — первый с большой вазой, второй продолговатый, третий маленький зеркальный; всюду тишина, всюду полумрак от длинных блеклых драпировок. В четвертом за чайным столом сидела его подруга; он заметил, что она постарела. Он поцеловал ее морщинистую руку, сел подле нее и принялся есть. Он не хотел глядеть в боковое зеркало. Старый лакей прислуживал им бесшумно. Они ничего не говорили, каждый улыбался ободряюще.

Но вот пришла Алиса. Дочь обменялась взглядом со старой приятельницей, отец видел, но не хотел видеть этот взгляд. Она то и дело склонялась к нему, нежно касаясь его.

— Повсюду говорят о твоей отставке как о немыслимой катастрофе. Никто не хочет ей верить.

— Когда-нибудь этого потребует естественный ход вещей, — возразил он и прислушался: телеграмма пришла.

Предупредительный лакей растворил дверь, и они увидели фигуру еще совсем далеко, у вазы; она продвигалась вперед по блестящему паркету, о который стучала ее палка. Растопыренные когти хватили воздух, белая как лунь голова как будто клевала при каждом шаге, утлое тельце в узком сюртуке сгибалось под углом. Медленный путь из устрашающих далей, и, наконец, он прибыл — действительный тайный советник фон Губиц. Альтгот и Алиса встретили его отчаянными, всякому понятными знаками, но что могло понять это безумное птичье лицо! Карканье, растопыренные в воздухе когти. «Конец. Толлебен вызван в Киль». И он, отвернувшись, упал в кресло, забился в него.

Алиса и подруга опустили глаза в тарелки. Ничего? Нет, крик. Чуждый крик, слабый, жалобный, полный ужаса, — за ним второй, громче. Ланна встал, он стискивал себе виски, он кричал от боли, он стучался, ничего не видя от боли, о стены. Угловатые стены, обрамленные плоскими пилястрами; в каждой стене внизу была кованая позолоченная дверца, раскрывавшаяся на раскрашенный ландшафт. Ланна рвался наружу; как слепой, бросался он в одну стену за другой, и всякий раз, как они отбрасывали его, снова раздавался его чуждый крик. Но в последней стене вместо ландшафта было зеркало, и он увидел себя. Не мог поверить, что это его лицо, эта бесстыдно разверстая бездна — его лицо. Но он признал его своим, повернулся и показал его.

Дочь хотела броситься к нему, подхватить, поддержать его. Подруга протянула руки. Он оттолкнул обеих.

— Предатели! — крикнул он. — Предатели! — еще раз, еще двадцать раз: — Предатели! — Так как дверь открылась, он крикнул в нее. На пороге стоял Терра и бормотал:

— Я не мог оставаться в стороне в этот роковой час.

Из повернутого боком кресла раздалось карканье:

— Все предатели! Блокаду не прорвать! Князь Ланна, вы уходите, — я тоже. — К концу голос ослабел, когтистая рука еще шевелилась.

— Вы заплатите мне за это! — крикнул Ланна; он стоял, выпрямившись и страшно побагровев, посреди комнаты. — Вы все пожалеете, что предали меня. Вы рассчитываете наследовать мне: но мне не наследует никто. После меня ничего не останется. Я был последним, мною все держалось, мной одним. А дальше катастрофа! — Он пошатнулся.

Никто не двинулся, только рухнула какая-то масса. Шевелившаяся над креслом рука исчезла, и масса соскользнула на пол... Когда она застыла в неподвижности, Ланна подошел к ней, заглянул в помутневшие глаза. Кровь медленно отлила у него от лица, выражение стало холодным, оно стало ледяным от презрения. Смерть, чего она хочет? Смерть, что она может? Власть потеряна! Власть! Власть!

Он повернулся спиной. Позади него его старая подруга закрыла лицо руками, из широко раскрытых глаз дочери лишились слезы. Терра со слугой подняли покойника и понесли. Сперва торжественным шагом по пустынному паркету, во второй комнате уже быстрее. В третьей, мимо вазы, они просто бежали.

Глава II Кто зовет?

Мангольф, министр иностранных дел, был подчинен канцлеру, которого император сразу же предупредил:

— Дольше девяти месяцев вам не продержаться.

Статс-секретарь думал: «Разумеется — нет, особенно ведя политику, противоречащую очевидности. Толлебенем руководит жена, а она противница промышленности и войны».

Дальше мысли Мангольфа не шли, он не хотел углубляться в сокровенные мотивы женской души. Мотив мог попросту именоваться Терра, он боялся поверить этому. Рейхсканцлер, руководимый Терра, явно не способен продержаться и девять месяцев. Но Толлебен остался. Он осмелился вредить. Он осмелился допустить весьма опасный процесс Кнака, от которого некоторые противники войны ждали разоблачения международного концерна военных снаряжений. А что же в результате открыл процесс? Что мог он открыть? То, что два фельдфебеля были подкуплены и что было поставлено некоторое количество недоброкачественных рельсов, вот и все.

Зять Кнака, покойного главы фирмы, не нуждался в таком подтверждении. Он давно знал, где большая сила, — в недружной ли, зависимой среде политических деятелей, или в лоне той промышленности, что самовластно строила свое бытие на грядущей войне. Он знал, кто из них руководит, а кто участвует как послушное орудие. Сам он предпочитал быть убежденным и преуспевающим участником.

Лишь тот, кто проводит все требования промышленности, может осуществлять их в интересах государства. На основе победоносной войны воздвигни мировое владычество руководимого тобой государства, но отнюдь не промышленности! Пользуйся ее услугами и держи ее в подчинении! Вместо корыстных интересов — идея всеевропейской державы по окончании европейской войны. Мангольф думал:

«Небывалое преимущество — одиноко и независимо противостоять всем другим государствам. Лишь победоносный противник может объединить их. Ведь и враги в сущности будут бороться за объединение Европы. Мы хотим того же, что и они, нас всех увлекает одно неотвратимое течение. Кто кого опередит? Во всех странах немало нас, таких, кто знает, в чем цель грядущей войны. Но кто сравнится со мной в честолюбии?» При будущем противнике войны состояли люди, сходные с ним и способствовавшие собственной карьере, способствуя войне. «Разница только в чинах, которых мы достигли по службе и которые дают нам право выступать более или менее открыто. Передо мной, горемычным, стоит канцлер-пацифист». Что, однако, не помешало ему выслать против Франции судно под названием «Пантера»⁵⁹ — на радость его единомышленникам во Франции, тоже жаждавшим достигнуть чинов... Что не мешало ни ему, ни им поощрять балканские войны, участвовать в них в качестве враждующих дипломатических группировок и расширять свою промышленную базу... Вот тут-то и была загадка.

Мангольф дивился. Ведь война уже началась, а никто этого не понимал, да все равно уклониться было поздно. Но люди этого не понимали! Как можно — участвовать в войне и не понимать этого! Воображать, будто она происходит где-то на краю света, будто только там убивают, только там свергают монархов, — а самим наслаждаться культурными ценностями и сочетать скромные аферы с социальными идеями! В перспективе же была грандиознейшая мировая афера безо всяких социальных устремлений. Ей эквивалентом служила кровь, которой уже дышали эти июльские дни! «Неужто вы ничего не видите?» — мысленно вопрошал Мангольф, проезжая площадями сквозь людские толпы. Он был уверен — вот сейчас все остановятся на бегу, в ужасе возденут руки, видя, что ноги у них тонут в крови. Вся площадь в крови! В их крови!

Но они ничего не видели, они продолжали свой безрассудный бег. Только Мангольф видел и содрогался. Он сидел один в мчащемся сквозь толпу автомобиле, его осунувшееся лицо выражало страдание и ожесточенность. Служба и долг тяготели над ним. Но вина? Ее он за собой не знал. Ответственность? Ее он отклонял. Он действовал от имени высших сил, — высших лишь потому, что все в сущности содействуют им. Все те, что до сих пор не видели крови на площади, в душе не возражали, чтобы она пролилась. Обретенная в борьбе жизненная энергия должна была очистить их от долгого расслабляющего и развращающего мира. Мангольф знал их: истые сыны цивилизации, означавшей убийство слабейшего и прикрашенное людоедство. Разрушив миф о человеке, они стремились назад к первобытному состоянию!

Разве в противном случае они позволили бы всяким генералам и адмиралам изо дня в день открыто агитировать в пользу войны! Мангольф опустил уголки рта. А что знали сами эти фанфароны? Тоже одурманенные, тоже обращенные в простое орудие, они толковали о том, чтобы искать ссоры с Англией на почве колоний, потом объявить войну, потом растоптать Францию, а дальше — мировое владычество или то, что они так именовали и о чем понятия не имели. Но едва пробьет час, как они побледнеют, в

⁵⁹ ...выслать против Франции судно под названием «Пантера». — В 1911 году между Германией и Францией возник второй марокканский конфликт в связи с занятием французами столицы Марокко. Для оказания давления на Францию германское правительство послало в марокканские воды канонерку «Пантера».

своим ничтожеством отрекутся от того, что делали, и закричат: «Держите вора!» Знание? Только здесь. И Мангольф поник пергаментным лбом.

Бесконечно далеким казался период Ланна. Неужто прошло всего пять лет? Сейчас июль 1914 года, а всего пять лет назад возможны были ребяческие уловки, направленные на «сохранение мира», которого и тогда уже не существовало! Самому Ланна пришлось бы теперь убедиться, что с этим кончено. Но что видел несчастный Толлебен? У него бывали минуты мнимого просветления, когда он объявлял, что вопрос о разоружении не может быть разрешен, пока люди остаются людьми, а государства государствами. Правда, эти светлые минуты стали возникать лишь после того, как Мангольф натравил на него своих пангерманцев. Однако обнародовать проект закона о военной повинности Толлебен все-таки не решался. Императору пришлось пригрозить, что это будет сделано военным министром и обер-адмиралом. Мангольф задумывался над отношением императора к своему канцлеру, который должен был продержаться лишь девять месяцев и все еще держался, нередко попадал в немилость, но казался незаменимым.

Император предвидел больше, чем остальные, оттого он и был болен; им владел страх! Его громкие фразы и лихорадочная жажда вооружений означали заглушенный страх. А припадки его означали страх неприкрытый. Мангольф, допущенный как-то в недобрый час, с тех пор представлял себе императора в сумерках, дрожащего всем телом, как животное, чутьем угадывающее, что снаружи в ночи крадется враг. Быть может, Толлебен умел утешить его? Он был набожен. Неверующий Ланна так и не нашел пути к душе императора, — быть может, простаку Толлебену это удалось. Быть может, они молились. Император не стал бы молиться ни с буржуазным министром, ни даже с духовным лицом. Но с отпрыском знатного прусского рода, с боннским корпорантом, гальберштадским кирасиром?..

Мангольфу хотелось бы, чтобы кирасир стал набожным из хитрости. Тогда бы он был более достойным противником и устранение его — более славным делом. Но он, по-видимому, был благочестив по простоте сердечной. Спрашивалось, кто его сделал таким, кто смирил бесхитростного забияку, кто превратил грубого чиновника в совестливую душу? Терра? Опять Терра? Каким же образом?

Мангольф много думал о Терра. То, что сам он делал всю жизнь, определялось меняющимся ходом событий и одновременно тем, что делал Терра. Мангольф иногда сознавал это, тогда он особенно старался поступать наперекор Терра, ибо он его презирал. Никогда в жизни не чувствовал он такого непомерного презрения к жалкому неудачнику, к его бесплодному притворству — во имя целей, которые глупцы назвали бы благородными, если бы он по крайней мере открыто объявил их. Но вместо этого Терра, как депутат, ратовал за проект закона о воинской повинности и необходимость «приносить жертвы государству». Как член кнаковского правления, он участвовал в еще худших махинациях.

Все эти дельцы, пожалуй, особенно хлопотали о войне с тех пор, как один из них настраивал канцлера против нее. При Толлебене Терра орудовал через его жену. Дочь Ланна вела непонятную игру, скорее можно было понять самого Толлебена. И он в свою очередь увлекся химерой угольной монополии, тем мнимым усилением государства, которое на данном отрезке времени привело бы к полному краху. Хуже всего, что Толлебен не умел шутить, подобно Ланна. Его благочестивая серьезность была опасна, она уже не раз служила препятствием для руководящих сил.

Хорошо еще, что Мангольфу удавалось не допускать крайностей. На потребу неугомонному Терра он измышлял сенсационные известия, неправдоподобнейшие военные козни. Рейхсканцлер получал эти сведения от Терра и тут же от Мангольфа — доказательства их ложности. Еще лучше, если неисправимый Терра помещал эти сомнительные известия в газетах. Тут Мангольф мог вмешаться более или менее открыто. Это защищало его от подозрений толпы, будто все зло в нем.

В сущности Терра был удобен Мангольфу. Как удобно, например, что у него такой сын! Молодчик этот до отбытия в Африку был чем-то вроде компаньона в делах собственной матери. Даже для вольных нравов последнего времени это было слишком, скандал грозил неотвратимо. Все влияние Терра уже не могло потушить его; тогда Терра отправился просить друга. Мангольф помог: сына услали в отдаленные части света для охоты в современном духе на животных и людей.

Теперь он вернулся и помогал разжигать страсти менее глупо и плоско, чем генералы и адмиралы. Мангольф ценил молодое поколение. «Оно лучше нас осознает свое тело», — потому и явления мира оно воспринимает более плотски, низменнее, а следовательно, вернее. «Ему легче быть храбрым, — думал Мангольф, опуская уголки рта. — Оно не унесет с собой в могилу никаких идеалов». У молодого поколения были свои положительные качества, и первое — ненависть к отцам!

Мангольфу, на его несчастье, тоже не любила дочь. Подростающая сводная сестра Клаудиуса Терра-младшего считала отцом Толлебена. После того как Мангольф рискнул разуверить ее, она стала его врагом. Он обречен был на одиночество. С Леей все покончено, кончено всерьез, возврат немислим. Леа тоже с избытком превысила меру дозволенного снисходительными нравами современности.

А вдобавок ко всему отчужденность между ним и Беллой, медленное, но, по-видимому, неудержимое оскудение его брака. «Тут траве не расти», — чувствовал Мангольф. Иссушающее дыхание веяло ему навстречу с порога его собственного дома: его собственная атмосфера, годами создававшаяся вокруг него.

В этот вечер он, как всегда, хотел сразу уйти к себе, но Белла остановила его. Неужели он забыл? Сегодня годовщина их свадьбы. Она робко улыбалась.

Ему стало неприятно от сознания, что она борется, все еще борется за него. «Я не стою этого», — хотелось ему сказать, но он только сухо извинился. Он остался сух, хоть и видел, что она стареет, что ей грустно и она ищет сближения с ним. Она выслушала его, потом ответила покорно:

— Я знаю, ты перегружен сверх меры и вчера до поздней ночи просидел на офицерской пирушке, а тебе нельзя пить. Да, конечно, они твои сторонники, тебе они нужны в политических целях. Но, может быть, сегодня у тебя найдется немного времени и для жены? — спросила она с насильственной веселостью; она отважилась открыть дверь в его спальню. Он учтиво ответил, что она соскучится так долго ждать его.

— Вот моя ночь, — заметил он, раскладывая бумаги.

Она не двигалась с места; она стояла поодаль, позади него и не садилась. Она увидела, как выступает на его все еще покрытом пышной черной шевелюрой черепе лобная кость, как провалились щеки. «Скоро он совсем будет похож на смерть, — осознала она и тут же подумала: — Что за сила, что за человек!» — И сердце у нее

застучало с былой страстностью.

Неужели он забыл, что она здесь? Она упустила момент и не решалась напомнить о себе; она стояла безмолвно и думала: «Я часто бывала глупа и вообще ничем не замечательна, он же большой человек. Но ведь мы уже так давно вместе. Что бы ни было в прошлом, теперь я отцвела. Молодость мою, подаренную ему, он мне не вернет, это даже ему не под силу». Еще немного, и она стала бы упрекать его за то, что он ее разлюбил. Как отчаянно боролась она с Леей Терра в уверенности, что единственная помеха — Леа, что после она вернет свое, забудутся все нарушения супружеского долга, все обиды, и она вернет свое — навсегда, до старости и до самого конца, А вместо этого? Он перестал бывать у Леи, но не шел и к ней. Никакой третьей у него тоже нет, Белла установила за ним слежку. Так что же это?

Она ногой хотела придвинуть стул, но стула вблизи не было, и она, невзирая на усталость, продолжала стоять, чтобы не быть замеченной. Лишь рыдания выдали ее. Мангольф принес стул.

— Прости! Прости, пожалуйста! Я был твердо уверен, что тебя здесь нет.

— В этом ты всегда твердо уверен. Я тебе совсем не нужна. Нам лучше разойтись.

Она говорила раздраженно, закрыв лицо носовым платком.

Он подождал, чтобы она выплакалась.

— Не будь ребенком! — сказал он затем. — Мы уже не молоды. Наше общественное положение...

— Твоя карьера! Одна твоя карьера! — прервала она. — С самого начала одна твоя карьера! — Она отняла платок и недоуменно взглянула на него, как будто видела его впервые. — Даже из страха потерять меня и мое влияние ты не в силах сказать мне, что любишь меня.

— Мы были больше, чем любовники: союзники, — вставил он, но стареющая женщина не слушала. Она продолжала недоуменно глядеть на него:

— Почему ты бросил свою возлюбленную? С ней ты не стал бы рейхсканцлером. Меня ты хочешь сохранить, чтобы стать рейхсканцлером. Ты не любил ни ее, ни меня. Ты не способен любить.

Он открыл было рот, но раздумал. Женщине в таком состоянии нельзя напоминать о том самом очевидном, что она хочет забыть. Разумный расчет, который привел мужчину к браку, мог превратиться в дружбу, в общность жизненных интересов. Да, — но молодая женщина, которую он заставил жить в атмосфере обмана, превратилась в обманутое жизнью создание, сидевшее здесь перед ним; такова была истина. Перед Мангольфom словно разорвалась завеса, и он увидел всю женщину в целом: задорного сорванца былых времен, затем жеманную эстетку и, наконец, мятущуюся душу настоящей минуты, женщину с обведенными тенью глазами, словно провалами на лице, — но все эти образы слились воедино в той, что всегда хотела принадлежать ему. Он чувствовал, как в душе шевелится раскаяние, жалость проснулась в нем.

На свою беду, жена сказала в этот миг:

— Я отдам тебе половину паев, которые оставил мне отец, отпустишь ты меня тогда?

Он тотчас принял суровый вид.

— Рейхсканцлером — согласен. Но как тебе пришло в голову, будто я во что бы то ни стало хочу быть крупным акционером? Вот где сказалось твое происхождение.

Белла прикусила губу.

— Ты похож на своего друга Терра, — сказала она в отместку. — Вы оба чересчур рассудочны, с женщинами вам не везет. Во что превратил твой друг мою бедную Алису!

Мангольф насторожился, мысли его сразу же соскользнули в привычную колею. Как Терра добился власти над Толлебенем?

— По-видимому, мало радости надувать беднягу Толлебена, — заметил он пренебрежительно. — У твоей подружки Алисы плохой вид... — и при этом выжидающе вглядывался в лицо Беллы. Оно стало злым и замкнутым.

Собственное несчастье сделало Беллу восприимчивой к перипетиям чужой судьбы. Она уже не верила тому, чему принято верить. Но страдание, о котором она догадывалась, вынуждало ее к непривычной скрытности.

— Такие, как ты, не умеют разбираться в женщинах, — только и сказала она.

Он ждал, что она скажет дальше. Так как дальше ничего не последовало, он зашагал по комнате, стараясь вызвать ее на возражения.

— Впрочем, вид у нее не плохой. Скорее, своеобразный. Пожалуй, она изменилась к лучшему, правда? Красивой она никогда не была, ты не находишь? Я не умею ценить в женщинах иронию. Теперь она стала строже. А кстати, откуда такая строгость? Ты не понимаешь? Зрелость придает другое выражение, — говорил он. — Овал лица у нее не изменился. Она белится? Нет? Но лицо стало каким-то, можно сказать, монашеским... Более того... — И под затаенное, сосредоточенное злое молчание жены он закончил: — До чего только не додумаешься! Мертвая, она была бы похожа на монаха — на испанского монаха. — Он запнулся, ему стало жутко. — Что ты скажешь? — спросил он сурово.

Долгое молчание, потом послышался голос Беллы:

— Это плохо кончится.

— А? — И больше ничего. У него вдруг пропало желание знать что бы то ни было о тех, в глубине сада, и даже о самом себе.

— Все, все кончится плохо, — добавила Белла.

И оба затаили дыхание, вглядываясь вдаль.

А в глубине сада Терра шел к Толлебенам, мужу и жене. Внизу, в первом этаже, перед ним открыли дверь будуара. Алиса покинула парадные залы верхнего этажа. Она говорила, что здесь, в комнатах Бисмарка, чувствует себя менее чужой, чем наверху. Почему? Ведь наверху была ее собственная, некогда тщеславно и любовно подбирившаяся обстановка.

Здесь, внизу, правда, только двери были позолочены. Между высокими трюмо раньше стоял письменный стол Бисмарка, — теперь он служил в соседней комнате канцлеру Толлебену. Слышно было, как Толлебен шагает там взад и вперед.

— К нему приходили генералы, — сказала Алиса. — Он в мундире. Сегодня у него воинственное настроение.

— Гекерот тоже был? — спросил Терра, но лишь затем, чтобы беспрепятственно смотреть ей в лицо. Она ответила, что был и что он громко кричал: «Хоть бы котел поскорее взорвался!» Он, по-видимому, считал это техническим завоеванием... Алиса улыбнулась. Терра молча, не в силах оторваться, смотрел, как на удлинённом матово-бледном лице узкие глаза сияли между темными колючими ободками. Они блестели, как всегда, но другим светом, исходящим из неведомого источника. Разве Алиса не далека от мира? И все же она только что улыбалась, хотя сейчас улыбки как не бывало, — испуганной улыбки балансирующей на проволоке женщины. Твердая почва и спокойствие отсутствовали. Щадя ее, Терра, наконец, заговорил.

Он сказал, что прием, который окажет ему Толлебен, будет в значительной мере зависеть от тех известий, которые он принес. Сегодняшние его известия должны затмить все, ранее бывшие... Алиса осталась равнодушна. Как страстно ухватилась бы она прежде за такие новости... Однако нет. На лице ее отразилась страсть. Лишь одна уцелевшая, одна-единственная. Ему самому стало больно, словно заныли старые раны. К чему, боже ты мой, напоминать друг другу о том, что жизнь упущена? Он позволил себе намек на нежное утешение — сделал вид, будто берет ее руку и прижимает к своей груди; все это еле намеченными движениями собственной руки. «Как всегда?» — спросил он ее опущенные глаза; и тут они раскрылись и сказали: «Всегда».

Жадно вглядывался он в это видение. Попробуй он назвать ее сейчас на «ты», она, пожалуй, убежит. Телом они были сейчас несравненно дальше друг от друга, чем даже в те времена, когда угрюмой либвальдовской ночью слили воедино свое безумие и свою боль. Всякая надежда на свершение давно изжита, но женщина способна хранить нетленной перенесенную в духовную сферу и посвященную богу преходящую земную страсть.

— Почему я еще здесь? — спросила она. — Должно быть, только потому, что вы меня удерживаете. Вы еще боретесь против катастрофы. Еще верите в наше спасение.

— А вы нет?

Тут снова на него взглянула все та же страсть, но уже отрешенная от мира.

— Мы владеем лишь тем, что чувствуем. Власть? Я знаю, чего стоит власть, — медленно произнесла Алиса.

Терра понял: она подразумевает незабываемое для нее падение отца, хотя сам Ланна воспринял его менее тяжело. Он продолжал жить, дочь же поистине заглянула в небытие и не могла оправиться от этого.

— Так, значит, с честолюбием покончено? — прошептал Терра.

«Как могла я думать, что стоит жить на свете ради него! — ответила она пожатием плеч. Но потом она выпрямилась, величавой осанкой она теперь напоминала архангела. — Когда настанет пора великих жертв, я хочу быть еще здесь».

Ее последнее честолюбивое желание! Терра содрогнулся, он увидел перед собой ангела смерти. Свет лампы вокруг видения померк, оно светилось само... Он метнулся назад, в действительность, но нашел одно бывшее. Мощный и грозный ангел превратился в юную девушку; удивительно легко, на с запасом любви на целую жизнь

в полужакрытых сияющих глазах, вспрыгнула она к нему, на его карусель.

Терра тяжело вздохнул и торопливо осведомился, что делает Толлебен, его совсем не стало слышно.

— Он молится, — сказала Алиса. — Уже поздно. Перед тем как выйти к чаю, он молится. А может быть, уснул. — Она постучалась, он, по-видимому, действительно спал. Тогда она отворила дверь. Терра заглянул через ее плечо. Они увидели, как рослый кирасир то протягивает молитвенно сложенные руки через раскрытое окно в ночной Тиргартен, то отводит их обратно. Лунный свет падал на его желтый воротник. Он говорил с богом вполголоса, только некоторые фразы прозвучали громче:

— Истреби наших врагов! Сотри с лица земли Англию! Иначе нам не миновать войны. Милосердый боже, сделай, чтобы император завтра принял сперва меня, а не Фишера! Сделай, чтобы у Гекерота по-настоящему разыгрался грипп. Дай мне, чтобы у меня с большого пальца сошла опухоль! Пошли мор на Францию! Дай, чтобы Бохумские сталелитейные стоили завтра двести десять!.. Милосердый боже, помоги мне справедливо думать о моей жене!

Выпученный глаз поблескивал на мнимобисмарковском профиле... Толлебен повернулся лицом к комнате великого предшественника, оперся кулаками на исторический письменный стол, глядя поверх зеленого абажура настольной лампы в сторону двери. Вошел один Терра.

— Ваше превосходительство, надеюсь, вы простите мне столь позднее вторжение по весьма неожиданному поводу.

— Почти все ваши поводы бывают неожиданны.

— Не в такой мере. Сейчас, пока мы тут беседуем, в помещении генерального штаба собираются двадцать или тридцать промышленников совместно с высшим военным командованием.

— Что же дальше?

— У них будет совещание.

— Очевидно, насчет поставок? Вы очень любезны, Терра.

— Беседа о поставках может далеко завести в таких условиях. Люди, которым грозит экономический кризис, если вскоре не будет побед, беседуют с людьми, у которых все мировоззрение зиждется на победах.

Толлебену стало не по себе.

— Политические решения принимаю я один. Я прикажу закрыть собрание. — Он потянулся к звонку.

— Подождите звонить! — попросил Терра. Он даже сел. — Лучше будет, если я сам пойду туда, но лишь в нужную минуту. Мои коллеги давно не доверяют мне, иначе они были бы слишком глупы. В случае войны это может стоить мне головы.

Терра забежал вперед, он знал, что за первой вспышкой у Толлебена возникнет подозрение.

В самом деле, канцлер сказал:

— Все, что вы мне сообщаете, сейчас же опровергается моим статс-секретарем. Как

же я могу вам верить? Собственный ваш сын доставляет нам много хлопот. Мне докладывали, что он был в числе тех, кто учинил последнее буйство в трактире по ту сторону французской границы. Провокатор на службе у ваших политических врагов — вот кто ваш сын, господин депутат Терра. Кто же в таком случае вы сами?

— У меня есть знакомый в иностранном легионе, — начал Терра. — Он всецело предан мне, я использую его как мне угодно. Он до полусмерти избил моего сына. Не откажите подчеркнуть это обстоятельство в ваших ответственных переговорах, если мне дозволено советовать вашему превосходительству.

Толлебен промолчал. Он почувствовал насмешку. Не это тревожило его. Он сел напротив Терра. Несмотря на мундир, его устами заговорил отнюдь не Бисмарк, а озабоченный мелкий чиновник:

— Я обещал вам угольную монополию. Вы так ловко убеждали меня. Кое-какие преимущества в этом есть. Но я бессилён что-либо сделать, у меня руки связаны. Верните мне мое слово.

— Нет, — сказал Терра.

Толлебен подскочил.

— Мне на вас... — и, взглянув на окно, откуда он только что взывал к богу, — начхать, — закончил он вяло, ибо и слово его было во власти божьей.

— Договор с Англией, наконец, готов к подписи, — утешил его Терра. — Не больше чем через месяц ваше превосходительство станет величайшим человеком современной истории. Но неужели можно терпеть, чтобы существовала группа людей, готовых напасть на вас с тыла? Людей, наново бросающих вызов врагам? Всеми средствами мешающих вашей политике?

— Дельцы забрали слишком большую власть, — заворчал Толлебен. — В хорошие времена этого не было, и теперь не должно быть.

— А кто же восстал против другого английского предложения два года назад? Ваш приятель Фишер и гамбургский бургомистр. Однако стремиться заполучить уголь и руду во всем мире... — Терра не пришлось продолжать, Толлебен побагровел и засвистал.

— Войны допускать нельзя. Иначе потом хозяевами будут углепромышленники.

— Этим все сказано, — заключил Терра.

Но Толлебен привык повторять все по нескольку раз.

— Каким-то угольщикам не бывать хозяевами, они не представители исторической Пруссии. И те, у кого мы покупаем патроны, тоже нет. Хозяевами должны быть мы, ибо мы расстреливаем эти патроны. Угольщики...

Терра предоставил ему заниматься полезным упражнением, а сам украдкой взглянул на часы.

— Законопроект о государственной монополии на уголь и руду может быть поставлен на обсуждение рейхстага в ближайшую пятницу, — сказал он холодно и веско.

Толлебен тотчас осел.

— Повремените немножко! — попросил он.

— Будьте же мужчиной!

— Что вам с того? А на меня поднимутся все, даже социал-демократы, они голосовали за военные кредиты. Я паду. Война тогда неизбежна.

— Так думал еще князь Ланна. Боритесь! Разоблачите виновных! Пригрозите несчастному императору мировым скандалом, и он на все пойдет. Довольно миндальничать! Доведите до открытого взрыва. В тот же миг и в других странах не замедлят с разоблачениями. Мы принудим все правительства принять у себя меры против поджигателей войны. — Поднявшись и собрав все силы: — Действуйте! Не упустите момента. Возможно, что он последний! Страшная моральная напряженность этой минуты отдает вам в руки общественное мнение. Вы приступом возьмете монополию.

Толлебен покорно поднял глаза на эту порабощавшую его силу. Что делать, — удержу ей не было.

— Начнем! Время не терпит! — воскликнул Терра, размахивая руками. — Дайте мне солдат, чтобы арестовать по обвинению в государственной измене собравшуюся в генеральном штабе компанию!

Неужели этот дикарь ничего не смыслит во взаимоотношениях и законности? Несмотря на смирение, Толлебен колебался. Робко поморгав, он сказал высоким, пискливым голосом:

— Почему именно вы не хотите войны? Сами ведь торгуете углем. Потому что много народу погибнет? Не может вас это волновать, не так вы молоды. — Снова поморгав: — Войны не должно быть, чтобы вы поставили на своем.

Терра сильно вздрогнул. Услышать это от простака! Терра отодвинулся в тень до самой стены и тут лишь вспомнил, что истина не так проста.

— Что вы понимаете! — пробормотал он.

А Толлебен тоже про себя:

— Но Алиса? При чем же тут Алиса? — Видно было, что он боязливо старается распутаться во всех этих тайнах. Пауза.

— Она святая, — сказал Терра.

— Мы святых не знаем, — возразил протестант.

— Нет, знаем. Это те, что не ведают страха человеческого. Хотя и сказано: не противься злу, но святость в том, чтобы все-таки ему противиться.

Растерянность, испуг, — но внезапно удивительнейшая перемена, как будто вмешательство властной руки, и на черты Толлебена легла тишина.

— Мы не выбирали своего пути, он был нам предначертан, — промолвил он. Ибо он был под властью непознаваемой женщины и невыполнимого долга и покорствовал судьбе.

— Я не могу сам договориться с женой. Ничего не поделаешь, — кротко признал он. — Вы только скажите ей: что я должен сделать, то и сделаю. Что именно? Она лучше знает. — Насколько мыслимо еще смиреннее, но запинаясь, словно с трудом

додумывая что-то: — Если потребуется жертва...

Терра тихо повторил:

— Если потребуется жертва...

— Я скорее погибну за отечество...

— ...погибну за отечество.

— ...чем решусь до конца узнать его.

Оба еще шевелили губами, когда уже перестали говорить; тишина показалась им чудовищной.

Затем Толлебен пожал руку Терра и ушел, словно сам был тем неведомым, что шел крестным путем.

Терра поглядел ему вслед, хотел крикнуть: «До пятницы! Теперь вы вдвойне дали мне слово!» — но только поглядел ему вслед.

И вдруг кинулся прочь.

Разогретый асфальт, запах горелой пыли; даже во время быстрой езды на Кенигсплац Терра не мог отделаться от запаха гари. На пороге красного здания сердце у него забилося; ему пришлось остановиться, чтобы перевести дух.

Белый зал, оштукатуренная стена, перед ней за длинным столом черные фигуры, уродливые, карикатурные фигуры, не в меру ожиревшие или совсем высохшие, между двумя апоплексическими лицами непременно одно испитое. Офицеры с высокопарной грацией звякали шпорами перед одним из чудовищ: «Господин директор!», затем чопорно и презрительно опускались рядом с ним на жесткий стул. На этот раз ему не дали глубокого кресла! Умышленно не дали! Военная суровость, — его посадили у голой стены, так у него вид был импозантнее!

— Не угодно ли сигару, господин граф? — с нарочитой грубостью, смущенно и фальшиво спросил промышленник и добавил: — Подарок моего друга Памстея из стального треста, американского миллиардера, господин граф! Сегодня вместе завтракали.

— Завтракали? Очень хорошо, — повторил офицер, убежденный, что эта мразь непременно должна днем обедать, и притом картофельным супом. Тем сильнее подчеркивал он собственное тонкое воспитание. Директору стало невмоготу.

— После войны мы возьмем дело в свои руки, господин граф!

— Превосходно, господин директор.

— У вас здесь мертвечина какая-то!

Граф Гаунфест, уклончиво:

— Вы не знаете, кто тот молодой брюнет, что стоит подле господина председателя Плоквурста?

— Гедульдих. Его секретарь. Что вы в нем нашли? — Тупое недоумение отца семейства.

Молодой Гедульдих почуял что-то и, прищурясь, послал в ответ иронический взгляд, полный соблазна. На графа Гаунфеста после этого стало так неприятно

смотреть, что промышленник в ужасе отодвинулся. Председатель Плоквурст тоже был явно шокирован, глаза у него налились кровью; он одернул своего секретаря, потом возвысил голос.

— Какова же основная цель? — взревел он.

— Скорее ринуться в бой, — прогнусавила офицерская головка, насаженная на длинную вилку.

— Захватить колонии! — крикнул один из директоров правления.

— Неверно! — заревел Плоквурст.

— Всыпать моему приятелю Пейцтеру, — заявил обер-адмирал собственной персоной.

Какой-то череп изрек:

— Необходима диктатура.

— Нет, не то! — ревел Плоквурст, меж тем как все что-то выкрикивали наперебой.

— Боевой дух! — крикнул Гаунфест, изгибая бедро в сторону молодого Гедульдиha.

— Отмена налогов! — раздавалось со всех сторон; и кваканье совершенно голых, круглых, как шар, черепов: — Контроль над всем мировым хозяйством!

Председатель Плоквурст загремел в охрипший колокольчик.

— Чушь! — взревел он; и когда шум стих: — Все это очень хорошо, ну, а если вдруг не выгорит...

— Я воспреещаю высказывать подобные сомнения в моем присутствии! — резко прозвучало из высокого форменного воротника.

— Чушь! — повторил Плоквурст. — Основная цель, — прорычал он, — утихомирить рабочих, разнести профессиональные союзы!

— И я то же говорил! — закричали все промышленники. Это было слишком важно для каждого из них, чтобы рискнуть выговорить это вслух.

— Еще десять лет, — рычал Плоквурст, — и профессиональные союзы одолеют нас, нам тогда крышка. А потому хватит церемоний: война, да поживее. Голод — дело неприятное, в эпидемиях тоже хорошего мало, но мы представляем слишком серьезные интересы, сантименты нам не к лицу.

— Совершенно справедливо! — Решительно, со скорбным оттенком.

— Действовать прямо и наверняка, чего же гуманнее! — подтвердил Плоквурст. — Потом будем восстанавливать, тут-то и начнется наш расцвет! Победа или поражение, нам безразлично. Наш враг — рабочая сволочь.

Тут всеобщая решимость приняла радостный оттенок. Но не у военных, вернее, не у всех; задумчивая добродушная физиономия произнесла:

— Кроме интересов, я помню еще о людях, кроме вас, господа, еще о нации.

— Мы все настроены националистически! — закричали те.

— Строго националистически! — заревел председатель Плоквурст. —

Национальная вражда необходима, иначе откуда возьмутся дела!

Добродушная физиономия решилась на такое энергичное вмешательство, какое только казалось ей возможным:

— Дела за счет жизни ваших соотечественников? Фи, господа! — Тишина. Ропот.

Наконец Плоквурст:

— Я беспрерывно слышу: фи! Если бы я не видел, что самые большие звезды навешаны именно на этом господине, я бы сказал: ваше превосходительство, тут вы ни черта не смыслите. Это не по вашей специальности. Занимайтесь военными смотрами!

Добродушная физиономия повернулась к выходу. Другие офицеры уговорили ее остаться. Они доказывали, что у этих субъектов вообще забавные манеры, а Плоквурст — завзятый оригинал. Оживление заметно нарастало, по всему залу кто-то кого-то убеждал. Добродушная физиономия вздумала усомниться в безусловном превосходстве германской артиллерии. Это задело за живое промышленников. Они сразу заговорили не о поставках, а о нравственной обязанности кастрировать вырождающиеся расы, неизвестно кого подразумевая под этим — то ли добродушную физиономию, то ли врага, у которого были более усовершенствованные орудия.

— Господа! — сказала уже не сама добродушная физиономия, которой все опротивело, а ее адъютант. — Вам бы следовало чаще бывать в церкви. — Хохот. Заминка, растерянность, но тотчас новая вспышка, столь сильная, что двое директоров задохлись, их пришлось попрыскать водой. У одного началась рвота, его вывели.

Фон дер Флеше, генерал-адъютант императора, пояснял тем временем другим директорам правлений, что Россия сейчас не способна вести войну, а Франция будет всячески увилывать, так что ничего не выйдет, лучше и не надеяться. На что те отвечали оскорблениями величества. Они не намерены быть и впредь свидетелями такой дряблости. Один из них стегал плетью негров в Африке и даже пробовал человеческое мясо! У него нервы крепкие!

Череп, ратовавший за диктатуру, встретил одобрение. Он тоже не знал страха. Международные проблемы могут решаться лишь кровью и железом; одни идеалисты-толстосумы противятся войне, сказал он окружающим его идеалистам, которые в порыве воодушевления забыли о своих толстых сумах. Череп всем пришелся по душе; разумный человек, хоть и интеллигент. Он свое дело знает, умеет привлекать массы даже лучше, чем его предшественник, покойный Тассе.

Череп без малейшего труда одерживал победы над всем объединившимся против нас миром, так что офицеры только дивились. Впрочем, он и в поражении не видел большой беды. Внутренняя смута и хаос породили бы в конце концов диктатуру, в которой мы давно нуждаемся...

Все это звучало превосходно, но, к сожалению, дурно пахло. Покойный Тассе издавал только запах йодоформа, а от этого скелета просто несло тлением. Он все говорил, но толпа поредела.

Что значит общая атмосфера! Обычно столь сдержанный, лояльный Швертмейер чуть не пустился в рукопашную с нашим высокочтимым обер-адмиралом. Депутат стоял за подводные лодки. Все знали, что в соответствующих ведомствах ему платят за посредничество; он выступал в защиту своих законных интересов. Но Фишер

доказывал, что под водой ничего не видно! Прискорбное столкновение двух почтеннейших, благороднейших личностей, — а в довершение всего рядом господ Мерзер и фон Гекерот прямо-таки вцепились друг в друга. Гекерот отчаянно скрежетал, пока у него не разомкнулись челюсти, а Мерзер не мог ничего выдавить из себя, кроме ворчания и шипения.

Его не так давно хватил удар. Не стало ни судорожных подергиваний, ни запретных влечений, ни страха перед тюрьмой. Доктор Мерзер отрастил бороду, приобрел благообразную наружность, наслаждался душевным покоем. Разводить новых паразитов — к чему? Назначить сына Гекерота директором-распорядителем — зачем?

Война все равно будет!.. Гекерот скрежетал, прилив крови у него к голове возбуждал всеобщую тревогу.

Опять двое избранных не поладили друг с другом, озабоченно толковали те, что порассудительнее. Кто-то стал предостерегать от возможной нескромности, тотчас каждый заподозрил каждого в предательстве.

— Существуют люди, которые со всем, что услышат, бегут к этому гнилому пацифисту Толлебену, — сказал кто-то из присутствующих, остановившись взглядом на лице Терра.

— Ко мне это ни в какой мере не относится, — возразил депутат. — Я выступал в защиту закона о воинской повинности.

— В том-то и дело, что у вас два мнения, — ответил тот и встретил сочувствие. Прозвучало слово «монополия», и целый хор голосов подхватил его. Вдруг выкрик: «Государственная измена!» Кто это? В самом деле, доктор Мерзер, хотя и лишенный дара речи, до тех пор ворчал и шипел, пока не раздался его пронзительный выкрик: «Государственная измена!» Настоящее чудо; все прямо изумились.

Но затем председательствующий Плоквурст, указуя пальцем на Терра, взвыл громче всех:

— Вы разоблачены!

Рев людского приboя. Терра стоял посреди него, застигнутый врасплох. Он чувствовал, что бледнеет и начинает гримасничать. «Один ложный шаг — и пропасть безнадежно поглотит меня. Вцепиться в горло Плоквурсту? Безнадежно. Исчезнуть? Безнадежно». Он отчаянно взмахнул рукой в сторону двери и взревел страшнее Плоквурста:

— Полиция!

Молниеносное превращение. Плоквурст нырнул куда-то, директоров как не бывало. Офицеры смеялись. Когда смех, наконец, открыл правду, директора правления повыползли отовсюду. Они были разъярены, но все еще напуганы; следовало поскорее поставить точку.

— Простая шутка... — резким тоном заявил Терра. — Я хотел доказать вам, господа, что мы еще не настолько сильны, как, быть может, полагаем. — «Мы» было подчеркнуто.

— Тем не менее вы государственный изменник, — председательствующий Плоквурст, сильно раздосадованный, до тех пор тарачил желтые белки на

ближайшего офицера, пока тот не перестал смеяться.

Наступившую тишину прорезал голос Терра:

— Господа, если бы я действительно пожелал просветить общественность на наш, господа, счет, тогда, как вы сами понимаете, вместо войны у нас были бы очень плохие дела.

— Этому надо воспрепятствовать! — Глухой ропот.

Председательствующий Плоквурст впитал весь этот ропот своей чудовищной физиономией в красных трещинах, словно солнце при землетрясении, и, надвинувшись на Терра, глухо прорычал:

— Сумеете вы сделать выводы из сказанного? Нет?.. — Ужасающе тихо, но так, что было слышно на весь зал: — Тогда мы поможем вам в этом.

Молчание, но какое-то щелканье прорвалось сквозь него, и Терра уловил этот звук. Как будто выключили цивилизацию.

Но тут звонкий, приятный голос произнес:

— Не угодно ли вам сняться, господа!

Гедульдих, секретарь Плоквурста, овладел положением. Он уже устанавливал аппарат; все поспешили приосаниться. Отвага, наглость и высокомерие, каждый в отдельности на прямом пути к господству над миром, однако худые все-таки опередили остальных. «Господа, худых на передний план!» — попросил Гедульдих. Широко раздвинутые ноги расположились словно на шеех побежденных. На собственных шеех из-за насильственного поворота головы образовались резкие борозды, словно рассеченные ножом. Гедульдих попросил повернуться профилями, так к нему на пластинку попадали и борозды. Магний вспыхнул призрачно белым светом. Молодой Гедульдих поблагодарил.

— Господа, я запечатлел ваш сверхчувственный облик.

Терра поспешил уйти. На крыльце его остановил Гедульдих.

— Куда бы отправиться отсюда? — спросил он, как будто они условились раньше.

— Как вы относитесь к «Vogue»? — предложил Терра, словно был там завсегда, и сказал, что намерен ждать, пока не проедет свободное такси.

— Вам, кажется, не по себе, господин тайный советник? — Юноша проявлял заботу и сочувствие:

— Я сильно перетрусил, скрывать нечего. Не будь вас... — начал Терра, но Гедульдих прервал его.

— Не стоит благодарности. Отложить — не значит отменить. — Он кивнул на окна, показывая, что наверху все еще творится недоброе, и продолжал говорить, бледный и пылкий, с насмешливым и вкрадчивым взглядом: — Так вот к чему вас привела ваша собственная политика? Вы разоблачены, — говорит Плоквурст. — Этого вы могли добиться и проще. Не стоило всю жизнь носить маску... Видите, ваше превосходительство, я хорошо изучил вас, — закончил он с подкупающей грацией.

— Не переоценивайте меня, я и в самом деле недалеко ушел от какого-нибудь директора правления. А в вас разве нет этой закваски? Тогда вам не на что

надеяться, — заключил он разочарованным тоном человека, много прожившего.

— Я умею завоевывать симпатии. А вы, наверное, никогда не умели, — возразил бледный, жадный к жизни юноша.

Сколько силы в этой беспечности! Невольно поддаешься насмешливому очарованию и в то же время чувствуешь силу и целеустремленность под милым скептицизмом. Какая приманка для тех, кто находится под ударом!

— Нет, никогда не умел, — подтвердил Терра. — А вы уж слишком умеете, — бесцеремонно и язвительно добавил он.

Гедульдих сразу понял.

— Плоквурст от меня без ума, — откровенно признался он. — Плоквурст неверно судит обо мне, и я дам ему это понять. Он еще удивится, до чего я нормален! Я открыто выскажу ему в лицо и про социальную революцию и что я наставляю ему рога.

Большой собственный автомобиль сделал поворот, чтобы подъехать к крыльцу.

— Простите, господин тайный советник, я на минуту покину вас. Дождь идет, у меня ноги мерзнут. Не сразу привыкаешь к коротеньким батистовым кальсонам, но так нравится дамам.

Автомобиль подъехал. Гедульдих галантно подскочил к дверце.

— Сударыня! У господина председателя совещание.

Дама зрелых лет кивнула, молодой Гедульдих сел рядом с ней.

— Я вернусь к вам! — крикнул он, отъезжая. — Можете рассказать господину Плоквурсту, чем я занят!

Но Терра увидел другой собственный автомобиль, проезжавший мимо. Он крикнул, автомобиль остановился, Эрвин Ланна вышел из него.

— Я сопровождаю дам, только они сами не знают куда.

— В «Vogue»! — крикнул Терра шоферу. Он поцеловал руку госпоже фон Блахфельдер и своей сестре Лее. Обе, в чрезмерном возбуждении, кричали наперебой:

— Мы сегодня закутили!

— В одной Иегерштрассе она выпила семь рюмок.

— Да ведь их выдула та кокотка!

— Нет, шесть вылил на пол Эрвин.

— Эрвин — наш предохранительный клапан.

— Эрвин может на мне жениться, господин Мангольф разрешил.

— А я нет! — закричала Блахфельдер и бросилась царапаться.

Терра удержал ее.

— Дитя мое, — сказал он Лее, — хорошее воспитание до сих пор удерживало тебя от крайностей.

— Ах, оставь! — Она откинулась в угол. — Это прощание, скоро всему конец.

Эрвин с обычной серьезностью, с обычной нежностью сказал:

— Наконец-то мы оба созрели для Океании.

— Без водки? Без любви? — вкрадчиво спросила Блахфельдер.

— Без мужчин, без женщин, — утомленным тоном подтвердила Леа Терра.

— Но и без денег, — напомнила Блахфельдер.

— Ну, так в Америку. — Актриса глядела в одну точку. — Ты, милый, будешь делать рисунки для модных журналов. Я буду играть, как всегда. Ладно? — Она по-прежнему глядела в одну точку. Никто не ответил ей. Все с содроганием поняли, что совсем не ладно. Ничего больше не ладится, почувствовали они на мгновение вслед за той, кого так утомила жизнь.

Но тут они очутились на Потсдамерплац. По краям тротуаров копошились какие-то остатки жизни, а в ночном небе все еще жила призрачной жизнью световая реклама; огромные звезды загорались и гасли, над крышами скользили огненные фигуры.

— Днем все это серо и уродливо, — сказала Леа Терра. — Мы тоже. Но сейчас мы ослепительно прекрасны.

Они завернули за угол и остановились. Скорее в залитый светом дом!

Внизу были только вешалки и зеркала, сказочные миры в глубине зеркал. Лица входящих дам переносились в них и празднично преображались. Плоть становилась сверхплотью в свете, мягко лившемся с большой высоты. Лица сияли, как драгоценности, резко очерченный рот казался раскрывшимся в них искусственным плодом. Вместо рукавов вокруг дивных рук, отливавших серебром, развевались вуали, скрепленные у запястий. Цвет платьев назывался танго — ярко-огненный. Платья были из тюля, узкие, длинные, но с разрезом сбоку, из которого выступала нога.

Дамы похвалялись друг перед другом формой ноги. На скамеечку была поставлена самая безупречная из всех, кавалер суетился подле нее. У дамы голубовато-зеленые волосы? Это Лили. Княгиня Лили с сыном. Терра и его сын поздоровались довольно сдержанно. Лили была шокирована, что актриса и богачка уже явно навеселе, но в конце концов она примирилась с этим, и все вошли в лифт. Лестницы не было видно, вверх шел только лифт.

На самом верху бархатные дорожки вели к широко раскинувшейся эстраде, под ней в музыке, в теплых ароматах и в свете, льющемся из скрытого источника, купался позолоченный зал, где ужинали. Кругом наподобие лож открывались гостиные — по несколько в ряд, в дальних стояла тишина. «В увеселительных местах моей юности было меньше фокусов», — подумал Терра.

Издали под сурдинку доносятся звуки танцевальной музыки, укромный шелковый уют, даже картины хорошие, словно вы в гостях у незнакомых, которые не показываются. Ливрейный лакей получил наказ быть в распоряжении гостей. Эрвин Ланна попросил крепкого кофе, — он надеялся отрезвить им Лею, если не ее приятельницу.

Обе тотчас стали танцевать. Лили была явно не в ладах с молодым Клаудиусом; Терра из своего покойного кресла видел и предмет их раздора, некоего молодого франта — верзилу с изжелта-белокурыми волосами. Вот он из передней комнаты перешел сюда и жадно припал к руке княгини. Тотчас ему вслед раздался голос

разочарованной дамы, которую он бросил на других франтов.

— Эта женщина — живая загадка. Никто уже не помнит, сколько лет она ведет веселую жизнь, — ехидно сказала соперница.

Вероятно, княгиня Лили не слышала ее. У нее на губах играла обычная неприступная улыбка. Стройное великолепие тела увенчивалось голубовато-зеленой прической, на шее не было ни единого пятнышка, своим блеском она напрашивалась на сравнение с нежным жемчугом, обвивавшим ее. Как упруго сгибалась и выпрямлялась на ходу нога в разрезе платья цвета танго! О эта эластичная мягкость, плавное, манящее скольжение! Так она приблизилась к Терра; матово-белое лицо, густо накрашенный рот очутились подле него, горделивые, как всегда. Но Терра, очевидно, плохо видел. Он не увидел неугасимого сияния зрачков, они померкли. Разрушено нетленное великолепие плоти, закатилась звезда княгини Лили, что же случилось со всеми нами? Какой ветер повеял, из какой пустыни? Откуда этот ужас небытия?

— Почему ты вздумал жалеть меня?

— А что я сказал?

— Бедная Лили!.. А у самого сегодня такой вид, будто тебе сто лет.

Он извинился. Но она сейчас же приступила к делу, Ее сын Клаудиус бывает в доме франта, на сестре которого собирается жениться. Это семья Плоквурст.

— А родители согласны? — спросил Терра.

— Прежде всего несогласна я, — сказала она. — Обеспечение, ну да, конечно. Но наш сын слишком молод, внуши ему это, ведь ты же отец!

Терра не верил, что председатель правления Плоквурст даст согласие, но Лили опасалась, что даст, ничего в жизни она, по-видимому, не боялась так, как этого брака. Для себя? Для своего сына?

— Я не могу отдать его!.. Ему нет равного. Посмотри, как он носит монокль! Посмотри на впалую линию живота! Сколько в нем дерзкого очарования! Конечно же, им хочется заполучить его. Но мой мальчик не для Плоквурстов. Дочка, это тощее убожество, даже не способна желать его. Я скорее подозреваю в этом мать. Ее согласие на брак — ловушка, она хочет совсем другого.

Тогда ей нечего тревожиться, заметил Терра; но Лили стояла на том, чтобы он образумил Клаудиуса. Иначе она решится на крайние средства, чтобы расстроить помолвку.

— А такие средства у меня есть, сам увидишь! Я готова загубить карьеру мальчика!

Странное проявление материнской заботы! Значит, она и тут думала только о себе. Ее великолепный сын принадлежит ей одной, она не уступит его даже счастью. Неумолимая, безудержная страстность отражалась на многоопытном лице, в котором никто здесь не умел читать, кроме старого друга и соучастника.

— Ну, хорошо. Пошли его ко мне, — глухо и с запинкой сказал Терра.

Она ушла; но Клаудиус явился не скоро. Он танцевал именно с той дамой, которая назвала его мать живой загадкой. Лили тотчас завладела молодым Плоквурстом, который ничего лучшего и не желал. Две прекрасные пары; первый скрипач отделился

от остальных и шаг за шагом следовал за танцующими, услаждая их слух тающими звуками своего инструмента.

Из соседних комнат, танцуя, влились посторонние. Эрвин Ланна вел в темпе танго госпожу фон Блахфельдер, невзирая на ее состояние: у него была одна цель — разлучить ее с Леей. Лею тотчас окружили. Господин, знавший ее брата, испросил разрешения представить ей нескольких дам, ее почитательниц. Это были кокетки; робко и по-детски серьезно сказали они актрисе, что восхищались ею сегодня вечером... Потом подошла еще одна дама.

Это была замужняя женщина и провинциалка, впервые привезенная сюда муженьком, который в сильнейшем волнении ждал ее поодаль. Молодая женщина принесла цветы, сверкающие белые цветы на длинных стеблях; она протянула их просительным жестом, опустила на одно колено и склонила белокурую голову. Леа лежала в кресле и даже не шевельнулась. Только брови поднялись немного выше, губа вздернулась, обнажив зубы. Ее усталый пресыщенный скептический взгляд заскользил из-под выразительных век по нежному созданию.

Потом рот закрылся, ноздри чуть дрогнули. Леа взяла цветы, прижала их к обнаженной шее, встала и пошла танцевать с молодой женщиной.

Посторонние ушли из-за стола, и появился молодой Клаудиус.

— Господин Терра! — начал он, выронил стеклышко из глаза и придал себе суровый вид. Живота действительно все равно что не было. И сын, как мать, сразу же приступил к делу. — Я хочу рассчитывать на ваше содействие в весьма важном для меня вопросе.

— Это безнадежно, — сказал Терра. Он знает председателя правления Плоквурста. — Господину Плоквурсту, конечно, и в голову не придет отдать свою дочь за моего сына.

— Я несколько в этом не сомневаюсь, — возразил Клаудиус. — Ваше имя, господин Терра, было бы непреодолимым препятствием. Поэтому я, разумеется, поостерегся назвать его. Наши взаимоотношения для Плоквурстов не существуют. Я просил бы вас обращаться со мной, как с посторонним. — И в ответ на высказанное отцом сомнение, долго ли можно поддерживать такой обман: — Эту заботу предоставьте мне. С самого своего совершеннолетия я всеми силами добиваюсь, чтобы меня официально признал мой высокопоставленный отец. — И так как Терра вновь собрался усомниться: — Хоть я и родился после развода моих родителей, но в пределах возможного срока. Я и не подумаю отказываться ни от одной из моих естественных привилегий.

— Оно и видно. Теперь скажи мне вот что, мой мальчик: ты уже вовлек молодого Плоквурста в дела?

— Странный вопрос, — заметил сын. — В дела мы вовлекаем всех, кого можем.

Терра бережно:

— Таким образом, вопрос сводится к тому, насколько глупы Плоквурсты. Будущему шурина и зятю они вряд ли позволят разорять себя. Им было бы желательнее увеличить свой капитал.

Юноша растерялся.

— Чего же они хотят, — спросил он, наконец, — раз они не хотят брака? Ведь я держал себя с ними, как джентльмен! А им во что бы то ни стало подавай князя! — Вопросы становились все тревожнее. Побледнев, с холодным бешенством: — Вы хотите сказать, что против репутации моей матери не поможешь никаким титулом? Именно поэтому я и люблю свою мать, имейте это в виду! — С ударением: — Я держусь за княжеский титул, и я держусь за репутацию моей матери. Вот я каков.

Терра налил ему вина. Юноша вытащил из рукава фрачной сорочки платочек и приложил его ко лбу. Его мать танцевала в объятиях плоквурстовского сына. Они как раз исчезли в соседней комнате. Муженек из провинции тоже удалился туда из скромности, быть может даже польщенный, что жена его переходит из рук в руки. Когда ее отпускала госпожа фон Блахфельдер, она доставалась Лее. Эрвин прилагал все усилия, чтобы отвлечь Лею. Он обратился даже к муженьку, рекомендуя ему показать молодой жене другие достопримечательности, но муженек не понял его. В то время как Эрвин, разгоряченный, опечаленный, словно изгнанник на чужбине, кружился с Блахфельдер, молодая женщина, уже наполовину охмелевшая, попала к Лее. Леа держала в одной прекрасной руке папироску, другой соблазнительно подвигала бокал. Голова склонялась к плечу. Одна щека была затенена, тем белее и трепетнее выступали остальные черты, уже слегка одутловатые, уже поблекшие. Затуманенные глаза, один сощурен, и бровь подергивается над ним так же многозначительно, как улыбаются губы. Молодая женщина упала лицом на колени Леи — либо от выпитого шампанского, либо от невозможности противиться затуманенным глазам и подергивающейся брови, — упала и стала целовать колено.

Молодой Клаудиус выпил залпом несколько бокалов, страх и нерешительность были заглушены, он перешел в наступление.

— Вы ведь умный человек, господин Терра. Непонятно, как вы могли вести такую неверную игру. Сами видите! Война все-таки будет, я выиграл. Мы, молодые, выиграли.

Выиграл — он? Разве он не побледнел снова, и на этот раз окончательно? Разве не остекленели глаза? Впалая линия живота скользит наземь! Терра протянул на помощь руки...

— Что с вами? — изумленно спросил юноша.

Терра извинился и тут.

— Я уверовал в устойчивость нашего мира, с тех пор как стал активным участником того, что происходит в нем. Это заблуждение зрелого возраста, — признался он. — В твои годы я явственно видел кровавый след, идущий через всю жизнь. Глупость моего поколения заключалась в том, что мы хотели стереть этот след.

Юноша сделал насмешливую гримасу при слове «глупость». Потом с величайшим подъемом заговорил о предстоящей войне. Многие погибнут, но еще больше будет таких, которые народятся заново. Она принесет с собой свободу, независимость, смелость, она избавит нас от унижительной погони за чинами и деньгами, всем явит великий ужас, многих научит великому дерзанию, а некоторым дарует великую жизнь!.. Юноша мечтал. Пил и мечтал. «И он тоже, — признавал его отец: — Извечный обман! Он мой сын и тогда, когда торгует своей матерью и когда витает в облаках», — и вдумчиво вместе с ним совершил возлияние.

Их прервал Гедульдих: он спросил, привести ли сюда дам из семейства Плоквурст, и при этом искоса поглядел на разошедшихся вакханок; Гедульдих обладал светским тактом. Молодой Клаудиус немедленно поднялся, оставив на время войну, и сам провел богатых дам сквозь ряды изумленных и полных зависти мужчин. Он усадил их в укромный угол, где уже восседала его мать с молодым Плоквурстом. Те не смутились. Богачка Плоквурст выставила свои формы, затянутые в огненные шелка, и подозвала к себе прекрасного юношу.

— Князь Вальдемар! — крикнула она, и огненные пятна проступили сквозь пудру на ее обрюзгшем лице.

Подчеркивая впалую линию живота, прекрасный юноша стоял перед младшей Плоквурст, которая, наоборот, выпячивала живот. Она делала это от усталости и оттого, что не была кокетлива.

У нее на длинном остоле была мышьяная головка и обведенные синевой глазки, в которых он давно, но тщетно старался вызвать что-нибудь, кроме скрытности и пустоты. Старуха энергично хлопала по дивану, приглашая его сесть. Он сел.

Терра был обеспокоен Гедульдихом, его появлением не только с матерью, но и с дочерью. «Прогулка по Тиргартену», — кратко пояснил Гедульдих. Была ли в автомобиле и дочь, когда мать подъезжала за ним? Гедульдих сделал утвердительный знак одними глазами.

— Чего только не увидишь теперь в Берлине!.. Сам я берлинец, но подобного еще не видал, — изрек он сентенциозно. Засунув руки в карманы брюк и развалясь, но как всегда начеку, сидел он на диване. Над лбом локон, нежная кожа с налетом жизнерадостного румянца, взор Люцифера. — Теперь черед вашего сына, господин тайный советник.

Терра строго:

— При таком положении вещей я вынужден воспротивиться женитьбе сына.

Гедульдих усмехнулся на это.

— Ваш сын всегда смотрит поверх жизни. Не от вас ли он это унаследовал, господин директор? — Он дал то объяснение, которого боялся отец. — Меня эти жены капиталистов одурачить не могут, я попросту развлекаюсь. А вашего бедного мальчика они сводят с ума.

Терра опустил взгляд; он сидел прямо, а не развалясь, как Гедульдих, ему было стыдно. Стыдно за наивность своего мальчика. «А какое разочарование ждет бедняжку! Беден и молод, — такими некогда были и мы. Считает себя невесть каким циником, а сам опорочит себя без всякой цели, сам будет беззащитной жертвой тех, у кого весь ум в деньгах. Это преемственность от отца к сыну. Неужто мы никогда не будем отомщены?..» Терра забыл все на свете, он кипел от бешенства.

Гедульдих, сидя на низком диване, наблюдал, как у Терра губы искривились, потом задергались от бешенства.

— Узнаю вас! — сказал кто-то. Терра встрепнулся. Это Гедульдих, он позабыл о нем. — Почему вы против войны? — спросил Гедульдих, впервые серьезным тоном. И кивнув в сторону Плоквурстов: — Я не пацифист, я мыслю реально. Смерть палача избавляет от жертв... Пускай они начнут, их война постепенно превратится в нашу.

— Чью? — спросил Терра.

А Гедульдих:

— Мы друг друга понимаем в тех странах, которые созрели для дела. — Он весь горел мрачным огнем, но не стал распространяться.

— А какие страны созрели? — спросил Терра.

Гедульдих захохотал.

— Я вам на удочку не попадусь, господин тайный советник. Скажем, Россия! Как по-вашему, Россия созрела? — спросил он насмешливо и поднялся. Скандал в кружке Плоквурстов привлек его внимание.

Князь Вальдемар защищал свою мать от поцелуев Берндта Плоквурста. Он терпел целый вечер и вдруг возмутился. Его всего передергивало от злобы, госпожа Плоквурст уже не находила его привлекательным. Она боялась за своего оболтуса, этот субъект мог вцепиться ему в горло. Она напустила на себя величественность и окликнула усталую дочь.

— Грета! Едем домой. Эта дама недостойно ведет себя с молодыми людьми. Такое родство не для тебя. — И торжественно удалилась. Грета следом. Оболтус мужественно смерил врага глазами и тоже поплелся за ними.

Тишина. Комната внезапно опустела. Очнувшись от своих переживаний, Терра сообразил, кого не хватает. Леи! А также Блахфельдер и той молодой женщины... Эрвин Ланна вернулся расстроенный.

— Где Леа? — спросил он, не обращаясь ни к кому. — Меня отвлекла эта ссора, а она тем временем исчезла. Мы с господином Гедульдихом искали повсюду.

Тут Терра припомнил, что видел ее. Но сам он тогда был отуманен своими чувствами.

Теперь он припомнил все: она стояла у портьеры, одной ногой уже на пороге, придерживала рукой платье, но пальцем украдкой манила в темноту. В соседних комнатах потушили огни. О! брат содрогнулся теперь, припомнив ее лицо, исполненное болезненного сладострастия, жалкого соблазна, безверия, разложения. Неужели незнакомая молодая женщина пошла за ней? Ведь Леа разлагалась у всех на глазах, разлагалась ее душераздирающая улыбка; вот она скользнула и исчезла за портьерой, как видение, вызванное чародеем. Ей нельзя было верить!.. Однако молодая женщина последовала за ней, и обе исчезли.

— Надо обыскать дом! — хватая Эрвина, испуганно шептал Терра. — Идемте! Вы не всюду побывали. Где Гедульдих?

— Он пошел домой. Ему пора, — сказал Эрвин.

Терра испугался еще сильнее.

— А муж? — прошептал он уже на ходу.

Княгиня Лили в своем укромном уголке поднялась с дивана. Сын все еще стоял, отвернувшись.

— Идем же!

Он подскочил.

— С тобой? После того как ты расстроила мою женитьбу? Это было умышленно!

— Разумеется, умышленно, — спокойно сказала она.

Он взглянул на нее, закрыл глаза и, поднимая стиснутые кулаки, застонал.

— Чтобы ты видел, на что я способна, — сказала она. — Ты мой навсегда. — Он с силой опустил кулаки, но и под его прямым, жестким взглядом она не поколебалась. — Мой маленький мальчик, — сказала она нежно и настороженно.

Он злобно нагнулся к ней.

— А деньги? — прошипел он. — Отдашь ты мне деньги за Плоквурста?

— Нет! Их я оставлю себе. Я их заработала.

— Шлюха! — И сын накинулся на нее.

Она быстро высвободила руку и шагнула в сторону, он за ней, но снова промахнулся... платье с разрезом распахнулось, прекрасная нога напряглась, скользнула. Назад, вбок, вперед, скользя, извивая бедра, она все еще увертывалась от него. Он следовал за каждым ее движением, как партнер в танце. Они порывисто метались по опустелой, забытой комнате, и у обоих было то же лицо, те же самозабвенные глаза, полные отчаянных решений, те же руки, ставшие чужими, из-за обнажившихся зубов вырывалось тихое шипение.

Чей-то голос произнес:

— Господи помилуй!

Тогда они остановились. Мгновенное беспамятство, затем пробуждение — и стройный высокий кавалер, пропустив вперед зеленоволосую ослепительную даму, прошел мимо ливрейного лакея, почтительно перегнувшегося пополам.

— В гардероб!

Старик вытянулся, как новобранец. Затем, дивясь, посмотрел им вслед.

Он собрался потушить свет и в этой комнате, но его в сильнейшем волнении остановил менее знатный посетитель.

— Где моя жена? — прохрипел он из размякшего воротничка.

— У меня вашей супруги нет, — ответил ливрейный лакей сдержанно, но слегка хмуря лоб.

— Тут были три дамы! — вскричал несчастный. — Три дамы, которые танцевали все время. Вы видели их?

Лакей с возрастающим удивлением:

— Вы ищете трех дам, сударь, или одну? И что, по-вашему, я должен был видеть?

Несчастный, со всей силой отчаяния:

— Да что ее увезли! Напоили, увезли, почему я знаю, может быть, убили! — Он заплакал. Лакей попробовал утихомирить его добром.

— Сударь, вам, наверное, бросился в голову коктейль, не пейте его больше! — Но тут посетитель взбунтовался, он стал плести что-то о похищениях, о международной торговле женщинами, о подозрительных заведениях и полиции. Лакей перешел на

холодный, исполненный достоинства тон: — Если вы заставите меня нажать кнопку звонка, швейцар, как ни прискорбно, придет выпроводить вас на улицу, сударь.

После этого посетитель удалился с громким плачем.

На улице в ярком свете июльского утра он столкнулся с двумя другими посетителями.

— Мыслимо ли это? — плакался он. — Скажите мне, милостивые государи, может ли случиться в Берлине, чтобы дама просто-напросто исчезла из ресторана?

— Я, кажется, знаю ее, — сказал один из тех двоих. — Ну да, с вами были три дамы!

— Одна-единственная, — возразил бедняга. Господин предположил, что случай самый безобидный. Он даже утверждал это. Его жена захмелела; вероятно, чтобы дать ей выспаться, ее взяли с собой другие две дамы, не знавшие, с кем она. Дамы принадлежали к высшему кругу; господин назвал фамилию и дал адрес далеко за городом.

— Только без шума! Вы сильно повредили бы своей жене! Отправляйтесь к себе в гостиницу! Выспитесь сами. Когда вы проснетесь, ваша жена будет стоять подле вашей кровати! — И господин подозвал такси.

Но затем Терра, дрожа и обливаясь потом, вернулся к Эрвину Ланна.

— Когда он проснется к вечеру, он поедет по тому неверному адресу, который я указал ему. Я позабочусь, чтобы там его послали по другому. Чем дольше я его задержу, тем счастливее он будет, увидя в конце концов свою жену, и даже не заикнется о ее похождениях.

— А если нет? — спросил Эрвин.

— Тогда все пропало, — сказал Терра.

Они пошли рядом, сперва медленно, потом их шаг ускорился сам собой. Вдруг они разом остановились.

— Нельзя терять ни минуты, — шепнул Эрвин.

— Вы хотите пойти к Лее? — хрипло спросил Терра.

Эрвин отвел взгляд. Они пошли дальше — в обратном направлении.

Глаза Эрвина Ланна, тусклые полудрагоценные камни, постепенно застилались страхом. Того и гляди разверзнется бездна. Вот она! Взор Эрвина Ланна перестал быть непроницаемым самоцветом.

— Я проводил ее на Иегерштрассе, она была так весела. Я проводил ее на Моцштрассе... Бедная Леа!.. — Он один помнил, что каждый час принес ей. — Она проста душой, я знаю, я утверждаю это. Ни один порок не затрагивает ее. Она проходит сквозь них, она скользит мимо жизни. Она никогда не потеряет себя. Что для нее мир? Вынужденная прогулка... — Он перевоплощал ее в себя. Все лучшее, чем он обладал и что знал, дарил он ей. — А теперь она ушла. Куда же деваться мне? — В глазах разверстая бездна. Он снял шляпу, голова была уже вся седая. — Она больше не вернется. На этот раз не вернется, я чувствую. Я всегда только сопровождал ее, я — тот второстепенный персонаж, который поклоняется и сопутствует. Я должен быть

там, где она! Где бы она ни была! — Движения у него стали беспорядочными.

Терра преградил ему путь.

— А скандал! — прошептал он. — Не забудьте про скандал!

Они взглянули друг на друга; бездна в глазах Эрвина Ланна сомкнулась.

— Я очень устал, — сказал он. — Я подожду ее. — Терра оставил его, а сам пустился бежать.

Улицы были еще пустынные и тихи, но дыхание катастрофы гнало его все дальше ясным, пустынным июльским утром. — «Какая она сейчас? — думал он неустанно. — Как не похожа на ту, какой видит ее этот мечтатель... Она конченый человек. Ей уже недолго маяться. Так и надо, довольно болтовни. Смерть палача избавляет от жертв... где я это слышал?» Он окликнул такси, но не знал, куда ехать, и отослал его.

«Какая она сейчас?.. Нам придется исчезнуть, если скандал разразится. Смерть палача избавляет от жертв. Мы исчезнем, любимая! Катастрофа надвигается. Смерть палача...» Он поднял глаза на дом напротив.

Стиль XVIII века со скупым орнаментом. Дом стоял несколько отступя в ряду других домов, плиты перед ним позеленели. Подъезд монументальный, барский; меньшая дверь рядом как раз раскрылась. Только воздух, повеявший из нее, заставил Терра вспомнить о Мангольфе. Это был дом Мангольфа.

Он поспешил на другую сторону. Там он, правда, не двинулся с места, топал ногой и не мог уйти. Куря, шагал он взад и вперед, взад и вперед. Рот ожесточенно извергал дым, все лицо дергалось во власти гнева. «Из-за него!» Из-за него Леа очутилась там, где была сейчас. Из-за него стала такой. Брат увидел ее в расцвете былых дней, с гордой осанкой и гордой душой, в светлом платье, вызывающе юной в каждом жесте, каждом телодвижении, а смех ее звучал торжествующим вызовом жизни... Теперь, наконец, она была побеждена. Еще недостойно цеплялась за жизнь и падала побежденная, ибо кто-то обезоружил ее. Непоправимо обезоружил... Терра отшвырнул десятый окурок и твердым шагом вошел в дом. Лакеи в вестибюле и на лестнице не посмели остановить его, он прямым путем направился в спальню хозяина.

Мангольф только вставал. Он был в пижаме и брился.

— Дорогой Вольф! — начал Терра, остановившись в дверях. — В твоём доме не пахнет любовью. Я давно собирался сказать тебе это. Если бы я мог втолковать тебе, какое действие ты оказываешь на людей, ты, без всякого сомнения, немедленно перерезал бы себе горло, — вся остановка за тем, что у тебя не бритва, а прибор Жиллета.

— Ты не в своем уме! — воскликнул Мангольф.

Терра потряс кулаками, у него было такое выражение лица, что Мангольф оставил бритье.

— Что тебе нужно?

Но Терра долго молчал; потом сухое рыдание и, наконец, взрыв. Мангольф расслышал только «Леа», слова глушили одно другое. Встревожившись, он хотел услышать больше, а Терра выкрикивал:

— Ты утратил право даже знать ее имя. На тебе лежит страшная ответственность.

Ты осужден, — наконец-то, наконец я могу сказать тебе это! — осужден перед лицом собственной совести и перед лицом человечества. Ибо она умирает из-за тебя. И близится твоя война.

Откуда ему это известно, спросил Мангольф; но Терра ничего не слушал.

— Ты разоблачен. Запомни и поберегись! Это уже не игра. Довольно ты пожинал в жизни дешевых лавров, не затевай еще и войны! Довольно ты вредил, ты всегда был величайшей опасностью. Ты пресмыкался перед подлостью, служил ей и сам стал подлецом. Вот она — вторая невинность, твое изобретение.

Беспощадный голос! В нем глубокое знание и непреклонный приговор! Мангольф, чье лицо было отражением темных глубин, вдруг усомнился в себе; он, дрожа, упал на стул. «И это мне, когда я и так одержим сомнениями», — жалобно думал он.

— Кто увильнул от дуэли, не объявляет войны, — шипел Терра. — Ты воспрепятствуешь мобилизации. — И на растерянный жест Мангольфа зашептал у самого его уха: — Воспрепятствуй ей! Прими меры к немедленному внесению законопроекта об угольной монополии!

«Он попросту глуп», — думал Мангольф, но сам был точно парализован. Молча стерпел он новую вспышку Терра, его новые угрозы и, наконец, возмущенный уход.

Катастрофа, перед которой наперед содрогался Терра, надвинулась в то же утро. Леа вызвала его; незнакомая молодая женщина умерла. У нее не хватило духа показаться на глаза своему мужу. Надо спасать, что еще можно спасти! Вся вина падала на Лею. Блахфельдер позвонила в санаторий, и за ней приехали оттуда. Вся надежда на брата. Он сотворил чудо, скандал разразился лишь к вечеру, даже чудо не могло сделать большего. В вечерних газетах имена еще не назывались, но полиция заявила, что не может воспрепятствовать их разглашению наутро. А тогда арест неизбежен при всем должном уважении к высоким покровителям актрисы... В запасе была одна ночь.

Он пошел к Алисе. Тот же поздний час, что вчера, та же комната, Алиса вся в черном. Ему сразу стало труднее дышать в ее присутствии, чем в атмосфере самой катастрофы. Он попросил ее спасти Лею, спасти его сестру, спасти их. Но у нее было все то же неумолимое лицо архангела, узкое и совсем белое, над тесным черным воротником. Она никого не станет удерживать, кому надлежит уйти, сказала она наконец. Она и сама бы охотно ушла. Тогда он, ужаснувшись, умолк. Она была в черном, — а вчера тоже? Он не помнил; ее превращение совершилось незаметно, но непреложно, оно потрясало. Терра ощутил ее преображенную красоту как новую силу, как выражение той последней власти, которая судит и завершает.

Он стряхнул с себя ужас и собрался спорить. Она только серьезно спросила, хотел бы он сам вновь увидеть сестру на сцене, если бы это оказалось возможно; тут сердце у него замерло, он понял, что Лее конец. Он встал.

— И я любила ее, — сказала Алиса.

— Она гибнет, — беззвучно произнес брат.

Он возмутился. Что делает у себя в комнате ее муж? Молится? О победе? О массовом истреблении? Тогда, конечно, нечего думать об одной жизни. В раздражающей атмосфере близкого массового убийства Леа стала преступной, стала

жертвой своей впечатлительной натуры, ранее других презрев важность самосохранения.

— И за эту жертву ответствен тот, кто хочет войны. Он падет. Смерть палача избавляет от жертв. — Это было больше, чем он хотел высказать, он запнулся. — Кто ответствен? Неизвестно, но на виду Толлебен. Достаточно быть на виду.

— Он падет, — повторила теперь уже Алиса. — Мы единомышленны и с ним. — Она подошла к двери и открыла ее.

Толлебен, как вчера, стоял перед распахнутым окном, только лунный свет не озарял его. Опущенная голова и молитвенно сложенные руки оставались в тени. Пискливый голосок звучал слабо, вздохи приглушали его.

— Милосердный боже, я не желал этого. Мои намерения не изменились, я согласен на переговоры. Не попусти же, чтобы вся моя политика рухнула, как карточный домик! Милосердный боже, отврати самое страшное! Я один уже на это не способен, я снимаю с себя ответственность. Но чем может раб твой угодить тебе? Нужна тебе жертва? — Робко поднялись голова и руки. Толлебен улыбался робко, как будто боялся, что бог осудит его за непривычно громкие слова. — Я готов! — впервые выговорил он с подъемом, молитвенно сложенные руки метнулись навстречу богу, расширенные глаза смотрели на него. Алиса закрыла дверь.

Они постояли молча, Терра не знал, что сказать. Он собрался уйти, потом резко повернул назад.

— Ужасно! — воскликнул он. — Что вы с ним сделали? — И видя, что бледный ангел все тянется ввысь: — Сейчас он выйдет, сейчас былой насильник покажет вам свое смиренное лицо и спросит, когда этому надлежит быть. Ужасно!

— Я последую за ним, — сказала она.

Но Терра больше не слушал. «Прости, Алиса Ланна, — мысленно сказал он, а затем: — Скорее спасти сестру!»

Когда он пришел, она была переодета горничной и в таком виде села к нему в автомобиль.

— Дитя, ты понапрасну трудишься; полиция только и мечтает, чтобы мы исчезли.

— А Мангольф? — Загадочная усмешка. — Он не хочет, чтобы я исчезла; тогда мне было бы слишком хорошо. Он хочет, чтобы я страдала дальше.

Как будто на всем поставила крест она, а не он. Брат вспомнил, как мало был встревожен Мангольф судьбой Леи, как легко примирился. Оправдывая друга, он подумал, что равнодушие в отношениях между людьми будет отныне доведено до небывалых, неслыханных размеров... Но он смолчал.

В скором поезде на пути к границе ее не покидала загадочная улыбка. Она жадно и рассеянно подносила к лицу цветы, что положил ей на колени брат, как прошлой ночью — цветы молодой женщины. Ни воспоминаний? Ни угрызений совести? Она увидела его испытующий взгляд и спросила:

— Какова я с гладкой прической и в простом платье? Удивительно, у меня не было ни одной такой роли. Я никогда не играла бедных девушек. Почему это тебя так трогает? — Увидев, что он отошел к окну.

Он стоял там долго, она не произносила ни звука. Искося посматривая на нее, он видел: взгляд у нее неподвижный. Она уже не откидывалась на спинку дивана, не было в ней ни усталости, ни жажды, — неподвижно выпрямившись, она вглядывалась в свершенное и в то, что надо было приять. Опасность, которая как-никак поддерживает бодрость и активность, миновала; на место нее пришло горькое сознание... При гладкой прическе нос казался больше, грубее по форме. Контурсы ничем не сглажены и не смягчены, без румян и прикрас лицо стало голым остовом слишком щедро израсходованной жизни.

Когда она заметила, что он изучает ее, он сказал:

— Дитя мое, у тебя чудесный вид.

Она растерялась на миг, потом стянула перчатки, показались великолепные, на редкость выразительные руки. Она молча вгляделась в них — и преобразила их. Суставы выдвинулись, кончики пальцев отогнулись, вены набухли, даже кожа погубела: руки старой работницы.

— Bravo! — крикнул брат. — Жаль, что нет публики! — И добавил: — Для твоей дальнейшей карьеры открываются непредвиденные возможности.

— Ты думаешь? — спросила она, и голос выразил то же смирение, что и руки.

Он сказал ей, что настало время каждому в отдельности изменить свою жизнь.

— Так продолжаться не могло, мы превратились в карикатуры на самих себя. Допустим, что каждое поколение в результате приходит к этому, но нас жизнь вынуждает к радикальному перерождению.

Катастрофа — ей это кстати, ведь она всегда предвосхищала дух времени. Она слушала его испуганно, но постаралась отмахнуться.

— Все сводится к одному: надо переходить на амплуа старух, — заключила она с горечью, но без особой решимости. Потом обратилась к прошлому. — Тяжелые годы. Короткие как будто, но тяжелые. Я не для того была создана.

— Не для твоей профессии? Ты клеветешь на себя.

— Вначале думаешь: жить полной жизнью, красоваться. Боже мой! На самом же деле это значит покоряться. Кто предостерегал меня когда-то? Ты? Нет ничего зависимей искусства: каждая модистка, кончив работу, свободна. А мои помыслы и стремления должны быть к услугам толпы, мое творчество должно быть таково, чтобы люди вживались в него, а тогда творчество становится не моим, оно уже принадлежит им. Я даю то, чего им недостает, я становлюсь тем, чем они не смеют быть. Быть неповторимым и в то же время обыденным, чуть ли не творцом людей и при этом их рабом, быть всегда податливым, ежевечерне стоять перед лицом небытия, а потом получать амнистию на сутки. Когда-то я была полна гордыни. Теперь, после всех успехов, я ненавижу публику, как мелкий служащий — грозного хозяина. — Наряду с ненавистью сквозь страдание проглянула хищность зверя. — А они раболепствуют передо мной. Но что, «роме унижений, может дать мне раболепство людей, чья единственная заслуга — их деньги?

— Право же, благодаря тебе им не раз приходилось переживать то, чего они охотно не переживали бы вовсе. Ты с дьявольской ловкостью держала их в руках, так что им было не до денег.

— Я этого не хотела, — сказала она. — Борьба была навязана мне. Я предпочла бы тихую женскую долю. Ведь в сущности страдать мне было радостнее, чем торжествовать. — Он понял, что она думает о Мангольфе. Она полуоткрыла рот, словно прислушивалась к тому, что он когда-то говорил ей, и, забывшись, умолкла.

Днем они пересели в местный южнотирольский поезд и вышли у начала одной из долин. Терра знал ее; в самой маленькой повозке нельзя было добраться до конца дороги, ведшей далеко в горы. Пока удалось добыть верховых лошадей, уже стемнело. Леа пала духом.

— Неужели нельзя иначе, как туда, в горы, в глушь? А там, в конце — глетчер? Поедем лучше в Вену, меня туда приглашали. — Сейчас ей без труда удастся выговорить даже более выгодные условия, подтвердил брат. Ведь героине свежего публичного скандала обеспечен беспримерный успех. После этого она умолкла, подперев голову обеими руками, — забытая поза дебютантки, некогда честолюбивыми мечтами проникавшей в будущее.

Душная ночь пахла яблоками, тяжелые гроздья свисали с виноградных лоз, луна скрылась; высоко вверху, над поворотом дороги, крестьянский домик с круглыми башенками, наподобие крепости, сторожил вход в долину. Колея огибала бурные водопады, что, бесследно отшумев, исчезали за уступом холма. Росистые травы благодатно освежали воздух. Все склоны были покрыты каштановыми деревьями.

Когда растительность кончилась, сделалось холодно, усадьбы стали редки и убоги, дорога, узкая затвердевшая борозда, шла возле скал, под нею был ручей. Невидимый, он журчал в темноте. «О ароматная ночь», — ощущали оба, брат и сестра. Они ехали верхом, сестра впереди, брат за ней. Поклажа, которую вез владелец лошадей, осталась далеко позади. «О ароматная ночь, величавое журчанье, манящие зарницы, — вот оно то, чего мы алчем, — нирвана. Или и ты обманешь, природа? Мы, творения твои, обманываем так часто. Нет, мы отрешились от всего, дай нам вернуться к тебе, к истине». Но тут разразилась давно нависшая гроза.

И тотчас вновь пришлось бороться, снова, как и всегда, отвоевывать жизнь. Они остановили лошадей посреди ужасающего урагана. Рыкание грома во мраке, казалось, на них надвигаются и обдают их своим дыханием чудовищные пасти, в страхе застонал раненый ручей... Беспросветная минута ожидания... вдруг из тьмы вырвался сноп пламени, стало светло, как днем. Синие и красные искры, словно цветы, падали к их ногам. Между двух ночей они увидели друг друга, точно огненные столпы.

Им пришлось спешиться; лошади дрожали и упирались ногами в колеблющуюся почву. Их хозяин с третьей лошадей, наверное, укрылся в убежище, знакомом и им. Лошади повернули назад. Брат и сестра двинулись дальше пешком. Шел дождь. Гром отгрохотал, вспышки молнии изредка указывали направление. Шум дождя заполнял тьму, сквозь которую они стремились вверх. Только бы миновать ручей, который все набухал! Только бы не сорваться, не сбиться с пути, научиться видеть, научиться идти ощупью и в сгущающемся, непроглядном кошмаре сохранить силы до жилья, до прибежища!

Время от времени они останавливались и переводили дух. Так как сестра останавливалась чаще, брат в темноте протянул ей на помощь руку. Хотя он не коснулся ее, она ощутила его жест в темноте и оперлась на протянутую руку. Она оперлась так тяжело, что он подумал, не заснула ли она. Куда деваться с ней,

обессиленной? Как узнать, сколько еще идти? Как узнать, который час?

Время шло, лил дождь, стало холоднее, он же укрывал ее у себя на груди — единственном месте в эту ночь, где она могла найти приют.

— Надо идти, — сказала она вдруг покорно, тоном ребенка, который не жалуется. Тогда он уперся руками ей в бедра и стал подталкивать ее сзади. Он толкал ее по крутой тропинке, вверх, в неизвестность. Она полулежала, откинувшись на его руки, и переставляла ноги, не открывая глаз... Наконец показался огонек.

— Мы добрались, — сказал он.

Она все-таки не открыла глаз, он донес ее до самого дома.

Дом принадлежал молоденькой девушке. Родители ее умерли, она держала трактир и воспитывала братьев и сестер. Она провела пришельцев в низенькую дощатую комнатку. Поставила свечку и, увидев, как женщина повалилась на кровать, мгновение колебалась, не помочь ли, — но за выпуклым лобиком уже утвердилась мысль, что это чужие люди, подозрительные и в несчастье. Что они делают в непогоду, куда девались их лошади?.. Ее позвали снизу, и она ушла.

Свет из залы проникал наверх сквозь щели в полу. Крестьянские голоса выкрикивали какие-то звуки, которые, казалось, немислимо сложить в слова. Оба пришельца не шевелились. Сестра на кровати свесила голову с подушки, вторую ногу она не успела поднять с полу. Стоя перед ней, брат смотрел на сомкнутые веки, отягощенные житейской борьбой, — мало-помалу он начал разбирать то, что кричали внизу крестьяне. Это относилось к ним двоим, это было ржание, площадные шутки над любовью.

Он поднял и уложил на кровать ногу сестры, затем разул ее, — ноги промокли насквозь. Руки ее свисали безжизненно, он и с них стянул мокрую ткань, вытер плечи и шею. На рассыпавшихся спутанных волосах покоилось влажное лицо без красок, без очарования; то ли слезы, то ли дождь смыли все, что было так ценно, — красоту, блеск и великолепии жизни. Брат увидел вновь еще не ставшее прекрасным лицо несложившейся девочки, которую он знал когда-то, бледное лицо с удлинненными чертами.

Тогда ей так же было свойственно тщеславиться мелкими успехами, как потом высокими чувствами. Превращение свершилось вместе с внешней переменой, которую брат так и не уловил. И это те самые прославленные руки! У ног, что, смертельно усталые, покоились перед ним, лежали многие выдающиеся современники! Брат вдруг вполне осознал этого самого близкого ему человека в его прошлой и настоящей сущности. Крики и хохот крестьян заполнили комнату, как будто те уже ворвались сюда. Но брат, положив голову на руку, не отводил забывшегося взгляда от сестры.

Ему думалось, что оба они вместе загнаны сюда в тупик, на вершину своего страдания. Теперь они вместе, — только вместе могли они осуществить то, что было в них заложено от рождения. Ошибка, что их пути разошлись, ошибка — их стыдливость. К чему была та странная стыдливость, из-за которой они, подрастая, стали такими сдержанными? Увы, все ушло. Быстротечны они, нашей жизни дни. Сквозь шум, что, как побои, обрушивался на них, брат напевал: «Быстротечны они, нашей жизни дни». Он думал, она спит. Сам оглушенный шумом и глубочайшей тишиной посреди шума, он в задумчивости напевал: «Спи, усни, жизнь прошла. Спи в

сырой земле, ногам дай покой, а сердцу забвение».

Вдруг все стихло, стих поющий в нем голос, потому что шум прекратился. Только дождь да ручей; крестьяне внизу невнятно шушукались, хихикали в кулак. Потом крадущиеся шаги, и скрипнула дверь. Стук подбитых гвоздями башмаков заглох, но потом лестница застонала под ними. Крадущиеся шаги приближались; лишь перед комнатой приезжих они остановились. Перешептыванье, долгое, трусливое подталкивание друг друга — и под конец рывок. Терра давным-давно повернул ключ.

Опять шушукание, попытки стали смелее, многократное щелкание дверной ручкой, сопровождаемое ругательствами. Пьяные площадные шутки, брань, пинки в дверь. Терра, оглянувшись, увидел, что у Леи глаза раскрыты и голова приподнята с подушки.

— Этого только не хватало! — с горечью произнесла она.

Он успокоил ее.

— Мы с ними справимся.

— Ты? — спросила она с оттенком презрения.

— Меня никто не знает по-настоящему, — заявил он, встал и стащил со второй постели простыню. Он спрятал свечу за печку, так что остались одни световые полосы на полу. Над световыми полосами, как над раскаленными колосниками, в темноте парило что-то белое. Фигура без лица, но два угля горели у нее вместо глаз, и она издавала стоны. Дверь распахнулась, и перед пьяной оравой предстала фигура, горящая, стонущая, колеблющаяся, как от согретого воздуха.

Секунда немного ужаса, потом бегство, тела скатывались, сползали, каждый бормотал молитвы, какие ему пришли на ум. С проклятиями топотала по лестнице бегущая орава, что-то у кого-то сломалось, пострадавший громко взвыл. Его подняли; хромя, он поплелся за теми, кто уже мчался в мокрую и пустынную темень... Все кончилось, дом опустел, снаружи только дождь да ручей. Терра достал свечу из-за печки.

Леа видела, как он скинул простыню. Папиросы, которые он бросил, прожгли в ней две дыры.

— Отлично, — сказала она деловито и вновь опустилась на подушки.

И брат не удостоил ни единым словом случайную помеху, он молча сел на свое место возле сестры, а она долго, задумчиво смотрела на него.

— Я слышала тебя, — сказала она тихо и внятно.

Он вспомнил, испугался.

Она показала ему на низенькую дощатую комнату:

— Это уже гроб. Я никогда не выберусь отсюда. И ты оставишь меня здесь, наверху, одну.

— Избави боже! — сказал брат.

— Дальше идти некуда, — сказала она и напевно, как прежде он, повторила: — «Быстротечны они, нашей жизни дни».

Он, силясь быть убедительным:

— Мы должны благословлять это прибежище! Там, внизу, вот-вот разразится война.

— Она никогда и не прекращалась, — ответила сестра.

Желая заглушить страх, теснящий ему грудь, он заговорил о войне; не обращаясь ни к ней, ни к себе, говорил он о самом страшном, что предстоит, об уверенности, которая стала непреложной.

— Я знал это всю жизнь. Но временами приходится отворачиваться от истины, чтобы жить. Можно знать, не веря, смотреть, как надвигается катастрофа, и все-таки не верить в нее. Я испытал это состояние, я и сейчас не изжил его...

— Остаться здесь, — сказала сестра. — Покой. Сырая земля. Забвение сердцу. — Она говорила еле слышно, не открывая глаз.

Брата охватил такой безумный страх, что даже стул под ним затрясся. В хаотическом сумбуре чувств он заикался, сам понимая, что заговаривается.

— Почему мы ушли когда-то из родительского дома? Я хочу купить его. Он ведь еще существует? Должен существовать. Мы будем жить там вместе, вдвоем, все позабудется. Слышишь? Позабудется. Что мы в сущности делали такого, на что не способно любое заблудшее дитя? Если бы был бог, он простил бы нам.

— Я сама себе не прощаю, — сказала она, — неудача была недопустима. Несчастье претит мне. — Она собралась уснуть.

Но он взял ее руку, гладил, целовал, ласкал.

— Я верю в тебя и в твое счастье. Леа, любимая! Единственное истинное несчастье — наша стыдливость друг перед другом. Другие женщины предназначены были открывать мне мир, пробуждать мои чувства, мой ум. Но сердце? Но не сердце! — Слезы лились на руку, которая теперь взяла его руку. Да, сестра взяла руку брата и положила ее себе на сердце.

— Спать, — шепнула она, тело вытянулось в последнем блаженстве и замерло. Из-под опущенных ресниц блеснул взгляд, и вот уже он погас, скрылся.

Терра вдруг ощутил усталость, как после жестокой борьбы. Голова и грудь склонились наперед, лбом он коснулся кровати. Ему послышалось журчание. Ручей под окном зажурчал, зашумел, набухая, прибывая, захлестнул комнату. Сейчас он унесет их обоих, — о блаженное ожидание ухода, забвения!

Стук. Терра встал. Был день. Таким сильным стук бывает только во сне. Он прозвучал, как гром. Терра выждал; стук раздался на самом деле, но как робко, — ребенок не мог бы стучать тише. Он отворил; перед ним стоял монах.

Монах неловко поклонился; Терра полез за деньгами для этого дурня. Но не успел достать их, как тот спросил:

— Сударь, это вы прошлой ночью были духом?

Растерявшись, Терра стал отрицать. Патер не обратил внимания на его слова.

— Крестьяне были пьяны. Я сразу понял, что приезжий господин одурачил их.

Терра, вызываяюще:

— Но ведь вы верите в духов?

— И чувствую, когда ими даже и не пахнет.

Тут только Терра увидел, что перед ним интеллигентный человек. Грубая обувь, потрепанная сутана, обнаженная голова, но бородка вздрагивала вместе с узким, покрытым светлым загаром лицом, а вот блеснул и лукавый, веселый и умиротворяющий взгляд.

— Простите, — сказал Терра. — Войдите, пожалуйста. — Он объяснил: — А нас с сестрой сюда загнала буря.

Патер взглянул в сторону кровати. Он собрался возразить, но промолчал. Постоял еще, глядя в сторону кровати. «Она все еще интересна, — думал брат, — она интересуется даже церковь». Но взгляд патера утратил всякую веселость, с равнодушного лица исчезла безмятежность. «Здесь не следует задерживаться», — осознал Терра.

Вдруг он увидел, что монах соединяет руки, складывает их, как для молитвы. Молиться подле Леи? Брат подошел к ней, она дышала ровно.

Терра обернулся.

— Чего вы хотите?

— Помочь вам, — сказал тот снова ласково, снова несмело. — Я могу сообщить вам сведения насчет вашего багажа и отвести вас туда, где он находится. Там вам будет удобнее.

— Пойдемте! — сказал Терра, он не хотел показать, что сторонится монаха.

— Вы здесь живете? — спросил он.

— У меня нет постоянного жилья, — ответил монах. — Я посланец. Наш орден существует недавно. Он еще добивается, чтобы его признала церковь.

— Неужели еще бывают основатели монашеских орденов?

— И притом даже чудотворцы, — сказал монах, смеясь глазами. — Наш основатель знает наперед поступки людей. Разве не удивительно, что он пошел в монастырь, а не окунулся в мирские дела?

— А что же он знает?

— Нам, братии, он заранее предсказывает наши грехи. Одного, который был усерднее всех, он удалил, ибо видел уже в нем преступника, каким тому предстояло сделаться.

— Я не стал бы его тогда удалять, а постарался бы помочь ему.

— Удаление и было помощью. Наш настоятель чтит предначертания божьи. Данный ему богом дар читать в сердцах для него тяжкое испытание. И велик соблазн пасть через гордыню.

— Для всего этого мы знаем научное обозначение.

— Знание для нас, братии, недостижимо. — Он поглядел в глаза Терра. — Все мы — рассеянные по миру посланцы. Отчий дом далеко, Иерусалим еще дальше, но мы надеемся обрести его.

— Иерусалим?

— Это наша цель, но на пути много трудов, много задержек, можно умереть, не дойдя до града. Столько людей забыли, что в них обитает дух, дух божий, надо напомнить им об этом. — Он силился говорить мягко, даже вкрадчиво, но в голосе пробивались суровые нотки, присущие жителям гор. Пока тот говорил, Терра рассматривал черты старого племени, на которых запечатлелось нелегко давшееся смирение; он думал: и так могло быть. Он видел ручей, стремившийся по скалам, видел сосны, небо и узкую солнечную тропу. Вдруг он сказал: «Досточтимый отец!»

— Досточтимый отец, — сказал он, — верьте мне, я всю жизнь по мере умения и разума служил духу божьему в людях.

— Вы веруете в бога?

— Нет, — сказал Терра и опустил голову. Потом поднял ее. — Сейчас мне самому это непонятно. Я вижу, что вместо бога веровал в человечество, и это было труднее, безнадежнее. Могу без преувеличения сказать, что в человеке я увидел самое грубое, самое прожорливое, самое злобное из творений предвечного. Если я все-таки уповаю для человечества на будущее, полное разума, добра и чистоты душевной, то сам думаю, не есть ли моя вера — гордыня?

— Да, это гордыня.

— Хорошо, пускай гордыня. Но эта гордыня, досточтимый отец, доходит до твердой, непоколебимой уверенности в том, что люди — создатели бога. Мы сотворили его не только в мыслях, как говорится, но и в пространстве.

— Вы упорствуете в своем заблуждении.

— Откуда бы иначе одна мысль давала ответ на другую, последующее событие на предыдущее? Где берется логика, откуда возмездие? Ведь мы противимся им обоим. Почему мы должны гибнуть от своего душевного беззакония? Объясните мне, досточтимый отец, войну! Мы сами поставили над собой судью. Неспособные длительно желать справедливости, мы раз и навсегда воплотили свою волю в божестве, который продолжает жить по-человечески вне человечества.

Патер сочувственно:

— Разве так трудно смириться? Он простирается от вечности до вечности.

— Берегитесь, досточтимый отец! Ведь тогда человечество было бы случайным явлением. Но именно ваша церковь хочет, чтобы оно было средоточием всего. Я последовательнее вас.

— Суть не в словах, а в деяниях. Какое деяние волнует вашу душу?

Тут Терра испугался и умолк. Они зашагали быстрее. Искоса взглянув на патера, Терра увидел, что у него то же выражение лица, какое было там, у постели Леи... Неожиданно зазвучал его смиренный, робкий голос:

— Попробуйте верить! Кто верит без высокомерия и суемудрия, способен снести даже то, что грозит вам.

— Кто вы такой? — пролепетал Терра.

Так как ответа не последовало, он заговорил сам, лишь бы нарушить молчание. Он почитает церковь; в глазах западного мира она единственная форма, в которой духовное начало взяло верх над властью низменных сил. Ни одна философия не

выдержала борьбы с ними. А церковь сама стала властью — «это был гениальный ход». Говоря так, Терра почти уже бежал, подгоняемый непонятным страхом. Но патер молча следовал за ним по пятам, и Терра продолжал оглушать себя словами. Поразительнее всего политическая осмотрительность святой церкви. Неизменно парализуя существующую власть в своих интересах, она в то же время защищала ее против всякой вновь зарождающейся, более жизнеспособной власти, «тем служа богу, который печется о нашем собственном благе».

И дальше бегом — в молчании.

— Святая церковь позволяет нам, христианам, вести между собою войны, но временами защищает от нас язычников, которых мы истребляем. Какое глубокомыслие! — Вдруг он резко остановился. Остановился и патер.

— Вы слышали? — тихо спросил он.

Терра беззвучно:

— Кто зовет меня?

Он услышал свое имя: «Клаудиус!» Голос донесся сверху, далекий, но призывный; он готов был усомниться, что слышал его. Но взглянул на монаха, и страх овладел им: монах вновь молитвенно сложил руки.

— То была минута ее смерти, — сказал монах.

Брат схватился за голову.

— Нет! — крикнул он, уже поняв, уже видя приближающееся тело.

Тело несло вместе с течением по скалам, то вниз головой, то стоя прямо, словно собираясь перешагнуть их. Под конец оно жалкой бескостной массой повисло на кустарнике с той стороны, и вода колыхала его. Сияющим на солнце золотым венцом обвились распущенные волосы вокруг мертвого окровавленного лица.

На этом берегу метался брат, в смятении ища камней, чтобы перейти на тот берег. Он крикнул туда: «Я иду!» Он хотел, чтобы то была еще его сестра, чтобы она еще слышала его... Отчаявшись, он оглянулся за помощью; монах стоял на коленях и молился. Терра рванулся к нему и проскрежетал:

— Вы знали это заранее, чудотворный основатель ордена! Но вы покидаете тех, кто должен пасть, и делаете вид, будто в этом мудрость. Вы ничего не можете! Вы ничего не можете!

— Я буду молиться за вас.

Терра стоял над ним и издевался:

— Что я сделаю завтра? Вы ведь знаете. Я твердо решил, а вы знаете и ничего не делаете, только молитесь.

— Таков ваш путь. Вам суждено уверовать.

Тут Терра оставил его, и монах продолжал коленипреклоненно молиться над телом, что покачивалось у того берега. Запыхавшись, подбежала к ним девушка, владелица постоянного двора «Альпийская роза». Она стояла внизу, у окна трактирной залы, когда барышня прыгнула сверху в ручей. Она тут же побежала за барышней, потому что при таком поспешном отъезде она не получит платы, а вещей тоже не осталось: но за

ручьём, который уносил барышню, она поспеть не могла. Терра рассчитался с девушкой, за приплату она даже согласилась позвать на помощь других сердобольных людей.

Он уехал немедленно, покинув на чужбине останки сестры. Он решил, что ни одна земля не будет ей легче или тяжелее, чем эта случайная земля. Каждый ком глины люди называли родиной и потому сейчас повсюду собирались вгонять куски железа в этот ком или взрывать его на воздух.

Весть, что война неминуема, застигла его в пути.

Он едва осмыслил ее. Она лишь во сто крат усилила горечь утраты одного существа — его сестры. Сестра открыла полосу смертей, лишь за ней должны были последовать все. Массами, массами, — но ведь каждый знал только свою смерть. И все сопровождалось словами. Как мучился он своими собственными пышными разглагольствованиями с монахом — в самый ее смертный час! «Пока ты щеголяешь громкими фразами, навстречу уже плывет труп. О жалкий обман всей нашей жизни! Кичливые фразы — и такие убогие судьбы!» Те большие проблемы, которые он намеревался разрешить, были ему не по плечу. Он носился со своим мирозерцанием; но его поколение не созерцало мир, а разрушало его.

«И я хотел помешать ему, в этом была вся моя жизнь. Всегда одна цель: был ли я заведующим рекламой, адвокатом для бедных или крупным промышленником и другом рейхсканцлера. Я лгал и обманывал, чтобы спасти людей от самих себя, но убивать я не согласен. Чаша моего терпения переполнилась. Пусть они уничтожают друг друга, если в том их счастье, если для их счастья нужны катастрофы, а за краткие просветы в своей истории они оплачивают не иначе как периодами озверения. Не убий!» Тут он понял, что мыслит словами монаха, который там, в горах, молился за него, дабы он не убивал.

Но ему нужно убить. Решено было, чтобы пал один, — пал вместо многих. Толлебен должен быть уничтожен до начала кровопролития. Оно могло быть остановлено этим. Поднять знамя! Те, что хотели кровопролития, уже подняли свое; в Париже пал тот⁶⁰, «кто в течение одной ночи был мне братом». Невинен — Толлебен? Невинных не существует; каждый из тех, кто на виду, должен ждать возмездия. Толлебен ждал возмездия за всех своих предшественников, за всех действующих, за всех живущих, за все человечество и его деяния. Он ждал и был готов.

«Смерть палача избавляет от жертв». Когда поезд подходил к Берлину, голову Терра гвоздила одна эта мысль. Монах там, в горах, наверное, перестал молиться. «Смерть палача...» Поезд остановился; покорные зову, на дебаркадере стояли Куршмид и Эрвин Ланна.

Испуганным шепотом Эрвин спросил:

— А Леа?

— Шлет привет, — сказал Терра, ужаснувшись, что ни разу за все последние тяжкие минуты, ни разу она не вспомнила этого любящего человека. — Вы, вероятно, поняли, граф Эрвин, что именно нам предстоит обсудить? — Бережно, как говорят с

⁶⁰ ...в Париже пал тот... — 31 июля 1914 года, за день до начала первой мировой войны, Жан Жорес пал от руки шовиниста Виллена.

живыми, говорил он с этим несчастным, чья большая любовь оказалась так бессильна. — У вашей сестры, граф Эрвин, от вас нет тайн. А то, что она не высказывает, вы угадываете. Нам, господа, остается договориться насчет технической стороны нашего предприятия.

Они до тех пор колесили втроем в автомобиле по пустынным в этот утренний час улицам, пока все не было решено.

— Надеюсь, господа, что вы оба не пострадаете, — заключил Терра. — Так как вы точно знаете весь ход событий, вам удастся уберечься. Однако опасность для жизни не вполне устранена, поэтому я, хоть и с опозданием, задаю себе вопрос: как мог я вовлечь вас в это дело?

Тут заговорил Куршмид; раньше он только отвечал на вопросы.

— Не беспокойтесь обо мне, господин Терра. Требуйте от меня чего хотите, колебаний быть не может. Считайте меня просто своим орудием. Я служу. Но не думайте, что вы завоевали меня... Я завоевал вас... Да, я некогда избрал вас, вы не могли от меня отделаться, я был даже назойлив...

— Вы — сама преданность.

— Нет, господин Терра, я неустойчив, во мне есть авантюристическая жилка. Я бы и в жизни имел не больше успеха, чем в театре. Сейчас, когда, по-видимому, близок конец, я могу позволить себе высказаться, хотя бы слова мои звучали театрально. Жизнь загадочна и обманчива. Удивительно, что я еще существую. В уединении иностранного легиона я особенно часто думал о вас как о силе, на которую мне можно положиться. Вы — мой оплот. Голова — вот кто вы.

Куршмид замолчал, весь дрожа от сказанного, синеватая тень легла вокруг дерзких глаз.

Оба спутника вышли. Подавая на прощание руку Эрвину, Терра так был охвачен мыслью о Лее, что у него вырвалось рыдание.

— Не надо, не говорите ничего! Я хочу, умирая, надеяться, что она жива, — смертельно побледнев, быстро, глухо, умоляюще произнес Эрвин.

Терра поехал домой, чтобы привести в порядок личные дела. В конце концов и он, подобно своим спутникам, мог поплатиться жизнью. Он писал, думал, и перед ним попутно вставали картины того, что сейчас происходит. Они возникали на бумаге, вырастали из цифр, из колец дыма. Эрвин был у Алисы; где угодно нашел бы он спасение, только не у нее. Он взял ее руку, утреннее солнце освещало их. Они хотели заговорить, но каждый избавил другого от этого. Это было слишком трудно, хотя так понятно им обоим. Итак, они молчали, но, глядя на дверь, знали, что человек там, за нею, более достоин жалости, чем они.

Он проделал еще больший путь, пока дошел до отречения и смерти... Итак, они молчали, печальные дети веселого отца...

Они поднялись. Эрвин ушел. Сейчас начнется! Затаив дыхание, прислушивался Терра, — и тут рядом с ним зазвенел телефон. Он так поспешно схватил трубку, как будто мог уже получить весть о конце. В самом деле, он услышал: «Помогите!» — и крик. Пронзительный, отчаянный, неузнаваемый крик женщины в смертельной опасности.

Снова: «Помогите!» — и еще: «Убивают!» Да, верно, Лили, княгиня Лили, она кричит: «Не убивай! Душа моя, ненаглядный мой!» — но чья-то рука зажимает ей рот. Она кричит, борясь, падая, меж тем как кто-то оттаскивает ее. Второй голос прошипел: «Молчи!» Второй голос зазвенел от злобы: «Ты мое несчастье! Ты расстроила мою женитьбу. Ты всегда будешь тянуть меня в болото...» Все заглохло: иступленная злоба, борьба за жизнь... наконец снова крик, ужаснее прежних, а затем шум падения.

Терра тоже кричал в трубку. Он ревел так же иступленно, как сами борющиеся. Теперь он затих, как они. После долгой напряженной паузы он выкрикнул:

— Убийца!

Ответом было рыдание.

Отец видел все. Он видел сына, сраженного собственным деянием, распостертого перед матерью, которая еще хрипела у себя на кровати. В последний раз повернулась она к нему лицом, говорившим молча, страшнее всяких слов: «Умереть здесь — на кровати, на моей неизменно неоплаченной кровати, на которой я предпочла бы до скончания веков только любить!» Но лицо сразу стало старым, оно все-таки состарилось: это могла сделать только смерть. Столь много любимое тело лежало обнаженное, чья-то рука натянула на него одеяло. Кончено, княгиня Лили? Кончено, женщина с той стороны? Терра громко зарыдал. Издалека ответило другое рыдание... Хлопнула дверь. Он повесил трубку.

Упав головой на руки и весь сжавшись: «Что за час она выбрала для смерти!» Час, когда для него самого умирал мир. Та женщина была для него первым отражением мира, его вселенской любовью, его грехопадением. Мертва, мертва даже она — великолепная княгиня. Какое предостережение! Перестань, наконец, хотеть, перестань действовать! Думай об одном — как бы вырвать из тисков хотя бы то, что от тебя осталось. Твой сын убил! Не убий!..

Он вскочил, выбежал из дому. Лишь пройдя много улиц, вспомнил, что идет без цели. Задержать то, что надвигается? Но как? С чего начать? Считанные минуты, а тут сомнение — что же справедливо? «Смерть палача избавляет от жертв» — неверно! Противно всякому опыту и предвидению!

Война уже есть, и она останется войной. И все-таки даже безрезультатный поступок окажет свое действие и не пропадет зря. Мимо него проезжали пустые такси, но он шел пешком, чтобы вернее никуда не прийти. «На что употребить себя, если не на это? Я все порвал, я теперь ничто. Я разоблачен, больше я никого не обману. Я должен убить».

«Случись это раньше, когда он был моим врагом! Мы ненавидели друг друга с кровожадностью первых врагов в роду человеческом. Как все изменилось! И вот я убиваю того, кто стал мне почти братом! Уже не безудержная жажда его смерти, а мысль, зародившаяся — сперва во мне? Сперва во мне, а через меня в Алисе. Потом, наконец, и в нем — и лишь тогда снова во мне, непреодолимо. Мысль движет всем. Я не могу помешать себе убить, ибо я мыслю».

Он боялся лишиться рассудка; он взял такси, чтобы бежать. Но тут увидел скопища народа, газетчики выкрикивали: «Экстренный выпуск! Убийство рейхсканцлера!» Тогда он снова вышел... Ни слова об убийстве, — и сборища были вызваны другими историческими ударами судьбы. Значит, не тем, который нанес он? Но вот уже ему

снова слышалась из другой толпы весть о его деянии, враждебные лица выслеживали его. Поднимался запах крови. Он хотел оглядеться: неужели он так близко от места действия? Но вокруг него все потемнело.

Он пришел в себя на какой-то скамейке. Время упущено, теперь уже все свершилось! В этот миг, но слишком поздно, он придумал способ, как он мог бы очутиться рядом с Толлебенем на пути к смерти. Умереть вместе! Он умер бы вместе с ним, и все муки бы разрешились. Сгинула бы голова, что изобретала их. А взамен этого сейчас начнется возмездие, ступень за ступенью пройдет он путь возмездия. «Донести на себя — первая ступень». Но кто станет слушать его? Кто возьмет на себя ответственность за такой скандал? Его отошлют прочь, заявят, что рейхсканцлер — жертва несчастного случая, а он сумасшедший... Есть, правда, человек, который внимательно выслушает его, поверит каждому его слову: Мангольф. «Кто глубже всех постигнет меня? Он. Кого я унижу вместе с собою? Кто возненавидит меня вместе со мною?»

Нет, нельзя! Нельзя каяться, нельзя снимать с себя ответственность, нельзя перекладывать свое бремя на других людей. Молчать. Одному продолжать борьбу... Он встряхнулся — и вдруг решил, что все еще поправимо. Беда, наверное, еще не разразилась, он остановит ее. Недолго думая, поехал он туда.

Рейхсканцлер фон Толлебен сел во дворе рейхсканцлерской резиденции в автомобиль, который должен был доставить его в рейхстаг. Настал час сказать рейхстагу, что война начата. Жена и ее брат были с ним. Толпа за решеткой увидела, как сообразно с требованиями минуты глубоко сосредоточен канцлер и в то же время как он полон уверенности. Он был в кирасирском мундире. Словно чувствуя, что ряды людей, сквозь которые он проезжал, в растерянности колеблются между отвагой и страхом, он улыбался — необычайно ясно. Приглушенные возгласы поднимались из толпы и сопровождали его.

В автомобиле все молчали. Жена и ее брат смотрели в разные стороны, Толлебен — прямо в пространство. Что из предстоящего знал он? О чем думал он во время этого пути? Не о смерти. Алиса понимала: о долге. Правда, долгом была смерть. С нынешнего дня все были смертниками, и ему, Толлебену, не подобало уклоняться от смерти. Но его больше не занимала уже принесенная жертва, для него на первом плане была взятая на себя ответственность. Многие, очень многие из них умрут, вот что он должен сказать им в рейхстаге, — только это одно; а потом наступит великое молчание.

Но сперва он хотел сказать об этом богу. Единственное, чего жаждала еще его душа здесь, на земле, — обратиться с немногими смиренными словами к богу: так ли все, как должно, есть ли надежда на прощение для него, кто посылает несметные множества людей на смерть — и взамен ничего не может предложить, кроме своей собственной жизни?.. У Бранденбургских ворот Толлебен не мог стерпеть этой жажды, не мог стерпеть шума и суеты, мешавших ему говорить с богом. Он приказал: в собор.

Автомобиль сделал поворот, проехал назад по Унтерденлинден и плавно покатил к собору. Он, казалось, не мог остановиться, шофер тщетно силился затормозить. Егерь соскочил и помог госпоже фон Толлебен выйти из автомобиля, продолжавшего катиться. Рейхсканцлер хотел последовать за ней, но кто-то изнутри закрыл дверцу. А в это время снова ускорился ход машины, она заскользила по гладкому,

свежеполитому асфальту. Автомобиль начал вертеться — все быстрее и быстрее, завертелся как бешеный и стал скатываться на сторону. Продолжая вертеться и скатываться, он со всей силой налетел на фонарный столб.

Женщина на краю тротуара вскрикнула. Егерь поддержал ее, чтобы она не упала. Тотчас подле нее очутился Терра, он бормотал не помня себя:

— Алиса! Что случилось?

Она уже овладела собой, выпрямилась.

— Узнайте! — сказала она егерю, кивком указывая в ту сторону, где произошло несчастье. Потерпевшего аварию автомобиля не было видно, — столько экипажей, ехавших с разных сторон, остановилось подле него. Кругом теснились люди. Полиция удерживала самых предприимчивых, пытавшихся пробраться между экипажами. Никто не знал толком, что случилось, и тем больше было давки и крика.

Алиса видела, что лицо Терра искажено до ужаса. Она не представляла себе, что у него может быть такой страдальческий лоб, такие обезумевшие глаза. Вид его заставил ее встряхнуться. Иначе она отдалась бы свершившемуся и лишилась бы сознания. Ей стало страшно того, что сама она осталась жива. Испытать все до конца на живом теле! Егерь вернулся с докладом: рейхсканцлер убит. Вероятно, он уже был убит толчком, но потом его отшвырнуло, и на него наехал грузовик. Граф Эрвин Ланна убит. Шофер еще жив, но тоже при смерти. Он только сегодня был взят вместо прежнего, который внезапно заболел и настоятельно рекомендовал его.

Шум вокруг постепенно стихал. Весть о свершившемся переходила из уст в уста. Куда она доносилась, там наступала тишина. Алиса задрожала, вдруг заметив, что кругом тихо, — это поразило ее больше всего.

— Уйти! — Окружающие узнавали ее и шепотом сообщали другим, головы обнажались перед ней. Опираясь на своего провожатого, без слез, но уже вся в черном и с отсутствующим взглядом, брела вдова рейхсканцлера сквозь ряды, которые трудно, как упорная боль, расступались перед ней. Сверху на нее взирали собор, памятник великому Фридриху и знамена, торжественно приветствовавшие объявление войны.

За углом она остановилась лишь от слабости, ей хотелось бы идти все дальше, без конца. Но рядом уже стоял наготове автомобиль, вызванный егерем. Куда?

— В Либвальде, — сказала Алиса, закрывая глаза.

Терра дал указание шоферу, он понял все: сейчас она сокрушена. Не по силам оказались ужас, дерзание, преодоление — спасительный инстинкт хватался за мираж. Либвальде, упущенное счастье воскресало перед ней. Они снова молоды, они снова свободны, наконец настало лето, настало бодрящее лето... О! Но если Алиса откроет глаза, сейчас вот, сию секунду! Терра боялся этого больше, чем, казалось ему, мог бы бояться смерти. Ему невольно пришло в голову: «Этого Толлебен не испытал».

Она откинула голову, не открывая глаз. Он собрал все мужество и взглянул в это лицо, которое еще больше, чем то, раздавленное грузовиком, было его жертвой. И он узнал лицо Леи в ночь перед ее смертью. То же лицо, истомленное, просветленное, блаженное, предвкушающее Любовь или смерть, — так Алиса и Леа вновь обрели первоначальное сходство. В первый раз это было ночью, на ярмарке, где два борца

убивали друг друга, в то время как юная Алиса отдавалась его поцелуям, — и теперь снова, когда все было свершено: в нем воедино сливались ужас и восторг, ибо он оба раза одновременно видел и Лею.

Наново пережил он смерть Леи и подумал, что Лили, женщина с той стороны, умирая, вероятно, обрела тот же облик. И в ней могло возникнуть сходство с Леей. Ему чудилось, что у него была одна возлюбленная вместо трех. Разве не ощущал он Алису как сестру, а сестру порой воспринимал чувственно, как женщину с той стороны? Потому-то все три они умирали почти в один день. Любимые им женщины согласились между собой быть похожими друг на друга и умереть вместе. Все погибло, — погибли те различные формы, в каких жизнь дарила ему счастье, те глаза, чьими чарами она опутывала его, исчезло ее благодатное дыхание... Пока оно не развеялось совсем, он поцеловал все еще цветущие губы.

Алиса замерла, как тогда, впервые. Он сам отпустил ее, все было кончено. Она выпрямилась, посмотрела на него и сказала:

— Больше никогда. Для вас я умерла.

— Вы невиновны! — крикнул он. — Все должно пасть на меня. Отрекитесь от меня, но живите.

— Я буду жить в Либвальде, — сказала она.

— Никогда больше не видеть вас? — молил он, наперекор разуму. — Даже если б я искупил все, если только возможно искупить так много, и пришел бы в Либвальде, к той калитке, что всегда была отперта и всегда открывала нам дорогу к бегству, неужели она была бы заперта теперь и моя Алиса погребена за ней? А мне пришлось бы повернуть назад, и вы даже не узнали бы, что я побывал там?

— Остановите автомобиль! — сказала она.

Она протянула ему руку, когда он стоял уже на тротуаре, но у нее вновь было лицо архангела, узкое, совсем белое, более неумолимое, чем в тот раз, когда он тщетно просил ее спасти Лею. Он разжал руку, ее рука выскользнула, на окне опустилась шторка.

Запершись у себя дома, Терра ждал решения своей судьбы. Что бы ни дало следствие, ему казалось маловероятным, чтобы его арестовали. Тут вынырнули другие обстоятельства. Фирма Кнак известила его, что намерена немедленно порвать с ним всякую деловую связь. Объявление войны вселило в его коллег решимость энергично выступить против того, кто показал свое истинное лицо. Дальнейшая выплата ему процентов была приостановлена. Он израсходовал свое состояние на борьбу за монополию и против войны. Он продал все, что у него было, находя, что бедность еще очень слабая кара. Пришло известие, что сын его убит, со славой пал в первом столкновении с врагом. Смерть за отечество искупала даже убийство матери. Не отправиться ли туда за смертью?.. Но тут Мангольф пригласил его к себе.

Приглашение было передано по телефону через чиновника и по форме ничем не отличалось от официального приказа. Терра спокойно дал согласие. Но странно, несмотря на официальность, его приглашали явиться в Меллендорфский дворец рано утром — как в тот раз.

Как и тогда, он прошел прямо в комнату хозяина дома, Мангольф опять был в

пижаме и брился.

— Вот и ты, — сказал он, глядя в зеркало. Но сегодня он сперва кончил бритье, времени это заняло немало. Терра терпеливо ждал стоя.

— Этого следовало ожидать! — вдруг выкрикнул Мангольф, отбросив притворство. В его возгласе были бесконечная горечь и вся доступная ему сила презрения. Терра вздрогнул. Мангольф продолжал: — Ты, наверное, никогда не поймешь, как нелепо ты жил, как позорно кончаешь. Готов присягнуть, что ты склонен считать себя трагической фигурой.

— О нет, — пролепетал Терра.

— И не прочь предать гласности свое деяние, — резко продолжал Мангольф. — Это недопустимо, этому мы помешаем. Если ты выболтаешь то, что не могло случиться, я буду вынужден принять против тебя решительные меры.

— Разве ты начальник полиции? — робко спросил Терра.

— Несносный ты человек! — Мангольф скрестил руки и опустил голову. — Хоть раз постарайся увидеть жизнь такой, как она есть!

— Смерть, как она есть, больше соответствовала бы моему положению, — признал Терра.

Но тут уж испугался Мангольф.

— Нет. И на это ты не имеешь права. Не тебе идти сражаться вместе с нашими сыновьями.

— С нашими? С моим, — пробормотал Терра.

Мангольф окончательно вышел из себя.

— Сиди смирно, говорю я! Предупреждаю тебя: ты будешь уничтожен, если хоть что-нибудь предпримешь против моей войны. Без капли сожаления я погублю тебя. Все прежнее между нами кончено и погребено навеки.

Терра ничего не слышал, кроме слов: «Моя война».

— Твоя война? — переспросил он, потрясенный.

Мангольфа это отвлекло, он счел возможным даже пояснить:

— Надо тебе сказать, что Толлебен предчувствовал несчастье и написал мне об этом. Тут же он сообщил, что преемником своим рекомендует императору меня.

Терра думал: «А что предвидел ты сам? В какой степени ты мой соучастник?» Мангольф внезапно покраснел. Быть может, и он впервые задал себе этот вопрос?

— Я буду рейхсканцлером, — торопливо сказал он.

— Сердечно поздравляю, дорогой Вольф, — пролепетал Терра. — Награда вполне заслуженная. — Он подождал, отпустят ли его, и ушел, из почтения пятясь назад. Пораженный Мангольф остался в одиночестве.

Что тут произошло? Он добился своего, он достиг вершины, меж тем как тот был на самом дне, — откуда же все-таки сомнение? Первое сомнение в момент торжества, — неужто его сомнения и укоры совести до самой смерти будут носить имя Терра?

Он поехал в министерство; последние судороги ожидания, от императора ни курьера, ни звука. Когда Мангольф потерял уже надежду, явился он сам, полный величавого благоволения. Он прогуливался по рейхсканцлерскому саду с доктором Вольфом Мангольфом, как некогда с князем Ланна, своим Леопольдом. Строго и кратко спросил он, согласен ли Мангольф вместе с ним нести в это трудное время ответственность за его народ — перед людьми, ибо перед богом император несет ее один.

Мангольф ответил, что никакая задача не может отпугнуть его в такую минуту, даже и политическое руководство в период войны, которую он считал неизбежной, а потому давно включил в свою программу. Он по-рыцарски шагал подле своего господина, но не поощрял в нем чисто дамского кокетства, как некогда Ланна, не нагонял на него скуки, как Толлебен, когда они не молились вместе; зато Мангольф пугал императора. Император был прямо-таки запуган, расставшись с ним, и решил поменьше иметь дела с этим субъектом.

Мангольф все еще гибким и молодым шагом вернулся в дом под бесчисленными взглядами, несомненно следившими за ним из окон. Он принял поздравления от ближайших подчиненных, пожелал немедленно познакомиться с остальными; мимоходом, пробегая через анфиладу комнат, дал первые указания; все еле поспевали за ним. Старых чиновников при виде его решительной физиономии одолел страх. Они нашли, что он куда вышемернее господина фон Толлебена, а ведь тот был из настоящей знати. Что Мангольф не будет популярен, стало ясно еще до того, как он достиг своего кабинета.

Он приказал Зехтингу никого не впускать. Ему хотелось самому, без посторонних, выяснить, что можно сделать из комнаты, которую Ланна, уходя в отставку, почти совсем опустошил, а Толлебен не обставил вновь. Он отбросил всякую мысль о письменном столе Бисмарка. Нет, его собственные простые, скромные орудия труда и мышления! Его мышления, которое было современнее, ответственнее и правомочнее всякого другого! Внезапно у него забилося сердце, как у ребенка... Его мышление управляет страной! Он воспитал в себе мышление, достойное страны, прежде чем страна успела узнать его. И сейчас он с полным правом возглавляет ее. А все-таки сердце бьется, как у ребенка, получившего подарки. И образы детства возникли перед ним: с трудом стряхнул он с себя мечтательное настроение.

«У нас на дверях была дощечка: „Мангольф, комиссионер“. Я рейхсканцлер, это кабинет князя Ланна. Двадцать лет труда? Не помню. Двадцать лет метаний, мук и успехов, лицемерия, интриг, лжи и самоутверждения? Не помню. Я пошел к морю, золотая рыбка спросила меня, чего я хочу. Я ответил: стать рейхсканцлером. И я стал им».

Движимый стыдом и гордыней, он поклялся: «Прошлое зачеркнуто. Посмей кто-нибудь напомнить мне о нем!» Затаенная мысль: «Хорошо, что умер отец! Что бы он сказал? Он потешался над купцами, которые любили важничать».

Вдруг Мангольф достал карманное зеркальце, посмотрелся в него, перевел дух — и захохотал.

Мангольф, первый буржуазный рейхсканцлер, сознавая необходимость проявить себя, выступил перед рейхстагом. С самого начала ему пришлось исправлять ошибки, совершенные не им. Император просил царя о мире уже после объявления войны.

Мангольфу надлежало твердо и решительно указать, в чем наша воля, а значит, и наша судьба; он встал на защиту меча. Лишь мечом защищаем мы право свое, — противостоять ему может, говорят, одна любовь. Но нас ведь никто не любит. «Мы вторглись в нейтральную страну? Никто от нас ничего другого и не ждал. Мы отвечаем за свои поступки». Это было принято с восторгом, хоть в несколько испуганным. Пугала прямота. При всем своем патриотическом энтузиазме собрание требовало моральных оговорок. «Но через полгода я бы дорого поплатился, если бы позволил себе сегодня хоть тень упрека. Нации не могут быть неправы».

После этой речи в течение нескольких дней рейхсканцлер был чуть ли не национальным героем. Он читал это на всех лицах, каждое на свой лад признавало: «Между тобой и мной стоит, разделяя нас, высшая власть — слава!» Но общественное мнение распространяет лишь опошленную славу, оно убивает фантазию. Мангольф сознавал это. «В момент моего откровенного заявления меня окружал тот трепет, без которого не может быть популярности высшего порядка. Однако усилиться этому трепету не дала пресса. В наше время каждое событие дважды на день приканчивается печатью».

Куда легче полководцам! Все их деяния совершались где-то далеко и были красочны, ведь при этом текла кровь, а составлять донесения о том, как они свершались, можно было самим. Рейхсканцлер рассуждал про себя: «Хорошо иметь под рукой таких рубак. Враг подбирается к нам, его заманивают в болото. Молодцы ребята, лучше не придумал бы никакой дикарь племени Сиу. Народ воодушевляется, ему это понятно. Во всем происшествии нет ни одной мысли, которая была бы ему недоступна. Но разве это подготовка к будущему, основанному на дисциплине, строгости и несокрушимом величии, которое ему уготовал я?»

Стремясь к власти, Мангольф хотел войны — прежде всего потому, что хотел власти. Война оправдана, если ее ценой к власти приходит тот, кому удастся осуществить требования времени. Объединение Европы путем войны перестало быть мечтой одинокого гения, как во времена Наполеона. Каждая просвещенная воля сама собой направляется в это русло. «Меня сочтут творцом, а на самом деле я буду лишь догадливым выразителем носившейся в воздухе мысли, — заранее уговаривал себя Мангольф, чтобы не зарываться. — Такова подоплека всякого творчества...» И все же эта мысль была честолюбивой. Была мукой и одержимостью, пока ему приходилось молчать. Была авантюрой и химерой, пока другие не одерживали побед для Мангольфа. Он зависел от побед военного командования.

Но уже первые победы показали ему, что политическое руководство теряет всякий смысл для народа, который стал единой слитной волей в борьбе за свою жизнь. Кто поручится за его жизнь? Во всяком случае, не государственный деятель, который занят отдаленным будущим. Массы не знают его, ему приходится молчать. Они знают генералов, которые побеждают, завоевывают и вместе с народом не подозревают, что завоевания и победы никогда не были прочными. Насилие неизменно порождает насилие. Война бесцельна. Мангольф увидел это чуть ли не в тот миг, как она разразилась. Раньше это было скрыто от него, лишь реальность войны разорвала завесу. Страшнее всего было открытие, что ничего не удастся предугадать, что мысль — наивный младенец; действительность, едва появившись на свет, сразу оказывается сильнее и опытнее ее.

С таким сознанием в душе Мангольф служил войне. Он прославлял перед

парламентариями имена победителей и их победы. До него офицеры разносили их в автомобилях по улицам, голоса улицы выкликали их до него. Рейхсканцлер давал последнюю санкцию великим именам, а потом умолкал, снедаемый одной мыслью, которая изо дня в день все больше расходилась с действительностью. Как действительность, так и будущее мира самовластно творила война, рейхсканцлеру оставалось только прославлять ее. Ему оставалось передавать благодарность родины ее спасителям, к которым его не причисляли.

Где только можно было, он говорил: «Единственные большие люди — это те, кто сейчас сидит в окопах», — что было не только самоуничижением. Он тем самым давал понять военным заправилам в тылу, чем он в конечном итоге считает их. Он не верил в «планомерные» победы, в мероприятия, разработанные давно умершим начальником генерального штаба, где не предусмотрены возможные случайности. Народ крепко держался за свои иллюзии, рейхсканцлер же знал военщину. Сомнения в целесообразности войны настраивали его недоверчиво и к способностям тех, кто руководил ею. Они не соображались с тем, что у противника есть мозг, ибо мозг вообще не участвовал в их расчетах. Поражение на Марне⁶¹ неожиданно и жестоко подтвердило его правоту.

Мангольф угадал несчастье раньше, чем военные признались в нем. Они думали утаить его от рейхсканцлера, так же как и от нации, но он вырвал у них правду. Он побледнел и, пошатнувшись, схватился за сердце; у господ военных создалось впечатление, что этот штатский теряет контроль над своими нервами. Они пояснили ему, что одно сражение ничего не решает, в худшем случае лишь отдаляет конечную победу. Он отпустил их; он понимал, что все пропало.

Это сословие слишком много обещало, и потому уже первая потеря стала непоправимой. Никто, со времен раннего владычества церкви, в такой степени не убеждал народ в своей непреложности, как это сословие.

Первое же сомнение было им приговором. Ничто не могло заглушить эту уверенность в Мангольфе: «Они потерпят крах», и всякий раз сердце у него замирало. Он знал теперь, что означает это замирание, этот испуг. Совсем не то, что предполагали господа военные. Это можно было назвать безумием, примитивные умы называли бы это радостью. Ужас перед неизреченным и еще невообразимым — и тут же какая-то живительная струя. В конце концов канцлеру пришлось задать себе вопрос: «Неужели я желаю, чтобы нас разбили?»

Напряжение всех сил! Душевных, психических. «Моя война!» — а по сути при неустанной деятельности ему позволено было только выжидать и наблюдать... Только публично защищать неудачи и приукрашенные сведения господ военных и брать на себя всю ответственность за них. Постоянно трудиться на других, наперекор собственному убеждению. Пожалуй, это сокрушало не меньше, чем ураганный огонь и газовые атаки, только что тут человек оставался жив. Месяцы и годы безрезультатной борьбы протекли после проигранной битвы. Месяцы и годы всякое внешнеполитическое выступление рейхсканцлера выслеживалось пан германцами, и тем самым пресекались пути к необходимому общению с миром. «И я сам оказал

⁶¹ *Поражение на Марне.* — Имеется в виду поражение немецких войск в многодневной битве 5—12 сентября 1914 года на реке Марне (во Франции) между главными французскими и германскими силами.

поддержку пангерманизм!» Он в письменной форме обратился к ним с просьбой не разрушать его политических планов. Наглый ответ их председателя гласил: и разрушать-то нечего; письма эти переходили из рук в руки. Рейхсканцлеру была уготована кличка труса. От труса до изменника из трусости нынче был один шаг. Пангерманцы одни отважились громогласно приветствовать объявление столь желанной им войны. Мангольф же только про себя мог говорить: «Моя война». Им легко перекричать его, они только криком и держатся. Его оттесняли в тень не только те, что дрались на фронте, но и те, что шумели в тылу.

Генеральный штаб и пангерманцы уже взяли верх над ним, теперь очередь была за рейхстагом. Ему опорой служили жертвы, приносимые нацией; она ничего не брала от правителей, она только давала. Великая опасность сразу сделала ее самостоятельной, меж тем как все успехи мирного времени только сильнее поработали ее. Нация уже не чувствовала над собой официальной силы: для нее существовала одна сила — ее собственная, выраженная в ее истекающих кровью сынах. Кто вел их в бой, тому она отдавала себя и свое сердце. Рейхстаг поддерживал военное командование, непосредственно сообщаясь с ним. Что оставалось делать рейхсканцлеру? Воздействовать на императора? Военное командование грозило уйти с поста в самый разгар боя. Тогда бы никакой император не спас положения. Рейхсканцлер имел лишь право совещательного голоса. Решение выносил рейхстаг совместно с генеральным штабом. Мангольф, первый буржуазный рейхсканцлер, совсем иначе рисовал себе приравнение рейхстага к правящим парламентам во всем мире. Предполагалось, что рейхстаг ограничит власть императора как препятствие для творческой мысли народа. Но неожиданно выяснилось, что императорской власти уже не существует.

Император иногда приходил к своему канцлеру осведомиться о новостях, которых они оба не получали. Мангольф понимал: император не любит его, но тянется к нему, как к товарищу по несчастью. Оба ошупью бродили в полутьме.

— Мне это надоело, — сказал как-то император. — У меня болит горло, я пойду лягу. Что эти штабные молодцы носятся со своими аннексиями? Они могут здорово подвести меня. А одну рожу я прямо-таки видеть не могу.

Канцлер обратил его внимание на то, что рожа эта слишком глубоко забралась в тыл; ведь генеральный штаб расположен настолько безопасно, что туда отваживаются ездить даже представители тяжелой промышленности, и притом частенько. Требованиями так называемой индустрии, то есть нескольких безответственных лиц, определяются наши военные цели. Эти лица, укрывшись за спиной невежественного военного командования, в своих частных интересах вынуждают измученный народ на дальнейшую борьбу — кто знает, до каких пределов?

— А иначе мы могли бы добиться мира? — спросил император.

— Иначе мы могли бы добиться мира, — подтвердил рейхсканцлер.

Император добавил:

— Хорошо, что вы это понимаете. Ведь вы тоже были из передовых и хотели править вместе с говорильней помимо меня. Вот вы и получили парламентаризм, — видите теперь, каков он? Наслаждайтесь им! А я пойду лягу.

Рейхсканцлер проводил его с непокрытой головой по лестнице вниз до самого

автомобиля; затем вернулся к себе, окончательно поняв, что публично император из осторожности будет по-прежнему твердить одно: «Во время войны политика должна держать язык за зубами, пока стратегия не скажет своего слова». Итак, Мангольф одинок — как человек, которого все обогнали. Ему никогда и в голову не приходила возможность чего-либо третьего, кроме бюрократического государства и национального государства. Кто бы это подозревал? Имперский министр крупного масштаба мог сохранять в силе бюрократическое государство, если своим личным дарованием он удовлетворял духу национального государства и мог заменить его. Что же получалось на деле? Нечто третье: господство частных интересов — при полном отсутствии обоснованного политического мышления. Имперский министр крупного масштаба мог упрочить национальное государство при условии, чтобы он сам руководил им. Диктатура. Самостоятельно эта нация ни на что не была способна. А все прочие? Перед Мангольфом вставала и рушилась вся перспектива гордой и славной будущности, мечта о единстве целой части света под диктатурой — его собственной диктатурой, что было бы возможно лишь, если бы победила Германия... А вместо этого господство частных интересов как залог неминуемого поражения. «Творческие силы нации более соответствуют духу времени, чем мои; они чутьем найдут свой путь даже сквозь поражения, я же остаюсь в одиночестве». Мангольф признавал: «Трагедия мыслителя! Едва достигнув вершины, он чувствует, как его догоняет бесцеремонно следующая за ним по пятам жизнь. Еще миг — и он отстал на целое поколение. Я, наконец, достиг тех высот, откуда мог бы показать, чего я стою, — и вот я бессилен».

Он мог бы проявить былую гибкость, отречься от себя и просто следовать за ходом событий. Но нет! Прежде он действительно отрекался от себя, но не затем, чтобы следовать за ходом событий, а чтобы возглавлять его. Он всегда возглавлял борьбу за избранную им идею, безразлично, верную или ложную. Он воспитывал в себе веру в нацию и ее мировое призвание. Но способствовать господству крупных дельцов, которое и без того было неизбежно, казалось ему недостойным. Для этого Мангольф слишком гордился своей жизненной борьбой; победы такого рода были бы плохим ее завершением. Зять Кнака слишком поздно увидел, что класс, на который он думал лишь опереться и который на самом деле использовал его самого, что этот класс был его злейшим врагом, врагом всякой идеи, в том числе и национальной, врагом каждого мыслящего человека, его врагом. Он без труда разгадал замыслы этого класса, слишком он хорошо знал его; старый опыт и новая вражда дали в соединении такую остроту взгляда, которая разоблачала любые уловки. Этот класс умел действовать исподтишка. Внешне же царил нерушимый гражданский мир, блистательное единодушие, энтузиазм, которому не предвиделось конца.

Мангольфу удалось вскрыть бездарность по службе обер-адмирала фон Фишера, соединенную с непомерной политической наглостью. Он все еще не строил подводных лодок, зато утаивал важные документы. Император на миг проявил волю, Фишеру пришлось уйти. Его банда после этого окончательно ополчилась на Мангольфа. Как он смеет, да ведь без них он не сделался бы рейхсканцлером! Они возненавидели его тем сильнее, чем ближе были к нему прежде.

Ему пришлось искать поддержки, он нашел ее в рейхстаге, где гражданский мир заметно начинал надоедать. Депутаты, которые еще не были подкуплены крупными дельцами и, вероятно, отвергли бы подкуп, сплотились вокруг рейхсканцлера. Они

изображали национальный пыл, но не прочь были узнать, скоро ли, наконец, заключат мир. Но он отвечал уклончиво. Ведь они знают, что политика пока что не имеет права голоса. Они не хуже его понимают, где настоящая власть. Даже налог на военные прибыли неосуществим, пока держится уверенность, что платить будет враг.

— В это верят очень немногие, — заметил депутат.

— Но ваш коллега Швертмейер, который вводит поставщиков в министерства, долго еще будет верить в это, — возразил Мангольф.

— Пока его не отрезвят, — сказал депутат.

Оба улыбнулись, затем Мангольф принял глубоко серьезный вид.

— Народ наш — честный и верный народ: так умирать, так голодать умеет только он. Как можно допустить, чтобы одни со спокойной совестью чудовищно наживались на смерти других! Кажется, это происходит теперь повсюду, но мы считали себя лучше других. По какому праву иначе объявили бы мы войну?

— В тысяча девятьсот четырнадцатом году мы только оборонялись, отсюда и энтузиазм, — возразил депутат.

Мангольф сурово:

— Нам необходимо расширить свои границы, не забудьте этого! Промышленности нужны новые рудники.

Хотя депутат и сделал неодобрительную гримасу, Мангольф все же успел, противореча для вида, раскрыть перед ним преступное своекорыстие промышленных кругов. Запрещение вывоза стали, которое Англия ввела с 1915 года, все еще тормозилось немецкими дельцами; гонясь за высокими прибылями, они поставляли сталь нейтральным странам, откуда она попадала к врагу. Мы же возмещаем огромными человеческими потерями нужный для обороны материал, в котором они нам отказывают.

— Если уж у виднейших деятелей, стоящих во главе германского хозяйства, не хватает чувства национальной ответственности...

— То мы пропали, — закончил депутат и ушел, глубоко потрясенный. Услышать нечто подобное от рейхсканцлера, который связан узами родства с тяжелой промышленностью!

Следующий депутат принадлежал к интеллигентной профессии. Рейхсканцлер похвалил единодушие интеллигенции, добровольный отказ от собственной, столь высоко развитой способности суждения, — ведь принимать безоговорочно все глупости буржуазии не всегда легко.

— Для дельцов, правда, все хорошо, пока они хорошо зарабатывают. Но интеллигенты, очевидно, связывают с нынешней войной более высокие цели; они скорее готовы были признать конечной целью войны образование Соединенных Штатов Европы, — сказал Мангольф, опуская глаза, — чем сугубо личную корысть. Кто не страдает от безропотного голодания бедняков, от наглости стяжателей, от кровожадного воя их прессы! Даже в армию проникло социальное разложение, солдатам живется плохо, меж тем как высшее офицерство думает лишь о наживе. Зато как патриотично поведение наших социалистов, вопреки всему требующих мира только с военными гарантиями.

— Мы начинаем отходить от этого мнения, — заикнулся социалист, за что рейхсканцлер выразил ему порицание, хотя и в снисходительной форме. Он признал, что военное руководство слишком сильно прислушивается к требованиям промышленности, — гораздо сильнее, чем было бы желательно политическому руководству.

— Не мы санкционировали вывоз рабочей силы из Бельгии... И не мы до сих пор толкуем об аннексиях. Сам я когда-то, в дни молодости, толковал о них, — сказал Мангольф. — Но теперь получил хороший урок. Я хотел лишь короткой войны.

— Если бы она отпускалась по мерке! — заметил его собеседник, но Мангольф стерпел даже иронию. В награду он услышал, наконец, признание депутата: — Мы хотим мира — любого мира, который оставит нам не только глаза, чтобы плакать. Дайте нам его, господин рейхсканцлер!

— Помогите мне!

Они и помогали ему, обуреваемые растерянностью и отчаянием. Самые порядочные из них по собственному почину добросовестно, но тщетно старались выпутаться из сети многоликой лжи. Их обманывали изо дня в день, убаюкивали лживой уверенностью, лишали воли, парализовали, и все-таки они, как в злом кошмаре, чувствовали, что это плохо кончится. Многие понимали, что ложь, торжествовавшая по всей стране, уже пала на головы породивших ее. Сами полководцы становились ее жертвой. Они перестали отличать возможное от невозможного. Кичившиеся в своем скудоумии тем, что со времени кадетского корпуса не прочли ни одной книги, они теперь утратили суждение и меру; они терпели поражения оттого, что слишком зарвались... Большинству депутатов это стало ясно гораздо позже, чем многотысячной массе их избирателей. Ибо они были ближе к парализующей пропаганде и больше рисковали, провозглашая истину. Их расшевелить Мангольф мог только после того, как они совсем прозреют. Все его искусство было направлено на то, чтобы уловить момент. В рейхстаге он агитировал среди прозревших за резолюцию в пользу мира. Одновременно он нащупывал почву для мира по ту сторону запретных проволочных заграждений, у врага.

Нащупывал в глубочайшей тайне, совершенно самостоятельно. Его посланцы были лица неофициальные; их истинные задачи в худшем случае становились достоянием молвы, но они терялись в несметном множестве секретных известий, которые передавались шепотком. Поездки за границу этих лиц объяснялись экономическими целями, если же назывались и политические, то они шли под маркой ободрения колеблющихся союзников.

Одних своих агентов Мангольф считал ловкачами, которые спекулируют на мире, других — политическими дельцами с неполноценным чувством патриотического долга. Его честолюбивое самосознание, упроченное долголетней внутренней борьбой, осталось непоколебимым при такой перемене фронта. Он был по-прежнему националистом, но хотел уже для своей нации не мирового владычества: он попросту хотел спасти ее, остановить ее разложение, избавить от рабства на долгие годы, спасти.

Но он не доверял тем, кто никогда не хотел для нее мирового владычества. А именно на них ему приходилось опираться. Какой урок! Презрение, которое они ему внушали, падало на него самого. Мангольф действовал согласно велениям своей

совести, но внутренне он был настолько унижен такими сообщниками, что даже веления совести стали казаться ему сомнительными.

Он искал нравственной опоры, но кому он мог открыться? Уж не ребенку ли? Тому ребенку, в ком сосредоточилась для него вся жизненная теплота, все его человеческие привязанности. Беллона не жила с ним, с тех пор как Алиса Ланна удалилась в Либвальде. Беллона осталась в своем доме; она посещала общество, или теперешнее его подобие, с мужем она не встречалась. «Ты достиг цели, во мне ты больше не нуждаешься». Впрочем, ланновские парадные апартаменты были теперь все равно закрыты; его должность утратила и эту долю престижа. Мангольф жил холостяком в том крыле рейхсканцлеровского дворца, которое выходило на Вильгельмштрассе, там с ним жила и его девочка. То была дочь княгини Лили, его дочь. После смерти матери он взял ее к себе.

В часы одиночества и сомнений он звал ее в свой кабинет, который князь Ланна даже не узнал бы, — простотой убранства он напоминал контору. Девочка-подросток сидела в сторонке, держа книгу у защищенных очками глаз, меж тем как отец ее писал. Когда ей казалось, что он достаточно углубился в свое дело, она смотрела на него. Его поседевшая голова с впалыми желтоватыми висками клонилась вбок над бумагами, его поза в точности соответствовала позе того Христа, который позади Мангольфа, на единственной висевшей здесь старинной картине, совершал свой крестный путь. Он уже готов упасть, крест скользит с плеча, единственная сострадающая душа поддерживает его, между тем как жены-мироносицы плачут и длинная вереница воинов безучастно взбирается на холм.

— О чем ты думаешь, дитя мое? — спросил отец; нынче вечером больше, чем когда-либо, была у него потребность в моральной поддержке. Но девушка, застигнутая врасплох в своем созерцании, опустила взгляд. — Ты смотришь на Христа? Он падает. Он даже будет распят. Однако этой ценой все другие персонажи картины обретут жизнь, — закончил он вяло, ибо сравнения казались ему пошлостью. Дочь продолжала читать. Он спросил: — Что ты читаешь?

— Стратегию.

— Покажи мне книжку.

Она торопливо засунула ее в кипу других книг, вскочила и уставилась в пространство, как упрямая школьница. У нее была горделивая осанка матери, но движения неловкие. Лицо было слишком мало, уменьшенный и ухудшенный Мангольф. Опущенные уголки рта, резкая линия носа, а за стеклами очков чужие, колючие глаза, которые постоянно шарили по сторонам. «Несчастливая девочка! — думал отец. — Со мной — и ненавидит меня!»

Ибо в собственном сознании она была дочерью Толлебена: так решила ее мать, так думал и Толлебен. Инстинкт оказался бессилен, она считала отцом покойного. Безразлично, в силу ли инстинкта, или чего-нибудь другого, но он любил ее задолго до этого холодного и эгоистичного человека, которому она не доверяла. Как попал он на место ее отца, Толлебена? Неужели отец ее умер из-за него? Как это случилось? На что он еще был способен?

Мангольф, угадывая ее молчаливые вопросы, все же допытывался:

— Ведь ты тоже хочешь, чтобы война поскорее кончилась?

— Сперва она должна оправдать себя, — сказала дочь.

— Кому понадобится это оправдание, когда все будут перебиты? — стал убеждать ее Мангольф. — На этом настаивать нельзя.

— Мой отец Толлебен не задумался бы настоять на этом, потому что он сам не боялся быть убитым, — заявила девушка, вдохновенно глядя в пространство.

Потерпев поражение, Мангольф склонился над бумагами седой головой и пергаментным лбом. Дочь снова вытащила из кипы свою книжку, которая была вовсе не учебником стратегии, а английским приключенческим романом на тему о грядущей подводной войне. Она прокралась с ней в другой угол, оттуда ей лучше было видно, чем занят отец. Что он пишет? Что он затевает? Какие тайны хранятся в полуоткрытых ящиках, которые потом так тщательно запираются? Взгляд ее пытливо шарил по сторонам. Мангольфу он жег затылок.

«Она упрекнула меня в трусости. И у ее отца, Толлебена, были на то основания. Мне надо снять с себя этот упрек, надо пойти дальше, чем я осмеливался до сих пор! Когда-нибудь всем станет ясно, что один-единственный человек отвратил от страны катастрофу, а сам погиб. Это не будет так называемая геройская смерть; может статься, меня даже заклеймят как изменника. И я должен дойти до измены! К чему самообман? То, что я затеваю, сейчас называется изменой».

Пока он действовал, он был полон самообладания, сносился с врагом, отдавал себе отчет, что в лучшем случае Германия может рассчитывать на довоенное положение, — словом, жил больше реальными задачами завтрашнего дня, чем хаотической сумятицей сегодняшнего. Параллельно он отдавал ежедневную дань обману, заносчивым и непримиримым речам в воинственном и победном духе, которых народ требовал от него.

Но вот наступала ночь, и воля его колебалась. Он просыпался, обливаясь потом; душа, многоопытная и древняя, возвращалась из странствий в грядущих временах, которые пока были ведомы ей одной, во временах, когда положенное ему будет свершено и приговор над ним произнесен. В момент пробуждения ему еще как будто виделось нечеловечески страшное лицо — его лицо после деяния. Правда, он говорил: где же начинается деяние? Ведь он уже вовлечен в него, оно вытекает из хода событий, и в сущности его требуют от рейхсканцлера все, даже самые непримиримые; только у трусов не хватает мужества посмотреть правде в глаза. И все-таки волосы становились у него дыбом.

В такие ночи ему не лежалось: неслышно старался он проскользнуть мимо комнаты дочери и ощупью пробирался к себе в кабинет. Старинное изображение крестного пути окутывал чуть брезживший полусумрак, лишь долго спустя Мангольф различал образы в движении. Они двигались! Вереница воинов двигалась вверх по холму; он видел, как она взбиралась, перемещалась; вот ее закрыл от взгляда конь начальника, вставший на дыбы. Мать приговоренного пробуждалась от беспомысленности, — сейчас зашевелится он сам! Мангольф целыми ночами ждал, чтобы Христос выпрямился под крестом, окончил начертанный путь и там, наверху, претерпел смерть. Ни разу Христос не довершил своего пути, но Мангольф бывал под конец так изнеможен, словно сам свершил его.

Однажды его испугнул какой-то шорох. Когда он шагнул в ту сторону, шорох стал

стремительно удаляться. Он — вдогонку, но в темноте потерял направление.

Когда он зажег свет, то увидел, что письменный стол открыт. Он около часа простоял подле него, и, значит, все время вместе с ним в комнате был соглядатай. Найти он ничего не мог: Мангольф остерегался хранить опасные документы, — он знал, что за ним следят. Ревнителю войны, ее нахлебники, принимали меры против изменника, как они уже называли его между собой. Генеральный штаб еле терпел его. Один император еще держался за него из протеста против тирании военного командования. Но долго ли станет император защищать того, кого ненавидит военное командование и отвергает народ?

«Я отвержен. Они изгоняют меня в пустыню. Помощники мои мне не друзья, рейхстагу я чужд, — для него я не представитель народа, а сбившийся с пути чиновник. Резолюцию о мире он примет в пику мне, автору бесчисленных воинственных речей. Падение мое неотвратимо. Так называемые друзья давно предали меня генеральному штабу. Шпион, что рылся у меня в письменном столе, послан генеральным штабом. Во имя чего же я терзаю себя?»

Во имя чего, раз все предпочитают погибнуть, чем быть спасенными? Еще шаг — и Мангольф усомнился в самом народе. Он перестал считать этот народ достойным спасения. Ибо народ хотел испытать до дна все, что предстояло ему, — крушение, хаос; он был беспощаден к самому себе и словно воск в руках чужеземных победителей и собственных алчных стяжателей. Он ненавидел разум; кто его спасал, тот предавал его — и потому мог лишь предать, но не спасти его... Мангольф чувствовал, как мысль его цепенеет, как бездна бесцельности раскрывается перед ним. «И это я, с моим положительным умом». Тут вспомнилась ему его необузданная, беспокойная юность, вспомнилось, какие непримиримые, колючие умы были они — Мангольф и Терра. Он подумал о Терра.

Где был Терра? Исчез, сгинул даже для того, кто вначале тайно следил за ним в его стремительном падении. Ему хорошо, у него все позади! Он убежал от борьбы, опомнился, быть может вновь впал в первоначальное равнодушное презрение к жизни, какое бывает у людей высокоодаренных, пока жизнь еще не взяла их в оборот. Вечно оплакиваемая душевная чистота непорочных юношей, как обрести тебя вновь по эту сторону житейского опыта? Все то, что человек активный отдавал жизни, он крал у самого себя. Честолюбие! Чтобы когда-нибудь в учебнике стояло: «Рейхсканцлер Мангольф совершил измену, вот к чему привело его честолюбие». О нет, даже и этого не будет, — ибо все стремится к одному общему исходу, после которого не останется даже памяти. Умереть, быть стертым с лица земли вместе с воспоминанием!

Терра умер? Он вновь предстал перед покинутым другом, назойливый, как призрак умершего, и в юношеском облике. И молодой Мангольф возник из забвения, его ищущая тоска еще не нашла путей, жизнь еще обратима, и не утрачена связь со смертью. Молодому Мангольфу смерть казалась дружественной, но потом стала чужда и страшна. Теперь наступало новое сближение с ней, исполненное глубокой затаенной радости. Это еще доступно! Последнее очарование манит, последнее пристанище ждет, ему навстречу стремись мечтой!.. Вскормленный заботами, вспоенный мучениями, идущий ко дну Мангольф проводил младенчески блаженные ночи...

Тут от него потребовали не совета, а поддержки в вопросе о неограниченной подводной войне. Он был готов и к этому. Его секретные переговоры о мире совсем

замерли; очевидно, стране сначала надо было совершить все ошибки до конца. Правда, если будет совершена эта последняя ошибка, она отрежет пути ко всяким переговорам, как секретным, так и открытым. Ну, что ж, совершить ее все-таки необходимо. Рейхсканцлер, желая только поддержать свой престиж, решил посетить генеральный штаб.

— Какие у него еще претензии? — спросил генерал-фельдмаршал своего помощника.

— Никаких, — сказал вошедший в этот миг канцлер. — Авторитетность и высокоразвитое чувство долга ваших превосходительств служат мне порукой, что я без труда получу ответы на те вопросы, разрешения которых требуют через мое посредство народ и рейхстаг.

Помощник на всякий случай вскипел:

— Если вы метите в меня, я этого не потерплю!

Седовласый начальник успокоил его. Он тоже не понял рейхсканцлера, однако был менее чувствителен, чем тот. Помощник обиженно втянул шею, отвислые щеки прикрыли воротник мундира. Рейхсканцлер заявил обоим национальным кумирам, что он не в силах противоречить им. Однако предстоит серьезное решение. Надо сказать прямо, что это последняя ставка.

— Ни о чем таком и отдаленно не может быть речи! — вспыхнул помощник.

— Пожалуй, этот шаг удлинит срок войны? — спросил рейхсканцлер.

— Нет, сократит. Успех обеспечен.

Генерал-фельдмаршал только поддакивал своему помощнику. Впрочем, и без того каждое его движение вызывало страх, как бы его грандиозное туловище не потеряло равновесия, придавив собой хрупкий стульчик. Это было воплощенное торжество физической мощи, оно приводило в экстаз целые толпы, когда фельдмаршал во главе войск, объемом превосходя их все, вместе взятые, шествовал... на экране. Он верил в киноавантюры подводных лодок. Офицеры его, если не сам он, читали нашумевший английский роман.

— Америка будет побеждена в мгновение ока, — повторил он за своим помощником.

— А если французы пройдут через Швейцарию? — спросил рейхсканцлер.

— Очень желательно с военной точки зрения.

— Именно это мне и хотелось узнать. Теперь я удовлетворен. — И Мангольф поспешил расстаться с кумирами. Какой смысл было говорить им, что они собой представляют? Они возмутили его и вывели из состояния покорности. Нет! Пусть даже целый народ отдает себя на погибель; разум и совесть не могут молчать перед этим крайним проявлением тупоголового зверства. В тот же день Мангольф восстановил прерванные сношения с врагом. Успеет ли он? Развязка была вопросом дней. Те, что сидели в генеральном штабе, поспешили воспользоваться этими днями, его же их подозрения вынуждали к величайшей осторожности. Как откровенно проявляли они свою подозрительность! Что за обращение с ним! Вернувшись домой, Мангольф увидел, что его письменный стол снова был обыскан.

На этот раз он позвал дочь и резко спросил, что ей известно. Никакого ответа, только холодное любопытство перед его бешенством. Она позабыла укрыть беспокойный взгляд и представиться неловкой. Вдруг она спохватилась. Он увидел, как она перешла к притворству: по-детски простодушно спросила, что ему еще надо хранить в тайне, раз решено, что теперь начнется настоящая война. Какое ловкое притворство, — поистине она его достойная дочь! Но это он осознал на одно короткое мгновение, потом снова всплыла мысль о генеральном штабе. Его преследовал генеральный штаб, а не маленькая девочка. Даже падая, Мангольф хотел, чтобы его принимали всерьез.

Так как положение на фронте ухудшилось, враг отказался от прежних уступок. Победа представлялась ему почти бесспорной, он хотел довести ее до конца, лишь полнейшая покорность могла остановить его. Мангольф посетил одного из прежних послов; страна, которую им пришлось покинуть, примкнула к враждебной стороне, самих же их император не принял, потому что они тщетно пытались предостеречь его.

— В прошлом году мы как-то гуляли здесь вдоль канала, — напомнил рейхсканцлер. — Вы сказали: если бы мы предложили Эльзас-Лотарингию и отречение императора, нам бы, пожалуй, удалось избежать катастрофы. Могли бы вы повторить это сегодня?

— Нет, — сказал посол.

Мангольф ждал такого ответа, как решительного знака; теперь он будет действовать. То, на что он отваживался до сих пор, — измена? Нет — робкое нащупывание возможностей. Теперь он решил создать их силой; враг должен потребовать у народа, чтобы он для своего же спасения совершил государственный переворот. По собственному почину переворот здесь не будет совершен своевременно, а будет катастрофа после того, как все уже пойдет прахом. Разве нет в стране мятежников? Есть. По крайней мере один. Мангольф поступал, как мятежник, из ненависти ко всему, ко всем.

В этот решительный для него день император явился снова без предупреждения. Мангольф едва успел встретить его на середине лестницы.

— Недурные фортели вы выкидываете, генеральный штаб зовет вас государственным изменником, — сказал император.

— Ваше величество, государственным изменником следовало бы назвать того, кто продолжал бы войну, лишь бы удержаться у власти — вплоть до катастрофы, — отрезал рейхсканцлер.

Император, тотчас оробев:

— Я ведь ничего не говорю. Я ведь поддерживал вас.

— Теперь уж и я ничем не могу быть полезен вашему величеству. — Это было сказано сурово и мрачно.

Император стоял и смотрел на стену; там Христос в красной одежде падал, как сраженный олень. Пауза.

— Я этим молодцам говорил в точности все, что говорите вы, — неуверенно начал император. — Война будет проиграна, если нити, соединяющие нас с Англией, не превратятся в мост. Но попробуйте сделайте из нитей мост!

Рейхсканцлер молчал. Все эти слова уже устарели, и человек, произносивший их, был обречен. Мангольфу хотелось сказать ему: «Уйдите по крайней мере с достоинством!» Император думал: «Теперь-то уж я его уберу, и как можно скорее».

Не решаясь смотреть друг на друга, они обратились к картине. Рейхсканцлер указал на композицию картины, лежащий крест делил ее на треугольники: в первом находилась голова в желтом тюрбане, во втором — голова сострадательного человека, в третьем — голова Христа, его темные глаза, призывающие в свидетели весь мир.

— Н-да, — заметил император. — В каждом треугольнике дело обстоит по-разному. Один щеголяет желтым тюрбаном, другой идет на распятие.

После этого и Мангольфу стало ясно, что по-настоящему никто не соболезновал несчастью падающего. Сострадательный Иосиф помогал не очень ревностно, начальник красовался на гордом коне. Мироносицы поддерживали ту из них, что упала без чувств, Вероника думала лишь об изображении на плате. Один голый нищий на переднем плане обращался непосредственно к спасителю, ибо он поносил его.

— Н-да, довольно глупо умирать за этот сброд, — сказал император. Он ушел; рейхсканцлер проводил его с непокрытой головой.

Был уже поздний вечер, тем не менее Мангольф распорядился немедленно перенести картину к себе в спальню. Слишком много выражала она и могла выдать его, никто не должен на нее смотреть. Вскоре после этого он пошел к себе. В спальне горела лампа; но почему именно у кровати? Под ней на самом свету лежал револьвер. Мангольф взял его в руку. Маленький браунинг, заряженный и без предохранителя. Он положил его; револьвер был чей-то чужой, у него своего не было: кому он нужен? Или может дойти до того, что ему придется защищаться ночью? Но против кого? Против людей, которым не страшно его оружие.

Вернее, они сами послали ему револьвер, чтобы он застрелился.

Его враги! Револьвер был послан ими! Они положили его у постели государственного преступника, чтобы он сам свершил над собой суд. У них хватило наглости рассчитывать, что он откажется от борьбы с ними, не дожидаясь развязки. Они хотели так запугать его, чтобы он приставил себе к виску подброшенное ими оружие... Но он швырнул его на пол. Оно не выстрелило. Он предварительно нажал предохранитель.

Потом он стал поносить тех, кого ненавидел. Спотыкаясь, бегал он по ковру, словно гнался за ненавистными ему людьми, и грубо поносил их. Непривычные, некрасивые слова возникали у него, он выкрикивал их взволнованно вибрирующим актерским голосом, схватившись за волосы и пошатываясь. Вдруг он остановился, поняв, что теряет голову. Что, собственно, случилось? Кто-то прокрался к нему — когда? Когда перевешивали картину, револьвера еще не было, иначе лакей убрал бы его. «Через несколько минут пришел я сам. Значит, у того субъекта были всего считанные минуты, он не успел уйти, он еще здесь!» Мангольф немедленно обшарил комнату. Ничего. Скорее дальше! Он открыл дверь в комнату дочери. Она спокойно спала. Он запер дверь.

Нельзя терять ни минуты! Он позвонил. Явился лакей, — он велел позвать всех остальных. Когда они пришли, он разослал их по квартире — не обнаружится ли что. Ничего. «Обыскать дом!» Они обшарили все комнаты, шарили за каждой открытой

дверью, а потом и за каждой запертой и в темном саду. Под конец все вернулись усталые; у главного входа, прежде чем запереть его, они еще посоветовались. Мангольф уже поднялся к себе; в ту минуту, когда он входил к себе в спальню, ему показалось, будто ручка у двери в комнату дочери повернулась. Обман зрения? Однако он снова пошел проверить. Дочь спала и глубоко дышала.

Измученный и обескураженный упал он в глубокое кресло у кровати. Новая загадка! Враг умел быть невидимкой. Он был повсюду. Мангольфу пришлось признать, что враг страшен. Все его карты биты, игра кончается, но он продолжает грозить до самого конца — до катастрофы. Она наступит, она отомстит за все.

— А я не могу, — вдруг громко произнес Мангольф. — Я не могу совершить революцию, все равно она привела бы к катастрофе. Сосредоточить всю власть в своих руках, как диктатор, в порыве революционного энтузиазма удержать врага за пределами наших границ, навести порядок внутри страны. Слишком много сразу и выше всяких сил. Выше сил народных. Выше моих сил, — сказал он и вдруг опомнился. Прислушался. Все двери были настежь, кроме одной. В соседних комнатах было темно; он смутно различил какое-то опрокинутое кресло. Сорванная занавеска повисла на нем, как труп. Мангольф с любопытством подошел ближе. Но на полпути повернул назад; твердым шагом направился к тому месту, куда швырнул револьвер. Исчез. Куда он делся? Ведь он лежал тут? Мангольф нагнулся. Слуги в поисках, вероятно, куда-то закинули его. Мангольф стал на колени, принялся шарить под мебелью, — нигде ничего. Он как раз сунул голову под кровать, когда услышал, что кто-то вошел в комнату.

Терра. Он наполовину был еще в темноте; в комнате он никого не увидел. Из-за кровати показалось оцепеневшее лицо Мангольфа, который продолжал стоять на коленях.

— Что ты там делаешь, дорогой Вольф? — спросил Терра.

Мангольф ответил:

— Скажи лучше, что ты тут делаешь?

— Я хочу повидать тебя, прежде чем умереть, — сказал Терра.

И он молча углубился в созерцание Мангольфа, его запавших висков, взъерошенных темных бровей и седых волос на скорбно склоненной голове. Несимметричное лицо — отражение растерзанной противоречиями души, такое страждущее, такое озлобленное! Вдруг дрожь, до того сильная, что лязгнули зубы. Так страшно мог вздрагивать тот, кого сокрушили бессмысленные пороки. Вот во что превратился разум. Чистый разум!

Мангольф заметил, что на друге болтается изношенная одежда. А лицо серое и такое отощавшее, что морщины выступали на нем, как железные полосы; но осанка внушительная, при всей худобе, и по-прежнему сверхвыразительные глаза. Они говорили: «И с тобой дело, кажется, обстоит так же?»

— У меня только что было то же намерение, — просто сказал Мангольф.

— И у тебя? И ты готов? Подумать, что предчувствие именно сегодня привело меня сюда! Я вижу у тебя свет, входная дверь отперта, ни одна душа не попала мне в настежь открытых комнатах твоего спящего дворца, и вот я тут.

— Где ты был?

— Я думал, ты знаешь. По крайней мере я мучительно ощущал твою могущественную руку на всех моих последних начинаниях. Мои справедливые претензии к фирме Кнак были отклонены именем всех предрержащих властей. За каждую попытку отстоять их мне грозили вашим испытанным средством — охранным заключением. Но и тогда, когда я предпочел смерть за отечество, мне решительно закрыли к этому всякую возможность. Тут я особенно узнаю тебя, дорогой Вольф, — сказал Терра иронически и нежно.

— А что ты делал с тех пор? — спросил Мангольф.

— Жил, — ответил Терра. — Этого и для тебя должно быть достаточно. Мои деяния отомщены, я ищу смерти, как самого радужного дара, который еще уготовила мне жизнь.

— Ты голодал? — жадно расспрашивал Мангольф. — Ты просил милостыню?

— Куда ты хватил! — сказал Терра. — Я одно время даже занимал пост писаря при военном суде. Сотни горемык, которые незаконным путем уклонялись от смерти, благодаря мне сохранили жизнь, пока меня не выгнали. Я стал адвокатом для бедных — вернулся к тому, с чего начал, и даже в цирке занимал малопочтенное место... Но к чему прискорбные детали! Если для нас со всем должно быть покончено, проведем еще раз, по доброму старому обычаю, часок в задушевной беседе!

— Я сам желал этого. Как бы мне знать иначе, чего я еще стою? С кем помериться?

— Поскольку мне, в моем отягощенном грехами ничтожестве, удалось установить новейшие этапы твоего развития, мы можем, слава богу, как и всегда, подать друг другу руку. Я из предателя стал убийцей. Ты, дорогой Вольф, действовал в обратном порядке.

— Ты малопроницателен в своих утверждениях, — заметил Мангольф презрительно и равнодушно. Терра увидел прежнего Мангольфа из мансарды в доме комиссионера. — Лишь став изменником, как ты это называешь, я стал свободен. Теперь лишь я созрел для больших деяний. Если бы только мне не пришлось взбираться вверх с таким трудом! А то наступает время действовать, но нет уж сил. Оттого бессильны и все остальные. Германия была бы иной, если бы я сразу оказался на должной высоте, — сказал Мангольф торжественно. И махнув рукой: — А теперь все покидают меня.

— Об этом следовало подумать двадцать лет назад, — сказал Терра.

— Тебе понятно, почему мы потерпели крушение?

— Я раньше тебя ушел от дел, — сказал Терра — У меня было достаточно времени выяснить это. Прежде всего мы потерпели крушение потому, что не может не потерпеть крушения человек талантливый, который навязывает свой талант обществу. Оно не хочет талантов, и только случай, для него самого крайне неприятный, побуждает его временами дать ход какому-нибудь из них. Мы же в частности потерпели крушение еще и оттого, что слишком много требовали от себе подобных.

— Ты, например. Ты хотел сделать их лучше.

— А ты, дорогой Вольф, требовал от них совершенно сверхчеловеческой податливости в сторону зла. Ты был еще большим идеалистом, чем я.

— А ты со всеми в лад готов утверждать, что мы, идеалисты, ничего не смыслим в делах.

— Еще хуже, если смыслим. Я принял решение делать дела с помощью существующего порядка вещей. И случилось самое худшее: я их делал.

— Я всегда считал, что, если я не знатного рода, мне следовало быть посредственностью, — сказал Мангольф.

— Все истинные двигатели человеческой истории были посредственностями в умственном отношении. Противоположных примеров не существует. И это к лучшему. Ибо посредственность, — сказал Терра, — в своих проявлениях гуманнее нас.

— А чему ей удалось воспрепятствовать? — спросил Мангольф презрительно.

— Ничему, — сказал Терра. — Участь людей всегда и неизменно — неосмысленное страдание, выносимое лишь потому, что оно неосмысленное. Но посредственность не станет доводить отвратительные и жалкие судьбы человечества до последнего предела, не станет превращать их в счастливые и благородные, так же как не станет возводить на высоту идейного мышления катастрофы, которые просто заложены в природе человечества. Потому и сама она никак не может пасть до преступления, когда провалится и то, и другое, как проваливаются в человеческом обществе все идейные побуждения. С посредственностью во главе человечество имеет некоторый шанс избежать наихудшего. Прежде всего главари из числа посредственностей непременно остаются сами в живых, духовная неполноценность позволяет им это. А ведь смерть — единственное, чего нельзя простить, как внушала мне некогда самая живучая особа, какую мы знали.

— А мы умираем! — Мангольф возмутился. — Умираем, потому что мы умственно полноценны!

— Нет, — сказал Терра, — мы умираем потому, что в нас нет противоядий для нашего взыскательного ума.

— Каких противоядий?

— Презрения и доброты. У тебя было одно презрение.

— У тебя — одна доброта.

— Благодарю тебя, дорогой Вольф. В настоящую минуту у тебя ее больше. Вероятно, я никогда не был добр. В моем желании помочь людям было столько же гордыни, сколько в твоём стремлении пользоваться ими для своих целей. Мы оба согрешили через гордыню.

— Чисто богословская мысль. — Мангольф нахмурился. — Надеюсь, что до такой степени ты все-таки не забылся.

Терра, глядя в сторону:

— Поневоле раздумываешь, как бы все было, если бы могло начаться сызнова.

— Совершенно так же, — сказал Мангольф. — Чем лгать и стяжать, я предпочту снова пасть и пойти ко дну.

Терра в ответ:

— А возможно, мы в следующий раз предпочли бы безоговорочно повторять все

подлости, без которых человек не может в чистоте душевной вкушать свой хлеб насущный. Насколько я понимаю, даже и богу это было бы угодно.

Но Мангольф:

— Не глумись! Его час пришел.

Они не отрывали друг от друга глаз, и каждый искал в состарившихся чертах другого решения собственной загадки, снова надеясь обрести себя в познании сокровеннейшей сущности другого. Чтобы постигнуть друг друга до конца, они отодвинулись из полосы света. Бессознательно они искали темноты, искали укромного угла в неосвященной комнате, чтобы там грудь с грудью шептаться торопливо и украдкой.

— Я испытал непонятные явления, — шептал Мангольф. — Власть картины, зовущей и вбирающей в себя. Я знаю, что взойду на тот холм и лишь там, наверху, умру. Тогда погибнет и голый нищий, поносивший и, один из всех, любивший меня.

— Я тебя понимаю, — шептал Терра. — И я явственно, словно в откровении, ощутил, что тщетно пытался бы застрелиться, если бы не застрелился ты. Бог принципиально не согласен принять нас врозь.

— Ты веришь в него?

— Да, — сказал Терра. — Это нелегко далось, ведь я никому не люблю навязываться.

— Знаешь ты способ спросить у него, действительно ли нам следует умереть?

— В этом вопросе я всецело полагаюсь на собственный наш здоровый инстинкт. Не будь мы оба до последней капли крови к этому готовы, разве пришла бы нам хоть отдаленно охота умереть? Бог свидетель, как мы зубами и когтями держались за жизнь.

— Ужасно! — Глухой стон проник в сердце другу.

— Бог, несомненно, требует от каждого лишь то, что он может дать. От нас он требует гордости, — горячо произнес Терра.

Тогда Мангольф выпрямился.

— Где взять оружие? Револьвер исчез. Он лежал вот тут.

Терра последовал за ним.

— Тут он и лежит, — показал он.

Револьвер лежал под лампочкой, у кровати. Мангольф взял его: тот же маленький браунинг.

— Непостижимо, — сказал он.

— Что именно? — спросил Терра.

И Мангольф:

— Они положили его возле кровати, чтобы я сам покончил с собой. Я швырнул его на пол, комната была полна людей, он исчез. А сейчас он снова лежит тут.

— Значит, заинтересованное лицо все еще здесь, — уверенно сказал Терра. Мангольф стал возражать, они поспорили, принялись шарить под мебелью и, лишь

столкнувшись под каким-то диваном головами, опомнились.

— Какое нам дело до того, почему револьвер снова лежит там!

— А с другой стороны, у нас не осталось дела интереснее.

Оба беззвучно рассмеялись.

Но так как и после этой ночи должно было настать утро, они не видели повода спешить с осуществлением своего намерения. Оно было достаточно твердо, и они могли, решил Терра, преспокойно распить в его честь бутылку вина. Торжественно совершил он возлияние вместе с другом.

— Твое здоровье, дорогой Вольф! — сказал он, но потом и сам заметил неуместность традиционной формулы. — Вот какова, значит, жизнь, — заговорил он, глядя в стакан. — Вот она какова.

— Удивительно, — сказал Мангольф, глядя в свой, — как много мы от нее ожидали, несмотря на крайний скептицизм. А ведь получили много меньше, хоть и достигли вершины. Если бы мы еще мыслили во времени, то могли бы сказать: мы оставили след.

— Всякая песчинка оставляет след, — сказал Терра. — Но почему она именно в этот миг и на этом месте производит в текущих песках свое ничтожное, но такое значительное и важное трение, то ведает один бог.

Они замолчали, ибо заметили: что бы они ни сказали, — все тотчас же приводило к одной цели.

Рассвет забрезжил. Издалека сквозь тишину слабо донеслись звуки марша.

— Вот и другие идут тем же путем, что и мы. Чокнемся, дорогой Вольф. — На этот раз они выпили, уже стоя.

— Но те ничего не понимают, — сказал Мангольф. — В этом их великое счастье.

— В каждую данную минуту нашей жизни нет ничего важнее, чем облагородить нашу обязанность, поняв ее, — сказал Терра и достал из кармана свой револьвер. Мангольф взял свой. Звуки марша приближались.

— Бедняги! — воскликнул Мангольф. — Они-то за что умирают? Еще сотни лет не перестанут они верить всякому, кто будет толковать им о долге и величии — и зарабатывать на них.

— Даже много дольше. Ибо у них неугасимая страсть к самопожертвованию, — сказал Терра. — Но, очевидно, они получают какую-то компенсацию. Я за всю жизнь не встретил человека, который не помнил бы о своей выгоде. — При этом они уже переплели руки, как будто собирались выпить на «ты»... но в руках были револьверы.

— Куда? — крикнул Мангольф, окрыленный горячкой ожидания. — В голову!

— В голову, — повторил Терра.

Они прицелились, спустили курки. Последним у Мангольфа было непреложное сознание, что он в образе того Христа легко и радостно поднимается на тот холм. Он чуть ли не видел себя, но только взор его уже угас. Все существо Терра трепетало в ожидании, чтобы тот голос, последним зовом которого было когда-то его имя, вновь позвал его. Но прежде чем сестра успела позвать его, он упал. Они упали

крест-накрест друг на друга.

Снаружи гремела военная музыка, маршевый шаг и тяжелые колеса сотрясали комнату. Но во всем, что двигалось мимо, Мангольф и Терра не видели ни величия, ни скорби, не видели ни одичалых, ни испуганных лиц, ни тех, что еще продолжают борьбу. Терра и Мангольф покоились, образуя свой крест.

Одна из дверей раскрылась, показалась фигурка. Очков уже не было, двигалась она ловко, держалась смело. Обнаженные ноги ее брезгливо избегали прикоснуться к мертвецам. Не останавливаясь, прошла она к окну, с силой распахнула его и звонко выкрикнула навстречу сверкающему дню войны:

— Ура!